



Иван Александрович Гончаров

Фрегат "Паллада".

Том 1

Оригинал электронной версии находится здесь:

Официальный сайт Группы по подготовке Академического собрания сочинений И. А. Гончарова

Дополнения и дополнительная правка: В. Есаулов, сентябрь 2004 г.

(по изданию: И. А. Гончаров. "Фрегат "Паллада", Ленинград, 1986).

Предисловие автора к 3-му, отдельному, изданию "Фрегата "Паллада" Автор этой, вновь являющейся после долгого промежутка {* перед изданием 1879 г. книга выходила 17 лет назад, в 1862 г.} книги не располагал более возобновлять ее издание, думая, что она отжила свою пору.

Но ему с разных сторон заявляют, что обыкновенный спрос на нее в публике не прекращаются и что, сверх того, ее требуют воспитатели юношества и училищные библиотеки. Значит, эти путевые приобретают себе друзей и в юных поколениях.

После этого автор не счел уже себя вправе уклоняться от повторения своей книги в печати.

Он относит постоянное внимание публики к его очеркам, прежде всего, к самому предмету их. Описания дальних стран, их жителей, роскоши тамошней природы, особенностей и случайностей путешествия и всего, что замечается и передается путешественниками – каким бы то ни было пером, – все это не теряет никогда своей занимательности для читателей всех возрастов.

Кроме того, история плаванья самого корабля, этого маленького русского мира с

четырьмястами обитателей, носившегося два года по океанам, своеобразная жизнь пловцов, черты морского быта – все это также само по себе способно привлекать и удерживать за собою симпатии читателей.

Таким образом, автор и с этой стороны считает себя обязанным не перу своему, а этим симпатиям публики к морю и морякам продолжительным успехом своих путевых очерков. Сам он был поставлен своим положением, можно сказать, в необходимость касаться моря и моряков. Связанный строгими условиями плаваниями военного судна, он покидал корабль ненадолго – и ему приходилось часто сосредоточиваться на том, что происходило вокруг, в его плавучем жилище, и мешать приобретаемые, под влиянием мимолетных впечатлений, наблюдения над чужой природой и людьми с явлениями вседневной жизни у себя "дома", то есть на корабле.

Из этого, конечно, не могло выйти ни какого-нибудь специального, ученого (на что у автора и претензии быть не могло), ни даже сколько-нибудь систематического описания путешествия с строго определенным содержанием.

Вышло то, что мог дать автор: летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи – словом, очерки.

Пересматривая ныне вновь этот дневник своих воспоминаний, автор чувствует сам, и охотно винится в том, что он часто говорит о себе, являясь везде, так сказать, неотлучным спутником читателя.

Утверждают, что присутствие живой личности вносит много жизни в описании путешествий: может быть, это правда, но автор, в настоящем случае, не может присвоить себе этой цели, ни этой заслуги. Он, без намерения и также по необходимости, вводит себя в описания, и избежать этого для него трудно. Эпистолярная форма была принята им не как наиболее удобная для путевых очерков: письма действительно писались и посылались с разных пунктов к тем или другим друзьям, как это было условлено ими и им. А друзья интересовались не только путешествием, но и судьбою самого путешественника и его положением в новом быту. Вот причина его неотлучного присутствия в описаниях.

По возвращении его в Россию письма, по совету же друзей, были собраны, приведены в порядок – и из них составились эти два тома, являющиеся в третий раз перед публикою под именем "Фрегат "Паллада".

Если этот фрегат, вновь пересмотренный, по возможности исправленный и дополненный заключительною главою, напечатанною в литературном сборнике "Складчина" в 1874 году, прослужит(как это бывает с настоящими морскими судами после так называемого "тимберования", то есть капитальных исправлений) еще новый срок, между прочим и в среде юношества, автора сочтет себя награжденным сверх всяких ожиданий.

В надежде на это он охотно уступил свое право на издание "Фрегата "Паллада" И. И. Глазунову, представителю старейшего в России книгопродавческого дома, посвящающего, без малого столетие, свою деятельность преимущественно изданию и распространению книг для юношества.

Издатель пожелал приложить к книге портрет автора: не имея причин противиться этому желанию, автор предоставил и это право его усмотрению тем охотнее, что исполнение этой работы принял на себя известный русский художник {* И. П. Пожалостин (1837-1909) с фотографии К. И. Бергамаско, снятой в 1873 г.}, резец которого представил публике прекрасные образцы искусства, между прочим недавно портрет покойного поэта Некрасова.

Январь,

1879.

ОТ КРОНШТАДТА ДО МЫСА ЛИЗАРДА

Сборы, прощание и отъезд в Кронштадт. – Фрегат "Паллада". – Море и моряки. – Кают-компания. – Финский залив. – Свежий ветер. – Морская болезнь. – Готланд. – Холера на фрегате. – Падение человека в море. – Зунд.

– Каттегат и Скагеррак. – Немецкое море. – Доггерская банка и Галлоперский маяк. – Покинутое судно. – Рыбаки. – Британский канал и Спитгедский рейд. – Лондон. – Похороны Веллингтона. – Заметки об англичанах и англичанках. – Возвращение в Портсмут. – Житье на "Кемпердоуне". – Прогулка по Портсмуту, Саутси, Портси и Госпорту. – Ожидание попутного ветра на Спитгедском рейде.

– Вечер накануне Рождества. – Силуэт англичанина и русского. – Отплытие.

Меня удивляет, как могли вы не получить моего первого письма из Англии, от 2/14 ноября 1852 года, и второго из Гонконга, именно из мест, где об участии письма заботятся, как о судьбе новорожденного младенца. В Англии и ее колониях письмо есть заветный предмет, который проходит чрез тысячи рук, по железным и другим дорогам, по океанам, из полушария в полушарие, и находит неминуемо того, к кому послано, если только он жив, и так же неминуемо возвращается, откуда послано, если он умер или сам воротился туда же. Не затерялись ли письма на материке, в датских или прусских владениях? Но теперь поздно производить следствие о таких пустяках: лучше вновь написать, если только это нужно...

Вы спрашиваете подробностей моего знакомства с морем, с моряками, с берегами Дании и Швеции, с Англией? Вам хочется знать, как я вдруг из своей покойной комнаты, которую оставлял только в случае крайней надобности и всегда с сожалением, перешел на зыбкое лоно морей, как, избалованнейший из всех вас горожкою жизнью, обычною суетой дня и мирным спокойствием ночи, я вдруг, в один день, в один час, должен был ниспровергнуть этот порядок и ринуться в беспорядок жизни моряка? Бывало, не заснешь, если в комнату ворвется большая муха и с буйным жужжаньем носится, толкаясь в потолок и в окна, или заскребет мышонок в углу; бежишь от окна, если от него дует, бранишь дорогу, когда в ней есть ухабы, откажешься ехать на вечер в конец города под предлогом "далеко ехать", боишься пропустить урочный час лечь спать; жалуешься, если от супа пахнет дымом, или жаркое перегорело, или вода не блестит, как хрусталь... И вдруг – на море! "Да как вы там будете ходить – качает?" – спрашивали люди, которые находят, что если заказать карету не у такого-то каретника, так уж в ней качает. "Как ляжете спать, что будете есть? Как уживетесь с новыми людьми?" – сыпались вопросы, и на меня смотрели с болезненным любопытством, как на жертву, обреченную пытке.

Из этого видно, что у всех, кто не бывал на море, были еще в памяти старые романы Купера или рассказы Мариета о море и моряках, о капитанах, которые чуть не сажали на цепь пассажиров, могли жечь и вешать подчиненных, о кораблекрушениях, землетрясениях. "Там вас капитан на самый верх посадит, – говорили мне друзья и знакомые (отчасти и вы, помните?), – есть не велит давать, на пустой берег высадит". – "За что?" – спрашивал я. "Чуть не так сядете, не так пойдете, закурите сигару, где не велено". – "Я всё буду делать, как делают там", – кротко отвечал я. "Вот вы привыкли по ночам сидеть, а там, как солнце село, так затушат все огни, – говорили другие, – а шум, стукотня какая, запах, крик!" – "Сопьетесь вы там с кругу! – пугали некоторые, – пресная вода там в редкость, всё больше ром пьют". – "Ковшами, я сам видел, я был на корабле", – прибавил кто-то. Одна старушка всё грустно

качала головой, глядя на меня, и упрашивала ехать "лучше сухим путем кругом света". Еще барыня, умная, милая, заплакала, когда я приехал с ней прощаться. Я изумился: я видался с нею всего раза три в год и мог бы не видаться три года, ровно столько, сколько нужно для кругосветного плавания, она бы не заметила. "О чем вы плачете?" – спросил я. "Мне жаль вас", – сказала она, отирая слезы. "Жаль потому, что лишний человек все-таки развлечение?" – заметил я. "А вы много сделали для моего развлечения?" – сказала она. Я стал в тупик: о чем же она плачет? "Мне просто жаль, что вы едете бог знает куда". Меня зло взяло. Вот как смотрят у нас на завидную участь путешественника! "Я понял бы ваши слезы, если б это были слезы зависти, – сказал я, – если б вам было жаль, что на мою, а не на вашу долю выпадает быть там, где из нас почти никто не бывает, видеть чудеса, о которых здесь и мечтать трудно, что мне открывается вся великая книга, из которой едва кое-кому удастся прочесть первую страницу..." Я говорил ей хорошим слогом. "Полноте, – сказала она печально, – я знаю всё; но какую ценою достанется вам читать эту книгу? Подумайте, что ожидает вас, чего вы натерпите, сколько шансов не воротиться!.. Мне жаль вас, вашей участи, оттого я и плачу. Впрочем, вы не верите слезам, – прибавила она, – но я плачу не для вас: мне просто плачется".

Мысль ехать, как хмель, туманила голову, и я беспечно и шутливо отвечал на все предсказания и предостережения, пока еще событие было далеко. Я всё мечтал – и давно мечтал – об этом вояже, может быть с той минуты, когда учитель сказал мне, что если ехать от какой-нибудь точки безостановочно, то воротиться к ней с другой стороны: мне захотелось поехать с правого берега Волги, на котором я родился, и воротиться с левого; хотелось самому туда, где учитель указывает пальцем быть экватору, полюсам, тропикам. Но когда потом от карты и от учительской указки я перешел к подвигам и приключениям Куков, Ванкуверов, я опечалился: что перед их подвигами Гомеровы герои, Аяксы, Ахиллесы и сам Геркулес? Дети!

Робкий ум мальчика, родившегося среди материка и не видавшего никогда моря, цепенел перед ужасами и бедами, которыми наполнен путь пловцов. Но с годами ужасы изглаживались из памяти, и в воображении жили, и пережили молодость, только картины тропических лесов, синего моря, золотого, радужного неба.

"Нет, не в Париж хочу, – помните, твердил я вам, – не в Лондон, даже не в Италию, как звучн вы о ней ни пели, поэт 1}, – хочу в Бразилию, в Индию, хочу туда, где солнце из камня вызывает жизнь и тут же рядом превращает в камень всё, чего коснется своим огнем; где человек, как праотец наш, рвет несаяный плод, где рыщет лев, пресмыкается змей, где царствует вечное лето, – туда, в светлые чертоги Божьего мира, где природа, как баядерка, дышит сладострастием, где душно, страшно и обаятельно жить, где обессиленная фантазия немеет перед готовым созданием, где глаза не устанут смотреть, а сердце биться".

Всё было загадочно и фантастически прекрасно в волшебной дали: счастливицы ходили и возвращались с заманчивою, но глухою повестью о чудесах, с детским толкованием тайн мира. Но вот явился человек, мудрец и поэт, и озарил таинственные углы. Он пошел туда с компасом, заступом, циркулем и кистью, с сердцем, полным веры к Творцу и любви к Его мирозданию. Он внес жизнь, разум и опыт в каменные пустыни, в глушь лесов и силою светлого разума указал путь тысячам за собою. "Космос!" Еще мучительнее прежнего хотелось взглянуть живыми глазами на живой космос.

"Подал бы я, – думалось мне, – доверчиво мудрецу руку, как дитя взрослому, стал бы внимательно слушать, и, если понял бы настолько, насколько ребенок понимает толкования дядьки, я был бы богат и этим скудным разумением". Но и эта мечта улеглась в воображении вслед за многим другим. Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями: дни, хотя порознь разнообразные, сливались в одну утомительно-однообразную массу годов.

Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле, и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе!

И вдруг неожиданно суждено было воскресить мечты, расшевелить воспоминания,

вспомнить давно забытых мною кругосветных героев. Вдруг и я вслед за ними иду вокруг света! Я радостно содрогнулся при мысли: я буду в Китае, в Индии, переплыву океаны, ступлю ногою на те острова, где гуляет в первобытной простоте дикарь, посмотрю на эти чудеса – и жизнь моя не будет праздным отражением мелких, надоевших явлений. Я обновился; все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!

Странное, однако, чувство одолело меня, когда решено было, что я еду: тогда только сознание о громадности предприятия заговорило полно и отчетливо. Радужные мечты побледнели надолго; подвиг подавлял воображение, силы ослабевали, нервы падали по мере того, как наступал час отъезда. Я начал завидовать участи остающихся, радовался, когда являлось препятствие, и сам раздувал затруднения, искал предлогов остаться. Но судьба, по большей части мешающая нашим намерениям, тут как будто задала себе задачу помогать.

И люди тоже, даже незнакомые, в другое время недоступные, хуже судьбы, как будто сговорились уладить дело. Я был жертвой внутренней борьбы, волнений, почти изнемогал. "Куда это? Что я затеял?" И на лицах других мне страшно было читать эти вопросы. Участие пугало меня. Я с тоской смотрел, как пустела моя квартира, как из нее понесли мебель, письменный стол, покойное кресло, диван. Покинуть всё это, променять на что?

Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали вдруг две жизни, отвели квартиру в двух мирах. В одном я – скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я – новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний; здесь – певец, хотя *ex officio*, похода. Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира? Как заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергиею мореходца, изнеженность горожанина – загрубелостью матроса? Мне не дано ни других костей, ни новых нерв. А тут вдруг от прогулок в Петергоф и Парголово шагнуть к экватору, оттуда к пределам Южного полюса, от Южного к Северному, переплыть четыре океана, окружить пять материков и мечтать воротиться... Действительность, как туча, приближалась всё грозней и грозней; душу посещал и мелочной страх, когда я углублялся в подробный анализ предстоящего вояжа. Морская болезнь, перемены климата, тропический зной, злокачественные лихорадки, звери, дикари, бури – всё приходило на ум, особенно бури. Хотя я и беспечно отвечал на все, частью трогательные, частью смешные, предостережения друзей, но страх нередко и днем и ночью рисовал мне призраки бед. То представлялась скала, у подножия которой лежит наше разбитое судно, и утопающие напрасно хватаются усталыми руками за гладкие камни; то снилось, что я на пустом острове, выброшенный с обломком корабля, умираю с голода...

Я просыпался с трепетом, с каплями пота на лбу. Ведь корабль, как он ни прочен, как ни приспособлен к морю, что он такое? – щепка, корзинка, эпиграмма на человеческую силу. Я боялся, выдержит ли непривычный организм массу суровых обстоятельств, этот крутой поворот от мирной жизни к постоянному бою с новыми и резкими явлениями бродячего быта? Да, наконец, хватит ли души вместить вдруг, неожиданно развивающуюся картину мира? Ведь это дерзость почти титаническая! Где взять силы, чтоб воспринять массу великих впечатлений? И когда ворвутся в душу эти великолепные гости, не смутится ли сам хозяин среди своего пира?

Я справлялся, как мог, с сомнениями: одни удалось победить, другие оставались нерешенными до тех пор, пока дойдет до них очередь, и я мало-помалу ободрился. Я вспомнил, что путь этот уже не Магелланов путь, что с загадками и страхами справились люди. Не величавый образ Колумба и Васко де Гама гадательно смотрит с палубы вдаль, в неизвестное будущее: английский лоцман, в синей куртке, в кожаных панталонах, с красным лицом, да русский штурман, с знаком отличия беспорочной службы, указывают пальцем

путь кораблю и безошибочно назначают день и час его прибытия. Между моряками, зевая апатически, лениво смотрит "в безбрежную даль" океана литератор, помышляя о том, хороши ли гостиницы в Бразилии, есть ли прачки на Сандвичевых островах, на чем ездят в Австралии? "Гостиницы отличные, – отвечают ему, – на Сандвичевых островах найдете всё: немецкую колонию, французские отели, английский портер – все, кроме – диких". В Австралии есть кареты и коляски; китайцы начали носить ирландское полотно; в Ост-Индии говорят всё по-английски; американские дикари из леса порываются в Париж и в Лондон, просятся в университет; в Африке черные начинают стыдиться своего цвета лица и понемногу привыкают носить белые перчатки.

Лишь с большим трудом и издержками можно попасть в кольца удава или в когти тигра и льва. Китай долго крепился, но и этот сундук с старою рухлядью вскрылся – крышка слетела с петель, подорванная порохом. Европейец роется в ветоши, достает, что придется ему впору, обновляет, хозяйничает... Пройдет еще немного времени, и не станет ни одного чуда, ни одной тайны, ни одной опасности, никакого неудобства. И теперь воды морской нет, ее делают пресною, за пять тысяч верст от берега является блюдо свежей зелени и дичи; под экватором можно поесть русской капусты и щей. Части света быстро сближаются между собою: из Европы в Америку – рукой подать; поговаривают, что будут ездить туда в сорок восемь часов, – пуф, шутка конечно, но современный пуф, намекающий на будущие гигантские успехи мореплавания.

Скорей же, скорей в путь! Поэзия дальних странствий исчезает не по дням, а по часам. Мы, может быть, последние путешественники, в смысле аргонавтов: на нас еще, по возвращении, взглянут с участием и завистью.

Казалось, все страхи, как мечты, улеглись: вперед манил простор и ряд неиспытанных наслаждений. Грудь дышала свободно, навстречу веяло уже югом, манили голубые небеса и воды. Но вдруг за этою перспективой возникало опять грозное привидение и росло по мере того, как я вдавался в путь. Это привидение была мысль: какая обязанность лежит на грамотном путешественнике перед соотечественниками, перед обществом, которое следит за плователями?

Экспедиция в Японию – не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить и в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без скуки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать? Это одно и то же, что спросить, с какою физиономией явиться в общество?

Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактуры, – словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику. Говорить ли о теории ветров, о направлении и курсах корабля, о широтах и долготах или докладывать, что такая-то страна была когда-то под водою, а вот это дно было наруже; этот остров произошел от огня, а тот от сырости; начало этой страны относится к такому времени, народ произошел оттуда, и при этом старательно выписать из ученых авторитетов, откуда, что и как? Но вы спрашиваете чего-нибудь позанимательнее. Всё, что я говорю, очень важно; путешественнику стыдно заниматься будничным делом: он должен посвящать себя преимущественно тому, чего уж нет давно, или тому, что, может быть, было, а может быть, и нет.

"Отошлите это в ученое общество, в академию, – говорите вы, – а беседуя с людьми всякого образования, пишите иначе. Давайте нам чудес, поэзии, огня, жизни и красок!" Чудес, поэзии! Я сказал, что их нет, этих чудес: путешествия утратили чудесный характер. Я не сражался со львами и тиграми, не пробовал человеческого мяса. Всё подходит под какой-то прозаический уровень.

Колонисты не мучат невольников, покупщики и продавцы негров называются уже не купцами, а разбойниками; в пустынях учреждаются станции, отели; через бездонные пропасти вешают мосты. Я с комфортом и безопасно проехал сквозь ряд португальцев и англичан – на Мадере и островах Зеленого Мыса; голландцев, негров, готтентотов и опять англичан – на мысе Доброй Надежды; малайцев, индусов и... англичан – в Малайском архипелаге и Китае, наконец, сквозь японцев и американцев – в Японии. Что за чудо увидеть теперь пальму и банан не на картине, а в натуре, на их родной почве, есть прямо с дерева гуавы, мангу и ананасы, не из теплиц, тощие и сухие, а сочные, с римский огурец величиною? Что удивительного теряться в кокосовых неизмеримых лесах, путаться ногами в ползучих лианах, между высоких, как башни, деревьев, встречаться с этими цветными странными нашими братьями? А море? И оно обыкновенно во всех своих видах, бурное или неподвижное, и небо тоже, полуденное, вечернее, ночное, с разбросанными, как песок, звездами. Всё так обыкновенно, всё это так должно быть. Напротив, я уехал от чудес: в тропиках их нет. Там всё одинаково, всё просто. Два времени года, и то это так говорится, а в самом деле ни одного: зимой жарко, а летом знойно; а у вас там, на "дальнем севере", четыре сезона, и то это положено по календарю, а в самом-то деле их семь или восемь. Сверх положенных, там в апреле является неожиданное лето, морит духотой, а в июне непрошенная зима порошит иногда снегом, потом вдруг наступит зной, какому позавидуют тропики, и всё цветет и благоухает тогда на пять минут под этими страшными лучами. Раз в три года Финский залив и покрывающее его серое небо наряжаются в голубой цвет и млеют, любуются друг другом, и северный человек, едучи из Петербурга в Петергоф, не насмотрится на редкое "чудо", ликует в непривычном зное, и всё заликует: дерево, цветок и животное. В тропиках, напротив, страна вечного зефира, вечного зноя, покоя и синевы небес и моря.

Всё однообразно!

И поэзия изменила свою священную красоту. Ваши музы, любезные поэты 2}, законные дочери парнасских камней, не подали бы вам услужливой лиры, не указали бы на тот поэтический образ, который кидается в глаза новейшему путешественнику. И какой это образ! Не блистающий красотой, не с атрибутами силы, не с искрой демонского огня в глазах, не с мечом, не в короне, а просто в черном фраке, в круглой шляпе, в белом жилете, с зонтиком в руках.

Но образ этот властвует в мире над умами и страстями. Он всюду: я видел его в Англии – на улице, за прилавком магазина, в законодательной палате, на бирже. Всё изящество образа этого, с синими глазами, блестит в тончайшей и белейшей рубашке, в гладко выбритом подбородке и красиво причесанных русых или рыжих бакенбардах. Я писал вам, как мы, гонимые бурным ветром, дрожа от северного холода, пробежали мимо берегов Европы, как в первый раз пал на нас у подошвы гор Мадеры ласковый луч солнца и, после угрюмого, серо-свинцового неба и такого же моря, заплескали голубые волны, засияли синие небеса, как мы жадно бросились к берегу погреться горячим дыханием земли, как упивались за версту повеявшим с берега благоуханием цветов.

Радостно вскочили мы на цветущий берег, под олеандры. Я сделал шаг и остановился в недоумении, в огорчении: как, и под этим небом, среди ярко блещущих красок моря зелени... стояли три знакомые образа в черном платье, в круглых шляпах! Они, опираясь на зонтики, повелительно смотрели своими синими глазами на море, на корабли и на воздымавшуюся над их головами и поросшую виноградниками гору. Я шел по горе; под портиками, между фестонами виноградной зелени, мелькал тот же образ; холодным и строгим взглядом следил он, как толпы смуглых жителей юга добывали, обливаясь потом, драгоценный сок своей почвы, как катили бочки к берегу и усылали вдаль, получая за это от повелителей право есть хлеб своей земли. В океане, в мгновенных встречах, тот же образ виден был на палубе кораблей, насвистывающий сквозь зубы: "Rule, Britannia, upon the sea". Я видел его на песках Африки, следящего за работой негров, на плантациях Индии и Китая, среди тюков чая, взглядом и словом, на своем родном языке, повелевающего народами, кораблями, пушками,двигающего необъятными естественными силами природы... Везде и

всюду этот образ английского купца носится над стихиями, над трудом человека, торжествует над природой!

Но довольно делать *pas de geants* 3}: будем путешествовать умеренно, шаг за шагом. Я уже успел побывать с вами в пальмовых лесах, на раздолье океанов, не выехав из Кронштадта. Оно и нелегко: если, сбираясь куда-нибудь на богомолье, в Киев или из деревни в Москву, путешественник не оберется суматохи, по десяти раз кидается в объятия родных и друзей, закусывает, присаживается и т. п., то сделайте посылку, сколько понадобится времени, чтобы тронуться четверемстам человек – в Японию. Три раза ездил я в Кронштадт, и всё что-нибудь было еще не готово. Отъезд откладывался на сутки, и я возвращался еще провести день там, где провел лет семнадцать и где наскучило жить. "Увижу ли я опять эти главы и кресты?" – прощался я мысленно, отваливая в четвертый и последний раз от Английской набережной.

Наконец 7 октября фрегат "Паллада" снялся с якоря. С этим началась для меня жизнь, в которой каждое движение, каждый шаг, каждое впечатление были не похожи ни на какие прежние.

Вскоре всё стройно засуетилось на фрегате, до тех пор неподвижном. Все четыреста человек экипажа столпились на палубе, раздались командные слова, многие матросы поползли вверх по вантам, как мухи облепили реи, и судно окрылилось парусами. Но ветер был не совсем попутный, и потому нас потащил по заливу сильный пароход и на рассвете воротился, а мы стали бороться с поднявшимся бурным или, как моряки говорят, "свежим" ветром. Началась сильная качка. Но эта первая буря мало подействовала на меня: не бывши никогда в море, я думал, что это так должно быть, что иначе не бывает, то есть что корабль всегда раскачивается на обе стороны, палуба вырывается из-под ног и море как будто опрокидывается на голову.

Я сидел в кают-компании, прислушиваясь в недоумении к свисту ветра между снастей и к ударам волн в бок судна. Наверху было холодно; косой, мерзлый дождь хлестал в лицо. Офицеры беззаботно разговаривали между собой, как в комнате, на берегу; иные читали. Вдруг раздался пронзительный свист, но не ветра, а боцманских свистков, и вслед за тем разнесся по всем палубам крик десяти голосов: "Пошел все наверх!" Мгновенно всё народонаселение фрегата бросилось снизу вверх; отсталых матросов побуждали боцмана. Офицеры бросили книги, карты (географические: других там нет), разговоры и стремительно побежали туда же. Непривычному человеку покажется, что случилось какое-нибудь бедствие, как будто что-нибудь сломалось, оборвалось и корабль сейчас пойдет на дно. "Зачем это зовут всех наверх?" – спросил я бежавшего мимо меня мичмана. "Свистят всех наверх, когда есть авральная работа", – сказал он второпях и исчез. Цепляясь за трапы и веревки, я выбрался на палубу и стал в уголок. Всё суетилось. "Что это такое авральная работа?" – спросил я другого офицера. "Это когда свистят всех наверх", – отвечал он и занялся – авральной работою. Я старался составить себе идею о том, что это за работа, глядя, что делают, но ничего не уразумел: делали всё то же, что вчера, что, вероятно, будут делать завтра: тянут снасти, поворачивают реи, подбирают паруса. Офицеры объяснили мне сущую истину, мне бы следовало так и понять просто, как оно было сказано, – и вся тайна была тут. Авральная работа – значит общая работа, когда одной вахты мало, нужны все руки, оттого всех и "свистят наверх"! По-английски, если не ошибаюсь, и командуют "Все руки вверх!" ("All hands up!"). Через пять минут, сделав, что нужно, все разошлись по своим местам. Барон Крюднер в трех шагах от меня насвистывал под шум бури мотив из оперы. Напрасно я силился подойти к нему: ноги не повиновались, и он смеялся моим усилиям. "Морских ног нет еще у вас", – сказал он. "А скоро будут?" – спросил я. "Месяца через два, вероятно". Я вздохнул: только это и оставалось мне сделать при мысли, что я еще два месяца буду ходить, как ребенок, держась за юбку няньки. Вскоре обнаружилась морская болезнь у молодых и подверженных ей или не бывших давно в походе моряков. Я ждал, когда начну и я отдавать эту скучную дань морю, а ждал непременно. Между тем наблюдал за другими: вот молодой человек, гардемарин, бледнеет, опускается на стул; глаза у него тускнеют, голова

клонится на сторону. Вот сменили часового, и он, отдав ружье, бежит опрометью на бак. Офицер хотел что-то закричать матросам, но вдруг отвернулся лицом к морю и оперся на борт... "Что это, вас, кажется, травит?" – говорит ему другой. (Травить, вытравливать – значит выпускать понемногу канат.) Едва успеваешь отскакивать то от того, то от другого...

"Выпейте водки", – говорят мне одни. "Нет, лучше лимонного соку", – советуют другие; третьи предлагают луку или редьки. Я не знал, на что решиться, чтобы предупредить болезнь, и закурил сигару. Болезнь всё не приходила, и я тревожно похаживал между больными, ожидая – вот-вот начнется. "Вы курите в качку сигару и ожидаете после этого, что вас укачает: напрасно!" – сказал мне один из спутников. И в самом деле напрасно: во всё время плавания я ни разу не почувствовал ни малейшей дурноты и возбуждал зависть даже в морях.

Я с первого шага на корабль стал осматриваться. И теперь еще, при конце плавания, я помню то тяжелое впечатление, от которого сжалось сердце, когда я в первый раз вглядывался в принадлежности судна, заглянул в трюм, в темные закоулки, как мышиные норки, куда едва доходит бледный луч света чрез толстое в ладонь стекло. С первого раза невыгодно действует на воображение всё, что потом привычному глазу кажется удобством: недостаток света, простора, люки, куда люди как будто проваливаются, пригвожденные к стенам комоды и диваны, привязанные к полу столы и стулья, тяжелые орудия, ядра и картечи, правильными кучами на кранцах, как на подносах, расставленные у орудий; груды снастей, висящих, лежащих,двигающихся и неподвижных, койки вместо постелей, отсутствие всего лишнего; порядок и стройность вместо красивого беспорядка и некрасивой распушенности, как в людях, так и в убранстве этого плавучего жилища. Робко ходит в первый раз человек на корабле: каюта ему кажется гробом, а между тем едва ли он безопаснее в многолюдном городе, на шумной улице, чем на крепком парусном судне, в океане. Но к этой истине я пришел нескоро.

Нам, русским, делают упрек в лени, и недаром. Сознаемся сами, без помощи иностранцев, что мы тяжелы на подъем. Можно ли поверить, что в Петербурге есть множество людей, тамошних уроженцев, которые никогда не бывали в Кронштадте оттого, что туда надо ехать морем, именно оттого, зачем бы стоило съездить за тысячу верст, чтобы только испытать этот способ путешествия? Моряки особенно жаловались мне на недостаток любознательности в нашей публике ко всему, что касается моря и флота, и приводили в пример англичан, которые толпами, с женами и детьми, являются на всякий корабль, приходящий в порт. Первая часть упрека совершенно основательна, то есть в недостатке любопытства; что касается до второй, то англичане нам не пример.

У англичан море – их почва: им не по чем ходить больше. Оттого в английском обществе есть множество женщин, которые бывали во всех пяти частях света.

Некоторые постоянно живут в Индии и приезжают видаться с родными в Лондон, как у нас из Тамбова в Москву. Следует ли от этого упрекать наших женщин, что они не бывают в Китае, на мысе Доброй Надежды, в Австралии, или англичанок за то, что они не бывают на Камчатке, на Кавказе, в глубине азиатских степей?

Но не знать петербургскому жителю, что такое палуба, мачта, рей, трюм, трап, где корма, где нос, главные части и принадлежности корабля, – не совсем позволительно, когда под боком стоит флот. Многие оправдываются тем, что они не имеют между моряками знакомых и оттого затрудняются сделать визит на корабль, не зная, как "моряки примут". А примут отлично, как хорошие знакомые; даже самолюбию их будет приятно участие к их делу, и они познакомят вас с ним с радушием и самою изысканною любезностью. Поезжайте летом на кронштадтский рейд, на любой военный корабль, адресуйтесь к командиру, или старшему, или, наконец, к вахтенному (караульному) офицеру с просьбой осмотреть корабль, и если нет "авральной" работы на корабле, то я вам ручаюсь за самый приятный прием.

Приехав на фрегат, еще с багажом, я не знал, куда ступить, и в незнакомой толпе остался совершенным сиротой. Я с недоумением глядел вокруг себя и на свои сложенные в

кучу вещи. Не прошло минуты, ко мне подошли три офицера: барон Шлипенбах, мичманы Болтин и Колокольников – мои будущие спутники и отличные приятели. С ними подошла куча матросов. Они разом схватили всё, что было со мной, чуть не меня самого, и понесли в назначенную мне каюту. Пока барон Шлипенбах водворял меня в ней, Болтин привел молодого, коренастого, гладко стриженного матроса. "Вот этот матрос вам назначен в вестовые", – сказал он. Это был Фаддеев, с которым я уже давно познакомил вас. "Честь имею явиться", – сказал он, вытянувшись и оборотившись ко мне не лицом, а грудью: лицо у него всегда было обращено несколько стороной к предмету, на который он смотрел. Русые волосы, белые глаза, белое лицо, тонкие губы – всё это напоминало скорее Финляндию, нежели Кострому, его родину. С этой минуты мы уже с ним неразлучны до сих пор. Я изучил его недели в три окончательно, то есть пока шли до Англии; он меня, я думаю, в три дня. Сметливость и "себе на уме" были не последними его достоинствами, которые прикрывались у него наружною неуклюжестью костромитянина и субординациею матроса. "Помоги моему человеку установить вещи в каюте", – отдал я ему первое приказание. И то, что моему слуге стало бы на два утра работы, Фаддеев сделал в три приема – не спрашивайте как.

Такой ловкости и цепкости, какою обладает матрос вообще, а Фаддеев в особенности, встретишь разве в кошке. Через полчаса всё было на своем месте, между прочим и книги, которые он расположил на комодке в углу полукружием и перевязал, на случай качки, веревками так, что нельзя было вынуть ни одной без его же чудовищной силы и ловкости, и я до Англии пользовался книгами из чужих библиотек.

"Вы, верно, не обедали, – сказал Болтин, – а мы уже кончили свой обед: не угодно ли закусить?" Он привел меня в кают-компанию, просторную комнату внизу, на кубрике, без окон, но с люком наверху, чрез который падает обильный свет. Кругом помещались маленькие каюты офицеров, а посредине насквозь проходила бизань-мачта, замаскированная круглым диваном. В кают-компании стоял длинный стол, какие бывают в классах, со скамьями. На нем офицеры обедают и занимаются. Была еще кушетка, и больше ничего. Как ни массивен этот стол, но, при сильной качке, и его бросало из стороны в сторону, и чуть было однажды не задавило нашего миньютюрного, доброго, услужливого распорядителя офицерского стола П. А. Тихменева. В офицерских каютах было только место для постели, для комода, который в то же время служил и столом, и для стула. Но зато всё пригнано к помещению всякой всячины как нельзя лучше. Платье висело на перегородке, белье лежало в ящиках, устроенных в постели, книги стояли на полках.

Офицеров никого не было в кают-компании: все были наверху, вероятно "на авральной работе". Подали холодную закуску. А. А. Болтин угощал меня.

"Извините, горячего у нас ничего нет, – сказал он, – все огни потушены.

Порох принимаем". – "Порох? А много его здесь?" – осведомился я с большим участием. "Пудов пятьсот приняли: остается еще принять пудов триста". – "А где он у вас лежит?" – еще с большим участием спросил я. "Да вот здесь, – сказал он, указывая на пол, – под вами". Я немного приостановился жевать при мысли, что подо мной уже лежит пятьсот пудов пороху и что в эту минуту вся "авральная работа" сосредоточена на том, чтобы подложить еще пудов триста. "Это хорошо, что огни потушены", – похвалил я за предусмотрительность. "Помилуйте, что за хорошо: курить нельзя", – сказал другой, входя в каюту. "Вот какое различие бывает во взглядах на один и тот же предмет!" – подумал я в ту минуту, а через месяц, когда, во время починки фрегата в Портсмуте, сдавали порох на сбережение в английское адмиралтейство, ужасно роптал, что огня не дают и что покурить нельзя.

К вечеру собрались все: камбуз (печь) запылал; подали чай, ужин – и задымились сигары. Я перезнакомился со всеми, и вот с тех пор до сей минуты – как дома. Я думал, судя по прежним слухам, что слово "чай" у моряков есть только аллегория, под которою надо разуместь пунш, и ожидал, что когда офицеры соберутся к столу, то начнется авральная работа за пуншем, загорится живой разговор, а с ним и носы, потом кончится дело

объяснениями в дружбе, даже объятиями, – словом, исполнится вся программа оргии. Я уже придумал, как мне отделаться от участия в ней. Но, к удивлению и удовольствию моему, на длинном столе стоял всего один графин хереса, из которого человека два выпили по рюмке, другие и не заметили его. После, когда предложено было вовсе не подавать вина за ужином, все единодушно согласилось. Решили: излишек в экономии от вина приложить к сумме, определенной на библиотеку. О ней был длинный разговор за ужином, "а об водке ни полслова!" Не то рассказывал мне один старый моряк о прежних временах! "Бывало, сменишься с вахты иззябший и перемокший – да какхватишь стаканов шесть пунша!.." – говорил он. Фаддеев устроил мне койку, и я, несмотря на октябрь, на дождь, на лежавшие под ногами восемьсот пудов пороха, заснул, как редко спал на берегу, утомленный хлопотами переезда, убаюканный свежестью воздуха и новыми, не неприятными впечатлениями. Утром я только что проснулся, как увидел в каюте своего городского слугу, который не успел с вечера отправиться на берег и ночевал с матросами. "Барин! – сказал он встревоженным и умоляющим голосом, – не ездите, Христа ради, по морю!" – "Куда?" – "А куда едете: на край света". – "Как же ехать?" – "Матросы сказывали, что сухим путем можно". – "Отчего ж не по морю?" – "Ах, Господи! какие страсти рассказывают. Говорят, вон с этого бревна, что наверху поперек висит..." – "С рея, – поправил я. – Что ж случилось?" – "В бурю ветром пятнадцать человек в море снесло; насилу вытащили, а один утонул. Не ездите, Христа ради!" Вслушавшись в наш разговор, Фаддеев заметил, что качка ничего, а что есть на море такие места, где "крутит", и когда корабль в эдакую "кручу" попадает, так сейчас вверх килем повернется. "Как же быть-то, – спросил я, – и где такие места есть?" – "Где такие места есть? – повторил он, – штурмана знают, туда не ходят".

Итак, мы снялись с якоря. Море бурно и желто, облака серые, непроницаемые; дождь и снег шли попеременно – вот что провожало нас из отечества. Ванты и снасти леденели. Матросы в байковых пальто жались в кучу. Фрегат, со скрипом и стоном, переваливался с волны на волну; берег, в виду которого шли мы, зарылся в туманах. Вахтенный офицер, в кожаном пальто и клеенчатой фуражке, зорко глядел вокруг, стараясь не выставлять наружу ничего, кроме усов, которым предоставлялась полная свобода мерзнуть и мокнуть. Больше всех заботы было деду. Я в предыдущих письмах познакомил вас с ним и почти со всеми моими спутниками. Не стану возвращаться к их характеристике, а буду упоминать о каждом кстати, когда придет очередь.

Деду, как старшему штурманскому капитану, предстояло наблюдать за курсом корабля. Финский залив весь усеян мелями, но он превосходно обставлен маяками, и в ясную погоду в нем так же безопасно, как на Невском проспекте.

А теперь, в туман, дед, как ни напрягал зрение, не мог видеть Нервинского маяка. Беспокойству его не было конца. У него только и было разговору, что о маяке. "Как же так, – говорил он всякому, кому и дела не было до маяка, между прочим и мне, – по расчету уж с полчаса мы должны видеть его. Он тут, непременно тут, вот против этой ванты, – ворчал он, указывая коротеньким пальцем в туман, – да каторжный туман мешает". – "Ах ты, Господи! поди-ка посмотри ты, не увидишь ли?" – говорил он кому-нибудь из матрос. "А это что такое там, как будто стрелка?.." – сказал я. "Где? где?" – живо спросил он.

"Да вон, кажется..." – говорил я, указывая вдаль. "Ах, в самом деле – вон, вон, да, да! Виден, виден! – торжественно говорил он и капитану, и старшему офицеру, и вахтенному и бегал то к карте в каюту, то опять наверх. – Виден, вот, вот он, весь виден!" – твердил он, радуясь, как будто увидел родного отца. И пошел мерять и высчитывать узлы.

Мы прошли Готланд. Тут я услышал морское поверье, что, поравнявшись с этим островом, суда бросали, бывало, медную монету духу, охраняющему остров, чтобы он пропустил мимо без бурь. Готланд – камень с крутыми ровными боками, к которым нет никакого приступа кораблям. Не раз они делались добычей бурного духа, и свирепое море высоко подбрасывало обломки их, а иногда и трупы, на крутые бока негостеприимного острова. Прошли и Борнгольм – помните "милый Борнгольм" и таинственную, недосказанную легенду Карамзина? Всё было холодно, мрачно. На фрегате открылась

холера, и мы, дойдя только до Дании, похоронили троих людей, да один смелый матрос сорвался в бурную погоду в море и утонул. Таково было наше обручение с морем, и предсказание моего слуги отчасти сбылось. Подать упавшему помощь, не жертвуя другими людьми, по причине сильного волнения, было невозможно.

Но дни шли своим чередом и жизнь на корабле тоже. Отправляли службу, обедали, ужинали – всё по свистку, и даже по свистку веселились. Обед – это тоже своего рода авральная работа. В батарейной палубе привешиваются большие чашки, называемые "баками", куда накладывается кушанье из одного общего, или "братского", котла. Дают одно блюдо: щи с солониной, с рыбой, с говядиной или кашу; на ужин то же, иногда кашу. Я подошел однажды попробовать. "Хлеб да соль", – сказал я. Один из матросов, из учтивости, чисто облизал свою деревянную ложку и подал мне. Щи превкусные, с сильною приправой луку. Конечно, нужно иметь матросский желудок, то есть нужен мочиюн матроса, чтобы переварить эти куски солонины и лук с вареною капустой – любимое матросами и полезное на море блюдо. "Но одно блюдо за обедом – этого мало, – думалось мне, – матросы, пожалуй, голодны будут". – "А много ли вы едите?" – спросил я. "До отвала, ваше высокоблагородие", – в пять голосов отвечали обедающие. В самом деле, то от одной, то от другой группы опрометью бежал матрос с пустой чашкой к братскому котлу и возвращался осторожно, неся полную до краев чашку.

Веселились по свистку, сказал я; да, там, где собрано в тесную кучу четыреста человек, и самое веселье подчинено общему порядку. После обеда, по окончании работ, особенно в воскресенье, обыкновенно раздается команда:

"Свистать песенников наверх!" И начинается веселье. Особенно я помню, как это странно поразило меня в одно воскресенье. Холодный туман покрывал небо и море, шел мелкий дождь. В такую погоду хочется уйти в себя, сосредоточиться, а матросы пели и плясали. Но они странно плясали: усиленные движения явно разногласили с этою сосредоточенностью. Пляшущие были молчаливы, выражения лиц хранили важность, даже угрюмость, но тем, кажется, они усерднее работали ногами. Зрители вокруг, с тою же угрюмою важностью, пристально смотрели на них. Пляска имела вид напряженного труда.

Плясали, кажется, лишь по сознанию, что сегодня праздник, следовательно, надо веселиться. Но если б отменили удовольствие, они были бы недовольны.

Плавание становилось однообразно и, признаюсь, скучновато: всё серое небо, да желтое море, дождь со снегом или снег с дождем – хоть кому надоест. У меня уж заболели зубы и висок. Ревматизм напомнил о себе живее, нежели когда-нибудь. Я слег и несколько дней пролежал, закутанный в теплые одеяла, с подвязанною щекой.

Только у берегов Дании повеяло на нас теплом, и мы ожили. Холера исчезла со всеми признаками, ревматизм мой унялся, и я стал выходить на улицу – так я прозвал палубу. Но бури не покидали нас: таков обычай на Балтийском море осенью. Пройдет день-два – тихо, как будто ветер собирается с силами, и грянет потом так, что бедное судно стонет, как живое существо.

День и ночь на корабле бдительно следят за состоянием погоды. Барометр делается общим оракулом. Матрос и офицер не смеют надеяться проспать покойно свою смену. "Пошел все наверх!" – раздается и среди ночного безмолвия. Я, лежа у себя в койке, слышу всякий стук, крик, всякое движение парусов, командные слова и начинаю понимать смысл последних. Когда заслышишь приказание: "Поставить брамсели, лиселя", покойно закутываешься в одеяло и засыпаешь беззаботно: значит, тихо, покойно. Зато как наостришь уши, когда велят "братъ два, три рифа", то есть уменьшить парус. Лучше и не засыпать тогда: всё равно после проснешься поневоле.

Заговорив о парусах, кстати скажу вам, какое впечатление сделала на меня парусная система. Многие наслаждаются этою системой, видя в ней доказательство будто бы могущества человека над бурною стихией. Я вижу совсем противное, то есть доказательство его бессилия одолеть воду.

Посмотрите на постановку и уборку парусов вблизи, на сложность механизма, на эту

сеть снастей, канатов, веревок, концов и веревочек, из которых каждая отправляет свое особенное назначение и есть необходимое звено в общей цепи; взгляните на число рук, приводящих их в движение. И между тем к какому неполному результату приводят все эти хитрости! Нельзя определить срок прибытия парусного судна, нельзя бороться с противным ветром, нельзя сдвинуться назад, наткнувшись на мель, нельзя поворотить сразу в противную сторону, нельзя остановиться в одно мгновение. В штиль судно дремлет, при противном ветре лавирует, то есть виляет, обманывает ветер и выигрывает только треть прямого пути. А ведь несколько тысяч лет убито на то, чтоб выдумывать по парусу и по веревке в столетие. В каждой веревке, в каждом крючке, гвозде, дощечке читаешь историю, каким путем истязаний приобрело человечество право плавать по морю при благоприятном ветре. Всех парусов до тридцати: на каждое дуновение ветра приходится по парусу. Оно, пожалуй, красиво смотреть со стороны, когда на бесконечной глади вод плывет корабль, окрыленный белыми парусами, как подобие лебедя, а когда попадешь в эту паутину снастей, от которых проходу нет, то увидишь в этом не доказательство силы, а скорее безнадежность на совершенную победу. Парусное судно похоже на старую кокетку, которая нарумянится, набелится, подденет десять юбок и затянется в корсет, чтобы подействовать на любовника, и на минуту иногда успеет; но только явится молодость и свежесть сил – все ее хлопоты разлетятся в прах. И парусное судно, обмотавшись веревками, завесившись парусами, роет туда же, кряхтя и охая, волны; а чуть задует в лоб – крылья и повисли. До паров еще, пожалуй, можно бы не то что гордиться, а забавляться сознанием, что вот-де дошли же до того, что плаваем по морю с попутным ветром. Некоторые находят, что в пароходе меньше поэзии, что он не так опрятен, некрасив. Это от непривычки: если б пароходы существовали несколько тысяч лет, а парусные суда недавно, глаз людской, конечно, находил бы больше поэзии в этом быстром, видимом стремлении судна, на котором не мечется из угла в угол измученная толпа людей, стараясь угодить ветру, а стоит в бездействии, скрестив руки на груди, человек, с покойным сознанием, что под ногами его сжата сила, равная силе моря, заставляющая служить себе и бурю, и штиль. Напрасно водили меня показывать, как красиво вздуваются паруса с подветренной стороны, как фрегат, лежа боком на воде, режет волны и мчится по двенадцати узлов в час. "Эдак и пароход не пойдет!" – говорят мне. "Да зато пароход всегда пойдет". Горе моряку старинной школы, у которого весь ум, вся наука, искусство, а за ними самолюбие и честолюбие расселись по снастям. Дело решено. Паруса остались на долю мелких судов и небогатых промышленников; всё остальное усвоило пар.

Ни на одной военной верфи не строят больших парусных судов; даже старые переделываются на паровые. При нас в портсмутском адмиралтействе розняли уже совсем готовый корабль пополам и вставили паровую машину.

Мы вошли в Зунд; здесь не выдавшему никогда ничего, кроме наших ровных степных местностей, в первый раз являются в тумане картины гор, желтых, лиловых, серых, смотря по освещению солнца и расстоянию. Шведский берег весь гористый. Датский виден ясно. Он нам представил картину увядшей осенней зелени, несколько деревень. Романтики, глядя на крепости обоих берегов, припоминали могилу Гамлета; более положительные люди рассуждали о несправедливости зундских пошлин, самые положительные – о необходимости запастись свежей провизией, а все вообще мечтали съехать на сутки на берег, ступить ногой в Данию, обегать Копенгаген, взглянуть на физиономию города, на картину людей, быта, немного расправить ноги после качки, поесть свежих устриц. Но ничего этого не случилось. На другой день заревел шторм, сообщения с берегом не было, и мы простояли, помнится, трое суток в печальном бездействии. Простоять в виду берега, не имея возможности съехать на него, гораздо скучнее, нежели пробыть месяц в море, не видя берегов. В этом я убедился вполне. Обедали, пили чай, разговаривали, читали, заучили картину обоих берегов наизусть, и все-таки времени оставалось много.

Изредка нарушалось однообразие неожиданным развлечением. Вбежит иногда в капитанскую каюту вахтенный и тревожно скажет: "Купец наваливается, ваше высокоблагородие!" Книги, обед – всё бросается, бегут наверх; я туда же. В самом деле,

купеческое судно, называемое в море коротко купец, для отличия от военного, сбитое течением или от неумения править, так и ломит, или на нос, или на корму, того и гляди стукнется, повредит как-нибудь утлегарь, поломают рей – и не перечесть, сколько наделает вреда себе и другим.

Начинается крик, шум, угрозы, с одной стороны по-русски, с другой – энергические ответы и оправдания по-голландски, или по-английски, по-немецки. Друг друга в суматохе не слышат, не понимают, а кончится все-таки тем, что расцепятся, – и всё смолкнет: корабль нем и недвижим опять; только часовой задумчиво ходит с ружьем взад и вперед.

Завидят ли огни ночью – еще больше тревоги. На бдительность купеческих судов надеяться нельзя. Там всё принесено в жертву экономии; от этого людей на них мало, рулевой большею частью один: нельзя понадеяться, что ночью он не задремлет над колесом и не прозевает встречных огней. Столкновение двух судов ведет за собой неминуемую гибель одного из них, меньшего непременно, а иногда и обоих. От этого всегда поднимается гвалт на судне, когда завидят идущие навстречу огни, кричат, бьют в барабан, жгут бенгальские огни, и если судно не меняет своего направления, палят из пушек. Это особенно приятно, когда многие спят по каютам и не знают, в чем дело, а тут вдруг раздается треск, от которого дрогнет корабль. Но и к этому привыкаешь.

Барон Шлипенбах один послан был по делу на берег, а потом, вызвав лоцмана, мы прошли Зунд, лишь только стихнул шторм, и пустились в Каттегат и Скагеррак, которые пробежали в сутки.

Я в это время читал замечательную книгу, от которой нельзя оторваться, несмотря на то что читал уже не совсем новое. Это "История кораблекрушений", в которой собраны за старое и новое время все случаи известных кораблекрушений со всеми последствиями. В. А. Корсаков читал ее и дал мне прочесть "для успокоения воображения", как говорил он. Хорошо успокоение: прочесть подряд сто историй, одна страшнее и плачевнее другой, когда пускаешься года на три жить на море! Только и говорится о том, как корабль стукнулся о камень, повалился на бок, как рухнули мачты, палубы, как гибли сотнями люди – одни раздавленные пушками, другие утонули...

Взглянешь около себя и увидишь мачты, палубы, пушки, слышишь рев ветра, а невдалеке, в красноречивом безмолвии, стоят красивые скалы: не раз содрогнешься за участь путешественников!.. Но я убедился, что читать и слушать рассказы об опасных странствиях гораздо страшнее, нежели испытывать последние. Говорят, и умирающему не так страшно умирать, как свидетелям смотреть на это.

Потом, вникая в устройство судна, в историю всех этих рассказов о кораблекрушениях, видишь, что корабль погибает не легко и не скоро, что он до последней доски борется с морем и носит в себе пропасть средств к защите и самохранению, между которыми есть много предвиденных и непредвиденных, что, лишась почти всех своих членов и частей, он еще тысячи миль носится по волнам, в виде остова, и долго хранит жизнь человека. Между обреченным гибели судном и расвирепевшим морем завязывается упорная битва: с одной стороны слепая сила, с другой – отчаяние и зоркая хитрость, указывающая самому крушению совершаться постепенно, по правилам. Есть целая теория, как защищаться от гибели. Срежет ли ураган у корабля все три мачты: кажется, как бы не погибнуть? Ведь это всё равно что отрезать вожжи у горячей лошади, а между тем поставят фальшивые мачты из запасного дерева – и идут.

Оторвется ли руль: надежда спастись придает изумительное проворство, и делается фальшивый руль. Оказывается ли сильная пробоина, ее затягивают на первый случай просто парусом – и отверстие "засасывается" холстом и не пропускает воду, а между тем десятки рук изготовляют новые доски, и пробоина заколачивается. Наконец судно отказывается от битвы, идет ко дну: люди бросаются в шлюпку и на этой скорлупке достигают ближайшего берега, иногда за тысячу миль.

В Немецком море, когда шторм утих, мы видели одно такое безнадежное судно. Мы сначала не знали, что подумать о нем. Флага не было: оно не подняло его, когда мы

требовали этого, подняв свой. Подойдя ближе, мы не заметили никакого движения на нем. Наконец поехали на шлюпке к нему – на нем ни одного человека: судно было брошено на гибель. Трюм постоянно наполнялся водой, и если бы мы остались тут, то, вероятно, к концу дня увидели бы, как оно погрузится на дно. Видите ли, сколько времени нужно и безнадежному судну, чтобы потонуть... к концу дня! А оно уже было лишено своего разума и воли, то есть людей, и, следовательно, перестало бороться.

Оно гибло безответно. Носовая его часть опустилась: печальная картина, как картина всякой агонии!

В этот же день, недалеко от этого корабля, мы увидели еще несколько точек вдали и слышали крик. В трубу разглядели лодки; подвигаясь ближе, различили явственное человеческие голоса. "Рыбаки, должно быть", – сказал капитан. "Нет, – возразил отец Аввакум, – слышите, вопли! Это, вероятно, погибающие просят о помощи: нельзя ли поворотить?" Капитан был убежден в противном; но, чтоб не брать греха на душу, велел держать на рыбаков. Ему, однако ж, не очень нравилось терять время по-пустому: военным судам разгуливать по морю некогда. "Если это, – ворчал он, – рыбаки кричат, предлагают рыбу... Приготовить брандспойты!" – приказал он вахтенному (брандспойты – пожарные трубы). Матросам велено было набрать воды и держать трубы наготове. Черные точки между тем превратились в лодки. Вот видны и люди, которые, стоя в них, вопят так, что, я думаю, в Голландии слышно.

Подходим ближе – люди протягивают к нам руки, умоляя – купить рыбы. Велено держать вплоть к лодкам. "Брандспойты!" – закричал вахтенный, и рыбакам задан был обильный душ, к несказанному удовольствию наших матросов, и рыбаков тоже, потому что и они засмеялись вместе с нами.

Впрочем, напрасно капитан дорожил так временем. Мы рассчитывали 20-го, 21-го октября прийти в Портсмут, а пробыли в Немецком море столько, что имели бы время сворачивать и держать на каждого рыбака, которого только завидим. Задул постоянный противный ветер и десять дней не пускал войти в Английский канал. "Что ж вы делали десять дней?" – спросите вы. Вам трудно представить себе, когда час езды между Петербургом и Кронштадтом наводит скуку. Да, несколько часов пробыть на море скучно, а несколько недель – ничего, потому что несколько недель уже есть капитал, который можно употребить в дело, тогда как из нескольких часов ничего не сделаешь.

Впрочем, у нас были и развлечения: появились касатки, или морские свиньи.

Они презабавно прыгали через волны, показывая черные толстые хребты. По вечерам, наклонясь над бортом, мы любовались сверкающими в пучине фосфорическими искрами мелких животных.

Идучи Балтийским морем, мы обедали почти роскошно. Припасы были свежие, повар отличный. Но лишь только задул противный ветер, стали опасаться, что он задержит нас долго в море, и решили беречь свежие припасы. Опасение это оправдалось вполне. Оставалось миль триста до Портсмута: можно бы промахнуть это пространство в один день, а мы носились по морю десять дней, и всё по одной линии. "Где мы?" – спросишь, проснувшись, утром у деда. "В море", – говорит он сердито. "Я знаю это и без вас, – еще сердитее отвечаете вы, – да на каком же месте?" – "Вон, взгляните, разве не видите? Всё там же, где были и вчера: у Галлоперского маяка". – "А теперь куда идем?" – "Куда и вчера ходили: к Доггерской банке". Банка эта мелка относительно общей глубины моря, но имеет достаточную глубину для больших кораблей. На ней не только безопасно, но даже волнение не так чувствительно. На ней стараются особенно держаться голландские рыбацьи суда. "Ну что, подвигаемся?" – спросите потом вечером у деда, общего оракула. "Как же, отлично: крутой бейдевинд: семь с половиной узлов хода". – "Да подвигаемся ли вперед?" – спрашиваете вы с нетерпением.

"Разумеется, вперед: к Галлоперскому маяку, – отвечает дед, – уж, чай, и виден!" Вследствие этого на столе чаще стала появляться солонина; состаревшиеся от морских тревожений куры и утки и поросята, выросшие до степени свиней, поступили в число

тонких блюд. Даже пресную воду стали выдавать по порциям: сначала по две, потом по одной кружке в день на человека, только для питья. Умываться предложено было морской водой, или не умываться, *ad libitum*. Скажу вам по секрету, что Фаддеев изловчился как-то обманывать бдительность Терентьева, трюмного унтер-офицера, и из-под носа у него таскал из систерн каждое утро по кувшину воды мне на умыванье.

"Достал, – говорил он радостно каждый раз, вбегая с кувшином в каюту, – на вот, ваше высокоблагородие, мойся скорее, чтоб не застали да не спросили, где взял, а я пока достану тебе полотенце рожу вытереть!" (ей-богу, не лгу!). Это костромское простодушие так нравилось мне, что я Христом Богом просил других не учить Фаддеева, как обращаться со мною. Так удавалось ему дня три, но однажды он воротился с пустым кувшином, ерошил рукой затылок, чесал спину и чему-то хохотал, хотя сквозь смех проглядывала некоторая принужденность. "Э! леший, черт, какую затрещину дал!" – сказал он наконец, глядя то спину, то голову. "Кто, за что?" – "Терентьев, черт эдакой! увидал, сволочь! Я зачерпнул воды-то, уж и на трап пошел, а он откуда-то и подвернулся, вырвал кувшин, вылил воду назад да как треснет по затылку, я на трап, а он сзади вдогонку лопарем по спине съездил!" И опять засмеялся.

Я уж писал вам, как радовала Фаддеева всякая неудача, приключившаяся кому-нибудь, полученный толчок, даже им самим, как в настоящем случае.

Главный надзор за трюмом поручен был П. А. Тихменеву, о котором я упомянул выше. Он был добрый и обязательный человек вообще, а если подделаться к нему немножко, тогда нет услуги, которой бы он ни оказал. Все знали это и частенько пользовались его добротой. Он, по общему выбору, распоряжался хозяйством кают-компаний, и вот тут-то встречалось множество поводов обязать того, другого, вспомнить, что один любит такое-то блюдо, а другой не любит и т. п. Он часто бывал жертвою своей обязательности, затрудняясь, как угодить вдруг многим, но большею частью выходил из затруднений победителем. А иногда его брал задор: всё это подавало постоянный повод к бесчисленным сценам, которые развлекали нас не только между Галлоперским маяком и Доггерской банкой, но и в тропиках, и под экватором, на всех четырех океанах, и развлекают до сих пор. Например, он заметит, что кто-нибудь не ест супу. "Отчего вы не едите супу?" – спросит он. "Так, не хочется", – отвечают ему. "Нет, вы скажите откровенно", – настаивает он, мучимый опасением, чтобы не обвинили его в небрежности или неуменье, пуще всего в неуменье исполнять свою обязанность. Он был до крайности щекотлив. "Да, право, я не хочу: так что-то..." – "Нет, верно, нехорош суп: недаром вы не едите. Скажите, пожалуйста!" Наконец тот решается сказать что-нибудь. "Да, что-то сегодня не вкусен суп..." Он не успел еще договорить, как кроткий Петр Александрович свирепеет. "А чем он нехорош, позвольте спросить? – вдруг спрашивает он в негодовании, – сам покупал провизию, старался угодить – и вот награда! Чем нехорош суп?" – "Нет, я ничего, право..." – начинает тот. "Нет, извольте сказать, чем он нехорош, я требую этого, – продолжает он, окидывая всех взглядом, – двадцать человек обедают, никто слова не говорит, вы один только..."

Господа, я спрашиваю вас – чем нехорош суп? Я, кажется, прилагаю все старания, – говорит он со слезами в голосе и с пафосом, – общество удостоило меня доверия, надеюсь, никто до сих пор не был против этого, что я блистательно оправдывал это доверие; я дорожку оказанною мне доверенностью..." – и так продолжает, пока дружно не захохочут все и наконец он сам. Иногда на другом конце заведут стороною, вполголоса, разговор, что вот зелень не свежа, да и дорога, что кто-нибудь будто был на берегу и видел лучше, дешевле. "Что вы там шепчете, позвольте спросить?" – строго спросит он. "Вам что за дело?" – "Может быть, что-нибудь насчет стола, находите, что это нехорошо, дорого, так снимите с меня эту обязанность: я ценю ваше доверие, но если я мог возбудить подозрения, недостойные вас и меня, то я готов отказаться..." Он даже встанет, положит салфетку, но общий хохот опять усадит его на место.

Избалованный общим вниманием и участием, а может быть и баловень дома, он любил иногда привередничать. Начнет охать, вздыхать, жаловаться на небывалый недуг или

утомление от своих обязанностей и требует утешений.

"Витул, Витул! – томно кличет он, отходя ко сну, своего вестового. – Я так устал сегодня: раздень меня да уложи". Раздевание сопровождается вздохами и жалобами, которые слышны всем из-за перегородки. "Завтра на вахту рано вставать, – говорит он, вздыхая, – подложи еще подушку, повыше, да постой, не уходи, я, может быть, что-нибудь вздумаю!" Вот к нему-то я и обратился с просьбой, нельзя ли мне отпускать по кружке пресной воды на умыванье, потому-де, что мыло не распускается в морской воде, что я не моряк, к морскому образу жизни не привык, и, следовательно, на меня, казалось бы, строгость эта распространяться не должна. "Вы знаете, – начал он, взяв меня за руки, – как я вас уважаю и как дорожу вашим расположением: да, вы не сомневаетесь в этом?" – настойчиво допытывался он. "Нет", – с чувством подтвердил я, в надежде, что он станет давать мне пресную воду. "Поверьте, – продолжал он, – что если б я среди моря умирал от жажды, я бы отдал вам последний стакан: вы верите этому?" – "Да", – уже нерешительно отвечал я, начиная подозревать, что не получу воды. "Верьте этому, – продолжал он, – но мне больно, совестно, я готов – ах, Боже мой! зачем это... Вы, может быть, подумаете, что я не желаю, не хочу... (и он пролил поток синонимов). Нет, не не хочу я, а не могу, не приказано. Поверьте, если б я имел хоть малейшую возможность, то, конечно, надеюсь, вы не сомневаетесь..." И повторил свой монолог. "Ну, нечего делать: le devoir avant tout, – сказал я, – я не думал, что это так строго". Но ему жаль было отказать совсем. "Вы говорите, что Фаддеев таскал воду тихонько", – сказал он. "Да". – "Так я его за это на бак отправлю". – "Вам мало кажется, что его Терентьев попотчевал лопарем, – заметил я, – вы еще хотите прибавить? Притом я сказал вам это по доверенности, вы не имеете права..." – "Правда, правда, нет, это я так... Знаете что, – перебил он, – пусть он продолжает потихоньку таскать по кувшину, только, ради Бога, не больше кувшина: если его Терентьев и поймает, так что ж ему за важность, что лопарем ударит или затрещину даст: ведь это не всякий день..." – "А если Терентьев скажет вам, или вы сами поймаете, тогда..." – "Отправлю на бак!" – со вздохом прибавил Петр Александрович.

Уж я теперь забыл, продолжал ли Фаддеев делать экспедиции в трюм для добывания мне пресной воды, забыл даже, как мы провели остальные пять дней странствования между маяком и банкой; помню только, что однажды, засидевшись долго в каюте, я вышел часов в пять после обеда на палубу – и вдруг близехонько увидел длинный, скалистый берег и пустые зеленые равнины.

Я взглядом спросил кого-то: что это? "Англия", – отвечали мне. Я присоединился к толпе и молча, с другими, стал пристально смотреть на скалы. От берега прямо к нам шла шлюпка; долго кувыркалась она в волнах, наконец пристала к борту. На палубе показался низенький, приземистый человек в синей куртке, в синих панталонах. Это был лоцман, вызванный для прохода фрегата по каналу.

Между двух холмов лепилась куча домов, которые то скрывались, то появлялись из-за бахромы набегавших на берег бурунов: к вершинам холмов прилипло облако тумана. "Что это такое?" – спросил я лоцмана. "Dover", – каркнул он. Я оглянулся налево: там рисовался неясно сизый, неровный и крутой берег Франции. Ночью мы бросили якорь на Спитгедском рейде, между островом Вайтом и крепостными стенами Портсмута.

Июнь 1854 года.

На шкуне "Восток", в Татарском проливе.

Здесь прилагаю два письма к вам, которые я не послал из Англии, в надежде, что со временем успею дополнить их наблюдениями над тем, что видел и слышал в Англии, и привести всё в систематический порядок, чтобы представить вам удовлетворительный

результат двухмесячного пребывания нашего в Англии. Теперь вижу, что этого сделать не в состоянии, и потому посылаю эти письма без перемены, как они есть. Удовольствуйтесь беглыми заметками, не о стране, не о силах и богатстве ее; не о жителях, не о их нравах, а о том только, что мелькнуло у меня в глазах. У какого путешественника достало бы смелости чертить образ Англии, Франции – стран, которые мы знаем не меньше, если не больше, своего отечества? Поэтому самому наблюдательному и зоркому путешественнику позволительно только прибавить какую-нибудь мелкую, ускользнувшую от общего изучения черту; прочим же, в том числе и мне, может быть позволено только разве говорить о своих впечатлениях.

ПИСЬМО 1-е

20 ноября / 2 декабря 1852 года.

Не знаю, получили ли вы мое коротенькое письмо из Дании, где, впрочем, я не был, а писал его во время стоянки на якоре в Зунде. Тогда я был болен и всячески расстроен: всё это должно было отразиться и в письме. Не знаю, смогу ли и теперь сосредоточить в один фокус всё, что со мной и около меня делается, так, чтобы это, хотя слабо, отразилось в вашем воображении. Я еще сам не определил смысла многих явлений новой своей жизни. Голых фактов я сообщать не желал бы: ключ к ним не всегда подберешь, и потому поневоле придется освещать их светом воображения, иногда, может быть, фальшивым, и идти путем догадок там, где темно. Теперь еще у меня пока нет ни ключа, ни догадок, ни даже воображения: всё это подавлено рядом опытов, более или менее трудных, новых, иногда не совсем занимательных, вероятно, потому, что для многих из них нужен запас свежести взгляда и большей впечатлительности: в известные лета жизнь начинает отказывать человеку во многих приманках, на том основании, на каком скупая мать отказывает в деньгах выделенному сыну.

Так, например, я не постиг уже поэзии моря, может быть, впрочем, и оттого, что я еще не видал ни "безмолвного", ни "лазурного" моря и, кроме холода, бури и сырости, ничего не знаю. Слушая пока мои жалобы и стоны, вы, пожалуй, спросите, зачем я уехал? Сначала мне, как школьнику, придется сказать: "Не знаю", а потом, подумав, скажу: "А зачем бы я остался?" Да позвольте: уехал ли я? откуда? из Петербурга? Эдак, пожалуй, можно спросить, зачем я на днях уехал из Лондона, а несколько лет тому назад из Москвы, зачем через две недели уеду из Портсмута и т. д.? Разве я не вечный путешественник, как и всякий, у кого нет семьи и постоянного угла,

"домашнего очага", как говорили в старых романах? Тот уезжает, у кого есть всё это. А прочие век свой живут на станциях. Поэтому я только и выехал, а не уехал. Теперь следуют опасности, страхи, заботы, волнения морского плавания: они могли бы остановить. Как будто их нет или меньше на берегу? А отчего же, откуда эти вечные жалобы на жизнь, эти вздохи? Если нет крупных бед или внешних заметных волнений, зато сколько невидимых, но острых игл вонзается в человека среди сложной и шумной жизни в толпе, при ежедневных стычках "с ближним"! Щадит ли жизнь кого-нибудь и где-нибудь? Вот здесь нет сильных нравственных потрясений, глубоких страстей, живых и разнообразных симпатий и ненавистей. Пружины,двигающие этим, ржавеют на море вместе с железом, сталью и многим другим. Зато тут другие двигатели не дают дремать организму: бури, лишения, опасности, ужас, может быть, отчаяние, наконец следует смерть, которая везде следует; здесь только быстрее, нежели где-нибудь. Видите ли: я имел причины ехать или не имел причины оставаться – всё равно. Теперь нужно только спросить: к чему же этот ряд новых опытов выпал на долю человека, не имеющего запаса свежести и большей впечатлительности, который не может ни с успехом воспользоваться ими, ни оценить, который даже просто устал выносить их? Вот к этому я не могу прибавить ключа; не знаю, что будет дальше: может

быть, он найдется сам собою.

Поэтому я уехал из отечества покойно, без сердечного трепета и с совершенно сухими глазами. Не называйте меня неблагодарным, что я, говоря "о петербургской станции", умолчал о дружбе, которой одной было бы довольно, чтоб удержать человека на месте.

Дружба, как бы она ни была сильна, едва ли удержит кого-нибудь от путешествия. Только любовникам позволительно плакать и рваться от тоски, прощаясь, потому что там другие двигатели: кровь и нервы; оттого и боль в разлуке. Дружба вьет гнездо не в нервах, не в крови, а в голове, в сознании.

Если много явилось и исчезло разных теорий о любви, чувстве, кажется, таком определенном, где форма, содержание и результат так ясны, то воззрений на дружбу было и есть еще больше. В спорах о любви начинают примиряться; о дружбе еще не решили ничего определительного и, кажется, долго не решат, так что до некоторой степени каждому позволительно составить самому себе идею и определение этого чувства. Чаще всего называют дружбу бескорыстным чувством; но настоящее понятие о ней до того затерялось в людском обществе, что такое определение сделалось общим местом, под которым собственно не знают, что надо разуметь. Многие постоянно ведут какой-то арифметический счет – вроде прихода-расходной памятной книжки – своим заслугам и заслугам друга; справляются беспрестанно с кодексом дружбы, который устарел гораздо больше Птоломеевой географии и астрономии или Аристотелевой риторики; всё еще ищут, нет ли чего вроде пиладова подвига, ссылаясь на любовь, имеющую в ежегодных календарях свои статистические таблицы помешательств, отравлений и других несчастных случаев. Когда захотят похвастаться другом, как хвастаются китайским сервисом или дорогою собольей шубой, то говорят: "Это истинный друг", даже выставляют цифру XV, XX, XXX-летний друг и таким образом жалуют друг другу знак отличия и составляют ему очень аккуратный формуляр. Напротив того, про "неистинного" друга говорят: "Этот приходит только есть да пить, а мы не знаем, каков он на деле". Это у многих называется "бескорыстной" дружбой.

Что это, проклятие дружбы? непонимание или непризнание ее прав и обязанностей? Боже меня сохрани! Я только исключил бы слово "обязанности" из чувства дружбы, да и слово "дружба" – тоже. Первое звучит как-то официально, а второе пошло. Разберите на досуге, отчего смешно не в шутку назвать известные отношения мужчины к женщине любовью, а мужчины к мужчине дружбой. Порядочные люди прибегают в этих случаях к перифразам. Обветшали эти названия, скажете вы. А чувства не обветшали: отчего же обветшали слова? И что за дружба такая, что за друг? Точно чин. Плохо, когда друг проводит в путь, встретит или выручит из беды по обязанности, а не по влечению. Не лучше ли, когда порядочные люди называют друг друга просто Семеном Семеновичем или Васильем Васильевичем, не одолжив друг друга ни разу, разве ненарочно, случайно, не ожидая ничего один от другого, живут десятки лет, не неся тяжести уз, которые несет одолженный перед одолжившим, и, наслаждаясь друг другом, если можно, бессознательно, если нельзя, то как можно менее заметно, как наслаждаются прекрасным небом, чудесным климатом в такой стране, где дает это природа без всякой платы, где этого нельзя ни дать нарочно, ни отнять? Мудрено ли, что при таких понятиях я уехал от вас с сухими глазами, чему немало способствовало еще и то, что, уезжая надолго и далеко, покидаешь кучу надоевших до крайности лиц, занятий, стен и едешь, как я ехал, в новые, чудесные миры, в существование которых плохо верится, хотя штурман по пальцам рассчитывает, когда должны прийти в Индию, когда в Китай, и уверяет, что он был везде по три раза.

Декабрь. Лондон.

Как я обрадовался вашим письмам – и обрадовался бескорыстно! в них нет ни одной новости, и не могло быть: в какие-нибудь два месяца не могло ничего случиться; даже никто из знакомых не успел выехать из города или приехать туда. Пожалуйста, не пишите мне, что

началась опера, что на сцене появилась новая французская пьеса, что открылось такое-то общественное увеселительное место: мне хочется забыть физиономию петербургского общества. Я уехал отчасти затем, чтобы отделаться от однообразия, а оно будет преследовать меня повсюду. Сам я только что собрался обещать вам – не писать об Англии, а вы требуете, чтоб я писал, сердитесь, что до сих пор не сказал о ней ни слова. Странная претензия! Ужели вам не наскучило слушать и читать, что пишут о Европе и из Европы, особенно о Франции и Англии?

Прикажете повторить, что туннель под Темзой очень... не знаю, что сказать о нем: скажу – бесполезен, что церковь Св. Павла изящна и громадна, что Лондон многолюден, что королева до сих пор спрашивает позволения лорда-мэра проехать через Сити и т. д. Не надо этого: не правда ли, вы всё это знаете?

Пишите, говорите вы, так, как будто мы ничего не знаем. Пожалуй; но ведь это выйдет вот что: "Англия страна дикая, населена варварами, которые питаются полусырым мясом, запивая его спиртом; говорят гортанными звуками; осенью и зимой скитаются по полям и лесам, а летом собираются в кучу; они угрюмы, молчаливы, мало общительны. По воскресеньям ничего не делают, не говорят, не смеются, важничают, по утрам сидят в храмах, а вечером по своим углам, одиноко, и напиваются порознь; в будни собираются, говорят длинные речи и напиваются сообща". Это описание достойно времен кошихинских, скажете вы, и будете правы, как и я буду прав, сказав, что об Англии и англичанах мне писать нечего, разве вскользь, говоря о себе, когда придется к слову.

Через день, по приходе в Портсмут, фрегат втянули в гавань и ввели в док, а людей перевели на "Кемпердоун" – старый корабль, стоящий в порте праздно и назначенный для временного помещения команд. Там поселились и мы, то есть туда перевезли наши пожитки, а сами мы разъехались. Я уехал в Лондон, пожил в нем, съездил опять в Портсмут и вот теперь воротился сюда.

Долго не изгладятся из памяти те впечатления, которые кладет на человека новое место. На эти случаи, кажется, есть особые глаза и уши, зорче и острее обыкновенных, или как будто человек не только глазами и ушами, но легкими и порами вбирает в себя впечатления, напивается ими, как воздухом. От этого до сих пор памятна мне эта тесная кучка красных, желтых и белых домиков, стоящих будто в воде, когда мы "втягивались" в портсмутскую гавань. От этого так глубоко легла в памяти картина разрезанных нивами полей, точно разлинованных страниц, когда ехал я из Портсмута в Лондон. Жаль только (на этот раз), что везут с неимоверною быстротою: хижины, фермы, города, замки мелькают, как писанные. Погода странная – декабрь, а тепло: вчера была гроза; там вдруг пахнёт холодом, даже послышится запах мороза, а на другой день в пальто нельзя ходить.

Дождей вдоволь; но на это никто не обращает ни малейшего внимания, скорее обращают его, когда проглянет солнце. Зелень очень зелена, даже зеленее, говорят, нежели летом: тогда она желтая. Нужды нет, что декабрь, а в полях работают, собирают овощи – нельзя рассмотреть с дороги – какие. Туманы бывают если не каждый день, то через день непременно; можно бы, пожалуй, нажать сплин; но они не русские, а я не англичанин: что же мне терпеть в чужом пиру похмелье? Довольно и того, что я, по милости их, два раза ходил смотреть Темзу и оба раза видел только непроницаемый пар. Я отчаялся уже и видеть реку, но дохнул ветерок, и Темза явилась во всем своем некрасивом наряде, обстроенная кирпичными неопрятными зданиями, задавленная судами.

Зато какая жизнь и деятельность кипит на этой зыбкой улице, управляемая меркуриевым жезлом!

Не забуду также картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющейся путешественнику, когда он подъезжает к нему вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц движется муравейник.

Но вот я наконец, озадаченный впечатлениями и утомленный трехчасовую

неподвижностью в вагоне и получасовую езду в кебе по городу, водворен в доме, в квартире.

На другой день, когда я вышел на улицу, я был в большом недоумении: надо было начать путешествовать в чужой стороне, а я еще не решил как. Меня выручила из недоумения процессия похорон Веллингтона. Весь Лондон преисполнен одной мысли; не знаю, был ли он полон того чувства, которое выражалось в газетах. Но *decorum* печали был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки – сомнения нет: он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа. До пяти или до шести часов я нехотя купался в этой толпе, тщетно стараясь добраться до какого-нибудь берега. Поток увлекал меня из улицы в улицу, с площади на площадь. Никого знакомых со мной не было – не до меня: все заняты похоронами, всех поглотила процессия. Одни нашли где-нибудь окно, другие пробрались в самую церковь Св. Павла, где совершалась церемония. Я был один в этом океане и нетерпеливо ждал другого дня, когда Лондон выйдет из ненормального положения и заживет своею обычную жизнью.

Многие обрадовались бы видеть такой необыкновенный случай: праздничную сторону народа и столицы, но я ждал не того; я видел это у себя; мне улыбался завтрашний, будничный день. Мне хотелось путешествовать не официально, не приехать и "осматривать", а жить и смотреть на всё, не насилуя наблюдательности; не задавая себе утомительных уроков осматривать ежедневно, с гидом в руках, по столько-то улиц, музеев, зданий, церквей. От такого путешествия остается в голове хаос улиц, памятников, да и то ненадолго.

Вообще большая ошибка – стараться собирать впечатления; соберешь чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй. Оттого я довольно равнодушно пошел вслед за другими в Британский музей, по сознанию только необходимости видеть это колоссальное собрание редкостей и предметов знания. Мы целое утро осматривали ниневийские древности, этрусские, египетские и другие залы, потом змей, рыб, насекомых – почти всё то, что есть и в Петербурге, в Вене, в Мадриде. А между тем времени лишь было столько, чтобы взглянуть на Англию и на англичан. Оттого меня тянуло всё на улицу; хотелось побродить не между мумиями, а среди живых людей.

Я с неиспытанным наслаждением вглядывался во всё, заходил в магазины, заглядывал в дома, уходил в предместья, на рынки, смотрел на всю толпу и в каждого встречного отдельно. Чем смотреть на сфинксы и обелиски, мне лучше нравится простоять целый час на перекрестке и смотреть, как встретятся два англичанина, сначала попробуют оторвать друг у друга руку, потом осведомятся взаимно о здоровье и пожелают один другому всякого благополучия; смотреть их походку или какую-то иноходь, и эту важность до комизма на лице, выражение глубокого уважения к самому себе, некоторого презрения или, по крайней мере, холодности к другому, но благоговения к толпе, то есть к обществу. С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки, с корзинами на плечах, как несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из нее с неподражаемою ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другою нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемеет, лишь только полисмен с тротуара поднимет руку.

В тавернах, в театрах – везде пристально смотрю, как и что делают, как веселятся, едят, пьют; слежу за мимикой, ловлю эти неуловимые звуки языка, которым волей-неволей должен объясняться с грехом пополам, благословляя судьбу, что когда-то учился ему: иначе хоть не заглядывай в Англию. Здесь как о редкости возвещают крупными буквами на окнах магазинов: *"Ici on parle franzaais"*. Да, путешествовать с наслаждением и с пользой – значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Недаром еще у древних необходимым условием

усовершенствованного воспитания считалось путешествие. У нас оно сделалось роскошью и забавою.

Пожалуй, без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи, путешествие, конечно, только забава. Но счастлив, кто может и забавляться такою благородною забавой, в которой нехотя чему-нибудь да научишься! Вот Regent-street, Oxford-street, Trafalgar-place – не живые ли это черты чужой физиономии, на которой движется современная жизнь, и не звучит ли в именах память прошедшего, повествуя на каждом шагу, как слагалась эта жизнь? Что в этой жизни схожего и что несхожего с нашей?..

Воля ваша, как кто ни расположен только забавляться, а, бродя в чужом городе и народе, не сможет отделаться от этих вопросов и закрыть глаза на то, чего не видал у себя.

Бродя среди живой толпы, отыскивая всюду жизнь, я, между прочим, наткнулся на великолепное прошедшее: на Вестминстерское аббатство, и был счастливее в это утро. Такие народные памятники – те же страницы истории, но тесно связанные с текущею жизнью. Их, конечно, надо учить наизусть, да они сами так властительно ложатся в память. Впрочем, глядя на это аббатство, я даже забыл историю, – оно произвело на меня впечатление чисто эстетическое. Меня поразили готический стиль в этих колоссальных размерах. Я же был во время службы с певчими, при звуках великолепного органа.

Фантастическое освещение цветных стекол в стрельчатых окнах, полумрак по углам, белые статуи великих людей в нишах и безмолвная, почти недышащая толпа молящихся – всё это образует одно общее, грандиозное впечатление, от которого долго слышится какая-то музыка в нервах.

Благодаря настойчивым указаниям живых и печатных гидов я в первые пять-шесть дней успел осмотреть большую часть официальных зданий, музеев и памятников и, между прочим, национальную картинную галерею, которая величиною будет с прихожую нашего Эрмитажа. Там сотни три картин, из которых запомнишь разве "Снятие со креста" Рембрандта да два-три пейзажа Клода. Осмотрев тщательно дворцы, парки, скверы, биржу, заплатив эту дань официальному любопытству, я уже всё остальное время жил по-своему. Лондон по преимуществу город поучительный, то есть нигде, я думаю, нет такого множества средств приобрести дешево и незаметно всяких знаний. Бесконечное утро, с девяти часов до шести, промелькнет – не видишь как. На каждом шагу манят отворенные двери зданий, где увидишь что-нибудь любопытное: машину, редкость, услышишь лекцию естественной истории. Есть учреждение, где показывают результаты всех новейших изобретений: действие паров, образчик воздухоплавания, движения разных машин. Есть особое временное здание, в котором помещен громадный глобус. Части света представлены рельефно, не снаружи шара, а внутри. Зрители ходят по лестнице и останавливаются на трех площадках, чтобы осмотреть всю землю. Их сопровождает профессор, который читает беглую лекцию географии, естественной истории и политического разделения земель. Мало того: тут же в зале есть замечательный географический музей, преимущественно Англии и ее колоний. Тут целые страны из гипса, с выпуклыми изображениями гор, морей, и потом все пособия к изучению всеобщей географии: карты, книги, начиная с младенческих времен географии, с аравитян, римлян, греков, карты от Марко Паоло до наших времен. Есть библиографические редкости.

Самый Британский музей, о котором я так неблагоприятно отзывался за то, что он поглотил меня на целое утро в своих громадных сумрачных залах, когда мне хотелось на свет Божий, смотреть всё живое, – он разве не есть огромная сокровищница, в которой не только ученый, художник, даже просто фланёр, зевака, почерпнет какое-нибудь знание, уйдет с идеей обогатить память свою не одним фактом? И сколько таких заведений по всем частям, и почти даром! Между прочим, я посвятил с особенным удовольствием целое утро обозрению зоологического сада. Здесь уже я видел не мумии и не чучелы животных, как в музее, а живую тварь, собранную со всего мира. Здесь до значительной степени можно наблюдать некоторые стороны жизни животных почти в естественном состоянии. Это постоянная лекция, наглядная, осязательная, в лицах, со всеми подробностями, и отличная

прогулка в то же время. Сверх того, всякому посетителю в этой прогулке предоставлено полное право наслаждаться сознанием, что он "царь творения" – и всё это за шиллинг.

Наконец, если нечего больше осматривать, осматривайте просто магазины: многие из них тоже своего рода музеи – товаров. Обилие, роскошь, вкус и раскладка товаров поражают до уныния. Богатство подавляет воображение. "Кто и где покупатели?" – спрашиваешь себя, заглядывая и боясь войти в эти мраморные, малахитовые, хрустальные и бронзовые чертоги, перед которыми вся шехеразада покажется детскою сказкой. Перед четырехаршинными зеркальными стеклами можно стоять по целым часам и вглядываться в эти кучи тканей, драгоценных камней, фарфора, серебра. На большей части товаров выставлены цены; и если увидишь цену, доступную карману, то нет средства не войти и не купить чего-нибудь. Я после каждой прогулки возвращаюсь домой с набитыми всякой всячиной карманами, и потом, выкладывая каждую вещь на стол, принужден сознаваться, что вот это вовсе не нужно, это у меня есть и т. д.

Купишь книгу, которой не прочтешь, пару пистолетов, без надежды стрелять из них, фарфору, который на море и не нужен, и неудобен в употреблении, сигарочницу, палку с кинжалом и т. п. Но прошу защититься от этого соблазна на каждом шагу при этой дешевизне!

К этому еще прибавьте, что всякую покупку, которую нельзя положить в карман, вам принесут на дом, и почти всегда прежде, нежели вы сами воротитесь. Но при этом не забудьте взять от купца счет с распиской в получении денег, – так мне советовали делать; да и купцы, не дожидаясь требования, сами торопятся дать счет. Случается иногда, без этой предосторожности, заплатить вторично. Я бы, вдобавок к этому, посоветовал еще узнать до покупки цену вещи в двух-трех магазинах, потому что нигде нет такого произвола, какой царствует здесь в назначении цены вещам. Купец назначает, кажется, цену, смотря по физиономии покупателя. В одном магазине женщина спросила с меня за какую-то безделку два шиллинга, а муж пришел и потребовал пять. Узнав, что вещь продана за два шиллинга, он исподтишка шипел на жену всё время, пока я был в магазине. В одном магазине за пальто спросят четыре фунта, а рядом, из той же материи, – семь.

Лондон – поучительный и занимательный город, повторю я, но занимательный только утром. Вечером он для иностранца – тюрьма, особенно в такой сезон, когда нет спектаклей и других публичных увеселений, то есть осенью и зимой. Пожалуй, кому охота, изучай по вечерам внутреннюю сторону народа – нравы; но для этого надо слиться и с домашнею жизнью англичан, а это нелегко. С шести часов Лондон начинает обедать и обедает до 10, до 11, до 12 часов, смотря по состоянию и образу жизни, потом спит. Словом "обедает" я хотел только обозначить, чем наполняется известный час суток. А собственно англичане не обедают, они едят. Кроме торжественных обедов во дворце или у лорда-мэра и других, на сто, двести и более человек, то есть на весь мир, в обыкновенные дни подают на стол две-три перемены, куда входит почти всё, что едят люди повсюду. Все мяса, живность, дичь и овощи – всё это без распределений по дням, без соображений о соотношении блюд между собою.

Что касается до национальных английских кушаньев, например пудинга, то я где ни спрашивал, нигде не было готового: надо было заказывать. Видно, англичане сами довольно равнодушны к этому тяжелому блюду, – я говорю о пломпудинге. Все мяса, рыба отличного качества, и все почти подаются *au naturel*, с приправой только овощей. Тяжеловато, грубовато, а впрочем, очень хорошо и дешево: был бы здоровый желудок; но англичане на это пожаловаться не могут. Еще они могли бы тоже принять в свой язык нашу пословицу: не красна изба углами, а красна пирогами, если б у них были пироги, а то нет; пирожное они подают, кажется, в подражание другим: это стереотипный яблочный пирог да яичница с вареньем и крем без сахара или что-то в этом роде. Да, не красны углами их таверны: голые, под дуб сделанные или дубовые стены и простые столы; но опрятность доведена до роскоши: она превышает необходимость. Особенно в белье; скатерти – ослепительной белизны, а салфетки были бы тоже, если б они были, но их нет, и вам подадут салфетку только по настойчивому требованию – и то не везде. И это может служить доказательством

опрятности. "Зачем салфетка? – говорят англичане, – руки вытирать? да они не должны быть выпачканы", так же как и рот, особенно у англичан, которые не носят ни усов, ни бород. Я в разное время, начиная от пяти до восьми часов, обедал в лучших тавернах, и почти никогда менее двухсот человек за столом не было. В одной из них, *divan-tavern*, хозяин присутствует постоянно сам среди посетителей, сам следит, все ли удовлетворены, и где заметит отсутствие слуги, является туда или посылает сына. А у него, говорят, прекрасный дом, лучшие экипажи в Лондоне, может быть – всё от этого. Пример не для одних трактирщиков!

Итак, из храма в храм, из музея в музей – время проходило неприметно.

И везде, во всех этих учреждениях, волнуется толпа зрителей; подумаешь, что англичанам нечего больше делать, как ходить и смотреть достопримечательности. Они в этом отношении и у себя дома похожи на иностранцев, а иностранцы смотрят хозяевами. Такой пристальной внимательности, почти до страдания, нигде не встретишь. В других местах достало бы не меньше средств завести всё это, да везде ли придут зрители и слушатели толпами поддержать мысль учредителя? Но если много зрителей умных и любознательных, то и нет нигде столько простых зевак, как в Англии. О какой глупости ни объявите, какую цену ни запросите, посетители явятся, и, по обыкновению, толпой. Мне казалось, что любопытство у них не рождается от досуга, как, например, у нас; оно не есть тоже живая черта характера, как у французов, не выражает жажды знания, а просто – холодное сознание, что то или другое полезно, а потому и должно быть осмотрено. Не видать, чтоб они наслаждались тем, что пришли смотреть; они осматривают, как будто принимают движимое имущество по описи: взглянут, там ли повешено, такой ли величины, как напечатано или сказано им, и идут дальше.

Я имел терпение осмотреть волей-неволей и все фокусы, например высиживание цыплят парбми, неотпираемые американские замки и т. п. Глядя, как англичане возятся с своим умершим дюком вот уж третью неделю, кажется, что они высидели и эту редкость. Он уж похоронен, а они до сих пор ходят осматривать – что вы думаете? мостки, построенные в церкви Св. Павла по случаю похорон! От этого я до сих пор еще не мог заглянуть внутрь церкви: я не англичанин и не хочу смотреть мостков. До сих пор нельзя сделать шагу, чтоб не наткнуться на дюка, то есть на портрет его, на бюст, на гравюру погребальной колесницы. Вчера появилась панорама Ватерлоо: я думаю, снимут панораму и с мостков. "Не на похороны ли дюка приехали вы?" – спросил меня один купец в лавке, узнав во мне иностранца. "Yes, o yes!" – сказал я. Я в памяти своей никак не мог сжать в один узел всех заслуг покойного дюка, оттого (к стыду моему) был холоден к его кончине, даже еще (прости мне, Господи!) подосадовал на него, что он помешал мне торжественным шествием по улицам, а пуще всего мостками, осмотреть, что хотелось. Не подумайте, чтобы я порицал уважение к бесчисленным заслугам британского Агамемнона – о нет! я сам купил у мальчишки медальон героя из какой-то композиции. Думая дать форпенс, я ошибкой вынул из кошелька оставшийся там гривенник или пятиалтынный. Мальчишка догнал меня и, тыча монетой мне в спину, как зарезанный кричал: "No use, no use (Не ходит)!" Глядя на все фокусы и мелочи английской изобретательности, отец Аввакум, живший в Китае, сравнил англичан с китайцами по мелочной, микроскопической деятельности, по стремлению к торгашеству и по некоторым другим причинам. Американский замок, о котором я упомянул, – это такой замок, который так запирается, что и сам хозяин подчас не отопрет. Прежде был принят в здешних государственных кассах, между прочим в банке, какой-то тоже неотпираемый замок; по крайней мере он долго слыл таким. Но явился американец, вызвался отпереть его – и действительно отпер. Потом он предложил изобретенный им замок и назначил премию, если отопрут. Замок был отдан экспертам, трем самым ловким мошенникам, приглашенным для этого из портсмутской тюрьмы. Знаменитые отпиратели всяких дверей и сундуков, снабженные всеми нужными инструментами, пробились трое суток, ничего не сделали и объявили замок – неотпираемым. Вследствие этого он принят теперь в казенных местах вместо прежнего. Весь секрет, сколько я мог понять из объяснений содержателя магазина, где продаются эти замки, заключается в бородке ключа, в которую

каждый раз, когда надо запереть ящик или дверь, может быть вставляемо произвольное число пластинок. Нельзя отпереть замка иначе как зная, сколько именно вставлено пластинок и каким образом они расположены; а пластинок много. Есть замки и для колоссальных дверей, и для маленьких шкатулок, ценой от 10 ф. стерлингов до 10 шиллингов. Хитро, не правда ли?

Между тем общее впечатление, какое производит наружный вид Лондона, с циркуляцией народонаселения, странно: там до двух миллионов жителей, центр всемирной торговли, а чего бы вы думали не заметно? – жизни, то есть ее бурного брожения. Торговля видна, а жизни нет: или вы должны заключить, что здесь торговля есть жизнь, как оно и есть в самом деле. Последняя не бросается здесь в глаза. Только по итогам сделаешь вывод, что Лондон первая столица в мире, когда сочтешь, сколько громадных капиталов обращается в день или год, какой страшный совершается прилив и отлив иностранцев в этом океане народонаселения, как здесь сходятся покрывающие всю Англию железные дороги, как по улицам из конца в конец города снуют десятки тысяч экипажей.

Ахнешь от изумления, но не заметишь всего этого глазами. Такая господствует относительно тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно. Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, всё рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Экипажи мчатся во всю прыть, но кучера не кричат, да и прохожий никогда не зазеваётся. Пешеходы не толкаются, в народе не видать ни ссор, ни драк, ни пьяных на улице, между тем почти каждый англичанин напивается за обедом. Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет.

Дурно одетых людей – тоже не видать: они, должно быть, как тараканы, прячутся где-нибудь в щелях отдаленных кварталов; большая часть одеты со вкусом и нарядно; остальные чисто, все причесаны, приглажены и особенно обриты. Наш друг Языков непременно сказал бы: здесь каждый – Бритт. Я бреюсь через день, и оттого слуги в тавернах не прежде начинают уважать меня, как когда, после обеда, дам им шиллинг. Вы, Николай Аполлонович, с своею инвалидною бородой были бы здесь невозможны: вам, как только бы вы вышли на улицу, непременно подадут милостыню. Улицы похожи на великолепные гостиные, наполненные одними господами. Так называемого простого или, еще хуже, "черного" народа не видать, потому что он здесь – не черный: мужик в плисовой куртке и панталонах, в белой рубашке вовсе не покажется мужиком.

Даже иная рабочая лошадь так тихо и важно выступает, как барин.

Известно, как англичане уважают общественные приличия. Это уважение к общему спокойствию, безопасности, устранение всех неприятностей и неудобств – простирается даже до некоторой скуки. Едешь в вагоне, народу битком набито, а тишина, как будто "в гробе тьмы людей", по выражению Пушкина.

Англичане учтивы до чувства гуманности, то есть учтивы настолько, насколько в этом действительно состоит надобность, но не суетливы и особенно не нахальны, как французы. Они ответят на дельный вопрос, сообщат вам сведение, в котором нуждаетесь, укажут дорогу и т. п., но не будут довольны, если вы к ним обратитесь просто так, поговорить. Они принимают в соображение, что если одним скучно сидеть молча, то другие, напротив, любят это. Я не видел, чтобы в вагоне, на пароходе один взял, даже попросил, у другого праздную лежащую около газету, дотронулся бы до чужого зонтика, трости. Все эти фамильярности с незнакомыми нетерпимы. Зато никто не запоем, не засвистит около вас, не положит ногу на вашу скамью или стул.

Есть тут своя хорошая и дурная сторона, но, кажется, больше хорошей.

Французы и здесь выказывают неприятные черты своего характера: они нахальны и грубоваты. Слуга-француз протянет руку за шиллингом, едва скажет "merci", и тут же не поднимет уроненного платка, не подаст пальто. Англичанин всё это сделает.

Время между тем близится к отъезду. На фрегате работы приходят к окончанию: того и гляди, назначат день. А как еще хочется посмотреть и погулять в этой разумной толпе, чтоб потом перейти к невозделанной природе и к таким же невозделанным ее детям! Про природу Англии я ничего не говорю: какая там природа! ее нет, она возделана до того, что всё растет и живет по программе. Люди овладели ею и сглаживают ее вольные следы. Поля здесь – как расписные паркет. С деревьями, с травой сделано то же, что с лошадьми и с быками. Траве дается вид, цвет и мягкость бархата. В поле не найдешь праздного клочка земли; в парке нет самородного куста. И животные испытывают ту же участь. Всё породисто здесь: овцы, лошади, быки, собаки, как мужчины и женщины. Всё крупно, красиво, бодро; в животных стремление к исполнению своего назначения простерто, кажется, до разумного сознания, а в людях, напротив, низведено до степени животного инстинкта. Животным так внушают правила поведения, что бык как будто бы понимает, зачем он жиреет, а человек, напротив, старается забывать, зачем он круглый Божий день и год, и всю жизнь, только и делает, что подкладывает в печь уголь или открывает и закрывает какой-то клапан. В человеке подавляется его уклонение от прямой цели; от этого, может быть, так много встречается людей, которые с первого взгляда покажутся ограниченными, а они только специальные. И в этой специальности – причина успехов на всех путях. Здесь кузнец не займется слесарным делом, оттого он первый кузнец в мире. И всё так. Механик, инженер не побоится упрека в незнании политической экономии: он никогда не прочел ни одной книги по этой части; не заговаривайте с ним и о естественных науках, ни о чем, кроме инженерной части, – он покажется так жалко ограничен... а между тем под этою ограниченностью кроется иногда огромный талант и всегда сильный ум, но ум, весь ушедший в механику. Скучно покажется "универсально" образованному человеку разговаривать с ним в гостиной; но, имея завод, пожелаешь выписать к себе его самого или его произведение.

Всё бы это было очень хорошо, то есть эта практичность, но, к сожалению, тут есть своя неприятная сторона: не только общественная деятельность, но и вся жизнь всех и каждого сложилась и действует очень практически, как машина. Незаметно, чтоб общественные и частные добродетели свободно истекали из светлого человеческого начала, безусловную прелесть которого общество должно чувствовать непрестанно и непрестанно чувствовать тоже и потребность наслаждаться им. Здесь, напротив, видно, что это всё есть потому, что оно нужно зачем-то, для какой-то цели. Кажется, честность, справедливость, сострадание добываются как каменный уголь, так что в статистических таблицах можно, рядом с итогом стальных вещей, бумажных тканей, показывать, что вот таким-то законом для той провинции или колонии добыто столько-то правосудия или для такого дела подбавлено в общественную массу материала для выработки тишины, смягчения нравов и т. п. Эти добродетели приложены там, где их нужно, и вертятся, как колеса, оттого они лишены теплоты и прелести. На лицах, на движениях, поступках резко написано практическое сознание о добре и зле, как неизбежная обязанность, а не как жизнь, наслаждение, прелесть. Добродетель лишена своих лучей; она принадлежит обществу, нации, а не человеку, не сердцу. Оттого, правда, вся машина общественной деятельности движется непогрешительно, на это употреблено тьма чести, правосудия; везде строгость права, закон, везде ограда им. Общество благоденствует: независимость и собственность его неприкосновенны. Но зато есть щели, куда не всегда протеснится сила закона, где бессильно и общественное мнение, где люди находят способ обойтись без этих важных посредников и ведаются сами собой: вот там-то машина общего движения оказывается неприложимою к мелким, индивидуальным размерам и колеса ее вертятся на воздухе. Вся английская торговля прочна, кредит непоколебим, а между тем покупателю в каждой лавке надо брать расписку в получении денег. Законы против воров многи и строги, а Лондон считается, между прочим, образцовою школою мошенничества, и воров числится там несколько десятков тысяч; даже ими, как товарами, снабжается континент, и искусство запираť замки спорит с искусством отпирать их. Прибавьте, что нигде нет такого количества контрабандистов. Везде рогатки, машинки для проверки совестей, как сказано выше: вот какие двигатели поддерживают добродетель в

обществе, а кассы в банках и купеческих конторах делаются частенько добычей воров. Филантропия возведена в степень общественной обязанности, а от бедности гибнут не только отдельные лица, семейства, но целые страны под английским управлением. Между тем этот нравственный народ по воскресеньям ест черствый хлеб, не позволяет вам в вашей комнате заиграть на фортепиано или засвистать на улице. Призадумаетесь над репутацией умного, делового, религиозного, нравственного и свободного народа!

Но, может быть, это всё равно для блага целого человечества: любить добро за его безусловное изящество и быть честным, добрым и справедливым – даром, без всякой цели, и не уметь нигде и никогда не быть таким или быть добродетельным по машине, по таблицам, по востребованию? Казалось бы, всё равно, но отчего же это противно? Не всё ли равно, что статую изваял Фидий, Канова или машина? – можно бы спросить...

Вы можете упрекнуть меня, что, говоря обо всем, что я видел в Англии, от дюка Веллингтона до высиживаемых парбми цыплят, я ничего не сказал о женщинах. Но говорить о них поверхностно – не хочется, а наблюдать их глубже и пристальнее – не было времени. И где было наблюдать их? Я не успел познакомиться с семейными домами и потому видал женщин в церквях, в магазинах, в ложах, в экипажах, в вагонах, на улицах. От этого могу сказать только – и то для того, чтоб избежать предполагаемого упрека, – что они прекрасны, стройны, с удивительным цветом лица, несмотря на то что едят много мяса, пряностей и пьют крепкие вина. Едва ли в другом народе разлито столько красоты в массе, как в Англии. Не судите о красоте англичан и англичанок по этим рыжим господам и господам, которые дезертируют из Англии под именем шкиперов, машинистов, учителей и гувернанток, особенно гувернанток: это оборыши; красивой женщине незачем бежать из Англии: красота – капитал. Ей очень практически сделают верную оценку и найдут надлежащее приспособление. Женщина же урод не имеет никакой цены, если только за ней нет какого-нибудь особенного таланта, который нужен и в Англии. Одно преподавание языка или хождение за ребенком там не важность: остается уехать в Россию. Англичанки большею частью высоки ростом, стройны, но немного горды и спокойны, – по словам многих, даже холодны. Цвет глаз и волос до бесконечности разнообразен: есть совершенные брюнетки, то есть с черными как смоль волосами и глазами, и в то же время с необыкновенною белизною и ярким румянцем; потом следуют каштановые волосы, и все-таки белое лицо, и, наконец, те нежные лица – фарфоровой белизны, с тонкою прозрачною кожею, с легким розовым румянцем, окаймленные льняными кудрями, нежные и хрупкие создания с лебединою шеей, с неуловимою грацией в позе и движениях, с горделивою стыдливостью в прозрачных и чистых, как стекло, и лучистых глазах. Надо сказать, что и мужчины достойны этих леди по красоте: я уже сказал, что всё, начиная с человека, породисто и красиво в Англии.

Мужчины подходят почти под те же разряды, по цвету волос и лица, как женщины. Они отличаются тем же ростом, наружным спокойствием, гордостью, важностью в осанке, твердостью в поступе.

Кажется, женщины в Англии – единственный предмет, который пощадило практическое направление. Они властвуют здесь и, если и бывают предметом спекуляций, как, например, мистрис Домби, то не более, как в других местах.

Перед ними курится постоянный фимиам на домашнем алтаре, у которого англичанин, избегав утром город, переделав все дела, складывает, с макинтошем и зонтиком, и свою практичность. Там гаснет огонь машины и зажигается другой, огонь очага или камина; там англичанин перестает быть администратором, купцом, дипломатом и делается человеком, другом, любовником, нежным, откровенным, доверчивым, и как ревниво охраняет он свой алтарь! Этого я не видал: я не проникал в семейства и знаю только понаслышке и по весьма немногим признакам, между прочим по тому, что англичанин, когда хочет познакомиться с вами покороче, оказать особенное внимание, зовет вас к себе, в свое святилище, обедать: больше уж он сделать не в состоянии.

Гоголь отчасти испортил мне впечатление, которое производят англичанки: после всякой хорошенькой англичанки мне мерещится капитан Копейкин. В театрах видел я

благородных леди: хороши, но чересчур чопорно одеты для маленького, дрянного театра, в котором показывали диораму восхождения на Монблан: все – декольте, в белых мантильях, с цветами на голове, отчего немного походят на наших цыганок, когда последние являются на балюстраду петь. Живя путешественником в отелях, я мало имел случаев вблизи наблюдать женщин, кроме хозяек в трактирах, торгующих в магазинах и т. п. Вот две служанки суетятся и бегают около меня, как две почтовые лошади, и убийственно, как сороки, на каждое мое слово твердят: "Yes, sir, no, sir". Они в ссоре за какие-то пять шиллингов и так поглощены ею, что, о чем ни спросишь, они сейчас переходят к жалобам одна на другую. Еще оставалось бы сказать что-нибудь о тех леди и мисс, которые, поравнявшись с вами на улице, дарят улыбкой или выразительным взглядом, да о портсмутских дамах, продающих всякую всячину; но и те и другие такие же, как у нас. О последних можно разве сказать, что они отличаются такою рельефностью бюстов, что путешественника поражает это излишество в них столько же, сколько недостатков, в этом отношении, у молодых девушек. Не знаю, поражает ли это самих англичан.

Говорят, англичанки еще отличаются величиной своих ног: не знаю, правда ли? Мне кажется, тут есть отчасти и предубеждение, и именно оттого, что никакие другие женщины не выставляют так своих ног напоказ, как англичанки: переходя через улицу, в грязь, они так высоко поднимают юбки, что... дают полную возможность рассматривать ноги. 31 декабря 1852 г.

Вам, я думаю, наскучило получать от меня письма всё из одного места.

Что делать! Видно, мне на роду написано быть самому ленивым и заражать ленью всё, что приходит в соприкосновение со мною. Лень разлита, кажется, в атмосфере, и события приостанавливаются над моею головой. Помните, как лениво уезжал я из Петербурга, и только с четвертою попыткой удалось мне "отвалить" из отечества. Вот и теперь лениво выезжаем из Англии. Мы уж "вытянулись" на рейд: подуй N или NO, и в полчаса мы поднимем крылья и вступим в океан, да он не готов, видно, принять нас; он как будто углаживает нам путь вйстовыми ветрами. Я даже не могу сказать, что мы в Англии, мы просто на фрегате; нас пятьсот человек: это уголок России. Берег верстах в трех; впереди ныряет в волнах низенькая портсмутская стена, сбоку у ней тянется песчаная мель, сзади нас зеленеет Вайт, а затем всё море с сотней разбросанных по неизмеримому рейду кораблей, ожидающих, как и мы, попутного ветра. У нас об Англии помину нет; мы распрощались с ней, кончили все дела, а ездить гулять мешает ветер. Третьего дня отправились две шлюпки и остались в порте – так задуло. Изредка только английская верейка, как коза, проскачет по валам к Вайту или от Вайта в Портсмут. 24-го, в сочельник, съехал я на берег утром: было сносно; но когда поехал оттуда... ах, какой вечер! как надолго останется он в памяти! Сделав некоторые покупки, я в пристани Albertpier взял английскую шлюпку и отправился назад домой. Пока ехали в гавани, за стенами, казалось покойно, но лишь выехали на простор, там дуло свирепо, да к этому холод, темнота и яростный шум бурунов, разбивающихся о крепостную стену. Гребцы мои, англичане, не знали, где поместился наш фрегат. "Вечером два огня будут на гафеле", – сказали мне на фрегате, когда я ехал утром. Я смотрю вдаль, где чуть-чуть видно мелькают силуэты судов, и вижу миллионы огней в разных местах. Я придерживал одной рукой шляпу, чтоб ее не сдуло в море, а другую прятал – то за пазуху, то в карманы от холода. Гребцы бросили весла и, поставив парус, сами сели на дно шлюпки и вполголоса бормотали промеж себя.

Шлюпку нашу подбрасывало вверх и вниз, валы периодически врывались верхушкой к нам и обливали спину. Небо заволочло тучами, а ехать три версты. Подъехали к одной группе судов: "Russian frigate?" – спрашивают мои гребцы. "No", – пронзительно доносится до нас по ветру. Дальше, к другому:

"Nein", – отвечают нам. Надо было лечь на другой галс и плыть еще версты полторы вдоль рейда. Вот тут я вспомнил все проведенные с вами двадцать четвертые декабря; живо себе воображал, что у вас в зале и светло, и тепло и что я бы теперь сидел там с тем, с другим, с той, другой... "А вот что около меня!" – добавил я, боязливо и вопросительно

поглядывая то на валы, которые поднимались около моих плеч и локтей и выше головы, то вдаль, стараясь угадать, приветнее ли и светлее ли других огней блеснут два фонаря на русском фрегате? Наконец добрался и застал всенощную накануне Рождества.

Этот маленький эпизод напомнил мне, что пройден только вершок необъятного, ожидающего впереди пространства; что этот эпизод есть обыкновенное явление в этой жизни; что в три года может случиться много такого, чего не выживешь в шестьдесят лет жизни, особенно нашей русской жизни!

Каким испытаниям подвергается избалованная нервозность вечного горожанина здесь, в борьбе со всем окружающим! Всё противоположно прежнему: воздух вместо толстых стен, пропасть вместо фундамента, свод из сети снастей, качающийся стол, который отходит от руки, когда пишешь, или рука отходит от стола, тарелка ото рта. "Не шуми, сиди смирно!" – беспрестанно раздается в обыкновенном порядке береговой стражи. "Шуми, стучи и двигайся!" – твердят здесь на каждом шагу. Вместо удобств и комфорта приучают к неудобствам. На днях капитан ходит взад и вперед по палубе в одном сюртуке, а у самого от холода нижняя челюсть тоже ходит взад и вперед. "Зачем, мол, вы не наденете пальто?" – "Для примера команде", – говорит. И многое, что сочтешь там, на берегу, сидя на диване, в теплой комнате, отступлением от разума, – здесь истина. И вы видите, что эти уклонения здесь оправдываются, а ваши абсолютные истины нет. Вам неловко, потому что нельзя же заставить себя верить в уклонения или в местную истину, хотя она и оправдывается необходимостью. Забудьте отчасти ваше воспитание, выработанность и изнеженность, когда вы на море. Но ничего: ко всему можно притерпеться, привыкнуть, даже не простуживаться. У меня вот и висок перестал болеть. Даже нескоро потом отделаюсь я от привычек, которые наложит на меня морской быт, по возвращении на берег. Мне будет казаться, что мебель надо "принайтовить", окна не закрыть ставнями, а "задраить", при свежем ветре буду ждать, что "засвилят всех наверх рифы брать".

Сколько благ сулил я себе в вояже и сколько уж их не осуществилось!

Вот я думал бежать от русской зимы и прожить два лета, а приходится, кажется, испытать четыре осени: русскую, которую уже пережил, английскую переживаю, в тропики придем в тамошнюю осень. А бестолочь какая: празднуешь два Рождества, русское и английское, два Новые года, два Крещенья. В английское Рождество была крайняя нужда в работе – своих рук не доставало: англичане и слышать не хотят о работе в праздник. В наше Рождество англичане пришли, да совестно было заставлять работать своих.

Сказал бы вам что-нибудь о своих товарищах, но о некоторых я говорил, о других буду говорить впоследствии. В последнее время я жил близко, в одной огромной каюте английского корабля, пока наш фрегат был в доке, с четырьмя товарищами. Один – невозмутимо покоен в душе и со всеми всегда одинаков; ни во что не мешается, ни весел, ни печален; ни от чего ему ни больно, ни холодно; на всё согласен, что предложат другие; со всеми ласков до дружелюбия, хотя нет у него друзей, но и врагов нет. Куда его ни повези, ему всё равно: он всем доволен, ни на что не жалуется. Всякую новость узнаёт днем позже других: кажется, для него выдумали слово "покладнуй".

Другой, с которым я чаще всего беседую, очень милый товарищ, тоже всегда ровный, никогда не выходящий из себя человек; но его не так легко удовлетворить, как первого. Он любит комфорт и без него несколько страдает, хотя и старается приспособиться к несвойственной ему сфере. Он светский человек, а такие люди всегда мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже учености, никакому специальному направлению, оно вырабатывает много хороших сторон, не дает гложуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти – есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает всё для вас, всем жертвует вам, не делая в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще

курит ваши же сигары, как барон мои. Всё это, кажется, пустяки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много по крайней мере наружного гуманизета.

Мы мирно жили еще с неделю, по возвращении из Лондона в Портсмут, на "Кемпердоуне" большим обществом. Все размещены были очень удобно по многочисленным каютам стопушечного старого английского корабля. Утром мы все четверо просыпались в одно мгновение, ровно в восемь часов, от пушечного выстрела с "Экселента", другого английского корабля, стоявшего на мертвых якорях, то есть неподвижно, в нескольких саженях от нас. После завтрака, состоявшего из горы мяса, картофеля и овощей, то есть тяжелого обеда, все расходились: офицеры в адмиралтейство на фрегат к работам, мы, не офицеры, или занимались дома, или шли за покупками, гулять, кто в Портсмут, кто в Портси, кто в Саутси или в Госпорт – это названия четырех городов, связанных вместе и составляющих Портсмут. Все они имеют свой характер. Портси и Портсмут – торговые части, наполненные магазинами, складочными амбарами, с таможней. Тут же помещается адмиралтейство, тут и приют моряков всех наций. Саутси – чистый квартал, где главные церкви и большие дома; там помещаются и власти. Эти кварталы отделяются между собою стеной. Госпорт лежит на другой стороне гавани и сообщается с прочими тремя кварталами посредством парового парома, который беспрестанно по веревке ходит взад и вперед и за грош перевозит публику. Кроме того, есть бесчисленное множество яликов. В Госпорте тоже есть магазины, но уже второстепенные, фруктовые лавки, очень хорошая гостиница "Indian Arms", где мы приставали, и станция лондонской железной дороги. Впрочем, все эти города можно обойти часа в два. Госпорт состоит из одной улицы и нескольких переулков. Саутси – из одной площади, вала и крепостной стены. Только Портсмут и Портси, связанные вместе, имеют несколько улиц. Дома, магазины, торговля, народ – всё как в Лондоне, в меньших и не столь богатых размерах; но все-таки относительно богато, чисто и красиво. Море, матросы, корабли и адмиралтейство сообщают городу свой особый отпечаток, такой же, как у нас в Кронштадте, только побольше, полуднее.

Потом часам к шести сходились обедать во второй раз, так что отец Аввакум недоумевал, после которого обеда надо было лечь "отдохнуть".

В прогулках своих я пробовал было брать с собою Фаддеева, чтоб отнести покупки домой, но раскаялся. Он никому спуска не давал, не уступал дороги.

Если толкнут его, он не преминет ответить кулаком, или задирает ребятишек.

Он внес на чужие берега свой костромской элемент и не разбавил его ни каплей чужого. На всякий обычай, непохожий на свой, на учреждение он смотрел как на ошибку, с большим недоброжелательством и даже с презрением.

"Сволочь эти асеи!" (так называют матросы англичан от употребляемого беспрестанно в английской речи – "I say" ("Я говорю, послушай")). Как он глумился, увидев на часах шотландских солдат, одетых в яркий, блестящий костюм, то есть в юбку из клетчатой шотландской материи, но без панталон и потому с голыми коленками! "Королева рассердилась: штанов не дала", – говорил он с хохотом, указывая на голые ноги солдата. Только в пользу одной шерстяной материи, называемой "английской кожей" и употребляемой простым народом на платье, он сделал исключение, и то потому, что панталоны из нее стоили всего два шиллинга. Он просил меня купить этой кожи себе и товарищам по поручению и сам отправился со мной. Но Боже мой! каким презрением обдал он английского купца, нужды нет, что тот смотрел совершенным джентльменом!

Какое счастье, что они не понимали друг друга! Но по одному лицу, по голосу Фаддеева можно было догадываться, что он третирует купца en canaille, как какого-нибудь продавца баранок в Чухломе. "Врешь, не то показываешь, – говорил он, швыряя штуку материи. – Скажи ему, ваше высокоблагородие, чтобы дал той самой, которой отрезал Терентьеву да Кузьмину". Купец подавал другой кусок. "Не то, сволочь, говорят тебе!" И всё в этом роде.

Однажды в Портсмуте он прибежал ко мне, сияя от радости и сдерживая смех. "Чему ты радуешься?" – спросил я. "Мотыгин... Мотыгин..." – твердил он, смеясь. (Мотыгин – это

друг его, худощавый, рябой матрос.) "Ну, что ж Мотыгин?" – "С берега воротился..." – "Ну?" – "Позови его, ваше высокоблагородие, да спроси, что он делал на берегу?" Но я забыл об этом и вечером встретил Мотыгина с синим пятном около глаз. "Что с тобой? отчего пятно?" – спросил я. Матросы захохотали; пуще всех радовался Фаддеев.

Наконец выяснилось, что Мотыгин вздумал "поиграть" с портсмутской леди, продающей рыбу. Это всё равно что поиграть с волчицей в лесу: она отвечала градом кулачных ударов, из которых один попал в глаз. Но и матрос в своем роде тоже не овца: оттого эта волчья ласка была для Мотыгина не больше, как сарказм какой-нибудь барыни на неуместную любезность франта. Но Фаддеев утешается этим еще до сих пор, хотя синее пятно на глазу Мотыгина уже пожелтело.

Наконец нам объявили, чтоб мы перебирались на фрегат. Поднялась суматоха: баркас, катера с утра до вечера перевозили с берега разного рода запасы; люди перетаскивали всё наше имущество на фрегат, который подвели вплоть к "Кемпердоуну". Среди этой давки, шума, суеты вдруг протискался сквозь толпу к капитану П. А. Тихменев, наш застольный хозяин. "Иван Семенович, ради Бога, – поспешно говорил он, – позвольте шлюпку, теперь же, сию минуту..." – "Зачем, куда? шлюпки все заняты, – вы видите. Последняя идет за углем. Зачем вам?" – "Курица выскочила, когда переносили курятник, и уплыла. Вон она-с, вон как бьется: ради Бога, пожалуйста шлюпку; сейчас утонет. Извольте войти в мое положение: офицеры удостоили меня доверенности, и я оправдывал..." Капитан рассмеялся и дал ему шлюпку.

Курица была поймана и возвращена на свое место. Вскоре мы вытянулись на рейд, стоим здесь и ждем погоды.

Каждый день прощаюсь я с здешними берегами, поверяю свои впечатления, как скупой поверяет втихомолку каждый спрятанный грош. Дешевы мои наблюдения, немного выношу я отсюда, может быть отчасти и потому, что ехал не сюда, что тороплюсь всё дальше. Я даже боюсь слишком вглядываться, чтоб не осталось сору в памяти. Я охотно расстаюсь с этим всемирным рынком и с картиной суеты и движения, с колоритом дыма, угля, пара и копоти. Боюсь, что образ современного англичанина долго будет мешать другим образам...

Сбуду скорее черты этого образа вам и постараюсь забыть.

Замечу, между прочим, что всё здесь стремится к тому, чтоб устроить образ жизни как можно проще, удобнее и комфортабельнее. Сколько выдумок для этого, сколько потрачено гения изобретательности на машинки, пружинки, таблицы и другие остроумные способы, чтоб человеку было просто и хорошо жить! Если обстановить этими выдумками, машинками, пружинками и таблицами жизнь человека, то можно в pendant к вопросу о том, "достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники" – поставить вопрос,

"удобнее ли стало жить на свете с тех пор, как размножились удобства?" Новейший англичанин не должен просыпаться сам; еще хуже, если его будит слуга: это варварство, отсталость, и притом слуги дороги в Лондоне.

Он просыпается по будильнику. Умывшись посредством машинки и надев вымытое паром белье, он садится к столу, кладет ноги в назначенный для того ящик, обитый мехом, и готовит себе, с помощью пара же, в три секунды бифштекс или котлету и запивает чаем, потом принимается за газету. Это тоже удобство – одолеть лист "Times" или "Herald": иначе он будет глух и нем целый день.

Кончив завтрак, он по одной таблице припоминает, какое число и какой день сегодня, справляется, что делать, берет машинку, которая сама делает выкладки: припоминать и считать в голове неудобно. Потом идет со двора. Я не упоминаю о том, что двери перед ним открываются и затворяются взад и вперед почти сами. Ему надо побывать в банке, потом в трех городах, поспеть на биржу, не опоздать в заседание парламента. Он всё сделал благодаря удобствам. Вот он, поэтический образ, в черном фраке, в белом галстухе, обритый, остриженный, с удобством, то есть с зонтиком под мышкой, выглядывает из вагона, из кеба, мелькает на пароходах, сидит в таверне, плывет по Темзе, бродит по музеуму, скачет в

парке! В промежутках он успел посмотреть травлю крыс, какие-нибудь мостки, купил колодки от сапог дюка.

Мимоходом съел высиженного паром цыпленка, внес фунт стерлингов в пользу бедных. После того, покойный сознанием, что он прожил день по всем удобствам, что видел много замечательного, что у него есть дюк и паровые цыплята, что он выгодно продал на бирже партию бумажных одеял, а в парламенте свой голос, он садится обедать и, встав из-за стола не совсем твердо, вешает к шкафу и бюро неотпираемые замки, снимает с себя машинкой сапоги, заводит будильник и ложится спать. Вся машина засыпает.

Облако английского тумана, пропитанное паром и дымом каменного угля, скрывает от меня этот образ. Оно проносится, и я вижу другое. Вижу где-то далеко отсюда, в просторной комнате, на трех перинах, глубоко спящего человека: он и обеими руками, и одеялом закрыл себе голову, но мухи нашли свободные места, кучками уселись на щеке и на шее. Спящий не тревожится этим. Будильника нет в комнате, но есть дедовские часы: они каждый час свистеньем, хрипеньем и всхлипываньем пробуют нарушить этот сон – и всё напрасно. Хозяин мирно поживает; он не проснулся, когда посланная от барыни Парашка будить к чаю, после троекратного тщетного зова, потолкала спящего хотя женскими, но довольно жесткими кулаками в ребра; даже когда слуга в деревенских сапогах, на солидных подошвах, с гвоздями, трижды входил и выходил, потрясая половицы. И солнце обжигало сначала темя, потом висок спящего – и всё поживал он. Неизвестно, когда проснулся бы он сам собою, разве когда не стало бы уже человеческой мочи спать, когда нервы и мускулы настойчиво потребовали бы деятельности. Он пробудился оттого, что ему приснился дурной сон: его кто-то начал душить во сне, но вдруг раздался отчаянный крик петуха под окном – и барин проснулся, обливаясь потом. Он побранил было петуха, этот живой будильник, но, взглянув на дедовские часы, замолчал. Проснулся он, сидит и недоумевает, как он так заспался, и не верит, что его будили, что солнце уж высоко, что приказчик два раза приходил за приказаниями, что самовар трижды перекипел. "Что вы нейдете сюда?" – ласково говорит ему голос из другой комнаты. "Да вот одного сапога не найду, – отвечает он, шаря ногой под кроватью, – и панталоны куда-то запропастились. Где Егорка?" Справляются насчет Егорки и узнают, что он отправился рыбу ловить бреднем в обществе некоторых любителей из дворовых людей. И пока бегут не спеша за Егоркой на пруд, а Ваньку отыскивают по задним дворам или Митьку извлекают из глубины девичьей, барин мается, сидя на постеле с одним сапогом в руках, и сокрушается об отсутствии другого. Но всё приведено в порядок: сапог еще с вечера затащила в угол под диван Мимишка, а панталоны оказались висящими на дровах, где второпях забыл их Егорка, чистивший платье и внезапно приглашенный товарищами участвовать в рыбной ловле. Сильно бы вымыли ему голову, но Егорка принес к обеду целую корзину карасей, сотни две раков да еще барчонку сделал дудочку из камыша, а барышне достал два водяных цветка, за которыми, чуть не с опасностью жизни, лазил по горло в воду на средину пруда. Напившись чаю, приступают к завтраку: подадут битого мяса с сметаной, сковородку грибов или каши, разогреют вчерашнее жаркое, детям изготавят манный суп – всякому найдут что-нибудь по вкусу. Наступает время деятельности. Барину по городам ездить не нужно: он ездит в город только на ярмарку раз в год да на выборы: и то и другое еще далеко. Он берет календарь, справляется, какого святого в тот день: нет ли именинников, не надо ли послать поздравить. От соседа за прошлый месяц пришлют все газеты разом, и целый дом запасается новостями надолго. Пора по работам; пришел приказчик – в третий раз.

"Что скажешь, Прохор?" – говорит барин небрежно. Но Прохор ничего не говорит; он еще небрежнее достает со стены машинку, то есть счеты, и подает барину, а сам, выставив одну ногу вперед, а руки заложив назад, становится поодаль. "Сколько чего?" – спрашивает барин, готовясь класть на счетах.

"Овса в город отпущено на прошлой неделе семьдесят..." – хочется сказать – пять четвертей. "Семьдесят девять", – договаривает барин и кладет на счетах. "Семьдесят девять, – мрачно повторяет приказчик и думает: – Экая память-то мужицкая, а еще барин! сосед-то

барин, слышь, ничего не помнит..." – А наведывались купцы о хлебе? – вдруг спросил барин, подняв очки на лоб и взглянув на приказчика.

– Был один вчера.

– Ну?

– Дешево дает.

– Однако?

– Два рубля.

– С гривной? – спросил барин.

Молчит приказчик: купец, точно, с гривной давал. Да как же барин-то узнал? ведь он не видел купца! Решено было, что приказчик поедет в город на той неделе и там покончит дело.

– Что ж ты не скажешь? – вопрошает барин.

– Он обещал побывать опять, – говорит приказчик.

– Знаю, – говорит барин.

"Как знает? – думал приказчик, – ведь купец не обещал..." – Он завтра к батюшке за медом заедет, а оттуда ко мне, и ты приди, и мещанин будет.

Приказчик всё мрачней и мрачней.

– Слушаю-с, – говорит он сквозь зубы.

Барин помнит даже, что в третьем году Василий Васильевич продал хлеб по три рубля, в прошлом дешевле, а Иван Иваныч по три с четвертью. То в поле чужих мужиков встретит да спросит, то напишет кто-нибудь из города, а не то так, видно, во сне приснится покупщик, и цена тоже. Недаром долго спит. И щелкают они на счетах с приказчиком иногда всё утро или целый вечер, так что тоску наведут на жену и детей, а приказчик выйдет весь в поту из кабинета, как будто верст за тридцать на богомолье пешком ходил.

– Ну, что еще? – спрашивает барин. Но в это время раздался стук на мосту. Барин поглядел в окно. "Кто-то едет?" – сказал он, и приказчик взглянул. "Иван Петрович, – говорит приказчик, – в двух колясках".

– А! – радостно восклицает барин, отодвигая счеты. – Ну, ступай; ужо вечером как-нибудь улечим минуточку да сосчитаемся. А теперь пошли-ка Антипку с Мишкой на болото да в лес десятков пять дичи к обеду наколотить: видишь, дорогие гости приехали!

Завтрак снова является на столе, после завтрака кофе. Иван Петрович приехал на три дня с женой, с детьми, и с гувернером, и с гувернанткой, с нянькой, с двумя кучерами и с двумя лакеями. Их привезли восемь лошадей: всё это поступило на трехдневное содержание хозяина. Иван Петрович дальний родня ему по жене: не приехать же ему за пятьдесят верст – только пообедать! После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях этого полуторасуточного переезда.

– Пообедав вчера, выехали мы, благословясь, около вечерен, спешили засветло проехать Волчий Вражек, а остальные пятнадцать верст ехали в темноте – зги Божией не видать! Ночью поднялась гроза, страсть какая – Боже упаси! Какие яровые у Василья Степаныча, видели?

– Как же, нарочно ездил. Слышали, уж он запродавал хлеб. А каковы овсы у вас?

И пошла беседа на три дня.

Дамы пойдут в сад и оранжерею, а барин с гостем отправились по гумнам, по полям, на мельницу, на луга. В этой прогулке уместились три английские города, биржа. Хозяин осмотрел каждый уголок; нужды нет, что хлеб еще на корню, а он прикинул в уме, что у него окажется в наличности по истечении года, сколько он пошлет сыну в гвардию, сколько заплатит за дочь в институт. Обед гомерический, ужин такой же. Потом, забыв вынуть ключи их тульских замков у бюро и шкафов, стелют пуховики, которых достанет всем, сколько бы гостей ни приехало. Живая машина стаскивает с барина сапоги, которые, может быть, опять затащит Мимишка под диван, а панталоны Егорка опять забудет на дровах.

Что же? среди этой деятельной лени и ленивой деятельности нет и помина о бедных, о благотворительных обществах, нет заботливой руки, которая бы...

Мне видится длинный ряд бедных изб, до половины занесенных снегом. По тропинке с

трудом пробирается мужичок в заплатах. У него висит холстинная сума через плечо, в руках длинный посох, какой носили древние. Он подходит к избе и колотит посохом, приговаривая: "Сотворите святую милостыню". Одна из щелей, закрытых крошечным стеклом, отодвигается, высовывается обнаженная загорелая рука с краюхой хлеба. "Прими, Христа ради!" – говорит голос.

Краюха падает в мешок, окошко захлопывается. Нищий, крестьясь, идет к следующей избе: тот же стук, те же слова и такая же краюха падает в суму. И сколько бы ни прошло старцев, богомольцев, убогих, калек, перед каждым отодвигается крошечное окно, каждый услышит: "Прими, Христа ради", загорелая рука не устает высовываться, краюха хлеба неизбежно падает в каждую подставленную суму.

А барин, стало быть, живет в себя, "в свое брюхо", как говорят в той стороне? Стало быть, он никогда не освежит души своей волнением при взгляде на бедного, не брызнет слеза на отекавшие от сна щеки? И когда он считает барыши за не сжатый еще хлеб, он не отделяет несколько сот рублей послать в какое-нибудь заведение, поддержать соседа? Нет, не отделяет в уме ни копейки, а отделит разве столько-то четвертей ржи, овса, гречихи, да того-сего, да с скотного двора телят, поросят, гусей, да меду с ульев, да гороху, моркови, грибов, да всего, чтоб к Рождеству послать столько-то четвертей родне, "седьмой воде на киселе", за сто верст, куда уж он посылает десять лет этот оброк, столько-то в год какому-то бедному чиновнику, который женился на сиротке, оставшейся после погорелого соседа, взятой еще отцом в дом и там воспитанной. Этому чиновнику посылают еще сто рублей деньгами к Пасхе, столько-то раздать у себя в деревне старым слугам, живущим на пенсии, а их много, да мужичкам, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели, суша хлеб в овине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болести, так что спины не разогнет, у другого темная вода закрыла глаза. А как удивится гость, приехавший на целый день к нашему барину, когда, просидев утро в гостинной и не увидев никого, кроме хозяина и хозяйки, вдруг видит за обедом целую ватагу каких-то старичков и старушек, которые нахлынут из задних комнат и занимают "привычные места"! Они смотрят робко, говорят мало, но кушают много. И Боже сохрани попрекнуть их "куском"! Они почтительны и к хозяевам, и к гостям. Барин хватился своей табакерки в кармане, ищет глазами вокруг: один старичок побежал за ней, отыскал и принес. У барыни шаль спустилась с плеча; одна из старушек надела ее опять на плечо да тут же кстати поправила бантик на чепце. Спросишь, кто это такие? Про старушку скажут, что это одна "вдова", пожалуй назовут Настасьей Тихоновной, фамилию она почти забыла, а другие и подавно: она не нужна ей больше. Прибавят только, что она бедная дворянка, что муж у ней был игрок или спился с кругу и ничего не оставил. Про старичка, какого-нибудь Кузьму Петровича, скажут, что у него было душ двадцать, что холера избавила его от большей части из них, что землю он отдает внаем за двести рублей, которые посылает сыну, а сам "живет в людях".

И многие годы проходят так, и многие сотни уходят "куда-то" у барина, хотя денег, по-видимому, не бросают. Даже барыня, исполняя евангельскую заповедь и проходя сквозь бесконечный ряд нищих от обедни, тратит на это всего каких-нибудь рублей десять в год. Вот на выборах, в городе, оно заметно, куда деньги идут. Кончились выборы: предводитель берет лист бумаги и говорит: "Заклучимте, милостивые государи, наши заседания посильным пожертвованием в пользу бедных нашей губернии да на школы, на больницы", – и пишет двести, триста рублей. А наш барин думал, что, купив жене два платья, мантилью, несколько чепцов, да вина, сахару, чаю и кофе на год, он уже может закрыть бумажник, в котором опочил изрядный запасный капиталец, годичная экономия. А вот тут вынимается сто рублей: стыдно же написать при всех двадцать пять, даже пятьдесят, когда Осип Осипыч и Михайло Михайлыч написали по сту. "Теперь, кажется, всё", – думает он. Вдруг у губернатора вечером губернаторша сама раздает гостям какие-то билеты. Что это такое?

Билеты на лотерею с балом, спектаклем в пользу погоревших семейств.

Губернаторша уж двоих упрекнула в скупости, и они поспешно взяли еще по несколько билетов. За этим некуда уже тратить денег, только вот остался иностранец, который приехал

учить гимнастике, да ему не повезло, а в числе гимнастических упражнений у него нет такой штуки, как выбираться из чужого города без денег, и он не знает, что делать. Дворяне сложились помочь ему добраться домой; недостает ста рублей: поглядывают на нашего барина... И вот к концу года выходит вовсе не тот счет в деньгах, какой он прикинул в уме, ходя по полям, когда хлеб был еще на корню... Не по машинке считал!

Но... однако... что вы скажете, друзья мои, прочитав это... эту... это письмо из Англии? куда я заехал? что описываю? скажете, конечно, что я повторяюсь, что я... не выезжал... Виноват: перед глазами всё еще мелькают родные и знакомые крыши, окна, лица, обычаи. Увижу новое, чужое и сейчас в уме прикину на свой аршин. Я ведь уж сказал вам, что искомый результат путешествия – это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют ее!

Прощайте: мы уже снялись с якоря, но не совсем удачно. Начались шквалы: шквалы – это когда вы сидите на даче, ничего не подозревая, с открытыми окнами, вдруг на балкон ваш налетает вихрь, врывается с пылью в окна, бьет стекла, валит горшки с цветами, хлопает ставнями, когда бросаются, по обыкновению поздно, затворять окна, убирать цветы, а между тем дождь успел хлынуть на мебель, на паркет. Теперь это повторяется здесь каждые полчаса, и вот третьи сутки мы лавируем в канале, где дорога неширока: того и гляди прижмет к французскому берегу, а там мели да мели.

Английский лоцман соснет немного ночью, а остальное время стоит у руля, следит зорко за каждою струей, он и в туман бросает лот и по грунту распознает место. Всего хуже встречные суда, а их тут множество.

Вы уже знаете, что мы идем не вокруг Горна, а через мыс Доброй Надежды, потом через Зондский пролив, оттуда к Филиппинским островам и, наконец, в Китай и Японию. Пробыв долго в Англии, мы не успели бы обогнуть до марта Горн. А в марте, то есть в равноденствие, там господствуют свирепые вйстовые и, следовательно, нам противные ветры. А от мыса Доброй Надежды они будут нам попутные. В Индейских морях бывают, правда, ураганы, но бывают, следовательно могут и не быть, а противные ветры у Горна непременно будут. Это напоминает немного сказку об Иване-царевиче, в которой на перекрестке стоит столб с надписью: "Если поедешь направо, волки коня съедят, налево – самого съедят, а прямо – дороги нет". Обратный путь предполагается кругом Америки. И обо всем этом толкуют здесь гораздо меньше, нежели, бывало, при сборах в Павловск или Парголово. А хотите ли знать расстояния? От Англии до Азорских островов, например, 2250 морских миль (миля – 13/4 версты), оттуда до экватора 1020 миль, от экватора до мыса Доброй Надежды 3180 миль, а от мыса Доброй Надежды до Зондского пролива 5400 миль, всего около двадцати тысяч верст. Скучно считать, лучше проехать! До вечера. 11 января.

До вечера: как не до вечера! Только на третий день после того вечера мог я взяться за перо. Теперь вижу, что адмирал был прав, зачеркнув в одной бумаге, в которой предписывалось шкуне соединиться с фрегатом, слово "непременно". "На море непременно не бывает", – сказал он. "На парусных судах", – подумал я. Фрегат рылся носом в волнах и ложился попеременно на тот и другой бок. Ветер шумел, как в лесу, и только теперь смолкает.

Сегодня, 11-го января, утро ясное, море стихает. Виден Эддистонский маяк и гладкий, безотрадный утес Лизарда. Прощайте, прощайте! Мы у порога в океан.

Когда услышите вой ветра с запада, помните, что это только слабое эхо того зефира, который треплет нас, а задует с востока, от вас, пошлите мне поклон – дойдет. Но уж пристал к борту бот, на который ссаживают лоцмана. Спешу запечатать письмо. Еще последнее "прости"! Увидимся ли? В путешествии, или походе, как называют мои товарищи, пока еще самое лучшее для меня – надежда воротиться.

Январь 1853 года.

Британский канал.

1} А. Н. Майков (примеч. Гончарова). 2} В. Г. Бенедиктов и А. Н. Майков (примеч. Гончарова). 3} гигантские шаги (фр.).

II

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН И ОСТРОВ МАДЕРА

Выход в океан. – Крепкий ветер и качка. – Прибытие на Мадеру. – Город Фунчал. – Прогулка на гору. – Обед у консула. – Отплытие.

С 6 по 18 января 1853.

Кончено, я решительно путешествую. Я всё ждал перемены, препятствия; мне казалось, судьба одумается и не пошлет меня дальше: поэтому нерешительно делал в Англии приготовления к отъезду, не запасал многого, что нужно для дальнего вояжа, и взял кое-что, годное больше для житья на берегу. Но вот океан: переступишь за его порог – и возврата нет! Я из Англии писал вам, как мы плавали по каналу, как нас подхватил в нем свежий ветер и держал там четверо суток. Письмо это, со многими другими, взял английский лоцман, который провожал нас по каналу и потом съехал на рыбацьем боте у самого Лизарда. 11-го января ветер утих, погода разгулялась, море улеглось и немножко посинело, а то всё было до крайности серо, мутно; только волны, поднимаясь, показывали свои аквамариновые верхушки. Вот милях в трех белеет стройная, как стан женщины, башня Эддистонского маяка. Он построен на море, на камне, в нескольких милях от берега. Бурун с моря хлещет, говорят, в бурю до самого фонаря. Несколько раз ветер смеялся над усилиями человека, сбрасывая башню в море. Но человек терпеливо, на обломках старого, строил новое здание крепче и ставил фонарь и теперь зажигает опять огонь и, в свою очередь, смеется над ветром. Вот и Лизард, пустой, голый и гладкий утес, далеко ушедший в море от берегов. От подошвы его расстилается светлая площадь океана.

Все были наверху, пока ссаживали лоцмана. Я, прислонившись к шпилью, смотрел на океан и о чем-то задумался. Вдруг меня кто-то схватил за руку, стиснул ее и начал неистово трясти. Что за штука? А! Это лоцман прощается.

Смотрю: лакированная шляпа и синяя куртка пошли дальше, обходя всех таким же порядком. Всякого молча схватит за руку, точно укусит, кивнет головой и потом к следующему. Я дал ему письмо, которое уже у меня было готово, он схватил и опустил его в карман, кивнув тоже головой. Какой карман! Я успел бросить туда взгляд: точно колодезь! Там лежало писем тридцать, но они едва покрывали дно. Мы быстро подвигались к океану. "Дедушка! – спросил кто-то нашего Александра Антоновича, – когда же будем в океане?" – "Мы теперь в нем", – отвечал он. "Так уж из канала вышли?" – спросил другой, глядя по обеим сторонам канала. "Нет еще: ведь это канал и есть, где мы". – "Кто же вас разберет", – отвечали ему недовольные. "Положите метку, – сказал дедушка, – когда назад пойдем, так я вам и скажу, где кончится канал и где начало океана... Смотрите, смотрите!" – сказал он мне, указывая на море.

"Что такое?" – спросил я, глядя во все стороны. "Неужели не видите? Да вот, смотрите: не дальше кабельтова от нас". Смотрю: то там, то сям брызнет из воды тонкой струей фонтанчик и пропадет. Потом опять. "Не может быть, чтоб здесь были киты!" – сказал я. "Не настоящие киты, а мелочь из их породы", – заметил дед.

Я целое утро не сходил с юта. Мне хотелось познакомиться с океаном. Я уже от поэтов

знал, что он "безбрежен, мрачен, угрюм, беспределен, неизмерим и неукротим", а учитель географии сказал некогда, что он просто – Атлантический. Теперь я жадно вглядывался в его физиономию, как вглядываются в человека, которого знали по портрету. Мне хотелось поверить портрет с подлинными чертами лежавшего передо мной великана, во власть которого я отдавался на долгое время. "Какой же он в самом деле? – думал я, поглядывая кругом. – Что таится в этом неизмеренном омуте? Чем океан угостит пловцов?.." Он был покоен: по нем едва шевелились легкими рядами волны, как будто ряды тихих мыслей, пробегающих по лицу; страсти и порывы молчали. Попутный ветер и умеренное волнение так ласково манили дальше, а там... "Где же он неукротим? – думал я опять, – на старческом лице ни одной морщинки! Необозрим он, правда: зришь его не больше как миль на шесть вокруг, а там спускается на него горизонт в виде довольно грязной занавески. Поверхность шара и на этом пространстве образует дугу, закрывающую даль". "Могуч, мрачен – гм! посмотрим", и, оглядев море справа, я оборотился налево и устремил взгляд прямо в физиономию... Фаддеева. Он стоял передо мной с фуражкой в руке. "Что ты?" – "Поди, ваше высокоблагородие, обедать, я давно зову тебя, да не слышишь". Я тем охотнее принял это приглашение, что наверху было холодно. Северный ветер дышал такой прохладой, что в байковом пальто от него трудно было спрятаться.

За столом дед сидел подле меня и был очень весел; он даже предложил мне выпить вместе рюмку вина по случаю вступления в океан. "Поздравляю с океаном", – сказал он. "Вы очень рады ему, вероятно, как старому знакомому?" – спросил я. "Да, мы друг друга знаем, – отвечал он. – И точно я рад: теперь на карту хоть не гляди, по ночам можно спать: камней, банок, берегов – долго не дождемся". – "А буря?" – "Какая буря?" – "Ну, шторм", – поправился я. "Это не по моей части, – сказал он. – Я буду спать, а Иван Семенович и вот Иван Иванович нет. Да что такое шторм на океане? Если еще при попутном ветре, так это значит мчаться во весь дух на лихой тройке, не переменяя лошадей!" Внизу, за обедом, потом за чашкой кофе и сигарой, а там за книгой, и забыли про океан... да не то что про океан, а забыли и о фрегате. Точно где-нибудь в комнате собралось несколько человек приятелей у доброго хозяина, который предоставляет всякому делать, что он хочет. Я разложил у себя на бюро бумаги, книги, поставил на свое место чернильницу, расположил все мелочи письменного стола, как дома. Фаддееву опять досталось немало возиться с убранством каюты. Я не мог надивиться его деятельности, способностям и силе. Я, кажется, писал вам, что мне дали другую каюту, вверху на палубе. Это была маленькая комнатка с окном. Надо было установить в ней всё, как в прежней. И Фаддеев всё это сделал еще в Портсмуте, при переселении с "Кемпердоуна" на фрегат. Доска ли нейдет – мигом унесет ее, отпилит лишнее, и уж там, как она ни упрямься, а он втиснет ее в свое место. Ему нужды нет, если от этого что-нибудь расползется врозь: он и то поправит, и опять нужды нет, если доска треснет. Он один приделал полки, устроил кровать, вбил гвоздей, сделал вешалку и потом принялся разбирать вещи по порядку, с тою только разницею, что сапоги положил уже не с книгами, как прежде, а выстроил их длинным рядом на комод и бюро, а ваксу, мыло, щетки, чай и сахар разложил на книжной полке. "Ближе доставать", – сказал он на мой вопрос, зачем так сделал. С книгами поступил он так же, как и прежде: поставил их на верхние полки, куда рукой достать было нельзя, и так плотно уставил, что вынуть книгу не было никакой возможности. У него было то же враждебное чувство к книгам, как и у берегового моего слуги: оба они не любили предмета, за которым надо было ухаживать с особенным тщанием, а чуть неосторожно поступишь, так, того и гляди, разорвешь. Иногда он, не зная назначения какой-нибудь вещи, брал ее в руки и долго рассматривал, стараясь угадать, что бы это такое было, и уже ставил по своему усмотрению.

Попался ему одеколон: он смотрел, смотрел, наконец налил себе немного на руку. "Укус", – решил он, сунув стклянку куда-то подальше в угол.

Мне надо было несколько изменить в каюте порядок, и это стоило немалого труда. Но худо ли, хорошо ли, а каюта была убрана; всё в ней расставлено и разложено по возможности как следует; каждой вещи назначено место на два, на три года. А про океан, говорю, и

забыли. Только изредка кто-нибудь придет сверху и скажет, что славно идем: девять узлов, ветер попутный. И в самом деле шли отлично. Но океан не забыл про нас. К вечеру стало покачивать. Ну, что за важность? пусть немного и покачает: на то и океан. Странно, даже досадно было бы, если б дело обошлось так тихо и мирно, как где-нибудь в Финском заливе.

К чаю уже надо было положить на стол рейки, то есть поперечные дощечки ребром, а то чашки, блюдечки, хлеб и прочее ползло то в одну, то в другую сторону. Да и самим неловко было сидеть за столом: сосед наваливался на соседа. Начались обыкновенные явления качки: вдруг дверь отворится и с шумом захлопнется. В каютах, то там, то здесь, что-нибудь со стуком упадет со стола или сорвется со стены, выскочит из шкапа и со звоном разобьется – стакан, чашка, а иногда и сам шкап зашевелится. А там вдруг слышишь, сочится где-то сквозь стенку струя и падает дождем на что случится, без разбора, – на стол, на диван, на голову кому-нибудь. Сначала это возбуждало шутки. Смешно было смотреть, когда кто-нибудь пойдет в один угол, а его отнесет в другой: никто не ходил как следует, всё притопывая. Юность резвилась, каталась из угла в угол, как с гор. Вестовые бегали, то туда, то сюда, на шум упавшей вещи, с тем чтобы поднять уже черепки. Сразу не примешь всех мер против неприятных случайностей.

Эта качка напоминала мне пока наши похождения в Балтийском и Немецком морях – не больше. Не привыкать уже было засыпать под размахи койки взад и вперед, когда голова и ноги постепенно поднимаются и опускаются. Я кое-как заснул, и то с грехом пополам: но не один раз будил меня стук, топот людей, суматоха с парусами.

Еще с вечера начали брать рифы: один, два, а потом все четыре. Едва станешь засыпать – во сне ведь другая жизнь и, стало быть, другие обстоятельства, – приснитесь вы, ваша гостиная или дача какая-нибудь; кругом знакомые лица; говоришь, слушаешь музыку: вдруг хаос – ваши лица искажаются в какие-то призраки; полуоткрываешь сонные глаза и видишь, не то во сне, не то наяву, половину вашего фортепиано и половину скамьи; на картине, вместо женщины с обнаженной спиной, очутился часовой; раздался внезапный треск, звон – очнешься – что такое? ничего: заскрипел трап, хлопнула дверь, упал графин, или кто-нибудь вскакивает с постели и бранится, облитый водою, хлынувшей к нему из полупортика прямо на тюфяк.

Утомленный, заснешь опять; вдруг удар, точно подземный, так что сердце дрогнет – проснешься: ничего – это поддало в корму, то есть ударило волной... И так до утра! Всё еще было сносно, не более того, что мы уже испытали прежде. Но утром 12-го января дело стало посерьезнее. "Буря", – сказали бы вы, а мои товарищи называли это очень свежим ветром. Я пробовал пойти наверх или "на улицу", как я называл верхнюю палубу, но ходить было нельзя. Я постоял у шпилья, посмотрел, как море вдруг скроется из глаз совсем под фрегат и перед вами палуба стоит стоймя, то вдруг скроется палуба и вместо нее очутится стена воды, которая так и лезет на вас. Но не бойтесь: она сейчас опять спрячется, только держитесь обеими руками за что-нибудь. Оно красиво, но однообразно... Я воротился в общую каюту.

Трудно было и обедать: чуть зазеваешься, тарелка наклонится, и ручей супа быстро потечет по столу до тех пор, пока обратный толчок не погонит его назад. Мне уж становилось досадно: делать ничего нельзя, даже читать. Сидя ли, лежа ли, а всё надо думать о равновесии, упираться то ногой, то рукой.

Вечером я лежал на кушетке у самой стены, а напротив была софа, устроенная кругом бизань-мачты, которая проходила через каюту вниз. Вдруг поддало, то есть шальной или, пожалуй, девятый вал ударил в корму. Все ухватились кто за что мог. Я, прежде нежели подумал об этой предосторожности, вдруг почувствовал, что кушетка отделилась от стены, а я отделяюсь от кушетки.

"Куда?" – мелькнул у меня вопрос в голове, а за ним и ответ: "На круглую софу". Я так и сделал: распростер руки и препокорно перевалился на мягкие подушки круглой софы. Присутствовавшие, – капитан Лосев, барон Крюднер и кто-то еще, – сначала подумали, не ушибся ли я, а увидя, что нет, расхохотались. Но смеяться на море безнаказанно нельзя: кто-нибудь тут же пойдет по каюте, его повлечет наклонно по полу; он не успеет

наклониться – и, смотришь, приобрел шишку на голове; другого плечом ударило о косяк двери, и он начинает бранить бог знает кого.

Скучное дело качка; все недовольны; нельзя как следует читать, писать, спать; видны также бледные, страдальческие лица. Порядок дня и ночи нарушен, кроме собственно морского порядка, который, напротив, усугублен.

Но зато обед, ужин и чай становятся как будто посторонним делом. Занятия, беседы нет... Просто нет житья! 12-го и 13-го января ветер уже превратился в крепкий и жестокий, какого еще у нас не было. Все полупортики, люминаторы были наглухо закрыты, верхние паруса убраны, пушки закреплены задними таями, чтоб не давили тяжестью своего борта. Я не только стоять, да и сидеть уже не мог, если не во что было упираться руками и ногами. Кое-как добрался я до своей каюты, в которой не был со вчерашнего дня, отворил дверь и не вошел – все эти термины теряют значение в качку – был втиснут толчком в каюту и старался удержаться на ногах, упираясь кулаками в обе противоположные стены. Я ахнул: платье, белье, книги, часы, сапоги, все мои письменные принадлежности, которые я было расположил так аккуратно по ящикам бюро, – всё это в кучке валялось на полу и при каждом толчке металось то направо, то налево. Ящики выскочили из своих мест, щетки, гребни, бумаги, письма – всё ездило по полу вперегонку, что скорее скакнет в угол или оттуда на середину.

"Фаддеев!" – закричал я в ужасе. "Фаддеев! – повторил один матрос. – Фаддеев!" "Фаддеев!" – повторил другой и за ним третий, потом этот третий заглянул ко мне в каюту. "Они на кубрике, ваше высокоблагородие, – сказал он, – сейчас придут". – "Кто они?" – спросил я. "А Фаддеев". Матросы иначе в третьем лице друг друга не называют, как они или матросыком, тогда как, обращаясь один к другому прямо, изменяют тон. "Иди, Сенька, дьявол, скорее! тебя Иван Александрович давно зовет", – сказал этот же матрос Фаддееву, когда тот появился. "Ну, ты разговаривай у меня, сволочь!" – отвечал Фаддеев шепотом, показывая ему кулак. Это у них вовсе не брань: они говорят не сердясь, а так, своя манера. Когда же хотят выразиться нежно, то называют друг друга – братишкой. "Посмотри-ка"! – сказал я Фаддееву, указывая на беспорядок, и, махнув рукою, ушел в капитанскую каюту.

Это был просторный, удобный, даже роскошный, кабинет. Огромный платяной шкаф орехового дерева, большой письменный стол с полками, пьянино, два мягкие дивана и более полудюжины кресел составляли его мебель. Вот там-то, между шкапом и пьянино, крепко привинченными к стене и полу, была одна полукруглая софа, представлявшая надежное убежище от кораблекрушения.

Любезный, гостеприимный хозяин И. С. Унковский предоставлял ее в полное мое распоряжение. Сам он не был изнежен и почти ею не пользовался, особенно в непогоду. Тогда он не раздевался, а соснет где-нибудь в кресле, готовый каждую минуту бежать на палубу. Сядешь на эту софу, и какая бы качка ни была – килевая ли, то есть продольная, или боковая, поперечная, – упасть было некуда. Одна половина софы шла вдоль, а другая поперек фрегата. Тут не пускал упасть шкаф, а там пьянино. Из обоих окон мне видно было море. Что за безобразие или, пожалуй, что за красота! "Буря – прекрасно! поэзия!" – скажете вы в ребяческом восторге. "Какая буря – свежий ветер!" – говорят вам.

Может быть, оно и поэзия, если смотреть с берега, но быть героем этого представления, которым природа время от времени угощает плователя, право незанимательно. Сами посудите, что тут хорошего? Огромные холмы с белым гребнем, с воем толкая друг друга, встают, падают, опять встают, как будто толпа вдруг выпущенных на волю бешеных зверей дерется в остервенении, только брызги, как дым, поднимаются да стон носится в воздухе. Фрегат взберется на голову волны, дрогнет там на гребне, потом упадет на бок и начинает скользить с горы, спустившись на дно между двух бугров, выпрямится, но только затем, чтоб тяжело перевалиться на другой бок и лезть вновь на холм. Когда он опустится вниз, по сторонам его вздымаются водяные стены. В каюте лампы, картинки, висячий барометр вытягивались горизонтально. Несколько стульев повольничали было, оторвались от своих мест и полетели в угол, но были пойманы и привязаны опять. Какие бы, однако, ни были

взяты предосторожности против падения разных вещей, но почти при всяком толчке что-нибудь да найдет случай вырваться: или книга свалится с полки, или куча бумаг, карта поползет по столу и тут же захватит по дороге чернильницу или подсвечник. Вечером раз упала зажженная свеча, и прямо на карту. Я был в каюте один, встал, хотел побежать, но неодолимая тяжесть гнула меня к полу, а свеча вспыхивала сильнее, вот того гляди вспыхнет и карта. Я ползком подобрался к ней и кое-как поставил на свое место.

"Крепкий ветер, жестокий ветер! – говорил по временам капитан, входя в каюту и танцуя в ней. – А вы это всё сидите? Еще не приобрели морских ног".

– "Я и свои потерял", – сказал я. Но ему не верилось, как это человек может не ходить, когда ноги есть. "Да вы встаньте, ну, попробуйте", – уговаривал он меня. "Пробовал, – сказал я, – без пользы, даже со вредом и для себя, и для мебели. Вот, пожалуй..." Но меня потянуло по совершенно отвесной покатоности пола, и я побежал в угол, как давно не бегал. Там я кулаком попал в зеркало, а другой рукой в стену. Капитану было смешно. "Что же вы чай нейдете пить?" – сказал он. "Не хочу!" – со злостью сказал я. "Ну я велю вам сделать здесь". – "Не хочу!" – повторил я... Я был очень зол. Сначала качка наводит с непривычки страх. Когда судно катится с вершины волны к ее подножию и переходит на другую волну, оно делает такой размах, что, кажется, сейчас рассыплется вдребезги; но когда убедишься, что этого не случится, тогда делается скучно, досадно, досада превращается в озлобление, а потом в уныние. Время идет медленно: его измеряешь не часами, а ровными, тяжелыми размахами судна и глухими ударами волн в бока и корму. Это не тихое чувство покорности, *гйsignation*, а чистая злоба, которая пожирает вас, портит кровь, печень, желудок, раздражает желчь. Во рту сухо, язык горит. Нет ни аппетита, ни сна; ешь, чтоб как-нибудь наполнить праздное время и пустой желудок. Не спишь, потому что не хочется спать, а забываешься от утомления в полудремоте, и в этом состоянии опять носятся над головой уродливые грезы, опять галлюцинации; знакомые лица являются, как мифологические боги и богини. То ваша голова и стан, мой прекрасный друг, но в матросской куртке, то будто пушка в вашем замасленном пальто, любезный мой артист, сидит подле меня на диване. Заснешь и вполглаза видишь наяву снасть, а рядом откуда-то возьмутся шелковые драпри какой-нибудь петербургской гостиной – вазы, цветы, из-за которых тут же выглядывает урядник Терентьев. Далее опять франты, женщины, но вместо кружевного платка в руках женщины – кбболка (оборвыш веревки) или банник, а франт трет палубу песком... И вдруг эти франты и женщины завоюют, заскрипят; лица у них вытянулись, разложились – хлоп, полетели куда-то в бездну... Откроешь глаза и увидишь, что кбболка, банник, Терентьев – все на своем месте; а ваз, цветов и вас, милые женщины, – увы, нет! Подчас до того всё перепутается в голове, что шум и треск, и эти водяные бугры, с пеной и брызгами, кажутся сном, а берег, дома, покойная постель – действительностью, от которой при каждом толчке жестоко отрезвляешься.

Я так и не ночевал в своей каюте. Капитан тут же рядом спал одетый, беспрестанно вскакивая и выбегая на палубу. Фаддеев утром явился с бельем и звал в кают-компанию к чаю. "Не хочу!" – был один ответ. "Не надо ли, принесу сюда?" – "Не хочу!" – твердил я, потому что накануне попытка напиться чаю не увенчалась никаким успехом: я обжег пальцы и уронил чашку.

"Что, еще не стихает?" – спросил я его. "Куда те стихать, так и ревет. Уж такое сердитое море здесь!" – прибавил он, глядя с непростительным равнодушием в окно, как волны вставали и падали, рассыпаясь пеною и брызгами. Я от скуки старался вглядеться в это равнодушие, что оно такое: привычка ли матроса, испытанного в штормах, уверенность ли в силах и средствах? – Нет, он молод и закалиться в службе не успел. Чувство ли покорности судьбе: и того, кажется, нет. То чувство выражается сознательною мыслью на лице и выработанным ею спокойствием, а у него лицо всё так же кругло, бело, без всяких отметин и примет. Это просто – равнодушие, в самом незатейливом смысле. С этим же равнодушием он, то есть Фаддеев, – а этих Фаддеевых легион – смотрит и на новый прекрасный берег, и на невиданное им дерево, человека – словом, всё отскакивает от этого

спокойствия, кроме одного ничем не сокрушимого стремления к своему долгу – к работе, к смерти, если нужно. Вглядывался я и заключил, что это равнодушие – родня тому спокойствию или той беспечности, с которой другой Фаддеев, где-нибудь на берегу, по веревке, с топором, взбирается на колокольню и чинит шпиц или сидит с кистью на дощечке и болтается в воздухе, на верху четырехэтажного дома, оборачиваясь, в размахах веревки, спиной то к улице, то к дому.

Посмотрите ему в лицо: есть ли сознание опасности? – Нет. Он лишь старается при толчке упереться ногой в стену, чтоб не удариться коленкой. А внизу третий Фаддеев, который держит веревку, не очень заботится о том, каково тому вверх: он зевает, с своей стороны, по сторонам.

Фаддеев и перед обедом явился с приглашением обедать, но едва я сделал шаг, как надо было падать или проворно сесть на свое место. "Не хочу!" – сказал я злобно. "Третья склянка! зовут, ваше высокоблагородие", – сказал он, глядя, по обыкновению, в стену. Но на этот раз он чему-то улыбнулся.

"Что ты смеешься?" – спросил я. Он захохотал. "Что с тобой?" – "Да смех такой..." – "Ну говори, что?" – "Шведов треснулся головой о палубу". – "Где? как?" – "С койки сорвался: мы трое подвесились к одному крючку, крючок сорвался, мы все и упали: я ничего, и Паисов ничего, упали просто и встали, а Шведов голову ушиб – такой смех! Теперь сидит да стонет".

Уже не в первый раз заметил я эту черту в моем вестовом. Попадется ли кто, достанется ли кому – это бросало его в смех. Поди, разбирай, из каких элементов сложился русский человек! И это не от злости: он совсем не был зол, а так, черта, требующая тонкого анализа и особенного определения. Но ему на этот раз радость чужому горю не прошла даром. Не успел он рассказать мне о падении Шведова, как вдруг рассыльный явился в дверях. "Кто подвешивался с Шведовым на один крючок?" – спросил он. "Кто?" – вопросом отвечал Фаддеев. "Паисов, что ли?" – "Паисов?" – "Да говори скорей, еще кто?" – спросил опять рассыльный. "Еще?" – продолжал Фаддеев спрашивать.

"Поди к вахтенному, – сказал рассыльный, – всех требуют!" Фаддеев сделался очень серьезен и пошел, а по возвращении был еще серьезнее. Я догадался, в чем дело. "Что же ты не смеешься? – спросил я, – кажется, не одному Шведову досталось?" Он молчал. "А Паисову досталось?" Он опять разразился хохотом.

"Досталось, досталось и ему!" – весело сказал он.

"Нет, этого мы еще не испытали!" – думал я, покачиваясь на диване и глядя, как дверь кланялась окну, а зеркало шкапу. Фаддеев пошел было вон, но мне пришло в голову пообедать тут же на месте. "Не принесешь ли ты мне чего-нибудь поесть в тарелке? – спросил я, – попроси жаркого или холодного". – "Отчего не принести, ваше высокоблагородие, изволь, принесу!" – отвечал он. Через полчаса он появился с двумя тарелками в руках. На одной был хлеб, солонка, нож, вилка и салфетка; а на другой кушанье. Он шел очень искусно, упираясь то одной, то другой ногой и держа в равновесии руки, а местами вдруг осторожно приседал, когда покатошь пола становилась очень крута. "Вот тебе!" – сказал он (мы с ним были на ты; он говорил вы уже в готовых фразах: "ваше высокоблагородие" или "воля ваша" и т. п.). Он сел подле меня на полу, держа тарелки. "Чего же ты мне принес?" – спросил я.

"Тут всё есть, всякие кушанья", – сказал он. "Как все?" Гляжу: в самом деле – всё, вот курица с рисом, вот горячий паштет, вот жареная баранина – вместе в одной тарелке, и всё прикрыто вафлей. "Помилуй, ведь это есть нельзя. Недоставало только, чтоб ты мне супу налил сюда!" – "Нельзя было, – отвечал он простодушно, – того гляди, прольешь". Я стал разбирать куски порознь, кладя кое-что в рот, и так мало-помалу дошел – до вафли. "Зачем ты не положил и супу!" – сказал я, отдавая тарелки назад.

"Боже мой! кто это выдумал путешествия? – невольно с горестью воскликнул я, – едешь четвертый месяц, только и видишь серое небо и качку!" Кто-то засмеялся. "Ах, это вы!" – сказал я, увидя, что в каюте стоит, держась рукой за потолок, самый высокий из моих

товарищей, К. И. Лосев. "Да право! – продолжал я, – где же это синее море, голубое небо да теплота, птицы какие-то да рыбы, которых, говорят, видно на самом дне?" На ропот мой как тут явился и дед.

"Вот ведь это кто всё рассказывает о голубом небе да о тепле!" – сказал Лосев. "Где же тепло? Подавайте голубое небо и тепло!.." – приставал я. Но дед маленькими своими шажками проворно пошел к карте и начал мерять по ней циркулем градусы да чертить карандашом. "Слышите ли?" – сказал я ему. – 42 и 18! – говорил он вполголоса. Я повторил ему мою жалобу.

– Дайте пройти Бискайскую бухту – вот и будет вам тепло! Да погодите еще, и тепло наскучит: будете вздыхать о холоде. Что вы всё сидите?

Пойдемте.

– Не могу; я не стою на ногах.

– Пойдемте, я вас отбуксирую! – сказал он и повел меня на шканцы.

Опираясь на него, я вышел "на улицу" в тот самый момент, когда палуба вдруг как будто вырвалась из-под ног и скрылась, а перед глазами очутилась целая изумрудная гора, усыпанная голубыми волнами, с белыми, будто жемчужными, верхушками, блеснула и тотчас же скрылась за борт. Меня стало прижимать к пушке, оттуда потянуло к люку. Я обеими руками уцепился за леер.

– Ведите назад! – сказал я деду.

– Что вы? посмотрите: отлично!

У него всё отлично. Несет ли попутным ветром по десяти узлов в час – "славно, отлично!" – говорит он. Дует ли ветер прямо в лоб и пятит назад – "чудесно! – восхищается он, – по полтора узла идем!" На него не действует никакая погода. Он и в жар и в холод всегда застегнут, всегда бодр; только в жар подбородок у него светится, как будто вымазанный маслом; в качку и не в качку стоит на ногах твердо, заложив коротенькие руки на спину или немного пониже, а на ходу шагает маленькими шажками. Его не возмущает ни буря, ни штиль – ему всё равно. Близко ли берег, далеко ли – ему тоже дела нет. Он был почти везде, а где не был, так не печалится, если не удастся побывать. Я не слыхал, чтоб он на что-нибудь или на кого-нибудь жаловался.

"Отлично!" – твердит только. А если кто-нибудь при нем скажет или сделает не отлично, так он посмотрит только испытующим взглядом на всех кругом и улыбнется по-своему. Он напоминает собою тех созданных Купером лиц, которые родились и воспитались на море или в глухих лесах Америки и на которых природа, окружавшая их, положила неизгладимую печать. И он тоже с тринадцати лет ходит в море и двух лет сряду никогда не жил на берегу. За своеобразие ли, за доброту ли – а его все любили. "Здравствуйте, дед! Куда вы это торопитесь?" – говорила молодость. "Не мешайте: иду определиться!" – отвечал он и шел, не оглядываясь, ловить солнце. "Да где мы теперь?" – спрашивали опять. "В Божьем мире!" – "Знаем; да где?" – "380° сев. «ерной» широты и 12° западной долготы". – "На параллели чего?" – "А поглядите на карту". – "Скажите..." – "Пустите, пустите!" – говорил он, расталкивая молодежь, как толпу ребятишек.

– Холодно, дед! ведите меня назад, – говорил я.

– Что за холодно – отлично! – отвечал он.

Не дождавшись его, я пошел один опять на свое место, но дорого заплатил за смелость. Я вошел в каюту и не успел добежать до большой полукруглой софы, как вдруг сильно поддало. Чувствуя, что мне не устоять и не усидеть на полу, я быстро опустился на маленький диван и думал, что спасусь этим; но не тут-то было: надо было прирасти к стене, чтоб не упасть. Диван был пригвожден и не упал, а я, как ни крепился, но должен был, к крайнему прискорбию, расстаться с диваном. Меня сорвало с него и ударило грудью о кресло так сильно, что кресло хотя и осталось на месте, потому что было привязано к полу, но у него подломилась ножка, а меня перебросило через него и повлекло дальше по полу. По дороге я ушиб еще коленку да задел за что-то щекой. Примчавшись к своему месту, я несколько минут сидел от боли неподвижно на полу. К счастью, ушиб не оставил никаких

последствий. С неделю больно было дотрогиваться до груди, а потом прошло.

В это время К. И. Лосев вошел в каюту. Я стал рассказывать о своем горе.

– А вы скорей садитесь на пол, – сказал он, – когда вас сильно начнет тащить в сторону, и ничего, не стащит!

Вдруг в это время стало кренить на мою сторону.

– Вот, вот так! – учил он, опускаясь на пол. – Ай, ай! – закричал он потом, ища руками кругом, за что бы ухватиться. Его потащило с горы, а он стремительно домчался вплоть до меня... на всегда готовом экипаже. Я только что успел подставить ноги, чтоб он своим ростом и дородством не сокрушил меня.

Так дни шли за днями, или не "дни", а "сутки". На берегу замечаются только одни дни, а в море, в качке, спишь не когда хочешь, а когда можешь.

Там рядом с обыкновенным, природным днем является какой-то другой, искусственный, называемый на берегу ночью, а тут полный забот, работ, возни. Томительные сутки шли за сутками. Человек мечется в тоске, ищет покойного угла, хочет забыться, забыть море, качку, почитать, поговорить – не удается. Всякий сустав в нем, всякий нерв бодрствует, раздраженный и утомленный продолжительным напряжением. Прошрое спокойствие, минуты счастья, отличное плавание, родина, друзья – всё забыто; а если и припоминается, так с завистью. "Да неужели есть берег? – думаешь тут, – ужели я был когда-нибудь на земле, ходил твердой ногой, спал в постели, мылся пресной водой, ел четыре-пять блюд, и всё в разных тарелках, читал, писал на столе, который не пляшет? Ужели есть сады, теплый воздух, цветы..." И цветы припомнишь, на которые на берегу и не глядел. Так вот она, странническая жизнь, исполненная приключений, тревог, бурь, волнений, о которых вздыхал я на берегу! Ну, заварил кашу, наслаждайся теперь!

Неблагодарная память не сохраняет добра. Тут является жалкое, отравляющее жизнь на море чувство – раскаяния: зачем поехал!

В этом расположении я выбрался из каюты, в которой просидел полторы суток, неблагоприятно взглянул на океан и, пробираясь в общую каюту, мысленно поверял эпитеты, данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими – "угрюмый, мрачный, могучий", и Фаддеевым – "сердитый". "Соленый, скучный, безобразный и однообразный! – прибавил я к этому списку, сходя по трапу вниз, – заладил одно – и конца нет!" Внизу везде вода, сырость; спали кое-как, где попало. Я тут же прилег и раз десять вскакивал ночью, пробуждаясь от скрипа, от какого-нибудь внезапного крика, от топота людей, от свистков; вприсонках видел, как дед приходил и уходил с веселым видом.

– Качает, дед! – жаловался я.

– Еще бы не качать: крутой бейдевинд! – сказал он. – Отлично.

– Что же отличного?..

– Как что: 101/2 узлов ходу, прошли Бискайскую бухту, утром будем на параллели Финистерре.

– Подите вы, отлично!

Вдруг показался в дверях своей каюты О. А. Гошкевич, которого мы звали переводчиком. Бледный, с подушкой в руках, он вошел в общую каюту и лег на круглую софу. Его мутило. Он не знал сна, аппетита. Полежав там минут пять, он перешел на кушетку, потом сел на стул, но вскакивал опять и нигде не находил покоя. Жертва морской болезни с первого выхода в море, он возбуждал общее, но бесполезное участие. Его отвели в батарейную палубу и подвесили там койку недалеко от люка, чрез который проходил свежий воздух. Мне стало совестно за свою досаду, и я перестал жаловаться.

Следующие дни тянулись так же однообразно, волнисто, бурно, холодно.

Небо и море серые. А ведь это уж испанское небо! Мы были в 30-х градусах «северной» широты. Мы так были заняты, что и не заметили, как миновали Францию, а теперь огибали Испанию и Португалию. Я, от нечего делать, любил уноситься мысленно на берега, мимо которых мы шли и которых не видали.

Париж возбуждал общий интерес. Мы оставили его в самый занимательный момент:

Людовик-Наполеон только что взошел на престол. Англия одна еще признала его – больше ничего мы не знали. Улеглись ли партии? сумел ли он поддержать порядок, который восстановил? тихо ли там? – вот вопросы, которые шевелились в голове при воспоминании о Франции. "В Париж бы! – говорил я со вздохом, – пожить бы там, в этом омуте новостей, искусств, мод, политики, ума и глупостей, безобразия и красоты, глубокомыслия и пошлостей, – пожить бы эпикурейцем, насмешливым наблюдателем всех этих проказ!" "А вот Испания с своей цветущей Андалузией, – уныло думал я, глядя в ту сторону, где дед указал быть испанскому берегу. – Севилья, *caballeros* с гитарами и шпагами, женщины, балконы, лимоны и померанцы. *Dahin* бы, в Гренаду куда-нибудь, где так умно и изящно путешествовал эпикуреец Боткин, умевший вытянуть до капли всю сладость испанского неба и воздуха, женщин и апельсинов, – пожить бы там, полежать под олеандрами, тополями, сочетать русскую лень с испанскою и посмотреть, что из этого выйдет".

Но фрегат мчится – едва только дед успевает доносить начальству: 40, 38, 35 градусов, параллель – Сан-Винцента, Кадикса... Прощай, Испания, прощай, Европа! Прощайте, друзья мои! увижу ли я вас? Дойдут ли когда-нибудь до вас эти строки, которые пишу, точно под шум столетней дубравы, хотя под южным, но еще серым небом, пишу в теплом байковом пальто?

Далеко, кажется, уехал я, но чую еще север смущенной душой; до меня еще доносится дыхание его зимы, вижу его колорит на воде и небе. Я как будто близко. Я не вижу ни голубого неба, ни синего моря. Шум, холод и соленые брызги – вот пока моя сфера! 18-го января, в осьмой день по выходе из Англии, часов в 9-ть утра, кто-то постучался ко мне в дверь. "Кто там?" – спросил я. "Я", – послышался ответ. "А! это вы, милый мой сосед?" – "Что вы делаете?" – спросил он.

"Что?" – отвечал я вопросом, как Фаддеев. "Верно, лежите?" – "Почти..." – сказал я, барахтаясь от качки в постели, одолеваемый подушками.

"Стыдитесь!" – "Я и то стыжусь, да что ж мне делать?" – говорил я, унимая подушки и руками, и ногами. "Мадера видна". – "Что вы? Фаддеев, Фаддеев!" – закричал я. Он вошел. "Что ж ты нейдешь будить меня? Мадера видна?" – спросил я, думая, не подшутил ли надо мной сосед. "Мадера?" – спросил Фаддеев, глядя на меня так тонко, как дай Бог хоть какому дипломату. "Ну да", – сказал я с нетерпением. Он стал смотреть на стену с обычным равнодушием. "Берег виден, – отвечал он, помолчав, – уж с седьмого часа". – "Что ж ты не пришел мне сказать?" – упрекнул я его. "Воды горячее не было – бриться, – отвечал он, – да и сапоги не чищены". – "Ну давай, давай одеваться! Что там наверху?" – "Господи! как тепло, хорошо ходить-то по палубе: мы все сапоги сняли", – отвечал он с своим равнодушием, не спрашивая ни себя, ни меня и никого другого об этом внезапном тепле в январе, не делая никаких сближений, не задавая себе задач... "Господи! – отвечал я, – как тебе, должно быть, занимательно и путешествовать, и жить на свете, младенец с исполинскими кулаками! Живо, живо, одеваться!" – прибавил я. "Успеешь, ваше высокоблагородие, – отвечал он, – вот – на, прежде умойся!" Я боялся улыбнуться: мне жаль было портить это костромское простодушие европейской цивилизацией, тем более что мы уже и вышли из Европы и подходили... к Костроме, в своем роде.

Я вышел на палубу. Что за картина! Вместо уродливых бугров с пеной и брызгами – крупная, но ровная зыбь. Ветер не режет лица, а играет около шеи, как шелковая ткань, и приятно щекочет нервы; солнце сильно греет.

Перед глазами, в трех милях, лежит масса бурых холмов, один выше другого; разнообразные глыбы земли и скал, брошенных в кучу, лезут друг через друга всё выше и выше. Одна скала как будто оторвалась и упала в море отдельно: под ней свод насквозь. Всё казалось голо, только покрыто густым мхом. Но даль обманывала меня: это не мох, а целые леса; нигде не видать жилья.

Холмы, как пустая декорация, поднимались из воды и, кажется, грозили рухнуть, лишь только подойдешь ближе. Налево виден был, но довольно далеко, Порто-Санто, а еще дальше – Дезертос, маленькие островки, или, лучше сказать, скалы. Дед пальцем показывал

рулевым, как держать в пролив между ними. Мы еще были сбоку Мадеры. Лицом она смотрела к югу. Стали огибать угол... 18 января.

Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать! *Cogito ergo sum* – путешествую, следовательно, наслаждаюсь, перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная на что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан. Мне казалось, что я с этого утра только и начал путешествовать, что судьба нарочно послала нам грозные, тяжелые и скучные испытания, крепкий, семь дней без устали свирепствовавший холодный ветер и серое небо, чтоб живее тронуть мягкостью воздуха, теплым блеском солнца, нежным колоритом красок и всей этой гармонией волшебного острова, которая связует здесь небо с морем, море с землей – и всё вместе с душой человека.

Когда мы обогнули восточный берег острова и повернули к южному, нас ослепила великолепная и громадная картина, которая как будто поднималась из моря, заслонила собой и небо, и океан, одна из тех картин, которые видишь в панораме, на полотне, и не веришь, приписывая обольщению кисти. Группа гор тесно жалась к одной главной горе – это первая большая гора, которую увидели многие из нас, и то она помещена в аристократию гор не за высоту, составляющую всего около 6000 футов над уровнем моря, а за свое вино. Но нам, особенно после низменных и сырых берегов Англии, гора показалась исполином. И как она была хорошо убрана! На вершине белелся снег, а бока покрыты темною, местами бурю растительностью; кое-где ярко зеленели сады.

В разных местах по горам носились облака. Там белое облако стояло неподвижно, как будто прильнуло к земле, а там раскинулось по горе другое, тонкое и прозрачное, как кисея, и сеяло дождь; гора опоясывалась радугами.

В одном месте кроется целый лес в темноте, а тут вдруг обольется ярко лучами солнца, как золотом, крутая окраина с садами. Не знаешь, на что смотреть, чем любоваться; бросаешь жадный взгляд всюду и не успеваешь следить за этой игрой света, как в диораме.

По скату горы шли виноградники, из-за зелени которых выглядывали виллы. На полгоре, на уступе, видна церковь, господствующая над садами и над городом. Город Фунчал... Ужели это город: эти белеющие внизу у самой подошвы, на берегу, дома, как будто крошки сахара или отвалившейся откуда-то штукатурки? Чем ближе подвигались мы к берегу, тем становилось теплее. Чувствуешь чье-то близкое горячее дыхание на лице. Горы справа, слева утесами спускались к берегу. На одном из них, слева от города, поставлена батарея. Внизу, под боком другого утеса, пробирался к рейду купеческий корабль. Мы навели зрительные трубы на него. Корабль был буквально покрыт, почти задавлен пассажирами, всё эмигрантами, едущими из Европы в Америку или Австралию. Ну, дай Бог им счастливо добраться! Нам показалось, что их там более трехсот человек. Как они помещаются?... Все они вышли смотреть берег.

Гавани на Мадере нет, и рейд ее неудобен для судов, потому что нет глубины, или она, пожалуй, есть, и слишком большая, оттого и не годится для якорной стоянки: недалеко от берега – 60 и 50 сажен; наконец, почти у самой пристани, так что с судов разговаривать можно, – всё еще пятнадцать сажен.

Военные суда мало становятся здесь на якорь, а купеческие хотя и останавливаются, но, чуть подует ветер с юга, они уходят на северную сторону, а от северных ветров прячутся здесь. Мы остановились здесь только затем, чтоб взять живых быков и зелени, поэтому и решено было на якорь не становиться, а держаться на парусах в течение дня; следовательно, остановка предполагалась кратковременная, и мы поспешили воспользоваться ею. Судно наше не в первый раз видело эти берега. Несколько лет назад оно было здесь и зимовало в Лисабоне.

Нас окружили шлюпки всяких величин и форм. Приехал капитан над портом поздравить с благополучным прибытием и осведомиться о здоровье пловцов.

Кажется, чего учтивее? А скажите-ка, что вы нездоровы, что у вас, например, человек двадцать-тридцать больных лихорадкой, так вас очень учтиво попросят не съезжать на берег

и как можно скорее удалиться. Привезли апельсинов, еще чего-то; приехала прачка, трактирщица; все совали нам в руки свои адреса, и я опустил в карман своего пальто еще две карточки, к дюжинам прочих, приобретенных в Англии. Их так много накопилось в карманах всех платьев, что лень было заняться побросать их за борт. "В другое время, *nur nicht heute*", – думал я согласно с известным немецким двустишием. После всего этого отделилась от берега шлюпка под русским флагом. В ней сидел русский чиновник, в вицмундире министерства иностранных дел, с русским орденом в петлице. Это – консул. Он узнал сейчас корабль, спросил, нет ли между пловцами старых знакомых, и пригласил нас несколько человек к себе на обед. Был час одиннадцатый утра, когда мы сели в консульскую шлюпку. Гребцы – всё португальцы, одетые очень картинно, в белых спенсерах с отложными воротниками, в маленьких, едва покрывающих темя, красных или синих шапочках, но без обуви. Шея и грудь открыты; все почти с бородами, но без усов, и большею частью рослый, красивый народ.

Я, бывало, с большой недоверчивостью читал в путешествиях о каких-то необыкновенных запахах, которые доносятся, с берега за версту, до носов мореплавателей. Я думал, что эти запахи присутствовали в носовых платках путешественников, франтов эпохи Людовиков XIV и XV, когда прыскались духами до обморока. Но вот в самом деле мы еще далеко были от берега, а на нас повеяло теплым, пахучим воздухом, смесью ананасов, гвоздики, как мне казалось, и еще чего-то. Кто-то из нас, опытный в деле запахов, решил, что пахнет гелиотропом. Вместе с запахом доносились звуки церковного колокола, потом музыки. А декорация гор всё поминутно менялась: там, где было сейчас свежо, ясно, золотисто, теперь задернуто точно флёр, а на прежнем месте, на высоте, вдруг озарились бурые холмы опаленной солнцем пустыни: там радуга.

Вглядываясь в новый, поразительный красотой берег, мы незаметно очутились у пристани, или виноват, ее нет – ну там, где она должна быть.

Шлюпки не пристают здесь, а выскакивают с бурунами на берег, в кучу мелкого щебня. Гребцы, засучив панталоны, идут в воду и тащат шлюпку до сухого места, а потом вынимают и пассажиров. Мы почти бегом бросились на берег по площади, к ряду домов и к бульвару, который упирается в море.

Как приятно расправить ноги после многодневного плавания! Походка еще неверна, надо несколько минут привыкать ходить, отвыкнешь и устает сразу.

На бульваре, под яворами и олеандрами, стояли неподвижно три человеческие фигуры, гладко обритые, с синими глазами, с красивыми бакенбардами, в черном платье, белых жилетах, в круглых шляпах, с зонтиками, и с пронзительным любопытством смотрели то на наше судно, то на нас. Нужно ли называть их? И тут они? Мало еще мы видели их! Лучшие дома в городе и лучшие виноградники за городом принадлежат англичанам. Пусть бы так; да зачем сами-то они здесь? Как неприятно видеть в мягком воздухе, под нежным небом, среди волшебных красок эти жесткие явления! Но мы развлечены были разнообразием других предметов. Музыка, едва слышная на рейде, раздавалась громко из одного длинного здания – казарм, как сказал консул: музыканты учились. Мы пошли по улицам, расположенным амфитеатром, потому что гора начинается прямо от берега. Однако идти по мостовой не совсем гладко: она вся состоит из небольших довольно острых камней: и сквозь подошву чувствительно. В домах жалюзи наглухо опущены от жара; дома очень просты, в два этажа и в один; многие окружены каменным забором. Везде видны сады, зелень, плющи; даже мостовая поросла мелкой травой.

Но отчего на улицах мало деятельности? Толпа народа гуляет празднично; все нарядно одеты. На юге вообще работать не охотники; но уж так лениться, что нигде ни признака труда, – это из рук вон. "Сегодня воскресенье, оттого и магазины закрыты", – сказал консул, который шел тут же с нами. Не помню, кто-то из путешественников говорил, что город нечист, – неправда, он очень опрятен, а белизна стен и кровель придают ему даже более нежного опрятного вида. Грязи здесь, под этим солнцем, быть не может. По словам консула, здесь никогда более трех дней дурной погоды не бывает, и то немного вспрыснет дождь,

прогремит гром – и снова солнце заиграет над островом. Да оно и не прячется никогда совершенно, и мы видели, что оно в одном месте светит, в другом на полчаса скроется. Оссиановской, сырой и туманной, погоды здесь не бывает.

Пока мы шли к консулу, нас окружила толпа португальцев, очень пестрая и живописная костюмами, с смуглыми лицами, черными глазами, в шапочках, колпаках или просто с непокрытой головой, красавцев и уродов, но больше красавцев. Между уродами немало видно обезображенных оспой. Есть и негры, но немного. Все они, на разных языках, больше по-французски и по-английски, очень плохо на том и другом, навязывались в проводники. "Вот госпиталь, вот казармы", – говорил один, "это церковь такая-то", – перебивал другой, "а это дом русского консула", – добавил третий. Мы туда и повернули, и обманутые проводники вдруг замолчали.

Небольшой каменный дом консула спрятался за каменную же стену, между чистым двором и садом. Консул, родом португалец, женат на второй жене, португалке, очень молодой, черноглазой, бледной, тоненькой женщине. Он представил нас ей, но, к сожалению, она не говорила ни на каком другом языке, кроме португальского, и потому мы только поглядели на нее, а она на нас. Консул говорил по-английски и немного по-французски. Ему лет за 50. От первой жены у него есть взрослый сын, которого он обещал показать нам за обедом. Нас ввели почти в темную гостиную; было прохладно, но подняли жалюзи, и в комнату хлынул свет и жар. Из окон прекрасный вид вниз, на расположенные амфитеатром по берегу дома и на рейд. Но мы только что ступили на подошву горы: дом консула недалеко от берега – прекрасные виды еще были вверху.

Поговорив немного с хозяином и помолчав с хозяйкой, мы объявили, что хотим гулять. Сейчас явилась опять толпа проводников и другая с верховыми лошадьми. На одной площадке, под большим деревом, мы видели много этих лошадей. Трое или четверо наших сели на лошадей и скрылись с проводниками.

Консул предложил, не хочу ли я, мне приведут также лошадь, или не предпочту ли я паланкин. "В паланкине было бы покойнее", – сказал я. Консул не успел перевести оставшейся с нами у ворот толпе моего ответа, как и эта толпа бросилась от нас и исчезла. Консул извинился, что не может провожать нас в горы. "Там воздух холоден, – сказал он, – теперь зима, и я боюсь за себя.

Вам советую надеть пальто", – прибавил он, но я оставил пальто у него в доме. Зима! хороша зима: по улице жарко идти, солнце пропекает спину чуть не насквозь. "Не опоздайте же к обеду: в 4 часа!" – кричал мне консул, когда я, в ожидании паланкина, пошел по улице пешком. За мной увязались идти двое мальчишек; один болтал по-французски, то есть исковеркает два слова французских да прибавит три португальских; другой то же делал с английским языком. Однако ж мы как-то понимали друг друга.

Я не торопился на гору: мне еще ново было всё в городе, где на всем лежит яркий, южный колорит. И тут солнце светит не по-нашему, как-то румянее; тени оттого все резче, или уж мне так показалось после продолжительной дурной погоды. Из-за заборов выглядывает не наша зелень.

Везде по стенам и около окон фестонем лепится бесконечный плющ да целая ширма широколиственного винограда. Местами видны, поверх заборов, высокие стройные деревья с мелкою зеленью, это – мирты и кипарисы. Народ, непохожий на наш, северный: всё смуглые лица да резкие, подвижные черты. А вот вдруг вижу, однако ж, что-то очень северное, будто сани. Что за странность: экипажи на полозьях из светлого, кажется ясеневое или пальмового, дерева; на них места, как в кабриолете. Запряжены эти сани парой быков, которые, разумеется шагом, тащат странный экипаж по камням. В экипаже сидит семейство: муж с женой и дети. "Стало быть, колясок и карет здесь нет, – заключил я, – мало места, и ездить им на гору круто, а по городу негде".

Ездят верхом и в носилках. Мимо меня проскакала, на небольшой красивой лошадке, плотная барыня, вся в белой кисее, в белой шляпе; подле, держась за уздечку, бежал проводник. И наши поехали с проводниками, которые тоже бежали рядом с лошадкой, да еще

в гору, – что же у них за легкие? Другую барыню быстро пронесли мимо меня в паланкине. Так вот он, паланкин! Это маленькая повозочка или колясочка, вроде детских, обитая какой-нибудь материей, обыкновенно ситцем или клеенкой. К крышке ее приделана посредине толстая жердь, которую проводники кладут себе на плечи. Я всё шел пешком, и двое мальчишек со мной. В домах иногда открывались жалюзи; из-за них сверкал чей-то глаз, и потом решетка снова захлопывалась. Это какой-нибудь сонный португалец или португалка, услышав звонкие шаги по тихой улице, на минуту выглядывали, как в провинции, удовлетворить любопытству и снова погружались в дремоту съесты. Дальше опять я видел важно шагающего англичанина, в белом галстухе, и если не с зонтиком, так с тростью. Там, должно быть у шинка, толчется кучка народу. Но всё тихо: по климату – это столица мира; по тишине, малолюдству и образу жизни – степная деревня.

Слышу топот за собой. За мной мчится паланкин; проводники догнали меня и поставили носилки на землю. Напрасно я упрашивал их дать мне походить; они схватили меня с криком за обе руки и буквально упрятали в колыбель. Мне было как-то неловко, совестно ехать на людях, и я опять было выскочил. Они опять стали бороться со мной и таки посадили, или, лучше сказать, положили, потому что сидеть было неловко. "А что ж, ничего! – думал я, – мне хорошо, как на диване; каково им? Пусть себе несут, коли есть охота!" Я ожидал, что они не поднимут меня, но они, как ребенка, вскинули меня с паланкином вверх и помчали по улицам. А всего двое; но зато что за рослый, красивый народ! как они стройны, мужественны на взгляд! Из-за отстегнутого воротника рубашки глядела смуглая и крепкая грудь. Оба, разумеется, черноглазые, черноволосые, с длинными бородами. Скоро мы стали подниматься в гору; я думал, тут устанут они, но они шли скорым шагом. Однако ж лежать мне надоело: я привстал, чтоб сесть и смотреть по сторонам. Преширокая ладонь подкралась сзади и тихонько опрокинула меня опять на спину. "Это что?" Я опять привстал, колыбель замоталась и пошла медленнее. Опять та же ладонь хочет опрокидывать меня. "Я сидеть хочу, goddam!" – закричал я. Они объяснили, что им так неловко нести, тяжело... "А, тяжело? мне что за дело: взялись, так несите". Но чуть я задумывался, ладонь осторожно пыталась, как будто незаметно от меня самого, опрокинуть меня. Мне надоело это, и я пошел пешком. "Зима – хороша зима!" – думал я, скидая жакетку. А консул советовал еще надеть пальто, говорил, что в горах воздух холоден. Как не холоден – печет!

Проводники вдруг остановились у какого-то домика, что-то крикнули, и нам вынесли кружки три вина. Подают и мне – как не попробовать: ведь это мадера, еще и прямо из источника! Точно, мадера; но что за дрянь! должно быть, молодое вино. Я отдал кружку назад. Проводники поклонились мне и мгновенно осушили свои кружки, а двое мальчишек, которые бежали рядом с паланкином и на гору, выпили мою. Всё это, конечно, на мой счет, потому что, подав кружки, португалец обратился ко мне с словами: "One shilling, signor". Из-за забора выглядывала виноградная зелень, но винограда уже не было ни одной ягоды: он весь собран давно. Меня понесли дальше; с проводников ручьями лил пот. "Как же вы пьете вино, когда и так жарко?" – спросил я их с помощью мальчишек и посредством трех или четырех языков.

"Вино-то и помогает: без него устали бы", – отвечали они и, вероятно на основании этой гигиены, через полчаса остановились на горе у другого виноградника и другой лавочки и опять выпили.

Тут на дверях висела связка каких-то незнакомых мне плодов, с виду похожих на огурцы средней величины. Кожа, как на бобах – на иных зеленая, на других желтая. "Что это такое?" – спросил я. "Бананы", – говорят.

"Бананы! тропический плод! Дайте, дайте сюда!" Мне подали всю связку. Я оторвал один и очистил – кожа слезает почти от прикосновения; попробовал – не понравилось мне: пресно, отчасти сладко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного и на картофель, и на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата или с своим собственным, каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощ, нежели плод, и между плодами он – *parvenu*. Я заплатил шиллинг и пошел к носилкам; но хозяин лавочки побежал

за мной и совал мне всю связку. "Не надо!" – сказал я. "Вы заплатили за всю, signor! так надо", – говорил он и положил связку в носилки.

Мы поднимались всё выше; дорога шла круче. "Что это такое?" – спрашивал я, часто встречая по сторонам прекрасные сады с домами. "English garden" ("Английский сад"), – говорили проводники. На лучших местах везде были "english garden". Я входил в ворота, и глаза разбегались по прекрасным аллеям тополей, акаций, кипарисов. В тени зелени прятались дома изящной архитектуры с галереями, верандами, со всеми затеями барской роскоши; тут же были и их виноградники. Англичане здесь господа; лучшее вино идет в Англию. Между португальскими торговыми домами мало богачей. Наш консул считается значительным виноторговцем, но он живет очень скромно в сравнении с британскими негоциантами. Они торгуют не одним вином. По просьбе консула, несмотря на воскресенье, нам отперли один магазин, лучший на всем острове, и этот магазин – английский. Чего в нем нет! английские иглы, ножи и прочие стальные вещи, английские бумажные и шерстяные ткани, сукна; их же бронза, фарфор, ирландские полотна. Сожалеть ли об этом или досадовать – право, не знаю. Оно досадно, конечно, что англичане на всякой почве, во всех климатах пускают корни, и всюду прививаются эти корни. Еще досаднее, что они носятся с своею гордостью как курица с яйцом и кудахтают на весь мир о своих успехах; наконец, еще более досадно, что они не всегда разборчивы в средствах к приобретению прав на чужой почве, что берут, чуть можно, посредством английской промышленности и английской юстиции; а где это не в ходу, так вспоминают средневековый фаустрехт – всё это досадно из рук вон.

Но зачем не сказать и правды? Не будь их на Мадере, гора не возделывалась бы так деятельно, не была бы застроена такими изящными виллами, да и дорога туда не была бы так удобна; народ этот не одевался бы так чисто по воскресеньям. Не даром он говорит по-английски: даром южный житель не пошевелит пальцем, а тут он шевелит языком, да еще по-английски. Англичанин дает ему нескончаемую работу и за всё платит золотом, которого в Португалии немного. Конечно, в другом месте тот же англичанин возьмет сам золото, да еще и отравит, как в Китае например... Но теперь не о Китае речь.

На одной вилле, за стеной, на балконе, я видел прекрасную женскую головку; она глядела на дорогу, но так гордо, с таким холодным достоинством, что неловко и нескромно было смотреть на нее долго. Голубые глаза, льняные волосы: должно быть, мисс или леди, но никак не синьора.

Однако я устал идти пешком и уже не насильно лег в паланкин, но вдруг вскочил опять: подо мной что-то было: я лег на связку с бананами и раздавил их. Я хотел выбросить их, но проводники взяли, разделили поровну и съели.

Мы продолжали подниматься по узкой дороге между сплошными заборами по обеим сторонам. Кое-где между зелени выглядывали цветы, но мало. А зима, говорит консул. Хороша зима: олеандр в цвету!

Вдруг в одном месте мы вышли на открытую со всех сторон площадку.

Португальцы поставили носилки на траву. "Bella vischta, signor!" – сказали они. В самом деле, прекрасный вид! Описывать его смешно. Уж лучше снять фотографию: та по крайней мере передаст все подробности. Мы были на одном из уступов горы, на половине ее высоты... и того нет: под ногами нашими целое море зелени, внизу город, точно игрушка; там чуть-чуть видно, как ползают люди и животные, а дальше вовсе не игрушка – океан; на рейде опять игрушки – корабли, в том числе и наш.

Не хотелось уходить оттуда, а пора, да и жарко. Но я всё стоял. "Bella vischta! – сказал я португальцам и потом прибавил: – Grazia", не зная, как сказать им "благодарю". Они поклонились мне, значит, поняли. Можно снять посредством дагерротипа, пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости. Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которой он налит, упиваешься, лишь только ступишь на берег. Я дышал, бывало, воздухом нагорного

берега Волги и думал, что нигде лучшего не может быть. Откроешь утром в летний день окно, и в лицо дунет такая свежая, здоровая прохлада. На Мадере я чувствовал ту же свежесть и прохладу волжского воздуха, который пьешь, как чистейшую ключевую воду, да, сверх того, он будто растворен... мадерой, скажете вы? Нет, тонкими ароматами этой удивительной почвы, питающей северные деревья и цветы рядом с тропическими, на каждом клочке земли в несколько сажен, и не отравляющей воздуха никаким ядовитым дыханием жаркого пояса. В этом состоит особенность и знаменитость острова.

Кажется, ни за что не умрешь в этом целебном, полном неги воздухе, в теплой атмосфере, то есть не умрешь от болезни, а от старости разве, и то когда заживешь чужой век. Однако здесь оканчивает жизнь дочь бразильской императрицы, сестра царствующего императора. Но она прибегла к целительности здешнего воздуха уже в последней крайности, как прибегают к первому знаменитому врачу – поздно: с часу на час ожидают ее кончины.

Португальцы с выражением глубокого участия сказывали, что принцесса – "sick, very sick (очень плоха)" и сильно страдает. Она живет на самом берегу, в красивом доме, который занимал некогда блаженной памяти его императорское высочество герцог Лейхтенбергский. Капитан над портом, при посещении нашего судна, просил не салютовать флагу, потому что пушечные выстрелы могли бы потревожить больную.

Хороша зима! А кто ж это порхает по кустам, поет? Не наши ли летние гости? А там какие это цветы выглядывают из-за забора? Бывают же такие зимы на свете!

Меня понесли с горы другою дорогою, или, лучше сказать, тропинкою, извилистою, узенькою, среди неогороженных садов и виноградников, между хижин. Во всю дорогу в глазах была та же картина, которую вытеснят из памяти только такие же, если будут впереди. Нам попадались всё рослые португальцы. Женщины, особенно старые, повязаны платками, и в этом наряде – точь-в-точь наши деревенские бабы. Мы опять остановились у виноградника; это было уже в третий и, как я объявил, в последний раз. Четвертый час – надо было торопиться к обеду. В небольшом домике, или сарае с скамьями, был хозяин виноградника или приказчик; тут же были две женщины. Мне бросилась в глаза красота одной, южная и горячая. Она была высокого роста, смугла, с ярким румянцем, с большими черными глазами и с косой, которая, не укладываясь на голове, падала на шею, – словом, как на картинах пишут римлянок. Другую я едва заметил, хотя она беспрестанно болтала и смеялась.

Она была... старуха.

Прежде нежели я сел на лавку, проводники мои держали уже по кружке и пили. "А signor не хочет вина?" – спросил хозяин. Я покачал головой. "А за здоровье синьоры?" – спросил он, заметив, что я пристально изучаю глазами красавицу. "Вино это нехорошо; красавица лучше стоит", – сказал я. Едва мальчишки перевели ему это, как он вышел вон и вскоре воротился с кружкой другого вина. Он с гордостью и уверенностью подал мне кружку и что-то сказал, чего я не понял. Я поклонился красавице и попробовал. "Да, это не то вино, что подавали проводникам: это положительно хорошая мадера". Я с удовольствием выпил глотка два и передал кружку красавице. Она отпила немного, но я сделал ей знак, чтоб она продолжала; она смеялась и отговаривалась; хозяин сказал что-то, и она кончила кружку. "А за эту?" – сказали проводники. Я обернулся: старуха сидела уже подле меня. Принесли и еще кружку; я опять попробовал за здоровье старой португалки.

Благодарностям не было конца. Все вышли меня провожать, и хозяин, и женщины, награждая разными льстивыми эпитетами.

Мы быстро спустились в город, промчались мимо домов, нескольких отелей, между прочим французского, через площадь. На дороге перегнали меня наши спутники верхом. По дороге пришлось проходить через рынок. Он живо напомнил мне сцену из "Фенеллы": такая же толпа мужчин и женщин, пестро одетых, да еще, вдобавок, были тут негры, монахи; всё это покупает и продает. Рынок заставлен корзинами с фруктами, с рыбой; тут стоймя приставлены к дверям лавок связки сахарного тростника, который режут кусками и продают простому народу как лакомство. Везде лежат кучи зелени, овощей. Вдруг вижу знакомое

лицо: это наш спутник, который закупает провизию. Но отчего у него постное лицо? Меня поднесли к нему. "Ах, это вы?" – сказал он, прищурясь и вглядываясь в меня. "А это вы? – сказал я, – что вы так невеселы?" – "Да вот поглядите, – отвечал он, указывая на быка, которого я в толпе народа и не заметил, – что это за бык? В Англии собаки больше: и десяти пудов нет". – "Ну, пойдемте к консулу обедать, – сказал я, – и попробуем, каковы эти быки на вкус". Он вздохнул, и мы отправились.

Быки здесь в самом деле мелки, но говядина очень хороша.

На дворе у консула оба носильщика, спустив меня с носилок, протянули ко мне руки, а за ними мальчишки. "Сколько они просят?" – спросил я консула, который смотрел в окно. Он поговорил с ними. "Дорого просят: три доллара, – сказал он. – Как далеко вы были? где?" Но почему я знал, где я был? Я отдал ему фунт стерлинг и просил заплатить и носильщикам, и мальчишкам. Получив деньги, мальчишки быстро скрылись со двора, а носильщики протянули опять руки. "Чего им?" – спросил я консула. "Пустое, не надо! – кричал консул, махая им рукой, – идите, идите! На водку еще просят. Не давайте..." – "Да они три раза взяли с меня натурой, – сказал я, – теперь вот..." Я бросил им по мелкой монете. Они быстро подобрали и с поклонами, быстрее мальчишек, исчезли со двора. А всё на русского человека говорят, что просят на водку: он точно просит; но если поднесут, так он и не попросит; а жителю юга, как вижу теперь, и не поднесут, а он выпьет и все-таки попросит на водку.

Я застал хозяйку в саду. С ней была пожилая дама, вся в черном, начиная с чепца до ботинок; и сама хозяйка тоже; они, должно быть, в трауре. Хозяйка представила меня старушке: "My mother (матушка)", – сказала она. Сад маленький, но чего тут не было? Кофейные деревья, бананы, ананасы, множество цветов. Хозяйка сорвала одну кофейную почку, открыла и показала нам внутри два уже сформировавшиеся кофейные зерна. "Как жаль, что теперь зима! – говорила она, а муж переводил. – Ничего нет! Вот ананасы еще не спели, – и она указала на грядку известной вам зелени ананасов. – К десерту нечего подать. Одни только бананы!" Зима! Как жаль, что такая зима! До какой степени могут избаловаться люди! "А это что? посмотрите-ка, ведь это наш зеленый лук!" – сказал Бутаков, сорвал пучок, и мы с ним отведали нашего северного плода.

Консул познакомил нас с сыном, молодым человеком лет двадцати с небольшим. Он только что воротился из Франции, где учился медицине. Я всё думал, как обедают по-португальски, и ждал чего-нибудь своего, оригинального; но оказалось, что нынче по-португальски обедают по-английски: после супа на стол разом поставили ростбиф, котлеты и множество блюд со всякой зеленью – всё явления знакомые. В этом почти и состоял весь обед. Главным украшением его было вино и десерт. Вино, разумеется, мадера, красная и белая. И та, и другая превосходного качества, особенно красная, как рубин, которая называется здесь тинто. Лучше, кажется, и не выдумаешь вина. Правда, я пил в Петербурге однажды вино, привезенное в подарок отсюда же, превосходное, но другого рода, из сладких вин, известное под названием мальвази-мадеры. Красная мадера не имеет ни малейшей сладости; это капитальное вино и нам показалось несравненно выше белой, madeire secco, которую мы только попробовали, а на другие вина и не смотрели.

Десерт состоял из апельсинов, варенья, бананов, гранат; еще были тут называемые по-английски кастард-эпплз (custard apples) плоды, похожие видом и на грушу, и на яблоко, с белым мясом, с черными семенами. И эти были неспелые. Хозяева просили нас взять по несколько плодов с собой и подержать их дня три-четыре и тогда уже есть. Мы так и сделали.

Действительно, нет лучше плода: мягкий, нежный вкус, напоминающий сливочное мороженое и всю свежесть фрукта с тонким ароматом. Плод этот, когда поспеет, надо есть ложечкой. Если не ошибаюсь, по-испански он называется нона. Обед тянулся довольно долго, по-английски, и кончился тоже по-английски: хозяин сказал спич, в котором изъясил удовольствие, что второй раз уже угощает далеких и редких гостей, желал счастливого возвращения и звал вторично к себе.

Уже в сумерки простились мы с португальским семейством, оказавшим нам

гостеприимство. Этот день, вырванный из береговой жизни, надолго разлил чувство удовольствия между нами. Внезапно развернувшаяся перед нами картина острова, жаркое солнце, яркий вид города, хотя чужие, но ласковые лица – всё это было неожиданным, веселым, праздничным мгновением и влило живительную каплю в однообразный, долгий путь. Я забыл о прошедших неудобствах и покойнее смотрел на будущее. Нигде человек не бывает так жалок, дерзок и по временам так внезапно счастлив, как на море. Хозяйка дала нам по букету цветов. Я сказал, что отошлю свой, в подарок от нее, русским женщинам. Она поверила и нарвала мне еще. Я только сел в шлюпку и пустил букет в море.

"Что же это? как можно?" – закричите вы на меня... "А что ж с ним делать? не послать же в самом деле в Россию". – "В стакан поставить да на стол". – "Знаю, знаю. На море это не совсем удобно". – "Так зачем и говорить хозяйке, что пошлете в Россию?" Что это за житье – никогда не солги!

Но пора кончить это письмо... Как? что?... А что ж о Мадере: об управлении города, о местных властях, о числе жителей, о количестве выделяемого вина, о торговле: цифры, факты – где же всё? Вправе ли вы требовать этого от меня? Ведь вы просили писать вам о том, что я сам увижу, а не то, что написано в ведомостях, таблицах, календарях. Здесь всё, что я видел в течение 10-ти или 12-ти часов пребывания на Мадере. Жителей всех я не видел, властей тоже и даже не успел хорошенько посетить ни одного виноградника.

Когда мы сели в шлюпку, корабль наш был верстах в пяти; он весь день то подходил к берегу, то отходил от него. Теперь чуть видны были паруса.

Ветер дул северный и довольно свежий, но ровный. Было тепло; северный холод не доносился до берегов Мадеры. Я глядел всё назад, на остров: мне хотелось навсегда врезать его в память. Между тем темнота наступала быстро. Облака подвигались на высоту пика, потом вдруг обнажали его вершину, а там опять скрывали ее; казалось, надо было ожидать бури, но ничего не было: тучи только играли с горами. Я обернулся на Мадеру в последний раз: она вся закуталась, как в мантию, в облака, как будто занавес опустился на волшебную картину, и лежала далеко за нами темной массой; впереди довольно уже близко неслась на нас другая масса – наш корабль.

Я послал к вам коротенькое письмо с Мадеры, а это пошлю из первого порта, откуда только ходит почта в Европу; а откуда она не ходит теперь?

До свидания.

Атлантический океан. 23 января 1853.

III

ПЛАВАНИЕ В АТЛАНТИЧЕСКИХ ТРОПИКАХ

Норд-остовый пассат. – Острова Зеленого Мыса. – С.-Яго и Порто-Прайя.

– Северный тропик. – Тропическая зима. – Штилевая полоса. – Экватор. – Южный тропик и зюйд-остовый пассат. – Летучие рыбы и акулы. – Опять штили.

– Масленица. – Образ жизни на фрегате. – Купанье. – Море и небо.

(ПИСЬМО К В. Г. БЕНЕДИКТОВУ)

В поэтическом и дружеском напутствовании¹ вы указали мне, Владимир Григорьевич, обогнуть земной шар. Я не обогнул еще и четверти, а между тем мне захотелось уже побеседовать с вами на необъятной дали, среди волн, на рубеже Атлантического,

Южнополярного и Индийского морей, когда вокруг всё спит, кроме вахтенного офицера, меня и океана. Мне хочется поверить, так ли далеко "слышен сердечный голос", как предсказали вы? К сожалению, это обстоятельство зависит более от исправности почт, нежели сердец наших.

Хотелось бы верно изобразить вам, где я, что вижу, но о многом говорят чересчур много, а сказать нечего; с другого, напротив, как ни бейся, не снимешь и бледной копии, разве вы дадите взаймы вашего воображения и красок. Я из Англии писал вам, что чудеса выдохлись, праздничные явления обращаются в будничные, да и сами мы уже развращены ранним и заочным знанием так называемых чудес мира, стыдимся этих чудес, торопливо стараемся разоблачить чудо от всякой поэзии, боясь, чтоб нас не заподозрили в вере в чудо или в младенческом влечении к нему: мы выросли и оттого предпочитаем скучать и быть скучными. Где искать поэзии? Одно анализировано, изучено и утратило прелесть тайны, другое прискучило, третье оказалось ребячеством.

Куда же делась поэзия и что делать поэту? Он как будто остался за штатом.

Надеть ли поэзию, как праздничный кафтан, на современную идею или по-прежнему скитаться с ней в родимых полях и лесах, смотреть на луну, нюхать розы, слушать соловьев или, наконец, идти с нею сюда, под эти жаркие небеса? Научите.

Для меня путешествие имеет еще пока не столько прелесть новизны, сколько прелесть воспоминаний. Проходя практически каждый географический урок, я переживаю угасшее, некогда страстное впечатление, какое рождалось с мыслью о далеких странах и морях, и будто переживаю детство и юность. Но подчас бывает досадно. Вот морская карта: она вся испещрена чертами, точками, стрелками и надписями. "В этой широте, – говорит одна надпись, – в таких-то градусах, ты встретишь такие ветры", и притом показаны месяц и число. "Там около этого времени попадешь в ураган", – сказано далее, сказано тоже, как и выйти из него: "А там иди по такой-то параллели, попадешь в муссон, который донесет тебя до Китая, до Японии". Далее еще лучше: "В таком-то градусе увидишь в первый раз акул, а там летучую рыбу" – и точно увидишь. "В 380 южной широты и 750 восточной долготы сидят, – сказано, – птицы". – "Ну, – думаю, – уж это вздор: не сидят же они там" – и стал следить по карте. Я просил других дать себе знать, когда придем в эти градусы. Утром однажды говорят мне, что пришли: я взял трубу и различил на значительном пространстве черные точки. Подходим ближе: стая морских птиц колыхается на волнах. Наконец, написано, что в атлантических тропиках термометр не показывает более 230 по Реомюру в тени. И точно не показывает.

Одно только не вошло в Реперовы таблицы, не покорилося никаким выкладкам и цифрам, одного только не смог никто записать на карте...

Но дайте договориться до этих чудес по порядку, как я доехал до них.

Я писал вам, как я был очарован островом (и вином тоже) Мадеры. Потом, когда она скрылась у нас из вида, я немного разочаровался. Что это за путешествие на Мадеру? От Испании рукой подать, всего каких-нибудь миль триста! Это госпиталь Европы.

Но вот стали выходить из тридцатых градусов: всё теплее и теплее. "Пар костей не ломит", – выдумали поговорку у нас; но эта поговорка заключает отрицательную похвалу теплу от печки, которая, кроме тепла, ничего и не дает организму. А солнечное, и притом здешнее, тепло! Боже мой! что оно делает с человеком? как облегчит от всякой нравственной и физической тягости! точно снимет ношу с плеч и с головы, даст свободу дыханию, чувству, мысли... И так целые многие дни и ночи! Долго мы не выйдем из магического круга этого голубого, вечно сияющего лета. Подумайте, года два всё будет лето: сколько в этой перспективе уместится тех коротких мгновений, которые мы, за исключением холода, дождей и туманов, насчитаем в нашем северном миньятюрном лете! "Дед, где мы теперь?" – спросил я однажды.

"Я уж вам три раза сегодня говорил; не стану повторять", – ворчит он; потом, по обыкновению, скажет. "Пойдемте, – говорит, – таща меня за рукав на ют, – вон это что? глядите!.." – "Облако". – "Как не облако! посмотрите хорошенько: ну, что?" – "Туча". – "Эх

вы, туча! Какая туча? остров Пальма".

– "Что вы! Канарские острова!" – "Как же вы не видите?" – "Что ж делать, если здесь облака похожи на берега, а берега на облака. Где же Тенериф?" – спрашиваю я, пронзая взглядом золотой туман и видя только бледно-синий очерк "облака", как казалось мне. "Не увидим, – говорит дед, – мы у него на параллели, только далеко". – "Зайдем в Санта-Круц?" – "Опять зайти: часто будет! Этак никогда не доберемся до Японии". – "А под каким градусом лежит Пальма?" – "Подите посмотрите сами на карте". Я не пошел, зная, что он скажет. И в самом деле сказал. "Под 270. Ведь с вами же вчера целый час толковали". – "Забыл". – "Как же я-то не забываю?" – "На то вы дед. Да что это, пассат, что ли, дует?" – спросил я, а сам придержался за снасть, потому что время от времени покачивало. "Кто его знает? не разберешь! – ворчал дед. – Рано бы, кажется, а похож. Вот подождем денька два-три".

Но денька два-три прошли, перемены не было: тот же ветер нес судно, надувая паруса и навевая на нас прохладу. По-русски приличнее было бы назвать пассат вечным ветром. Он от века дует одинаково, поднимая умеренную зыбь, которая не мешает ни читать, ни писать, ни думать, ни мечтать.

Переход от качки и холода к покою и теплу был так ошутителен, что я с радости не читал и не писал, позволял себе только мечтать – о чем? о Петербурге, о Москве, о вас? Нет, сознаюсь, мечты опережали корабль. Индия, Манила, Сандвичевы острова – всё это вертелось у меня в голове, как у пьяного неясные лица его собеседников. 22 января Л. А. Попов, штурманский офицер, за утранным чаем сказал:

"Поздравляю: сегодня в восьмом часу мы пересекли Северный тропик". – "А я ночью озяб", – заметил я. "Как так?" – "Так, взял да и озяб: видно, кто-нибудь из нас охладел, или я, или тропики. Я лежал легко одетый под самым люком, а "ночной зефир струил эфир" прямо на меня".

"Ну, что море, что небо? какие краски там? – слышу я ваши вопросы. – Как всходит и заходит заря? как сияют ночи? Всё прекрасно – не правда ли?" – "Хорошо, только ничего особенного: так же, как и у нас в хороший летний день..." Вы хмуритесь? А позвольте спросить: разве есть что-нибудь не прекрасное в природе? Отыщите в сердце искру любви к ней, подавленную гранитными городами, сном при свете солнечном и беготней в сумраке и при свете ламп, раздуйте ее и тогда попробуйте выкинуть из картины какую-нибудь некрасивую местность. По крайней мере со мной, а с вами, конечно, и подавно, всегда так было: когда фальшивые и ненормальные явления и ощущения освобождали душу хоть на время от своего ига, когда глаза, привыкшие к стройности улиц и зданий, на минуту, случайно, падали на первый болотный луг, на крутой обрыв берега, всматривались в чащу соснового леса с песчаной почвой, – как полюбишь каждую кочку, песчаный косогор и поросшую мелким кустарником рытвину! Всё находило почетное место в моей фантазии, всё поступало в капитал тех материалов, из которых складывается нежная, высокая, артистическая сторона жизни. Раз напечатлевшись в душе, эти бледные, но полные своей задумчивой жизни образы остаются там до сей минуты, нужды нет, что рядом с ними теснятся теперь в душу такие праздничные и поразительные явления.

Нужно ли вам поэзии, ярких особенностей природы – не ходите за ними под тропики: рисуйте небо везде, где его увидите, рисуйте с торцовой мостовой Невского проспекта, когда солнце, излив огонь и блеск на крыши домов, протечет чрез Аничков и Полицейский мосты, медленно опустится за Чекуши; когда небо как будто задумается ночью, побледнеет на минуту и вдруг вспыхнет опять, как задумывается и человек, ища мысли: по лицу на мгновение разольется туман, и потом внезапно озарится оно отысканной мыслью. Запыляет небо опять, обольет золотом и Петергоф, и Мурино, и Крестовский остров.

Сознайтесь, что и Мурино, и острова хороши тогда, хорош и Финский залив, как зеркало в богатой раме: и там блестят, играя, жемчуг, изумруды...

Виноват, плавая в тропиках, я очутился в Чекушах и рисую чухонский пейзаж; это, впрочем, потому, что мне еще не шутя нечего сказать о тропиках. Каждый день во всякое время смотрел я на небо, на солнце, на море – и вот мы уже в 140 «южной» широты, а небо

всё такое же, как у нас, то есть повыше, на зените, голубое, к горизонту зеленоватое. Тепло, как у нас в июле, и то за городом, а в городе от камней бывает и жарче. Мы оделись в тропическую форму: в белое, а потом сознались, что если б остались в небелом, так не задохлись бы. Реомюр показывал 220 в тени. Лучи теряют свою жгучую силу на море. Кроме того, палубу смачивали водой и над головой растягивали тент. Кругом не было стен и скал, запирающих воздух, и сквозь снасти свободно веял пассат. Небо часто облачно, так что мы не можем видеть ни восхождения, ни захождения солнца. Оно выходило из-за облак и садилось в тучи. "Что ж это вы, дед, насажали о тропических жарах, о невиданных ночах, о Южном Кресте? Всё, что мы видим, слабо..." – "Теперь зима, январь, – говорит он, обмахиваясь фуражкой и отирая пот, капавший с небритого подбородка, – вот дайте перевалиться за экватор, тогда будет потеплее. А Южный Крест должен быть теперь здесь, вон за левой вантой!" – и он указал коротеньким пальцем на ванту. "Дался им этот Крест, – ворчал дед, спускаясь в люк, – выдумали Крест! И Креста-то никакого нет: просто четыре небольшие звезды... Пойти-ка лучше лечь, а то еще..." – и исчез в люк.

Вверху, однако ж, небо было свободно от туч, и оттуда, как из отверстий какого-то озаренного светом храма, сверкали миллионы огней всеми красками радуги, как не сверкают звезды у нас никогда. Как страстно, горячо светят они! кажется, от них это так тепло по ночам! Эта вечно играющая и что-то будто говорящая на непонятном языке картина неба никогда не надоест глазам. Выйдешь из каюты на полчаса дохнуть ночным воздухом и прстоишь в онемении два-три часа, не отрывая взгляда от неба, разве глаза невольно сами сомкнутся от усталости. Затверживаешь узор ближайших созвездий, смотришь на переливы этих зеленых, синих, кровавых огней, потом взгляд утонет в розовой пучине Млечного Пути. Всё хочется доискаться, на что намекает это мерцание, какой смысл выходит из этих таинственных, непонятных речей? И уйдешь, не объяснив ничего, но уйдешь в каком-то чаду раздумья и на другой день жадно читаешь опять.

Море... Здесь я в первый раз понял, что значит "синее" море, а до сих пор я знал об этом только от поэтов, в том числе и от вас. Синий цвет там, у нас, на севере, – праздничный наряд моря. Там есть у него другие цвета, в Балтийском, например, желтый, в других морях зеленый, так называемый аквамариновый. Вот наконец я вижу и синее море, какого вы не видали никогда.

Это не слегка сверху окрашенная вода, а густая яхонтовая масса, одинаково синяя на солнце и в тени. Не устанешь любоваться, глядя на роскошное сияние красок на необозримом окружающем нас поле вод.

Как ни привыкаешь к противоположностям здешнего климата с нашим и к путанице во временах года, а иногда невольно поразишься мыслью, что теперь январь, что вы кутаетесь там в меха, а мы напрасно ищем в воде отрады.

Только Фаддеев ничем не поражается: "Тепло, хорошо!" – говорит он. Зима, зима, а палубу то и дело поливают водой, но дерево быстро сохнет и издает сильный запах; смола, канат тоже, железо, медь – и те под этими лучами пахнут. Видели мы пролетевшую над водой одну летучую рыбу да одну шарку, или акулу, у самого фрегата. О животных больше и помину не было. Зима всё продолжалась, то есть облака плотно застилали горизонт, по вечерам иногда бывало душно, но духота разрешалась проливным дождем – и опять легко и отраднo было дышать.

Мои товарищи всё доискивались, отчего погода так мало походила на тропическую, то есть было облачно, как я сказал, туманно, и вообще мало было свойств и признаков тропического пояса, о которых упоминают путешественники. Приписывали это близости африканского берега или каким-нибудь неизвестным нам особенным свойствам Гвинейского залива.

Любопытно бы было сравнить шканечные журналы нескольких мореплавателей в этих долготах, чтоб решить о том, одинаковые ли обстоятельства сопровождают плавание в большей или в меньшей долготе. Да, я забыл сказать, что мы не последовали примеру большей части мореплавателей, которые, отправляясь из Европы на юг Америки или

Африки, стараются, бог знает для чего, пересечь экватор как можно дальше от Африки. Один из новейших путешественников, Бельчер, кажется, первый заметил, что нет причины держаться ближе Америки, особенно когда идут к мысу Доброй Надежды или в Австралию, что это удлиняет только путь, тем более что зюйд-остовый пассат и без того относит суда далеко к Америке и заставляет делать значительный угол. Следуя этому основательному указанию, наш адмирал велел держать ближе к Африке, и потому мы почти не выходили из 14 и 15о западной долготы.

Мы не заметили, как северный, гнавший нас до Мадеры ветер слился с пассатом, и когда мы убедились, что этот ветер не случайность, а настоящий пассат и что мы уже его не потеряем, то адмирал решил остановиться на островах Зеленого Мыса, в пятистах верстах от африканского материка, и именно на о. С.-Яго, в Порто-Прайя, чтобы пополнить свежие припасы. Порт очень удобен для якорной стоянки. Здесь застали мы два американские корвета да одну шкуну, отправляющиеся в Японию же, к эскадре commodore Перри.

Ровно через неделю после прогулки на Мадере, также в воскресенье, завидели мы разбросанные на далеком расстоянии по горизонту большие и небольшие острова. Одни из них, подальше, казались темно-синими, другие, поближе, бурыми массами. Самый близкий, Сант-Яго, лежал, как громадный ком красной глины. Мы подвигались всё ближе: масса обозначалась яснее, утесы отделялись один от другого, и весь рисунок острова очертился перед нами, когда мы милях в полутора бросили якорь. От Мадеры до островов Зеленого Мыса считается тысяча морских миль по меридиану. Это 1750 наших верст.

Направо утесы, налево утесы, между ними уходит в горы долина, оканчивающаяся песчаным берегом, в который хлещет бурун. У самого берега, слева от нас, виден пустой маленький островок, направо масса накинанных друг на друга утесов. По одному из них идет мощеная дорога кверху, в Порто-Прайя. Пониже дороги, ближе к морю, в ущелье скал кроется как будто трава – так кажется с корабля. На берегу, в одном углу под утесами, видно здание и шалаши. Остальной берег между скалами весь пустой, низменный, просто куча песку, и на нем растет тощий ряд кокосовых пальм. Как всё это, вместе взятое, печально, скудно, голо, опалено! Пальмы уныло повесили головы; никто нейдет искать под ними прохлады: они дают столько же тени, сколько метла.

Всё спит, всё немеет. Нужды нет, что вы в первый раз здесь, но вы видите, что это не временный отдых, награда деятельности, но покой мертвый, непробуждающийся, что картина эта никогда не меняется. На всем лежит печать сухости и беспощадного зноя. Приезжайте через год, вы, конечно, увидите тот же песок, те же пальмы счетом, валяющихся в песке негров и негритянок, те же шалаши, то же голубое небо с белым отблеском пламени, которое мертвит и жжет всё, что не прячется где-нибудь в ущелье, в тени утесов, когда нет дождя, а его не бывает здесь иногда по несколько лет сряду. И это же солнце вызовет здесь жизнь из самого камня, когда тропический ливень хоть на несколько часов напоит землю. Ужасно это вечное безмолвие, вечное немение, вечный сон среди неизмеримой водяной пустыни. Бесконечные воды расстилаются здесь, как бесконечные пески той же Африки, через которые торопливо крадется караван, боясь, чтобы жажда не застигла его в безводном пространстве. Здесь торопливо скользит по глади вод судно, боясь штилей, а с ними и жажды, и голода. Пароход забросит немногие письма, возьмет другие и спешит пройти мимо обреченной на мертвый покой страны. А какие картины неба, моря! какие ночи! Пропадают эти втуне истраченные краски, это пролитое на голые скалы бесконечное тепло! Человек бежит из этого царства дремоты, которая сковывает энергию, ум, чувство и обращает всё живое в подобие камня. Я припоминал сказки об окаменелом царстве. Вот оно: придет богатырь, принесет труд, искусство, цивилизацию, разбудит и эту спящую от века красавицу-природу и даст ей жизнь. Время, кажется, недалеко. А теперь, глядя на эту безжизненность и безмолвие, ощущаешь что-то похожее на ужас или на тоску. Ничто не шевелится тут; всё молчит под блеском будто разгневанных небес. В море, о, в море совсем иначе говорит этот царственный покой сердцу! Горе жителям, когда нет дождя: они мрут с голода. Земля производит здесь кофе, хлопчатую бумагу, все южные плоды, рис, а в засуху

только морскую соль, которая и составляет одну из главных статей здешней промышленности.

К нам приехал чиновник, негр, в форменном фраке, с галунами. Он, по обыкновению, осведомился о здоровье людей, потом об имени судна, о числе людей, о цели путешествия и всё это тщательно, но с большим трудом, с гримасами, записал в тетрадь. Я стоял подле него и смотрел, как он выводил каракули. Нелегко далась ему грамота.

Вскоре мы поехали на берег: нас не встретили ни ароматы, ни музыка, как на Мадере. Только утесы росли по мере того, как мы приближались; а трава, которая видна с корабля в ущелье, превратилась в пальмовую рощу. Но я с наслаждением путешественника смотрел и на этот берег, печальный образчик африканской природы. Для северного глаза всё было поразительно: обожженные утесы и безмолвие пустыни, грозная безжизненность от избытка солнца и недостатка влаги и эти пальмы, выросшие в песок и безнаказанно подставляющие вечную зелень под 40° жара. Может быть, оттого особенно и поразительно, что и у нас есть свои пустыни, и сухость воздуха, и грозная безжизненность, наконец, вечная зелень сосен, и даже 40 градусов.

На берегу теснилась куча негров и негритянок и голых ребятишек: они ждали, когда пристанет наша шлюпка. Здесь также нет пристани, как и на Мадере, шлюпка не подходит к берегу, а остается на песчаной мели, шагов за пятнадцать до сухого места. Наши матросы засучили панталоны и соскочили в воду, чтоб перенести нас, но тут же по пояс в воде стояли полунагие негры, желая оказать нам ту же услугу. Спекуляция их не должна пропадать даром: я протянул к ним руки, они схватили меня, я крепко держался за голые плечи и через минуту стоял на песчаном берегу. Там стоит небольшой пакгауз, таможенное здание, как сказали нам. Оно заперто; кругом его шалаши на четырех столбах с крышей из пальмовых листьев. "Есть ли фрукты?" – спросили мы у негров; они бросились и скрылись за утесом. Но мы не стали ждать их и пошли по мощеной дороге на гору. Африканское солнце, хотя и зимнее, дало знать себя. На море его не чувствуешь: жар умеряется ветром, зато на берегу! Гора не высока и не крута, а мы едва взойшли и на несколько минут остановились отдохнуть, отирая платками лоб и виски. На горе, над портом, господствует устроенная на каменной платформе батарея. Мы пошли налево от нее в город и скоро вышли на площадь. Часовые, португальцы и мулаты, в мундирах, но босые, учтиво кланялись. Мулаты не совсем нравятся мне. Уж если быть черным, так черным как уголь, чтоб кожа лоснилась, как хорошо вычищенный сапог. В этом еще есть если не красота, так оригинальность. А эти бледно-черные, матовые тела неприятны на вид.

На площади были два-три довольно большие каменные дома, казенные, и, между прочим, гауптвахта; далее шла улица. В ней частные дома, небольшие, бедные, но каменные, все с жалюзи, были наглухо закрыты. Улица напоминает любой наш уездный город в летний день, когда полуденное солнце жжет беспощадно, так что ни одной живой души не видно нигде; только ребятишки безнаказанно, с непокрытыми головами, бегают по улице и звонким криком нарушают безмолвие. Всё прочее спит или просто ленится. Изредка нехотя выглянет из окна какое-нибудь равнодушное лицо и опять спрячется. И на нас выглянули два-три офицера из казарм; но этим только сходство и ограничивается, а дальше уж ничего нет похожего. На площади стоит невысокий столб с португальской короной наверху – знак владычества Португалии над группой островов. По всей площади и по улице привязано было к колодам несколько лошадей и множество ослов, большею частью оседланных деревянными седлами.

Идучи по улице, я заметил издали, что один из наших спутников вошел в какой-то дом. Мы шли троим. "Куда это он пошел? пойдемте и мы!" – предложил я. Мы пошли к дому и вошли на маленький дворик, мощный белыми каменными плитами. В углу, под навесом, привязан был осел, и тут же лежала свинья, но такая жирная, что не могла встать на ноги. Дальше бродили какие-то пестрые, красивые куры, еще прыгал маленький, с крупного воробья величиной, зеленый попугай, каких привозят иногда на петербургскую биржу.

Попугай вертелся под ногами, и кто-то из нас, может быть я, наступил на него: он

затрепетал крыльями и, хромая, спотыкаясь, поспешно скрылся от северных варваров в угол. Мы поднялись по деревянной лестнице во второй этаж, в галерею, и потом вошли в комнату. Нас встретила пожилая дама; мы ей поклонились, она нам. Она молча указала на стулья. Мы сели и начали было с ней разговор по-английски, а она с нами по-португальски; мы по-французски, а она опять по-своему. Мы уж хотели раскланяться, но она что-то сказала нам и поспешно вышла из комнаты. Через минуту она вывела молодую, прехорошенькую девушку. Та стыдливо шла за нею и робко отвечала на наш поклон. Мы поглядывали друг на друга в недоумении... Что же это такое?

Хозяйка кое-как дала нам понять, что эта девушка говорит или понимает по-французски. Мы засыпали ее вопросами, но она или не говорила, или не понимала, или, наконец, в Порто-Прайя под именем французского разумеют совсем другой язык. Однако ж кое-как мы поняли из нескольких по временам вырывавшихся у нее французских слов, что она привезена сюда из Лисабона и еще не замужем, живет здесь с родственниками. Да Бог знает, то ли еще она сказала: это мы так растолковали ее ответы. Мы поклонились и ушли. "У кого это мы были, господа?" – спросил меня один из товарищей. "А, ей-богу, не знаю". – "Да зачем мы заходили сюда?" – приставал он ко мне. "И этого не знаю. Сюда вошел Тихменев, и мы за ним. Да кстати, где же он?" – "Да он не в этот дом вошел, а вон в тот... вон он выходит". В самом деле, Тихменев вышел из другого дома, рядом. "Плоха провизия и мало! – со вздохом сказал он, – быки, коровы не крупнее здешних ослов. Как-то мы доберемся до мыса Доброй Надежды?" Итак, мы это в качестве путешественников посетили незнакомый дом!

Тут негр предложил нам, не хотим ли мы поехать на осле или лошади.

Третий наш спутник поехал; а мы вдвоем с отцом Аввакумом пошли пешком и скоро из города вышли в деревню, составляющую продолжение его. Всё это предместье состоит из глиняных мазанок, без окон. Я заглядывал туда: бедная домашняя утварь, деревянные скамьи – вот и всё украшение. Негров молодых не видать: вероятно, все на работе в полях. Тут только старики и старухи, и какие безобразные! Одна особенно поразила нас безобразием; она переходила улицу и не могла разогнуться от старости. На вид ей было лет девяносто.

Лысая, с небольшими остатками седых клочков. Зато видели и несколько красавиц в своем роде. Что за губы, что за глаза! Тело лоснится, как атлас.

Глаза не без выражения ума и доброты, но более, кажется, страсти, так что и обыкновенный взгляд их нескромен. Веко распахнется медленно и широко, глаз выкатится оттуда весь и выразит разом всё, что гнездится в чувственном теле. Одеты они довольно живописно: в юбке, но без рубашки, а сверху через одно плечо накинуто что-то вроде бумажной шали до колен; другое плечо и часть груди обнажены. Голова повязана платком, и очень хорошо: глазам европейца неприятно видеть короткие волосы на женской голове, да еще курчавые. Некоторые из этих дам долго шли за нами и на исковерканном английском языке (и здесь англичане – заметьте!) просили денег бог знает по какому случаю. Одеты они были не нищенски. Разве не предлагали ли они каких-нибудь услуг?... Но мы только и могли понять из их бессвязных речей одно слово: "money".¹ Голые ребятишки бегали; старики и старухи, одни бродили лениво около домов, другие лежали в своих хижинах. Я видел и англичан, но те не лежали, а куда-то уезжали верхом на лошадях: кажется, на свои кофейные плантации... Это всё богатыри, старающиеся разбудить спящую красавицу.

Мы вдвоем прошли всю деревню и вышли в поле. Деревня и город построены на самом краю утеса. По крутизне разбросаны были кое-где хижины или выходили туда садами. Мы по дороге сошли в долину; она была цветущим оазисом посреди этих желтых и серых глыб песку. Чего в ней не растет? И все было ново нам: мы познакомились с декорацией не наших деревьев, не нашей травы, кустов и жадно хотели запомнить всё: группировку их, отдельный рисунок дерева, фигуру листьев, наконец, плоды; как будто смотрели на это в последний раз, хотя нам только это и предстояло видеть на долгое время. Из плодов видели фиги, кокосы, много апельсиновых деревьев, но без апельсинов, цветов вовсе почти не видать; мало и насекомых, всё по случаю зимы. Я видел только одну пролетевшую птицу, величиной с

галку, с длинным голубым хвостом. Мы прошли эту рощу или сад – сад потому, что в некоторых местах фруктовые деревья были огорожены; кое-где видел я шалаши, и в них старые негры стерегли сад, как и у нас это бывает. За рощей, дальше, простирались поля, частью возделанные, частью пустые; кое-где виден лес. Но мы ограничились своей прогулкой долиною: дальше идти было жарко.

Мы воротились к берегу садом, не поднимаясь опять на гору, останавливались перед разными деревьями. На берегу застали живую сцену.

Многие негры натаскали корзин с апельсинами, другие успели устроить кресла на носилках, чтобы переносить нас на шлюпку. Все эти спекулянты сидели и лежали группами на песке, ожидая нас. Я подошел к одной группе и застал негров за картами. И как вы думаете, во что они играли? В свои козыри! Если б не эти черные, лоснящиеся лица, не курчавые, точно напудренные березовым углем волосы, я бы подумал, что я вдруг зашел в какую-нибудь провинциальную лакейскую. Я пригляделся к игре – нет сомнения: свои козыри. Вон один из играющих, не имея чем покрыть короля, потащил всю кучу засаленных карт к себе, а другие оскалили белые зубы. Я посмотрел на прочие группы и поскорей отвернулся. Две негритянки, должно быть сестры: одна положила голову на колени другой, а та... Да вы видали эти сцены, проезжая в летний день дорогой наши села... Некоторые из негров бранились между собой – и это вы знаете: попробуйте остановиться в Москве или Петербурге, где продают сайки и калачи, и поторгуйте у одного: как всё это закричит и завоюет! То же и здесь, да и везде, как кажется. Ссоры эти были напрасны: сколько они ни принесли апельсинов, мы всё купили. Меня эти апельсины прежде всего поразили своей величиной: к нам таких не привозят. А съевши один апельсин, я должен был сознаться, что хороших апельсинов до этой минуты никогда не ел. Может быть, это один попался удачный, думал я, и взял другой: и другой такой же, и – третий: все как один.

Пока я производил эти сравнительные опыты любознательности, с разных сторон сходились наши спутники и принялись за то же самое. От одной прогулки все измучились, изнурились; никто не был похож на себя: в поту, в пыли, с покрасневшими и загорелыми лицами; но все как нельзя более довольные: всякий видел что-нибудь замечательное. Я решился купить у старой негритянки (я всегда, где можно, отдаю предпочтение дамам) всю корзину апельсинов. Она из другой корзинки выбрала еще несколько самых лучших апельсинов и хотела мне подарить. "Present, present", – твердила она. Но я не хотел уступить ей в галантерейном обращении и стал вынимать из кармана деньги, чтоб заплатить и за эти. Она ужасно рассердилась и взяла было назад и первую корзину. Она болтала немного по-английски и называла меня синьор француз. О русских она не слыхала. Тут же, у самого берега, купались наши матросы, иногда выходили на берег и, погревшись на солнце, шли опять в воду, но черные дамы не обращали на это ни малейшего внимания: видно, им не в первый раз.

Я с пришедшими товарищами при закате солнца вернулся на фрегат, пристально вглядываясь в эти утесы, чтоб оставить рисунок в памяти. Берег постепенно удалялся, утесы уменьшались в размерах; роща в ущелье по-прежнему стала казаться пучком травы; кучки негров на берегу толпились, точно мухи, собравшиеся около капли меду; двое наших, отправившихся на маленький пустой остров, лежащий в заливе, искать насекомых, раковин или растений, ползали, как два муравья. Долина скрылась из глаз, и опять вся картина острова стала казаться такою увядшею, сухою и печальною, точно старуха, но подурмяненная на этот раз пурпуровым огнем солнечного заката.

Шлюпка наша уже приставала к кораблю, когда вдруг Савич закричал с палубы гребцам: "Живо, скорей, ступайте туда, вон огромная черепаха плавает поверх воды, должно быть спит, – схватите!" Мы поворотили, куда указал Савич, но черепаха проснулась и погрузилась в глубину, и мы воротились ни с чем. Если б остановка была продолжительнее, можно было бы осмотреть здешние соляные бассейны. Добывание соли – главный промысел островов. Бассейны во время приливов наполняются морской водой, которая, испаряясь от жара, оставляет обильный осадок соли. Жители добывают еще какую-то растительную

краску, разводят немного кофе, сахарного тростника, хлопчатой бумаги, но все-таки очень бедны.

На другой день мы ушли дальше. Давно уже дед грозил нам штилевой полосой, которая опоясывает землю в нескольких градусах от экватора. Штили, а не бури – ужас для парусных судов. А я перед тем только что заглянул в Араго и ужаснулся, еще не видя ничего. В самом деле, каково простоять месяц на одном месте, под отвесными лучами солнца, в тысячах миль от берега, томиться от голода, от жажды? Припомнишь все сцены ужаса, какими сопровождалось подобные события... 29-го января в 30 северной широты мы потеряли пассат и вошли в роковую полосу. Вместо десяти узлов, то есть семнадцати верст, пошли по два, по полтора узла. Ветер иногда падал совсем, и безветренные паруса тоже падали, хлопая о мачты. Мы вопросительно озирались вокруг, а небо, море сияют нестерпимым блеском, точно смеются, как иногда смеется сильная злоба над немощью. Встанем утром: "Что, идем?" Нет, ползем по полуторы, по две версты в час. Море колыхается целой массой, как густой расплавленный металл; ни малейшей чешуи, даже никакого всплеска. Мы думали, что бездействие ветра протянется долгие дни, но опасения наши оправдались не здесь, а гораздо южнее, по ту сторону экватора, где бы всего менее должно было ожидать штилей. 31-го января паруса зашевелились поживее, повеял ветер, сначала неопределенный, изменчивый, а в 10 северной широты задул и ожидаемый SO, пассат. Мы были у самого экватора. 2-го февраля, ложась вечером спать, я готовился наутро присутствовать при перехождении через экватор. Но 3-го числа, в 8 часов утра, дед донес начальству, что мы уже в южном полушарии: в пять часов фрегат пересек экватор в 180 западной долготы. Мы все, однако ж, высыпали наверх и вопросительно смотрели во все стороны, как будто хотели видеть тот деревянный ободочек, который, под именем экватора, опоясывает глобус.

Все были погружены в раздумье. П. А. Тихменев, облокотясь на гик, смотрел вдаль. Все заняты экватором. "Ну что, Петр Александрович: вот мы и за экватор шагнули, – сказал я ему, – скоро на мысе Доброй Надежды будем!" – "Да, – отвечал он, глубоко вздохнув и равнодушно поглядывая на бирюзовую гладь вод, – оно, конечно, очень приятно... А есть ли там дрожжи?" Ну можно ли усерднее заботиться об исполнении своей обязанности, как бы она священна ни была, как, например, обязанность о продовольствии товарищей? Добрый Петр Александрович! Вдруг глаза его заблестали необыкновенным блеском: я думал, что он увидел экватор. Он протянул и руку. "Опять кто-то бананы поел! – воскликнул он в негодовании, – верно, Зеленый, он сегодня ночью на вахте стоял". На ночь фрукты развешивали для свежести на палубе, и к утру всегда их несколько убывало. Тихменев производил строгое следствие, но, кроме лукавых улыбок, никогда ничего добиться не мог.

Пересеки и тропик, и экватор,

И отпируй сей праздник моряков!.. – предписывали вы мне, ваше превосходительство, Владимир Григорьевич: я мысленно пригласил вас на этот праздник, но он не состоялся. О нем и помысла не было. Матросы наши мифологии не знают и потому не только не догадались вызвать Нептуна, даже не поздравили нас со вступлением в его заветные владения и не собрали денежную или винную дань, а мы им не напомнили, и день прошел скромно. Только ночью капитан пригласил нас к себе ужинать. Почетным гостем был дед: не впервые совершал он этот путь, и потому бокал теплого шампанского был выпит за его здоровье. "Сколько раз вы пересекли экватор?" – спросили мы его. "Одиннадцать раз", – отвечал он.

"Хвастаете, дед: ведь вы три раза ходили вокруг света: итого шесть раз!" – "Так; но однажды на самом экваторе корабль захватили штили и нас раза три-четыре перетаскивало то по ту, то по эту сторону экватора".

На шкуне "Восток", купленной в Англии и ушедшей вместе с нами, справляли, как мы узнали после, Нептуново торжество. Я рад, что у нас этого не было. Ведь как хотите, а праздник этот – натяжка страшная. Дурачество весело, когда человек наивно дурачится, увлекаясь и увлекая других; а когда он шутит над собой и над другими по обычаю, с умыслом, тогда становится за него совестно и неловко. Если ж смотреть на это как на повод

к развлечению, на случай повеселиться, то в этом и без того недостатка не было. Не только в праздники, но и в будни, после ученья и всех работ, свистят песенников и музыкантов наверх. И вот морская даль, под этими синими и ясными небесами, оглашается звуками русской песни, исполненной неистового веселья, Бог знает от каких радостей, и сопровождаемой исступленной пляской, или слышатся столь известные вам, хватающие за сердце стоны и вопли от каких-то старинных, исторических, давно забытых страданий. И всё это вместе, без промежутка: и дикий разгул, топот трепака, и исторические рыдания заглушают плеск моря и скрип снастей. Такое развлечение имело гораздо более смысла для матросов, нежели торжество Нептуна: по крайней мере в нем не было аффектации, особенно когда прибавлялась к этому лишняя, против положенной от казны, чарка. В этом недостатка на кораблях не бывает: за всякую услугу, угождение матроса офицер платит чаркой водки. Съедет ли он по своей надобности на берег, по возвращении дает гребцам по чарке водки и т. п. Таким образом этих чарок набирается много и они выпиваются при удобном случае.

Плавание в южном полушарии замедлялось противным зюйд-остовым пассатом; по меридиану уже идти было нельзя: диагональ отводила нас в сторону, всё к Америке. 6-7 узлов был самый большой ход. "Ну вот вам и лето! – говорил дед, красный, весь в поту, одетый в прюнелевые ботинки, но, по обыкновению, застегнутый на все пуговицы. – Вот и акулы, вот и Южный Крест, вон и "Магеллановы облака" и "Угольные мешки!" Тут уж особенно заметно целыми стаями начали реять над поверхностью воды летучие рыбы.

Я забыл посмотреть на магнитную стрелку, когда мы проходили магнитный экватор, отстоящий на три градуса от настоящего. Находясь в равном расстоянии от обоих полюсов, стрелка ложится будто бы там параллельно экватору, а потом, по мере приближения к Южному полюсу, принимает свое обыкновенное положение и только на полюсе становится совершенно вертикально. Так ли это, Владимир Григорьевич? Вы любите вопрошать у самой природы о ее тайнах: вы смотрите на нее глазами и поэта, и ученого... в 110 солнце осталось уже над нашей головой и не пошло к югу. Один из рулевых матрос с недоумением донес об этом штурману. 14-го февраля начались те штили, которых напрасно боялись у экватора.

Опять пошли по узлу, по полтора, иногда совсем не шли. Сначала мы не тревожились, ожидая, что не сегодня, так завтра задует поживее; но проходили дни, ночи, паруса висели, фрегат только качался почти на одном месте, иногда довольно сильно, от крупной зыби, предвещавшей, по-видимому, ветер. Но это только слабое и отдаленное дуновение где-то, в счастливом месте, пронесшегося ветра. Появлявшиеся на горизонте тучки, казалось, несли дождь и перемену: дождь точно лил потоками, непрерывный, а ветра не было.

Через час солнце блистало по-прежнему, освещая до самого горизонта густую и неподвижную площадь океана.

Покойно, правда, было плавать в этом безмятежном царстве тепла и безмолвия: оставленная на столе книга, чернильница, стакан не трогались; вы ложились без опасения умереть под тяжестью комода или полки книг; но сорок с лишком дней в море! Берег сделался господствующею нашею мыслью, и мы немало обрадовались, вышедши, 16-го февраля утром, из Южного тропика.

Рассчитывали на дующие около того времени вестовые ветры, но и это ожидание не оправдалось. В воздухе мертвая тишина, нарушаемая только хлопаньем грота. Ночью с 21 на 22 февраля я от жара ушел спать в кают-компанию и лег на диване под открытым люком. Меня разбудил неистовый топот, вроде трепака, свист и крики. На лицо упало несколько брызг. "Шквал! – говорят, – ну, теперь задует!" Ничего не бывало, шквал прошел, и фрегат опять задремал в штиле.

Так дождались мы масленицы и провели ее довольно вяло, хотя Петр Александрович делал всё, чтобы чем-нибудь напомнить этот веселый момент русской жизни. Он напек блинов, а икру заменил сардинами. Сливки, взятые в Англии в числе прочих презервов, давно обратились в какую-то густую массу, и он убедительно просил принимать ее за сметану. Песни, напоминавшие татарское иго, и буйные вопли quasi-веселья оглашали более нежели когда-нибудь океан. Унылые напевы казались более естественными, как выражение

нашей общей скуки, порождаемой штилями. Нельзя же, однако, чтоб масленица не вызвала у русского человека хоть одной улыбки, будь это и среди знойных зыбей Атлантического океана. Так и тут, задумчиво расхаживая по юту, я вдруг увидел какое-то необыкновенное движение между матросами: это не редкость на судне; я и думал сначала, что они тянут какой-нибудь брас. Но что это? совсем не то: они возят друг друга на плечах около мачт.

Празднуя масленицу, они не могли не вспомнить катанья по льду и заменили его ездой друг на друге удачнее, нежели Петр Александрович икру заменил сардинами. Глядя, как забавляются, катаясь друг на друге, и молодые, и усачи с проседью, расхохочешься этому естественному, национальному дурачеству: это лучше льняной бороды Нептуна и осыпанных мукой лиц.

В этой, по-видимому, сонной и будничной жизни выдалось, однако ж, одно необыкновенное, торжественное утро. 1-го марта, в воскресенье, после обедни и обычного смотра команде, после вопросов: всем ли она довольна, нет ли у кого претензии, все, офицеры и матросы, собрались на палубе. Все обнажили головы: адмирал вышел с книгой и вслух прочел морской устав Петра Великого.

Потом опять всё вошло в обычную колею, и дни текли однообразно. В этом спокойствии, уединении от целого мира, в тепле и сиянии фрегат принимает вид какой-то отдаленной степной русской деревни. Встанешь утром, никуда не спеша, с полным равновесием в силах души, с отличным здоровьем, с свежей головой и аппетитом, выльешь на себя несколько ведер воды прямо из океана и гуляешь, пьешь чай, потом сядешь за работу. Солнце уж высоко; жар палит: в деревне вы не пойдете в этот час ни рожь посмотреть, ни на гумно. Вы сидите под защитой маркизы на балконе, и всё прячется под кров, даже птицы, только стрекозы отважно реют над колосьями. И мы прячемся под растянутым тентом, отворив настежь окна и двери кают. Ветерок чуть-чуть веет, ласково освежая лицо и открытую грудь. Матросы уже отобедали (они обедают рано, до полудня, как и в деревне, после утренних работ) и группами сидят или лежат между пушек. Иные шьют белье, платье, сапоги, тихо мурлыча песенку; с бака слышатся удары молотка по наковальне. Петухи поют, и далеко разносится их голос среди ясной тишины и безмятежности. Слышатся еще какие-то фантастические звуки, как будто отдаленный, едва уловимый ухом звон колоколов... Чуткое воображение, полное грез и ожиданий, создает среди безмолвия эти звуки, а на фоне этой синевы небес какие-то отдаленные образы...

Выйдешь на палубу, взглянешь и ослепнешь на минуту от нестерпимого блеска неба, моря; от меди на корабле, от железа отскакивают снопы лучей; палуба и та нестерпимо блещет и уязвляет глаз своей белизной. Скоро обедать; а что будет за обедом? Кстати, Тихменев на вахте: спросить его.

"Что сегодня, Петр Александрович?" Он только было разинул рот отвечать, как вышел капитан и велел поставить лиселя. Ему показалось, что подул немного посвежее. "На лисель-фалы!" – командует Петр Александрович детским басом и смотрит не на лисель-фалы, а на капитана. Тот тихонько улыбается и шагает со мной по палубе. Вот капитан заметил что-то на баке и пошел туда. "Что ж за обедом?" – спросил я Петра Александровича, пользуясь отсутствием капитана. "Суп с катышками, – говорит Петр Александрович. – Вы любите этот суп?" – "Да ничего, если зелени побольше положить!" – отвечаю я. "Рад бы душой, – продолжает он с свойственным ему чувством и красноречием, – поверьте, я бы всем готов пожертвовать, сна не пожалею, лишь бы только зелени в супе было побольше, да не могу, видит Бог, не могу... Ну так и быть, для вас... Эй, вахтенный! поди скажи Карпову, чтоб спросил у Янцева еще зелени и положил в суп. Видите, это для вас, – сказал он, – пусть бранят меня, если не достанет зелени до мыса Доброй Надежды!" Я с чувством пожал ему руку. "А еще что?" – нежно спросил я, тронутый его добротой.

"Еще... курица с рисом..." – "Опять!" – горестно воскликнул я. "Что делать, что мне делать – войдите в мое положение: у меня пяток баранов остался, три свиньи, пятнадцать уток и всего тридцать кур: изо ста тридцати – подумайте! ведь мы с голоду умрем!" Видя мою задумчивость, он не устоял. "Завтра, так и быть, велю зарезать свинью..." – "На вахте не

разговаривают: опять лисель-спирт хотите сломать!" – вдруг раздался сзади нас строгий голос воротившегося капитана. "Это не я-с, это Иван Александрович!" – тотчас же пожаловался на меня Петр Александрович, приложив руку к козырьку. "Поправь лисель-фал!" – закричал он грозно матросам. Капитан опять отвернулся. Петр Александрович отошел от меня. "Вы не досказали!" – заметил я ему. Он боязливо поглядел во все стороны. "Жаркое – утка, – грозно шипел он через ют, стараясь не глядеть на меня, – пирожное..." Белая фуражка капитана мелькнула близ юта и исчезла. "Пирожное – оладьи с инбирным вареньем..."

Отстаньте от меня: вы все в беду меня вводите!" – с злобой прошептал он, отходя от меня как можно дальше, так что чуть не шагнул за борт. "Десерта не будет, – заключил он почти про себя, – Зеленый и барон по ночам всё поели, так что в воскресенье дам по апельсину да по два банана на человека". Иногда и не спросишь его, но он сам не утерпит. "Сегодня я велел ветчину достать, – скажет он, – и вынуть горошек из презервов" – и т. д. доскажет снисходительно весь обед.

После обеда, часу в третьем, вызывались музыканты на ют, и мотивы Верди и Беллини разносились по океану. Но после обеда лениво слушали музыку, и музыканты вызывались больше для упражнения, чтоб протверживать свой репертуар. В этом климате съеста необходима; на севере в самый жаркий день вы легко просидите в тени, не устанете и не изнеможете, даже займетесь делом. Здесь, одетые в легкое льняное пальто, без галстука и жилета, сидя под тентом без движения, вы потеряете от томительного жара силу, и как ни бодритесь, а тело клонится к дивану, и вы во сне должны почерпнуть освежение организму.

Природа между тем доживала знойный день: солнце клонилось к горизонту.

Смотришь далеко, и всё ничего не видно вдали. Мы прилежно смотрели на просторную гладь океана и молчали, потому что нечего было сообщить друг другу. Выскочит разве стая летучих рыб и, как воробьи, пролетит над водой: мгновенно все руки протянутся, глаза загорятся. "Смотрите, смотрите!" – закричат все, но все и без того смотрят, как стадо бонитов гонится за несчастными летуньями, играя фиолетовой спиной на поверхности. Исчезнет это явление – и всё исчезнет, и опять хоть шаром покати. Сон и спокойствие объемлют море и небо, как идеал отрадной, прекрасной, немучительной смерти, какую хотелось бы успокоиться измученному страстями и невзгодами человеку.

Оттого, кажется, душа повергается в такую торжественную и безотчетно сладкую думу, так поражается она картиной прекрасного, величественного покоя. Картина оковывает мысль и чувство: всё молчит и не колыхнется и в душе, как вокруг. "Что-то плывет!" – вдруг однажды сказал один из нас, указывая вдаль, и все стали смотреть по указанному направлению. Некоторые сбегали за зрительными трубами. "Да, – подтвердил другой, – я вижу черную точку". Молчание. Точка увеличивалась. "Ящик какой-то", – говорят потом.

"Ящик... Боже мой! что в нем?" Дыхание замирает от ожидания. Воображение рисует бог знает что. Ящик всё ближе и ближе. "Курятник!" – воскликнул один. Молчание. "Да, точно, курятник, – подтвердил другой, взглядевшись окончательно, – верно, на каком-нибудь судне вышли куры, вот и бросили курятник за борт". – "Позвольте, – заметил один скептик, – не от лимонов ли это ящик?" – "Нет, – возразил другой наблюдатель, – видите, он с решеткой".

И долго провожали мы глазами проплывавший мимо нас курятник, догадываясь и рассуждая, брошенный ли это по необходимости ящик или обломок сокрушившегося корабля.

Часу в пятом купали команду. На воду спускали парус, который наполнялся водой, а матросы прыгали с борта, как в яму. Но за ними надо было зорко смотреть: они все старались выпрыгнуть за пределы паруса и поплавать на свободе, в океане. Нечего было опасаться, что они утонут, потому что все плавают мастерски, но боялись акул. И так однажды с марса закричал матрос: "Большая рыба идет!" К купальщикам тихо подкрадывалась акула; их всех выгнали из воды, а акуле сначала бросили бараньи внутренности, которые она мгновенно проглотила, а потом кольнули ее острогой, и она ушла под киль, оставив следом по себе

кровавое пятно. Около нее, как змеи, виляли в воде всегда сопровождающие ее две или три рыбы, прозванные лощманами. Петр Александрович во время купанья тоже являлся усердным действующим лицом. Как ротный командир, он носился по всем палубам и побуждал ленивых матросов лезть в воду. "Пошел, пошел, – кричал он, – что ты не раздеваешься? А где Витул, где Фаддеев? марш в воду! позвать всех коков (поваров) сюда и перекупать их!" В шестом часу, по окончании трудов и съесты, общество пловцов выходило наверх освежиться, и тут-то широко распахивалась душа для страстных и нежных впечатлений, какими дарили нас невиданные на севере чудеса. Да, чудеса эти не покорились никаким выкладкам, цифрам, грубым прикосновениям науки и опыта. Нельзя записать тропического неба и чудес его, нельзя измерить этого необъятного ощущения, которому отдаешься с трепетной покорностью, как чувству любви. Где вы, где вы, Владимир Григорьевич? Плывите скорей сюда и скажите, как назвать этот нежный воздух, который, как теплые волны, омывает, нежит и лелеет вас, этот блеск неба в его фантастическом неопisanном уборе, эти цвета, среди которых утопает вечернее солнце? Океан в золоте или золото в океане, багровый пламень, чистый, ясный, прозрачный, вечный, непрерывный пожар без дыма, без малейшей былинки, напоминающей землю. Покой неба и моря – не мертвый и сонный покой: это покой как будто удовлетворенной страсти, в котором небо и море, отдыхая от ее сладостных мучений, любят взаимно в объятиях друг друга. Солнце уходит, как ошастливенный любовник, оставивший долгий, задумчивый след счастья на любимом лице.

На этом пламенно-золотом, необозримом поле лежат целые миры волшебных городов, зданий, башен, чудовищ, зверей – всё из облаков. Вот, смотрите, громада исполинской крепости рушится медленно, без шума; упал один бастион, за ним валится другой; там опустилась, подавляя собственный фундамент, высокая башня, и опять всё тихо отливается в форму горы, островов с лесами, с куполами. Не успело воображение воспринять этот рисунок, а он уже тает и распадается, и на место его тихо воздвигся откуда-то корабль и повис на воздушной почве; из огромной колесницы уже сложился стан исполинской женщины; плеча еще целы, а бока уже отпали, и вышла голова верблюда; на нее напирает и поглощает всё собою ряд солдат, несущихся целым строем.

Изумленный глаз смотрит вокруг, не увидит ли руки, которая, играя, строит воздушные видения. Тихо, нежно и лениво ползут эти тонкие и прозрачные узоры в золотой атмосфере, как мечты тянутся в дремлющей душе, слагаясь в пленительные образы и разлагаясь опять, чтоб слиться в фантастической игре...

Пусть живописцы найдут у себя краски, пусть хоть назовут эти цвета, которыми угасающее солнце окрашивает небеса! Посмотрите: фиолетовая пелена покрыла небо и смешалась с пурпуром; прошло еще мгновение, и сквозь нее проступает темно-зеленый, яшмовый оттенок: он в свою очередь овладел небом.

А замки, башни, леса, розовые, палевые, коричневые, сквозят от последних лучей быстро исчезающего солнца, как освещенный храм... Вы недвижны, безмолвны, млеете перед радужными следами солнца: оно жарким прощальным лучом раздражает нервы глаз, но вы погружены в тумане поэтической думы; вы не отводите взора; вам не хочется выйти из этого мления, из неги покоя.

Очнувшись, со вздохом скажешь себе: ах, если б всегда и везде такова была природа, так же горяча и так величаво и глубоко покойна! Если б такова была и жизнь!.. Ведь бури, бешеные страсти не норма природы и жизни, а только переходный момент, беспорядок и зло, процесс творчества, черная работа – для выделки спокойствия и счастья в лаборатории природы...

Солнце не успело еще догореть, вы не успели еще додумать вашей думы, а оглянитесь назад: на западе еще золото и пурпур, а на востоке сверкают и блещут уже миллионы глаз: звезды и звезды, и между ними скромно и ровно сияет Южный Крест! Темнота, как шапка, накрыла вас: острова, башни, чудовища – всё пропало. Звезды искрятся сильно, дерзко и как будто спешат пользоваться промежутком от солнца до луны; их прибывает всё больше и

больше, они проступают сквозь небо. Та же невидимая рука, которая чертила воздушные картины, поспешно зажигает огни во всех углах тверди, и – засиял вечерний пир! Новые силы, новые думы и новая нега проснулись в душе. Опять, как вчера, она ищет в огнях – разума, жадно читает огненные буквы и порывается туда...

Но вот луна: она не тускла, не бледна, не задумчива, не туманна, как у нас, а чиста, прозрачна, как хрусталь, гордо сияет белым блеском и не воспета, как у нас, поэтами, следовательно, девственна. Это не зрелая, увядшая красавица, а бодрая, полная сил, жизни и строгого целомудрия дева, как сама Диана. Хлынул по морю и по небу ее пронзительный свет; она усмирила дерзкое сверканье звезд и воцарилась кротко и величаво до утра. А океан, вы думаете, заснул? Нет; он кипит и сверкает пуще звезд. Под кораблем разверзается пучина пламени, с шумом вырываются потоки золота, серебра и раскаленных углей. Вы ослеплены, объаты сладкими творческими снами... вперяете неподвижный взгляд в небо: там наливается то золотом, то кровью, то изумрудной влагой Конопус, яркое светило корабля Арго, две огромные звезды Центавра. Но вы с любовью успокаиваетесь от нестерпимого блеска на четырех звездах Южного Креста: они сияют скромно и, кажется, смотрят на вас так пристально и умно. Южный Крест... Случалось ли вам (да как не случилось поэту!) вдруг увидеть женщину, о красоте, грации которой долго жужжали вам в уши, и не найти в ней ничего поражающего? "Что же в ней особенного? – говорите вы, с удивлением всматриваясь в женщину, – она проста, скромна, ничем не отличается..." Всматриваетесь долго-долго и вдруг чувствуете, что любите уже ее страстно! И про Южный Крест, увидя его в первый, второй и третий раз, вы спросите: что в нем особенного? Долго станете вглядываться и кончите тем, что, с наступлением вечера, взгляд ваш будет искать его первого, потом, обозрев все появившиеся звезды, вы опять обратитесь к нему и будете почасту и подолгу покоить на нем ваши глаза.

Наступает, за знойным днем, душно-сладкая, долгая ночь с мерцаньем в небесах, с огненным потоком под ногами, с трепетом неги в воздухе. Боже мой! Даром пропадают здесь эти ночи: ни серенад, ни вздохов, ни шепота любви, ни пенья соловьев! Только фрегат напряженно движется и изредка простонет да хлопнет обессиленный парус или под кормой плеснет волна – и опять всё торжественно и прекрасно-тихо!

Смотрите вы на все эти чудеса, миры и огни, и, ослепленные, уничтоженные величием, но богатые и счастливые небывалыми грезами, стоите, как статуя, и шепчете задумчиво: "Нет, этого не сказали мне ни карты, ни англичане, ни американцы, ни мои учителя; говорило, но бледно и смутно, только одно чуткое поэтическое чувство; оно таинственно манило меня еще ребенком сюда и шептало:

Вот Азия, мир праотца Адама,
Вот юная Колумбова земля!
И ты свершишь плавучие наезды
В те древние и новые места,
Где в небесах другие блещут звезды,
Где свет лиет созвездие Креста...

Берите же, любезный друг, свою лиру, свою палитру, свой роскошный, как эти небеса, язык, язык богов, которым только и можно говорить о здешней природе, и спешите сюда, – а я винюсь в своем бессилии и умолкаю!

Март 1853 года.

Атлантический океан. 1} В послании к И. А. Гончарову, напечатанной в полном собрании стихотворений Бенедиктова (примеч. Гончарова).

IV

НА МЫСЕ ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

Приход в Falsebay. – Саймонсбей и Саймонстоун. – Поправки на фрегате. – Капштат. – "Welch's hotel". – Столовая гора, Львиная гора и Чертов пик. – Ботанический сад. – Клуб. – Англичане, голландцы, малайцы, готтентоты и негры. – Краткий исторический очерк Капской колонии и войн с кафрами. – Поездка по колонии. – Sommerсет. – Стелленбош. – Ферма Эльзенборг. – Паарль.

– Веллингтон. – Мистер Бен. – Тюрьмы и арестанты. – Дороги. – Ущелье. – Устер. – Минеральные ключи. – Обратный путь. – Змеиная горка. – Птица секретарь. – Винберг. – Кафрский предводитель Сейоло. – Отплытие.

С 10 марта по 12 апреля 1853.

Хотя наш плавающий мир довольно велик, средств незаметно проводить время было у нас много, но всё плавать да плавать! Сорок дней с лишком не видали мы берега. Самые бывалые и терпеливые из нас с гримасой смотрели на море, думая про себя: скоро ли что-нибудь другое? Друг на друга почти не глядели, перестали заниматься, читать. Всякий знал, что подадут к обеду, в котором часу тот или другой ляжет спать, даже нехотя заметишь, у кого сапог разорвался или панталоны выпачкались в смоле.

Я писал вам, что нас захватили штили в Южном тропике; после штилей наконец засвежело, да ведь как! Опять пошло свое: ни ходить, ни сидеть, ни лежать порядком! Это было в четверг, в начале марта. Не стану повторять, о чем уже писал, о качке. Только это нагнало на меня такую хандру, что море, казалось, опротивело мне навсегда. Хотя это продолжалось всего дней пять, но меня не обрадовал и берег, который мы увидели в понедельник. Море к берегу вдруг изменилось: из синего обратилось в коричнево-зеленоватое, как ботвинье. Это от морских растений, от капусты, трав, животных и т. п. В одну из ночей оно необыкновенно блистало фосфорическим светом. Какой вид! Когда обливаешься вечером, в темноте, водой, прямо из океана, искры сыплются, бегут, скользят по телу и пропадают под ногами, на палубе. Это мелкие животные, называемые, кажется, медузами. Море уже отзывалось землей, несло на себе ее следы; бешено кидаясь на берега, оно оставляет рыб, ракушки и уносит песок, землю и прочее. А какая бездна невидимых и неведомых человеку тварей движется и кипит в этой чаше, переполненной жизнью! Тут пока преприлежно изведывали их альбатросы, чайки и морские ласточки, летавшие низко над водой. Эти птицы одни оживляют море: мы видели их иногда на расстоянии 500 миль от ближайшего берега. Между ними много так называемых у нас "глупышей", больших птиц, с тонкими, стройными, пегими крыльями, с тупой головой и с крепким носом. В самом деле у них глуповата физиономия. Они безвкусны, жестки, летают над самым кораблем и часто зацепляют крыльями за паруса. 7-го или 8-го марта, при ясной, теплой погоде, когда качка унялась, мы увидели множество какой-то красной массы, плавающей огромными пятнами по воде. Наловили ведра два – икры. Недаром видели стаи рыбы, шедшей незадолго перед тем тучей под самым носом фрегата. Я хотел продолжать купаться, но это уже были не тропики: холодно, особенно после свежего ветра. Фаддеев так с радости и покатился со смеху, когда я вскрикнул, лишь только он вылил на меня ведро. 9-го мы думали было войти в Falsebay, но ночью проскользнули мимо и очутились миль за пятнадцать по ту сторону мыса. Исполинские скалы, почти совсем черные от ветра, как зубцы громадной крепости, ограждают южный берег Африки. Здесь вечная борьба титанов – моря, ветров и гор, вечный прибой, почти вечные бури. Особенно хороша скала Hangklip. Вершина ее нагибается круто к середине, а основания выдается в море. Вершины гор состоят из песчаника, а основания из гранита. Наконец 10 марта, часу в шестом вечера, идучи снизу по трапу, я взглянул вверх и остолбенел: гора так и лезет на нас. "Мы на мели?" – спросил я деда. "Что вы! Бог с вами: типун бы вам на язык – на якорь становимся!" В самом деле

скомандовали: "Из бухты вон!", потом: "Отдай якорь!" Раздался минутный гром рванувшейся цепи, фрегат дрогнул и остановился. Мы стали в полутора верстах от берега, но он состоял из горы, и она показалась мне так высока, что скрадывала расстояние, подавляя высотой дома и церкви Саймонстоуна. А после, когда я увидел Столовую гору, эта мне показалась пригорком. К нам наехали, по обыкновению, разные лица, с рекомендательными письмами от датских, голландских и прочих кораблей, портные, прачки мужеского пола и т. п.

Саймонсбей – это небольшой, укромный уголок большой бухты Фальсбей. В нее надо войти умеючи, а то как раз стукнешься о камень, которые почему-то называются римскими, или о Ноев ковчег, большой, плоский, высовывающийся из воды камень у входа в залив, в нескольких саженьях от берега, который тоже весь усеян более или менее крупными камнями. Начиная с апреля суда приходят сюда; и те, которые стоят в Столовой бухте, на зиму переходят сюда же, чтобы укрыться от сильных юго-западных ветров. Саймонская бухта защищена со всех сторон горами.

Лишь только мы стали на якорь, одна из гор, с правой стороны от города, накрылась облаком, которое плотно, как парик, легло на вершину. А по другому, самому высокому утесу медленно ползало тоже облако, спускаясь по обрыву, точно слой дыма из исполинской трубы. У самого подножия горы лежат домов до сорока английской постройки; между ними видны две церкви, протестантская и католическая. У адмиралтейства английский солдат стоит на часах, в заливе качается английская же эскадра. В одном из лучших домов живет начальник эскадры, коммодор Тальбот.

Скудная зелень едва смягчает угрюмость пейзажа. Сады из кедров, дубов, немножко тополей, немножко виноградных трельяжей, кое-где кипарис и мирт да заборы из колючих кактусов и исполинских алоэ, которых корни обратились в древесину, – вот и всё. Голо, уединенно, мрачно. В городе, однако ж, есть несколько весьма порядочных лавок; одну из них, помещающуюся в отдельном домике, можно назвать даже богатою.

Спутники мои беспрестанно съезжали на берег, некоторые уехали в Капштат, а я глядел на холмы, ходил по палубе, читал было, да не читается, хотел писать – не пишется. Прошло дня три-четыре, инерция продолжалась.

Однажды наши, приехав с берега, рассказывали, что на пристани к ним подошел старик и чисто, по-русски, сказал: "Здравия желаю, ваше благородие". – "Кто ты такой? откуда?" – спросил наш офицер. "Русский, – отвечал он, – в 1814 году взят французами в плен, потом при Ватерлоо дрался с англичанами, взят ими, завезен сюда, женился на черной, имею шестерых детей". – "Откуда ты родом?" – "Из Орловской губернии". Но от него трудно было добиться других сведений – так дурно говорил он уже по-русски. Наш фрегат обнажили, спустили рангоут, сняли ванты – и закипела работа. Шлюпки беспрестанно ездили на берег и обратно. П. А. Тихменев, успевший облечься в желтенькое пальто и соломенную шляпу с голубой лентой, ежедневно уезжал в пустой шлюпке и приезжал, или, лучше сказать, приезжала шлюпка с мясом, зеленью, фруктами и с ним. Соломенная шляпа, как цветок, видна была между бычачьей ногой и арбузами.

"Где мы?" – спросил я однажды, скуки ради, Фаддеева. Он косо и подозрительно поглядел на меня, предвидя, что вопрос сделан даром. "Не могу знать", – говорил он, оглядывая с своим равнодушием стены. "Это глупо не знать, куда приехал". Он молчал. "Говори же". – "Почем я знаю?" – "Что ж ты не спросишь?" – "На что мне спрашивать?" – "Воротишься домой, спросят, где был; что ты скажешь? Слушай же: я тебе скажу, да смотри, помни. Откуда мы приехали сюда?" Он устремил на меня глаза, с намерением во что бы ни стало понять, чего я хочу, и по возможности удовлетворить меня; а мне хотелось навести его на какое-нибудь соображение. "Откуда приехали?" – повторил он вопрос. "Ну да?" – "Из Англии". – "А Англия-то где?" Он еще больше косо стал смотреть на меня. Я вижу, что мой вопрос темен для него.

"Где Франция, Италия?" – "Не могу знать". – "Ну, где Россия?" – "В Кронштадте", – проворно сказал он. "В Европе, – поправил я, – а теперь мы приехали в Африку, на южный ее

край, на мыс Доброй Надежды". – "Слушаю-с". – "Помни же!" И географический урок Фаддееву был развлечением среди гор, песков, в захоlustье. На фрегате сильно работали: везде лежали снасти, рей; прохода нет. Только на юте и можно было ходить; там по временам играла музыка. Мы лорнировали берег, удии рыбу, и, между прочим, вытащили какую-то толстенькую рыбу с круглой головкой, мягкую, без чешуи; брюхо у ней желтое, а спина вся в пятнах. Ее посадили в кадку. Приехал кто-то из англичан и, увидев ее, торопливо предупредил, чтоб не ели. "Это ядовитая, – сказал он, – от нее умирают через пять, десять минут. Были примеры: однажды отравилось несколько человек с голландского судна. Свиньи иногда едят ее, выброшенную на берег, повертятся, повертятся, потом и околеют". Вытаскивали много отличной, вкусной рыбы, похожей видом на леща; еще какой-то красной, потом плоской; разнообразие рыбных пород неистощимо. Еще нам к столу навезли превосходного винограду, весьма посредственных арбузов и отличных крупных огурцов.

На четвертый день и я собрался съехать на берег с нашими докторами и с бароном Крюднером. Первые собрались ботанизировать, а мы с бароном Крюднером – мешать им. По берегам кое-где были разбросаны каменья, но такие, что из каждого можно построить препорядочный домик. Когда я собрался ехать, и Фаддеев явился ко мне: "Позвольте и мне с вами, ваше высокоблагородие", – сказал он. "Куда?" – "Да в Африку-то", – отвечал он, помня мой урок. "Что ты станешь там делать?" – "А вон на ту гору охота взлезть!" Ступив на берег, мы попали в толпу малайцев, негров и африканцев, как называют себя белые, родившиеся в Африке. Одни работали в адмиралтействе, другие празднно глядели на море, на корабли, на приезжих или просто так, на что случится. За нами шли наши слуги; кто нес ружье, кто сетку ловить насекомых, кто молоток – разбивать каменья. "Смотрите, – говорили мы друг другу, – уже нет ничего нашего, начиная с человека; всё другое: и человек, и платье его, и обычай". Плетни устроены из кустов кактуса и алоэ: не дай Бог схватиться за куст – что наша крапива! Не только честный человек, но и вор, даже любовник, не перелезут через такой забор: миллион едва заметных глазу игл вонзится в руку. И камень не такой, и песок рыжий, и травы странные: одна какая-то кудрявая, другая в палец толщиной, третья бурая, как мох, та дымчатая. Пошли за город, по мелкому и чистому песку, на взморье: под ногами хрустели раковинки. "Всё не наше, не такое", – твердили мы, поднимая то раковину, то камень. Промелькнет воробей – гораздо наряднее нашего, франт, а сейчас видно, что воробей, как он ни франти. Тот же лёт, те же манеры, и так же копается, как наш, во всякой дряни, разбросанной по дороге. И ласточки, и вороны есть; но не те: ласточки серее, а ворона чернее гораздо. Собака залаяла, и то не так, отдает чужим, как будто на иностранном языке лает. По улицам бегали черномазые, кудрявые мальчишки, толпились черные или коричневые женщины, малайцы в высоких соломенных шляпах, похожих на колокола, но с более раздвинутыми или поднятыми несколько кверху полями.

Только свинья так же неопрятна, как и у нас, и так же неистово чешет бок об угол, как будто хочет своротить весь дом, да кошка, сидя в палисаднике, среди мирт, преусердно лижет лапу и потом мажет ею себе голову. Мы прошли мимо домов, садов, по песчаной дороге, миновали крепость и вышли налево за город.

Нас предупреждали, чтоб мы не ходили в полдень близ кустов: около этого времени выползают змеи греться на солнце, но мы не слушали, шевелили палками в кустах, смело прокладывая себе сквозь них дорогу. Змеи, кажется, еще более остерегаются людей, нежели люди их. Я видел только ящерицу, хотел прижать ее тростью на месте, но зеленая тварь с непостижимым проворством скользнула в норку. По одной дороге с нами шли три черные женщины. Я спросил одну, какого она племени: "Финго! – сказала она, – мозамбик, – закричала потом, – готтентот!" Все три начали громко хохотать. Не раз случалось мне слышать этот наглый хохот черных женщин. Если пройдет мимо – ничего; но спросите черную красавицу о чем-нибудь, например о ее имени или о дороге, она соврет, и вслед за ответом раздастся хохот ее и подруг, если они тут есть. "Бичуан!

Кафр!" – продолжала кричать нам баба. В самом деле баба. Одета, как наши бабы: на голове платок, около поясицы что-то вроде юбки, как у сарафана, и сверху рубашка; и

иногда платок на шее, иногда нет. Некоторые женщины из коричневых племен поразительно сходны с нашими загорелыми деревенскими старухами; зато черные ни на что не похожи: у всех толстые губы, выдававшиеся челюсти и подбородок, глаза как смоль, с желтым белком, и ряд белейших зубов. Улыбка на черном лице имеет что-то страшное и злое.

Мы нашли целый музей между камнями, в которые яростно бьет прибой: раковин, моллюсков, морских ежей и раков. Слизняки так прирастают к камням, что нет возможности отодрать их. Они эластичны: только пожмешь, из них фонтанами брызжет вода. Морской еж – это полурастение, полуживотное: он растет и, кажется, дышит. Это комок травянистого тела, которому основанием служит зелененькая, травянистая же чашечка. Весь он усеян иглами и ярко блещет красками. Наш любитель-натуралист набрал их множество, сверх того, цветов, прутьев, листьев, раковин. Раковины, однако ж, были так себе, простоваты. Между тем в отеле я видел великолепные, разноцветные и огромные раковины. "Это здешние?" – спросил я. "Нет, – отвечали мне, – с острова Св.

Маврикия". Я заметил, что куда ни приедешь, найдешь что-нибудь замечательное; спросишь, откуда оно, всегда укажут дальше, вперед, а иногда назад. В Капштате я увидел в табачном магазине футлярчики для спичек, точеные из красивого, двухцветного дерева. Я сейчас же купил несколько на память о мысе Доброй Надежды. Я спросил, как зовут дерево? "Бокс", – сказал англичанин. "А откуда оно?" – "Из Англии", – отвечал он. На острове Св.

Маврикия, пожалуй, скажут, что раковины из Парижа. Впрочем, здесь, как в целом мире, есть провинциальная замашка выдавать свои товары за столичные.

Что ни спросишь: шляпу, сапоги – это из Лондона! – отвечают вам. Я вспомнил наши уездные города и надписи на бледно-синей доске "Портной из Нижнего".

Табачник думал, что бог знает как утешит меня, выдав свой товар за английский.

Воротясь с прогулки, мы зашли в здешнюю гостиницу "Fountain hotel": дом голландской постройки с навесом, в виде балкона, с чисто убранными комнатами, в которых полы были лакированы. Потолок в комнатах был из темного дерева, привозимого с восточного берега, из порта Наталь. Доставка его изнутри колонии обходится дорого, оттого дерево употребляется только на мебель и другие, самые необходимые поделки. Зато камень нипочем: все дома каменные. Мы видели даже несколько очень бедных рыбацких хижин, по дороге от Саймонстоуна до Капштата, построенных из костей выброшенных на берег китов и других животных. Мы сели у окна за жалюзи, потому что хотя и было уже (у нас бы надо сказать еще) 15 марта, но день был жаркий, солнце пекло, как у нас в июле или как здесь в декабре.

На камине и по углам везде разложены минералы, раковины, чучелы птиц, зверей или змей, вероятно всё "с острова Св. Маврикия". В камине лежало множество сухих цветов, из породы иммортелей, как мне сказали. Они лежат, не изменяясь по многу лет: через десять лет так же сухи, ярки цветом и так же ничем не пахнут, как и несорванные. Мы спросили инбирного пива и констанского вина, произведения знаменитой Констанской горы. Пиво мальчик вылил всё на барона Крюднера, а констанское вино так сладко, что из рук вон.

Оно напоминает вкусом немного малагу, но только слаще. На стенах были плохие картинки – неизбежная принадлежность станций и трактиров всего земного шара, как я убедился теперь. Без них скучно на станции: это большое развлечение для путешественника. Припомните, сколько раз вам пришлось улыбнуться, рассматривая на наших станциях, пока запрягают лошадей, простодушные изображения лиц и событий? И тут то же самое. Вот, например, на одной картинке представлена драка солдат с контрабандистами: герои режут и колют друг друга, а лица у них сохраняют такое спокойствие, какого в подобных случаях не может быть даже у англичан, которые тут изображены, что и составляет истинный комизм такого изображения. На других картинках представлена скачка с препятствиями: лошади вверх ногами, люди по горло в воде. По этим картинкам я заключил, не видав еще хозяев, что гостиница английская. У голландцев скачек не изображается, зато везде увидишь охоту за тиграми или лисицами, потом портреты королей и королев. И там пленяешься своего рода несообразностями: барс схватил зубами охотника за ногу, а охотник, лежа в тростнике,

смотрит в сторону и смеется. Вообще можно различить английские и голландские гостиницы с первого взгляда. У англичан везде виден комфорт или претензия на него, у голландцев – патриархальность, проявляющаяся в старинной, почерневшей от времени, но чисто содержимой мебели, особенно в деревянных пузатеньких бюро и шкапах с дедовским фарфором, серебром и т. п. По состоянию одних этих гостиниц безошибочно можете заключить, что голландцы падают, а англичане возвышаются в здешней стороне. У первых всё смотрит скучно, запущенно; у последних весело, ново и свежо. Мы провели с час, покуривая сигару и глядя в окно на корабли, в том числе на наш, на дальние горы; тешились мыслью, что мы в Африке. "А ведь это самый южный трактир отсюда по прямому пути до полюса, – сказал мне товарищ, – внесите это в вашу записную книжку". Я не знал, к какому роду знаний отнести это замечание, и обещал поместить его особо.

Я никак не ожидал, чтоб Фаддеев способен был на какую-нибудь любезность, но, воротясь на фрегат, я нашел у себя в каюте великолепный цветок: горный тюльпан, величиной с чайную чашку, с розовыми листьями и темным, коричневым мхом внутри, на длинном стебле. "Где ты взял?" – спросил я. "В Африке, на горе достал", – отвечал он.

Мы собрались всемером в Капштат, но с тем, чтоб сделать поездку подальше в колонию. И однажды утром, взяв по чемоданчику с бельем и платьем да записные книжки, пустились в двух экипажах, то есть фурах, крытых с боков кожей.

От Саймонсбея до Капштата всего 24 английских мили, или 36 верст.

Дорога, первые 12 миль, идет по берегу, то у подошвы утесов, то песками, или по ребрам скал, всё по шоссе; дорога невеселая, хотя море постоянно в виду, а над головой теснятся утесы, усеянные кустарниками, но всё это мрачно, голо. Верхушки утесов резко оттеняются своим темно-серым цветом песчаника от покрытого травой гранита. Мы видели высоко в ущельях гор пасущихся коров: они казались снизу букашками. В одном месте, направо, есть озерко пресной воды. Кое-где одиноко стоят рыбацьи хижины; две-три дачи под горой да маленькая гостиница – вот и всё. Жизни мало; только чайки плавно несутся по побережью да море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. На половине дороги другая гостиница, так и называется "Halfway" ("Половина пути"). Наш кучер остановился тут, отпряг лошадей и предложил нам потребовать refreshment, то есть закусить. На дворе росло огромное кедровое дерево; главный флигель строился, а гостиница помещалась в другом, маленьком. Мы заказали завтрак и пошли в сад. При входе крупными буквами написано, чтобы ничего не трогали в саду без позволения садовника. Но трогать было нечего, кроме разве незрелых фиг да кукурузы, которую убирал негр. Прочее всё давно снято. Хотя погода была жаркая, но уже не летняя здесь. Листья летели с деревьев и усыпали дорожки. Сад был порядочный, он же и огород. Тут посажены были кроме фиговых деревьев бананы, виноград, капуста и огурцы. Видно было много цветов.

Завтрак состоял из яичницы, холодной и жесткой солонины, из горячей и жесткой ветчины. Яичница, ветчина и картинки в деревянных рамах опять напомнили мне наше станции. Тут, впрочем, было богатое собрание птиц, чучелы зверей; особенно мила головка маленького оленя, с козленка величиной; я залюбовался на нее, как на женскую (благодарите, mesdames), да по углам красовались еще рога диких буйволов, огромные, раскидистые, ярко выполированные, напоминавшие тоже головы, конечно не женские...

Остальная половина дороги, начиная от гостиницы, совершенно изменяется: утесы отступают в сторону, мили на три от берега, и путь, веселый, оживленный, тянется между рядами дач, одна другой красивее. Въезжаешь в аллею из кедровых, дубовых деревьев и тополей: местами деревья образуют непроницаемый свод; кое-где другие аллеи бегут в сторону от главной, к дачам и к фермам, а потом к Винбергу, маленькому городку, который виден с дороги.

Налево видна знаменитая по своему вину Констанская гора. Рядом с ней идет хребет вплоть до Столовой горы. По дороге то обгоняли нас, то встречались фуры, кабриолеты, всадники. Из аллеи неприметно въезжаешь в Капштат. При въезде берут по 8 пенсов с экипажа за шоссе; при выезде из Саймонсбея столько же. По дороге еще есть красивая

каменная часовня в полуготическом вкусе, потом, в стороне под горой, на берегу, выстроено несколько домиков для приезжающих на лето брать морские ванны. Есть рыбацья слобода с рощей вокруг.

КАПШТАТ

Задолго до въезда в город глазам нашим открылись три странные массы гор, не похожих ни на одну из виденных нами. Одна предлинная, довольно отлогая, с углублением в середине, с возвышенностями по концам; другая высокая, ровная и одинаково широкая и в основании, и наверху. Вершины нет: она как будто срезана, и гора оканчивается кверху площадью, почти равную основанию. К ней прислонилась третья гора, вся в рытвинах, более первых заросшая зеленью. "Что это?" – спросил я кучера малайца, указывая на одну гору. "Tablemountain" – сказал он ("Столовая гора"). "А это?" – "Lion's head" ("Львиная гора"). – "А это?" – "Deavil's-pick" ("Чертов пик").

Столовая гора названа так потому, что похожа на стол, но она похожа и на сундук, и на фортепиано, и на стену – на что хотите, всего меньше на гору. Бока ее кажутся гладкими, между тем в подзорную трубу видны большие уступы, неровности и углубления; но они исчезают в громадности глыбы. Эти три горы, и между ними особенно Столовая, недаром приобрели свою репутацию.

Обливают ли их солнечные лучи, лежит ли густой туман на них, или опоясывают облака – во всех этих уборах они прекрасны, оригинальны и составляют вечно занимательное и грандиозное зрелище для путешественника.

Три странные формы, как три чудовища, облегли город. Столовая гора, мрачная, серая, как все горы, окаймляющие южный берег Африки, состоит из песчаника, почерневшего от солнца и воздуха. Кое-где зеленеет травка, да кустарниковые растения забрались в промытые дождем рытвины. По подошве кучками разбросаны рощицы и сады с дачами и виноградниками. С вида кажется невозможным войти в эту стену; между тем там проложены тропинки, и любопытные, с проводниками, беспрестанно отправляются туда. И некоторые из наших ходили: пошли в сапогах, а воротились босые. Вершина горы, сказывали они, плоская, поросшая кустарником во всю площадь. Львиная гора похожа, говорят, на лежащего льва: продолговатый холм в самом деле напоминает хребет какого-то животного, но конический пик, которым этот холм примыкает к Столовой горе, вовсе не похож на львиную голову. Зато коронка пика образует совершенно правильную фигуру спящего львенка. Товарищи мои заметили то же самое: нельзя нарочно сделать лучше; так и хочется снять ее и положить на стол, как *presse-papiers*.

Любуясь на горы, мы незаметно очутились у широкого крыльца двухэтажного дома: это "Welch's hotel". У подъезда, на нижней ступеньке, встретил нас совсем черный слуга; потом слуга малаец, не совсем черный, но и не белый, с красным платком на голове; в сенях – служанка, англичанка, побелее; далее, на лестнице, – девушка лет 20, красавица, положительно белая, и, наконец, – старуха, хозяйка, *nes plus ultra* 2} белая, то есть седая. Мы вошли в чистые, круглые, освещенные сверху сени с прекрасной деревянной лестницей и выходом прямо на дворик, с балконом. Около дворика кругом шла шпалера из виноградных лоз, и кисти ягод висели везде, зрелые и крупные, янтарного цвета. Двери направо в гостиную и налево в столовую были отворены настежь, с полуоткрытыми жалюзи и окнами. Везде сумрак и прохлада. В сенях мы встретили своих, которые накануне уехали. Они шли гулять; мы сдали вещи слугам и присоединились к ним. Слуга спросил меня и барона, будем ли мы обедать.

Чересчур жесткая солонина и слишком мягкая яичница в "Halfway" еще были присущи у меня в памяти или в желудке, и я отвечал: "Не знаю". – "Будем, будем!" – торопливо за себя и за меня решил барон. На лестнице служанка подошла к нам и спросила, будем ли мы

обедать? "Не знаю..." – начал было я, но барон не дал мне договорить. Пока мы сдавали вещи, наши спутники толпой теснились у буфета. Я продрался посмотреть, что они делают. Вот что: из темной комнаты буфета в светлые сени выходило большое окно; в нем, как в рамке, вставлена была прекрасная картинка: хорошенькая девушка, родственница m-rs Welch, Кэролейн, то есть Каролина, та самая, которую мы встретили на лестнице. Она была прекрасного роста, с прекрасной талией, с прекрасными глазами и предупредительными руками – прекрасная девушка! Сквозь белую, нежную кожу сквозили тонкими линиями синие жилки; глаза большие, темно-синие и лучистые; рот маленький и грациозный с вечной, одинаковой для всех улыбкой. Я после видел, как она обрезала палец и заплакала: лоб у ней наморщился, глаза выразили страдание, а рот улыбался: такова сила привычки. Как грациозно подавала она каждому счет, написанный хотя дурной рукой, но прекрасным почерком! Как мило говорила: "Thank you!", когда взамен счета ей подавали кучку фунтов. А что за прелесть, когда она, как сильфида, неслышными шагами идет по лестнице, вдруг остановится посередине ее, обопрется на перила и, обернувшись, бросит на вас убийственный взгляд. Она-то привлекала всех к окну: там было постоянное сборище. Она, то во весь рост, то сидя, рисовалась на темном фоне комнаты. Сзади, как дополнение, аксессуар комнаты, сидела на диване довольно грузная старушка, m-rs Welch. Предоставив Каролине улыбаться и разговаривать с гостями, она постоянно держалась на втором плане, молча принимала передаваемые ей Каролиной фунты и со вздохом опускала в карман.

Увидя нас, новоприезжих, обе хозяйки в один голос спросили, будем ли мы обедать. Этот вопрос занимал весь дом.

День был удивительно хорош: южное солнце, хотя и осеннее, не щадило красок и лучей; улицы тянулись лениво, дома стояли задумчиво в полуденный час и казались вызолоченными от жаркого блеска. Мы прошли мимо большой площади, называемой Готтентотскою, усаженной большими елями, наклоненными в противоположную от Столовой горы сторону, по причине знаменитых ветров, падающих с этой горы на город и залив.

На площади учатся обыкновенно войска; но их теперь нет: они еще воюют с кафрами. В конце площади биржа – низенькое, не представляющее ничего замечательного здание голландской постройки. В нем большая зала, увешанная тысячами печатных уведомлений о продаже, о покупке, да множество столов с газетами. Рядом в комнате помещается библиотека. Мы видели много улиц и площадей, осмотрели английскую и католическую церкви, миновав мечеть, помещающуюся в доме, который ничем не отличается от других. Но куда ни взглянешь, везде взгляд упирается то в зеленеющие бока лежащего Льва, то в Столовую гору, то в Чертов пик. Город как будто сдавлен ими, только к юго-западу раздвигается безграничный простор: там море сливается с небом.

Мы в конце одной улицы заметили темную аллею и поворотили туда. Это была длинная, совсем закрытая вершинами елей дорога для пешеходов, убитая, впрочем, довольно острыми камешками. Пройдя несколько сажень, мы подошли ко входу в ботанический сад, в который вход дозволен за деньги по подписке; но для путешественников он открыт во всякое время безденежно. Что за наслаждение этот сад! Он не велик: едва ли составит половину петербургского Летнего сада, но зато в нем собраны все цветы и деревья, растущие на Капе и в колонии. Всё рассажено в порядке, посемейно. Мы обошли кругом сада, не пропуская ни одного растения. Сначала идут деревья: померанцевые, фиговые и другие, потом кусты. Миртовые всевозможных пород, кипарисные, и между ними миллионы мелких цветов, ярких, блестящих. Я припоминал наши роскошные дачи и цветники, где всё это стоит или под стеклом, или в кадках, а на зиму прячется. Здесь круглый год всё зеленеет и цветет. По местам посажено было чрезвычайно красивое и невиданное у нас дерево, называемое по-английски broomtree. Broom значит метла; дерево названо так потому, что у него нет листьев, а есть только тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят, как кудри, почти до земли. Они видом немного напоминают плакучие ивы, но гораздо красивее их. Какая богатая коллекция георгин! Вот семейство алоэ; особенно красивы зеленые листья

с двумя широкими желтыми каймами. Семья кактусов богаче всех: она занимает целую лужайку. Что за разнообразие, что за уродливость и что за красота вместе! Я мимо многих кустов проходил с поникшей головой, как мимо букв неизвестного мне языка. Посредине главной аллеи растут, образуя круг, точно дубы, огромные грушевые деревья с большими, почти с голову величиною, грушами, но жесткими, годными только для компота.

С одного места из сада открывается глазам вся Столовая гора. Меня опять поразила эта громада, когда мы были у ее подошвы. Солнце обливало ее лучами; наверху прилипло в одном месте облако и лежало там покойно, не шевелясь, как глыба снега. Зеленеющие бока Льва казались еще зеленее. На крестце его вертелся телеграф, разговаривая с судами. Я вглядывался в рытвины Столовой горы, промытые протоками и образующие видом так называемые "ножки стола". На этом расстоянии то, что издали казалось мхом, травкой, являлось целыми лесами кустов и деревьев. Вся гора, взятая нераздельно, кажется какой-то мрачной, мертвой, безмолвной массой, а между тем там много жизни: на подошву ее лезут фермы и сады; в лесах гнездятся павианы (большие черные обезьяны), кишат змеи, бегают шакалы и дикие козы. Гора не высока, всего 3500 футов над морем, но громоздка, широка. Вообще все три горы кажутся покинутыми материалами от каких-то громадных замыслов и недоконченных нечеловеческих работ.

Обошедши все дорожки, осмотрев каждый кустик и цветок, мы вышли опять в аллею и потом в улицу, которая вела в поле и в сады. Мы пошли по тропинке и потерялись в садах, ничем не огороженных, и рощах. Дорога поднималась заметно в гору. Наконец забрались в чащу одного сада и дошли до какой-то виллы. Мы вошли на террасу и, усталые, сели на каменные лавки. Из дома вышла мулатка, объявила, что господ ее нет дома, и по просьбе нашей принесла нам воды.

Город открылся нам весь оттуда, город чисто английский, с немногими исключениями: высокие двухэтажные дома с магазинами внизу; улицы пересекаются под прямым углом. Кругом далеко видны загородные дома и прячущиеся в зелени фермы. Зеленъ, то есть деревья, за исключением мелких кустов, только и видна вблизи ферм, а то всюду голь, всё обнажено и иссушено солнцем, убито неистовыми, дующими с моря и с гор ветрами. Взгляд далеко обнимает пространство и ничего не встречает, кроме белоснежного песку, разноцветной и разнообразной травы да однообразных кустов, потом неизбежных гор, которые группами, беспорядочно стоят, как люди, на огромной площади, то в кружок, то рядом, то лицом или спинами друг к другу.

Дорогой навязавшийся нам в проводники малаец принес нам винограду. Мы пошли назад всё по садам, между огромными дубами, из рытвины в рытвину, взобрались на пригорок и, спустившись с него, очутились в городе. Только что мы вошли в улицу, кто-то сказал: "Посмотрите на Столовую гору!" Все оглянулись и остановились в изумлении: половины горы не было.

Облако, о котором я говорил, разрослось, пока мы шли садами, и густым слоем, точно снегом, покрыло плотно и непроницаемо всю вершину и спускалось по бокам ровно: это стол накрывался скатертью. Мы шли улицей, идущей скатом, и беспрестанно оглядывались: скатерть продолжала спускаться с неимоверной быстротой, так что мы не успели достигнуть середины города, как гора была закрыта уже до половины. Я ждал, не будет ли бури, тех стремительных ветров, которые наводят ужас на стоящие на рейде суда; но жители капштатские говорят, что этого не бывает. Столовая гора может хоть вся закутаться в саван — они не боятся. Беда, когда лев накинет чепчик! Я после сам имел случай поверить это собственным наблюдением.

Я пристально всматривался в физиономию города: та же Англия, те же узенькие, высокие английские дома, крытые аспидом и черепицей, в два, редкие в три этажа. Внизу магазины. Только одно исключение допущено в пользу климата: это большие, во всю ширину дома веранды или балконы, где жители отдыхают по вечерам, наслаждаясь прохладой. Есть несколько домов голландской постройки с одним и тем же некрасивым, тяжелым фронтоном и маленькими окошками, с тонким переплетом в рамах и очень

мелкими стеклами. Но остатки голландского владычества редки. Я почти не видал голландцев в Капштате, но язык голландский, однако ж, еще в большом ходу. Особенно на нем говорят все старики, слуги и служанки. На всяком шагу бросаются в глаза богатые магазины сукон, полотен, материй, часов, шляп; много портных и ювелиров, словом – это уголок Англии.

Здесь, как в Лондоне и Петербурге, дома стоят так близко, что не разберешь, один это или два дома; но город очень чист, смотрит так бодро, весело, живо и промышленно. Особенно любовался я пестрым народонаселением.

Англичанин – барин здесь, кто бы он ни был: всегда изысканно одетый, холодно, с пренебрежением отдаст он приказания черному. Англичанин сидит в обширной своей конторе, или в магазине, или на бирже, хлопочет на пристани, он строитель, инженер, плантатор, чиновник, он распоряжается, управляет, работает, он же едет в карете, верхом, наслаждается прохладой на балконе своей виллы, прячась под тень виноградника.

А черный? Вот стройный, красивый негр финго, или мозамбик, тащит тюк на плечах; это кули – наемный слуга, носильщик, бегающий на посылках; вот другой, из племени зулу, а чаще готтентот, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, бичуан, ведет верховую лошадь; четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот малаец, с покрытой платком головой, по обычаю магометан, едет с фурой, запряженной шестью, восемью, до двенадцати быков и более. Вот идет черная старуха, в платке на голове, сморщенная, безобразная; другая, безобразнее, торгует какой-нибудь дрянью; третья, самая безобразная, просит милостыню. Толпа мальчишек и девчонок, от самых белых до самых черных включительно, бегают, хохочут, плачут и дерутся. Волосы у черных – как куча сажки. Мулаты, мулатки в европейских костюмах; далее пьяные английские матросы, махая руками, крича во всё горло, в шляпах и без шляп, катаются в экипажах или толкутся у пристани. И между всем этим народонаселением проходят и проезжают прекрасные, нежные создания – английские женщины.

Мы пришли на торговую площадь; тут кругом теснее толпились дома, было больше товаров вывешено на окнах, а на площади сидело много женщин, торгующих виноградом, арбузами и гранатами. Есть множество книжных лавок, где на окнах, как в Англии, разложены сотни томов, брошюр, газет; я видел типографии, конторы издающихся здесь двух газет, альманахи, магазин редкостей, то есть редкостей для европейцев: львиных и тигровых шкур, слоновых клыков, буйволовоих рогов, змей, ящериц.

В городе считается около 25 тысяч всех жителей, европейцев и цветных.

Кроме черных и малайцев встречается много коричневых лиц весьма подозрительного свойства, напоминающих не то голландцев, не то французов или англичан: это помесь этих народов с африканками. Собственно же коренных и известнейших племен: кафрского, готтентотского и бушменского, особенно последнего, в Капштате не видеть, кроме готтентотов – слуг и кучеров. Они упрямо удаляются в свои дикие убежища, чуждаясь цивилизации и оседлой жизни.

Впрочем, племя бушменов малочисленно; они гнездятся в землянках, вырытых среди кустов, оттого и названы бушменами (куст по-голландски буш), они и между собой живут не обществом, а посемейно, промышляют ловлей зверей, рыбы и воровством. Один из новых писателей о Капской колонии, Торнли Смит (Thornley Smith), находит у бушменов сходство с Плиниевыми троглодитами, которые жили в землянках, питались змеями и вместо явственной речи издавали глухое ворчанье. Есть сходство, особенно когда послушаешь, как бушмены говорят: об этом скажу ниже.

Город посредством водопроводов снабжается отличной водой из горных ключей. За это платится жителями известная подать, как, впрочем, за все удобства жизни. Англичане ввели свою систему сборов, о чем также будет сказано в своем месте.

Устав и наглядевшись всего, мы часов в шесть воротились в гостиницу.

Там в длинной столовой накрыт был большой стол. Мы разошлись по номерам переодеться к обеду. Я осмотрел внимательно свой номер: это длинная, мрачная комната с

одним преобладающим окном, но очень высокая. В ней постель, по обыкновению преширокая, с занавесом; дрянной ореховый стол, несколько стульев, которые скликают друг друга; обои разодраны в некоторых местах; на потолке красуется пятно. В окне одно стекло разбито; на столике стояло маленькое зеркало, в простой рамке, с ящичком. Я обошел комнату раза два, поглядел на свой неразвязанный, туго набитый мешок с бельем и платьем и вздохнул из глубины души. "Фаддеев! Филипп! где вы?" – сорвалось у меня с языка воззвание к слугам. Я позвонил: явился мальчик лет двадцати, угреватый, подслеповатый, и в комнате вдруг запахло собакой. "Воды – бриться!" – сказал я. "Yes, sir", – отвечал он и не принес. Я позвонил – и он явился с кружкой воды. "Щетку, – сказал я, – для платья!" То же "yes" в ответ и то же непослушание. Вдруг раздался звонок – это приглашение к обеду.

Я сошел в сени. Малаец Ричард, подняв колокол, с большой стакан величиной, вровень с своим ухом и зажмурив глаза, звонил изо всей мочи на все этажи и нумера, сзывая путешественников к обеду. Потом вдруг перестал, открыл глаза, поставил колокол на круглый стол в сенях и побежал в столовую.

Там явились всё только наши да еще служащий в Ост-Индии английский военный доктор Whetherhead. На столе стояло более десяти покрытых серебряных блюд, по обычаю англичан, и чего тут не было! Я сел на конце; передо мной поставили суп, и мне пришлось хозяйничать.

Нас село за обед человек шестнадцать. Whetherhead сел подле меня. Я разлил всем суп, в том числе и ему, и между нами завязался разговор, сначала по-английски, но потом перешел на немецкий язык, который знаком мне больше.

Мне казалось, что будто он умышленно затрудняется говорить по-немецки.

Вскоре он стал говорить и со всеми. Он был очень умен, любезен и услужлив.

Мое хозяйничанье на супе и окончилось. Ричард снял крышку с другого блюда: там задымился кусок ростбифа. Я трогал его длинным и, как бритва, острым ножом то с той, то с другой стороны, стал резать, и нож ушел в глубину до половины куска. "Не портите куска, – сказал мне барон, млея перед этой горой мяса, – надо резать искусно". Я передвинул блюдо к доктору, и тот с умением, тонкими ломтями, начал отделять мясо и раскладывать по тарелкам. Но тут уже все стали хозяйничать. Почти перед всяким стояло блюдо с чем-нибудь. Перед одним кусок баранины, там телятина, и почти всё *au naturel*, как и любят англичане, жаркое, рыба, зелень и еще карри, подаваемое ежедневно везде, начиная с мыса Доброй Надежды до Китая, особенно в Индии; это говядина или другое мясо, иногда курица, дичь, наконец, даже раки и особенно шримсы, изрезанные мелкими кусочками и сваренные с едким соусом, который составляется из десяти или более индийских перцев. Мало того, к этому подают еще какую-то особую, чуть не ядовитую сою, от которой блюдо и получило свое название. Как необходимая принадлежность к нему подается особо варенный в одной воде рис. Мы, не зная, каково это блюдо, брали доверчиво в рот; но тогда начинались различные затруднения: один останавливался и недоумевал, как поступить с тем, что у него во рту; иной, проглотив вдруг, делал гримасу, как будто говорил по-английски; другой поспешно проглатывал и метался запивать, а некоторые, в том числе и барон, мужественно покорились своей участи.

Как обыкновенно водится на английских обедах, один посылал свою тарелку туда, где стояли котлеты, другой просил рыбы, и обед съедался вдруг. Ричард метался как угорелый и отлично успевал подавать вовремя всякому, чего кто требовал. Он же приносил тому бутылку портвейна, другому хересу, а иным и стакан воды, но редко. Англичанам за обедом вода подается только для полоскания рта. Лишь кликнут: "Ричард!", да и кликать не надо: он не допустит; он глазами ловит взгляд, подбегает к вам, и вы – особенно с непривычки – непременно засмеетесь прежде, а потом уже скажете, что вам нужно: такие гримасы делает он, приготовляясь слушать вас! Вы только намереваетесь сказать ему слово, он открывает глаза, как будто ожидая услышать что-нибудь чрезвычайно важное; и когда начнете говорить, он поворачивает голову немного в сторону, а одно ухо к вам; лицо всё, особенно лоб, собирается у него в складки, губы кривятся на сторону, глаза устремляются к потолку.

Редко можно встретить физиономию подвижнее этого лица, напоминающего наших татар.

Когда кончили обед, Ричард мгновенно потаскал прочь, одно за другим, блюда, потом тарелки, ножи, вилки, куски хлеба, наконец, потащил скатерть. Я так и ждал, что он начнет таскать собеседников, хотя никто в этом надобности и не чувствовал. Он не дотронулся, однако ж, ни до одного стакана, ни до рюмки и особенно до бутылки. Потом стал расставлять перед каждым маленькие тарелки, маленькие ножи, маленькие вилки и с таким же проворством начал носить десерт: прекрупный янтарного цвета виноград и к нему большую хрустальную чашку с водой, груши, гранаты, фиги и арбузы. Опять пошла такая же раздача: тому того, этому другого, нашим молодым людям всего. О пирожном я не говорю: оно то же, что и в Англии, то есть яичница с вареньем, круглый пирог с вареньем и маленькие пирожки с вареньем да еще что-то вроде крема, без сахара, но, кажется... с вареньем. Наконец Ричард и это всё утащил, но бутылки и рюмки опять оставил и скромно удалился. К удивлению его, мы удалились от бутылок еще скромнее и кто постарше пошли в гостиную, а большинство – в буфет, к окну. Тут еще дали кому кофе, кому чаю и записали на каждого за всё съеденное и выпитое, кроме вина, по четыре шиллинга: это за обед. Мне подали чаю; я попробовал и не знал, на что решиться, глотать или нет. Я стал припоминать, на что это похоже: помню, что в детстве вместе с ревенем, мятой, бузиной, ромашкой и другими снадобьями, которыми щедро угощают детей, давали какую-то траву вроде этого чая. В Англии он казался мне дурен, а здесь ни на что не похож. Говорят, это смесь черного и зеленого чаев; но это еще не причина, чтоб он был так дурен; прибавьте, что к чаю подали вместо сахара песок, сахарный конечно, но все-таки песок, от которого мутный чай стал еще мутнее.

Мы пошли опять гулять. Ночь была теплая, темная такая, что ни зги не видать, хотя и звездная. Каждый, выходя из ярко освещенных сеней по лестнице на улицу, точно падал в яму. Южная ночь таинственна, прекрасна, как красавица под черной дымкой: темна, нема; но всё кипит и трепещет жизнью в ней, под прозрачным флёром. Чувствуешь, что каждый глоток этого воздуха есть прибавка к запасу здоровья; он освежает грудь и нервы, как купанье в свежей воде. Тепло, как будто у этой ночи есть свое темное, невидимо греющее солнце; тихо, покойно и таинственно; листья на деревьях не колышутся. Мы ходили до пристани и долго сидели там на больших камнях, глядя на воду.

Часов в десять взошла луна и осветила залив. Вдали качались тихо корабли, направо белела низменная песчаная коса и темнели груды дальних гор.

Я воротился домой, но было еще рано; у окна буфета мистрис Вельч и Каролина, сидя друг подле друга на диване, зевали по очереди. Я что-то спросил, они что-то отвечали, потом м-с Вельч еще зевнула, за ней зевнула Каролина. Я хотел засмеяться и, глядя на них, сам зевнул до слез, а они засмеялись. Потом каждая взяла свечу, раскланялись со мной и, одна за другой, медленно пошли на лестницу. В сенях, на круглом столе, я увидел целый строй медных подсвечников и – о ужас, сальных свеч! Всё это приготовлено для гостей. Меня еще в Англии удивило, что такой опрятный, тонкий и причудливый в житье-бытье народ, как англичане, да притом и изобретательный, не изобрел до сих пор чего-нибудь вместо дорогих восковых свеч. Стеариновые есть, но очень дурны; спермацетовые прекрасны, но дороже восковых. "Мне нужна восковая или спермацетовая свечка", – сказал я живо.

Они обе посмотрели на меня с полминуты, потом скрылись в коридор; но Каролина успела обернуться и еще раз подарить меня улыбкой, а я пошел в свой 8-й номер, держа поодаль от себя свечу; там отдавало немного пустотой и сыростью.

Я сел было писать, но английский обед сморит сном хоть кого; да мы еще набегались вдоволь. Я только начал засыпать, как над правым ухом у меня раздалось пронзительное сопрано комара. Я повернулся на другой бок – над ухом раздался дуэт и потом трио, а там всё смолкло и вдруг – укушение в лоб, не то в щеку. Вздрогнешь, схватишься за укушенное место: там шишка. Я думал прихлопнуть ночных забияк и не раз издали, тихонько целился ладонью в темноте: бац – больно – только не комару, и вслед за пощечиной раздавалось опять звонкое пение: комар юлил около другого уха и пел так тихо и насмешливо. Я

затворил деревянную ставню, но от ветерка она ходила взад и вперед и постукивала. На другой день утром, часов в 8, кто-то стучит в дверь. "Кто там?" – забывшись, по-русски закричал я. "Who is there?" – опомнившись, спросил я потом. "Чаю или кофе?" – "Чаю... если только это чай, что у вас подают". Я встал отпереть дверь и тотчас же пожаловался человеку, принесшему чай, на комаров, показывая ему следы укушений. Я попросил, чтоб поскорей вставили стекло. "Yes, sir", – отвечал он. Но я знал уже, что значит это "yes".

Только я собрался идти гулять, как раздался звонок Ричарда; я проворно сошел вниз узнать, что это значит. У окна буфета нет никого, и рамка пустая: картинка еще почивала. Только Ричард, стоя в сенях, закрыв глаза, склонив голову на сторону и держа на ее месте колокол, так и заливаясь звонит – к завтраку. Было всего 9 часов – какой же еще завтрак? "Ни я, никто из наших не завтракает", – говорил я, входя в столовую, и увидел всех наших; других никого и не было. Стол накрыт, как для обеда; стоит блюд шесть и дымятся; на другом столе дымился чай и кофе. Я сел вместе с другими и поел рыбы – из любопытства, "узнать, что за рыба", по методе барона, да маленькую котлетку.

"Чем же это не обед? – говорил я, принимаясь за виноград, – совершенный обед – только супу нет". После завтрака я не забыл пожаловаться м-с Вельч на комаров и просил вставить окно. "Yes, sir!" – отвечала она. И Каролине пожаловался, прося убедительно велеть к ночи вставить стекло. "Yes, o yes!" – сказала она, очаровательно улыбаясь.

Мы пошли по улицам, зашли в контору нашего банкира, потом в лавки. Кто покупал книги, кто заказывал себе платье, обувь, разные вещи. Книжная торговля здесь довольно значительна; лавок много; главная из них, Робертсона, помещается на большой улице. Здесь есть своя самостоятельная литература. Я видел много периодических изданий, альманахов, стихи и прозу, карты и гравюры и купил некоторые изданные здесь сочинения собственно о Капской колонии. В книжных лавках продаются и все письменные принадлежности.

Устройство лавок, искусство раскладывать товар – всё напоминает Англию. И здесь, как там, вы не обязаны купленный товар брать с собою: вам принесут его на дом. Другие магазины еще более напоминают Англию, только с легким провинциальным оттенком. Всё попроще, нет зеркальных двухсаженных стекол, газу и роскошной мебели. Между тем здесь есть много своих фабрик и заводов: шляпных, стеклянных, бумажных и т. п., которые вполне удовлетворяют потребности края. Глядя на это множество разного рода лавок, я спрашивал себя: где покупатели? Жителей в Капштате от 25 до 30, а в колонии каких-нибудь 200 тысяч.

К полудню солнце начинало сильно печь. Окна закрылись наглухо посредством жалюзи; движение приутихло, то есть беготня собственно, но езда не прекращалась. Экипажи мчались изо всей мочи по улицам; быки медленно тащили тяжелые фуры с хлебом и другою кладью, а иногда и с людьми. В такой фуре я видел человек по пятнадцати. Посреди улиц, как в Лондоне, гуськом стояли наемные экипажи: кареты четырехместные, коляски, кабриолеты в одну лошадь и парой. Экипажи как будто сейчас из мастерской: ни одного нет даже старого фасона, все выкрашены и содержатся чрезвычайно чисто. Черные кучера ловят глазами ваш взгляд, но не говорят ни слова.

Мы где-то на перекрестке разошлись: кто пошел в магазин редкостей, кто в ванны или даже в бани, помещающиеся в одном доме на торговой площади, кто куда. Я отправился опять в темную аллею и ботанический сад, который мне очень понравился, между прочим и потому, что в городе собственно негде гулять. Я с новым удовольствием обошел его весь, останавливался перед разными деревьями, дивился рогатым, неуклюжим кактусам и опять с любопытством смотрел на Столовую гору. Меня поразило пение множества птиц, которого вчера я не слышал, вероятно, потому, что было поздно. Теперь, напротив, утром, раздавалось столько веселых и незнакомых для северного уха голосов. Я искал глазами певцов, но они не очень дичились: из одного куста в другой беспрестанно перелетали стаи колибри, резвых и блестящих. Они шалили и кокетничали, вертясь на ветках довольно низких кустов и сверкая переливами всех возможных цветов. Только я подходил шагов на пять, как они дождем пронеслись под носом у меня и падали в ближайший шелковичный или другой куст.

В отеле в час зазвонили завтракать. Опять разыгрался один из существенных актов дня

и жизни. После десерта все двинулись к буфету, где, в черном платье, с черной сеточкой на голове, сидела Каролина и с улыбкой наблюдала, как смотрели на нее. Я попробовал было подойти к окну, но места были ангажированы, и я пошел писать к вам письма, а часа в три отнес их сам на почту.

Я ходил на пристань, всегда кипящую народом и суетой. Здесь идут по длинной, далеко уходящей в море насыпи рельсы, по которым возят тяжести до лодок. Тут толпится всегда множество матросов разных наций, шкиперов и просто городских зевак.

Есть на что и позевать: впереди необъятный залив со множеством судов; взад и вперед снуют лодки; вдали песчаная отмель, а за ней Тигровые горы.

Оглянитесь назад: за вами три исполинские массы гор и веселый, живой город.

Тут же, на плотине, застал я множество всякого цветного народа, особенно мальчишек, ловивших удочками рыбу. Ее так много, что не проходит минуты, чтоб кто-нибудь не вытащил.

В некоторых улицах видел я множество конюшен для верховых лошадей. В городе и за городом беспрестанно встречаешь всадников, иногда целые кавалькады. Лошади все почти средней величины, но красивы. Требование на них так велико, что в воскресенье, если не позаботишься накануне, не достанешь ни одной. В этот день все из города разъезжаются по дачам. Между прочим, в одном месте я встретил надпись: "Контора омнибусов"; спрашиваю: куда они ходят, и мне называют ближайшие места, миль за 40 и за 50 от Капштата. А давно ли туда ездили на волах, в сопровождении толпы готтентотов, на охоту за львами и тиграми? Теперь за львами надо отправляться миль за 400: города, дороги, отели, омнибусы, шум и суета оттеснили их далеко. Но тигры и шакалы водятся до сих пор везде, рыскают на окрестных к Капштату горах.

Пора, однако, обедать, солнце село: шесть часов. В отеле нас ожидал какой-то высокий, стройный джентльмен, очень благообразной наружности, с самыми приличными бакенбардами, украшенными легкой проседью, в голубой куртке, с черным крепом на шляпе, с постоянной улыбкой скромного сознания своих достоинств и с предлинным бичом в руках. "Вандик", – рекомендовался он. У меня промелькнул целый поток соображений. "Вандик – конечно, потомок знаменитого живописца: дед или прадед этого, стоящего пред нами, Вандика, оставил Голландию, переселился в колонию, и вот теперь это сын его. Он, конечно, пришел познакомиться с русскими, редкими гостями здесь, как и тот майор, адъютант губернатора, которого привел сегодня утром доктор Ведерхед..." – "Проводник ваш по колонии, – сказал Вандик, – меня нанял ваш банкир, с двумя экипажами и с осью лошадей. Когда угодно ехать?" Мои соображения рассеялись. "Завтра пораньше", – сказали мы ему.

Доктор Ведерхед за обедом опять был очень любезен. Тут пришли некоторые дамы, в том числе и его жена. Нехороша – Бог с ней: лет тридцати, figure chiffonne{* - лицо в мелких морщинках}. Про такие лица прибавляют обыкновенно: но очень мила; про эту нельзя сказать этого. Как кокетливо ни одевалась она, но впалые и тусклые глаза, бледные губы могли внушить только разве сострадание к ее болезненному состоянию. Из их нумера часто раздавались звуки музыки, иногда пение женского голоса. Игнали на фортепиано прекрасно: говорят, это он.

Доктор этот с первого раза заставил подозревать, что он не англичанин, хотя и служил хирургом в полку в ост-индской армии. Он был чрезвычайно воздержан в пище, вина не пил вовсе и не мог нахвалиться нами, что мы почти тоже ничего не пили. "Я всё с большим и большим удовольствием смотрю на вас", – сказал он, кладя ноги на стол, заваленный журналами, когда мы перешли после обеда в гостиную и дамы удалились. "Чем мы заслужили это лестное внимание?" – "Скромность, знание приличий..." – и пошел. "Покорно благодарим. А разве вы ожидали противного?..." – "Нет: я сравниваю с нашими офицерами, – продолжал он, – на днях пришел английский корабль, человек двадцать офицеров съехали сюда и через час поставили вверх дном всю отель."

Прежде всего они напились до того, что многие остались на своих местах, а другие и

этого не могли, упали на пол. И каждый день так. Ведь вы тоже пробыли долго в море, хотите развлечься, однако ж никто из вас не выпил даже бутылки вина: это просто удивительно!" Такой отзыв нас удивил немного: никто не станет так говорить о своих соотечественниках, да еще с иностранцами. "Неужели в Индии англичане пьют так же много, как у себя, и едят мясо, пряности?" – спросили мы. "О да, ужасно! Вот вы видите, как теперь жарко; представьте, что в Индии такая зима; про лето нечего и говорить; а наши, в этот жар, с раннего утра отправятся на охоту: чем, вы думаете, они подкрепят себя перед отъездом?"

Чаем и водкой! Приехав на место, рыщут по этому жару целый день, потом являются на сборное место к обеду, и каждый выпивает по несколько бутылок портера или элю и после этого приедут домой как ни в чем не бывало; выкупаются только и опять готовы есть. И ничего им не делается, – отчасти с досадой прибавил он, – ровно ничего, только краснеют да толстеют; а я вот совсем не пью вина, ем мало, а должен был удалиться на полгода сюда, чтоб полечиться".

"Но это даром не проходит им, – сказал он, помолчав, – они крепки до времени, а в известные лета силы вдруг изменяют, и вы увидите в Англии многих индийских героев, которые сидят по углам, не сходя с кресел, или таскаются с одних минеральных вод на другие". – "Долго ли вы пробудете здесь?" – спросили мы доктора. "Я взял отпуск на год, – отвечал он, – мне осталось всего до пенсии года три. Надо прослужить семнадцать лет. Не знаю, зачтут ли мне этот год. Теперь составляются новые правила о службе в Индии; мы не знаем, что еще будет". Мы спросили, зачем он избрал мыс Доброй Надежды, а не другое место для отдыха. "Ближайшее, – отвечал он, – и притом переезд дешевле, нежели куда-нибудь. Я хотел ехать в Австралию, в Сидней, но туда стало много ездить эмигрантов и места на порядочных судах очень дороги.

А нас двое: я и жена; жалованья я получаю всего от 800 до 1000 ф. стерл." (от 5000 до 6000 р.). – "Куда же отправитесь, выслужив пенсию?" – "И сам не знаю; может быть, во Францию..." – "А вы знаете по-французски?" – "О да..." – "В самом деле?" И мы живо заговорили с ним, а до тех пор, правду сказать, кроме Арефьева, который отлично говорит по-английски, у нас рты были точно зашиты. Доктор говорил по-французски прекрасно, как не говорит ни один англичанин, хоть он живи сто лет во Франции. "Да он жид, господа!" – сказал вдруг один из наших товарищей. Жид – какая догадка! Мы пристальнее всмотрелись в него: лицо бледное, волосы русые, профиль... профиль точно еврейский – сомнения нет. Несмотря, однако ж, на эту догадку, у нас еще были скептики, оспаривавшие это мнение. Да нет, всё в нем не английское: не смотрит он, вытараща глаза; не сжата у него, как у англичан, и самая мысль, суждение в какие-то тиски; не цедит он ее неуклюже, сквозь зубы, по слову. У этого мысль льется так игриво и свободно: видно, что ум не задавлен предрассудками; не рядится взгляд его в английский покррой, как в накрахмаленный галстух: ну, словом, всё, как только может быть у космополита, то есть у жида. Выдал ли бы англичанин своих пьяниц?... Догадка о его национальности оставалась всё еще без доказательств, и доктор мог надеяться прослыть за англичанина или француза, если б сам себе не нанес решительного удара. Не прошло получаса после этого разговора, говорили о другом. Доктор расспрашивал о службе нашей, о чинах, всего больше о жалованье, и вдруг, ни с того ни с сего, быстро спросил: "А на каком положении живут у вас жида?" Все сомнения исчезли.

Кто бы он ни был, если и жид, но он был самый любезный, образованный и обязательный человек. "Вам скучно по вечерам, – сказал он однажды, – здесь есть клуб: вам предоставлен свободный вход. Вы познакомитесь с здешним обществом, почитаете газету, выкурите сигару: всё лучше, нежели одним сидеть по нумерам. Да вот не хотите ли теперь? Пойдемте!" Мы пошли. Клуб, как все клубы: ряд освещенных комнат, кучи журналов, толпа лакеев и буфет. Но, видно, было еще рано: комнаты пусты, только в бильярдной собралось человек пятнадцать. Пятеро, без сюртуков, в одних жилетах, играли; прочие молча смотрели на игру. Между играющими обращал на себя особенное внимание пожилой, невысокого роста человек, с проседью, одетый в красную куртку, в синие панталоны, без галстука. "Заметьте этого джентльмена", – сказал нам доктор и тотчас же познакомил нас с ним. Тот

пожал нам руки, хотел что-то сказать, но голоса три закричали ему: "Вам, вам играть!" – и он продолжал игру. "Кто ж это?" – спросили мы доктора. Он замялся несколько. "Игрок, если хотите", – сказал он. "Ну, спасибо за знакомство", – подумал я. Доктор как будто угадал мою мысль. "Я познакомил вас с ним потому, – прибавил он, – что это замечательный человек умом, образованием, приключениями и также счастьем в игре. Вам любопытно будет поговорить с ним: он знает всё. У него огромный кредит здесь, в Китае, в Австралии, и его векселя уважаются, как банкирские. А этот молодой человек, – продолжал доктор, указывая на другого джентльмена, недурного собой, с усиками, – замечателен тем, что он очень богат, а между тем служит в военной службе, просто из страсти к приключениям".

Мне, однако ж, не интересно казалось смотреть на катанье шаров, и я, предоставив своим товарищам этих героев, сел в угол. Мне становилось скучно, я помышлял, как бы уйти. Зову их – нейдут: "Сейчас да погодите". Я ушел потихоньку один, но дома было тоже невесело. Там остался наш доктор, еще натуралист да молодой Зеленый. Все они легли спать; натуралист, если и не спал, то копался с слизняками, раками или букашками; он чистил их, сушил и т. п. Но я придумал средство вызвать товарищей из клуба. Они после обеда просили м-с Вельч и Каролину пить чай *en famille*, вместе, как это делается у нас, в России. Так, романтизм! Но те и понять не могли, зачем это, и уклонились. На этом основал я свою хитрость и отправился в клуб. Игрок говорил с бароном, Посьет с английским доктором. Долго я ловил свободную минуту, наконец улучил и сказал самым небрежным тоном, что я был дома и что старуха Вельч спрашивала, куда все разбежались. "А ей что?" – спросил Посьет. "Да не знаю, – равнодушно отвечал я, – вы просили, кажется, Каролину чай разливать..." "Это не я, а барон", – перебил меня Посьет. "Ну, не знаю, только Каролина сидит там за чашками и ждет". Я оставил Посьета и перешел к барону.

"Вы, что ли, просили старуху Вельч и Каролину чай пить вместе..." – "Нет, не я, а Посьет, – сказал он, – а что?" – "Да чай готов, и Каролина ждет..." Я хотел обратиться к Посьету, чтоб убедить его идти, но его уже не было. "А этот господин игрок, в красной куртке, вовсе не занимателен, – заметил, зевая, барон, – лучше гораздо идти лечь спать". Мы пошли и застали Посьета в комнате у хозяйек: обе они зевали – старуха со всею откровенностью, Каролина силилась прикрыть зевок улыбкой. О чае ни тот, ни другой не спросили ни меня, ни их: они поняли всё. Мы вышли на крыльцо, которое выходит на двор, сели под виноградными листьями и напились чаю одни-одинехоньки. Добрый Посьет стал уверять, что он ясно видел мою хитрость, а барон молчал и только на другой день сознался, что вчера он готов был драться со мной.

Утром опять явился Вандик спросить, готовы ли мы ехать; но мы не были готовы: у кого платье не поспело, тот деньги не успел разменять. Просили приехать в два часа. Вандик, с неизменной улыбкой, поклонился и ушел. В два часа явились перед крыльцом две кареты; каждая запряжена была четверкой, по две в ряд. И малаец Ричард, и другой, черный слуга, и белый, подслеповатый англичанин, наконец, сама м-с Вельч и Каролина – все вышли на крыльцо провожать нас, когда мы селись в экипажи. "Good journey, happy voyage!" – говорили они. Моросил дождь, когда мы выехали за город и, обогнув Столовую гору и Чертов пик, поехали по прекрасному шоссе, в виду залива, между ферм, хижин, болот, песку и кустов. Если б не декорация гор впереди и по бокам, то хоть спать ложись. Но нам было не до сна: мы радовались, что, по обязанности адмирала, с помощью взятых им у банкиров Томсона и К0 рекомендательных писем, мы увидим много нового и занимательного.

Я припоминал всё, что читал еще у Вальяна о мысе и о других: описание песков, зная, сражений со львами, о фермерах, и не верилось мне, что я еду по тем самым местам, что я в 10 000 милях от отечества. Я ласкал глазами каждый куст и траву, то крупную, сочную, то сухую, как веник. Мы проехали мимо обсерватории, построенной на луговине, на берегу залива, верстах в четырех от города. Я думал, что Гершель здесь делал свои знаменитые наблюдения над луной и двойными звездами, но нам сказали, что его обсерватория была устроена в местечке Винберг, близ Констанской горы, а эта принадлежит правительству.

Дождь переставал по временам, и тогда на кустах порхало множество разнообразных птиц. Я заметил одну, синюю, с хвостом более четверти аршина длиной. Она называется sugarbird (сахарная птица) оттого, что постоянно водится около так называемого сахарного кустарника. Дикие канарейки, поменьше немного, поглубже цветом цивилизованных и не так ярко окрашенные в желтый цвет, как те, стаями перелетали из куста в куст; мелькали еще какие-то зеленые, коричневые птицы. Кроме их медленными кругами носились в воздухе коршуны; близ жилых мест появлялись и вороны, гораздо ярче колоритом наших: черный цвет был на них чернее и резко оттенялся от светлых пятен. Около домов летали капские пегие голуби, ласточки и воробьи.

В колонии считается более пород птиц, нежели во всей Европе, и именно до шестисот. Кусты местами были так часты, что составляли непроходимый лес; но они малорослы, а за ними далеко виднелись или необработанные песчаные равнины, или дикие горы, у подошвы которых белели фермы с яркой густой зеленью вокруг.

КАПСКАЯ КОЛОНИЯ

Скажите, положив руку на сердце: знаете ли вы хорошенько, что такое Капская колония? Не сердитесь ни за этот вопрос, ни за сомнение. Я уверен, что вы знаете историю Капа и колонии, немного этнографию ее, статистику, но всё это за старое время. А знаете ли вы современную историю, нравы, всё, что случилось в последние тридцать-сорок лет? Я уверен, что не совсем, или даже совсем не знаете, кроме только разве того, что колония эта принадлежит англичанам. Я не помню, чтоб в нашей литературе являлись в последнее время какие-нибудь сведения об этом крае, не знаю также ничего замечательного и на французском языке. По-английски большинство нашей публики почти не читает, между тем в Англии, а еще более здесь, в Капе, описание Капа и его колонии образует почти целую особую литературу. Имена писателей у нас неизвестны, между тем сочинения их – подвиги в своем роде; подвиги потому, что у них не было предшественников, никто не облегчал их трудов ранними труженическими изысканиями. Они сами должны были читать историю края на песках, на каменных скрижалях гор, где не осталось никаких следов минувшего. Каких трудов стоила им всякая этнографическая гипотеза, всякое филологическое соображение, которое надо было основывать на скудных, почти нечеловеческих звуках языков здешних народов! А между тем нашлись люди, которые не испугались этих неблагодарных трудов: они исходили взад и вперед колонию и, несмотря на скудость источников, под этим палящим солнцем написали целые томы. Кто ж это? Присяжные ученые, труженики, герои науки, жертвы любознания? Нет, просто любители, которые занялись этим мимоходом, сверх своей прямой обязанности: миссионеры и военные. Одни шли с крестом в эти пустыни, другие с мечом. С ними проникло пытливое знание и перо. Сочинения Содерлендов, Барро, Смитов, Чезов и многих, многих других о Капе образуют целую литературу, исполненную бескорыстнейших и добросовестнейших разысканий, которые со временем послужат основным камнем полной истории края.

Что же такое Капская колония? Если обратишься с этим вопросом к курсу географии, получишь в ответ, что пространство, занимаемое колонию, граничит к северу рекою Кейскамма, а в газетах, помнится, читал, что граница с тех пор во второй или третий раз меняет место и обещают, что она не раз отодвинется дальше. На карте показано, что от такого-то градуса и до такого живут негры того или другого племени, а по новейшим известиям оказывается, что это племя оттеснено в другое место. Если прибегнешь за справками к путешественникам, найдешь у каждого ту же разноголосицу показаний, и все они верны, каждое своему моменту, именно моменту, потому что здесь всё изменяется не по дням, а по часам.

Здесь всё в полном брожении теперь: всеодолевающая энергия человека борется почти

с неодолимою природою, дух — с материей, жадность приобретения — с скупостью бесплодия. Но осадка еще мало, еще нельзя определить, в какую физиономию сложатся эти неясные черты страны и ее народонаселения. Дело мало двинуто вперед, и наблюдатель из настоящего положения не выведет верного заключения о будущей участи колонии. Ему остается только следить, собирать факты и строить целый мир догадок. В материалах недостатка нет: настоящий момент — самый любопытный в жизни колонии. В эту минуту обрабатываются главные вопросы, обуславливающие ее существование, именно о том, что ожидает колонию, то есть останется ли она только колониею европейцев, как оставалась под владычеством голландцев, ничего не сделавших для черных племен, и представит в будущем незанимательный уголок европейского народонаселения, или черные, как законные дети одного отца, наравне с белыми, будут разделять завещанное и им наследие свободы, религии, цивилизации? За этим следует второй, также важный вопрос: принесет ли европейцам победа над дикими и природой то вознаграждение, которого они вправе ожидать за положенные громадные труды и капиталы, или эти труды останутся только бескорыстным подвигом, подъятым на пользу человечества? На эти вопросы пока нет ответа — так мало еще европейцы сделали успеха в цивилизации страны, или, лучше сказать, так мало страна покоряется соединенным усилиям ума, воли и оружия.

В других местах, куда являлись белые с трудом и волею, подвиг вел за собой почти немедленное вознаграждение: едва успевали они миролюбиво или силой оружия завязывать сношения с жителями, как начиналась торговля, размен произведений, и победители, в самом начале завоевания, могли удовлетворить по крайней мере своей страсти к приобретению. Даже в Восточной Индии, где цивилизация до сих пор встречает почти неодолимое сопротивление в духе каст, каждый занятый пришельцами вершок земли немедленно приносил им соразмерную выгоду богатыми дарами почвы. В Южной Африке нет и этого: почва ее неблагоприятна, произведения до сих пор так скудны, что едва покрывают издержки хлопот. Виноделие, процветающее на морских берегах, дает только средства к безбедному существованию небольшому числу фермеров и скудное пропитание нескольким тысячам черных. Прочие промыслы, как, например, рыбная и звериная ловля, незначительны и не в состоянии прокормить самих промышленников; для торговли эти промыслы едва доставляют несколько неважных предметов, как-то: шкур, рогов, клыков, которые не составляют общих, отдельных статей торгова. Самые важные промыслы — скотоводство и земледелие; но они далеко еще не достигли того состояния, в котором можно было бы ожидать от них полного вознаграждения за труд.

А между тем каких усилий стоит каждый сделанный шаг вперед! Черные племена до сих пор не поддаются ни силе проповеди, ни удобствам европейской жизни, ни очевидной пользе ремесел, наконец, ни искушениям золота — словом, не признают выгод и необходимости порядка и благоустроенности.

Местность страны — неограниченные пустые пространства — дает им средства противиться силе оружия. Каждый шаг выжженной солнцем почвы омывается кровью; каждая гора, куст представляют естественную преграду белым и служат защитой и убежищем черных. Наконец, европеец старается склонить черного к добру мирными средствами: он протягивает ему руку, дарит плуг, топор, гвоздь — всё, что полезно тому; черный, истратив жизненные припасы и военные снаряды, пожимает протянутую руку, приносит за плуг и топор слоновых клыков, звериных шкур и ждет случая угнать скот, перерезать врагов своих, а после этой трагической развязки удаляется в глубину страны — до новой комедии, то есть до заключения мира.

Долго ли так будет? скоро ли европейцы проложат незаметаемый путь в отдаленные убежища дикарей и скоро ли последние сбросят с себя это постыдное название? Решением этого вопроса решится и предыдущий, то есть о том, будут ли вознаграждены усилия европейца, удастся ли, с помощью уже недликих братьев, извлечь из скупой почвы, посредством искусства, всё, что может только она дать человеку за труд? усовершенствует ли он всеми средствами, какими обладает цивилизация, продукты и промыслы? возведет ли

последние в степень систематического занятия туземцев? откроет ли или привьет новые отрасли, до сих пор чуждые стране?

Теперь на мысе Доброй Надежды, по берегам, европейцы пустили глубоко корни; но кто хочет видеть страну и жителей в первобытной форме, тот должен проникнуть далеко внутрь края, то есть почти выехать из колонии, а это не шутка: граница отодвинулась далеко на север и продолжает отодвигаться всё далее и далее.

Природных черных жителей нет в колонии как граждан своей страны. Они тут слуги, рабочие, кучера – словом, наемники колонистов, и то недавно наемники, а прежде рабы. Сильные и наиболее дикие племена, теснимые цивилизацией и войною, углубились далеко внутрь; другие, послабее и посмирнее, теснимые первыми изнутри и европейцами от берегов, поддались не цивилизации, а силе обстоятельств и оружия и идут в услужение к европейцам, разделяя их образ жизни, пищу, обычаи и даже религию, несмотря на то что в 1834 г. они освобождены от рабства и, кажется, могли бы выбрать сами себе место жительства и промысл. По-видимому, им и в голову не приходит о возможности пользоваться предоставленными им правами свободного состояния и сравняться некогда с своими завоевателями. Путешественник почти совсем не видит деревень и хижин диких да и немного встретит их самих: всё занято пришельцами, то есть европейцами и малайцами, но не теми малайцами, которые заселяют Индийский архипелаг: африканские малайцы распространились будто бы, по словам новейших изыскателей, из Аравии или из Египта до мыса Доброй Надежды. Этот важный этнографический вопрос еще не решен. Судя по чертам лиц их, имеющих много общего с лицами обитателей ближайшего к нам Востока, не задумаешься ни минуты причислить их к северо-восточным племенам Африки.

Недавно только отведена для усмиренных кафров целая область, под именем Британской Кафрарии, о чем сказано будет ниже, и предоставлено им право селиться и жить там, но под влиянием, то есть под надзором, английского колониального правительства. Область эта окружена со всех сторон британскими владениями: как и долго ли уживутся беспокойные племена под ферулой европейской цивилизации и оружия, сблизятся ли с своими победителями и просветителями – эти вопросы могут быть разрешены только временем.

Нужно ли говорить, кто хозяева в колонии? конечно, европейцы, и из европейцев, конечно, англичане. Голландцам принадлежит второстепенная роль, и то потому только, что они многочисленны и давно обжились в колонии. Должно ли жалеть об утраченном владычестве голландцев и пенять на властолюбие или, вернее, корыстолюбие англичан, воспользовавшихся единственно правом сильного, чтоб завладеть этим местом, которое им нужно было как переходный пункт на пути в Ост-Индию? Если проследить историю колонии со времени занятия ее европейцами в течение двухвекового голландского владычества и сравнить с состоянием, в которое она поставлена англичанами с 1809 года, то не только оправдаешь насильственное занятие колонии англичанами, но и порадуешься, что это случилось так, а не иначе.

Здесь предлагается несколько исторических, статистических и других сведений о Капской колонии, извлеченных частью из официальных колониальных источников, частью из прекрасной немецкой статьи "Das Cap der Guten Hoffnung", помещенной в 4-м томе "Gegenwart", энциклопедического описания новейшей истории. Эта статья составляет систематическое и подробное описание колонии в историческом, естественном и других отношениях.

Мыс Доброй Надежды открыт был в блистательную эпоху мореплавания, в 1493 году, португальцем Диазом (Diaz), который назвал его мысом Бурь.

Но португальский король Иоанн II, радуясь открытию нового, ближайшего пути в Индию, дал мысу Бурь нынешнее его название. После того посещали мыс, в 1497 году, Васко де Гама, а еще позже бразильский вице-король Франциско де Альмейда, последний – с целью войти в торговые сношения с жителями. Но люди его экипажа поссорились с черными, которые умертвили самого вице-короля и около 70 человек португальцев.

Голландцы, на пути в Индию и оттуда, начали заходить на мыс и выменивали у жителей провизию. Потом уже голландская Ост-Индская компания, по предложению врача фон Рибека, заняла Столовую бухту.

В 1652 году голландцы заложили там крепость, и таким образом возник Капштат. Они быстро распространились внутри края, произвольно занимая впусе лежащие земли и оттесняя жителей от берегов. Со стороны диких сначала они не встречали сопротивления. Последние, за разные европейские изделия, но всего более за табак, водку, железные орудия и тому подобные предметы, охотно уступали им не только земли, но и то, что составляло их главный промысел и богатство, – скот.

Голландские фермеры до сих пор владеют большими пространствами земли: это произошло от системы произвольной раздачи ее поселенцам. Всякий из них брал столько земли во владение, сколько мог окинуть взглядом. От этого многие фермы и теперь отстоят на сутки езды одна от другой. Фермеры, удаляясь от центра управления колонии, почувствовали себя как бы независимыми владельцами и не замедлили подчинить своей власти туземцев, и именно готтентотов. Распространяясь далее к востоку, голландцы встретились с кафрами, известными под общим, собирательным именем амакоза. Последние вели кочевую жизнь и, в эпоху основания колонии, прикочевали с севера к востоку, к реке Кей, под предводительством знаменитого вождя Тогу (Toguh), от которого многие последующие вожди и, между прочим, известнейшие из них, Гаика и Гинца, ведут свой род.

Кафры, или амакоза, продолжали распространяться к западу, перешли большую Рыбную реку (Fish-river) и заняли нынешнюю провинцию Альбани, до Воскресной реки.

Голландцы продолжали распространяться внутрь, не встречая препятствий, потому что кафры, кочуя по пустым пространствам, не успели еще сосредоточиться в одном месте. Им даже нравилось соседство голландцев, у которых они могли воровать скот, по склонности своей к грабежу и к скотоводству как к промыслу, свойственному всем кочующим народам.

Гористая и лесистая местность Рыбной реки и нынешней провинции Альбани способствовала грабежу и манила их селиться в этих местах. Здесь возникли первые неприязненные стычки с дикими, вовлекшие потом белых и черных в нескончаемую доселе вражду. Всякий, кто читал прежние известия о голландской колонии, конечно помнит, что они были наполнены бесчисленными эпизодами о схватках поселенцев с двумя неприятелями: кафрами и дикими зверями, которые нападали с одной целью: похищать скот.

Нельзя не отдать справедливости неумолимому терпению голландцев, с которым они старались, при своих малых средствах, водворять хлебопашество и другие отрасли земледелия в этой стране; как настойчиво преодолевали все препятствия, сопряженные с таким трудом на новой, нетронутой почве.

Они целиком перенесли сюда всё свое голландское хозяйство и, противопоставив палящему солнцу, пескам, горам, разбоям и грабежам кафров почти одну свою фламандскую флегму, достигли тех результатов, к каким только могло их привести, за недостатком положительной и живой энергии, это отрицательное и мертвое качество, то есть хладнокровие. Они посредством его, как другие посредством военных или административных мер, достигли чего хотели, то есть заняли земли, взяли в невольничество, сколько им нужно было, черных, привили земледелие, добились умеренного сбыта продуктов и зажили, как живут в Голландии, тою жизнью, которою жили столетия тому назад, не задерживая и не подвигая успеха вперед. Они до сих пор еще пахут тем же тяжелым, огромным плугом, каким пахали за двести лет, впрягая в него до двенадцати быков; до сих пор у них та же неуклюжая борона. Плодопеременное хозяйство им неизвестно. Английские земледельческие орудия кажутся им чересчур легкими и хрупкими. Скотоводство распространилось довольно далеко во внутренность края, и фермеры, занимающиеся им, зажиточны, но образ жизни их довольно груб и грязен. Недостаток в воде, ощущаемый внутри края, заставляет их иногда кочевать с места на место.

Лучшие и богатейшие из голландцев – винопроизводители. Виноделие введено в колонию французскими эмигрантами, удалившимися сюда по случаю отмены Нантского

эдикта. В колонии, а именно в западной части, на приморских берегах, производится большое количество вина почти от всех сортов французских лоз, от которых удержались даже и названия. Вино кроме потребления в колонии вывозится в значительном количестве в Европу, особенно в Англию, где оно служит к замену хереса и портвейна, которых Испания и Португалия не производят достаточно для снабжения одной Англии.

Эмигранты вместе с искусством виноделия занесли на мыс свои нравы, обычаи, вкус и некоторую степень роскоши, что всё привилось и к фермерам.

Близость к Капштату поддержала в западных фермерах до сих пор эту утонченность нравов, о которой не имеют понятия восточные, скотопромышленные хозяева.

Но влияние эмигрантов тем и кончилось. Сами они исчезли в голландском народонаселении, оставив по себе потомкам своим только французские имена.

Между фермерами, чиновниками и другими лицами колонии слышатся фамилии Руже, Лесюер и т. п.; всматриваешься в них, ожидая встретить что-нибудь напоминающее французов, и видишь чистейшего голландца. Есть еще и доселе в западной стороне целое местечко, населенное потомками этих эмигрантов и известное под названием French Hoek или Ноок.

Голландцы многочисленны, сказано выше: действительно так, хотя они уступили первенствующую роль англичанам, то есть почти всю внешнюю торговлю, навигацию, самый Капштат, который из Капштата превратился в Кэптоун, но большая часть местечек заселена ими, и фермы почти все принадлежат им, за исключением только тех, которые находятся в некоторых восточных провинциях – Альбани, Каледон, присоединенных к колонии в позднейшие времена и заселенных английскими, шотландскими и другими выходцами.

Говоря о голландцах, остается упомянуть об отдельной, независимой колонии голландских так называемых буров (боег – крестьянин), то есть тех же фермеров, которую они основали в 1835 году, выселившись огромной толпой за черту границы. Вот как это случилось. Прежде, однако ж, следует напомнить вам, что в 1795 году колония была занята силою оружия англичанами, которые воспользовались случаем завладеть этим важным для них местом остановки на пути в Индию. По Амьенскому миру, в 1802 г., колония возвращена была Голландии, а в 1806 г. снова взята Англиею, за которую и утверждена окончательно Венским трактатом 1815 г.

Голландцы терпеливо покорились этому трактату потому только, что им оставили их законы и администрацию. Но в 1827 г. обнародован был свод законов в английском духе и произошли многие важные перемены в управлении.

Это раздражило колонистов. Некоторые из них тогда же начали мало-помалу выселяться из колонии, далее от берегов. Потом, по заключении в 1835 г. мира с кафрами, английское правительство не позаботилось оградить собственность голландских колонистов от нападения и грабежа кафров, имея все средства к тому, и, наконец, внезапным освобождением невольников нанесло жестокий удар благосостоянию голландцев. Правительство вознаградило их за невольников по вест-индским ценам, тогда как в Капской колонии невольники стоили вдвое.

Деньги за них высылались из Англии, с разными вычетами, в Капштат, куда приходилось многим фермерам ездить нарочно за несколько сот миль. Всё это окончательно восстановило голландцев, которых целое народонаселение двинулось массой к северу и, перешедши реку Вааль, заняло пустые, но прекрасные, едва ли не лучшие во всей Южной Африке, пространства. Движение это было так единодушно, что многие даже из соседних к Капштату голландцев бросили свои фермы, не дождавшись продажи их с аукциона, и удалились с своими соотечественниками. Они заняли пространства в 350 миль к северу от реки Вааль, захватив около полутора градуса Южного тропика, – крайний предел, до которого достигла колонизация европейцев в Африке.

Они хотели иметь свои законы, управление и надеялись, что сумеют, без помощи англичан, защититься против врагов. И не обманулись. Страна их, по отзывам самих

англичан, находится в цветущем положении. Буры разделили ее на округа, построили города, церкви и ведут деятельную, патриархальную жизнь, не уступая, по свидетельству многих английских путешественников, ни в цивилизации, ни в образе жизни жителям Капштата. Они управляются Народным советом (Volksraad), имеют училища и т. п. Страна чрезвычайно плодородна, способна к земледелию, виноделию, скотоводству и производит множество плодов. Ей предстоит блистательная торговая будущность, по соседству ее с английским портом Наталь и занятым англичанами пространством, известным под названием Orange river sovereignty.

Английское правительство умело оценить независимость и уважить права этого тихого и счастливого уголка и заключило с ним в январе 1852 г. договор, в котором, с утверждением за бурами этих прав и независимости, предложены условия взаимных отношений их с англичанами и также образа поведения относительно цветных племен, обеспечения торговли, выдачи преступников и т. п., как заключаются обыкновенно договоры между соседями.

Водворяя в колонии свои законы и администрацию, англичане рассчитывали, конечно, на быстрый и несомненный успех, какого достигли у себя дома.

Пролагая путь внутрь края оружием, а еще более торговлею, они скоро отодвинули границу, которая до них оканчивалась Рыбною рекою, далее.

Английские губернаторы, сменившие голландских, окруженные большим блеском и более богатыми средствами, обнаружили и более влияния на дикие племена, вступили в деятельные сношения с кафрами и, то переговорами, то оружием, вытеснили их из пределов колонии. По окончании неприязненных действий с дикими в 1819 г. англичане присоединили к колонии значительную часть земли, которая составляет теперь одну из лучших ее провинций под именем Альбани.

Из Англии и Шотландии между тем прибыли выходцы и в бухте Альгоа (Algoabay) завели деятельную торговлю с кафрами, вследствие которой на реке Кейскамма учредилась ярмарка.

Кафры приносили слоновую кость, страусовые перья, звериные кожи и взамен кроме необходимых полевых орудий, разных ремесленных инструментов, одежд получали, к сожалению, порох и крепкие напитки. Новые пришельцы приобрели значительные земли и посвятили себя особой отрасли промышленности – овцеводству. Они облагородили грубую туземную овцу: успех превзошел ожидания, и явилась новая, до тех пор неизвестная статья торговли – шерсть.

Еще до сих пор не определено, до какой степени может усилиться шерстяная промышленность, потому что нельзя еще, по неверному состоянию края, решить, как далеко может быть она распространена внутри колонии. Но, по качествам своим, эта шерсть стоит наравне с австралийскою, а последняя высоко ценится на лондонском рынке и предпочитается ост-индской. Вскоре возник в этом углу колонии город Грем (Grahamstown) и порт Елизабет, через который преимущественно производится торговля шерстью.

У англичан сначала не было положительной войны с кафрами, но между тем происходили беспрестанные стычки. Может быть, англичане успели бы в самом начале прекратить их, если бы они в переговорах имели дело со всеми или по крайней мере со многими главнейшими племенами; но они сделали ошибку, обратясь в сношениях своих к предводителям одного главного племени, Гаики.

Это возбуждало зависть в мелких племенах, которые соединялись между собою и действовали совокупными силами против англичан и вместе против союзного с ними племени Гаики.

Во всяком случае с появлением англичан деятельность загорелась во всех частях колонии, торговая, военная, административная. Вскоре основали на Кошачьей реке (Kat-river) поселение из готтентотов; в самой Кафрарии поселились миссионеры. Последние, однако ж, действовали не совсем добросовестно; они возбуждали и кафров, и готтентотов к восстанию, имея в виду образовать из них один народ и обеспечить над ним свое господство.

Колониальное правительство принуждено было между тем вытеснить некоторые наиболее враждебные племена, сильно тревожившие колонию своими мелкими набегами и грабежом, из занятых ими мест. Всё это повело к первой, вспыхнувшей в 1834 году, серьезной войне с кафрами.

Сверх провинции Альбани, англичане приобрели для колонии два новые округа и назвали их Альберт и Виктория и еще большое и богатое пространство земли между старой колониальной границей и Оранжевой рекой, так что нынешняя граница колонии простирается от устья реки Кейскаммы, по прямой линии к северу, до 30 30' южной широты по Оранжевой реке и, идучи по этой последней, доходит до Атлантического океана.

Вся колония разделена на 20 округов, имеющих свои мелкие подразделения.

Каждый округ вверен чиновнику, заведывающему судебною и финансовою частями.

Для любопытных сообщаются здесь названия всех этих провинций или округов, заимствованные из капских официальных источников. Кап, Мельмсбери (Melmsbery), Стелленбош, Паарль, Устер (Worcester), Свеллендам, Каледон, Кленвильям, Джордж и Бофорт составляют западную часть, а Альбани, порт Бофорт, Грааф-Рейнет, Коммерсет, Кольсберг, Кредок, Уитенхаг (Uitenhage), порт Елизабет, Альберт и, наконец, Виктория – восточную.

С распространением владений колонии англичане постепенно ввели всю систему английского управления. Высшая власть вверена губернатору; но как губернатор в военное время имеет пребывание на границах колонии, то гражданская власть возложена на его помощника или наместника (lieutenant).

Законодательная часть принадлежит так называемому Законодательному совету (Legislative Council), состоящему из пяти официальных и восьми частных членов. Официальные состоят из самого губернатора, потом второго, начальствующего по армии, секретаря колонии, интенданта и казначея.

Остальные выбираются губернатором из лиц колонии. Проект закона вносится дважды в Совет: после первого прочтения он печатается в капштатских ведомостях, после второго принимается или отвергается. В первом случае он представляется на утверждение лондонского министерства. Исполнительною властью заведывает Исполнительный совет (Executive Council). Это род тайного совета губернатора, который, впрочем, сам не только не подчинен ни тому, ни другому советам, но он может даже пустить предложенный им закон в ход, хотя бы Законодательный совет и не одобрил его, и применять до утверждения английского колониального министра.

Наконец, англичане ввели также свою систему податей и налогов. Может быть, некоторые из последних покажутся преждевременными для молодого, только что формирующегося гражданского общества, но они по большей части оправдываются значительностью издержек, которых требовало и требует содержание и управление колонии и особенно частые и трудные войны с кафрами.

Впрочем, в 1837 году некоторые налоги были отменены, например налог с дохода, с слуг, также с некоторых продуктов. Многие ошибочно думают, что вообще колонии, и в том числе капская, доходами своими обогащают британскую казну; напротив, последняя сама должна была тратить огромные суммы.

Единственная привилегия англичан состоит в том, что они установили по 12% таможенной пошлины с иностранных привозных товаров и по 5% с английских. Но как весь привоз товаров в колонию простирался на сумму около 1 1/2 миллиона фунт. ст., и именно: в 1851 году через Капштат, Саймонстоун, порты Елизабет и Восточный Лондон привезено товаров на 1 277 045 фунт. ст., в 1852 г. на 1 675 686 фунт. ст., а вывезено через те же места в 1851 г. на 637 282, в 1852 г. на 651 483 фунт. ст., и таможенный годовой доход составлял в 1849 г. 84 256, в 1850 г. 102 173 и 1851 г. 111 260 фунт. ст., то нельзя и из этого заключить, чтобы англичане чересчур эгоистически заботились о своих выгодах, особенно если принять в соображение, что большая половина товаров привозится не на английских, а на

иностранных судах.

Напротив, судя по расходам, каких требуют разные учреждения, работы и особенно войны с кафрами, надо еще удивляться умеренности налогов. Лучшим доказательством этой умеренности служит то, что колония выдерживает их без всякого отягощения.

Доход колонии незначителен: он не всегда покрывает ее расходы. В 1851 году дохода было 220 884 фунт. ст., а расход составлял 223 115 фунт. ст.

Пошлина, как в Англии, наложена почти на всё. Каждый мужчина и женщина, не моложе 16 лет, кроме коронных чиновников и их слуг, платят по 6 шиллингов в год подати. Таксой обложены также дома, экипажи, лошади, хлеб, вода, рынки, аукционы, вина. Все публичные акты подлежат гербовой пошлине. Даже и тот, кто пожелал бы оставить колонию, платит за это право пошлину. Значительный доход получается от продажи казенных земель, особенно в некоторых новых округах, например Виктории и других. Казенные земли приобретаются частными лицами с платою по два шиллинга за акр, считая в моргене два акра. Если принять в соображение, что из этих доходов платится содержание чиновников, проводятся исполинские дороги через каменистые горы, устраиваются порты, мосты, публичные заведения, церкви, училища и т. п., то окажется, что взимание податей равняется только крайней необходимости. Всё пространство, занимаемое колониею, составляет 118 356 кв. миль, а народонаселение простирается до 142 000 душ мужеского пола, а всего с женщинами 285 279 душ.

Черных несколькими тысячами более против белых.

Таким образом, со времени владычества англичан приобретены три новые провинции, открыто на восточном берегу три порта: Елизабет, Наталь и Восточный Лондон, построено много фортов, служащих защитой и убежищем от набегов кафров. Далее по всем направлениям колонии проложены и пролагаются вновь шоссе, между портами учреждено пароходство; возникло много новых городов, которых имена приобретают в торговом мире более и более известности. Капштатский рынок каждую субботу наводняется привозимыми изнутри, то сухим путем, на быках, то из порта Елизабет и Восточного Лондона, на судах, товарами для вывоза в разные места. Вывозимые произведения: зерновой хлеб и мука, говядина и свинина, рыба, масло, свечи, кожи (конские и бычачьи), шкуры (козьи, овечьи, морских животных), водка, вина, шерсть, воск, сухие плоды, лошади, мулы, рога, слоновая кость, китовый ус, страусовые перья, алоэ, винный камень и другие. Привозимые товары: кофе, сахар, порох, рис, перец, крепкие напитки, чай, табак, дерево, вина, также рыба, мясо, крупитчатая мука, масло. Все привозные товары обложены различною таможенною пошлиною. До 600 кораблей увозят и привозят все эти товары.

Англичане, по примеру других своих колоний, освободили черных от рабства, несмотря на то что это повело за собой вражду голландских фермеров и что земледелие много пострадало тогда, и страдает еще до сих пор, от уменьшения рук. До 30 000 черных невольников обрабатывали землю, но сделать их добровольными земледельцами не удалось: они работают только для удовлетворения крайних своих потребностей и затем уже ничего не делают.

Успеху англичан, или, лучше сказать, успеху цивилизации, противоборствуют до сих пор кроме самой природы два враждебные обстоятельства, первое: скрытая, застарелая ненависть голландцев к англичанам как к победителям, к их учреждениям, успехам, торговле, богатству. Ненависть эта передается от отца к сыну вместе с наследством. И хотя между двумя нациями нет открытой вражды, но нет и единодушия, стало быть, и успеха в той мере, в какой бы можно было ожидать его при совокупных действиях. Второе обстоятельство – войны с кафрами. С одной стороны, эти войны оживляют колонию: присутствие войск и сопряженное с тем увеличение потребления разных предметов до некоторой степени усиливает торговое движение. Живущие далеко от границы фермеры радуются войне, потому что скорее и дороже сбывают свои продукты; но, с другой стороны, военные действия, сосредоточивая всё внимание колониального правительства на защиту границ, парализуют его действия во многих других отношениях. Множество рук и денег

уходит на эти неблагоприятные войны, последствия которых в настоящее время не вознаграждают трудов и усилий ничем, кроме неверных, почти бесплодных побед, доставляющих спокойствие краю только на некоторое время.

Кафры, или амакоза, со времени беспокойств 1819 года, вели себя довольно смирно. Хотя и тут не обходилось без набегов и грабежей, которые вели за собой небольшие военные экспедиции в Кафрарию; но эти грабежи и военные стычки с грабителями имели такой частный характер, что вообще можно назвать весь период, от 1819 до 1830 года, если не мирным, то спокойным.

Предводитель одного из главных племен, Гаика, спился и умер; власть его, по обычаю кафров, переходила к сыну главной из жен его. Но как этот сын, по имени Сандилья, был еще ребенок, то племенем управлял старший сын Гаики, Макомо. Он имел пребывание на берегах Кошачьей реки, главного притока Большой Рыбной реки. Хотя этот участок в 1819 году был уступлен при Гаике колонии, но Макомо жил там беспрепятственно до 1829 года, а в этом году положено было его вытеснить, частью по причине грабежей, производимых его племенем, частью за то, что он, воюя с своими дикими соседями, переступал границы колонии. Может быть, к этому присоединились и другие причины, но дело в том, что племя было вытеснено хотя и без кровопролития, но не без сопротивления. На очистившихся местах поселены были мирные готтентоты, обнаружившие склонность к оседлой жизни. Это обстоятельство подало кафрам первый и главный повод к открытой вражде с европейцами, которая усилилась еще более, когда, вскоре после того, англичане расстреляли одного из значительных вождей, дядю Гаики, по имени Секо, оказавшего сопротивление при отнятии европейцами у его племени украденного скота. Смерть этого вождя привела диких в ярость; но они еще сдерживали ее. Макомо, с братом своим Тиали, перешел на берега Чуми, притока реки Кейскаммы, где племя Гаики жило постоянно, с согласия пограничных начальников. Но тут опять возникли жалобы на грабеж скота. Макомо старался взбунтовать готтентотских поселенцев против европейцев и был, в 1833 году, оттеснен с своим племенем за реку в то время, когда еще хлеб был на корню и племя оставалось без продовольствия.

Английские миссионеры между тем, с своей стороны, как сказано выше, поджигали кафров к разрыву с европейцами, надеясь извлечь из этого свои выгоды. Война была неизбежна и вскоре вспыхнула.

Восстали четыре племени, составлявшие около 34 000 душ одних мужчин.

Европейцы никак не предполагали, чтобы кафры, после испытанных неудач в 1819 г., отважились на открытую войну, поэтому и не приняли никаких мер к отражению нападения, и толпы кафров в декабре 1834 г. ворвались в границы колонии. Войск было так мало на границе, что они не могли противостать диким. Кафры умерщвляли поселенцев, миссионеров, оседлых готтентотов, забирали скот и жгли жилища. Они опустошили всю нынешнюю провинцию Альбани, кроме самого Гремстоуна, часть Винтерберга до моря, всего пространство на 100 миль в длину и около 80 в ширину, избегая, однако же, открытого и общего столкновения с неприятелем. Наконец, узнав, что тогдашний губернатор, сэр Бенджамен д'Урбан, прибыл с значительными силами в Гремстоун, они, в январе 1835 г., удалились в свои места, не забыв унести всё награбленное.

Полковники Смит и Соммерсет (первый был потом губернатором) с февраля начали свои действия. Они должны были отыскивать неприятеля в ущельях и кустарниках, почти недоступных для европейца. Некоторые племена покорились тотчас же, объявив себя подданными английской короны и обещая содействовать к прекращению беспорядков на границе, другие отступали далее. Наконец и те, и другие утомились: европейцы – потерей людей, времени и денег, кафры теряли свои места, их оттесняли от их деревень, которые были выжигаемы, и потому обе стороны, в сентябре 1835 г., вступили в переговоры и заключили мир, вследствие которого кафры должны были возвратить весь угнанный ими скот и уступить белым значительный участок земли.

До 1846 г. колония была покойна, то есть войны не было; но это опять не значило, чтоб не было грабежей. По мере того как кафры забывали о войне, они делались всё смелее; опять

поднялись жалобы с границ. Губернатор созвал главных мирных вождей на совещание о средствах к прекращению зла. Вожди, обнаружив неудовольствие на эти грабежи, объявили, однако же, что они не в состоянии отвратить беспорядков. Тогда в марте 1846 г. открылась опять война.

Губернатором был только что поступивший, вместо сэра Джорджа Нэпира, сэр Перегрин Метлэнд. Кафры во множестве вторглись в колонию, по обыкновению убивая колонистов, грабя имущества и сожигая поселения. Эта война особенно богата кровавыми и трагическими эпизодами. Кафры избегали встречи с белыми в открытом поле и, одержав верх в какой-нибудь стычке, быстро скрывались в хорошо известной им стране, среди неприступных ущелий и скал, или, пропустив войска далее вперед, они распространяли ужасы опустошения позади в пределах колонии. Войск было мало; поселенцев приглашали к поголовному ополчению, но без успеха. Кафры являлись в числе многих тысяч, отрезывали подвоз провизии, и войска часто доходили до совершенного истощения сил. Иногда за стакан свежей воды платили по шиллингу, за сухарь – по шести пенсов, и то не всегда находили и то и другое. Негры племени финго, помогавшие англичанам, принуждены были есть свои щиты из буйволовой кожи, а готтентоты по нескольку дней довольствовались тем, что крепко перетягивали себе живот и этим заглушали голод. Ужас был всеобщий, так что в мае 1846 г. по всей колонии служили молебны, прося Бога о помощи. Церкви были битком набиты; множество траурных платьев красноречиво свидетельствовали о том, в каком положении были дела. Метлэнда укоряли в недостатке твердости, искусства и в нераспорядительности.

В 1847 году вместо него назначен сэр Генри Поттинджер, а главнокомандующим армии на границе – сэр Джордж Берклей. Давно ощущалась потребность в разъединении гражданской и военной частей, и эта мера вскоре оказала благотворные действия. Вообще в этой последней войне англичане воспользовались опытами прежней и приняли несколько благоразумных мер к обеспечению своей безопасности и доставки продовольствия. Провиант и прочее доставлялось до сих пор на место военных действий сухим путем, и плата за один только провоз составляла около 170 000 фунт. ст. в год, между тем как все припасы могли быть доставляемы морем до самого устья Буйволовой реки, что наконец и приведено в исполнение, и Берклей у этого устья расположил свою главную квартиру.

Потом запрещен был всякий торг с кафрами как преступление, равное государственной измене, потому что кафры в этом торге – факт, которому с трудом верится, – приобретали от англичан же оружие и порох.

Когда некоторые вожди являлись с покорностью, от них требовали выдачи оружия и скота, но они приносили несколько ружей и приводили вместо тысяч десятки голов скота, и когда их прогоняли, они поневоле возвращались к оружию и с новой яростью нападали на колонию. Так точно поступил Сандилья, которому губернатор обещал прощение, если он исполнит требуемые условия; но он не исполнил и, продолжая тревожить набегами колонию, наконец удалился в неприступные места. Голод принудил его, однако ж, сдаться: он, с некоторыми советниками и вождями, был отправлен в Гремстоун и брошен в тюрьму. Другие вожди удалились с племенами своими в горы, но полковник Соммерсет неумоимо преследовал их и принудил к сдаче.

Между тем губернатор Поттинджер был отозван в Мадрас и место его заступил отличившийся в войне 1834 и 1835 гг. генерал-майор сэр Герри Смит, приобретший любовь и уважение во всей колонии. Он, по прибытии, созвал пленных кафрских вождей, обошелся с ними презрительно и сурово; одному из них, именно Макомо, велел стать на колени и объявил, что отныне он, Герри Смит, главный и единственный начальник кафров. После чего, положив ногу на голову Макомо, прибавил, что так будет поступать со всеми врагами английской королевы. Вскоре он издал прокламацию, объявляя, что всё пространство земли от реки Кейскаммы до реки Кей он, именем королевы, присоединил к английским владениям под названием Британской Кафрарии. И тут же, назначив подполковника Мекиннока начальником этой области, объявил условия, на основании которых кафрские вожди

Британской Кафрарии должны вперед управлять своими племенами под влиянием английского владычества.

Когда все вожди и народ, обнаружив совершенную покорность и раскаяние, дали торжественные клятвы свято блюсти обязательства, Герри Смит заключил с ними, в декабре 1847 г., мир. От сурового и презрительного обращения он перешел к кроткому и дружественному. Он уговаривал их сблизиться с европейцами, слушать учение миссионеров, учиться по-английски, заниматься ремеслами, торговать честно, привыкать к употреблению монеты, доказывая им, что всё это, и одно только это, то есть цивилизация, делает белых счастливыми, добрыми, богатыми и сильными.

Энергические и умные меры Смита водворили в колонии мир и оказали благотворное влияние на самих кафров. Они, казалось, убедились в физическом и нравственном превосходстве белых и в невозможности противиться им, смирились и отдались под их опеку. Советы, или, лучше сказать, приказания, Смита исполнялись – но долго ли, вот вопрос! Была ли эта война последнею? К сожалению, нет. Это была только вторая по счету: в 1851 году открылась третья. И кто знает, где остановится эта нумерация?

После этого краткого очерка двух войн нужно ли говорить о третьей, которая кончилась в эпоху прибытия на мыс фрегата "Паллада", то есть в начале 1853 года?

Началась она, как все эти войны, нарушением со стороны кафров обязательств мира и кражею скота. Было несколько случаев, в которых они отказались выдать украденный скот и усиливали дерзкие вылазки на границах.

Вскоре в колонии убедились в необходимости новой войны. Но прежде, нежели англичане подумали о приготовлении к ней, кафры поставили всю Британскую Кафрарию на военную ногу. У них оказалось множество прежнего, не выданного ими, по условию мира 1835 г., оружия, и кроме того, несмотря на строгое запрещение доставки им пороха и оружия, привезено было тайно много и того и другого через Альгоабей. Губернатор стал принимать сильные меры, но не хотел, однако ж, первый начинать неприязненных действий. Он собрал все дружественные племена, уговаривая их поддержать сторону своей государыни, что они и обещали. К сожалению, он чересчур много надеялся на верность черных: и дружественные племена, и учрежденная им полиция из кафров, и, наконец, мирные готтентоты – всё это обманывало его, выведывало о числе английских войск и передавало своим одноплеменникам, а те делали засады в таких местах, где английские отряды погибали без всякой пользы.

В декабре 1850 г., за день до праздника Рождества Христова, кафры первые начали войну, заманив англичан в засаду, и после стычки, по обыкновению, ушли в горы. Тогда началась не война, а наказание кафров, которых губернатор объявил уже не врагами Англии, а бунтовщиками, так как они были великобританские подданные.

Поселенцы, по обыкновению, покинули свои места, угнали скот, и кто мог, бежал дальше от границ Кафрарии. Вся пограничная черта представляла одну картину общего движения. Некоторые из фермеров собирались толпами и укреплялись лагерем в поле или избирали убежищем укрепленную ферму.

Бесполезно утомлять ваше внимание рассказом мелких и незанимательных эпизодов этой войны: они чересчур однообразны. Кафры, после нападения на какой-нибудь форт или отряд, одерживали временно верх и потом исчезали в неприступных убежищах. Но английские войска неумоимо преследовали их и принуждали сдаваться или оружием, или голодом. Всё это длилось до тех пор, пока у мятежников не истощились военные и съестные припасы. Тогда они явились с повинной головой, согласились на предложенные им условия, и всё вошло в прежний порядок.

Кеткорт, заступивший в марте 1852 года Герри Смита, издал, наконец, 2 марта 1853 года в Вильямстоуне, на границе колонии, прокламацию, в которой объявляет, именем своей королевы, мир и прощение Сандильи и народу Гаики, с тем чтобы кафры жили, под ответственностью главного вождя своего, Сандильи, в Британской Кафрарии, но только далее от колониальной границы, на указанных местах. Он должен представить оружие и

отвечать за мир и безопасность в его владениях, за доброе поведение гаикского племени и за исполнение взятых им на себя обязательств, также повелений королевы.

Это прощение не простирается, однако ж, за пределы Британской Кафрарии, и всякий, преступивший извне границу колонии, будет предан суду.

Готтентотам тоже не позволено, без особого разрешения губернатора, селиться в Британской Кафрарии.

Выше сказано было, что колония теперь переживает один из самых знаменательных моментов своей истории: действительно оно так. До сих пор колония была не что иное, как английская провинция, живущая по законам, начертанным ей метрополией, сообразно духу последней, а не действительным потребностям страны. Не раз заочные распоряжения лондонского колониального министра противоречили нуждам края и вели за собою местные неудобства и затруднения в делах.

Англичане одни заведовали управлением колонии. Англия назначала губернатора и членов Законодательного совета, так что закон, как объяснено выше, не иначе получал силу, как по утверждении его в Англии. Англичанам было хорошо: они были здесь как у себя дома, но голландцы, и без того недовольные английским владычеством, роптали, требуя для колонии законодательной власти независимо от Англии. Наконец этот ропот подействовал. Англия предоставляет теперь право избрания членов Законодательного совета самой колонии, которая, таким образом, получит самостоятельность в своих действиях, и дальнейшее ее существование может с этой минуты упрочиваться на началах, истекающих из собственных ее нужд. Но вместе с тем на колонию возлагаются и все расходы по управлению, а также предоставляется ей самой распоряжаться военными действиями с дикими племенами.

Событие весьма важное, которое обеспечивает колонии почти независимость и могущественное покровительство Британии. Это событие еще не состоялось вполне; проект представлен в парламент и, конечно, будет утвержден,² ибо, вероятно, все приготовления к этому делались с одобрения английского правительства.

Мы остановились на полчаса в небольшой гостинице, окруженной палисадником. Гостиницу называют по-английски "Mitchel", а по-голландски "Clauis-river", по имени речки. Первый встретил нас у дверей баран, который метил во всякого из нас рогами, когда мы проходили мимо его, за ним в дверях показался хозяин, голландец, невысокого роста, с беспечным лицом. "Да зачем же тут останавливаться?" – заметил Посъет, страстный охотник ехать вперед.

"Немного отдохнуть и вам, и лошадям", – приятно улыбаясь, отвечал Вандик, отложивший уже лошадей. "Да нам не нужно, мы не устали". Тут я разглядел другого кучера: этот был небольшого роста, с насмешливым и решительным выражением в лице. Я ехал с бароном Крюднером и Зеленым, в другом "карте" сидели Посъет, Вейрих и Гошкевич. Гляжу и не могу разглядеть, кто еще сидит с ними: обезьяна не обезьяна, но такое же маленькое существо, с таким же маленьким, смуглым лицом, как у обезьяны, одетое в большое пальто и широкую шляпу. Это готтентот, мальчишка, которого зачем-то взял с собой Вандик.

Мы не успели еще расправить хорошенько ног, барон вошел уже в комнату и что-то заказывал хозяину и мальчишке-негру. Мы занялись рассматриванием комнаты: в ней неизбежные – резной шкаф с посудой, другой с чучелами птиц; вместо ковра шкуры пантер, потом старинные массивные столы, массивные стулья. Всё смотрело так мрачно; позолоченные рамки на зеркалах почернели; везде копоть. На картинах охота: слон давит ногой тигра, собаки преследуют барса. Темная, закоптелая комнатка, убранная по-голландски, смотрит, однако ж, на путешественника радушно, как небритый и немывтый человек смотрит исподлобья, но ласковым взглядом. Так и в этой, и подобных ей комнатах

всё приветливо и уютно. Тут и чашки на виду, пахнет корицей, кофе и другими пряностями – словом, хозяйством; камин должен быть очень тепел. Не похоже на трактир, а скорее на укромный домик какой-нибудь бедной тетки, которую вы решились посетить в глуши. Правда, кресло жестковато, да нескоро его и сдвинешь с места; лак и позолота почти совсем сошли; вместо занавесок висят лохмотья, и сам хозяин смотрит так жалко, бедно, но это честная и притом гостеприимная бедность, которая вас всегда накормит, хотя и жесткой ветчиной, еще более жесткой солониной, но она отдаст последнее. Глядя на то, как патриархально подают там обед и завтрак, не верится, чтобы за это взяли деньги: и берут их будто нехотя, по необходимости. Только что мы осмотрели все углы, чучел птиц и зверей, картинки, как хозяин пригласил нас в другую комнату, где уже стояли ветчина с яичницей и кофе. "Уже? опять? – сказал Вейрих, умеренный и скромный наш спутник, немец, – мы завтракали в Капштате". Однако сел и позавтракал с нами.

Часов в пять пустились дальше. Дорога некоторое время шла всё по той же болотистой долине. Мы хотя и оставили назади, но не потеряли из виду Столовую и Чертову горы. Вправо тянулись пики, идущие от Констанской горы.

Вскоре, однако ж, болота и пески заменились зелеными холмами, почва стала разнообразнее, дальние горы выказывались грознее и яснее; над ними лежали синие тучи и бегала молния: дождь лил довольно сильный. П. А. Зеленый пел во всю дорогу или живую плясовую песню, или похоронный марш на известные слова Козлова: "Не бил барабан перед смутным полком" и т. д. Мы с бароном курили или глубокомысленно молчали, изредка обращаясь с вопросом к Вандику о какой-нибудь горе или дальней ферме. Он был африканец, то есть родился в Африке от голландских родителей, говорил по-голландски и по-английски и не затруднялся ответом. Он знал всё в колонии: горы, леса, даже кусты, каждую ферму, фермера, их слуг, собак, но всего более лошадей. Покупать их, продавать, менять составляло его страсть и профессию. Это мы скоро узнали.

Он раскланивался со всяким встречным, и с малайцем, и с готтентотом, и с англичанином; одному кивал, перед другим почтительно снимал шляпу, третьему просто дружески улыбался, а иному что-нибудь кричал, с бранью, грозно.

Дорога шла прекрасная. От Капштата горы некоторое время далеко идут по обеим сторонам, а милях в семидесяти стесняются в длинное ущелье, через которое предстояло нам ехать. Стало темнеть. Вандик придерживал лошадей.

"Аппл!" – кричал он по временам. Мы не могли добиться, что это значит: собственное ли имя, или так только, окрик на лошадей, даже в каких случаях употреблял он его; он кричал, когда лошадь пятилась, или слишком рвалась вперед, или оступалась. Когда мы спрашивали об этом Вандика, он только улыбался.

Было часов восемь вечера, когда он вдруг круто поворотил с дороги и подъехал к одинокому, длинному, одноэтажному каменному зданию с широким, во весь дом, крыльцом. "Что это значит? как? куда?" – "Ужин и ночлег! – кротко, но твердо заметил Вандик. – Лошади устали: мы сегодня двадцать миль сделали". Эта гостиница называется "Фокс анд гоундс" ("Fox and hounds"), то есть "Лисица и собаки". "Да что же это? – протестовал, по обыкновению, пылкий Посьет, – это невозможно: поедemте дальше". – "Куда? ведь темно и дождь идет", – возражали ему любители кейфа. "Нужды нет, мы все-таки поедem". – "Зачем? ведь вы едете видеть что-нибудь, путешествуете, так сказать... Что же вы увидите ночью?" Но партия, помещавшаяся в другом карте и называемая нами "ученою", всё возражала. Возникли несогласия.

"Артистическая партия", то есть мы трое, вошли на крыльцо, а та упрямо сидела в экипаже. Между тем Вандик и товарищ его молча отпрягли лошадей, и спор кончился.

Барон ушел в комнаты, ученая партия нехотя, лениво вылезла из повозки, а я пошел бродить около дома. Я спросил, как называется это место.

"Ферст-ривер по-английски или Эршт-ривер (первая река) по-голландски", – отвечал Вандик. Если считать от Капштата, то она действительно первая; но как река вообще она, конечно, последняя. Даже можно сомневаться, река ли это. "Где же тут река?" – спросил я

Вандика. "А вот, – отвечал он, указывая на то место, где я стоял, – вы теперь стоите в реке: это всё река". И он указал на далекое пространство вокруг. "Тут песок да камни", – сказал я.

"Теперь нет реки, – продолжал он, – или вон, пожалуй, она в той канаве, а зимой это всё на несколько миль покрывается водой. Все реки здесь такие".

Я вошел в дом. Что это, гостиница? не совсем похоже. Первая комната имеет вид столовой какого-нибудь частного дома. Полы лакированы, стены оклеены бумажками, посередине круглый стол, по стенам два очень недурные дивана нового фасона. Тут лежали в куче на полу и на диванах наши вещи, а хозяев не было. Но я услышал голоса и через коридор прошел в боковую комнату. Это была большая, очень красиво убранная комната, с длинным столом, еще менее похожая на трактир. На столе лежала Библия и другие книги, рукоделья, тетради и т. п., у стены стояло фортепиано. Нетрудно было догадаться, что хозяева были англичане: мебель новая, всё свежо и везде признаки комфорта. Никто не показывался, кроме молодого коренастого негра.

Что у него ни спрашивали или что ни приказывали ему, он прежде всего отвечал смехом и обнаруживал ряд чистейших зубов. Этот смех в привычке негров. "Что ж, будем ужинать, что ли?" – заметил кто-то. "Да я уж заказал", – отвечал барон. "Уже? – заметил Вейрих. – Что ж вы заказали?" – "Так, немного, безделицу: баранины, ветчины, курицу, чай, масла, хлеб и сыр".

После ужина нас повели в другие комнаты, без лакированных полов, без обоев, но зато с громадными, как катафалки, постелями. В комнатах пахло сыростью: видно, в них не часто бывали путешественники. По стенам даже ползали не знакомые нам насекомые, не родные клопы и тараканы, а какие-то длинные жуки со множеством ног. Зеленый, спавший в одной комнате со мной, не успел улечься и уснул быстро, как будто утонул. Я остался один бодрствующий, но ненадолго. Утром рано, мы не успели еще доспать, а неугомонный Посьет, взявший на себя роль нашего ментора, ходил по нумерам и торопил вставать и ехать дальше.

По холмам, по прекрасной дороге, в прекрасную погоду мы весело ехали дальше. Всё было свежо кругом после вчерашнего дождя. Песок не поднимался пылью, а лежал смирно, в виде глины. Горы не смотрели так угрюмо и неприязненно, как накануне; они старались выказать, что было у них получше, хотя хорошего, правду сказать, было мало, как солнце ни золотило их своими лучами. Немногие из них могли похвастать зеленою верхушкой или скатом, а у большей части были одинакие выветрившиеся, серые бока, которые разнообразились у одной – рытвиной, у другой – горбом, у третьей – отвесным обрывом. Хотя я и знал по описаниям, что Африка, не исключая и южной оконечности, изобилует песками и горами, но воображение рисовало мне темные дебри, приюты львов, тигров, змей. Напрасно, однако ж, я глазами искал этих лесов: они растут по морским берегам, а внутри, начиная от самого мыса и до границ колонии, то есть верст на тысячу, почва покрыта мелкими кустами на песчаной почве да искусственно возделанными садами около ферм, а за границами, кроме редких оазисов, и этого нет. Но в это утро, в половине марта, кусты протеа глядели веселее, зелень казалась зеленее, так что немецкий спутник наш заметил, что тут должно быть много "скотства". В самом деле, скотоводство процветало здесь, как, впрочем, и во всей колонии. Лошади бежали бодрее, даже Вандик сидел ясен и свеж, как майский цветок, сказал бы я в северном полушарии, а по-здешнему надо сказать – сентябрьский.

Не сживаюсь я с этими противоположностями: всё мне кажется, что теперь весна, а здесь готовятся к зиме, то есть к дождям и ветрам, говорят, что фрукты отошли, кроме винограда, все. Развернул я в книжной лавке, в Капштате, изданный там кипсек – стихи и проза. Развертываю местами и читаю:

"Прошли и для нее, этой гордой красавицы, дни любви и неги, миновал цветущий сентябрь и жаркий декабрь ее жизни; наступали грозные и суровые июльские непогоды" и т. д. А в стихах: "Гнетет ли меня палящее северное солнце, или леденит мою кровь холодное, суровое дуновение южного ветра, я терпеливо вынесу всё, но не вынесу ни палящей ласки, ни холодного взора моей милой".

Далее в одном описании какого-то разорившегося богача сказано: "Теперь он беден: жилищем ему служил маленький павильон, огражденный только колючими кустами кактуса и алоэ да осененный насажденными когда-то им самим миндальными, абрикосовыми и апельсинными деревьями и густою чащею виноградных лоз. Пищей ему служили виноград, миндаль, гранаты и апельсины с этих же дерев или молоко единственной его коровы. Думал ли он, насаждая эти деревья для забавы, что плодами их он будет утолять мучительный голод?"

Служил ему один старый и преданный негр..." Вот она какова, африканская бедность: всякий день свежее молоко, к десерту *quatre mendiants* прямо с дерева, в услужении негр... Чего бы стоила такая бедность в Петербурге?

Если природа не очень разнообразила путь наш, то живая и пестрая толпа прохожих и проезжих всех племен, цветов и состояний дополняла картину, в которой без этого оставалось много пустого места. Бесконечные обозы тянулись к Капштату или оттуда, с людьми и товарами. Длинные фуры и еще более длинные цуги быков, запряженных попарно, от шести до двенадцати в каждую фуру, тянулись непрерывною процессией по дороге. Волы эти, кроме длинного бича, ничем не управляются. Готтентот-кучер сидит обыкновенно на козлах, и если надо ему взять направо, он хлопает бичом с левой стороны, и наоборот. Иногда волы еле-еле передвигают ноги, а в другой раз, образуя цугом своим кривую линию, бегут крупной рысью. При встрече с экипажами волы неохотно и довольно медленно дают дорогу; в таком случае из фуры выскакивает обыкновенно мальчик-готтентот, которых во всякой фуре бывает всегда по несколько, и тащит весь цуг в сторону. Нам попадалось особенно много пестро и нарядно одетого народа, мужчин и женщин, пеших, верхами и в фурах, всё малайцев.

Головы у всех были обвязаны бумажными платками, больше красными, клетчатыми.

Мы и накануне видели их много, особенно в фурах. Такая фура очень живописна: представьте себе длинную телегу сажени в три, с круглым сводом из парусины, набитую до того этим магометанским народом, что некоторые мужчины и дети, не помещаясь под холстиной, едва втиснуты туда, в кучу публики, и торчат, как сверхкомплектные поленья в возах с дровами. Пары три волов медленно и важно выступают с этим зверинцем. По вечерам обозы располагались на бивуаках; отпряженные волы паслись в кустах, пламя трескучего костра далеко распространяло зарево и дым, путешественники группой сидели у дымящегося котла. Вандик объяснил нам, что малайцы эти возвращаются из местечка Крамати, милях в двадцати пяти от Капштата, куда собираются в один из этих дней на поклонение похороненному там какому-то своему пророку. Все эти караваны богомольцев напоминали немного таборы наших цыган, с тою только разницей, что кроме малайцев попадались готтентоты и негры. Первые везли или несли тяжести, шли на работу в поденщики или с работы. Между неграми мы встречали многих с котомками на палках, но одетых хорошо. "А это что?" – спросил я у Вандика. "Это *black people*, черные, с войны идут домой". Война с кафрами только что кончилась; некоторые из негритянских племен участвовали в ней по приглашению английского правительства.

Много проезжало omnibusов, городских карет, фермеров верхами, ехавших или в город, или оттуда. Было довольно весело, так что П. А. Зеленый ни разу не затягивал похоронного марша, а пел всё про любовь. Мы переговаривались с ученой партией, указывая друг другу то на красивый пейзаж фермы, то на гору или на выползшую на дорогу ящерицу; спрашивали название трав, деревьев и в свою очередь рассказывали про птиц, которых видели по дороге, восхищались их разнообразием и красотой. Ученые с улыбкой посматривали на нас и друг на друга, наконец объяснили нам, что они не видали ни одной птицы и что, конечно, мы так себе думаем, что если уж заехали в Африку, так надо и птиц видеть. Между тем птицы поминутно встречались, и мы удивлялись, как это они не видали ни одной. А дело было просто: мы ехали впереди, а они сзади; птицы улетали, как только приближался наш карт, так что второй не заставал их на месте.

Часов в десять утра мы приехали в местечко *Соммерсет*, длинным рядом

построившееся у самой дороги, у подошвы горы. Всё было зелено здесь: одноэтажные каменные голландские домики, с черепичными кровлями, едва были видны из-за дубов и сосен; около каждого был палисадник с олеандровыми и розовыми кустами, с толпой георгинов и других цветов. Гора вдали, как декорация, зеленела сверху до подошвы. Весь этот пейзаж – как будто не африканский: слишком свеж, зелен, тенист и разнообразен для Африки. Мы пошли по местечку к горе. Едва сделали шагов сто, как спутник наш Вейрих идет с кем-то под руку и живо разговаривает. Это был немец, миссионер. Он советовал нам ехать по другой дороге, где в одном месте растет несколько камфарных деревьев, довольно редких здесь. Мы воротились к станции, к такому же, как и прочие, низенькому дому с цветником.

Собираемся, ищем барона – нет; заглянули в одну комнату направо, род гостиной: там две какие-то путешественницы, а в столовой барон уже завтракает. Он бы не прочь и продолжать, но ученая партия на этот раз пересилила, и мы отправились проселком, по незавидной, изрытой вчерашним дождем дороге. Вскоре мы выбрались, однако ж, опять на шоссе и ехали по долине мимо множества ферм. Сады их окаймляли дорогу тенистыми дубами, кустами алоэ, но всего более айвой, которая росла непроходимыми кустами, с желтыми фруктами. Вы знаете айву? Это что-то вроде крепкого, кисловатого яблока, с терпкостью, от которой вяжет во рту; его есть нельзя; из него делают варенье и т. п. Но Зеленый выскочил из карты, набрал целую шляпу и ел. Вандик нарвал и дал лошадям: те тоже ели – больше никто. На вопрос мой:

"Хорошо ли?" – Зеленый ничего не сказал. Он еще принадлежит к счастливому возрасту перехода от юношества к возмужалости, оттого в нем наполовину того и другого. Кое-что в нем окрепло и выработалось: он любит и отлично знает свое дело, серьезно понимает и исполняет обязанности, строг к самому себе и в приличиях – это возмужалость. Но беспечен насчет всего, что лежит вне его прямых занятий; читает, гуляет, спит, ест с одинаковым расположением, не отдавая ничему особого преимущества, – это остатки юношества. Возьмет книгу, всё равно какую, и оставит ее без сожаления; ляжет и уснет где ни попало и когда угодно; ест всё без разбора, особенно фрукты. После ананаса и винограда он съест, пожалуй, репу, виноград ест с шелухой, "чтоб больше казалось". Он очень мил; у него много природного юмора, и он мастерски владеет шуткой. Существо вечно поющее, хохочущее и рассказывающее, никогда никого не оскорбляющее и никем не оскорбляемое. Мы все очень любим его. Ему также всё равно, где ни быть: придут ли в прекрасный порт или станут на якорь у бесплодной скалы; гуляет ли он на берегу или смотрит на корабли за работами – он или делает дело, тогда молчит и делает комическое лицо, или поет и хохочет. Он сию минуту уживается в быту, в который поставлен.

Благодаря ему мы ни минуты не соскучились в поездке по колонии: это был драгоценный спутник.

День чудесный. Стало жарко. Лошади ленивой рысью тащились по песку; колеса визжали, жар морил; мы с бароном Крюднером молчали. Вандик от нечего делать хлестал бичом по выползавшим на дорогу ящерицам. Зеленый сначала бил весело ногами о свою скамью: не в его натуре было долго и смирно сидеть на одном месте. Он пел долго: "Сени новые, кленовые", а потом мало-помалу прималчивал, задирая то меня, то барона шуткой. Но нас морили жар и тяжесть, и он, наскучив молчанием, сморщился и затыкнул: "Не бил барабан перед смутным полком". Мы молча слушали, отмахиваясь от мух, оводов и глядя по сторонам на большие горы, которые толпой как будто шли нам навстречу. Вдруг с левой стороны, из чащи кустов, шагах в ста от нас впереди, выскочило какое-то красивое, белое с черными пятнами, животное; оно одним махом перебросилось через дорогу и стало неподвижно. "Roe-buk! roe-buk!" – сказал Вандик, указывая кнутом. Налево, откуда выскочил козел, кусты тихо шевелились; там притаилось маленькое стадо диких коз, которые не смели следовать за козлом.

И козел, и козы, заметив нас, оставались в нерешимости. Козел стоял как окаменелый, вполуборот; закинув немного рога на спину и наострив уши, глядел на нас. "Как бы

поближе подъехать и не испугать их?" – сказали мы.

"Надо вдруг всем закричать что есть мочи, – научил Вандик, – и они на несколько времени оцепенеют на месте". Зачем это он сказал! Боже мой, как мы заорали! Особенно Зеленый не пожалел легких, и Вандик тоже. Но не успел затихнуть наш крик, как козел скакнул в кусты и вместе с козами бросился назад. Мы все вопросительно поглядели на Вандика. "Что ж ты, земляк, худо знаешь натуральную историю?" – заметил Зеленый. "Аппл!" – крикнул Вандик на лошадь, и мы поехали дальше. Но долго еще видели, как мчались козы в кустах, шевеля ветвями, и потом бросились бежать в гору, а мы спустились с горы.

Местность значительно начала изменяться: горы всё ближе к нам; мы ехали по их отлогостям, то взбираясь вверх, то опускаясь.

К обеду мы подъехали к прекрасной речке, обставленной такими пейзажами, что даже сам приличный и спокойный Вандик с улыбкой указал нам на один живописный овраг, осененный деревьями. "Very nice place!" ("Прекрасное место!") – заметил он. Мы переехали речку через длинный каменный мост, с одной аркой, еще не совсем конченный. "Кто строит этот мост?" – спросил я.

"Стелленбошский каретник", – отвечал он. "Как так: где же он учился?" – "А нигде; он даже никуда не выезжал отсюда". Прямо с моста мы въехали как будто в сад. Нас с экипажами совсем поглотила зелень, тень и свежесть. Всё сады, сады, так что домов не видно: это местечко Стелленбош. Широкие-преширокие улицы пересекались под прямыми углами. Красивее и больше дубов я нигде не видал: под ними прятались низенькие одноэтажные дома голландской постройки.

Улицы так длинны, что конца нет: версты две и более.

Мы долго мчались по этим аллеям и наконец в самой длинной и, по-видимому, главной улице остановились перед крыльцом. Белых жителей не видно по улицам ни души: еще было рано и жарко, только черные бродили кое-где или проезжали верхом да работали. Мы вошли в пустые, прохладные комнаты, убранные просто, почти бедно. Мы отворили дверь из залы и остановились на пороге перед оригинальной картиной фламандской школы.

Комната была высокая, с деревянным полом, заставлена ветхими деревянными, совершенно почерневшими от времени шкафами и разной домашней утварью. У стены стоял диван, отчасти с провалившимся сиденьем; перед ним круглый стол, покрытый грубой скатертью; кругом стен простые скамьи и табуреты. На одной скамье сидела очень старая старуха, в голландском чепце, без оборки, и макала сальные свечи; другая, пожилая женщина, сидела за прялкой; третья, молодая девушка, с буклями, совершенно белокурая и совершенно белая, цвета топленого молока, с белыми бровями и светло-голубыми, с белизной, глазами, суежилась по хозяйству. Служанкой была плотная и высокая мулатка. Сросшиеся брови и маленький лоб не мешали ей кокетливо играть своими черными как деготь глазами. Всё остановилось, как мы вошли. Все встали с мест. Хозяйки приветливой улыбкой отвечали на наши поклоны и принялись суежиться, убирать свечи, прялку, всю утварь, очищая нам место сесть. "Что у вас есть к обеду?" – спросил барон. "Мы изготовим", – отвечали они. "Есть говядина, баранина?" – "Говядины нет, а есть курица и свинина". – "А зелень есть?" – "И зелень есть". – "А фрукты, – спросил Зеленый, – виноград, например, апельсины, бананы?" – "Апельсинов и бананов нет, а есть арбузы и фиги". – "Хорошо, хорошо. Давайте арбузов и фиг, и еще нет ли чего?" Поднялась возня: мы поставили вверх дном это мирное хозяйство. Дверцы шкапов пошли хлопать, миски, тарелки звенеть; на кухне затрещал огонь; женщины забегали взад и вперед. Я вышел на двор, на широкое крыльцо, густо осененное, как везде здесь, виноградными лозами. Кисти крупного, желтого винограда соблазнительно висели по трельяжу. Негр с лесенкой переходил от одной кисти к другой и резал лучшие нам к обеду. Черная, как поношенный атлас, старуха-негритьянка, с платком на голове, чистила ножи. Увидев меня, она высунула мне язык. За мной показался Зеленый: и ему тоже. Ему ужасно понравилось это, и он пригласил меня смотреть, как она будет приветствовать других наших товарищей, которые шли за нами. Хозяйка, заметив, как

встречает нас арабка, показала на нее, потом на свою голову и поводила пальцем по воздуху взад и вперед, давая знать, что та не в своем уме. Маленький двор был дополнением этого хозяйства. Туда уже успел забраться Вандик с обоими экипажами. Он, с помощью мальчишки и другого кучера, отпряг лошадей и привязал их в тени по разным углам. Хозяйство было небольшое, но полное у этой африканской Коробочки. Свиньи и домашние птицы ходили по двору, а рядом зеленел сад. Яркая зелень банана резко оттенялась на фоне темно-зеленых фиговых и грушевых деревьев. Из-за забора глядели красные цветы шиповника.

Мы с бароном пошли гулять на улицу. Везде зелено; всё сады да аллеи. Мы дошли до конца улицы и уперлись в довольно большую протестантскую церковь с оградой. Направо стоял большой дом, казенный: дом здешнего правления; перед ним дубы достигли необыкновенного роста и объема. Вероятно, эти деревья ровесники местечку, а оно старше почти всех других в колонии: оно основано двести лет назад и названо в честь тогдашнего губернатора, по имени Стеллен, и жены его, урожденной Бош. Любуясь зеленью садов, мы повернули налево, в узенькую улицу, и вышли за город. С одной стороны перед нами возвышалась гора, местами голая, местами с зеленью; кругом была долина, одна из самых обработанных; вдали фермы. Мы воротились в город и пошли по узенькому ручью, в котором черные бабы полоскали белье. По ручью стояли мазанки готтентотов и негров; кое-где мелочные лавочки. Улицы всё – шоссе. У одного дома европейской наружности, по-видимому почтового, стояло несколько карет, колясок и карт; около них толпились путешественники обоих полов – всё англичане.

Мы застали уже накрытый стол, и хозяйки, стоя вокруг, приглашали нас сесть; мы не заставили долго просить себя. Они ласково смотрели на нас и походили, в своих, старинного покроя, платьях, с бледными лицами и грустными взглядами, на полинявшие портреты добрых предков. Чего только не было наставлено на столе: это лавочка съестных припасов. Миски и тарелки разнокалиберные; у графинов разные пробки, а у судков и вовсе нет; перечница с отбитой головкой – бедность и радушие. Как много барон съел мяса и живности, Зеленый фруктов, я всего – и говорить нечего. Арбузы, продолговатые, формой похожие на дыни, были и красны, и сладки, так что мы заказали себе их на дорогу.

Стелленбош славится в колонии своею зеленью, фруктами и здоровым воздухом. От этого сюда стекаются инвалиды и иностранцы, нанимают дома и наслаждаются тенью и прогулками. В неделю два раза ходят сюда из Капштата омнибусы; езды всего по прямой дороге часов пять. Окрестности живописны: всё холмы и долины. Почва состоит из глины, наносного ила, железняка и гранита.

В самом Стелленбоше считается около четырех, а в округе около пяти тысяч жителей. Местечко замечательно еще школой, одной из лучших в колонии. Оттуда вышло несколько хороших учителей для других мест. Преподають всё, что входит в круг классического воспитания. Кто знает, какой дуб учености вырастет со временем в этой старинной, но еще молодой и формирующейся на новый лад колонии? Может быть, стелленбошская коллегия будет со временем африканским Геттингеном или Оксфордом. "Молодая колония", – я сказал: да, потому что лет каких-нибудь тридцать назад здесь ни о дорогах, ни о страховых компаниях, ни об улучшении быта черных не думали. И нынче еще упорный в ненависти к англичанам голландский фермер, опустив поля шляпы на глаза, в серой куртке, трясется верст сорок на кляче верхом, вместо того чтоб сесть в омнибус, который, за три шиллинга, часа в четыре, привезет его на место. А фермеры эти не бедны: у некоторых хозяев от семи до восьми тысяч руб. сер. годового дохода. В стелленбошском округе главное произведение все-таки вино, потом пшеница, дуб, картофель и т. п. предметы.

Часов в пять, когда жара спала, всё оживилось: жалюзи открылись; на крыльцах появилось много добрых голландских фигур, мужских и женских. Я встретил нашего доктора и с ним двух если не немцев, то из немцев. Два датчанина, братья, доктор и аптекарь, завели его к себе в дом, показывали сад. Я познакомился с ними, мы пошли за город, к мосту, через мост по полю, и уже темным вечером, почти ошупью, воротились в

город. Датчане завели нас к себе и непременно хотели угостить главным капским производением, вином. Это был для меня трудный подвиг: пить, да еще после обеда! А они подали три-четыре бутылки и четыре стакана: "Вот это фронтиньяк, это ривезальт", – говорили они, наливая то того, то другого вина, и я нашел в одном сходство с chambertin: вино было точно из бургундских лоз. Хозяева сказали, что пришлют нам несколько бутылок вина в Капштат, в нашу гостиницу. Они проводили нас до нашей квартиры.

Тишина и теплота ночи были невыразимо приятны: ни ветерка, ни облачка; звезды так и глазели с неба, сильно мигая; на балконах везде люди и говор.

Из нашей гостиницы неслись веселые голоса; из окон лился свет. Все были дома, сидели около круглого стола и пили микстуру с песком, то есть чай с сахаром. Это пародия на то, что мы пьем у себя под именем чая. За столом было новое лицо: пожилой, полный человек с румяным, добрым, смеющимся лицом.

"Господин Ферстфельд, местный доктор", – сказал нам Посьет. "Что ж он на нас так странно смотрит и откуда вы его взяли?" – спросил я. "Сам пришел: узнал, что русские приехали, пришел посмотреть; никогда, говорит, не видал".

Доктор и сам подтвердил это. Он порядочно говорил по-французски и откровенно объяснил, что он так много слышал и читал о русских, что не мог превозмочь любопытства и пришел познакомиться с нами. "Я занимаюсь немного естественными науками, геологией, и неестественными: френологией; люблю также этнографию. Поэтому мне очень интересно взглянуть на русский тип", – говорил он, поглядывая с величайшим вниманием на барона Крюднера, на нашего доктора Вейриха и на Посьета: а они всё трое были не русского происхождения.

"Так вот какой тип!" – говорил он, продолжая глядеть на них. Мы едва крепились от смеху. "А это какой тип?" – спросил я, указывая на Зеленого. – "Это... – он серьезно и долго вглядывался в него, – это... монгольский". Мы было засмеялись, но доктор, кажется, прав: у Зеленого действительно татарские черты. "Ну а этот?" – показывали мы на Гошкевича. Он долго думал.

"Он десять лет жил в Китае", – заметил кто-то про Гошкевича. "А ведь он похож на китайца!" – заметил Ферстфельд. Мы хохотали, и он с нами. Гошкевич был из малороссиян. Чисто русские были только Зеленый и я. "Да, русские сильны: о! о них много-много слуху!" – говорил он. Он ожидал, кажется, увидеть богатырей, а может быть, людей немного зверской наружности и удивился, когда узнал, что Гошкевич занимается тоже геологией, что у нас много ученых, есть литература.

Это всё так заняло его, что он и не думал уходить; а пора было спать.

Вандик наотрез отказался ехать. "Дорога дурна", – объявил он улыбаясь.

Голландский доктор настаивал, чтоб мы непременно посетили его на другой день, и объявил, что сам поедет проводить нас миль за десять и завезет в гости к приятелю своему, фермеру.

На ночь нас развели по разным комнатам. Но как особых комнат было только три, и в каждой по одной постели, то пришлось по одной постели на двоих. Но постели таковы, что на них могли бы лечь и четверо. На другой день, часу в восьмом, Ферстфельд явился за нами в кабриолете, на паре прекрасных лошадей.

Мы выехали по свежей утренней прохладе и проезжали по дороге между фермами, как между дачами, по зеленым холмам. Я забыл сказать, что накануне у одной дачи нам указали камфарное дерево. Мы вышли и нарвали себе несколько веток, с листьями и плодами, величиной с крупную горошину, от которых вдруг в экипаж разлился запах, напоминающий зубную боль и подушечки. Дерево не очень красиво; оно показалось мне похожим немного на нашу осину, только листья другие, продолговатые, толще и глаже; при трении они издавали сильный запах камфары. Ферстфельд останавливал наше внимание на живописных местах: то указывал холм, густо поросший кустарником, то белеющуюся на скате горы в рытвине ферму с виноградниками. Мы выходили из экипажей и бродили по сторонам, собирая кто камень, кто травы или цветы. Между тем, приглядываясь к лошадям у нашего

экипажа, я видел какую-то разницу, как будто одна лошадь не прежняя. "Это не прежняя лошадь", – сказал я Вандику, который, в своей голубой куртке, в шляпе с крепом, прямо и неподвижно, с голыми руками, сидел на козлах. – "Нет". – "Где же та?" – "Променял". – "Разве эта лучше? Верно, она не ладит с другой, всё шалит дорогой". – "Выгодно променял, – с улыбкой сказал Вандик. – Я хотел выменять еще беленькую лошадку, *very nice horse* (славная лошадка)!" – прибавил потом. – "Что ж не выменял?" – "Не отдают; да не уйдет она от меня!" Эти шесть миль, которые мы ехали с доктором, большею частью по побочным дорогам, были истинным истязанием, несмотря на живописные овраги и холмы: дорогу размывло дождем, так что по горам образовались глубокие рытвины, и экипажи наши не катились, а перескакивали через них. Надо отдать справедливость Вандику: он в искусстве владеть вожжами стоит если не выше, то так же высоко, как его соименник в искусстве владеть кистью. Вот гора и на ней три рытвины, как три ветви, идут в разные стороны, а между рытвинами значительный горб – это задача. Как бы, кажется, не поломать тут колес и даже ребер и как самым мирным лошадям не потерять терпение и не взбеситься, карабкаясь то на горб, то оступаясь в яму? Может быть, оно так бы и случилось у другого кучера, но Вандик заберет в руки и расположит все вожжи между полуаршинными своими пальцами и начнет играть ими, как струнами, трогая то первую, то третью или четвертую. От этих искусных маневров две передние лошади идут по горбу, а рытвина остается между ними; если же они и спускаются в нее, то так тихо и осторожно, как будто пасутся на лугу. Иногда им приходится лепиться по косогору налево, а экипаж спускается с двумя другими лошадьми в рытвину направо и колышется, как челнок, на гладких, округленных волнах. И это поминутно. Когда мы стали жаловаться на дорогу, Вандик улыбнулся и, указывая бичом на ученую партию, кротко молвил: "А капитан хотел вчера ехать по этой дороге ночью!" Ручейки, ничтожные накануне, раздулись так, что лошади шли по брюхо в воде. Солнце всходило высоко; утренний ветерок замолкал; становилось тихо и жарко; кузнечики трещали, стрекозы начали реять по траве и кустам; к нам врвался по временам в карт овод или шмель, кружился над лошадьми и несясь дальше, а не то так затрепещет крыльями над головами нашими большая, как птица, черная или красная бабочка и вдруг упадет в сторону, в кусты.

Зеленый только было запел: "Не бил барабан...", пока мы взбирались на холм, но не успел кончить первой строфы, как мы вдруг остановились, лишь только въехали на вершину, и очутились перед широким крыльцом большого одноэтажного дома, перед которым уже стоял кабриолет Ферстфельда. Кругом нас расположены были строения, сараи и разные службы. Налево от дому, по холму, идет довольно большой сад, сзади дома виноградники, и тоже сад, дальше дикие кусты. Это была голландская ферма Эльзенборг, принадлежащая приятелю доктора.

Ферстфельд пошел в дом, а мы остались у крыльца. Чрез минуту он возвратился с хозяином и приглашал нас войти. На пороге стоял высокий, с проседью, старик, с нависшими бровями, в длинной суконной куртке, закрывавшей всю поясницу, почти в таком же длинном жилете, в широких нанковых, падавших складками около ног панталонах. От дома и от него так и повеяло Поль Поттером, Миерисом, Теньером. Он, протянув руку, стоял, не шевелясь, на пороге, но смотрел так кротко и ласково, что у него улыбались все черты лица. На крыльце лежало бесчисленное множество тыков; шагая между ними, мы добрались до хозяина и до его руки, которую потрясли все по очереди.

Наконец мы у голландского фермера в гостях, на Капе, в Африке! Сколько описаний читал я о фермерах, о их житье-бытье; как жадно следил за приключениями, за битвами их с дикими, со зверями, не думая, что когда-нибудь... Мы вошли в большую залу, из которой пахло на нас прохладой. В дверях гостиной встретили нас три новые явления: хозяйка в белом чепце, с узенькой оборкой, в коричневом платье; дочь, хорошенькая девочка лет тринадцати, глядела на нас так молодо, свежо, с детским застенчивым любопытством, в таком же костюме, как мать, и еще какая-то женщина, гостя или родственница. Они знаками пригласили нас войти в гостиную. Я не верил глазам: ужели это фермер, крестьянин?

Гостиная была еще больше залы; в ней царствовал полумрак, как в модном будуаре; посреди стоял массивный, орехового дерева стол, заваленный разными редкостями, раковинами и т. п. предметами. По углам гнездились тяжелые, но красивые старинные диваны и кресла; посредине комнаты группировались крытые штофом козетки; не было уже шкапов и посуды. У окон и дверей висели плотные шелковые драпри из материй, каких не делают нынче; чистота была невероятная: жаль было ступать ногами по этим лакированным полам. Я боялся сесть на козетку: на ней, кажется, никто никогда не сидел; видно, комнаты выметаются, чистятся, показываются гостям, потом опять выметаются и запираются надолго. Мы сначала молчали, разглядывая друг друга. Мы видели, что хозяева ни за что не начнут сами разговора.

Наконец Посьет заговорил по-голландски, извинялся в нечаянном и, может быть, нескромном посещении. Старик неторопливо, без уверений, без суеты, кротко возразил, что он "рад таким гостям, издалека". И видно, что в самом деле был рад. Боже мой! как я давно не видал такого быта, таких простых и добрых людей и как рад был бы подольше остаться тут! "Что ж они, дадут ли завтракать? – с любопытством шепнул мне барон, – этого требует гостеприимство". – "Да ведь вы завтракали". – "Вы кофе называете завтраком – это смешно, – возразил он, – я понимаю бифштекс, котлеты, дичь. Здесь, верно, дичи много и "скотства" должно быть немало!" – заключил он, пародируя фразу нашего спутника Вейриха.

Из хозяев никто не говорил по-английски, еще менее по-французски. Дед хозяина и сам он, по словам его, отличались нерасположением к англичанам, которые "наделали им много зла", то есть выкупили черных, уняли и унимают кафров и другие хищные племена, учредили новый порядок в управлении колонией, провели дороги и т. п. Явился сын хозяина, здоровый, краснощекий фермер лет двадцати пяти, в серой куртке, серых панталонах и сером жилете.

Он тоже молча перешагивал нам всем руки. Отец с сыном предложили нам посмотреть ферму, и мы вышли опять на крыльцо. Тут только я заметил, каким великолепным виноградным деревом было оно осенено. Корень его уродливым, переплетшимся, как множество змей, стволom выходил из-под каменного пола и опутывал ветвями, как сеть, трельяж балкона, образуя густую зеленую беседку; листья фестонами лепились по решетке и стенам. Большие кисти винограда, как лампы, висели в разных местах потолка. Мы загляделись на дерево. "Этому дереву около девяноста лет, – сказал хозяин, – оно посажено моим дедом в день его свадьбы". – "Зачем эта тыква здесь?" – спросили мы. – "Это к обеду черным". – "А много их у вас?" – "Нет, теперь всего двадцать человек, а во время работ нанимаем до сорока; они дороги. Англичане избаловали их и приучили к праздности. Они выработают себе, сколько надо, чтоб прожить немного на свободе, и уходят; к постоянной работе не склонны, шатаются, пьянствуют, пока крайность не принудит их опять к работе". – "У старика до тысячи фунтов стерлингов доходу в год", – шепнул нам Ферстфельд.

Мы с большим вниманием стали смотреть на старика и его суконную куртку.

"Времена не совсем хороши для нас, – продолжал старик, – сбыта мало. Вот только и хорошо, когда война, как теперь". – "Отчего же так?" – "Потребления больше: до двенадцати тысяч одного английского войска; хлеб и вино идут отлично; цены славные: всё в два с половиной раза делается дороже". – "Сколько на хорошей ферме выделяется вина в год?" – спросил я. – "Около двухсот пип", – отвечал хозяин. (Пипу надо считать во 114 галлонов, а галлон – в 5 бутылок.) – "Куда сбывается вино?" – "Больше в Англию да немного в самую колонию и на острова, на Маврикий". – "Но почти весь испанский херес и портвейн идут в Англию, – заметил я, – что же делают из здешнего?" – "Делают херес, портвейн, – сказал Ферстфельд, – потому что настоящего испанского вина недостает". – "Да ведь отсюда далеко возить, дорого обходится". – "От тридцати пяти до сорока дней на нынешних судах, особенно на паровых".

Несмотря на отдаленность, здешнее вино, и с процессом подделки под испанские вина, все-таки обходится англичанам дешевле тех.

Мы пошли в сад. Виноград посажен был на большом пространстве и довольно низок

ростом. Уборка уже кончилась. Мы шли по аллее из каштанов, персиковых и фиговых деревьев. Всё было обнажено, только на миндальных деревьях кое-где оставались позабытые орехи. Хозяйский сын рвал их и подавал нам. Они были толстокорые, но зато вкусны и свежи. Какая разница с продающимся у нас залежавшимся и высохшим миндалем! Проходя по двору, обратно в дом, я увидел, что Вандик и товарищ его распорядились уж распрячь лошадей, которые гуляли по двору и щипали траву.

Хозяева извинялись, что, по случаю раннего и кратковременного нашего посещения, не успеют угостить нас хорошенько, и просили отведать наскоро приготовленного сельского завтрака. Мы пришли в светлую, просторную столовую, на стене которой красовался вырезанный из дерева голландский герб.

Посредине накрыт был длинный стол и уставлен множеством блюд с фруктами. У Зеленого глаза разбежались, а барон сделал гримасу. Тут дымились чайники, кофейники той формы, как вы видите их на фламандских картинах. На блюдах лежал виноград нескольких сортов, фиги, гранаты, груши, арбузы. Потом маленькие булочки, горячие до того, что нельзя взять в руку, и отличное сливочное масло. Тут же яйца, творог, картофель, сливки и несколько бутылок старого вина – всё произведение фермы. Хозяева наслаждались, глядя, с каким удовольствием мы, особенно Зеленый, переходили от одного блюда к другому.

Чрез полчаса стол опустошен был до основания. Вино было старый фронтиньяк, отличное. "Что это, – ворчал барон, – даже ни цыпленка! Охота таскаться по таким местам!" Мы распрощались с гостеприимными, молчаливыми хозяевами и с смеющимся доктором. "Я надеюсь с вами увидаться, – кричал доктор, – если не на возвратном пути, так я приеду в Саймонстоун: там у меня служит брат, мы вместе поедем на самый мыс смотреть соль в горах, которая там открылась".

Дорога некоторое время шла дурная, по размытым дождями оврагам и буеракам, посреди яркой зелени кустов и крупной травы. Потом выехали мы опять на шоссе и покатались довольно быстро. Горы обозначались всё яснее, и вскоре выдвинулись из-за кустов и холмов две громады и росли, по мере нашего приближения, всё выше и выше. Дорога усажена была сплошной стеной айвы; наш молодой приятель и лошади опять поели ее. Мы подъехали к самым горам и к лежащему у подошвы их местечку Paarl по-голландски, а по-русски Перл. Это место действительно перл во всей колонии по красоте местоположения, по обилию и качеству произведений, особенно вина.

Взгляд не успевал ловить подробностей этой большой, широко раскинувшейся картины. Прямо лежит на отлогости горы местечко, с своими идущими частью правильным амфитеатром, частью беспорядочно перегибающимися по холмам улицами, с утонувшими в зелени маленькими домиками, с виноградниками, полями маиса, с близкими и дальними фермами, с бегущими во все стороны дорогами. Налево гора Паарль, которая, картинною разнообразностью пейзажей, яркой зеленью, не похожа на другие здешние горы.

Полуденное солнце обливало ее всю ослепительным блеском. На покатости ее, недалеко от вершины, сверкали какие-то три светлые полосы. Сначала я принял их за кристаллизацию соли, потом за горный хрусталь, но мне показалось, что они движутся. Солнечные лучи так ярко играли в этих стальных полосах, что больно было глазам. "Что это такое?" – спросил я Вандика. "Каскады, – отвечал он, – теперь они чуть-чуть льются, а зимой текут потоками: very nice!" Ну, для каскадов это не слишком грандиозно! Они напоминают те каскады, которые делают из стекла в столовых часах. На южной оконечности горы издали был виден, как будто руками человеческими обточенный, громадный камень: это Diamond – Алмаз, камень-пещера, в которой можно пообедать человекам пятнадцати. По горе, между густой зеленью, местами выбегали и опять прятались тропинки, по которым, казалось, могли бы ползать разве муравьи; а кое-где выглядывала угрюмо из травы кучка серых камней, образуя горб, там рывина, заросшая кустами. Мы въехали в самое местечко, и я с сожалением оторвал взгляд от живописной горы.

Домики, что за домики – игрушки! Площадки, обвитые виноградом, палисадники, с непроницаемой тенью дубовых ветвей, с кустами алоэ, с цветами – всё, кажется, приюты

счастья, мирных занятий, домашних удовольствий! Мы быстро мчались из одного сада в другой, то есть из улицы в улицу, переезжая с холма на холм. Деревья как будто кокетничали перед нами, рисуясь, что шаг, то новыми группами. "Мы остановимся здесь?" – спросил я Вандика, видя, что он гонит лошадей так, как будто хочет проехать местечко насквозь. Но Вандик и не слышал моего вопроса: он устремил глаза на какой-то предмет. Я посмотрел, куда он так пристально глядит: внизу террасы, по которой мы ехали, на лугу паслась лошадь – вот и всё. "Странно, – ворчал Вандик, – я не знаю, чья это лошадь". Мы проехали террасу и луг, а он привстал на козлах и оглядывался назад. "В прошедший раз ее не было здесь", – продолжал он ворчать и, озабоченный, шибче погнал лошадей. "Какое большое местечко!" – сказал я опять. – "Шесть миль занимает, – отвечал Вандик, – мы здесь остановимся, – продолжал он, как будто на мой прежний вопрос, – и я сбегая узнать, чья это лошадь ходит там на лугу: я ее не видал никогда". – "Да разве ты знаешь всех лошадей?" – "О yes! – с улыбкою отвечал он, – десятка два я продал сюда и еще больше покупал здесь. А эта..." – говорил он, указывая бичом назад, на луг... "Аппл!" – вдруг крикнул он, видя, что одна из передних лошадей отвлекается от своей должности, протягивая морду к стоявшим по сторонам дороги деревьям.

В конце этой террасы, при спуске с горы, близ выезда из местечка, мы вдруг остановились у самого кокетливого домика и спешили скрыться от жары в отворенные настежь двери, куда манили сумрак и прохлада. Мы с бароном первые вбежали в комнату и перепугали внезапным появлением какую-то скромно одетую, не совсем красивую девушку, которая собиралась что-то доставать из шкапа.

Она потупила глаза и робко стояла на месте. "Можно приготовить нам завтрак?" – спросил барон по-английски. – "Yes", – отвечала она. – "А обед?" – "Yes".

– "Так прикажите приготовить обед, да... получше, побольше... всего". – "А постели нужно?" – спросила она. – "Нет, – отвечали мы. – А у вас есть и комнаты для приезжих?" – "Plenty" ("Много"). Девушка внезапно скрылась, тут показались и наши спутники, и мы расположились кто в комнатах, кто на балконе. Вандик отпряг лошадей и опрометью побежал с горы справляться, чья лошадь ходит на лугу.

Комнаты вовсе не показывали, чтоб это была гостиница. В первой, куда мы вошли, стоял диван, перед ним стол, кругом кресла. На стенах все принадлежности охоты: ружья, яхташи, кинжалы, рога, бичи. В следующей, куда мы сейчас же проникли, стояло фортепьяно, круглый, крытый суконной салфеткой стол; на нем лежало множество хорошеньких безделок. По стенам висели картинки с видами мыса Доброй Надежды. Всё не только чисто, прилично прибрано, но со вкусом и комфортом. "Кто же здесь живет, чем занимается?" – думали мы, глядя на всё кругом. "Живет, конечно, англичанин", – заключили сами же потом; занимается охотой, как видно, и, между прочим, содержит отель; или, пожалуй, содержит отель и, между прочим, занимается охотой. Но кто же эта девушка: дочь, служанка? Наши, то есть Посьет и Гошкевич, собрались идти на гору посмотреть виды, попытаться, если можно, снять их; доктор тоже ушел, вероятно искать немцев. Я и барон остались, и Зеленый остался было с нами, но спутники увели его почти насильно, навязав ему нести какие-то принадлежности для съемки видов. Чрез полчаса, однако ж, он, кинув где-то их, ушел тайком и воротился в гостиницу. Жар так и палил.

Не успели мы расположиться в гостиной, как вдруг явились, вместо одной, две и даже две с половиною девицы: прежняя, потом сестра ее, такая же зрелая дева, и еще сестра, лет двенадцати. Ситцевое платье исчезло, вместо него появились кисейные спенсеры, с прозрачными рукавами, легкие из муслинь-де-лень юбки. Сверх того, у старшей была синева около глаз, а у второй на носу и на лбу по прыщiku; у обеих вид невинности на лице.

Напротив, маленькая девочка смотрела совсем мальчишкой: бойко глядела на нас, бегала, шумела. Сестры сказывали, что она, между прочим, водит любопытных проезжих на гору показывать Алмаз, каскады и вообще пейзажи.

Девицы вошли в гостиную, открыли жалюзи, сели у окна и просили нас тоже садиться, как хозяйки не отеля, а частного дома. Больше никого не было видно. "А кто это занимается

у вас охотой?" – спросил я. "Па", – отвечала старшая. – "Вы одни с ним живете?" – "Нет; у нас есть ма", – сказала другая.

Разговор остановился пока на этом. Девицы сидели, потупя глаза, а мы мучительно выработывали в голове английские фразы полубезнее. Девицы, казалось, ожидали этого. "А обед скоро будет готов?" – вдруг спросил барон после долгого молчания. – "Да". – "Спросите, есть ли у них виноград, – прибавил Зеленый, – если есть, так чтоб побольше подали; да нельзя ли бананов, арбузов?..." Меня занимали давно два какие-то красные шарика, которые я видел на столе, на блюдечке. "Что это такое?" – спросил я. "Яд", – скромно отвечала одна. "Для кого вы держите его?" – "Па где-то достал; так..." – "Это вы занимаетесь музыкой?" – "Да", – отвечала старшая. – "Нельзя ли спеть?" – стали мы просить. Она начала немного жеманиться, но потом села за фортепиано и пела много и долго: то шотландскую мелодию, то южный, полуиспанский-полуитальянский, романс. Не спрашивайте, хорошо ли она пела. Скажу только, что барон, который сначала было затруднялся, по просьбе хозяйек, петь, смело сел, и, Боже мой, как и что он пел! Только и позволительно петь так перед обедом, с голоду, и притом в Африке. К счастью, среди пения в гостиную заглянула черная курчавая голова и, оскалив зубы, сказала африканским барышням что-то по-голландски. Барон, нужды нет, что сидел спиной к дверям, сейчас догадался, что это значит. "Обед готов", – сказал он. "Других еще нет", – возразили мы. "Нужды нет, мы есть не станем, посмотрим только". Между множеством наставленных на столе жареных и вареных блюд, говядины, баранины, ветчины, свинины и т. п. привлекло наше внимание одно блюдо с салатом из розового лука. Мы попробовали, да и не могли отстать: лук сладковатый, слегка едок и только напоминает запах нашего лука.

Большой салатник вскоре опустел. "Еще салату!" – приказал барон, и когда наши воротились, мы принялись как следует за суп и своим порядком дошли опять до третьего салатника.

После обеда пробовали ходить, но жарко: надо было достать белые куртки.

Они и есть в чемодане, да прошу до них добраться без помощи человека! "Нет, уж лучше пусть жарко будет!..." – заключили некоторые из нас.

Подле отеля был новый двухэтажный дом, внизу двери открыты настежь. Мы заглянули: магазин. Тут всё: шляпы, перчатки, готовое платье и проч. Торгуют голландцы. В местечке учреждены банки и другие общественные заведения.

Паарльский округ производил лучшее вино, после констанского, и много водки.

Здесь делают также карты, то есть дорожные капские экипажи, в каких и мы ехали. Я видел щегольски отделанные, не уступающие городским каретам. Вандик купил себе новый карт, кажется, за сорок фунтов. Тот, в котором мы ехали, еле-еле держался. Он сам не раз изъяснял опасение, чтоб он не развалился где-нибудь на косогоре. Однако ж он в новом нас не повез.

Здесь есть компания омнибусов. Омнибус ходит сюда два раза из Кэптоуна.

Когда вы будете на мысе Доброй Надежды, я вам советую не хлопотать ни о лошадях, ни об экипаже, если вздумаете посмотреть колонию: просто отправляйтесь с маленьким чемоданчиком в Long-street в Капштате, в контору омнибусов; там справитесь, куда и когда отходят они, и за четвертую часть того, что нам стоило, можете объехать вдвое больше.

Часу в пятом мы распрощались с девицами и с толстой их ма, которая явилась после обеда получить деньги, и отправились далее, к местечку Веллингтону, принадлежащему к Паарльскому округу и отстоящему от Паарля на девять английских миль.

Оба эти места населены голландцами, оголландившимися французами и отчасти англичанами. Да где же народ – черные? где природные жители края?

Напрасно вы будете искать глазами черного народонаселения как граждан в городах. О деревнях я не говорю: их вовсе нет, всё местечки и города; в немногих из них есть предместья, состоящие из бедных, низеньких мазанок, где живут нанимающиеся в городах чернорабочие. Я смотрел во все стороны в полях и тоже не видал нигде ни хижины, никакого человеческого гнезда на скале: всё фермы, на которых помещаются только работники,

принадлежащие к ним. Оседлых черных жителей поблизости к Капштату нет. Они, вместе со зверями, удаляются все внутрь, как будто заманивая белых проникать дальше и дальше и вносить Европу внутрь Африки. Европейцы уже касаются тропиков. Мы, конечно, не доживем до той поры, когда одни из Алжира, а другие от Капштата сойдутся где-нибудь внутри; но нет сомнения, что сойдутся. Никакие львы и носороги, ни Абдель-Кадеры и Сандильи, ни даже – что хуже того и другого – сама Сахара не помешают этому. Уж о сю пору омнибусы ходят по колонии, водку дистиллируют; есть отели, магазины, барышни в буклях, фортепьяно – далеко ли до полного успеха? Есть проект железной дороги внутри колонии и послан на утверждение лондонского министерства; но боятся, что не окупится постройка: еще рано. До сих пор одни только готтентоты оказали некоторую склонность к оседлости, к земледелию и особенно к скотоводству, и из них составила целая область. Там они у себя хозяева. Пашут хлеб, разводят скот и под защитой английских штыков менее боятся набегов кафров.

Мы ехали широкой долиной. На глазомер она простиралась верст на пять в ширину. Нельзя нарочно правильнее обставить горами, как обставлена эта долина. Она вся заросла кустами и седой травой, похожей на полынь. В одном месте подъехали к речке, порядочно раздувшейся от дождей. Надо было переправляться вброд; напрасно Вандик понукал лошадей: они не шли. "Аппл!" – крикнет он, направляя их в воду, но передние две только коснутся ногами воды и вдруг возьмут направо или налево, к берегу. Вандик крикнул что-то другому кучеру, из другого карта выскочил наш коричневый спутник, мальчишка-готтентот, засучил панталоны и потащил лошадей в воду; но вскоре ему стало очень глубоко, и он воротился на свое место, а лошади ушли по брюхо. Дно было усыпано мелким булыжником, и колеса производили такую музыку, что даже заставили замолчать Зеленого, который пел на всю Африку:

"Ненаглядный ты мой, как люблю я тебя!" или "У Антона дочка" и т. д.

Весело и бодро мчались мы под теплыми, но не жгучими лучами вечернего солнца и на закате, вдруг прямо из кустов, въехали в Веллингтон. Это местечко построено в яме, тесно, бедно и неправильно. С сотню голландских домиков, мазанок, разбросано между кустами, дубами, огородами, виноградниками и полями с маисом и другого рода хлебом. Здесь более, нежели где-нибудь, живет черных. Проехали мы через какой-то переулок, узенький, огороженный плетнем и кустами кактусов и алоэ, и выехали на большую улицу.

На веранде одного дома сидели две или три девицы и прохаживался высокий, плотный мужчина, с проседью. "Вон и мистер Бен!" – сказал Вандик. Мы поглядели на мистера Бена, а он на нас. Он продолжал ходить, а мы поехали в гостиницу – маленький и дрянной домик с большой, красивой верандой. Я тут и остался. Вечер был тих. С неба уже сходил румянец. Кое-где прорезывались звезды.

"Пойдемте к Бену с визитом, – сказал барон. – Да прежде надо спросить хозяина, что он даст нам ужинать". Кто же тут хозяин? Тут их было два: один вертелся на балконе, в переднике, не совсем причесанный и бритый англичанин, и давно распоряжался переноской наших вещей в комнаты. Другой, в пальто и круглой шляпе, на улице у крыльца принимал деятельное участие в нашем водворении в гостиницу. Кроме их мальчишка-негр и девчонка-негритянка хлопотали около вещей. "Нет, мне не хочется к Бену, – отвечал я барону, – жаль оставить балкон. Теперь поздно: завтра утром".

Между тем ночь сошла быстро и незаметно. Мы вошли в гостиную, маленькую, бедно убранную, с портретами королевы Виктории и принца Альберта в парадном костюме ордена Подвязки. Тут же был и портрет хозяина: я узнал таким образом, который настоящий: это – небритый, в рубашке и переднике; говорил в нос, топал, ходя, так, как будто хотел продать пол. Едва мы уселись около круглого стола, как вбежал хозяин и объявил, что г-н Бен желает нас видеть.

Мы отдали ему рекомендательное письмо от нашего банкира из Капштата. Он прочел и потом изъясил опасение, что нам, по случаю воскресенья, не удастся видеть всего замечательного. "Впрочем, ничего, – прибавил он, – я постараюсь кое-что показать вам".

Разговор зашел о геологии, любимом его занятии, которым он приобрел себе уже репутацию в Англии и готовился, неизданными трудами, приобрести еще более громкое имя. "Я покажу вам свою геологическую карту", – сказал он и ушел за ней домой. Через четверть часа он воротился с огромной и великолепной картой, где подробно означены формации всех гор, от самого мыса до внутренних границ колонии. Карта начерчена изящно. Трудился один Бен; помощников в этой глуши у него не было. Он работал около пятнадцати лет над этим трудом и послал копию в Лондон. Вся почва гор в колонии состоит из глинистого сланца, гранита и песчаника. Мы залюбовались картой и выпросили ее оставить у нас до утра. "Она, вероятно, уже печатается ученым обществом, – сказал Бен, – и вы, по возвращении, найдете ее готовую".

Вторая специальность Бена – открытие и описание ископаемых животных колонии, между которыми встречается много двузубых змей. Он нам показывал скелеты этих животных и несколько их подарил. Третья и главная специальность его – прокладывание дорог. Он гражданский инженер и заведывает целым округом.

Бен замечательный человек в колонии. Он с ранних лет живет в ней и четыре раза то один, то с товарищами ходил за крайние пределы ее, за Оранжевую реку, до 20№ (южной) широты, частью для геологических исследований, частью из страсти к путешествиям и приключениям. Он много рассказывал о встречах со львами и носорогами. О тиграх он почти не упоминал: не стоит, по словам его. Только рассказал один анекдот, как тигр таскал из-за загородки лошадей и как однажды устроили ему в заборе такой проход, чтоб тигр, пролезая, дернул веревку, привязанную к ружейному замку, а дуло приходилось ему прямо в лоб. Но тигр смекнул, что проход, которого накануне не было, устроен даром: он перепрыгнул через забор, покушал и таким же образом переправился обратно. О львах Бен говорил с уважением, хвалил их за снисходительность. Однажды он, с тремя товарищами, охотился за носорогом, выстрелил в него – зверь побежал; они пустились преследовать его и вдруг заметили, что в стороне, под деревьями, лежат два льва и с любопытством смотрят на бегущего носорога и на мистера Бена с товарищами, не трогаясь с места. Охотники с большим уважением прошли мимо лесных владык.

Еще страннее происшествие случилось с Беном. Он, с товарищами же, ходил далеко внутрь на большую охоту и попал на племя, которое воевало с другим.

Начальник принял его очень ласково и угощал несколько дней. А когда Бен хотел распрощаться, тот просил его принять участие в войне и помочь ему завладеть неприятелем. Бен отвечал, что он, без разрешения своего правительства, сделать этого не может. "Ну так все твои ружья, быки и телеги – мои", – отвечал дикий. Все убеждения были напрасны, и Бен отправился на войну. К счастью, она недолго продолжалась. Обе сражавшиеся стороны не имели огнестрельного оружия, и неприятели, при первых выстрелах, бежали, оставив свои жилища в руках победителей. "Вам, вероятно, очень неприятно было стрелять в несчастных?" – спросили мы. "Нет, ничего, – отвечал Бен, – ведь я стрелял холостыми зарядами. Никому и в голову не пришло поверить меня. Они не умеют обращаться с ружьями".

Бен высокого роста, сложен плотно и сильно; ходит много, шагает крупно и твердо, как слон, в гору ли, под гору ли – всё равно. Ест много, как рабочий, пьет еще больше; с лица красноват и лыс. Он от ученых разговоров легко переходит к шутке, поет так, что мы хором не могли перекричать его.

Если б он не был гражданский инженер и геолог, то, конечно, был бы африканский Рубини: у него изумительный фальцетто. Он нам пел шотландские песни и баллады. Ученая партия овладела им совсем, и Посыет, конечно, много дополнит в печати беседу нашу с г-ном Беном.

Пока мы говорили с ним, барон исчез. Вскоре хозяин тихонько подошел ко мне и гнусливо что-то сказал на ухо. Я не понял. "Вас зовут", – повторил он.

– "Кто? где?" – "На улице". – "Это что за новость? у меня здесь знакомых нет". Однако пошел. На улице темнота, как сажа в трубе; я едва нашел ступени крыльца. Из глубины

мрака вышел человек, в шляпе и пальто, и взял меня за руку. Это второй, подставной хозяин. Он него сильно пахло водкой. "Что вам надо?" – спросил я. – "Пойдемте, пойдемте, я покажу вам бал". – "Какой бал? – думал я, идучи ощупью за ним, – и отчего он показывает его мне?" Он провел меня мимо трех-четырех домов по улице и вдруг свернул в сторону. "Stop, stop: ничего не вижу", – говорил я, упираясь ногами. "Идите, тут ничего нет, только канава... вот она". И мы оба прыгнули: он знал куда, я – нет, но остался на ногах. Меня поразили звуки музыки, скрипки и еще каких-то духовых инструментов. Мы подошли к толпе, освещенной фонарями, висевшими на дверях.

Толпа негров и готтентотов, мужчин и женщин, плясала. Вот и бал. Все были пьяны и неистово плясали, но молча. Посреди них стоял наш главный артист, барон. "Что вы тут делаете?" – спросил я, prodравшись к нему. "Изучаю нравы, – отвечал он, – *n'est ce pas que c'est pittoresque?*" – "Гм! *pittoresque*, – думалось мне, – да, пожалуй, но собственного, местного, негритянского тут было только: черные тела да гримасы, всё же прочее... Да это кадрили или что-то вроде: шень, баланс". Мы долго смотрели, как веселились, после трудного рабочего дня, черные. Из дома, кажется питейного, слышались нестройные голоса. Я молча, задумавшись о чем-то, смотрел на пляску.

"Ужинать пора", – сказал вдруг барон, и мы пошли.

Подойдя к гостинице, я видел, что кто-то в темноте по улице преследует кого-то. Оба, преследующий и преследуемый, вбежали на крыльцо. Оказалось, что это сам хозяин загоняет свою девчонку-негритянку домой, как отставшую овцу. "Что это вы делаете? зачем ее гоните?" – спросил я. – "Негодная девчонка, – отвечал он, – всё вертится на улице по вечерам, а тут шатаются бушмены и тихонько вызывают мальчишек и девчонок, воруют с ними вместе и делают разные другие проказы". – "Нельзя ли поймать где-нибудь бушмена? мне давно хочется посмотреть это племя". – "Нет, не поймаете, хотя их тут много прячется по ночам, – сказал хозяин с досадой, грозя на поля и огороды, – они, с закатом солнечным, выполняют из своих нор и делают беспорядки".

Наши еще разговаривали с Беном, когда мы пришли. Зеленый, по обыкновению, залег спать с восьми часов и проснулся только поесть винограду за ужином. Мы поужинали и легли. Здесь было немного комнат, и те маленькие.

В каждой было по две постели, каждая для двоих.

Утром явился г-н Бен и торопил ехать, чтоб засветло проехать ущелье.

Он, как был вчера, – в зеленом сюртуке, нанковых панталонах, в черном жилете, с лорнеткой на ленточке и в шляпе, без перчаток, – так и пустился с нами в дорогу. Он сел с ученой партией. "Ну трогай, земляк!" – сказал Зеленый Вандику. У Вандика опять перемена: вместо чалой запряжена пегая лошадь. "А чалую променял?" – спросил я. – "Yes", – с улыбкой отвечал он. – "Зачем же: разве та не годилась?" – "О нет, я ее на обратном пути опять куплю, а эту, пегую, я променяю с барышом в Устере".

Славная дорога, славные места! Как мы въехали из кустов в Веллингтон, так и выехали из него прямо в кусты. Тут уже начиналось создание Бена – шоссе. Налево была гора Гринберг, зеленая не по одному названию. Она очень красива, с большими отлогостями, живописными холмами и оврагами. Она похожа на гору, какие есть везде. Это общее место по части гор. Зато бывшие впереди горы уже ни на что не походили. Громады всё росли перед нами, выставляя, одна за другой, дикие, голые вершины. Они, казалось, всё более и более жались друг к другу; и когда подъедешь к ним вплоть, они смыкаются сплошной стеной, как будто толпа богатырей, которые стеснились, чтоб дать отпор нападению и не пускать сквозь. "Как же мы проедем через плеча этих великанов?" – думал я, видя, что мы едем прямо на эту массу. "Где дорога?" – спросил я Вандика. Он молча показал на тропинку и бичом провел по воздуху извилину параллельно ей. Эта дорога для экипажей – невероятно! Тропинка бежала кругом горы, пропадала, потом вдруг являлась выше, пропадала опять и так далее.

Мы стали подниматься: лошади пошли не такой крупной рысью, какой ехали по долине. Они было пытались идти и шагом, но грозный "аппл" и хлопанье бича заставляли их

постоянно бежать. Зеленый затынул: "Близко города Славянска, на верху крутой горы". Мы ехали пока еще по горам довольно отлогим, вроде Гринберг. Дорога прорезана в глинистом сланце. Справа у нас глиняная стена отвесно стояла над головой, слева внизу зияли овраги, но эти пропасти еще не были грозны: они как будто улыбались нам. На дне их текли ручьи, росла густая зелень, в которой утопал глаз. Особенно я помню один живописный овраг, весь заросший лесом. Внизу, в самой глубине его, в группе деревьев, прятался белый домик. Во все стороны по горам шли тропинки и одна конная дорога. Домик этот – прежняя квартира мистера Бена.

Он жил тут с семейством года три и каждый день, пешком и верхом, пускался в горы, когда еще дорога только что начиналась.

Мы всё поднимались, но это заметно было для глаз и почти вовсе незаметно для лошадей – так дорога идет раскидисто и отлого; лошади не переставали бежать легкой рысью. По дороге могли проехать два экипажа, но это пространство размерено с такою точностью, что сверх этого и мыши негде было бы пройти. Края пропастей уставлены камнями, расположенными близко один от другого. Каменья эти, на взгляд, казались не велики, так что Зеленый брался каждый из них легко сбросить с места. "И что за пропасти: совсем нестрашные, – говорил он, – этаких у нас, в Псковской губернии, сколько хочешь!" День был жаркий и тихий. По дороге никакого движения, нигде ни души. Дорога не совсем кончена и открыта для публики два дня в неделю.

Хотя горы были еще невысоки, но чем более мы поднимались на них, тем заметно становилось свежее. Легко и отрадно было дышать этим тонким, прохладным воздухом. Там и солнце ярко сияло, но не пекло. Наконец мы остановились на одной площадке. "Здесь высота над морем около 2000 футов", – сказал Бен и пригласил выйти из экипажей.

Мы вышли, оглянулись назад и остановились неподвижно перед открывшейся картиной: вся паарльская долина лежала перед нами, местами облитая солнечным блеском, а местами прячущаяся в тени гор. Веллингтон лежал как будто у ног наших, несмотря на то что мы были милях в пяти от него. Далее белелись из-за зелени домики Паарля, на который гора бросала исполинскую тень; кругом везде фермы. Кусты казались травой, а большие дубы ферм – мелкими кустами. Мы стояли молча и неподвижно. Саженьях в пятидесяти от нас плавно проплыл в воздухе, не шевеля крыльями, орел; махнув раза три мерно крыльями над Тут Гошкевич расположился снять фотографические виды и взять несколько образчиков камней. Бен в первый раз только спросил об имени каждого из нас, и мы тут же, на горе, обменялись с ним карточками. Барон и Зеленый, с мешком и молотком, полезли на утесы. Но прежде Зеленый попробовал, с разрешения мистера Бена, столкнуть который-нибудь из камней в бездну, но увидел, что каждый камень чуть не больше его самого. Посыет пустился в длинную беседу с Беном, а я пошел вперед, чтоб расправить ноги, уставшие от постоянного сиденья в экипаже. Я долго шел, поминутно останавливаясь посмотреть на долину. Вскоре она заслонилась утесом, и я шел среди мертвой тишины по шоссе. Дорога всё еще шла сквозь глинистые горы.

Чрез полчаса нагнали меня наши экипажи. Я было хотел сесть, но они, не обращая на меня внимания, промчались мимо, повернули за утес направо, и чрез пять минут стук колес внезапно прекратился. Они где-то остановились.

Я обогнул утес, и на широкой его площадке глазам представился ряд низеньких строений, обнесенных валом и решетчатым забором, – это тюрьма. По валу и на дворе ходили часовые, с заряженными ружьями, и не спускали глаз с арестантов, которые, с скованными ногами, сидели и стояли, группами и поодиночке, около тюрьмы. Из тридцати-сорока преступников, которые тут были, только двое белых, остальные все черные. Белые стыдливо прятались за спины своих товарищей.

Здесь была полная коллекция всех племен, населяющих колонию. Черный цвет, от самого черно-бархатного с гляncем, как лакированная кожа, переходил, постепенными оттенками, до смугло-желтого. Самые черные были негры племен финго, мозамбик, бичуанов и сулу. У этих племен лицо большею частью круглое, с правильными чертами, с

выпуклым лбом и щеками, с толстыми губами; волосы, сравнительно с другими, длинные, хотя и курчавы. Негры все здорового телосложения; мускулы у них правильны и красивы – это африканские Адонисы; зрачки у них подернуты желтоватою влагою и покрыты сетью жилок.

Кафры, не уступая им в пропорциональности членов, превышают их ростом. Это самое рослое племя – атлеты. Но лицом они не так красивы, как первые; у них лоб и виски плоские, скулы выдаются; лицо овальное, взгляд выразительный и смелый; они бледнее негров; цвет более темно-шоколадный, нежели черный.

Готтентоты еще бледнее. Они коричневого цвета; впрочем, как многочисленное племя, они довольно разнообразны. Я видел готтентотов тусклого, но совершенно черного цвета. У них, как у кафров, лоб вдавлен, скулы, напротив, выдаются; нос у них больше, нежели у других черных. Вообще лицо измято, обильно перерезано глубокими чертами; вид старческий, волосы скудны. Они малорослы, худощавы, ноги и руки у них тонкие, так, тряпка тряпкой, между тем это самый деятельный народ. Они отличные земледельцы, скотоводы, хорошие слуги, кучера и чернорабочие.

Толпа окружила нас и с большим любопытством глядела на нас, нежели мы на нее. Особенно негры и кафры смотрели открыто, бойко и смело, без запинки отвечали на вопросы. Нередко дружный хохот раздавался между ними от какой-нибудь шутки, и что за зубы обнаруживались тогда! "Есть ли у вас бушмены?" – спросил я. "Трое", – отвечал наблюдатель. "Нельзя ли посмотреть?" Он что-то крикнул: в углу, у забора, кто-то пошевелился. Наблюдатель закричал громче: в углу зашевелилось сильнее. Между черными начался говор, смех. Двое или трое пошли в угол и вытащили оттуда бушмена. Какое жалкое существо! Он шел тихо, едва передвигая скованные ноги, и глядел вниз; другие толкали его в спину и подвели к нам. Насмешки сыпались градом; смех не умолкал. Перед нами стояло существо, едва имевшее подобие человека, ростом с обезьяну.

Желто-смуглое, старческое лицо имело форму треугольника, основанием кверху, и покрыто было крупными морщинами. Крошечный нос на крошечном лице был совсем приплюснут; губы, нетолстые, неширокие, были как будто раздавлены. Он казался каким-то юродивым стариком, облысевшим, обезубевшим, давно пережившим свой век и выжившим из ума. Всего замечательнее была голова: лысая, только покрытая редкими клочками шерсти, такими мелкими, что нельзя ухватиться за них двумя пальцами. "Как тебя зовут?" – спросил наблюдатель.

Бушмен молчал. На лице у него было тупое, бессмысленное выражение. Едва ли он имел, казалось, сознание о том, где он, что с ним делают. Наблюдатель повторил вопрос. Бушмен поднял на минуту глаза и опустил опять. Я давно слышал, что язык бушменов весь состоит из смеси гортанных звуков с прищелкиванием языка и потому недоступен для письменного выражения. Мне хотелось верить это, и я просил заставить его сказать что-нибудь по-бушменски. "Как отец по-вашему?" – спросил наблюдатель. Бушмен поднял глаза, опустил и опять поднял, потом медленно раскрыл рот, показал бледно-красные челюсти, щелкнул языком и издал две гортанные ноты. "А мать?" – спросил наблюдатель. Бушмен опять щелкнул и издал две уже другие ноты.

Вопросы продолжались. Ответы изменялись или в нотах, или в способе прищелкивания. Совершенно звериный способ объясняться! "И это мой брат, ближний!" – думал я, болезненно наблюдая это какое-то недосозданное, жалкое существо. "Они, должно быть, совсем без смысла, – сказал я, – ум у них, кажется, вовсе не развит". – "Нельзя сказать, – отвечал наблюдатель, – они дики и нелюдимы, потому что живут в своих землянках посемейно, но они очень смышлены, особенно мастера слукавить и стащить что-нибудь. Кроме того, они славно ловят зверей, птиц и рыбу. Зверей они убивают ядовитыми стрелами.

Вообще они проворны и отважны, но беспечны и не любят работы. Если им удастся приобрести несколько штук скота кражей, они едят без меры; дни и ночи проводят в этом; а когда всё съедят, туго подвяжут себе животы и сидят по неделям без пищи".

Вывели и прочих бушменов: точно такие же малорослые, загнанные, с бессмысленным

лицом, старички, хотя им было не более как по тридцати лет.

Чем больше я вглядывался в готтентотов и бушменов, тем больше убеждался, что они родня между собой. Готтентоты отрекаются от этого родства, но черты лица, отчасти язык, цвет кожи – всё убеждает, что они одного корня. Одним, вероятно, благоприятствовали обстоятельства, и они приучились жить обществом, заниматься честными и полезными промыслами – словом, быть порядочными людьми; другие остаются в диком, почти в скотском состоянии, избегают даже друг друга и ведут себя негодаями. Сколько и в семьях, среди цивилизованного общества, встречается примеров братьев, жизнь которых сложилась так, что один образец порядочности, другой отверженец семьи! "За что они содержатся?" – спросил я. "За воровство, как и большая часть арестантов", – отвечал смотритель. "Подолгу ли содержат их в тюрьме?" – "От трех до пятнадцати лет". – "Что они делают, чем их занимают?" – "А дорогу-то, по которой вы едете, – сказал мистер Бен, – кто ж делает, как не они? Вот завтра вы увидите их за работой".

Мы заглянули в длинный деревянный сарай, где живут 20 преступники. Он содержится чисто. Окон нет. У стен идут постели рядом, на широких досках, устроенных, как у нас полаты в избах, только ниже. Там мы нашли большое общество сидевших и лежавших арестантов. Я спросил, можно ли, как это у нас водится, дать денег арестантам, но мне отвечали, что это строго запрещено.

Мы поблагодарили смотрителя и г-на Бена за доставленное нам печальное удовольствие и отправились далее. "Это еще не последнее удовольствие: впереди три", – сказал мистер Бен. "Напрасно мы не закусили здесь! – говорил барон, – ведь с нами есть мясо, куры..." Но мы уже ехали дальше. Зеленый громко пел: "Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей не мил". Потом вдруг пускался рассказывать, то детскую шалость, отрывок из воспитания, то начертит чей-нибудь портрет, характер или просто передразнит кого-нибудь. Мы любили слушать его. Память у него была баснословная, так что он передавал малейшие детали происшествия. Вот барон Крюднер, напротив, ничего не помнил, ни местности, ни лиц, и тоже никогда не смотрел вперед. Он жил настоящим мгновением, зато уж жил вполне. Никто скорее его не входил в чужую идею, никто тоньше не понимал юмора и не сочувствовал картине, звуку, всякому артистическому явлению.

Мы стали въезжать в самое ущелье. Зеленые холмы и овраги сменились дикими каменными утесами, черными или седыми. Дорога прорублена была по окраинам скал. Горы близко теснились через ущелье друг к другу. Солнце не достигало до нас. Мы с изумлением смотрели на угрюмые громады, которые висели над нами. В пустыне царствовало страшное безмолвие, так что и Зеленый перестал петь. Мы изредка менялись между собою словом и с робостью перебегали глазами от утеса к утесу, от пропасти к пропасти. Мы как будто попали в западню, хотя нам ничего не угрожало.

Представьте себе над головой сплошную каменную стену гор, которая заслоняет небо, солнце и которой не видать вершины. По этим горам брошены другие, меньшие горы; они, упав, раздробились, рассыпались и покатались в пропасти, но вдруг будто были остановлены на пути и повисли над бездной. То видишь точно целый город с обрушившимися от какого-нибудь страшного переворота башнями, столбами и основаниями зданий, то толпы слонов, носорогов и других животных, которые дрались в общей свалке и вдруг окаменели. Там, кажется, сидят группой изваяния великанов. Здесь, на горе, чуть-чуть держится скала, цепляясь за гору одним углом, и всем основанием висит над бездной. Далее и далее всё стены гор и всё разбросанные на них громадные обломки, похожие на монастыри, на исполинские надгробные памятники, точно следы страшного опустошения.

Кажется, довольно одного прикосновения к этим глыбам, чтоб они полетели вниз, между тем здесь архимедов рычаг бессилен. Нужно по крайней мере землетрясение или мистера Бена, чтоб сдвинуть их с места.

Внизу зияют пропасти, уже не с зелеными оврагами и чуть-чуть журчащими ручьями, а продолжение тех же гор, с грудами отторженных серых камней и с мутно-желтыми стремительными потоками или мертвым и грязным болотом на дне.

Едешь по плечу исполинской горы и, несмотря на всю уверенность в безопасности, с невольным смущением глядишь на громады, которые как будто сдвигаются всё ближе и ближе, грозя раздавить путников. Взглянешь вниз, в бездну, футов на 200, на 300, и с содроганием отвернешься; взглянешь наверх, а там такие же бездны опрокинуты над головой. Все эти массы истерзаны как будто небесным гневом и разбросаны по прихоти нечеловеческой фантазии. "Что, – спросил я у Зеленого, – есть в Псковской губернии такие пропасти?" – "Страшновато!" – шептал он с судорожным, нервическим хохотом, косясь пугливо на бездну. Потом вдруг, чтоб ободрить себя и показать, что ему нипочем, горланил: "Люди добрые, внимлите". Но потом морщился и уныло затягивал: "Не бил барабан..." – и постепенно затихал.

Мы проехали через продолбленный насквозь и лежащий на самой дороге утес, потом завернули за скалу и ждали, что там будет: мы очутились над бездной, глубже и страшнее всех, которые миновали. Вдобавок к этому дорога здесь была сделана пока только для одного экипажа; охранительных камней по сторонам не было, и лошади шли по самой окраине. "Вы всю... грусть мою... поймите", – запел было, но уже вполголоса, Зеленый и смолк. По узенькой недоделанной дороге, по которой еще кое-где валялись приготовленные для работ камни и воткнут был заступ, надо было заворотить налево. "Что ж вы не поете?" – спросил я. "Постойте, дайте проехать, вы видите..." С мучительным ощущением проехали мы поворот и вздохнули свободно, когда дорога опять расширилась. "Есть ли здесь животные?" – спросил я Вандика. "О, много!" – "Каких же?" – "Бабуанов (павианов, больших черных обезьян). Я удивляюсь, – прибавил Вандик, оглядываясь по сторонам, – что их нет сегодня: они стадами скачут по скалам, и лишь завидят людей и лошадей, поднимают страшный крик". – "Может быть, оттого нет, что сегодня воскресенье, – заметил Зеленый, – слава Богу, впрочем, что нет. Если б хоть одна лошадь испугалась и зашалила, так нам пришлось бы плохо". – "Есть еще волки, тигры", – сказал Вандик. "Волки – здесь? быть не может! Волки – северное животное", – заметили мы. "Знаю, – с улыбкою отвечал Вандик, – но здесь так называют гиен, а я, по привычке, назвал их волками". Вандик был образованный кучер.

Мистер Бен после подтвердил слова его и прибавил, что гиен и шакалов водится множество везде в горах, даже поблизости Капштата. Их отравляют стрихнином. "И тигров тоже много, – говорил он, – их еще на прошлой неделе видели здесь в ущелье. Но здешние тигры мелки, с большую собаку". Это видно по шкурам, которые продаются в Капштате.

Скоро мы подъехали к живописному месту. Горы вдруг раздвинулись на минуту, и образовался поперечный разрез. Солнце тотчас воспользовалось этим и ярко осветило глубокий овраг до дна. Дно и бока оврага заросли травой и кустами. Внизу тек ручей. От утеса к утесу через разрез вел мост – чудо инженерного искусства. Он, как скала, плотно сложен из квадратных плит песчаника. Длинной он футов сорок, а вниз опускался сплошной каменной стеной, футов на семьдесят, и упирался в дно оврага. Налево от моста, в ущелье, заросшем зеленью, журчал каскад и падал вниз. Мы остановились и пошли по уступу скалы – кто пить, кто ловить насекомых и собирать травы. Во всем ущелье, простирающемся на четырнадцать английских миль, сделано до сорока каменных мостов и мостиков; можно судить, сколько употреблено тут дарования, соображений и физического труда! Камня надо было таскать сверху или снизу; многие скалы рвать порохом. Бен нам показывал следы таких взрывов и обещал показать, на возвратном пути, и самые взрывы.

За мостом ущелье в некоторых местах опять сжималось, но уже заметно было, что оно должно скоро кончиться. Здесь природа веселее; по горам росла обильная зелень. Даже брошенные по скатам камни обросли кустами и травой со множеством цветов. Много попадалось птиц, жужжали миллионы насекомых; на камнях часто видели мы разноцветных ящериц, которые выползали на солнце погреться. В одном месте прямо из скалы, чуть-чуть, текла струя свежей, холодной воды; под ней вставлен был арестантами железный желобок. "Зимой это большой каскад, – сказал Бен, – их множество тут; вон там, тут!" – говорил он, указывая рукой в разные места. Сколько грандиозна была та часть ущелья, которую мы

миновали, столько же улыбалась природа здесь. Тут были живописные уклонения скал в сторону, образующие тенистые уголки, природные гроты.

Вскоре мы подъехали к самому живописному месту. Мы только спустились с одной скалы, и перед нами представилась широкая расчищенная площадка, обнесенная валом. На площадке выстроено несколько флигелей. Это другая тюрьма. В некотором расстоянии, особо от тюремных флигелей, стоял маленький домик, где жил сын Бена, он же смотритель тюрьмы и помощник своего отца.

Кругом теснились скалы, выглядывая одна из-за другой, как будто вставали на цыпочки. Площадка была на полугоре; вниз шли тоже скалы, обросшие густою зеленью и кустами и уставленные прихотливо разбросанными камнями. На дне живописного оврага тек большой ручей, через который строился каменный мост.

Рядом с мостом шла плотина, служившая преградой ручью на время, пока строился мост. Через эту плотину шла и временная дорога. Берег ручья, скаты горы – всё потонуло в зелени. Бен с улыбкой смотрел, как мы молча наслаждались великолепной картиной, поворачиваясь медленно то на ту, то на другую сторону. Потом оглянулись и заметили, что уже мы давно на дворе, что Вандик отпряг лошадей и перед нами стояли двое молодых людей: сын Бена, белокурый, краснощекий молодой человек, и другой, пастор-миссионер. Мы познакомились и вошли в дом. Мы велели вынуть из экипажей провизию и вино, сын Бена тоже засуетился готовить завтрак.

Но прежде мы отправились смотреть тюрьму. Всё то же, только поменьше арестантов. Они и сидели и лежали на дворе и все старались поместиться на солнце. Особенно один старик-негр привлек мое внимание: у него болела нога, и он лежал, растянувшись посредине двора и опершись на локоть, лицом прямо к солнцу. Спереди голова у него была совсем лысая, и лучи играли на ней, как на маковке башни. Был полдень, жар так и палил, особенно тут, в ущелье, где воздух сперт и камни сильно отражают лучи. "Зачем их выводят на солнце? – спросили мы, – ведь это вредно". – "Нет, – отвечал Бен, – они любят и охотнее работают в солнечный, жаркий день, нежели в пасмурный". Я спросил у многих имена: готтентотов звали Саломон, Каллюр; бушменов – Вильденсон и Когельман. Но эти имена даны уже европейцами, а я просил, чтоб они сказали мне, как их зовут на их природном языке. Бушмены, казалось, поняли, о чем их спрашивают; они постояли молча, потупив глаза в землю. Миссионер повторил вопрос; тогда они, по порядку, сначала один, потом другой, помычали и щелкнули языком. Записать эти звуки не было возможности. Я обратился к кафрам. Один бойко произнес имя Дольф, другой – Дай. Потом я спросил одного черного, какого он племени и как его зовут. Он сказал, что отец у него мозамбик, мать другого племени, но не сказал какого, а зовут его Лакиди. Все они понимают и кое-как объясняются по-английски. Одеты они кто в куртке, кто в рубашке и шароварах.

Мы пошли во флигель к Бену. Там молодой, черный как деготь, негр, лет двадцати и красавец собой, то есть с крутыми щеками, выпуклым лбом и висками, толстогубый, с добрым выражением в глазах, прекрасно сложенный, накрывал на стол. Он мне очень понравился. "Вы нанимаете этого негра?" – спросил я сына Бена. "Нет, – отвечал он, – это тоже арестант, военнопленный, дрался за кафров и недавно взят в плен. Я его не мешаю с другими арестантами: он очень смирен и послушен". – "Долго они работают?" – "С восхождения солнца до захождения; тут много времени уходит в ходьбе на место и обратно". Пока мы говорили с Беном, Зеленый, миссионер и наш доктор ходили в ручей купаться, потом принялись за мясо, уток и проч.

Часа в три пустились дальше. Дорога шла теперь по склону, и лошади бежали веселее. Ущелье всё расширялось, открывая горизонт и дальние места.

"Ничего теперь не боюсь!" – весело говорил Зеленый и запел вместе с птицами, которые щебетали и свистали где-то в вышине. Кругом горы теряли с каждым шагом угрюмость, и мы незаметно выехали из ущелья, переехали речку, мостик и часов в пять остановились на полчаса у маленькой мызы Клейнберг. Тут была третья и последняя тюрьма, меньше первых двух; она состояла из одного только флигеля, окруженного решеткой; за ней

толпились черные. Мыза вся состояла из одноэтажного домика с плантациями маиса вокруг и с виноградником. На дворе росло огромное дерево, к которому на длинной веревке привязана была большая обезьяна, павиан. Несмотря на короткую остановку, кучера наши отпрягли лошадей. Хозяин мызы, по имени Леру, потомок французского протестанта; жилище его смотрело скудно и жалко. Напрасно барон Крюднер заглядывал: нет ли чего-нибудь пообедать. Зато Леру вынес нам множество банок... со змеями, потом камни, шкуры тигров и т. п. "Ну, последние времена пришли! – говорил барон, – просишь у ближнего хлеба, а он дает камень, вместо рыбы – змею". Мы сели на стульях, на дворе, и смотрели, как обезьяна то влезала на дерево, то старалась схватить которого-нибудь из бегавших мальчишек или собак. Ни тех, ни других она терпеть не могла, как сказали нам хозяева. Детей не пускали к ней, а собак, напротив, подталкивали. Надо было видеть, как она схватит преобладающую собаку и начнет так поворачивать и кусать ее, что та с визгом едва вывернется из лап ее и бежит спрятаться. Потом обезьяна сядет, подгорюнится и смотрит на нас. Кучера стали бросать в нее камни, но она увертывалась так ловко, что ни один не попадал. Солнце уже садилось, когда мы поехали дальше, к Устеру, по одной, еще не конченной дороге. Песок, груды камней и рытвины – вот что предстояло нам. Мы переправились вброд через реку, остановились на минуту около какого-то шалаша, где продавали проходим хлеб, кажется, еще водку и где наши купили страусовых яиц, величиной с маленькую дыню.

Недалеко от Устера мы объехали кругом холма, который где-нибудь в саду мог представлять большую гору: это – куча камней, поросших кустарниками, в которых, говорят, много змей, оттого она и называется Шлянгенхель, то есть Змеиная горка. Вообще колония изобилует змеями; между ними много ядовитых и, между прочим, известная кобра-капелла. В Стелленбоше Ферстфельд сказывал нам, что, за несколько дней перед нами, восьмилетняя девочка сунула руку в нору ящерицы, как казалось ей, но оттуда выскочила очковая змея и ужалила ее. Девочка чрез полчаса умерла. На мызе Клейнберг говорили, что в окрестностях водится большая, желтая, толстая змея, которая, нападая на кого-нибудь, становится будто на хвост и перекидывается назад.

Совсем стемнело, когда мы стали подъезжать к Устеру. Дорога ужасная: пески, камни, беспрестанные ямы. Иногда мы получали такие толчки, что экипаж откидывало в сторону. Темнота адская; мы не видели, куда ехали: перед глазами стояла как будто стена. Лошади бежали чуть-чуть заметной рысью. "Как бы в овраг не свалиться", – говорили мы. "Нет, не свалимся, – отвечал Вандик, – на камень, может быть, попадем не раз, и в рытвину колесо заедет, но в овраг не свалимся: одна из передних лошадей куплена мною недели две назад в Устере: она знает дорогу". – "Да вот, въезжаем, вот здания какие-то!" – сказал барон. В самом деле, мы поравнялись с какими-то темными массами, которые барон принял за дома; но это оказались деревья. Мы продолжали трястись и пробирались ощупью. Через четверть часа Зеленый сказал: "Вот теперь так приехали: я вижу белую стену неподалеку". "Это Устер?" – спросили Ван-дика. "Нет, это ферма, – сказал он, – от нее еще мили четыре до Устера". Ах, какое наказание! Местами мы проезжали большие пространства булыжника: это значит ехали по высохшему руслу реки. Колеса так визжали в камнях, что нельзя было разговаривать. Мы еще несколько раз ошиблись, принимая то кусты, то ближайшие холмы за городские здания. Потом нам надоело и ехать и ошибаться: мы соскучились и сидели молча, только хватались за бока, когда получали толчок. Наконец, через добрый час езды от фермы, Вандик вдруг остановил лошадей и спросил кого-то и что-то по-голландски. Ему крикнуло в ответ голосов двадцать. "Что это? где мы?" – спрашиваем Вандика. "В городе, – отвечал он, – да вот не вижу улицы, не знаю, как проехать к отелю". Я напряг зрение в темноте и отличил силуэты темных фигур, которые стояли около нашего экипажа. "Что это за народ?" – "Black people", – отвечал Вандик, пуская лошадей дальше. Вдруг черные что-то дружно крикнули нам вслед, лошади испугались и сильно дернули вперед. "Аппл!" – закричал Вандик и, обратясь, тоже что-то крикнул черным. Показались огни, и мы уже свободно мчались по широкой, бесконечной улице, с низенькими домами по обеим сторонам, и остановились у

ярко освещенного отеля, в конце города.

"Ух, уф, ах, ох!" – раздавалось по мере того, как каждый из нас вылезал из экипажа. Отель этот был лучше всех, которые мы видели, как и сам Устер лучше всех местечек и городов по нашему пути. В гостиной, кудаходишь прямо с площадки, было всё чисто, как у порядочно живущего частного человека: прекрасная новая мебель, крашенные полы, круглый стол, на нем два большие бронзовые канделябра и ваза с букетом цветов.

Очевидно, что хозяева англичане. Мистер Бен с бароном отправились хозяйничать, хлопотать об ужине. Посьет ухаживал около Бена, стараясь отблагодарить его постоянным вниманием за предпринятую им для нас поездку. Я сел на балкон и любовался темной и теплой ночью, дышал и не надышался безмятежным, чистым воздухом. Вдали, на темном фоне неба, лежали массы еще темнее: это горы. Гошкевич вышел на балкон, долго вслушивался и вдруг как будто свалился с крыльца в тьму крошечную и исчез. "Куда вы?" – кричал я ему вслед. "Тут должна быть близко канава, – отвечал он, – слышите, как лягушки квакают, точно стучат чем-нибудь; верно, не такие, как у нас; хочется поймать одну". В самом деле, кузнечики и лягушки взапуски отличались одни перед другими.

Ужин, благодаря двойным стараниям Бена и барона, был если не отличный, то обильный. Ростбиф, бифштекс, ветчина, куры, утки, баранина, с приправой горчиц, перцев, сой, пикулей и других отрав, которые страшно употребить и наружно, в виде пластырей, и которые англичане принимают внутрь, совсем загромождали стол, так что виноград, фиги и миндаль стояли на особом столе.

Было весело. Бен много рассказывал, барон много ел, мы много слушали, Зеленый после десерта много дремал.

После долгой беседы за ужином нас развели по комнатам. Я с Зеленым заняли большой номер, с двумя постелями, барон и Посьет спали отдельно в этом же доме, а мистер Бен, Гошкевич и доктор отправились во флигель, выстроенный внутри двора и обращенный дверями к садику. Окон в их комнатах не было, да и жарко было бы от солнца. А кому нужен свет, тот мог отворить дверь. Оно, как видите, просто, первобытно, по-африкански. Зеленый спал мертвым сном, даже прислуга – негр и девка, долго гремевшие ложками и тарелками, угомонились. Тишина воцарилась мертвая. Я тоже наконец хотел лечь спать, но прежде посвятил несколько минут тщательному осмотру своей кровати.

Она была большая, двуспальная, как везде в английских владениях, но такой, как эта, я еще не видывал. Она была под балдахином из темной шерстяной материи, висевшей тяжелыми фестонами, с кистями и бахромой. На задней доске кровати стоял какой-то щит; на нем вырезано было изображение как будто короны и герба. Занавески, мрачного цвета, с крупными складками, плотно закрывали высокую постель. Я раза три обошел вокруг этого катафалка и не знал, как приступить к утрюмому ложу; робость напала на меня. Мне пришел на память древний замок и мрачная комната, в которой гостил и ночевал какой-нибудь Плантагенет или Стюарт. И с тех пор комната читается, как святыня: она наглухо заперта, и постель оставлена в своем тогдашнем виде; никто не дотрогивался до нее, а я вдруг лягу! Однако ж надо было лечь. Я раздвинул занавески, и передо мной представилась целая гора пуховиков с неизменной длинной и круглой подушкой. Несколько одеял, сложенных вместе, были так массивны, что я насилу их поднял. Хотел влезть и не мог: высоко.

Два раза пытался я добраться до середины постели и два раза скатывался долой.

Так и остался на краю. Я стал уже засыпать, как вдруг услышал шорох. Что это? уж не тень ли королевская идет на свой старый ночлег? Шорох всё сильнее и сильнее; вскоре по балдахину началась мелкая и частая беготня – мышей. Ну, это не беда. Я хотел было заснуть, но вдруг мне пришло в голову сомнение: ведь мы в Африке; здесь вон и деревья, и скот, и люди, даже лягушки не такие, как у нас; может быть, чего доброго, и мыши не такие: может быть, они... Не решив этого вопроса, я засыпал, но беготня и писк разбудили меня опять; открою глаза и вижу, что к окну приблизится с улицы какая-то тень, взглянет и медленно отодвинется, и вдруг опять сон осилит меня, опять разбудят мыши, опять явится и исчезнет тень в окне... Точно как в детстве бывало, когда еще нервы не окрепли: печь кажется в

темноте мертвецом, висящее всегда в углу платье – небывалым явлением. После этого сравнения, мелькнувшего у меня в голове, как ни резво бегали мыши, как ни настойчиво заглядывала тень в окно, я не дал себе труда дознаваться, какие мыши были в Африке и кто заглядывал в окно, а крепко-накрепко заснул.

Рано утром всё уже было на ногах, а я еще всё спал. Даже барон, и тот встал и приходил два раза сказать, что breakfast на столе. Пришел Посьет и тоже торопил вставать: "Пора-де ехать". – "Да куда это с этих пор?" – "Визиты делать". – "Какие, кому в Устере визиты делать?" – "А к русскому, который здесь живет. Уж мистер Бен завтракает. Вставайте: он поведет нас, – торопил неотвязчивый Посьет. – Потом, – говорил он, – вчера здешний magistrate (судья), которого мы видели в Бенсклюфе (ущелье Бена), просил заехать к нему; потом отправимся на минеральные воды". – "Потом еще куда? – перебил я, – и всё в один день!" Но Посьет заказал верховых лошадей и велел заложить наши экипажи. Я оделся, вышел в поле и тут только увидел, каким прекрасным пейзажем гор ограничен Устер. Громады были местами зелены, местами изрыты и дики, с наростами седых камней, с группами деревьев, с фермами и виноградниками. Равнина вокруг гор была частью песчана, частью зелена и уставлена фермами. День начинался блестящий и жаркий. Пока еще была свежая прохлада, я сделал маленькую прогулку по полям, с маисом и виноградом, и воротился на балкон, кругом обсаженный розовыми кустами, миртами и другими, уже отцветшими, деревьями.

Вскоре раздался топот: готтентот приехал верхом на одной лошади, а двух вел порожних, потом явились и наши кучера.

В ожидании товарищей, я прошелся немного по улице и рассмотрел, что город выстроен весьма правильно и чистота в нем доведена до педантизма. На улице не увидишь ничего лишнего, брошенного. Канавки, идущие по обеим сторонам улиц, мостики содержатся как будто в каком-нибудь парке. "Скучный город!" – говорил Зеленый с тоской, глядя на эту чистоту. При постройке города не жалели места: улицы так широки и длинны, что в самом деле, без густого народонаселения, немного скучно на них смотреть.

Впрочем, это только слава, что велик город. Будет велик, когда в черту его войдут целые поля! Одних площадей, или скверов, здесь около 24; каждая площадь имеет до 11 акр, сказывал Бен. В городе теперь пока, и с его уездом, около 5000 жителей. Он еще ждет народонаселения, как и вся колония. Проезжая эти пространства, где на далекое друг от друга расстояние разбросаны фермы, невольно подумаешь, что пора бы уже этим фермам и полям сблизиться так, чтобы они касались друг друга, как в самой Англии, чтоб соседние нивы разделялись только канавой, а не степями, чтоб ни один клочок не пропал даром... Но где взять народонаселения? Здесь нет золота, и толпа не хлынет сюда, как в Калифорнию и Австралию. Здесь нужны люди, которые бы шли на подвиг; или надо обмануть пришельцев, сказать, что клад зарыт в земле, как сделал земледелец перед смертью с своими детьми, чтобы они изрыли ее всю. На это мало найдется охотников. Английское правительство хотело помочь горю и послало целый груз неохотников – ссыльных; но жители Капштата толпою вышли на пристань и грозили закидать их камнями, если они выйдут на берег.

Черные еще в детстве: они пока, как дети, кусают пекущуюся о них руку.

Народонаселение в Устере смешанное. Здесь довольно и черных. Для них есть особая церковь, которых всего две; обе английские. Жители занимаются земледелием почти во всех видах. До сих пор мало было сбыта, потому что трудно возить продукты в горах. С устройством дороги через ущелье Устер и все ближайшие к Бенсклюфу места должны подняться. Кроме хлеба здесь много и плодов; особенно хвалят яблоки и груши. Те, которые мы видели, нельзя есть: они, правда, велики, но жестки и годны на варенье или в компот. Другие плоды все уже отошли.

Около города текут две реки: Гекс и Брееде. Из Гекса вода через акведуки, миль за пять, идет в город. Жители платят за это удобство маленькую пошлину.

Товарищи воротились от мнимого русского. Он из немцев, по имени Вейнерт, жил долго в Москве в качестве учителя музыки или что-то в этом роде, получил за службу

пенсион и удалился, по болезни, сначала куда-то в Германию, потом на мыс Доброй Надежды, ради климата. Он по-русски помнил несколько слов, всё остальное забыл, но любил русских и со слезами приветствовал гостей. Он болен, кажется, параличом, одинок и в тоске доживает век. Вот что сказали мне, воротясь от Вейнерта, товарищи, прибавив, что вечером он сам придет.

Становилось, однако, жарко; надо было отправляться к минеральным источникам и прежде еще заехать к Лесюеру, судье, с визитом. Барон, Посьет и Гошкевич поехали верхом, а мы в экипажах. В конце улицы стоял большой двухэтажный, очень красивый дом с высоким крыльцом и закрытыми жалюзи. Мы постучались: негритянка отворила нам двери, и мы вошли почти ощупью в темные комнаты. Негр открыл жалюзи и ввел нас в чистую большую гостиную, убранную по-старинному, в голландском вкусе, так же как на мызе Эльзенборг. Чрез минуту явился хозяин, в черном фраке, в белом жилете и галстухе. Он молча, церемонно подал нам руки и заговорил по-английски о нашей экспедиции, расспрашивал о фрегате, о числе людей и т. п. Тип француза не исчез в нем: черты, оклад лица ясно говорили о его происхождении, но в походке, в движениях уж поселилась не то что флегма, а какая-то принужденность.

По-французски он не знал ни слова. Пришел зять его, молодой доктор, очень любезный и разговорчивый. Он говорил по-английски и по-немецки; ему отвечали и на том и на другом языке. Он изъяснил, как и все почти встречавшиеся с нами иностранцы, удивление, что русские говорят на всех языках. Эту песню мы слышали везде. "Вы не русский, – сказали мы ему, – однако ж вот говорите же по-немецки, по-английски и по-голландски, да еще, вероятно, на каком-нибудь из здешних местных наречий".

Хозяева повели нас в свой сад: это был лучший, который я видел после капштатского ботанического. Сад старый, тенистый, с огромными величавыми дубами, исполинскими грушевыми и другими фруктовыми деревьями, между прочим персиковыми и гранатовыми; тут были и шелковичные деревья, и бананы, виноград. Меня поразило особенно фиговое дерево, под которым могло поместиться более ста человек. Под тенью его мы совсем спрятались от солнца.

"Что это не потчуют ничем?" – шептал Зеленый, посматривая на крупные фиги, выглядывавшие из-за листьев, на бананы и на кисти кое-где еще оставшегося винограда. Хозяева как будто угадали его мысль: они предложили попробовать фиги, но предупредили, что, может быть, они не совсем спелы. Мы попробовали и бросили их в кусты, а Зеленый съел не одну, упрекая нас "чересчур в нежном воспитании".

Источники отстоят от Устера на 4 1/2 английские мили. Всё это пространство занято огромной луговиной, которая зимой покрывается водой. Эта луговина, вместе с источниками, называется Brandt Valley. Мы ехали песками по речному дну, по которому местами росла трава. Вскоре подъехали и к самой речке. Она была довольно широка и глубока. Кучера не знали брода, но в это время переходили реку готтентоты с волами: по их следам проехали и мы. Много было возни с лошадьми. Мальчишка-готтентот должен был сначала их вести, Вандик беспрестанно кричать "аппл". Верховые лошади тоже упрямылись. У наших всадников ноги по колени ушли в воду. Они не предвидели этого обстоятельства, а то, может быть, и не поехали бы верхом. Один из них, натуралист, хотел, кажется, избавиться от этого неудобства, громоздился, громоздился на седле, подбирая ноги, и кончил тем, что, к немалому нашему удовольствию, упал в воду. Жара была невыносимая; лошади по песку скоро ехать не могли, и всадники не знали, куда деться от солнца: они раскраснелись ужасно и успели загореть. Я из глубины коляски, из-под полотняного крова, воссылал благодарственные моления небу, что не еду верхом.

Но вот и приехали. Видим: в одном месте из травы валит, как из миски с супом, густой пар и стелется по долине, обозначая путь ключа. Около вод стояла небольшая, бедная ферма, где мы оставили лошадей. У самых источников росли прекрасные деревья: тополи, дубы, ели, айва, кусты папоротника, шиповника и густая сочная трава. По тропинке, сквозь кусты, пробрались мы не без труда к круглому небольшому бассейну, в который струился горячий

ключ, и опустили в него руки. Горячо, но можно продержаться несколько секунд; брали воду в рот: ни вкуса, ни запаха. Мы опускали туда яйцо, Зеленый айву: но ни яйцо, ни айва не варились. Зять Лесюера, доктор, сказывал, что как ни горяча вода, но она не только не варит ничего, но даже не годится для бритья, не размягчает бороды. "Где же холодный ключ?" – спросил я. "А вот", – сказали мне, указывая под ноги. "Где?" – "Да вот". – "Это?" Я посмотрел, не пролили ли где поблизости из ушата воду, и та бы стремительнее потекла. На сажень от горячего источника струилась из-под дерева нить воды и тихо пропадала в траве – вот вам и минеральный ключ! Воды эти помогают более всего от ревматизма; но больных было всего трое; они жили в двух-трех хижинах, построенных далеко от истока ключей. Посьет, Бен и доктор пошли туда, а я остался. Ужасно было переходить горячую, открытую равнину под вертикальными, полуденными лучами солнца.

Я предпочел остаться в тени деревьев и стал помогать натуралисту ловить насекомых. Он был близорук до слепоты, и ему надо было ползать в траве, чтоб увидеть насекомое. Я заметил множество огромных, ярко-красных кузнечиков, которые не прыгали, как наши, а летали; но их удобно было ловить: они летели недолго и тотчас опускались. Он прятал их в карманы, клал в бумажки, в фуражку – везде. Но всё это ни к чему не повело: на другой день нельзя было войти к нему в комнату, что случалось довольно часто по милости змей, ящериц и потрошенных птиц. "Что это у вас за запах такой?" – "Да вон, – говорил он, – африканские кузнечики протухли: жирны очень, нельзя с ними ничего сделать: ни начинить ватой, ни в спирт посадить – нежны".

Наши товарищи, путешествующие с самоотвержением, едва дотащились назад после посещения больных. Удивительно, как и эти трое больных запаслись ревматизмом в климате, в котором непростительно простудиться! Будь эти воды в Европе, около них возникло бы целое местечко; а сюда из других частей света ездят лечиться одним только воздухом; между тем в окружности Устера есть около восьми мест с минеральными источниками. Мы взяли в бутылку воды, некоторые из всадников пересели в экипаж, и мы покинули это живописное место, оживленное сильною растительностью.

В Устере сейчас сели за tiffin, второй завтрак, потом пошли гулять, а кому жарко, тот сел в тени деревьев, на балконе дома. Часов в пять, когда жара спала, пошли по городу, встретили доктора, зять Лесюера. Он повел нас в церковь, выстроенную самим пастором для черных. Другая видна была вправо от большой улицы, на площадке; но та была заперта. "Скучный город Устер! – твердил Зеленый, идучи с нами, – домой хочу, на фрегат: там теперь ванты перетягивают – славно, весело!" В этих немногих словах высказался моряк: он любил свое дело. Мы вошли в церковь черных. Проще ничего быть не может: деревянная, довольно большая зала, без всяких украшений, с хорами. Вдоль от алтаря до выхода в два ряда стояли скамьи грубой работы. Впереди, ближе к алтарю, было поставлено поперек церкви несколько скамеек получше. "А это для кого?" – спросил я. "Это для белых, которые бы вздумали прийти сюда". – "Зачем это отличие в церкви? – заметил я. – Может быть, черные мысленно делают не совсем выгодное заключение о смирении своих наставников". – "Нет, тут другая причина, – сказал доктор, – с черными нельзя вместе сидеть: от них пахнет: они мажут тело растительным маслом, да и испарина у них имеет особенный запах".

В самом деле, в тюрьмах, когда нас окружали черные, пахло не совсем хорошо, так что барон, более всех нас заслуживший от Зеленого упрек в "нежном воспитании", смотрел на них, стоя поодаль.

Мы вошли к доктору, в его маленький домик, имевший всего комнаты три-четыре, но очень уютный и чисто убранный. Хозяин предложил нам капского вина и сигар. У него была небольшая коллекция предметов натуральной истории.

Между прочим, он подарил нашему доктору корень алоэ особой породы, который растет без всякого грунта. Посади его в пустой стакан, в банку, поставь просто на окно или повесь на стену и забудь – он будет расти, не завянет, не засохнет. Так он рос и у доктора, на стене, и года в два обвил ее всю вокруг.

Когда мы пришли в свои отель часу в седьмом, столовая уж ярко освещена была

многими канделябрами. Стол блистал, как банкет. Это был не вчерашний импровизированный обед, а обдуманый и приготовленный с утра. Тут были супы, карри, фаршированные мяса и птицы, сосиски, зелень. Наш скромный доктор так и обомлел, когда вошел в столовую. Он был, по строгой умеренности и простоте нравов, живой контраст с бароном, у которого гастрономические наклонности были развиты до тонкости. "Ведь уж мы, кажется, обедали, – заметил он, – четыре блюда имели". – "То был tiffing, то есть второй завтрак, а не обед, – заметил барон. – Вчера без обеда, и сегодня тоже – слуга покорный!" Обед тянулся до полуночи. Здесь Бен показал себя и живым собеседником: он пел своим фальцетто шотландские и английские песни на весь Устер, так что я видел сквозь жалюзи множество глаз, смотревших с улицы на наш пир. Мы тоже пели, и хором, и поодиночке, с аккомпанементом фортепиано, которое тут было в углу. "Thank you, thank you", – повторял Бен после каждой русской песни, каждого немилосердно растерзанного итальянского мотива.

В середине обеда вдруг вошел к нам в столовую пожилой человек, сильно разбитый ногами. Одну из них он немного приволакивал. "Сдрастуйте, каспада, – сказал он, – карашо, карашо", – прибавил потом, не знаю к чему. Мы расступились и дали ему место за столом. Это был Вейнерт, quasi-русский, с которым наши познакомились утром. Он с умилением смотрел на каждого из нас, не различая, с кем уж он виделся, с кем нет, вздыхал, жалел, что уехал из России, просил взять его с собой, а под конец обеда, выпив несколько рюмок вина, совсем ослабел, плакал, говорил смесью разных языков, примешивая беспрестанно карашо, карашо. Он напоминал мне старые наши провинциальные нравы: одного из тех гостей, которые заберутся с утра, сидят до позднего вечера и от которого не знают, как освободиться. От него уходят, намекают ему, что пора домой, шепчутся, а он всё сидит, особенно если еще выпьет. Мы, один за одним, разошлись по своим комнатам, а гость пошел к хозяевам, и мы еще долго слышали, как он там хныкал, вздыхал и как раздавались около него смех и разговоры. Уж было за полночь, когда я из окна видел, как он, с фонариком в руках, шел домой.

На другой день утром мы поехали обратно. У Змеиной горки завидели мы вдали, в поле, какую-то большую белую птицу, видом напоминающую аиста, которая величаво шагала по траве. "Секретарь, секретарь!" – кричала нам ученая партия. Мы все повыскакивали из экипажей и побежали по кустам смотреть птицу, которая носит это имя. Заметив приближающихся людей, птица начала учащенными шагами описывать круги по траве, всё меньше и меньше, и когда мы подошли настолько, что могли разглядеть ее, она взмахнула крыльями и скрылась. Птица "секретарь" известна тем, что ведет деятельную войну с змеями. У нее толстые сильные ноги и острые когти. Она одним ударом ноги раздробляет голову кобре-капелле или подхватит ее в когти, взлетит повыше и бросит на камень.

Садясь в экипаж, я заметил, что у нас опять новая лошадь. "Где ж та?" – спросил я Вандика. "Вон она!" – отвечал он, указывая назад. Я увидел сзади наших экипажей всадника: наш готтентот-мальчишка ехал верхом. Затем он и был взят в поездку, как объяснилось теперь. "А что ж с этой лошадейю станешь делать?" – спросил я. "Променяю в Паарле на ту, которую видел на лугу". – "А ту в Капштат возьмешь?" – "Нет, променяю в Стелленбоше на маленькую, беленькую". – "Как же, мальчишка всё будет ехать сзади, каждый раз на новой лошади?" – "Yes", – отвечал Вандик с усмешкой.

Только мы проехали Змеиную гору и Зеленый затянул было: "Что ты, дева молодая, не отходишь от окна", как мистера Бена кто-то будто кольнул. Он остановил повозку, быстро выскочил и еще быстрее побежал в кусты. Зеленый с хохотом стал делать лукавые замечания. Но за Беном также быстро повыскакали и прочие спутники. Хохот и лукавые замечания удвоились. Я подумал: не опять ли показался секретарь? Оказалось, что Бен хотел осмотреть поле для новой дороги, которую должен был прокладывать от ущелья до Устера. Мы не хотели отстать и пошли за ними. Но трава была так густа, кусты так непроницаемы, Змеиная горка так близка и рассказы о змеях так живы, что молодой наш спутник,

обыкновенно не робкий, хохочущий и среди опасностей, пустился, однако ж, такими скачками вперед, вслед за первой партией, что мы с бароном остановились и преследовали его дружным хохотом. Он скакал через кусты, бежал, спотыкался, опять скакал, как будто за ним бросились в погоню все обитатели Змеиной горки. Среди этих скачков он отвечал нам также хохотом.

Вскоре всё пришло в прежний порядок. Мы тряслись по плохой дороге рысью, за нами тряся мальчишка-готтентот, Зеленый заливался и пел: "Разве ждешь ты? да кого же? не солдата ли певца?" Мы с бароном симпатизировали каждому живописному рву, группе деревьев, руслу иссохшей речки и наслаждались молча. Из другого карта слышался живой разговор. Так въехали мы опять в ущелье, и только где становилось поугрюмее, Зеленый опять морщился и запевал мрачно: "Не бил барабан перед смутным полком". На мызе Клейнберг сын Бена встретил нас верхом. Здесь взяли мы купленных змей, тигровую шкуру, подразнили обезьяну и поехали ко второй тюрьме, к жилищу молодого Бена.

По дороге везде работали черные арестанты с непокрытой головой, прямо под солнцем, не думая прятаться в тень. Солдаты, не спуская с них глаз, держали заряженные ружья на втором взводе. В одном месте мы застали людей, которые ходили по болотистому дну пропасти и чего-то искали. Вандик поговорил с ними по-голландски и сказал нам, что тут накануне утонул пьяный человек и вот теперь ищут его и не могут найти.

К обеду приехали мы к молодому Бену и расположились обедать и кормить лошадей. Погода была так же хороша, как и за три дня, когда мы тут были. Но картина угрюмых скал, реки, ущелья и моста оживлена была присутствием множества людей. Черные теснились на дворе, по скалам, но более всего на мосту, который строился. "Вот посмотрите, – сказал нам мистер Бен, – сейчас взрыв будет". Мы обратили взгляд на людей, толпившихся за мостом, около кучи камней. Вдруг люди все бросились бежать от камней в разные стороны и каждый присел неподалеку, кто за пень, кто за камень, и смотрели оттуда, что будет.

Раздался взрыв, как глухой пушечный выстрел. Почва приподнялась немного под камнями, и некоторые из них подскочили, а другие просто покатались в сторону. Сделано было при нас несколько таких взрывов.

Опять мы рассматривали и расспрашивали, с помощью миссионера, черных о их именах, племени, месторождении. Наконец стали снимать с них портреты, сначала поодиночке, потом Гошкевич хотел снять одну общую картину со всего этого живописного уголка ущелья. Из черных составили группу на дворе. Мистер Бен, с сыном, и миссионер стояли возле них. Мы с бароном взобрались на ближайшую скалу, которая была прямо над флигелем Бена и тоже входила в картину. Нас просили не шевелиться. Но мы украдкой покуривали, в твердом убеждении, что Гошкевич по близорукости не разглядит.

Впрочем, из этой великолепной картины, как и из многих других, ничего не выходило. Приготовление бумаги для фотографических снимков требует, как известно, величайшей осторожности и внимания. Надо иметь совершенно темную комнату, долго готовить разные составы, давать бумаге вылеживаться и соблюдать другие, подобные этим условия. Несмотря на самопожертвование Гошкевича, с которым он трудился, ничего этого соблюсти было нельзя.

Перед обедом черные принесли нам убитую ими еще утром какую-то ночную змею. Она немного менее аршина, смугло-белая, очень красивая на вид. Ее удавили, принесли на тесемке и повесили на ручке замка у двери. Ее трогали, брали в руки, но признаков жизни не замечали. Глаза у ней закрылись, мелкие и частые зубы были наруже. Она висела уже часа два. Мне вздумалось дотронуться ей до хвоста горячей сигарой: вдруг змея начала биться, извиваться, поджимать и опускать хвост. Другие стали повторять то же самое.

Потом посадили ее в спирт.

После обеда мы распрощались с молодым Беном и отправились в Веллингтон, куда приехали поздно вечером. Топающий хозяин опять поставил весь дом вверх дном, опять наготовил баранины, ветчины, чаю – и опять всё дурно.

Утром, перед отъездом из Веллингтона, мы пошли с визитом к г-ну Бену благодарить

его за обязательное внимание к нам. Бен представил нас своим дочерям, четырем зрелым африканкам, то есть рожденным в Африке. Жена у него была голландка. Он вдовец. Около девиц было много собачонок – признак исчезающих надежд на любовь и супружество. Зрелые девы, перестав мечтать, сосредоточивают потребность любить – на кошках, на собачонках, души более нежные – на цветах. Старшая дочь была старая дева. Третья, высокая, стройная девушка, очень недурна собой, прочие – так себе. Они стали предлагать нам кофе, завтрак, но мы поблагодарили, отговариваясь скорым отъездом. Мистер Бен предложил посмотреть его музей ископаемых. Несколько небольших остовов пресмыкающихся он предложил взять для петербургского музея натуральной истории.

На прощанье он сказал нам, что мы теперь видели полный образчик колонии. "Вся она такая: те же пески, местами болота, кусты и крупные травы".

Мы ехали по знакомой уже дороге рысью. Приехали в Паарль. Вандик повез нас другой дорогой, которая идет по нижним террасам местечка. Я думал, что он хочет показать нам весь Паарль, а оказалось, что ему хотелось только посмотреть, ходит ли еще на лугу лошадь, которая его так озадачила в первый проезд. Только что он привез нас в знакомую гостиницу, как отпряг лошадей и скрылся. На этот раз нас встретила ма. Па был тоже дома. Это сухощавый и молчаливый англичанин, весьма благовидной наружности и с приличными манерами. Он, казалось, избегал путешественников и ни во что не вмешивался, как человек, не привыкший содержать трактир. Может быть, это в самом деле не его ремесло; может быть, его принудили обстоятельства. Всё это может быть; но дело в том, что нас принимали и угощали ма и вторая девица. Первая была, по словам сестры, больна и лежала в постели. Мы пожалели и велели ей кланяться.

По дороге от Паарля готтентот-мальчишка, ехавший на вновь вымененной в Паарле лошади, беспрестанно исчезал дорогой в кустах и гонялся за маленькими черепахами. Он поймал две: одну дал в наш карт, а другую ученой партии, но мы и свою сбыли туда же, потому что у нас за ней никто не хотел смотреть, а она ползала везде, карабкаясь вон из экипажа, и падала.

Вечером мы нагрязнули в Стелленбош, заранее обещая себе обильный ужин, виноград, арбузы, покойный ночлег и выразительные взгляды толстой, черноглазой мулатки. Но дом был весь занят: из Капштата ехали какие-то новобрачные домой, на ферму, и ночевали в той самой комнате, где мы спали с Зеленым. Нам, однако ж, предложили ужин и фрукты, и даже взгляды мулатки, всё, кроме ночлега. Хозяйка для спанья заняла комнаты в доме напротив, и мы шумно отправились на новый ночлег, в огромную, с несколькими постелями, комнату, не зная, чей дом, что за люди живут в нем. Видели только, что вечером сидело на балконе какое-то семейство.

На другой день рано мы уехали. Мальчишка-готтентот тряся сзади уже на беленькой стелленбошской лошадке. Паарльская была запряжена у нас в карте, а устерская осталась в Стелленбоше.

К обеду, то есть часов в пять, мы, запыленные, загорелые, небритые, остановились перед широким крыльцом "Welch's hotel" в Капштате и застали в сенях толпу наших. Каролина была в своей рамке, в своем черном платье, которое было ей так к лицу, с сеточкой на голове. Пошли расспросы, толки, новости с той и с другой стороны. Хозяйки встретили нас, как старых друзей.

Ричард сначала сморщился, потом осклабился от радости, неимоверно скривил рот и нос на сторону, хотел было и лоб туда же, но не мог, видно платок на голове крепко завязан: у него только складки на лбу из горизонтальных сделались вертикальными. Каролина улыбалась нам приятнее, нежели вновь прибывшим из Капштата товарищам. Слуги вмиг растащили наши вещи по нумерам, и мы были прочно водворены в отеле, как будто и не выезжали из него. Молодая служанка Алиса, как все английские служанки, бросалась из угла в угол, с легкостью птицы летала по лестницам, там отдавала приказание слугам, тут отвечала на вопрос, мимоходом кому-нибудь улыбалась или отмахивалась от чересчур настойчивых любезностей какого-нибудь кругосветного путешественника.

Шумной и многочисленной толпой сели мы за стол. Одних русских было человек двенадцать да несколько семейств англичан. Я успел заметить только белокурого полного пастора с женой и с детьми. Нельзя не заметить: крик, шум, везде дети, в сенях, по ступеням лестницы, в нумерах, на крыльце, – и всё пастора. Настоящий Авраам – после божественного посещения!

Как только я пришел в свой номер, тотчас посмотрел, вставлено ли стекло. Нет. Я с жалобой к хозяйке: "Что ж стекло-то?" – спросил я с укором.

Я так и ждал, что старуха скажет: "Праздники были, нельзя", но вспомнил, что у протестантов их почти нет. "Что ж она скажет мне? – думал я, – что забыла, что жаль деньги тратить; живет и так". Она молчала. Я повторил свою жалобу.

"Война с кафрами всё мешает", – сказала она. Ну, я никак не ожидал такой отговорки: совершенно местная! "Все мастеровые заняты... никак не могла найти. Вот завтра пошлю". Но стекло ни завтра, ни послезавтра, ни во вторичный мой приезд в Капштат вставлено не было, да и теперь, я уверен, так же точно, как и прежде, в него дует ветер и хлещет дождь, а в хорошую погоду летают комары. А всё говорят на русского человека: он беспечен, небрежен, живет на авось; чем "кафрская война" лучше наших праздников?

Жизнь наша опять потекла прежним порядком. Ранним утром всякий занимался чем-нибудь в своей комнате: кто приводил в порядок коллекцию собранных растений, животных и минералов, кто записывал виденное и слышанное, другие читали описание Капской колонии. После тиффинга все расходились по городу и окрестностям, потом обедали, потом смотрели на "картинку" и шли спать.

На другой день по возвращении в Капштат мы предприняли прогулку около Львиной горы. Точно такая же дорога, как в Бенсклюфе, идет по хребту Льва, начинаясь в одной части города и оканчиваясь в другой. Мы взяли две коляски и отправились часов в одиннадцать утра. День начинался солнечный, безоблачный и жаркий донельзя. Дорога шла по берегу моря мимо дач и ферм.

Здесь пока, до начала горы, растительность была скудная, и дачи, с опаленною кругом травой и тощими кустами, смотрели жалко. Они с закрытыми своими жалюзи, как будто с закрытыми глазами, жмурились от солнца. Кругом немногие деревья и цветники, неудачная претензия на сад, делали эту наготу еще разительнее. Только одни исполинские кусты алоэ, вдвое выше человеческого роста, не боялись солнца и далеко раскидывали свои сочные и колючие листья.

Они сплошным забором окружали дачи. На покатосях горы природа изменяется: начинается густая зелень и теснее идут фермы и дачи. Одна из них называется Green Point. Она построена на скате зеленой оконечности Львиной горы. Сюда ездят из города любоваться морем и горой. Мы поехали в гору. Она идет отлого, по прекрасному шоссе, местами в тени густых каштановых и дубовых аллей. Бока горы заросли лесом до самого моря. В лесу, во всех направлениях, идут конные дороги и тропинки. Не последнее наслаждение проехаться по этой дороге, смотреть вниз на этот кудрявый, тенистый лес, на голубую гладь залива, на дальние горы и на громадный зеленый холм над вашей головой слева.

Внизу, между камнями, о которые с яростью плещутся вечные буруны, кое-где в затишьях, в прозрачной воде, я видел стаями игравшую рыбу разной величины и формы.

Но жарко, очень жарко; лошади начинали останавливаться. Пока мы выходили из коляски на живописных местах, я видел, что мальчишка-негр, кучер другой коляски, беспрестанно подбегал к нашему, негру же из племени бичуан, и всё что-то шептался с ним. Лишь только мы въехали на самую высокую точку горы, лошади вдруг совсем остановились и будто не могли идти далее. Кучера стали будто погонять их, а они бесились и рвались к пропастям. Понятна кучерская тактика. Я погрозил мальчишке-негру не заплатить ему всех условленных денег. "T'is hot, very hot, sir (очень жарко), – бормотал он, – лошади не могут идти". Под нами, в полугоре, было какое-то деревянное здание, вроде беседки, едва заметное в чаще зелени. "Что это за дом?" – спросили мы. "Трактир-ротонда, – сказали кучера, – здесь

путешественники заезжают освежиться и отдохнуть". Барон только что услышал об "освежении", как пустился сквозь чащу леса, целиком, вниз, устранив тростью ветви. Мы за ним, и скоро, измученные, добрались до трактира, который окружен открытой круглой галереей, отчего и называется ротондой.

Здесь царствовала такая прохлада, такая свежесть от зелени и с моря, такой величественный вид на море, на леса, на пропасти, на дальний горизонт неба, на качающиеся вдали суда, что мы, в радости, перестали сердиться на кучеров и велели дать им вина, в благодарность за счастливую идею завести нас сюда. Садик, кроме дубов, елей и кедров, был наполнен фруктовыми деревьями и цветочными кустами. Толстая голландка принесла нам лимонаду и вина. Мы закурили сигары и погрузились взглядом в широкую, покойно лежавшую перед нами картину, горячую, полную жизни, игры, красок!

Кучера, несмотря на водку, решительно объявили, что день чересчур жарок и дальше ехать кругом всей горы нет возможности. Что с ними делать: браниться? – не поможет. Заводить процесс за десять шиллингов – выиграешь только десять шиллингов, а кругом Льва все-таки не поедешь. Мы велели той же дорогой ехать домой.

Надо было, однако ж, съездить в Саймонстоун и узнать пообстоятельнее, когда идем в море. Мы вдвоем с Савичем, взяв Вандика, отправились в Саймонстоун на паре, в той же карете, которая возила нас по колонии. Дорогой ничего не случилось особенного, только Савич, проехавший тут один раз, наперед рассказывал все подробности местности, всякую отмель, бухту, ферму: удивительный глаз и славная память! Да еще сын Вандика, мальчик лет шести, которого он взял так, прокататься, долгом считал высовывать голову во все отверстия, сделанные в крышке экипажа для воздуха, и в одно из них высунулся так неосторожно, что выпал вон, и прямо носом. Пустыня огласилась неистовым криком. К счастью, в африканских пустынях нынче почти везде есть трактиры. Там шалуна обмыли, дали примочки, и потом Вандик, с первым встретившимся экипажем, который был, конечно, знаком ему, отослал сына домой.

В Саймонстоуне я застал у нас большие приготовления к обеду и балу, который давали англичанам, в отплату за их обед и бал и за дружеский прием.

Я перепугался: бал и обед! В этих двух явлениях выражалось всё, от чего так хотелось удалиться из Петербурга на время, пожить иначе, по возможности без повторений, а тут вдруг бал и обед! Отец Аввакум также втихомолку смущался этим. Он не был в Капштате и отчаивался уже быть. Я подговорил его уехать, и дня через два, с тем же Вандиком, который был еще в Саймонстоуне, мы отправились в Капштат.

Но отец Аввакум имел, что французы называют, *du guignon* 4}. К вечеру стал подувать порывистый ветерок, горы закутались в облака. Вскоре облака заволокли всё небо. А я подготовлял было его увидеть Столовую гору, назначил пункт, с которого ее видно, но перед нами стояли горы темных туч, как будто стены, за которыми прятались и Стол и Лев. "Ну, завтра увижу, – сказал он, – торопиться нечего". Ветер дул сильнее и сильнее и наносил дождь, когда мы вечером, часов в семь, подъехали к отелю.

Утром я вошел к отцу Аввакуму: окно его комнаты обращено было прямо к Столовой горе. "Ну, смотрите же теперь, – сказал я, – какова гора..." – и открыл ставни. Но горы не было: мрачная, туманная пелена закрывала всё. Дул ветер, в окно летели брызги дождя. Досадно, надо было подождать полудня: авось разгуляется. Алиса принесла нам чаю, потом мы пошли еще в столовую опять пить чай с аккомпанементом котлет, рыбы, дичи и фруктов. "It rain" ("Дождь идет"), – сказала *mr-s Welch*. "Да, – с упреком отвечал я ей, – и в моей комнате тоже". Каролина еще почивала. Я повел отца Аввакума смотреть город. Мы ходили по грязным улицам и мокрым тротуарам, заходили в магазины, прошли по ботаническому саду, но окрестностей не видали: за двести сажен все предметы прятались в тумане. Отец Аввакум зашел в книжный магазин, да там и сел. И та книга ему нравится, и другая нужна; там увидит издание, которого у него нет, и купит книгу. Насилу я вытащил его домой. Там застали суматоху: пастор уезжал в Англию. В сенях лежали грудой чемоданы, узлы, ящики; толпились няньки, дети – и всё исчезло. Стало просторнее, но ненадолго. Мы завтракали

впятером: доктор с женой, еще какие-то двое молодых людей, из которых одного звали капитаном, да еще англичанин, большой ростом, большой крикун, большой говорун, держит себя очень прямо, никогда не смотрит под ноги, в комнате всегда сидит в шляпе. Через час, с пришедшего из Индии парохода, явились другие путешественники и толпой нахлынули в отель.

Трактир стоит на распутии мира. Мыс Доброй Надежды – крайняя точка, перекресток путей в Европу, Индию, Китай, Филиппинские острова и Австралию.

От этого сегодня вы обедаете в обществе двадцати человек, невольно заводите знакомство, иногда успеет зародиться, в течение нескольких дней, симпатия; каждый день вы с большим удовольствием спешите свидеться, за столом или в общей прогулке, с новым и неожиданным приятелем. Но в одно прекрасное утро приходите и, вместо шумного общества или вместо знакомых, обедаете в кругу новых лиц; вместо веселого разговора царствует печальное, принужденное молчание. "Где же те?" Вам подают газету: там напечатано, что сегодня в Англию, в Австралию или в Батавию отправился пароход во столько-то сил, с таким-то грузом и с такими-то пассажирами.

После завтрака я повез отца Аввакума по городу и окрестностям. Напрасно мы глядели на Столовую гору, на Льва: их как будто и не бывало никогда: на их месте висит темно-бурая туча, и больше ничего. Я велел ехать к Green Point. Мы проехали четыре-пять верст по берегу; дальше ехать было незачем: ничего не видать. Ветер свирепствовал, море бушевало. Мы оставили коляску на дороге и сошли с холма к самому морю. Там лежали, частью в воде, частью на берегу, громады камней, некогда сброшенных с горных вершин. О них яростно бились буруны. Я нигде не видал таких бурунов. Они, как будто ряд гигантских всадников, наскakивали с шумом, похожим на пушечные выстрелы, и с облаком пены на каменья, прыгали через них, как взбесившиеся кони через пропасти и преграды, и наконец, обессиленные, падали клочьями грязной, желтой пены на песок. Мы долго не могли отвести глаз от этой монотонной, но грандиозной картины.

За обедом мы нашли вновь прибывшее большое общество. Старый полковник ост-индской службы, с женой, прослуживший свои лета в Индии и возвращавшийся в Англию. Он высокий, худощавый старик, в синей куртке, похож более на шкипера купеческого судна. Жена его – высокая, худощавая женщина с бледно-русыми волосами. Она, волосок к волоску, расположила скудную свою шевелюру и причесалась почти до мозга. Подле меня сидел другой старик, тоже возвращавшийся из Индии, важный чиновник, весьма благообразный, совсем седой. Как бы он годился быть дядей, который возвращается из Индии, с огромным богатством, и подоспевает кстати помочь племяннику жениться на бедной девице, как, бывало, писывали в романах! Он одет чисто, даже изысканно, на пальце у него большой перстень – совершенный дядя! Он давно посматривал на меня, а я на него. Я видел, что он не без любопытства глядит на русских. Вижу, что ему хочется заговорить, узнать, может быть, что-нибудь о России. Пред ним стоял портвейн, передо мной херес. Наконец старик заговорил. "Позвольте мне выпить с вами рюмку вина?" – сказал он. "С удовольствием", – отвечал я, и мы налили – он мне портвейну, которого я в рот не беру, а я ему хересу, которого он не любит. После этого водворилось молчание. Мы жевали. Опять, я вижу, он целится спросить меня. "Какова дорога от Саймонстоуна сюда?" – спросил он наконец. "Очень хорошая!" – ответил я, и затем он больше меня ни о чем не спрашивал. Еще за столом сидела толстая-претолстая барыня, лет сорока пяти, с большими, томными, медленно мигающими глазами, которые она поминутно обращала на капитана. Она крепко была затянута в корсет. Платье сидело на ней в обтяжку и обнаруживало круглые, массивные плечи, руки и прочее, чем так щедро одарила ее природа.

Кушала она очень мало и чуть-чуть кончиком губ брала в рот маленькие кусочки мяса или зелень. Были тут вчерашние двое молодых людей. "Yes, y-e-s!" – поддакивала беспрестанно полковница, пока ей говорил кто-нибудь. Отец Аввакум от скуки, в промежутках двух блюд, считал, сколько раз скажет она "yes". "В семь минут 33 раза", – шептал он мне.

После обеда "картинка" красовалась в рамке, еще с дополнением: подле Каролины – Алиса, или Элейс, как наши звали Alice, издеваясь над английским произношением. Я подошел один любезничать с ними. Цель этой любезности была – выхлопотать себе на вечер восковую свечу. Дня три я напрасно просил, даже дал денег Алисе, чтобы купила свеч. Хозяйки прислали деньги назад, а свечей не прислали. Наконец решились дать мне не сальную свечу. Получив желаемое, я ушел к себе, и только сел за стол писать, как вдруг слышу голос отца Аввакума, который, чистейшим русским языком, кричит: "Нет ли здесь воды, нет ли здесь воды?" Сначала я не обратил внимания на этот крик, но, вспомнив, что, кроме меня и натуралиста, в городе русских никого не было, я стал вслушиваться внимательнее. Голос его приближался всё более и более и выражал тревогу. "Нет ли здесь воды? воды, воды скорее!" – кричал он почти с отчаянием. Я выскочил из-за стола, гляжу, он бежит по коридору прямо в мою комнату; в руках у него гром и молния, а около него распространяется облако смрадного дыма. Я испугался. "Что это такое?" – "Нет ли здесь воды? воды скорее!" – твердил он. У него загорелась целая тысяча спичек, и он до того оторопел, что, забывшись, по-русски требовал воды, тогда как во всех комнатах, в том числе и у него, всегда стояло по целому кувшину. Спички продолжали шипеть и трещать у него в руках. "Вот вода! – сказал я, показывая на умывальник, – и у вас в комнате есть вода". – "Не догадался!" – отвечал он. Я стал звать Алису вынести остатки фейерверка и потом уже дал полную волю смеху. "Не зовите, не зовите, – перебил он меня, – стыдно будет". – "Стыд не дым, глаза не выест, – сказал я, – а от дыма вашего можно в обморок упасть".

На другой день за завтраком сошлось нас опять всего пятеро или шестеро: полковник с женой, англичанин-крикун да мы. Завтракали по-домашнему.

Полковница разливала чай и кофе. Она говорила по-французски, и между нами завязался живой разговор. Сначала только и было толку, что о вчерашнем фейерверке. Я, еще проходя мимо буфета, слышал, как крикун спросил у м-с Вельч, что за смрад распространился вчера по отелю; потом он спросил полковницу, слышала ли она этот запах. "Yes, o yes, yes!" – наладила она раз десять сряду. "Отвратительно, невыносимо", – продолжал крикун. "Yes, u-e-s", – жалобно, с придыханием повторила полковница. "Раз, два, три, четыре!" – считал отец Аввакум, сколько раз она скажет "yes". "А знаете ли, что значит этот "yes"?" – спросил я его. "Это значит подтверждение, наше "да", – отвечал он. "Так, но знаете ли, что оно подтверждает? что вчера отвратительно пахло серой..." – "Что вы: ахти!" – восторженно, заговорил он и, чтоб скрыть смущение, взял всю яичницу к себе в тарелку. "А вы слышали этот запах?" – приставал крикун, обращаясь к полковнику и поглядывая на нас.

"Неправда ли, что похоже было, как будто в доме пожар?" – спросил он опять полковницу. "Yes, yes", – отвечала она. "Пять, шесть!" – считал печально отец Аввакум.

Вскоре она заговорила со мной о фрегате, о нашем путешествии. Узнав, что мы были в Портсмуте, она живо спросила меня, не знаю ли я там в Southsea церкви Св. Евстафия. "Как же, знаю, – отвечал я, хотя и не знал, про которую церковь она говорит: их там не одна. – Прекрасная церковь", – прибавил я.

"Yes... oui, oui", – потом прибавила она. "Семь, – считал отец Аввакум, довольный, что разговор переменялся, – я уж к стати и "oui" сочту", – шептал он мне.

Тучи в этот день были еще гуще и непроницаемее. Отцу Аввакуму надо было ехать назад. С сокрушенным сердцем сел он в карету Вандика и выехал, не видав Столовой горы. "Это меня за что-нибудь Бог наказал!" – сказал он, уезжая. Едва прошел час-полтора, я был в ботаническом саду, как вдруг вижу:

Столовая гора понемногу раздевается от облаков. Сначала показался угол, потом вся вершина, наконец и основание. По зелени ее заблестало солнце, в пять минут всё высохло, кругом меня по кустам щебетали колибри, и весь Капштат, с окрестностями, облился ярким золотым блеском. Мне вчуже стало обидно за отца Аввакума.

Мы одни оставались с натуралистом; но пришла и наша очередь ехать. Нам дано знать, что работы на фрегате кончены, провизия доставлена и через два дня он снимется с якоря.

Мы послали за Вандиком. Он приехал верхом на беленькой стелленбошской лошадке, в своей траурной шляпе, с улыбкой вошел в комнату и, опираясь на бич, по-прежнему остановился у дверей. "Отвези в последний раз в Саймонстоун, – сказал я не без грусти, – завтра утром приезжай за нами". – "Yes, sir, – отвечал он, – а знаете ли, – прибавил потом, – что пришло еще русское судно?" – "Какое? когда?" – "Вчера вечером", – отвечал он. Оказалось, что это был наш транспорт "Двина", который мы видели в Англии.

Жаль было нам уезжать из Капской колонии: в ней было привольно, мы пригрелись к этому месту. Другие говорят, что если они плавают долго в море, им хочется берега; а поживут на берегу, хочется в море. Мне совсем не так: если мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Удобна ли квартира, покойно ли кресло, есть хороший вид, прохлада – мне не хочется дальше. Меня влечет уютный домик с садом, с балконом, останавливает добрый человек, хорошенькое личико. Сколько страстишек успеет забраться в сердце! сколько тонких, сначала неосязаемых нитей протянется отсюда в разные стороны! Поживи еще – и эти нити окрепнут, обратятся в так называемые "узы". Жаль будет покинуть знакомый дом, улицу, любимую прогулку, доброго человека. Так и мне уж становилось жаль бросить мой 8-й номер, Готтентотскую площадь, ботанический сад, вид Столовой горы, наших хозяев и, между прочим, еврея-доктора.

Долго мне будут сниться широкие сени, с прекрасной "картинкой", крыльцо с виноградными лозами, длинный стол с собеседниками со всех концов мира, с гримасами Ричарда; долго будет чудиться и "yes", и беготня Алисы по лестницам, и крикун-англичанин, и мое окно, у которого я любил работать, глядя на серые уступы и зеленые скаты Столовой горы и Чертова пика. Особенно еще как вспомнишь, что впереди море, море и море!

"Good bye!" – прощались мы печально на крыльце с старухой Вельч, с Каролиной. Ричард, Алиса, корявый слуга и малаец-повар – все вышли проводить и взять обычную дань с путешественников – по несколько шиллингов. Дорогой встретили доктора, верхом, с женой, и на вопрос его, совсем ли мы уезжаем:

"Нет", – обманул я его, чтоб не выговаривать еще раз "good bye", которое звучит не веселей нашего "прощай".

Скоро мы выехали из города и катились по знакомой аллее, из дубов и елей, между дач. Но что это меня всё беспокоит? Нельзя прижаться спиной: что-то лежит сзади; под ногами тоже что-то лишнее. "Вы не прижимайтесь очень спиной, – говорил мне натуралист, – там у меня птицу раздавите". Я подвинулся на свою сторону и только собрался опереться боком к экипажу. "Ах, поосторожнее, пожалуйста! – живо предупредил он меня, – там змея в банке, разобьете!" Я стал протягивать ноги. "Постойте, постойте! – торопливо заговорил он, – тут ящик с букашками под стеклом. Да у вас руки пусты: что бы вам поддержать его в руках!" Этого только недоставало! Беда ездить с натуралистами! У самого у него в руках была какая-то коробочка, кругом всё узелки, пачки, в углу торчали ветки и листья. Когда ехали по колонии, так еще он вез сомнительную змею: не знали, околела она или нет.

Доехав до местечка Винберг, мы свернули в него и отправились посетить одного из кафрских предводителей, Сейоло, который содержался там под крепким караулом.

Славное это местечко Винберг! Это большой парк с веселыми, небольшими дачами. Вы едете по аллеям, между дубами, каштанами, тополями. Домики едва выглядывают из гущи садов и цветников. Это всё летние жилища горожан, большею частью англичан-негоциантов. Дорога превосходная, воздух отрадней; сквозь деревья мелькают вдали пейзажи гор, фермы. Особенно хороша Констанская гора, вся покрытая виноградниками, с фермами, дачами у подошвы.

Мы быстро катились по дороге.

Вдруг я вспомнил, что к Сейоло надо привезти какой-нибудь подарок, особенно табаку, а у меня ничего нет. "Где бы купить, Вандик?" – спросил я.

Вандик молча завернул в узенькую аллею и остановился у ворот какой-то хижины. "Что это?" – "Лавочка". – "Где же?" – "Да вот". Ну, эта лавочка может служить выражением первобытной идеи о торговле и о магазине, как эта идея только зародилась в голове того,

кому смутно представлялась потребность продавать и покупать. Под навесом из травы геет сколочено было несколько досок, образующих полки; ни боковых стен, ни дверей не было. На полках была глиняная посуда, свечи, мыло, кофе, еще какие-то предметы общего потребления и, наконец, табак и сигары. Всё это валялось вместе, без обертки, кое-как.

"Дайте мне сигар?" – спросил я у высокого, довольно чисто одетого англичанина. Он подал мне несколько пачек. "Еще нет ли у вас чего-нибудь?" – говорил я, оглядывая лавочку. "Are you of the country?" ("Вы здешний?") – спросил меня продавец. "Нет, а что?" – "То-то я вас никогда не видал, да и по разговору слышно, что вы иностранец. Чего вам еще и зачем?" – прибавил он. "Хочу подарить что-нибудь Сейоло", – сказал я, закулив сигару. И не рад был, что закурил: давно я не курил такой дряни. "Так это вы ему покупаете сигары?" – вдруг спросил он. "Да". Англичанин молча отобрал у меня все пачки и положил назад на полку. "Не стоит ему давать таких хороших сигар: он толку не знает, – прибавил он потом, – а вот лучше подарите ему это". Он подал мне черного листового табаку, приготовленного в виде прессованной дощечки для курения и для жевания. "Он вам будет гораздо благодарнее за это, нежели за то", – говорил хозяин, отдирая мне часть дощечки. "Я всю возьму, – сказал я, – да и то мало, дайте еще". "Довольно, – решительно сказал англичанин, – больше не дам". Не знаю, как и когда, с таким способом торговли, разбогатеет этот купец.

В полуверсте от местечка, на голой, далеко расчищенной кругом площадке, стояло белое небольшое здание, обнесенное каменной стеной. У дверей стояли часовые и несколько каких-то джентльменов. "Можно видеть Сейоло?" – спросили мы. Джентльмены вежливо поклонились, ввели нас в сени, из которых мы вышли на маленький двор к железной решетке. Они отперли дверь и пригласили нас войти. Мы вошли. Маленькое, обнесенное стеной пространство усыпано было желтым песком. В углу навес; там видны были постели. На песке, прямо на солнце, лежали два тюфяка, поодаль один от другого. На одном лежал Сейоло, на другом его жена. Когда мы подошли и кивнули ему головой, он привстал, сел на тюфяке и протянул нам руку. Жена его смотрела на нас, опершись на локоть, и тоже первая подала руку. Я отдал Сейоло табак и сигары. Он взял и, не поглядев, что было в бумаге, положил подле себя. Потом мы молча стали разглядывать друг друга. Я любовался и им, и его женой; они, я думаю, нами не любовались. Он мужчина лет тридцати, высокого роста, вершков четырнадцати, атлетического сложения, стройный, темно-коричневого, матового цвета. Одет он был в жакете и синих панталонах; ноги у него босые, грудь открыта нараспашку. Она – в ситцевом платье европейского покроя, в чулках и башмаках, голова повязана платком. Она светлее мужа цветом. Ей всего лет девятнадцать или двадцать. У ней круглое смугло-желтое лицо, темно-карие глаза, с выражением доброты, и маленькая стройная нога. Они с любопытством следили за каждым нашим движением и изредка усмехались, продолжая лежать.

Нам хотелось поговорить, но переводчика не было дома. У моего товарища был портрет Сейоло, снятый им за несколько дней перед тем посредством фотографии. Он сделал два снимка: один себе, а другой так, на случай. Я взял портрет и показал его сначала Сейоло: он посмотрел и громко захохотал, потом передал жене. "Сейоло, Сейоло!" – заговорила она, со смехом указывая на мужа, опять смотрела на портрет и продолжала смеяться. Потом отдала портрет мне. Сейоло взял его и стал пристально рассматривать.

Наконец пора было уходить. Сейоло подал нам руку и ласково кивнул головой. Я взял у него портрет и отдал жене его, делая ей знак, что оставляю его ей в подарок. Она, по-видимому, была очень довольна, подала мне руку и с улыбкой кивала нам головой. И ему понравилось это. Он, от удовольствия, привстал и захохотал. Мы вышли и поблагодарили джентльменов.

Я вспомнил, что некоторые из моих товарищей, видевшие уже Сейоло, говорили, что жена у него нехороша собой, с злым лицом и т. п., и удивлялся, как взгляды могут быть так различны в определении даже наружности женщины!

"Видели Сейоло?" – с улыбкой спросил нас Вандик. "Да, у него хорошенькая жена", – сказал я, желая узнать, какого он мнения о ней. "Да которая? у него их семь". – "Семь? что

ты?" – "Да, семь; недавно адъютант его привез ему одну, а другую взял. Они по очереди приезжают к нему и проводят с ним недели по три, по четыре". Мы с натуралистом посмотрели друг на друга, засмеялись и поехали дальше.

Сейоло – один из второстепенных вождей. Он взят в плен в нынешнюю войну. Его следовало повесить, но губернатор смягчил приговор, заменив смертную казнь заключением. С тех пор как англичане воюют с кафрами, то есть с 1835 года, эти дикари поступают совершенно одинаково, по принятой ими однажды системе. Они грабят границы колонии, угоняют скот, жгут фермы, жилища поселян и бегут далеко в горы. Там многие племена соединяются и воюют с ожесточением, но не нападают в поле на массы войск, а на отдельные небольшие отряды, истребляют их, берут в плен и прячутся. Когда наконец англичане доберутся до них и в неприступных убежищах, тогда они смиряются, несут повинные головы, выдают часть оружия и скота и на время затихают, грабя изредка, при случае. Их обязывают к миру, к занятиям, к торговле; они всё обещают, а потом, при первой оказии, запасшись опять оружием, делают то же самое. И этому долго не будет конца. Силой с ними ничего не сделаешь. Они подчинятся со временем, когда выучатся наряжаться, пить вино, увлекутся роскошью. Их победят не порохом, а комфортом. Эти войны имеют, кажется, один характер с нашими войнами на Кавказе.

Сейоло нападал на отряды, отбивал скот, убивал пленных англичан, и, когда увидел, что ему придется плохо, что, рано или поздно, не избежит их рук, он добровольно сдался начальнику войск, полковнику Меклину, и отдан был под военный суд.

Чем ближе подъезжали мы к Саймонстоуну, тем становилось скучнее.

Особенно напала на меня тоска, когда я завидел рейд и наш фрегат, вооруженный, с выстреленными брамстенгами, вытянутым такелажем, совсем готовый выйти в море. Мы кое-как плелись по песчаной отмели, по которой раскатывался прилив. Чуть вал ударит посильнее – и обдаст шумной пеной колеса нашего экипажа, лошади фыркали и бросались в сторону. "Аппл!" – кричал Вандик и опять пускал их по мокрому песку. 11 апреля вечером, при свете луны, мы поехали с Унковским и Посьетом на шлюпке к В. А. Корсакову на шкуну "Восток", которая снималась с якоря.

Не помню, писал ли я вам, что эта шкуна, купленная адмиралом в Англии, для совместного плавания с нашим фрегатом, должна была соединиться с нами на мысе Доброй Надежды. Теперь адмирал посылал ее вперед.

Вечер был лунный, море гладко как стекло; шкуна шла под малыми парами.

У выхода из Фальсбея мы простились с Корсаковым надолго и пересели на шлюпку. Фосфорный блеск был так силен в воде, что весла черпали как будто растопленное серебро, в воздухе разливался запах морской влажности. Небо сквозь редкие облака слабо теплилось звездами, затмеваемыми лунным блеском.

Половина залива ярко освещалась луной, другая таилась в тени.

На другой день, 12-го апреля, ушли и мы. Было тихо, хорошо, но ненадолго.

Май 1853 года.

Индийский океан. 1} лицо в мелких морщинках (фр.) 2} Он утвержден в 1853 году (примеч. Гончарова) 3} неправда ли, это очень живописно? (фр.) 4} неудачу (фр.)

V

ОТ МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ ДО ОСТРОВА ЯВЫ

Шторм. – Святая неделя. – Тридцать дней на Индийском океане. – Жары. – Смерч. – Анжерский рейд. – Вечер на Яве. – Китайцы и малайцы.

От мыса Доброй Надежды предположено было идти по дуге большого круга: спуститься до 38№ южной широты и идти по параллели до 105№ восточной долготы; там подняться до точки пересечения 30№ южной широты. Мы ушли из Фальсбея 12 апреля.

Индийский океан встретил нас еще хуже, нежели Атлантический: там дул хоть крепкий, но попутный ветер, а здесь и крепкий, и противный, обратившийся в шторм, который на берегу называют бурей.

Знаменитый мыс Доброй Надежды как будто совестится перед путешественниками за свое приторное название и долгом считает всякому из них напомнить, что у него было прежде другое, больше ему к лицу. И в самом деле, редкое судно не испытывает шторма у древнего мыса Бурь.

Я ничего не знал, что замышляет против нас мыс, и покойно сидел в общей каюте после обеда, на диване, у бизань-мачты. Свистали несколько раз всех наверх рифы брать. Я уж не спрашивал теперь, что это значит. "Свежеет!" – говорил то тот, то другой офицер, сходя сверху. А это так же обыкновенно на море, как если б сказать на берегу: "Дождь идет, или пасмурно, ясно".

Началась качка, и довольно сильная, – и это нипочем. Любитель-натуралист, по обыкновению, отправился в койку мучиться морскою болезнью; слуги ловили стулья, стаканы и всё, что начало метаться с места на место; принайтавливали мебель в каютах. Пошел дождь и начал капать в каюту. Место, где я сидел, было самое покойное, и я удерживал его до последней крайности. Рев ветра долетал до общей каюты, размахи судна были всё больше и больше. Шторм был классический, во всей форме. В течение вечера приходили раза два за мной сверху звать посмотреть его. Рассказывали, как с одной стороны вырывающаяся из-за туч луна озаряет море и корабль, а с другой – нестерпимым блеском играет молния. Они думали, что я буду описывать эту картину. Но как на мое покойное и сухое место давно уж было три или четыре кандидата, то я и хотел досидеть тут до ночи; но не удалось. Часов в десять вечера жестоко поддало, вал хлынул и разлился по всем палубам, на которых и без того много скопилось дождевой воды. Она потоками устремилась в люки, которых не закрывали для воздуха. Целые каскады начали хлестать в каюту, на стол, на скамьи, на пол, на нас, не исключая и моего места, и меня самого. Все поджали ноги или разбежались куда кто мог. Младший и самый веселый из наших спутников, Зеленый, вскочил на скамью и, с неизменным хохотом, ухватив где-то из угла кота, бросил его под каскады. Мальчишка-голландец горько заплакал, думая, что настал последний час. Барон выглянул из своей каюты и закричал на дневальных, чтоб сводили воду шваброй в трюм. Я стоял в воде на четверть выше ступни и не знал, куда деться, что делать. А я был в башмаках: от сапог мы должны были отказаться еще в Северном тропике. Я хотел пробраться вверх, в свою или капитанскую каюту, и ждал, пока вода сбудет.

– Что вы тут стоите? пойдёте вверх, – сказал мне Н. Н. Савич и, ухватив меня мимоходом, потащил с собою бегом.

По трапам еще стремились потоки, но у меня ноги уж были по колени в воде – нечего разбирать, как бы посуше пройти. Мы выбрались наверх: темнота ужасная, вой ветра еще ужаснее; не видно было, куда ступить. Вдруг молния.

Она осветила кроме моря еще озеро воды на палубе, толпу народа, тянувшего какую-то снасть, да протянутые леера, чтоб держаться в качку. Я шагнул в воде через веревки, сквозь толпу; добрался кое-как до дверей своей каюты и там, ухватясь за кнехт, чтоб не бросило куда-нибудь в угол, пожалуй на пушку, остановился посмотреть хваленый шторм. Молния как молния, только без грома, или его за ветром не слышать. Луны не было.

– Где ж она? подайте луну, – сказал я деду, который приходил за мной звать меня вверх.

– Нет, уж она в Америку ушла, – сказал он, – еще бы вы до завтра сидели в каюте!

Нечего делать, надо было довольствоваться одной молнией. Она сверкала часто и так близко, как будто касалась мачт и парусов. Я посмотрел минут пять на молнию, на темноту и на волны, которые всё силились перелезть к нам через борт.

– Какова картина? – спросил меня капитан, ожидая восторгов и похвал.

– Безобразия, беспорядок! – отвечал я, уходя весь мокрый в каюту переменить обувь и белье.

Но это было нелегко, при качке, без Фаддеева, который где-нибудь стоял на брасах или присутствовал вверху, на ноках рей: он один знал, где что у меня лежит. Я отворял то тот, то другой ящик, а ящики лезли вон и толкали меня прочь. Хочешь сесть на стул – качнет, и сядешь мимо. Я лег и заснул.

Ветер смягчился и задул попутный; судно понеслось быстро.

На другой день стало потише, но всё еще качало, так что в Страстную среду не могло быть службы в нашей церкви. Остальные дни Страстной недели и утро первого дня Пасхи прошли покойно. Замечательно, что в этот день мы были на меридиане Петербурга.

– Это и видно, – заметил кто-то, – дождь льет совершенно по-нашему.

Кажется, это в первый раз случилось – служба в православной церкви в южном полушарии, на волнах, после только что утихшей бури. В первый день Пасхи, когда мы обедали у адмирала, вдруг с треском, звоном вылетела из полупортика рама, стекла разбились вдребезги, и кудрявый, седой вал, как сам Нептун, влетел в каюту и разлился по полу. Большая часть выскочила из-за стола, но нас трое усидели. Я одною рукою держал тарелку, а другою стакан с вином. Ноги мы поджали. Пришли матросы и вывели швабрами неожиданного гостя вон.

Дальнейшее тридцатидневное плавание по Индийскому океану было довольно однообразно. Начало мая не лучше, как у нас: небо постоянно облачно; редко проглядывало солнце. Ни тепло, ни холодно. Некоторые, однако ж, оделись в суконные платья – и умно сделали. Я упрямился, ходил в летнем, зато у меня не раз схватывало зубы и висок. Ожидали зюйд-вестовых ветров и громадного волнения, которому было где разгуляться в огромном бассейне, чистом от самого полюса; но ветры стояли нордовые и все-таки благоприятные.

Мы неслись верст по семнадцати, иногда даже по двадцати в час, и так избаловались, что, чуть пойдем десять или двенадцать верст, уж ворчим.

Волнение ни то ни се: не такое сильное, чтоб мешало жить, но беспокойное настолько, что не давало ничем заняться, кроме чтения.

Мы видели много вблизи и вдали игравших китов, стаи птиц, которым указано по карте сидеть в таком-то градусе широты и долготы, и они в самом деле сидели там: всё альбатросы, чайки и другие морские птицы с лежащих в 77№ восточной долготы пустых, каменистых островков – Амстердама и Св. Павла.

Мы прошли мимо их ночью. Наконец стали подниматься постепенно к северу и дошли до точки пересечения 105№ «восточной» долготы и 30№ «южной» широты и 10-го мая пересекли тропик Козерога. Ждали пассата, а дул чистый S, и только в 18№ получили пассат.

Я надеялся на эти тропики как на каменную гору: я думал, что настанет, как в Атлантическом океане, умеренный жар, ровный и постоянный ветер; что мы войдем в безмятежное царство вечного лета, голубого неба, с фантастическим узором облаков, и синего моря. Но ничего похожего на это не было: ветер, качка, так что полупортики у нас постоянно были закрыты.

– Що-сь воно не тее, эти тропики! – сказал мне один спутник, живший долго в Малороссии, который тоже надеялся на такое же плавание, как от Мадеры до мыса Доброй Надежды.

Правда, с севера в иные дни несло жаром, но не таким, который нежит нервы, а духотой, паром, как из бани. Дожди иногда лились потоками, но нисколько не прохлаждали атмосферы, а только разводили сырость и мокроту. 13-го мая мы прошли в виду необитаемого острова Рождества, похожего немного фигурой на наш Гохланд.

Но вот стало проглядывать солнце, да уж так, что хоть бы и не надо.

Пора вынимать белое пальто и фуражку. Чем ближе к берегу, тем хуже, жарче.

Завидели берега Явы, хотели войти в Зондский пролив между Явой и островком Принца, в две мили шириною, покрытым лесом красного дерева. На нем две-три маленькие деревушки; но течением отнесло дальше. Пришлось войти прямо в ворота, минуя калитку. При входе в пролив начались мертвые штили. Вода – как зеркало, небо безмятежно – так и любуются друг другом: ничто не дохнет в природе. Берег – одна зеленая кайма. Кажется, чего бы? Дождались и тишины, и тепла; но в это тепло хорошо сидеть на балконе загородного дома, в тени непроницаемой зелени, а не тут, под зноем 25№ в тени по Реомюру. Купались, да что толку: температура воды от 20 до 22№, ничего не прохладяет. Дышишь тяжело, ляжешь – волосы и лицо мокнут. "Що-сь воно не тее", – повторял мой малороссиянин, отирая лицо.

И ночи не приносили прохлады, хотя и были великолепны. Каждую ночь, на горизонте, во всех углах, играла яркая зарница. Небо млело избытком жара, и по вечерам носились в нем, в виде пыли, какие-то атомы, помрачавшие немного огнистые зори, как будто семена и зародыши жаркой производительной силы, которую так обильно лили здесь на землю и воду солнечные лучи. Мы часто видели метеоры, пролетавшие по горизонту. В этом воздухе природа, как будто явно и открыто для человека, совершает процесс творчества; здесь можно непосвященному глазу следить, как образуются, растут и зреют ее чудеса; подслушивать, как растет трава. Творческие мечты ее так явны, как вдохновенные мысли на лице художника. Авось услышим, как растет – хоть сладкий картофель или табак. По ночам Реомюр показывал только градусом меньше против дня.

Однажды я, в изнеможении, сел в капитанской каюте на диван и нечаянно заснул. Слышу крик, просыпаюсь – светло. Спрашиваю, который час: шестой, говорят. "Зарядить пушку ядром!" – кричит вахтенный. "Что это, кого там?" – подумал я. В это время пришли с вахты сказать, что виден пароход не пароход, а бог знает что. Я бросился наверх, вскочил на пушку, смотрю: близко, в полуверсте, мчится на нас – в самом деле "бог знает что": черный крутящийся столп с дымом, похожий, пожалуй, и на пароход; но с неба, из облака, тянется к нему какая-то темная узкая полоса, будто рукав; всё ближе, ближе. "Готова ли пушка?" – закричал вахтенный. "Готова!" – отвечали снизу. Но явление начало бледнеть, разлагаться и вскоре, саженьях в ста пятидесяти от нас, пропало без всякого следа. Известно, что смерчи, или водяные столпы, разбивают ядрами с кораблей, иначе они, налетев на судно, могут сломать рангоут или изорвать паруса. От ядра они разлетаются и разрешаются обильным дождем. Мы еще видели после раза два такие явления, но они близко не подходили к нам.

Штили держали нас дня два почти на одном месте, наконец 17 мая нашего стиля, по чуть-чуть засвежевшему ветерку, мимо низменного, потерявшегося в зелени берега добрались мы до Анжерского рейда и бросили якорь. Чрез несколько часов прибыл туда же испанский транспорт, который вез из Испании отряд войск в Манилу.

Я очень рад, что наконец приехал к такому берегу, у которого нет никакого прошедшего и никакой истории. Не нужно шевелить книг, справляться и преважно уверять вас, что город, государство основаны тогда-то, заняты тем-то и т. п. Что такое Анжер? Малайское селение, не подверженное никаким переменам. О нем упоминает еще Тунберг. Оно то же было при нем, что и теперь. На рейде, у Анжера, останавливаются налиться водой, запастись зеленью суда, которые не хотят идти в Батавию, где свирепствуют губительные, особенно для иностранцев, лихорадки. Батавия лежит на сутки езды отсюда сухим путем. Мы мечтали съездить туда, пробыть там день и вернуться. Думали, что тут есть и шоссе, и удобные экипажи. Ничего этого не было. В две недели раз отправляется из Анжера почта в Батавию; почтальон едет верхом.

– А можно ли нанять экипажи? – спросили мы.

– Нет, нанять нельзя, а можно получить даром, – говорят малайцы.

– Ну, нечего делать, хоть даром, всё равно. Да у кого же?

– У коменданта есть колясочка, у таможенного чиновника тоже: попросить, так они дадут.

– Мы сейчас же пойдем к ним...

– Да их нет в Анжере: они уехали в городок, лежащий на пути в Батавию, в трех часах езды от Анжера.

– А когда будут?

– Завтра или послезавтра.

Все наши мечты рушились.

Между тем нас окружило множество малайцев и индийцев. Коричневые, красноватые, полуголые, без шляп и в конических тростниковых или черепаховых шляпах, собрались они в лодках около фрегата. Все они кричали, показывая – один обезьяну, другой – корзинку с кораллами и раковинами, третий – кучу ананасов и бананов, четвертый – живую черепаху или попугая.

Жар несносный; движения никакого, ни в воздухе, ни на море. Море – как зеркало, как ртуть: ни малейшей ряби. Вид пролива и обоих берегов поразителен под лучами утреннего солнца. Какие мягкие, нежащие глаз цвета небес и воды! Как ослепительно ярко блещет солнце и разнообразно играет лучами в воде! В ином месте пучина кипит золотом, там как будто горит масса раскаленных угольев: нельзя смотреть; а подальше, кругом до горизонта, распростерлась лазурная гладь. Глаз глубоко проникает в прозрачные воды.

Земли нет: всё леса и сады, густые, как щетка. Деревья сошли с берега и теснятся в воду. За садами вдали видны высокие горы, но не обожженные и угрюмые, как в Африке, а все заросшие лесом. Направо явайский берег, налево, среди пролива, зеленый островок, а сзади, на дальнем плане, синее Суматра.

Наши толпой бросились на берег. Меня капитан пригласил ехать с собой немного погодя, пока управятся на судне. Наконец, часу во втором, мы поехали втроем. До берега было версты две. Едва мы отъехали сажен сто, как вдруг видим, наши матросы тащат из воды акулу. Они дотащили ее уже до пушек.

"Вернемся на минуту посмотреть", – сказали мои товарищи. Я был против этого: меня манил берег, и я неохотно возвращался. Но мы не успели обернуть шлюпки, как акула сорвалась и бухнула в воду. Туда и дорога! Я обрадовался, мы продолжали путь и вскоре въехали в мутную узенькую речку с каменной пристанью.

Направо видно большое, низенькое, кирпичное здание, обнесенное валом, на котором стояло несколько орудий небольшого калибра. Над домом лениво висел голландский флаг; у ворот, как сонные мухи, чуть ползали, от зноя, часовые с ружьями. Это была крепость и жилище коменданта. Мы не знали, куда нам направиться. Налево от дома, за речкой, сквозь деревья, виден был ряд хижин, за ними густой лес, прямо лес, направо за крепостью лес. Мы вошли на двор крепости: он был сквозной, насквозь виден опять лес. Мы вышли на довольно широкую дорогу и очутились в непроходимом тропическом лесу с блестящею декорацией кокосовых пальм, которые то тянулись длинным строем, то, сбившись в кучу, вместе с кустами представляли непроницаемую зеленую чашу.

Нельзя богаче и наряднее одеть землю, как она одета здесь. Право, глядя на эти леса, не поверишь, чтоб случай играл здесь группировкой деревьев. Тут пальмы, как по обдуманному плану, перемешаны с кустами; там, будто тоже с умыслом, оставлена лужайка или небольшое болото, поросшее тем крупным желтым тростником, из которого у нас делаются такие славные трости. Посмотришь ли на каждую пальму отдельно: какая оригинальная красота! Она грациозно наклонилась; листья, как длинные, правильными прядями расчесанные волосы; под ними висят тяжелые кисти огромных орехов. Всё, кажется, убрано заботливою рукою человека, который долго и с любовью трудился над отделкою каждой ветви, листка, всякой мелкой подробности. А между тем это девственные, дикие леса. Человек почти не касался их. Бедный малаец только что врывается в чашу, отнимая пространство у зверей. Мы видели новые, заброшенные в глушь леса, еще строящиеся хижины, под пальмами и из пальм, крытые пальмовыми же листьями. К этим хижинам едва-едва протоптаны свежие дорожки. Мы шли, прислушиваясь к каждому звуку, к крику насекомых, неизвестных нам птиц, и пугали друг друга.

"Тигр!" – скажет кто-нибудь. "Змея!" – говорит другой. Все невольно быстро оглянутся и потом засмеются сами над собой.

Я хотел было напомнить детскую басню о лгуне; но как я солгал первый, то мораль была мне не к лицу. Однако ж пора было вернуться к деревне. Мы шли с час всё прямо, и хотя шли в тени леса, все в белом с ног до головы и легком платье, но было жарко. На обратном пути встретили несколько малайцев, мужчин и женщин. Вдруг до нас донеслись знакомые голоса. Мы взяли направо в лес, прямо на голоса, и вышли на широкую поляну.

Там были все наши. Но что это они делают? По поляне текла та же мутная речка, в которую мы въехали. Здесь она дугообразно разлилась по луговине, прячась в густой траве и кустах. Кругом росли редкие пальмы. Трое или четверо из наших спутников, скинув пальто и жилеты, стояли под пальмами и упражнялись в сбивании палками кокосовых орехов. Усерднее всех старался наш молодой спутник по Капской колонии, П. А. Зеленый, прочие стояли вокруг и смотрели, в ожидании падения орехов. Крики и хохот раздавались по лесу.

Шагах в пятидесяти оттуда, на вязком берегу, в густой траве, стояли по колени в тине два буйвола. Они, склонив головы, пристально и робко смотрели на эту толпу, не зная, что им делать. Их тут нечаянно застали: это было видно по их позе и напряженному вниманию, с которым они сторожили минуту, чтоб уйти; а уйти было некуда: направо ли, налево ли, всё надо проходить чрез толпу или идти в речку.

Наконец полетел один орех, другой, третий. Только лишь толпа заметила нас, как все бросились к нам и заговорили разом.

– Крокодила видели! – кричал один. – Вот этакой величины! – говорил другой, разводя руками.

– Какой страшный! какие зубы!

– Где ж он? – спросили мы.

– Вот, вот здесь.

И потащили нас к мостику и к речке.

– Мы только вошли на мостик... – начал один.

– Нет, еще мы вон где были... – говорил другой.

– Да нет, господа, я прежде всех увидел его; вы еще там, в деревне, были, а я...
Постойте, я всё видел, я всё расскажу по порядку.

– Куда ж он девался? – спросили мы.

– В кусты ушел, вот сюда, – закричали все, показывая на кусты, которые совсем закрывали берег близ мостика.

– Он показался на поверхности воды, проплыл под мостиком. Мы закричали, погнались за ним; он перепугался и ушел туда. Вот, вот на этом самом месте...

– Верно, ящерица! – заметил я, отчасти с досады, что не видал крокодила. Меня не удостоили и ответа.

– Пойдемте же в кусты за ним! – приглашал я, но не пошел. И никто не пошел. Кусты стеснились в такую непроницаемую кучу и смотрели так подозрительно, что можно было побиться об заклад, что там гнезвился если не крокодил, так непременно змея, и, вероятно, не одна: их множество на Яве.

– Как жаль, что вы не видали крокодила! – сказал мне один из молодых спутников, которому непременно хотелось выжать из меня сомнение, что это был не крокодил.

– Ну что ж, увижу у Зама, как вернусь в Петербург, – сказал я, – там маленький есть; вырастет до тех пор.

Мы пошли в деревню. Она вся состояла из бамбуковых хижин, крытых пальмовыми листьями и очень похожих на хлевы.

Окон в хижинах не было, да и не нужно: оттуда сквозь стены можно видеть, что делается наруже, зато и снаружи видно всё, что делается внутри.

А внутри ничего не делается: малаец лежит на циновке или ребятишки валяются, как поросята.

Малайцы толпились по улицам почти голые; редкие были в панталонах. Они

довольствовались куском грубой ткани, накинутой на плечи или обвязанной около поясницы. Рты у всех как будто окровавлены от бетеля, который они жуют и который раздражает десны. Мы наткнулись на маленький рынок. На берегу речки росло роскошнейшее из тропических деревьев – баниан. Толстый ствол, состоящий из множества крепко сросшихся вместе корней, оканчивается густой шапкой темной зелени с толстыми маслянистыми листьями. От ветвей вертикально тянутся растительные нити и, вращаясь в землю, пускают корни, из которых образуются новые деревья. Дай волю – и почва заросла бы этими гигантами растительного царства, подавляющими всё вокруг. Анжерское дерево покрывало ветвями весь рынок. Человек около пятидесяти сидели на циновках и продавали готовый бетель на листьях банана, какие-то водяные плоды, вроде орехов и желудей, рыбу, табак.

Вечер наступал быстро. Небо млело заревом и атомами; ни одного облака на нем. Мы шли по деревне, видели в первый раз китайцев, сначала ребятишек с полуобритой головой, потом старух с целым стогом волос на голове, поддерживаемых большою бронзовою булавкой. Встретились у пристани с толпой испанцев, которые съехали с транспорта погулять. Мы раскланялись, спросили друг друга, кажется, о здоровье (о погоде здесь не разговаривают), о цели путешествия и разошлись. Мы пошли в лавку: да, здесь есть лавка, разумеется китайская. Представьте себе мелочную лавку где-нибудь у нас в уездном городе: точь-в-точь как в Анжере. И тут свечи, мыло, связки бананов, как у нас бы связка луку, потом чай, сахарный тростник и песок, ящики, коробочки, зеркальца и т. п. Купец, седой китаец, в синем халате, с косой, в очках и туфлях, да два приказчика, молодые, с длинными-предлинными, как черные змеи, косами, с длинными же, смугло-бледными, истощенными лицами и с ногтистыми, как у птиц когти, пальцами. Все они говорили по-китайски, по-малайски и по-английски, но не по-голландски. Долго ли англичане владели Явой и как давно, а до сих пор след их не пропадает здесь!

Нам подали по чашке чаю. Узнав, что у них есть лимонный сироп, мы с неистовством принялись за лимонад. Охотники до редкостей покупали длинные трости, раковины и т. п. Тут мы разделились партиями и рассыпались по деревне и окрестностям. В переулках те же хижины, большая часть на сваях, от сырости и насекомых. Хижины прячутся в бананнике и под пальмами кокоса и агеса. Скоро и хижины кончились; мы пошли по огромному, огороженному, вероятно для скота, лугу и дошли до болота и обширного оврага, заросшего сплошным лесом. Стало совсем темно; только звезды лили бледный, но пронзительный свет. Несколько человек ощупью пошли по опушке леса, а другие, в том числе и я, предпочли идти к китайцу пить чай. Мы вытащили из лавки все табуреты на воздух и уселись за маленькими столиками.

Что это за вечер! Это волшебное представление, роскошное, обаятельное пиршество, над которым, кажется, все искусства истощили свои средства, а здесь и признаков искусства не было. Какими красками блещут последние лучи угасающего дня и сумрака воцаряющейся ночи! В пространстве носятся какие-то звуки; лес дышит своею жизнью; слышатся то шепот, то внезапный, осторожный шелест его обитателей: зверь ли пробежит, порхнет ли вдруг с ветки испуганная птица, или змей пробирается по сухим прутьям? Вблизи бродят над речкой темные силуэты людей. В берега плещется вода. Тепло, сильно пахнет чем-то пряным.

"Смотрите, – сказал я соседу своему, – видите, звезда плывет в чаще баниана?" – "Эти ветви колышутся, – отвечал он, – а сквозь них видны звезды... Вон другая, третья звезда, а вон и мимо нас несется одна, две, три – нет, это не звезды". – "Витул! – закричал я проходившему мимо матросу, – поймай вон эту звезду!" Витул покрыл ее фуражкой и принес мне, потом бросился за другой, за третьей и наловил несколько продолговатых цветных мух. В конце хвоста, снизу, у них ярко сияет бенгальским, зеленовато-бледным огнем прекрасная звездочка. Блеск этих звезд сиял ярче свеч, но недолго.

Минуты через две-три муха ослабевала и свет постепенно угасал.

Мы часа два наслаждались волшебным вечером и неохотно, медленно, почти ощупью, пошли к берегу. Был отлив, и шлюпки наши очутились на мели. Мы долго шли по плотине и,

не спуская глаз с чудесного берега, долго плыли по рейду.

Гребцы едва шевелили веслами, разгребая спящую воду. Пробужденная, она густым золотом обливала весла. Вдруг нас поразил нестерпимый запах гнили. Мы сначала не догадывались, что это значит; потом уж вспомнили о кораллах и ракушках, которые издают сильный противный запах. Вероятно, мы ехали над коралловой банкой.

На другой день утром мы ушли, не видав ни одного европейца, которых всего трое в Анжере. Мы плыли дальше по проливу между влажными, цветущими берегами Явы и Суматры. Местами, на гладком зеркале пролива, лежали, как корзинки с зеленью, маленькие островки, означенные только на морских картах под именем Двух братьев, Трех сестер. Кое-где были отдельно брошенные камни, без имени, и те обросли густою зеленью.

Природа – нежная артистка здесь. Много любви потратила она на этот, может быть самый роскошный, уголок мира. Местами даже казалось слишком убрано, слишком сладко. Мало поэтического беспорядка, нет небрежности в творчестве, не видать минут забвения, усталости в творческой руке, нет отступлений, в которых часто больше красоты, нежели в целом плане создания.

Едешь как будто среди неизмеримых возделанных садов и парков всесветного богача. Страстное, горячее дыхание солнца вечно охраняет эти места от холода и непогоды, а другой деятель, могучая влага, умеряет силу солнца, питает почву, родит нежные плоды и... убивает человека испарениями.

Прощайте, роскошные, влажные берега: дай Бог никогда не возвращаться под ваши деревья, под жгучее небо и на болотистые пары! Довольно взглянуть один раз: жарко и как раз лихорадку схватишь! 20 мая 1853 года. Анжерский рейд.

VI

СИНГАПУР

Приход на рейд. – Малайцы и индийцы. – Прогулка по городу и окрестностям. – Европейский, малайский и китайский кварталы. – Продажа опиума. – Ананасы, мангу и мангустаны. – Кокосовые орехи. – Значение Сингапура. – Кумирни. – Купец Вампоа и его вилла.

С 24-го мая по 2-е июня 1853 г.

Где я, о, где я, друзья мои? Куда бросила меня судьба от наших берез и елей, от снегов и льдов, от злой зимы и бесхарактерного лета? Я под экватором, под отвесными лучами солнца, на меже Индии и Китая, в царстве вечного, беспощадно-знойного лета. Глаз, привыкший к необозримым полям ржи, видит плантации сахара и риса; вечнозеленая сосна сменилась неизменно зеленым бананом, кокосом; клюква и морошка уступили место ананасам и мангу.

Я на родине ядовитых перцев, пряных кореньев, слонов, тигров, змей, в стране бритых и бородатых людей, из которых одни не ведают шапок, другие носят кучу ткани на голове: одни вечно гомозятся за работой, с молотом, с ломом, с иглой, с резцом; другие едва дают себе труд съесть горсть рису и переменить место в целый день; третьи, объявив вражду всякому порядку и труду, на легких проа отважно рыщут по морям и насильственно собирают дань с промышленных мореходцев.

Осторожно и медленно, как будто высматривая тайного врага в засаде, подходили мы в темноте к сингапурскому рейду. Указания знаменитого Горсбурга, исследовавшего глубины

и свойства этих морей, и лот были нашими ежеминутными руководителями. Наконец отдали якорь – и напряженное внимание, заботливое выпытывание местности и суетливая деятельность людей на фрегате тотчас же заменились беззаботностью отдыха. Под покровом черной, но прекрасной, успокоительной ночи, как под шатром, хорошо было и спать мертвым сном уставшему матросу, и разговаривать за чайным столом офицерам. Наверху царствует торжественное, но не мертвое безмолвие, хотя нет движения в воздухе, нет ни малейшей зыби на воде. Но сколько жизни покоится в этой мягкой, нежной теплоте, перед которой вы доверчиво, без опасения, открываете грудь и горло, как перед ласками добрых людей доверчиво открываете сердце!

Сколько прелести таится в этом неимоверно ярком блеске звезд и в этом море, которое тихонько ползет целой массой то вперед, то назад, движимое течением, – даже в темных глыбах скал и в бахроме венчающих их вершины лесов!

Всё кажется, что среди тишины зреет в природе дума, огненные глаза сверкают сверху так выразительно и умно, внезапный, тихий всплеск воды как будто промолвился ответом на чей-то вопрос; всё кажется, что среди тишины и живой, теплой мглы раздастся какой-нибудь таинственный и торжественный голос. Чего-то ждешь, о чем-то думаешь, что-то чувствуешь, чего ни определить, ни высказать не можешь. Только сердце трепещет от силы необъяснимого, страстного ощущения: даже нервам больно! Под этим небом, в этом воздухе носятся фантастические призраки; под крыльями таких ночей только снятся жаркие сны и необузданные поэтические грезы о нисхождении Браммы на землю, о жаркой любви богов к смертным – все эти страстные образы, в которых воплотилось чудовищное плодородие здешней природы.

Начиная с Зондского пролива, мы все наслаждались такими ночами. Небо как книга здесь, которую не устанешь читать: она здесь открытее и яснее, как будто само небо ближе к земле. Мы с бароном Крюднером подолгу стояли на вахтенной скамье, любясь по ночам звездами, ярко игравшей зарницей и особенно метеорами, которые, блестя бенгальскими огнями, нередко бороздили небо во всех направлениях.

Вдруг однажды, среди ночной тишины, раздался подле фрегата шум весел.

"Что это такое? лодка в открытом море?" – спросил я и стал пристально смотреть в полупортик. И Фаддеев, который, сидя верхом на пушке, доставал из-за борта воду и окачивал меня, стал тоже смотреть. В лодке сидело трое, но кто – нельзя было разобрать в темноте. "Кто бы это был?" – спрашивал я, не зная, что подумать об этом явлении. "Опять чухны, ваше высокоблагородие!" – сказал Фаддеев равнодушно, разумея малайцев, которых он видел на Яве. "Или литва", – заметил другой матрос еще равнодушнее. Малайцы привезли несколько ананасов и предлагали свои услуги как лоцманб. Мы шутя делали предположения: не пираты ли это, которые подсланы своею шайкою выведать, какого рода судно идет, сколько на нем людей и оружия, чтоб потом решить, напасть на него или нет. Это обыкновенная тактика здешних пиратов. Однажды они явились, также в числе трех-четырех человек, на палубу голландского судна с фруктами, напитанными ядом, и, отравив экипаж, потом нагрянули целой ватагой и овладели судном. Людей, как это они всегда делают, отвели на один из Зондских островов в плен, а судно утопили.

Один малаец взобрался на палубу и остался ночевать у нас, другие два ночевали в лодке, которая прицепилась за фрегат и шла за нами. Это было 24-го мая, часов в одиннадцать утра; мы вошли в Сингапурский пролив, лавируя. Пошел дождь, да еще со шквалом, и освежил атмосферу. Мы отдохнули от жара: Реомюр показывал 23 1/2° в тени, между тем малаец озяб. На нем была ситцевая юбка, на плечах род рубашки, а поверх всего кусок красной бумажной ткани; на голове неизбежный платок, как у наших баб; ноги голые. Это уж полный костюм; прочие большею частью ходят полунагие. Малаец прятался под навесом юта, потом, увидев дверь моей каюты отворенною, поставил туда сначала одну ногу, затем другую и спину, а голова была еще наруже.

"Холодно?" – спросил я его. "Yes", – отвечал он и вошел совсем в каюту. Но мне показалось неестественно озябнуть при двадцати с лишком градусах тепла, оттого я не мог

проникнуться состраданием к его положению и махнул ему рукою, чтоб он шел вон, лишь только он загородил мне свет. Два его товарища, лежа в своей лодке, нисколько не смущались тем, что она черпала, во время шквала, и кормой, и носом; один лениво выливал воду ковшом, а другой еще ленивее смотрел на это.

Вечером стали подходить к Сингапуру. Любопытно взглянуть на эту кучу толпящихся на маленьком клочке разноцветных и разноязычных народов, среди которых американец Вилькс насчитывает до двадцати одних азиатских племен. 25-го мая.

Утро. Солнце блещет, и всё блещет с ним. Какие картины вокруг! Какая жизнь, суматоха, шум! Что за лица! Какие языки! Кругом нас острова, все в зелени; прямо, за лесом мачт, на возвышенностях, видны городские здания.

Джонки, лодки, китайцы и индийцы проезжают с берега на суда и обратно, пересекая друг другу дорогу. Направо и налево от нас – всё дико; непроходимый кокосовый лес смотрится в залив; сзади море.

Утром рано стучится ко мне в каюту И. И. Бутаков и просовывает в полуотворенную дверь руку с каким-то темно-красным фруктом, видом и величиной похожим на небольшое яблоко. "Попробуйте", – говорит. Я разрезал плод: под красною мякотью скрывалась белая, кисло-сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений с крупным зерном в каждом из них.

Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с легкой кислотой. Это мангустан, а по английскому произношению "мангустэн". Англичане не могут не исковеркать слова.

Ко мне в каюту толпой стали ломиться индийцы, малайцы, китайцы, с аттестатами от судов разных наций, всё портные, прачки, комиссионеры. На палубе настоящий базар: разноплеменные гости разложили товары, и каждый горланил на своем языке, предлагая материи, раковины, обезьян, птиц, кораллы.

Я заглянул за борт: там целая флотилия лодок, нагруженных всякой всячиной, всего более фруктами. Ананасы лежали грудками, как у нас репа и картофель, – и какие! Я не думал, чтоб они достигали такой величины и красоты. Сейчас разрезал один и начал есть: сок тек по рукам, по тарелке, капал на пол. Хотел писать письмо к вам, но меня тянуло на палубу. Я покупал то раковину, то другую безделку, а более вглядывался в эти новые для меня лица. Что за живописный народ индийцы и что за неживописный – китайцы!

Первые стройны, развязны, свободны в движениях; у них в походке, в мимике есть какая-то торжественная важность, лень и грация. Говорят они горлом, почти не шевеля губами. Грация эта неизысканная, неумышленная: будь тут хоть капля сознания, нельзя было бы не расхохотаться, глядя, как они медленно и осторожно ходят, как гордо держат голову, как размеренно машут руками. Но это к ним идет: торопливость была бы им не к лицу.

Вся верхняя часть тела у индийцев обнажена, но они чем-то мажутся, чуть ли не кокосовым маслом, иначе никакая кожа не устоит против этого солнца. На бедрах у них род юбки из бумажной синей или красной материи. В ушах серьги непременно, у иных по две, в верхней и нижней части уха, а у одного продета в ухо какая-то серебряная шпилька, у другого сережка в правой ноздре. Этот был стар, одет в белую юбку, а верхняя часть тела прикрыта красной материей; на голове чалма. Стали всех их собирать в один угол судна, на шкафут, чтоб они не бродили везде; старик усердно помогал в этом. Матросы, прогнав всех, наконец прогнали и его самого туда же.

Китайцы светлее индийцев, которые все темно-шоколадного цвета, тогда как те просто смуглы; у них тело почти как у нас, только глаза и волосы совершенно черные. Они тоже ходят полуголые. У многих старческие физиономии, бритые головы, кроме затылка, от которого тянется длинная коса, болтаясь в ногах. Морщины и отсутствие усов и бороды делают их чрезвычайно похожими на старух. Ничего мужественного, бодрого. Лица точно вылиты одно в другое.

А что за физиономии на лодках! Вот старый индеец, черный, с седыми бакенбардами и бородой, растущей ниже губ, кругом подбородка. А вот малаец, цвета красной меди, гребет двумя вместе связанными веслами, толкая их вперед от себя. Одни лежали прямо под

солнцем, другие сидели на пятках, непостижимым для европейца образом. Ко мне уж не раз подходил один говорящий по-французски индеец. "Откуда ты родом?" – спросил я. Он мне сказал непонятное и неизвестное мне название. "Да ты индеец?" – "Нет!" – заговорил он, сильно качая головой. "Ну, малаец?" Он еще сильнее стал отрекаться. "Кто ж ты, из какой страны?" – "Ислам, мусульман". – "Да это твоя религия; а родом?" – "Ислам, мусульман", – твердил он. "Ну, из какого ты города?" – "Пондишери". – "А! Так как же не индеец?" Он махал головой. "Индус вон! – говорил он, показывая на такого же, как и он сам, – а я ислам". – "А! Те браминской веры". – "Да! Да! Брамб, индус!" – повторял он.

Тотчас после обеда судно опустело: все уехали. Мне предложил капитан ехать с ним, но просил подождать, пока он распорядится на фрегате. А лодки всё не уезжали от нас, сбывая фрукты. У всех каюты завалены были ананасами; кокосы валялись под ногами. Всякий матрос вооружен был ножом и ананасом; за любой у нас на севере заплатили бы от пяти до семи рублей серебром, а тут он стоит два пенса; за шиллинг давали дюжину, за испанский талер – сотню. Но от ананасов начал чесаться у многих язык (в буквальном смысле), губы щипало кислотой. Многие предпочитали ананасам мангу: он фигурой похож на крупную желтую сливу, только с толстой кожей и с большой косточкой внутри; мясо состоит из волокон оранжевого цвета, напитанных вкусным соком.

Кроме фруктов индийцы продавали платье европейское, рубашки, сапоги, китайские ларчики для чая, для рукоделья и т. п.

Я, в ожидании съезда на берег, облокотившись на сетки, смотрел на индийские лодки, на разнообразные группы разноцветных тел. Часов в пять, перед захождением солнца, мухаммедане стали тут же, на лодках, делать омовение и творить намаз. Один молодой, умывшись, взял какой-то старый грязный платок, разостлал его перед собой и, обратясь на запад, к Мекке, начал творить земные поклоны. Он, сидя на пятках, шевелил губами и по временам медленно оборачивал голову направо, налево, назад и не обращал внимания на зрителей с фрегата. Он молился около получаса, и едва кончил, за ним медленно поднялся другой и еще медленнее начал делать то же.

Капитан готов был не прежде, как в шесть часов. Когда мы подъезжали к берегу, было уже темно, а ехать надо рейдом около трех верст. На берегу нас встретили фиакры (легкие кареты, запряженные одной маленькой лошадкой, на каких у нас ездят дети). Мы, однако ж, ехать не хотели, а индийцы все-таки шли за нами. Между тем мы не знали, куда идти: газ еще туда не проник и на улице ни зги не видно. Пошли налево: нам преградила путь речка и какой-то павильон; на другой стороне мелькали огни, освещавшие, по-видимому, ряды лавок. Мы знали, что есть и мосты, но как попасть на них? К счастью, встретились два немца и проводили нас в "London hotel". Вечер был очень темен. Меня поразил приторно-сладкий и сильный запах, будто мускуса, довольно противный. Насекомые сильно трещали в траве, так что это походило больше на пение птиц. Мы спросили в отеле содовой воды и чаю и уселись наверху, на балконе. Мои товарищи вздумали все-таки идти гулять; я было пошел с ними, но как надо было идти ощупью, то мне скоро надоело это, и я вернулся на балкон допивать чай. Тут приходило и уходило несколько, по-видимому, живущих в нумерах трактира англичан и американцев. Они садились на кресла и обе ноги клали на стол (их манера сидеть), требовали себе чаю и молчали. Чай – микстура с сильным запахом и вкусом – точно лекарственной травы.

С наступлением ночи опять стало нервам больно, опять явилось неопределенное беспокойство до тоски от остроты наркотических испарений, от теплой мглы, от теснившихся в воображении призраков, от смутных дум. Нет, не вынесешь долго этой жизни среди роз, ядов, баядерок, пальм, под отвесными стрелами, которые злобно мечет солнечный шар!

От нечего делать я оглядывал стены и вдруг вижу: над дверью что-то ползет, дальше на потолке тоже, над моей головой, кругом по стенам, в углах – везде. "Что это?" – спросил я слугу-португальца. Он отвечал мне что-то – я не понял. Я подошел ближе и разглядел, что это ящерицы, вершка в полтора и два величиной. Они полезны в домах, потому что

истребляют насекомых.

Наконец мои товарищи вернулись. Они сказали, что нагулялись вдоволь, хотя ничего и не видели. Пошли в столовую и принялись опять за содовую воду.

Они не знали, куда деться от жара, и велели мальчишке-китайцу махать привешенным к потолку, во всю длину столовой, исполинским веером. Это просто широкий кусок полотна с кисейной бахромой; от него к дверям протянуты шнурки, за которые слуга дергает и освежает комнату. Но, глядя на эту затею, не можешь отделаться от мысли, что это — искусственная, временная прохлада, что вот только перестанет слуга дергать за веревку, сейчас на вас опять как будто наденут в бане шубу.

Посидев немного, мы пошли к капитанской гичке. За нами потянулась толпа индийцев, полагая, что мы найдем у них лодку. Обманувшись в ожидании, они всячески старались услужить: один зажег фитиль посветить, когда мы садились, другой подал руку и т. п. Мы дали им несколько центов (медных монет), полученных в сдачу в отеле, и отправились.

Возвращение на фрегат было самое приятное время в прогулке: было совершенно прохладно; ночь тиха; кругом, на чистом горизонте, резко отделялись черные силуэты пиков и лесов и ярко блистала зарница — вечное украшение небес в здешних местах. Прямо на голову текли лучи звезд, как серебряные нити. Но вода была лучше всего: весла с каждым ударом черпали чистейшее серебро, которое каскадом сыпалось и разбегалось искрами далеко вокруг шлюпки. 27 мая.

Мы собрались вчетвером сделать прогулку поосновательнее и поехали часов в 11 утра, но и то было уж поздно. Хотели ходить, но не было никакой возможности. Мимоездом, на рейде, мы осмотрели китайскую джонку. Издали она дразнила наше любопытство: корма и нос несоответственно высоко поднимались над водой. Того и гляди, кажется, рухнут эти непрочные пристройки на курьих ножках, похожие на голубятни. Джонка была выкрашена голубым, красным и желтым цветами. На носу, с обеих сторон, нарисовано по рыбьему глазу: китайцам всё хочется сделать эти суда похожими на рыбу. Мы подъехали; лодки очистили нам дорогу; китайцы приняли нас с улыбкою. Их было человек пять; одни полуголые, другие неопрятно одетые. Мы вошли прямо мимо кухонной печи, около которой возился повар. Нас обдало удушливым, вонючим паром из трубы.

Джонка нагружена была разным деревом, которое везла в Китай, красным, сандалным и другими. Эти деревья были так скользкие, что мы едва могли держаться на ногах. Мы взобрались по лесенке на корму. Там, в углублении, была кумирня с идолами, а по бокам грязные каюты. Один китаец чесал другому — по-видимому хозяину — косу. Они молча смотрели на нас и предоставляли нам ходить и смотреть. Всё было слеplено из досечек, жердочек, циновок; паруса тоже из циновок. Руль неуклюжий, неотесанный, уродливый. Мы ушли и свободно вздохнули на катере, дивясь, как люди могут пускаться на таких судах в море до этих мест, за 1800 морских миль от Кантона! После уж, качаясь в штилях китайских морей или несомые плавно попутным муссоном, мы поняли, отчего ходят далеко джонки. Зато сколько их погибает в ураганы!

Въехав прямо в речку и миновав множество джонок и яликов, сновавших взад и вперед, то с кладью, то с пассажирами, мы вышли на набережную, застроенную каменными лавками, совершенно похожими на наши гостиные дворы: те же арки, сквозные лавки, амбары, кучи тюков, бочки и т. п.; тот же шум и движение. Купцы большею частью китайцы; товары продают оптом и отправляют из Китая в Европу или обратно, выписывают из Европы в Китай. Но вот наконец добрались и до мелких торговцев. Китайцы, в таких же костюмах, в каких мы их видели на Яве, сидели в лавках. Белая бумажная кофта, вроде женских ночных кофт, и шаровары черные, а более синие, у богатых атласные, потом бритая передняя часть головы и длинная до пят коса, природная или искусственная, отсутствие шляпы и присутствие веера, заменяющего ее, — вот их костюм.

Китаец носит веер в руке, и когда выходит на солнце, прикрывает им голову.

Впрочем, простой народ, работающий на воздухе, носит плетенные из легкого тростника шляпы, конической формы, с преширокими полями. На Яве я видел малайцев,

которые покрывают себе голову просто спинною костью черепахи.

Европейцы ходят... как вы думаете, в чем? В полотняных шлемах! Эти шлемы совершенно похожи на шлем Дон Кихота. Отчего же не видеть соломенных шляп? чего бы, кажется, лучше: Манила так близка, а там превосходная солома. Но потом я опытом убедился, что солома слишком жидкая защита от здешнего солнца. Шлемы эти делаются двойные с пустотой внутри и маленьким отверстием для воздуха. Другие, особенно шкипера, носят соломенные шляпы, но обвивают поля и тулью ее белой материей, в виде чалмы.

Мы прошли каменные ряды и дошли наконец до деревянных, которые в то же время и дома китайцев. Верхний этаж занят жильем, а нижний лавкой. Здесь собрано всё, чтоб оскорбить зрение и обоняние. Голые китайцы, в одних юбках или шароварах, а иные только в повязках кругом поясницы, сидя в лавках или наруже у порога, чесали длинные косы друг другу или брили головы и подбородки. Они проводят за этим целые часы; это – их кейф. Некоторые, сидя, клали голову на столик, а цирюльник, обрив, преприлежно начинал поколачивать потом еще по спине, долго и часто, этих сибаритов. Это, кажется, походило на то, как у нас щекотят пятки или перебирают суставы в банях охотникам до таких удовольствий.

Но вид этих бритых донельзя голов и лиц, голых, смугло-желтых тел, этих то старческих, то хотя и молодых, но гладких, мягких, лукавых, без выражения энергии и мужественности физиономий и, наконец, подробности образа жизни, семейный и внутренний быт, вышедший на улицу, – всё это очень своеобразно, но не привлекательно.

Самый род товаров, развешенных и разложенных в лавках, тоже, большею частию, заставляет отворачивать глаза и нос. Там видны сырые, печеные и вяленые мяса, рыба, раки, слизняки и тому подобная дрянь. Тут же подвижная лавочка, с жаровней и кастрюлей, с какой-нибудь лапшой или киселем, студенью и тому подобными вещами, в которые пристально не хочется вглядываться. Или сейчас же рядом совсем противное: лавка с фруктами и зеленью так и тянет к себе: ананасы, мангустаны, арбузы, мангу, огурцы, бананы и т. п. навалены горами. Среди этого увидишь старого китайца, с седой косой, голого, но в очках; он сидит и торгует. В другом месте вдруг пахнёт чесноком и тем неизбежным, похожим на мускус запахом, который, кажется, издает сандалное и другие пахучие деревб. К этому еще прибавьте кокосовое масло, табак и опиум – от всего этого теряешься. Всё это сильно растворяется в жарком индийском воздухе и разносится всюду.

Мы вырвались из китайского города и, через деревянный высокий мост, перешли на европейскую сторону. Здесь совсем другое: простор, чистота, прекрасная архитектура домов, совсем закрытых шпалерою из мелкой, стелющейся, как плющ, зелени с голубыми цветами; две церкви, протестантская и католическая, обнесенные большими дворами, густо засаженными фиговыми, мускатными и другими деревьями и множеством цветов. К нам пристал индеец, навязываясь в проводники. Мы велели ему вести себя на холм к губернаторскому дому. Дорога идет по великолепной аллее между мускатными деревьями и померанцевыми, розовыми кустами. Трава вся состояла из *mimosa pudica* (не тронь меня). От прикосновения зонтиком к траве она мгновенно сжималась по нашим следам.

Не было возможности дойти до вершины холма, где стоял губернаторский дом: жарко, пот струился по лицам. Мы полюбовались с полугоры рейдом, городом, которого европейская правильная часть лежала около холма, потом велели скорее вести себя в отель, под спасительную сень, добрались до балкона и заказали завтрак, но прежде выпили множество содовой воды и едва пришли в себя. Несмотря на зонтик, солнце жжет без милосердия ноги, спину, грудь – всё, куда только падает его луч.

Европейское общество состоит из консулов всех почти наций. Они живут в прекрасных домах на эспланаде, идущей по морскому берегу. Всех европейцев здесь до четырехсот человек, китайцев сорок, индийцев, малайцев и других азиатских племен до двадцати тысяч: это на всем острове. В городе я видел много европейских домов в упадке; на некоторых приклеены бумажки с надписью "Отдаются внаем". Самая биржа, старое здание, с обвалившейся штукатуркой, не обновляется с тех пор, как возник Гонконг. Говорят, от этого

Сингапур несколько потерял в торговом отношении. Некоторые европейцы, особенно англичане, перенесли круг своей деятельности туда. Китайцы тоже несколько реже стали ездить в Сингапур, имея возможность сбывать свои товары там, у самых ворот Китая.

Впрочем, Сингапур, как складочное место между Европой, Азией, Австралией и островами Индийского архипелага, не заглохнет никогда. Притом он служит приютом малайским и китайским пиратам, которые еще весьма сильны и многочисленны в здешних морях. Бульшую часть награбленных товаров они сбывают здесь, являясь в виде мирных купцов, а оружие и другие улики своего промысла прячут на это время в какой-нибудь маленькой бухте ненаселенного острова. Бельчер говорит, что сингапурские китайцы занимаются выделкой оружия собственно для них. Поэтому истребить пиратов почти нет возможности: у них на некоторых островах есть так хорошо укрепленные места, что могут противиться всякой вооруженной силе. Да и как проникнут к ним большие военные суда, когда бухты эти доступны только легким разбойничьим проа?

"Может быть, тут половина пиратов", – думал я, глядя на сновавшие по рейду длинные барки с парусами из циновки.

На бирже толпятся китайские, армянские, персидские купцы и, разумеется, англичане. Народонаселение кипит и движется. Вот китаец, почти нищий, нагой, бежит проворно, в своей тростниковой шляпе, и несет на нитке какую-нибудь дрянь на обед, или кусок рыбы, или печенки, какие-то внутренности; вот другой с водой, с ананасами на лотке или другими фруктами, третий везет кладь на паре горбатых быков. Вот выступают, в белых кисейных халатах, персияне; вот парси с бледным, матовым цветом лица и лукавыми глазами; далее армянин в европейском пальто; там карета промчалась с китайцами из лавок в их квартал; тут англичанин едет верхом.

Позавтракав, мы послали за каретами и велели ехать за город. Кареты и кучера – не последняя достопримечательность города и тотчас бросится в глаза. Я уж говорил, что едва вы ступите со шлюпки на берег, вас окружают несколько кучеров с своими каретами. Последние без рессор, но покойны, как люльки; внутри собственно два места; но если потесниться, то окажется, пожалуй, и четыре. Подушки и стенки обиты циновками. Карету в один конец, поближе, нанимают за полдоллара, подалее – за доллар, и на целый день – тоже доллар. Для кучера места нет: он что есть мочи бежит рядом, держа лошадь за узду, тогда как, по этой нестерпимой жаре, европеец едва сидит в карете. В Сингапуре нет мостовой, а есть убитые песком и укатанные аллеи, как у нас где-нибудь в Елагинском парке. Индеец, полуголый, с маленьким передником, бритый, в чалме, или с большими волосами, смотря по тому, какой он веры, бежит ровно, грациозно, далеко и медленно откидывая ноги назад, улыбаясь и показывая ряд отличных зубов. Ночью их обязали ездить с фонарями, иначе здесь ни зги не видать.

Они помчали нас сначала по предместьям, малайскому, индийскому и китайскому. Малайские жилища – просто сквозные клетки из бамбуковых тростей, прикрытые сухими кокосовыми листьями, едва достойные называться сараями, на сваях, от сырости и от насекомых тоже. У китайцев побогаче – сплошные ряды домов в два этажа: внизу лавки и мастерские, сверху жилье с жалюзи. Индийцы живут в мазанках.

Кругом всё заросло пальмами агеса или кокосовыми; обработанных полей с хлебом немного: есть плантации кофе и сахара, и то мало: места нет; всё болота и густые леса. Рис, главная пища южной Азии, привозится в Сингапур с Малаккского и Индийского полуостровов. Но зато сколько деревьев! хлебное, тутовое, мускатное, померанцы, бананы и другие.

Мы ехали по берегу той же протекающей по городу реки, которая по нем, или город по ней, называется Сингапур. Она мутна и не радует глаз, притом очень узка, но не мелка.

По берегу тянулись мазанки и хижины, из которых выглядывал то индеец, то малаец. В одном месте на большом лугу мы видели группу мужчин, женщин и детей в ярких, режущих глаза, красных и синих костюмах: они собирали что-то с деревьев. Там высунулась из воды голова буйвола; там бедный и давно не бритый китаец, под плетеной шляпой, тащит,

обливаясь потом, ношу; там несколько их сидят около походной лавочки или в своих магазинах, на пятках, в кружок и уплетают двумя палочками вареный рис, держа чашку у самого рта, и время от времени достают из другой чашки, с темною жидкостью, этими же палочками необыкновенно ловко какие-то кусочки и едят. Мы переехали несколько мостиков; вдали, на холмах, видны европейские дачи, выглядывавшие из гущи кипарисов, бананов и пальмовых рощ. Наконец въехали опять в китайский квартал, и опять нас охватили разные запахи.

В некоторых местах над лавками я видел надпись по-английски "Дозволенная продажа опиума". Мы хотели взглянуть, как курят опиум, и вошли в лавочку; но там только продавали его. Нас подвозили ко многим таким лавочкам; это были отвратительнейшие, неопрятные клетушки, где нагие китайцы предлагали нам купить отравы. Наконец кули повел нас через одну лавчонку в темный чулан: там, на грязной циновке, лежал один курильщик; он беспрестанно палочкой черпал опиум и клал его в крошечное отверстие круглой большой трубки. Но духота, вонь и жар от помещавшейся рядом китайской кухни были так сильны, что мы, не дождавшись действия опиума, бежали вон и вздохнули свободно, выехав из китайского квартала.

Некоторым нужно было что-то купить, и мы велели везти себя в европейский магазин; но собственно европейских магазинов нет: европейцы ведут оптовую торговлю, привозят и увозят грузы, а розничная торговля вся в руках китайцев. Лавка была большая, в две комнаты: и чего-чего в ней не было! Полотна, шелковые материи, сигары, духи, мыло, помада, наконец, китайские резные вещи, чай и т. п.

Между прочим вдруг нам бросилось в глаза, на куске холста, русское клеймо "Фабрика А. Перлова". Это дук. "Откуда? как?" – спросили мы приказчика-англичанина. "Это английский дук, – сказал он, – а клеймо русское". Я нарочно мешкал в лавке: мне хотелось дать отдохнуть кучерам; но они, кажется, всего меньше думали сами об этом. Мне сначала было совестно ехать и смотреть, как они бегут, но через полчаса я привык смотреть, а они – бежать. "Куда бы еще пойти? что посмотреть?" – говорили мы. "Ах! да ведь мы некоторым образом в Индии: здесь должны быть слоны; надо посмотреть, поездить на них". – "Есть здесь слоны?" – спросили мы у кули. "Есть", – отвечал он. "Где ж они? много их?" – "Один". – "Один! Ну, для такого островка и одного довольно! А можно поездить на нем?" – "Нет, нельзя, он на сахарном заводе работает".

Часа в четыре, покружась еще по улицам, походив по эспланаде, полюбовавшись садами около европейских домов, мы вернулись в "London hotel" – и сейчас под веер. Стали звонить к обеду. Хотя у нас еще не успел пробудиться аппетит, однако ж мы с бароном Крюднером отправились "посмотреть, что едят", как он говорил. Но я всегда в этих случаях замечал, что он придает слишком много значения глаголу "смотреть". Столовая помещалась в особой, выстроенной на дворе деревянной, открытой со всех сторон галерее, какие у нас делаются для игры в кегли; да тут же кстати на дворе была и другая такая же галерея для этой игры. Длинный-предлинный стол, над ним веер, висящий с потолка вдоль всего стола, и в углу два не очень мягкие, некрасивые дивана составляли всё убранство залы. Мы застали уже человек до пятнадцати англичан и американцев: они – по обыкновению – пили себе, как будто в Англии, херес, портвейн и эль.

Обед, по английскому обычаю, был весь на столе. Нам подали горячее: я попробовал – что-то родное. "Да это уха", – сказал я барону. "Суп из рыбы", – поправил он педантически. Потом подали рыбу, но она показалась мне несвежа, и отличную вареную зелень. Всякий брал, чего хотел, а выбрать было из чего: стояло блюд десять. Свиная была необыкновенной белизны, свежести и вкуса. Надо отдать справедливость здешним свиньям: на взгляд они некрасивы, хуже наших: низенькие, вместо щетины с маленькою, редкою и мягкою шерстью, похожей на пух, через которую сквозит жир; спина вогнута, а брюхо касается земли. Они не могут почти ходить от жиру, но вкусом необычайно нежны. Зато же здесь и обращаются с ними весьма нежно. Я видел, их везли целый воз на двух буйволах: каждая свинья помещалась в особой круглой плетенке, сделанной по росту свиньи. От этого

не слышно пронзительного визга, какой у нас иногда раздается по всей улице. В другой раз два китайца несли на плечах, с признаками большой осторожности и даже, кажется, уважения, такую корзину, в которой небрежно покоилась свинья.

На все такие места, как Сингапур, то есть торговые и складочные, я смотрю не совсем благосклонно, или, лучше, не совсем весело. На всем лежит печать случайности и необходимости, вынужденной обстоятельствами. Встречаешь европейца и видишь, что он приехал сюда на самое короткое время, для крайней надобности; даже у того, кто живет тут лет десять, написано на лице: "Только крайность заставляет меня томиться здесь, а то вот при первой возможности уеду". И на доме, кажется, написано: "Меня бы не было здесь, если бы консул не был нужен: лишь только его не станет, я сейчас же сгорю или развалюсь".

Мы с бароном делали наблюдения над всеми сидевшими за столом лицами, которые стеклись с разных концов мира "для стяжаний", и тихонько сообщали друг другу свои замечания. Между прочим, наше внимание поразил один молодой человек своей наружностью. "Посмотрите, какой красавец!" – сказал барон, указывая на англичанина. "Непростительно хорош!" – отвечал я. В самом деле, тонкий, нежный, матовый цвет кожи, голубые глаза, с трепещущей влагой задумчивости, кудри мягкие, как лен, легкие, грациозно выющиеся и осеняющие нежное лицо; голос тихий. О, какой это счастливец бежал из Европы? Что повлекло его сюда? ужели золото? Быть бы ему между вас, женщины; но из вас только одни англичанки могут заплатить ему такой же красотой. Это британский тип красоты, нежной, чистой и умной, если можно так выразиться: тут не было никаких роз, ни лилий, ни бровей дугой; всё дело было в чистоте и гармонии линий и оттенков, как в отлично составленном букете.

Я смотрел на красавца, следил за его разговором и мимикой: мне хотелось заметить, знает ли он о своей красоте, ценит ли ее, словом – фат ли он. Но тут не было женщин, а это только и можно узнать при них. Беда такому красавцу: если уроду нужно много нравственных достоинств, чтоб не колоть глаз своим безобразием, то красавцу нужно их чуть ли не больше, чтоб заставить простить себе красоту. Сколько надо одного ума, чтоб не знать о ней! Но этого не бывает; надо искусственно дойти до потери сознания о ней, забывать ее, то есть беспрестанно помнить, что надо забывать.

Мы посидели до вечера в отеле, беседуя с седым американским шкипером, который подсел к нам и разговорился о себе. Он смолodu странствует по морям.

Теперь он везет груз в Англию, а оттуда его через шесть недель пошлют в Нью-Йорк, потом в Рио-Жанейро. Так он провел сорок лет.

На возвратном пути опять над нами сияла картина ночного неба: с одной стороны Медведица, с другой – Южный Крест, далее Канопус, Центавры, наконец, могучий небесный странник Юпитер лили потоки лучей, а за ними, как розово-палевое зарево, сиял блеск Млечного Пути. Черные тучи, проносившиеся над картиной, казались еще чернее, по ним бороздили молнии; весла опять дружно разгребали серебряную влагу. Назади китайский квартал блистал разноцветными фонарями, развешенными у лавок; по рейду мелькали корабельные огни. Мы пробирались мимо джонок, которых уродливые силуэты тяжело покачивались крупными тенями, в одно время, на фоне звездного неба и на воде. Едешь: от воздуха жарко, от воды чуть-чуть веет прохлады. И круглый год так, круглый год – подумайте! те же картины, то же небо, вода, жар! Как ни приятно любоваться на страстную улыбку красавицы с влажными глазами, с полуоткрытым, жарко дышащим ртом, с волнующейся грудью; но видеть перед собой только это лицо, и никогда не видеть на нем ни заботы, ни мысли, ни стыдливого румянца, ни печали – устанешь и любоваться.

Мне, однако ж, не прошел даром обед и две рюмки шампанского. Только железные желудки англичан могут безнаказанно придерживаться европейского режима в пище и своих привычек. Другие, более или менее, платят дань климату. К этому еще нестерпимая жара преследует и днем, и ночью. Отворяешь двери, садишься на сквозном ветре – ничего не помогает. Ночной воздух стоит, как церемонный гость, у дверей и нейдет в каюту, не сладит с спершимся там воздухом. Днем облитые ослепительным солнечным блеском воды

сверкают, как растопленное серебро; лучи снопами отвесно и неотразимо падают на всё – на скалы, на вершины пальм, на палубы кораблей и, преломляясь, льют каскады огня и блеска по сторонам. Белая палуба блестит, как слоновая кость, песок на скалах белеет, как снег. Всё бежит, прячется, защищается; европейцы или сидят дома, или едут в шлюпках под тентом, на берегу – в каретах. Только индеец, растянувшись в лодке, спит, подставляя под лучи то один, то другой бок; закаленная кожа у него ярко лоснится, лучи скользят по ней, не проникая внутрь, да китайцы, с полуобритой головой, машут веслом или ворочают рулем, едучи на барке по рейду, а не то так работают около европейских кораблей, постукивая молотком или таская кладь. "Ах! – слышатся восклицания, – скоро ли вырвемся отсюда!" Пить хочется – а чего? вода теплая, отзывается чаем.

Льду, льду бы да снегу: не дым, а лед отечества нам сладок и приятен!

Между тем кругом всё так пышно: панорамы роскошнее представить нельзя.

Денное небо не хуже ночного. Одно облако проходит за другим и медленно тонет в блеске небосклона. Зори горят розовым, фантастическим пламенем, облака здесь, как и в Атлантическом океане, группируются чудными узорами.

А на берегу? Пальма ареса с своими темно-зелеными листьями, которых верхушки будто отрезаны, и всё дерево точно щеголевато острижено, кокосовые с развесистыми, длинными и острыми листьями, мускатные с небольшим, ярко-зеленым, жирным листом, далее померанцы, банианы – вот кайма, окружавшая нас! Вдруг перемена декорации: цвета блекнут на всем. Пошел дождь. Откуда взялось облако? Небо как будто покрылось простыней; полились потоки: в пять-десять минут подставленные бочки полны водой. Но вы не успели подумать о том, долго ли это продолжится, а оно уж и кончилось. Опять сухо; грязи здесь не бывает: ступайте по траве, по земле – подошва суха.

Живут же люди в этих климатах, и как дешево! Одежда – кусок полотна или бумажной материи около поясницы – и только; всё остальное наруже; ни сапог, ни рубашек. У европейцев есть и то и другое, но как охотно они бросили бы эти то и другое, и, пожалуй, еще и третье... панталоны! Пища – горсть рису, десерт – ананас, стоящий грош, а если нет гроша, а затем и ананаса, то первый выглянувший из-за чужого забора и ничего не стоящий банан, а нет и этого, так просто поднятый на земле упавший с дерева мускатный орех. Питье – если не вода, которая мутна, то всегда готовый к вашим услугам, никому и всем принадлежащий кокосовый орех. Жить, то есть спать, везде можно: где ни лягте – тепло и сухо.

Кстати о кокосах. Недолго они нравились нам. Если их сорвать с дерева, еще зеленые, и тотчас пить, то сок прохладен; но когда орех полежит несколько дней, молоко согревается и густеет. В зрелом орехе оно образует внутри скорлупы твердую оболочку, как ядро наших простых орехов. Мы делали из ядра молоко, как из миндаля: оно жирно и приторно; так пить нельзя; с чаем и кофе хорошо, как замена сливок.

Какую роль играет этот орех здесь, в тропических широтах! Его едят и люди, и животные; сок его пьют; из ядра делают масло, составляющее одну из главных статей торговли в Китае, на Сандвичевых островах и в многих других местах; из древесины строят дома, листьями кроют их, из чашек ореха делают посуду.

Вот ананасы так всем нам надоели: охотники ели по целому в день. Один уверял, что будто съел три; мы приняли это за хвастовство. Верхушку ананаса срезавают здесь более, нежели на вершок, и бросают, не потому, чтоб она была невкусна, а потому, что остальное вкуснее; потом режут спиралью, срезывая лишнее, шелуху и щели; сок течет по ножу, и кусок ананаса тает во рту. У всех в каютах висели ряды ананасов, но один из наших офицеров (с другого судна) заметил, что из зеленых корней ананасов выползли три маленькие скорпиона, которых он принял сначала за пауков. Вскоре после того один из матросов, на том же судне, был ужален, вероятно одним из них, в ногу, которая сильно распухла, но опухоль прошла, и дело тем кончилось.

Но что ж такое Сингапур? Я еще не сказал ничего об этом. Это островок, в несколько миль величиной, лежащий у оконечности Малаккского полуострова, под 1°30' северной

широты, следовательно у самого экватора. Он уступлен англичанам, в 1819 году, одним из малаккских султанов, которому они помогли утвердиться в его владениях. Надо знать, что незадолго пред тем голландцы выхлопотали себе у другого султана, соперника первого, торговое поселение в тех же местах, именно в проливе Рио. Англичане имеют такой обычай, что лишь зачуют где торговлю, то и явятся с своими товарами: так они сделали и там. А у голландцев есть обычай не пускать других туда, где торгуют они сами. Всё это было причиною того, что Сингапур возник и процвел, а голландское поселение пало.

Стен Биль, командир датского корвета "Галатея" и автор путешествия, сравнивает нынешний Сингапур, в торговом отношении, с древней Венецией.

Сравнение слабое, не совсем лестное для Сингапура. Что такое капиталы времен Венецианской республики пред британскими? Что такое положение Венеции между тогдашним Востоком и тогдашним Западом – перед положением Сингапура между Индией, Китаем, Малаккским полуостровом, Австралией, Сиамом, Кохинхиной и Бирманской империей, которые все шлют продукты свои в Сингапур и оттуда в Европу? А чего не везут теперь из Европы сюда? Что такое, наконец, так называемая тогдашняя роскошь перед нынешним комфортом? Роскошь – порок, уродливость, неестественное уклонение человека за пределы естественных потребностей, разврат. Разве не разврат и не уродливость платить тысячу золотых монет за блюдо из птичьих мозгов или языков или за филе из рыбы, не потому, чтоб эти блюда были тоньше вкусом прочих, недорогих, а потому, что этих мозгов и рыб не напасешься? Или не безумие ли обедать на таком сервисе, какого нет ни у кого, хоть бы пришлось отдать за него половину имения? Не глупость ли заковывать себя в золото и камень, в которых поворотиться трудно, или надевать кружева, чуть не из паутины, и бояться сесть, облокотиться?

Венецианские граждане (если только слово "граждане" не насмешка здесь) делали всё это; они сидели на бархатных, но жестких скамьях, спали на своих колючих глазовых постелях, ходили по своим великолепным площадям ощупью, в темноте и едва ли имели хоть немного приблизительное к нынешнему, верное понятие об искусстве жить, то есть извлекать из жизни весь смысл, весь здоровый и свежий сок.

Тщеславие и грубое излишество в наслаждениях – вот отличительные черты роскоши. Оттого роскошь недолговечна: она живет лихорадочною и эфемерною жизнью; никакие Крезы не достигают до геркулесовых столпов в ней; она падает, истощившись в насыщении, увлекая падением и торговлю. Рядом с роскошью всегда таится невидимый ее враг – нищета, которая сторожит минуту, когда мишурная богиня зашатается на пьедестале: она быстро, в цинических лохмотьях своих, сталкивает царицу, садится на ее престол и гложет великолепные остатки.

Вспомните не одну Венецию, а хоть Испанию например: уж, кажется, трудно выдумать наряднее эпанчу, а в какую дырявую мантию нарядилась она после! Да одни ли Испания и Венеция?..

Где роскошь, там нет торговли; это конвульсивные, отчаянные скачки через препятствия, *courses aux clochers*: перескачет, схватит приз и сломает ноги.

Не таков комфорт: как роскошь есть безумие, уродливое и неестественное уклонение от указанных природой и разумом потребностей, так комфорт есть разумное, выработанное до строгости и тонкости удовлетворение этим потребностям. Для роскоши нужны богатства; комфорт доступен при обыкновенных средствах. Богач уберет свою постель валансьенскими кружевами; комфорт потребует тонкого и свежего полотна. Роскошь садится на инкрустированном, золоченом кресле, ест на золоте и на серебре; комфорт требует не золоченого, но мягкого, покойного кресла, хотя и не из редкого дерева; для стола он довольствуется фаянсом или, много, фарфором. Роскошь потребует редкой дичи, фруктов не по сезону; комфорт будет придерживаться своего обыкновенного стола, но зато он потребует его везде, куда ни забросит судьба человека: и в Африке, и на Сандвичевых островах, и на Нордкапе – везде нужны ему свежие припасы, мягкая говядина, молодая курица, старое вино. Везде он хочет находить то сукно и шелк, в которое одевается в Париже, в Лондоне, в

Петербурге; везде к его услугам должен быть готов сапожник, портной, прачка.

Роскошь старается, чтоб у меня было то, чего не можете иметь вы; комфорт, напротив, требует, чтоб я у вас нашел то, что привык видеть у себя.

Задача всемирной торговли и состоит в том, чтоб удешевить эти предметы, сделать доступными везде и всюду те средства и удобства, к которым человек привык у себя дома. Это разумно и справедливо; смешно сомневаться в будущем успехе. Торговля распространилась всюду и продолжает распространяться, разнося по всем углам мира плоды цивилизации. Вопрос этот важнее, нежели как кажется с первого раза. Комфорт и цивилизация почти синонимы, или, точнее, первое есть неизбежное, разумное последствие второго. И торговля не падет никогда, удовлетворяя хотя тонким, но разумным потребностям большинства, а не безумным прихотям немногих. Дело вполнину уже и сделано. Куда европеец только занесет ногу, везде вы там под знаменем безопасности, обилия, спокойствия и того благосостояния, которым наслаждаетесь дома, протягивая, конечно, ножки по одежке.

Сингапур – один из всемирных рынков, куда пока еще стекается всё, что нужно и не нужно, что полезно и вредно человеку. Здесь необходимые ткани и хлеб, отравы и целебные травы. Немцы, французы, англичане, американцы, армяне, персияне, индусы, китайцы – всё приехало продать и купить: других потребностей и целей здесь нет. Роскошь посылает сюда за тонкими ядами и пряностями, а комфорт шлет платье, белье, кожи, вино, заводит дороги, дома, прорубается в глушь...

Что ж значит старая Венеция, с своими золочеными галерами, перед этими уродливыми джонками или ост-индскими судами, полными огромных, сырых и возделанных, богатств?

Еще слово: что было недоступною роскошью для немногих, то, благодаря цивилизации, делается доступным для всех: на севере ананас стоит пять-десять рублей, здесь – грош: задача цивилизации – быстро переносить его на север и вогнать в пятак, чтобы вы и я лакомились им.

Прогресс сделал уже много побед. Прочтите описание кругосветного путешествия, совершенного пятьдесят лет назад. Что это было? – попытка!

Путешественник проходил сквозь строй лишений, нужд, питался соленым мясом, пил воду, зажав нос; дрался с дикими. А теперь? Вы едва являетесь в порт к индийцам, к китайцам, к диким – вас окружают лодки, как окружили они здесь нас: прачка-китаец или индеец берет ваше тонкое белье, крахмалит, моет, как в Петербурге; является портной, с длинной косой, в кофте и шароварах, показывает образчики сукон, материй, снимает мерку и шьет европейский костюм; съедете на берег – жители не разбегаются в стороны, а встречают толпой, не затем чтоб драться, а чтоб предложить карету, носилки, проводить в гостиницу. Там тот же мягкий бифштекс, тот же лафит, херес и чистая постель, как в Европе.

Я дня два не съезжал на берег. Больной, стоял я, облокотясь на сетки, и любовался на небо, на окрестные острова, на леса, на разбросанные по берегам хижины, на рейд, с движущеюся картиной джонок, лодок, вглядывался в индийские, китайские физиономии, прислушивался к говору.

Особенно любопытно было видеть, как наши матросы покупали у туземцев фрукты, потом разные вещи, ящички, вееры, простые материи и т. п. Что за язык придумали они – и понимали друг друга! Фаддеев, по моему поручению, возьмет деньги, спустится на лодки купить ананасов или что-нибудь другое: вижу, он спорит там, сердится; наконец торг заключается и он приносит, что нужно. "Черти этикие: с ними не сообразишь! – говорил он, воротясь, – вчера полшильника просил, а теперь хочет шильник (шиллинг)". – "Да как ты там говоришь с ними?" – "По-англичански". – "Как ты спросишь?" – "А вот возьму в руку вещь да и спрошу: омач? (how much? – что стоит?)".

Наконец мне стало легче, и я поехал в Сингапур с несколькими спутниками. Здесь есть громкое коммерческое имя Вампоа. В Кантоне так называется бухта или верфь; отсюда ли родом сингапурский купец – не знаю, только и его зовут Вампоа. Он уж лет двадцать как выехал из Китая и поселился здесь. Он не может воротиться домой, не заплатив... взятки. Да едва ли теперь есть у него и охота к тому. У него богатые магазины, дома и великолепная

вилла; у него наши запасались всем; к нему же в лавку отправились и мы.

При входе сидел претолстый китаец, одетый, как все они, в коленкоровую кофту, в синие шаровары, в туфлях с чрезвычайно высокой замшевой подошвой, так что на ней едва можно ходить, а побегать нет возможности. Голова, разумеется, полуобрита спереди, а сзади коса. Тут был приказчик-англичанин и несколько китайцев. Толстяк и был хозяин. Лавка похожа на магазины целого мира, с прибавлением китайских изделий, лакированных ларчиков, вееров, разных мелочей из слоновой кости, из пальмового дерева, с резьбой и т. п.

Взглянув на этот базар, мы поехали опять по городу, по всем кварталам – по малайскому, индийскому и китайскому, зажимая частенько нос, и велели остановиться перед буддийской кумирней. На улицу выходят наглухо запертые ворота с решетчатым забором, из-за которого видна крыша с загнутыми углами.

Всё это ярко, пестро разрисовано красной, зеленой и желтой красками.

Прислужник-индеец отпер нам калитку, и мы вошли на чистый, вымощенный каменными плитами, большой двор. Направо колодезь, потом пустая стена и в углу открытая со всех сторон кухня. Тут, на плитах и на жаровнях, жарились и варились, шипя, разные яства. Около суетилось несколько китайцев; налево, посредине стены, была маленькая кумирня с жертвенником, идолами, курящимися благовонными и восковыми свечами. На коленях перед жертвенником стоял бонз: ударяя палочкой в маленький, круглый барабан, он читал нараспев по книге, немного в нос. Тут же, в часовне, сидело около стола несколько китайцев и шили что-то, не обращая ни малейшего внимания на монаха. Я заглянул ему в лицо: бледен, худ, глаза закрыты.

Весь двор усажен по стенам банановыми, пальмовыми и мускатными деревьями. Посреди двора стояла главная кумирня – довольно обширное, открытое со всех сторон здание, под тремя или четырьмя кровлями, всё с загнутыми углами. Сколько позолоты, резьбы, мишурных украшений, поддельных камней и какое безвкусице в этой восточной пестроты! Китайцы и индийцы, кажется, сообща приложили каждый свой вкус к постройке и украшениям здания: оттого никак нельзя, глядя на эту грудку камней, мишурного золота, полинялых тканей, с примесью живых цветов, составить себе идею о стиле здания и украшений. Внутри кумирни помещались три ниши с идолами; кругом крытая галерея. Резная работа всюду: на перилах, на стенах; даже гранитные поддерживающие крышу столбы тоже изваяны грубо и представляют животных.

Между идолами стоит Будда, с своими двумя прислужниками, и какая-то богиня, еще два другие идола – все с чудовищно-безобразными лицами. Тут, между прочим, есть фигура – эмблема настоящего, прошедшего и будущего. Перед идолами горели тоненькие, длинные свечи. Я хотел посмотреть, из какого дерева, и спросил одну. Индеец тотчас взял, зажег и подал мне, но отец Аввакум проворно сказал: "Плюньте, бросьте: это он хочет, чтоб вы идолу свечку поставили!" Из буддийской кумирни мы поехали в индийское капище, к поклонникам Браммы. Через довольно высокую башню из диких, грубо отесанных камней входишь на просторный, обсаженный деревьями двор. Прямо крытая галерея, на столбах, ведет в капище. Но едва мы сделали несколько шагов, нас остановил индеец, читавший нараспев книгу, и молча указал нам на сапоги, предлагая или снять их, или не ходить дальше. Мы остановились и издали смотрели в кумирню, но там нечего было смотреть: те же три ниши, что у буддистов, с позолоченными идолами, но без пестроты, украшенными только живыми цветами. В галерее, вне часовни, стоял деревянный конь, похожий на наших балаганных коньков, но в натуральную величину, весь расписанный, с разными привесками и украшениями, назначенный для торжественных процессий, как объяснил нам кое-как индеец.

Мы пошли назад; индеец принялся опять вопить по книге, а другие два уселись на пятки слушать; четвертый вынес нам из ниши роз на блюде. Мы заглянули по соседству и в малайскую мечеть. "Это я и в Казани видел", – сказал один из моих товарищей, посмотрев на голые стены.

Мы вышли и поехали по улицам, по речке... Вдруг нас поразили звуки какой-то

странной музыки.

По улице тянулась процессия, но, благодаря лепетанью китайцев, мы не могли узнать какая, только печальная. Один твердил на наши вопросы "sick" ("больной"), но спутник наш, бывший в Китае, объяснил, что это поминки по умершем. Двух женщин, закрытых с головы до ног кисейным покрывалом, вели под руки. Впереди шли жрецы, потом какие-то оборванцы в рубищах, которые кричали, музыканты с гонгами шли вперед. Мы вышли из карет и вмешались в процессию. Я не скажу, чтоб музыка была совсем нескладна, – нет, в ней есть мелодия, но скудная и странная. Процессия повернула в узкий переулок, а мы отправились в отель, на балкон, сидеть и лениться.

На следующий день мы собрались осмотреть новую гавань и пришедший из Австралии пароход. Мы поехали в гичке. Погода была – превосходная, сказал бы я, если б здесь была когда-нибудь другая. Мы въехали в узенький пролив между Сингапуром и другими маленькими островами, покрытыми ярко-изумрудного цвета зеленью. Солнце так и лило потоки язвительных лучей на скалы. Страшно подумать взойти туда, под эти стрелы, а китайцы и малайцы ползали там голые, некоторые без шляп. От здешних лучей, если они застанут европейца с обнаженной головой, надо бежать прятаться под кров попроворнее, нежели иногда бежишь под крышу от ливня.

Европейские дачи, деревеньки, берега – всё тонет в зелени; везде густая трава и пальмы. Наконец пристали к пристани и пошли на пароход. Но что мне пароход? Я вошел на минуту, да и долой, а товарищи мои, моряки, начали вглядываться во всякую гайку, винт. Я пошел по пристани. Запасные пакгаузы заперты тяжелыми дверьми, за которыми хранятся грузы, ожидающие кораблей для развоза в Европу, в Китай или Австралию. Они стоят безмолвные теперь; но чуть заवेет ожидаемый флаг, эти двери изрыгнут миллионы или поглотят их. Тут же выстроены обширные угольные сараи. Более сотни китайцев брали кули, пуда в три-четыре, легко и ловко взбрасывали их себе на шею и мчались во всю мочь на пароход под этим солнцем, когда дышишь будто огнем. А они ничего: тело обнажено, голова открыта, потому что в тростниковой широкой шляпе неловко было бы носить на шее кули; только косы, чтоб не мешали, подобраны на затылке, как у женщин. У многих совершенно женские лица, гладкие; борода и усы почти не растут, а они еще их бреют донельзя. Много видно умных, или, лучше сказать, смышленных, а более лукавых лиц.

Мы прошли около всех этих торговых зданий, пакгаузов, вошли немного на холм, к кустам, под тень пальм. "Ах, если б напиться!" – говорили мы – но чего? Тут берег пустой и только что разрабатывается. К счастью, наши матросы накупили себе ананасов и поделились с нами, вырезывая так искусно средину спиралью, что любому китайцу впору.

Мы через рейд отправились в город, гоняясь по дороге с какой-то английской яхтой, которая ложилась то на правый, то на левый галс, грациозно описывая круги. Но и наши матросы молодцы: в белых рубашках, с синими каймами по воротникам, в белых же фуражках, с расстегнутой грудью, они при слове "Навались! дай ход!" разом вытягивали мускулистые руки, все шесть голов падали на весла, и, как львы, дерущие когтями землю, раздирали веслами упругую влагу.

Мы въехали в речку и пошли бродить по знакомым уже рядам и улицам. Но глаз – несмотря на всё разнообразие лиц и пестроту костюмов, на наготу и разноцветность тел, на стройность и грацию индийцев, на суетливых желтоватых китайцев, на коричневых малайцев, у которых рот, от непрерывной жвачки бетеля, похож на трубку, из которой лет десять курили жуковский табак, на груды товаров, фруктов, на богатую и яркую зелень, несмотря на всё это, или, пожалуй, смотря на всё, глаз скоро утомляется, ищет чего-то и не находит: в этой толпе нет самой живой ее половины, ее цвета, роскоши – женщин.

Представьте, что из шестидесяти тысяч жителей женщин только около семисот. Европейок, жен, дочерей консулов и других живущих по торговле лиц немного, и те, как цветы севера, прячутся в тень, а китайок и индианок еще меньше. Мы видели в предместьях несколько китайских противных старух; молодых почти ни одной; но зато видели несколько молодых и довольно красивых индианок. Огромные золотые серьги, кольца, серебряные

браслеты на руках и ногах бросались в глаза.

Европейнок можно видеть у них дома или с пяти часов до семи, когда они катаются по эспланаде, опрокинувшись на эластические подушки щегольских экипажей в легких, прозрачных, как здешний воздух, тканях и в шляпках, не менее легких, а ж оиг: точно бабочка сидит на голове. Эти леди лениво проедут по прекрасной дороге под тенью великолепных банианов, пальм, близ зеленой пелены вод, бахромой рассыпающихся у самых колес. Я только не понимаю одного: как чопорные англичанки, к которым в спальню не смеет войти родной брат, при которых нельзя произнести слово "панталоны", живут между этим народонаселением, которое ходит вовсе без панталон? Разве они так же вооружены аристократическим презрением ко всему, что ниже их, как римские матроны, которые, не зная чувства стыда перед рабами, мылись при них и не удостаивали их замечать?.. Может быть и то: видно, климат меняет нравы.

Еще одно, последнее сказание о Сингапуре, или, скорее, о даче Вампоа.

Купец этот пригласил нас к себе, не назначив, кого именно, в каком числе, а просто сказал, что ожидает к себе в четыре часа, и просил заехать к нему в лавку, откуда вместе и поехать. Мы отправились впятером и застали его в лавке, неподвижно, с важностью Будды сидящего на своем месте. Он двоих пригласил сесть с собой в карету, и сам, как сидел в лавке, так в той же кофте, без шапки, и шагнул в экипаж. Прочие разместились в наемных каретах.

До дачи было мили три, то есть около четырех верст. Вот моцион для кучеров – бегом, по жару!

Гладкая, окруженная канавками дорога шла между плантаций, фруктовых деревьев или низменных и болотистых полей. С дороги уже видны густые, непроходимые леса, в которых гнездятся рыси, ленивцы, но всего более тигры.

Этих животных не было, когда остров Сингапур был пуст, но лишь только он заселился, как с Малаккского полуострова стали переправляться эти звери и тревожить людей и домашних животных. Спортсменов еще не явилось для истребления зверей, а теперь пока звери истребляют людей. Сингапур еще ожидает своих Нимвродов. Говорят, тигры здесь так же велики и сильны, как на Индийском полуострове: они одной породы с ними. Круглым счетом истребляется зверями по человеку в два дня; особенно погибает много китайцев, вероятно, потому, что их тут до сорока, а прочих жителей до двадцати тысяч. При нас, однако, с людьми ничего не случилось; но у одного китайца, который забрался подалее в лес, тигр утащил собаку.

Мы ехали около часа, как вдруг наши кучера, в одном месте, с дороги бросились и потащили лошадей и экипаж в кусты. "Куда это? уж не тигр ли встретился?" – "Нет, это аллея, ведущая к даче Вампоа".

Что это такое? как я ни был приготовлен найти что-нибудь оригинальное, как много ни слышал о том, что Вампоа богат, что он живет хорошо, но то, что мы увидели, далеко превзошло ожидание. Он тотчас повел нас показать сад, которым окружена дача. Про китайские сады говорят много хорошего и дурного.

Одни утверждают, что у китайцев вовсе нет чистого вкуса, что они насилуют природу, устраивая у себя в садах миньютюрные горы, озера, скалы, что давно признано смешным и уродливым; а один из наших спутников, проживший десять лет в Пекине, рассказывал, что китайцы, напротив, вернее всех понимают искусство садоводства, что они прорывают скалы, дают по произволу течение ручьям и устраивают всё то, о чем сказано, но не в таких жалких, а, напротив, грандиозных размерах и что пекинские богдыханские сады представляют неподражаемый образец в этом роде. Чему верить? и тому и другому: что богдыханские сады устроены грандиознее и шире других – это понятно; что у частных людей это сжато, измельчено – тоже понятно. Но посмотрим, каков сад Вампоа.

От дома шли большею частью узенькие аллеи во все стороны, обсаженные или крупной породы деревьями, или кустами, или, наконец, цветами. Хозяин – не только охотник, но и знаток дела. Он подробно объяснил нам свойства каждого растения, которые

рассажены в систематическом порядке. Не стану исчислять всего, да и не сумею, отчасти потому, что забыл, отчасти не разобрал половину английских названий хорошенько, хотя Вампоа, живущий лет двадцать в Сингапуре, говорит по-английски, как англичанин. "Вот гвоздичное, вот перцовое дерево, – говорил хозяин, подводя нас к каждому кусту, – вот саговая пальма, терновые яблоки, хлопчатобумажный куст, хлебный плод" и т. д. – словом, всё, что производит Индия.

Между цветами особенно интересны водяные растения, исполинские лилии и лотос: они росли в наполненной водою канаве. Замечателен также растущий в наполненной водою же громадной вазе куст, похожий немного на плющ, привезенный сюда из Китая. Кругом корня в вазе плавали золотые рыбки. Куст этот, по объяснению хозяина, растет так сильно, что если ему дать волю, то года через два им покроется весь сад, и между тем, кроме воды, ему никакой почвы не нужно. Не знаю, правда ли это. Тут же смотрели мы красивое растение, листья которого, сначала темно-красные и угловатые, по мере созревания переходят в зеленый цвет и получают гладкую, продолговатую форму.

Бамбук и бананник рассажены в саду в виде шпалеры, как загородки. Цветов не оберешься, и одни великолепнее других. Тут же было несколько гряд с ананасами.

Я не пересказал и двадцатой доли всего, что тут было: меня, как простого любителя, незнатка, занимал более общий вид сада. Да, это Индия и Китай вместе. Вот эти растения, чада тропических лучей, нежно воспитанные любимцы солнца, аристократия природы! Всё пышно убрано, или цветущее, или ароматично; всё носит в себе тонкий дар природы, назначенный не для простых и грубых надобностей. Тут не добудешь дров и не насытишь грубого голода, не выстроишь ни дома, ни корабля: наслаждаешься этими тонкими изделиями природы, как произведениями искусств. На каждом дереве и кусте лежит такая своеобразная и яркая красота, что не пройдешь мимо его незаметно, не смешаешь одного с другим. И Вампоа мастерски, с умом и любовью, расположил растения в своем саду, как картины в галерее.

Кроме растений в саду есть помещения для разных животных. Настроено несколько башенок с решетчатыми вышками для голубей, которые мельче, но пестрее и красивее наших, а для фазанов и других птиц поставлена между кустами огромная проволоочная клетка. Мы вошли в нее, и испуганные павлины, цапли и еще какие-то необыкновенные белые утки с красными наростами около носа и глаз, как у пьяниц, стаей бросились от нас в разные стороны. Перешли мостик мимо водяных растений и подошли к сараю, где тоже шарахнулись по углам от нас дикие козы и малорослые олени. Особо, тут же, за проволоочной дверью, сидел казуар – высокая, сильная птица с толстыми ногами и ступнями, похожими на лошадиные. Хозяин сказывал, что казуар лягается ногами почти так же сильно, как лошадь. Но при нас он выказывал себя с самой смешной стороны.

Когда мы подходили к его клетке, он поспешно удалялся от нас, метался во все четыре угла, как будто отыскивая еще пятого, чтоб спрятаться; но когда мы уходили прочь, он бежал к двери, сердился, поднимал ужасную возню, топал ногами, бил крыльями в дверь, клевал ее – словом, так и просился, по характеру, в басни Крылова.

Наконец хозяин показал последний замечательный предмет – превосходную арабскую лошадь, совершенно белую, с серебристым отливом. Заметно, что он холит ее: она так же почти толста и гладка, как он сам.

Мы пошли в дом. Он еще замечательнее сада.

Из просторных сеней с резными дверями мы поднялись по деревянной, устланной циновками лестнице вверх, в полумрачные от жалюзи комнаты, сообщающиеся круглыми дверьми. Везде стены и мебель тонкой резной работы, золоченые ширмы, длинные крытые галереи со всеми затеями утонченной роскоши; бронза, фарфор; по стенам фигуры, арабески.

Европейский комфорт и восточная роскошь подали здесь друг другу руку.

Это дворец невидимой феи, индийской пери, самой Сакунталы, может быть. Вот, кажется, следы ее ножек, вот кровать, закрытая едва осязаемой кисеей, висающие лампы и цветные китайские фонари, роскошный европейский диван, а рядом длинное и широкое

бамбуковое кресло. Здесь резные золоченые колонны, служащие преддверием ниши, где богиня покоится в жаркие часы дня под дуновением висячего веера.

Но богини нет: около нас ходит будто сам индийский идол – эмблема обилия и плодородия, Вампоа. Неужели это он отдыхает под кисеей в нише, на него веет прохладу веер, его закрывают ревнивые жалюзи и золоченые резные ширмы от жара? Будто? А зачем же в доме три или четыре спальни? Чьи, вон это, крошечные туфли прячутся под постель? Чьи это мелочи, корзиночки? Кто тут садится около круглого стола, на котором разбросаны шелк, нитки и другие следы рукоделья?

Все комнаты оживлены чьим-то таинственным присутствием: много цветов, китайская библиотека, вазы, ларчики. Мы приездом своим как будто спугнули кого-то. Но в доме не слышать ни шороха, ни шелеста. А вон два-три туалета: нет сомнения, у Вампоа есть жена, может быть, две-три. Где ж они?

Что эта вилла без них с своей позолотой, огромными зеркалами, резными шкапами и другими чудесами китайской природы и искусства, не исключая и хозяина?

Хозяин пригласил нас в гостиную за большой круглый стол, уставленный множеством тарелок и блюд с свежими фруктами и вареньями. Потом слуги принесли графины с хересом, портвейном и бутылки с элем. Мы попробовали последнего и не могли опомниться от удовольствия: пиво было холодно как лед, так что у меня заныл зуб. Подали воды, тоже прехолодной. Хозяин объяснил, что у него есть глубокие подвалы; сверх того, он нарочно велел нахолодить пиво и воду селитрой.

Мы стали собираться домой, обошли еще раз все комнаты, вышли на идущие кругом дома галереи: что за виды! какой пламенный закат! какой пожар на горизонте! в какие краски оделись эти деревья и цветы! как жарко дышат они!

Ужели это то солнце, которое светит у нас? Я вспомнил косвенные, бледные лучи, потухающие на березах и соснах, остывшие с последним лучом нивы, влажный пар засыпающих полей, бледный след заката на небе, борьбу дремоты с дрожью в сумерки и мертвый сон в ночи усталого человека – и мне вдруг захотелось туда, в ту милую страну, где... похолоднее.

Мы уехали. Дорогой я видел, как сквозь багровое зарево заката бледно мерцали уже звезды, готовясь вдруг вспыхнуть, лишь только исчезнет солнце.

Скоро яркий пурпурный блеск уступил мягким, нежным тонам, и мы еще не доехали до города, как небо, лес – всё стало другое.

В городе уже сияли огни; особенно ярко освещаются китайские ряды разноцветными бумажными фонарями. На эспланаде, под банианом, гремела музыка. Мы остановились тут и пробыли до глубокой ночи. В темноте я наткнулся на какого-то француза, с которым разговорился о городе, о жителях, о стране. Я спросил его, между прочим, как четыреста человек европейцев мирно уживаются с шестьюдесятью тысячами народонаселения при резком различии их в вере, понятиях, цивилизации? Он сказал, что полиция, которая большею частью состоит из сипаев, то есть служащих в английском войске индийцев, довольно многочисленна и бдительна, притом все цветные племена питают глубокое уважение к белым.

В начале июня мы оставили Сингапур. Недели было чересчур много, чтоб познакомиться с этим местом. Если б мы еще остались день, то не знали бы, что делать от скуки и жара. Нет, Индия не по нас! И англичане бегут из нее, при первом удобном случае, спасаться от климата на мыс Доброй Надежды, в порт Джаксон – словом, дальше от экватора, от этих палящих дней, от беспрохладных ночей, от мест, где нельзя безнаказанно есть и пить, как едят и пьют англичане.

Я рад, что был в Сингапуре, но оставил его без сожаления; и если возвращусь туда, то без удовольствия и только поневоле.

До свидания.

Китайское море. Июль 1853 года.

VII

ГОН-КОНГ

Вид рейда и города. – Улица с дворцами и китайский квартал. – Китайцы и китаянки. – Клуб и казармы. – Посещение фрегата епископом и генерал-губернатором. – Заведение Джердина и Маттисона.

Я не писал к вам из Гонконга (или правильнее, по-китайски: Хонкона): не было возможности писать – так жарко. Я не понимаю, как там люди сидят в конторах, пишут, считают, издают журналы! Солнце стояло в зените, когда мы были там, лучи падали прямо – прошу заняться чем-нибудь! Пишу теперь в море и не знаю, когда и где отправлю письмо; разве из Китая; но в Китай мы пойдем уже из Японии. Всё равно: я хочу только сказать вам несколько слов о Гонконге, и то единственно по обещанию говорить о каждом месте, в котором побываем, а собственно о Гонконге сказать нечего, или если уже говорить как следует, то надо написать целый торговый или политический трактат, а это не мое дело: помните уговор – что писать!

С первого раза, как станешь на гонконгский рейд, подумаешь, что приехал в путное место: куда ни оглянешься, всё высокие зеленые холмы, без деревьев правда, но приморские места, чуть подальше от экватора и тропиков, почти все лишены растительности. Подумаешь, что деревья там где-нибудь, подальше, в долинах: а здесь надо вообразить их очень подальше, без надежды дойти иди доехать до них. Глядите на местность самого островка Гонконга, и взгляд ваш везде упирается, как в стену, в красно-желтую гору, местами зеленую от травы. У подошвы ее, по берегу, толпятся дома, и между ними, как напоказ, выглядывают кое-где пучки банановых листьев, которые сквозят и желтеют от солнечных лучей, да еще видна иногда из-за забора, будто широкая метла, верхушка убитого солнцем дерева.

Зато песку и камней неистощимое обилие. Англичане сумели воспользоваться и этим материалом. На высотах горы, в разных местах вы видите то одиноко стоящий каменный дом, то расчищенное для постройки место: труд и искусство дотронулись уже до скал. Поглядев на великолепные дома набережной, вы непременно дорисуете мысленно вид, который примет со временем и гора. Китайцам, конечно, не грезилось, когда они, в 1842 году, по Нанкинскому трактату, уступали англичанам этот бесплодный камень вместо цветущего острова Чусана, во что превратят камень рыжие варвары. Еще менее грезилось, что они же, китайцы, своими руками и на свою шею, будут обтесывать эти камни, складывать в стены, в брустверы, ставить пушки...

Всё это сделано. Город Виктория состоит из одной, правда, улицы, но на ней почти нет ни одного дома; я ошибкой сказал выше дома: это всё дворцы, которые основаниями своими купаются в заливе. На море обращены балконы этих дворцов, осененные теми тощими бананами и пальмами, которые видны с рейда и которые придают такой же эффект пейзажу, как принужденная улыбка грустному лицу.

Дня три я не сходил на берег: нездоровилось и не влекло туда, не веяло свежестью и привольем. Наконец, на четвертый день, мы с Посьетом поехали на шлюпке, сначала вдоль китайского квартала, состоящего из двух частей народонаселения: одна часть живет на лодках, другая в домишках, которые все сбиты в кучу и лепятся на самом берегу, а иные утверждены на сваях, на воде.

Лодки, с семействами, стоят рядами на одном месте или разъезжают по рейду, занимаясь рыбной ловлей, торгуют, не то так перевозят людей с судов на берег и обратно. Все они с навесом, вроде кают. Везде увидишь семейные сцены: обедают, занимаются рукоделем, или мать кормит грудью ребенка.

Мы пристали к одной из множества пристаней европейского квартала, и сквозь какой-то купеческий дом, через толпу китайцев, продавцов и носильщиков (кули), сквозь всевозможные запахи протеснились на улицу, думая там вздохнуть свободно. Но, потянув воздух в себя, мы глотнули будто горячего пара, сделали несколько шагов и уже должны были подумать об убежище, куда бы укрыться в настоящую, прохладную тень, а не ту, которая покоилась по одной стороне великолепной улицы. Солнце жжет и в тени. Мы добежали до какого-то магазина, где навалены тюки всяких товаров и где на полках, между прочим, стояли и аптекарские материалы. Тут же продавали почему-то содовую воду, *limonade gazeuse*. Англичане и здесь пьют его с примесью *brandy*, то есть коньяку, для уравнивания будто бы внешней температуры с внутренней.

Я и прежде слышал об этом способе уравнивания температур, но, признаюсь, всегда подозревал в этом лукавство: случилось мне видеть у нас, в России, что некоторые, стыдась выпить откровенно рюмку водки, особенно вторую или третью, прикрываются локтем или рукавом: это, кажется, то же самое. Иные даже приправляют лукавство свое ссылкой на то, что ром и коньяк даны-де жарким климатам нарочно для этого уравнивания... Не советую прибегать к такому способу: это значит портить свежесть желудка усиленным раздражением, учетверить силу жара и изнемочь под бременем его. Я послушался однажды и для опыта попробовал уравновесить две температуры и создал себе на целый день невыносимую пытку. Некуда было деться, нечем залить палящую сухость рта и желудка.

Напротив, при воздержании от мяса, от всякой тяжелой пищи, также от пряностей (нужды нет, что они тоже родятся в жарких местах), а более всего от вина, легко выносишь жар; грудь, голова и легкие – в нормальном состоянии, и зной "допекает" только снаружи. Я уверен, что если постоянно употреблять в пищу рис, зелень, немного рыбы и живности, то можно сносить так же легко жар, как и в России. Но... но П. А. Тихменев не дает жить, даже в Индии и Китае, как хочется: он так подозрительно смотрит, когда откажешься за обедом от блюда баранины или свинины, от слоеного пирога – того и гляди обидится и спросит: "Разве дурна баранина, черств пирог?" – или патетически воскликнет, обратясь ко всем: "Посмотрите, господа: ему не нравится стол!"

Если мои распоряжения дурны, если я не способен, не умею, так изберите другого..." Нет, уж пусть будет томить жар – куда ни шло!

Отдохнув, мы пошли опять по улице, глядя на дворцы, на великолепные подъезды, прохладные сени, сквозные галереи, наглухо запертые окна. В домах не видать признака жизни, а между тем в них и из них вбегают и выбегают кули, тащат товары, письма, входят и выходят англичане, под огромными зонтиками, в соломенных или полотняных шляпах, и все до одного, и мы тоже, в белых куртках, без жилета, с едва заметным признаком галстука. Конторы все отперты настежь: там китайцы, под присмотром англичан, упаковывают и распаковывают тюки, складывают в груды и несут на лодки, а лодки везут к кораблям. Китайцы одни бестрепетно наполняют улицы, сидят кучами у подъездов, ожидая работы, носят в паланкинах европейцев. Всюду мелькают их голые плечи, спины, ноги и головы, покрытые только густо сложенной в два ряда косой.

Мы дошли до китайского квартала, который начинается тотчас после европейского. Он состоит из огромного ряда лавок с жильем сверху, как и в Сингапуре. Лавки небольшие, с материями, посудой, чаем, фруктами. Тут же помещаются ремесленники, портные, сапожники, кузнецы и прочие. У дверей сверху до полу висят вывески: узенькие, в четверть аршина, лоскутки бумаги с китайскими буквами. Продавцы, все решительно голые, сидят на прилавках, сложа ноги под себя.

Мы зашли в лавку с фруктами, лежавшими грудями. Кроме ананасов и маленьких апельсинов, называемых мандаринами, все остальные были нам неизвестны. Ананасы

издавали свой пронзительный аромат, а от продавца несло чесноком, да тут же рядом, из лавки с съестными припасами, примешивался запах почти трупа от развешенных на солнце мяса, лежащей кучами рыбы, внутренностей животных и еще каких-то предметов, которые не хотелось разглядывать.

Добрый Константин Николаевич перепробовал, по моей просьбе, все фрукты и верно передавал мне понятие о вкусе каждого. "Это сладко, с приятной кислотой, а это дряблый, невкусный; а этот, – говорил он про какой-то небольшой, облеченный красной кожицей плод, больше похожий на ягоду, – отзывается печеным луком" и т. д.

Мы дошли по китайскому кварталу до моря и до плавучего населения, потом поднялись на горку и углубились в переулок – продолжение китайского квартала. Там такие же лавки, такая же нечистота. Здесь, в этом чаду криков, запахов, в тесноте, среди клетушек и всякой всячины, наваленной горами, китайцы как-то веселее, привольнее смотрят: они тут учредили свой маленький Китай – и счастливы! В европейском квартале простор, свежесть, чистота и великолепие стесняют их; они похожи там на рыб, которых из грязной, болотной речки пересадили в фарфоровый бассейн, наполненный прозрачной водой: негде спрятаться, приютиться, стянуть, надуть, выпачкаться и выпачкать ближнего.

Обойдя быстро весь квартал, мы уперлись в гору, которая в этом месте была отрезана искусственно и состояла из гладкой отвесной стены; тут предполагалась новая улица. Здесь толпился целый полк рабочих; они рыли землю, обтесывали камни, возили мусор. Это всё переселенцы из португальской колонии Макао. Едва англичане затеяли здесь поселение и кликнули клич, как Макао опустел почти совсем. Работа, следовательно хлеб и деньги, переманили сюда до тридцати тысяч китайцев. Вместо нищенства в Макао они предпочли здесь бесконечный труд и неиссякаемую плату. Их не испугали свирепствовавшие вначале эпидемические лихорадки. Они, под руководством англичан, принялись очищать и осушать почву: эпидемия унялась, и переселение усилилось.

Мы спустились с возвышения и вошли опять в китайский квартал, прошли, между прочим, мимо одного дома, у окна которого голый молодой китаец наигрывал на инструменте, вроде гитары, скудный и монотонный мотив. Из-за него выглядывало несколько женщин. Не все, однако ж, голые китайцы ходят по городу: это только носильщики, чернорабочие и сидельцы в лавках. Повыше сословия одеты прилично; есть даже франты в белоснежных кофтах и в атласных шароварах, в туфлях на толстой подошве и с косой, черной, густой, лоснящейся и висящей до пяток, с богатым веером, которым они прикрывают голову от солнца. Женщины попроще ходят по городу сами, а тех, которые богаче или важнее, водят под руки. Ноги у всех более или менее изуродованы; а у которых "от невоспитания, от небрежности родителей" уцелели в природном виде, те подделывают, под настоящую ногу, другую, искусственную, но такую маленькую, что решительно не могут ступить на нее, и потому ходят с помощью прислужниц.

Несмотря на длинные платья, в которые закутаны китаянки от горла до полу, я случайно, при дуновении ветра, вдруг увидел хитрость. Женщины, с оливковым цветом лица и с черными, немного узкими глазами, одеваются больше в темные цвета. С прической а *la chinoise* и роскошной кучей черных волос, прикрепленной на затылке большой золотой или серебряной булавкой, они не неприятны на вид.

Мы едва добрались до европейского квартала и пошли в отель, содержимую поляком. Он сказал, что жил года два в Москве, когда ему было лет четырнадцать, а теперь ему более сорока лет. Я хотел заговорить с ним по-русски, но он не помнит ни слова. В закрытой от жара комнате нам подали на завтрак, он же и обед, вкусной, нежной рыбы и жесткой ветчины, до которой, однако, мы не дотрогивались. Посыет сел потом в паланкин и велел нести себя к какому-то банкиру, а я отправился дальше по улице к великолепным, построенным четырехугольником, казармам. Я прошел бульвар с тощими, жалкими деревьями и пошел по взморью. Стало не так жарко, с залива веяло прохладой. На набережной я увидел множество крупных красных насекомых, которые перелетали с места на место: мне хотелось взять их несколько и принести Гошкевичу. Гоняясь за ними, я

нечувствительно увлекся в ворота казарм и очутился на огромном дворе, который служит плацпарадом для ученья полка.

Меня с балкона увидели английские офицеры, сошли вниз и пригласили войти к ним "to drink a glass of wine" ("на рюмку вина"). Мы вошли в одну из комнат, в которой мебель, посуда – всё подтвердило то, что говорят о роскоши образа жизни офицеров. Серебро и тончайшее белье – обыкновенная сервировка их месс и обеденных столов. Офицеры содержат общий стол и так строго придерживаются этого офицерско-семейного образа жизни, что редко отлучаются от обеда. Кругом всего здания идет обширный каменный балкон, или веранда, где, в бамбуковых креслах, лениво дремлют в часы сыесты хозяева казарм. Я отказался от вина, и меня угостили лимонадом.

Поздно вечером, при водворившейся страстной, сверкающей и обаятельной ночи, вернулся я к пристани, где застал и Посьета, ожидающего шлюпки. Между тем тут стояла китайская лодка; в ней мы увидели, при лунном свете, две женские фигуры. "Зачем шлюпка? – сказал я, – вот перевозчицы: сядем". Мы сели, и обе женщины, ухватясь за единственное весло, прикрепленное к корме, начали живо поворачивать им направо и налево. Луна светила им прямо в лицо: одна была старуха, другая лет пятнадцати, бледная, с черными, хотя узенькими, но прекрасными глазами; волосы прикреплены на затылке серебряной булавкой. "Везите на русский фрегат!" – сказали мы. "Two shillings!" ("Два шиллинга!") – объявила цену молодая. "Сто фунтов стерлингов такой хорошенькой!" – сказал мой товарищ. "Дорого", – заметил я. "Two chillings!" – повторила она монотонно. "Ты не здешняя, должно быть, потому что слишком бела? Откуда ты? Как тебя зовут?" – допрашивал Посьет, стараясь подвинуться к ней ближе. "Я из Макао; меня зовут Этола", – отвечала она по-английски, скрадывая, по обыкновению китайцев, некоторые слоги. "Two shillings", – прибавила потом, помолчав. "Какая хорошенькая! – продолжал мой товарищ, – покажи руку, скажи, который тебе год? Кто тебе больше нравится: мы, англичане или китайцы?" – "Two shillings", – отвечала она. Мы подъехали к фрегату; мой спутник взял ее за руку, а я пошел уже на трап. "Скажи мне что-нибудь, Этола?" – говорил он ей, держа за руку. Она молчала. "Скажи же, что ты..." – "Two shillings", – повторила она. Я со смехом, а он со вздохом отдали деньги и разошлись по своим каютам.

И здесь, как в Англии и в Капштате, предоставили нам свободный вход в клуб. Клуб – это образцовый дворец в своем роде: учредители не пощадили издержек, чтоб придать помещению клуба такую же роскошь, какая заведена в лондонских клубах. Несколько больших зал обращены окнами на залив; веранда, камин, окна обложены мрамором; везде бронза, хрусталь; отличные зеркала, изящная мебель – всё привезено из Англии. Но – увы! залы стоят пустые; насилу докличетесь сонного слуги-китайца, закажете обед и заплатите втрое против того, что он стоит тут же рядом, в трактире. Клуб близок к банкротству. Европейцы сидят большую часть дня по своим углам, а по вечерам предпочитают собираться в семейных кружках – и клуб падает. Но что за наслаждение покоиться на этой широкой веранде под вечер, когда ночная прохлада сменит зной!

В шесть часов вечера всё народонаселение высыпает на улицу, по взморью, по бульвару. Появляются пешие, верховые офицеры, негоцианты, дамы. На лугу, близ дома губернатора, играет музыка. Недалеко оттуда, на горе, в каменном доме, живет генерал, командующий здешним отрядом, и тут же близко помещается в здании, вроде монастыря, итальянский епископ с несколькими монахами.

Наши уехали в Кантон, а я в это время лежал в лихорадке и в полусне слышал, как спускали катер. Меня разбудил громовой удар; гроза разразилась в минуту отъезда наших. Оправясь, я каждый день ездил на берег, ходил по взморью и нетерпеливо ожидал дня отъезда. На фрегат ездили ежедневно посетители с берега, которых я должен был принимать. Между прочим, однажды приехали два монаха, от имени епископа, и объявили, что вслед за ними явится и сам монсиньор. Но у нас на фрегате, пользуясь отсутствием адмирала и капитана, конопатили палубу в их каютах; пакля лежала кучами; все щели залиты смолой, которая еще не высохла. Я убедил монахов попросить епископа отложить свое посещение до

приезда адмирала.

По приезде адмирала епископ сделал ему визит. Его сопровождала свита из четырех миссионеров, из которых двое были испанские монахи, один француз и один китаец, учившийся в знаменитом римском училище пропаганды. Он сохранял свой китайский костюм, чтоб свободнее ездить по Китаю для сношений с тамошними христианами и для обращения новых. Все они завтракали у нас; разговор с епископом, итальянцем, происходил на французском языке, а с китайцем отец Аввакум говорил по-латыни.

Вслед за ними посетил нас английский генерал-губернатор (governor of the strait – губернатор пролива, то есть гонконгский), он же и полномочный от Англии в Китае. Зовут его сэр Бонэм (sir Bonham). Ему отданы были те же почести, какими он встретил нашего адмирала на берегу: играла музыка, палили из пушек.

Я ходил часто по берегу, посещал лавки, вглядывался в китайскую торговлю, напоминающую во многом наши гостиные дворы и ярмарки, покупал разные безделки, между прочим чаю – так, для пробы. Отличный чай, какой у нас стоит рублей пять, продается здесь (это уж из третьих или четвертых рук) по тридцати коп. сер. и самый лучший по шестидесяти коп. за английский фунт.

Сигары здесь манильские, самый низший сорт, чируты, и из Макао; последние решительно никуда не годятся.

Накупив однажды всякой всячины, я отдал всё это кули, который положил покупки в корзину и пошел за мной. Но Фаддеев, бывший со мной, не вытерпел этого, вырвал у него корзину и понес сам. Я никак не мог вселить в него желания сыграть роль иностранца и барина, и всё шествие наше до пристани было постоянной дракой Фаддеева с кули за корзину. Я нанял лодку и посадил в нее Фаддеева, но и кули последовал за ним и возобновил драку. Китайцы с лодок подняли крик; кули приставал к Фаддееву, который, как мандарин, уселся было в лодку и ухватил обеими руками корзину. Лодочник не хотел везти, ожидая окончания дела. Фаддеев пошел было с корзиной опять на берег – его не пускают. "Позволь, ваше высокоблагородие, я их решу", – сказал он, взяв одной рукой корзину, а другою энергически расталкивая китайцев, и выбрался на берег. Я ушел, оставя его разведываться как знает, и только издали видел, как он, точно медведь среди стаи собак, отбивался от китайцев, колотя их по протянутым к нему рукам. Потом видел уж его, гордо удалявшегося на нашей шлюпке с одними покупками, но без корзины, которая принадлежала кули и была предметом схватки, по нашей недогадливости.

В одном углу обширного гонконгского рейда устроено торговое заведение, с верфью, Джердина и Маттисона. Мы вчетвером поехали осмотреть этот образчик неутомимой энергии и неутолимой жадности и предприимчивости англичан. Стен Биль, командир датского корвета "Галатея", полагает, что англичане слишком много посадили в Гонконг труда и денег и что предприятие не окупится. По занятии этого острова сюда бросились купцы из Калькутты, из Сингапура, и некоторые из них убили все свои капиталы, надеясь на близость китайского рынка и на сбыт опиума. Но до сих пор это не оправдывается. Может быть, опасение за торговую нерасчетливость какого-нибудь Джердина и справедливо, но зато обладание Гонконгом, пушки, свой рейд – всё это у порога Китая, обеспечивает англичанам торговлю с Китаем навсегда, и этот островок будет, кажется, вечным бельмом на глазу китайского правительства.

В заведении Джердина выстроен дворец, около него разбит сад и парк; другие здания возводятся. При нас толпы работников мостили на грунт плиты; у берега стояло несколько судов. Полудня еще не было, когда мы вошли на пристань и поспешно скрылись в слабую тень молодого сада. Стрекотанье насекомых, с приближением полудня, было так сильно, что могло поспорить с большим оркестром. Мы, утомленные, сидели на скамье, поглядывая на стеклянные двери дворца и ожидая, не выйдет ли гостеприимный хозяин, не позовет ли в сень мраморных зал, не даст ли освежиться стаканом лимонада? Но двери были заперты, никто не показывался. Доктор наш неутомимо преследовал насекомых, особенно больших, черных, точно из бархата, бабочек. Возвращаясь на пристань, мы видели в толпе китайцев

женщину, которая, держа голого ребенка на руках, мочила пальцы во рту и немилосердно щипала ему спину вдоль позвоночного хребта. Ребенок барахтался, отчаянно визжал. Наказание это или лечение?

Однако нет возможности писать: качка ужасная; командуют "четвертый риф брать". С мыса Доброй Надежды такого шторма не было. Пойду посмотрю, что делается...

Китайское море. 8-го июня.

VIII

ОСТРОВА БОНИН-СИМА

Китайское море. – Шквалы. – Выход в Тихий океан. – Ураган. – Штили и жары. – Остров Пиль, порт Ллойд. – Корвет "Оливуца" и транспорт Американской компании "Князь Меншиков". – Курьеры из России. – Поселенцы. – Прогулка, обед и вечер на берегу.

С 26 июня по 4 августа 1853 года.

Конечно, всякому из вас, друзья мои, случалось, сидя в осенний вечер дома, под надежной кровлей, за чайным столом или у камина, слышать, как вдруг пронзительный ветер рванется в двойные рамы, стукнет ставнем и иногда сорвет его с петель, завоет, как зверь, пронзительно и зловеще в трубу, потрясая выюшками; как кто-нибудь вздрогнет, побледнеет, обменяется с другими безмолвным взглядом или скажет: "Что теперь делается в поле? Боже сохрани, застанет непогода!" Представьте себе этот вой ветра, только в десять, в двадцать раз сильнее, и не в поле, а в море, – и вы получите слабое понятие о том, что мы испытывали в ночи с 8-го на 9-е и всё 9-е число июля, выходя из Китайского моря в Тихий океан.

От Гонконга до островов Бонин-Сима, куда нам следовало идти, всего 1600 миль; это в кругосветном плавании составляет не слишком большой переход, который, при хорошем, попутном ветре, совершается в семь-восемь дней. Мы вышли из Гонконга 26 июня и до 5-го июля сделали всего миль триста, то есть то, что могли бы сделать в сутки с небольшим, – так задержал нас противный восточный ветер. Надоело нам лавировать, делая от восьми до двадцати верст в сутки, и мы спустились несколько к югу, в надежде встретить там другой ветер и, между прочим, зайти на маленькие острова Баши, лежащие к югу от Формозы, посмотреть, что это такое, запастись зеленью, фруктами и тому подобным. Там, говорят, живет испанский алькад, несколько монахов и есть индийские деревушки. 7-го числа вечером подошли к главному из островов, Батану, на котором, по указанию Бельчера, есть якорное место. Но, обойдя остров с северной и восточной сторон, мы видели только огромный утес и белую кайму буруна, набегающего со всех сторон на берег. К нам не выехало ни одной лодки, как это всегда бывает в жилых местах; на берегу не видно было ни одного человека; только около самого берега, как будто в белых бурунах, мелькнули два огня и исчезли. Ехать было некуда, отыскивать ночью пристани – темно, а держаться до утра под парусами – не стоило.

Полюбовавшись на скалистый угрюмый утес, составляющий северную оконечность острова, мы пустились далее и вышли в Тихий океан. Тихий!

Сколько раз он доказывал противное бедным плователям, в том числе и нам, как будто мы выдумали ему это название!

Надо знать, что еще в Гонконге и китайцы, и европейцы говорили нам, что в этот год поджидается ураган; что ураганов не было уже года четыре. Ураган обыкновенно определяют так: это вращающийся, переходящий с румба на румб ветер. Можно определить

и так: это такой ветер, который большие военные суда, купеческие корабли, пароходы, джонки, лодки и всё, что попадется на море, иногда и самое море, кидает на берег, а крыши, стены домов, деревья, людей и всё, что попадется на берегу, иногда и самый берег, кидает в море. С нами ничего подобного этому не случилось, впрочем, может быть, оттого, что не было близко берега. Поэтому нас ветер кидал лишь по морю, играл нами как кошка мышью; схватит, ударит с яростью о волны, поставит боком... Тут бы на дно, а он перекинет на другой бок, поднимет и поставит на минуту прямо, потом ударит сверху и погрузит судно в хлябь. Волны вытолкнут его назад, а ветер заревет, закружится около, застонет, засвистит, обрызжет и оболет корабль облаком воды, вырвет парус и, торжествующий, понесется по необозримому, мрачному пространству, гоня воду, как прах. Однако ничего важного не мог он сделать. Китайцы называют ураган тайфун, то есть сильный ветер, а мы изменили это слово в тифон.

– Стало быть, всего лучше уходить в море? – сказал я негоднику-немцу, который грозил нам ураганом.

– Бог знает, где лучше! – отвечал он. – Последний раз во время урагана потонуло до восьмидесяти судов в море, а на берегу опрокинуло целый дом и задавило пять человек; в гонконгской гавани погибло без счета лодок и с ними до ста человек.

Чрез несколько дней после этого разговора мы ушли. Но еще в последние дни пребывания в Гонконге погода значительно изменилась. Стали дуть, особенно по вечерам, северные порывистые ветры. Над окрестными горами часто показывались черные облака и проносились с дождем над рейдом. Нас, как я сказал выше, держал почти на одном месте противный восточный и северо-восточный ветер, неровный, сильный, с непрерывными шквалами. Только и слышишь команду: "На марса-фалах стоять! марса-фалы отдать!" Потом зажужжит, скользя по стенге, отданный парус, судно сильно накренится, так что схватишься за что-нибудь рукой, польется дождь, и праздничный, солнечный день в одно мгновение обратится в будничный. Небо серо; палуба мокра; офицеры в кожаных пальто; матросы прячутся от дождя под коечные чехлы... И так десять дней!

Но вот мы вышли в Великий океан. Мы были в 21№ северной широты: жарко до духоты. Работать днем не было возможности. Утомишься от жара и заснешь после обеда, чтоб выиграть поболее времени ночью. Так сделал я 8-го числа, и спал долго, часа три, как будто предчувствуя беспокойную ночь. Капитан подшучивал надо мной, глядя, как я проснусь, посмотрю сонными глазами вокруг и перелегу на другой диван, ища прохлады. "Вы то на правый, то на левый галс ложитесь!" – говорил он.

Вечером задул свежий ветер. Я напрасно хотел писать: ни чернильница, ни свеча не стояли на столе, бумага вырывалась из-под рук. Успеешь написать несколько слов и сейчас протягиваешь руку назад – упереться в стену, чтоб не опрокинуться. Я бросил всё и пошел ходить по шканцам; но и то не совсем удачно, хотя я уже и приобрел морские ноги.

Иногда бросало так, что надо было крепко ухватиться или за пушечные тали, или за первую попавшуюся веревку. Ветер между тем завывал больше и больше. У меня дверь была полуоткрыта, и я слышал каждый шум, каждое движение на палубе: слышал, как часа в два вызвали подвахтенных брать рифы, сначала два, потом три, спустили брам-реи, а ветер всё крепче. Часа в три утра взяли последний риф и спустили брам-стенги. Начались сильные размахи.

В моей маленькой каюте нельзя было оставаться, особенно в постели: качнет к изголовью – к голове приливает кровь; качнет назад – поползешь совсем, с подушками, к стенке. Всё, что расставлено на полках, повешено на гвоздях, лежало в комодах, – всё, по обыкновению, заходило, зашевелилось. Книги валились на пол и на постель; щетки, фуражки сыпались сверху; стаканы и сткляночки звенели и разбивались. Между тем рассвело. Я встал и вышел на палубу. Там были решительно все. Волны ходили выше сеток и заглядывали, как живые, на палубу, точно узнать, что тут делается. Качка и размахи увеличивались. "До чего же это, наконец, дойдет?" – подумаешь, следя за прогрессивной силой ветра.

Вот отец Аввакум, бледный и измученный бессонницей, вышел и сел в уголок на кучу

снастей; вот и другой и третий, все невыспавшиеся, с измятыми лицами. Надо было держаться обеими руками: это мне надоело, и я ушел в свой любимый приют, в капитанскую каюту.

Ветер ревел; он срывал вершины волн и сеял их по океану, как сквозь сито: над волнами стояли облака водяной пыли. Опять я поверил тут свое прежнее сравнение и нашел его верным: да, это толпа диких зверей, терзающих, в ярости, друг друга. Точно несколько львов и тигров бросаются, вскакивают на дыбы, чтоб впиться один в другого, и мечутся кверху, а там вдруг целой толпой шарахнулись вниз – только пыль столбом стоит поверх, и судно летит туда же за ними, в бездну, но новая сила толкает его опять вверх и потом становится боком. Вот шлюпка затрещала на боканцах; двое-трое, в том числе, кажется, и я, быстро двинулись из того угла в другой. Тут громадный вал вдруг ударил в сетки, перескочил через борт и разлился по палубе, облив ноги матросам. Горизонт весь в серой пыли. Правильного волнения почти нет: вода бурлит, как кипяток; волны потеряли очертания.

Беспрестанно ходили справляться к барометру. "Что, падает?" 30 и 15.

Опять – 29 и 75, потом 29 и 45, потом 29 и 30-29 и 15 – наконец, 28/42. Он падал быстро, но постепенно, по одной сотой, и в продолжение суток с 30/75 упал до 28/42. Когда дошел до этой точки, ветер достиг до крайних пределов свирепости.

Орудия закрепили тройными таями и, сверх того, еще занесли кабельтовым, и на этот счет были довольно покойны. Качка была ужасная. Вещи, которые крепко привязаны были к стенам и к полу, отрывались и неслись в противоположную сторону, оттуда назад. Так задумали оторваться три массивные кресла в капитанской каюте. Они рванулись, понеслись, домчались до середины; тут крен был так крут, что они скакнули уже по воздуху, сбили столик перед диваном и, изломав его, изломавшись сами, с треском упали все на диван.

Вбежали люди, начали разбирать эту кучу обломков, но в то же мгновение вся эта куча вместе с людьми понеслась назад, прямо в мой угол: я только успел вовремя подобрать ноги. Рюмки, тарелки, чашки, бутылки в буфетах так и скакали со звоном со своих мест.

Картины на стенах качались, описывая дугу почти в 45°. Фаддеев принес было мне чаю, но, несмотря на свою остойчивость, на пятках, задом помчался от меня прочь, оставляя следом по себе куски сахара, хлеба и черепки блюдечка. Я не мог сделать шагу и не ходил обедать. Можете себе представить, каково было, не спавши, не евши, сидеть и держаться, чтоб не полететь из своего угла. Окна в каюте были открыты настежь, и море было перед моими глазами во всей своей дикой красе. Только в одни эти окна, или порты, по-морскому, и не достигала вода, потому что они были высоко; везде же в прочих местах полупортики были задраены наглухо деревянными заставками, иначе стекла летят вдребезги и при крене вал за валом вторгается в судно. В кают-компании, в батарейной палубе вода лилась ручьями и едва успевала стекать в трюм. Везде мокро, мрачно, нет убежища нигде, кроме этой верхней каюты. Но и тут надо было наконец закрыть окна: ветер бросал верхушки волн на мебель, на пол, на стены. Вечером буря разыгралась так, что нельзя было расслышать, гудит ли ветер, или гремит гром. Вдруг сделалась какая-то суматоха, послышалась ускоренная команда, лейтенант Савич гремел в рупор над ревом бури.

– Что такое? – спросил я кого-то.

– Фок разорвало, – говорят.

Спустя полчаса трисель вырвало. Наконец разорвало пополам и фор-марсель. Дело становилось серьезнее; но самое серьезное было еще впереди. Паруса кое-как заменили другими. Часов в семь вечера вдруг на лицах командиров явилась особенная заботливость – и было от чего. Ванты ослабели, бензеля поползли, и грот-мачта зашаталась, грозя рухнуть.

Знаете ли вы, что такое грот-мачта и что ведет за собой ее падение?

Грот-мачта – это бревно, фут во сто длины и до 800 пуд весом, которое держится протянутыми с вершины ее к сеткам толстыми смолеными канатами, или вантами. Представьте себе, что какая-нибудь башня, у подножия которой вы живете, грозит рухнуть; положим даже, вы знаете, в которую сторону она упадет, вы, конечно, уйдете за версту; а

здесь, на корабле!.. Ожидание было томительное, чувство тоски невыразимое. Конечно, всякий представлял, как она упадет, как положит судно на бок, пришибет сетки (то есть край корабля), как хлынут волны на палубу: удастся ли обрубить скоро подветренные ванты, чтобы вдруг избавить судно от напора тяжести на один бок. Иначе оно, черпнув глубоко бортом, может быть, уже не встанет более...

У всякого в голове, конечно, шевелились эти мысли, но никто не говорил об этом и некогда было: надо было действовать — и действовали. Какую энергию, сметливость и присутствие духа обнаружили тут многие! Савичу точно праздник: выпачканный, оборванный, с сияющими глазами, он летал всюду, где ветер оставлял по себе какой-нибудь разрушительный след.

Решились не допустить мачту упасть и в помощь ослабевшим вантам "заложили сейтали" (веревки с блоками). Работа кипела, несмотря на то что уж наступила ночь. Успокоились не прежде, как кончив ее. На другой день стали вытягивать самые ванты. К счастью, погода стихла и дала исполнить это, по возможности, хорошо. Сегодня мачта почти стоит твердо; но на всякий случай заносят пару лишних вант, чтоб новый крепкий ветер не застал врасплох.

Мы отдохнули, но еще не совсем. Налети опять такая же буря — и поручиться нельзя, что будет. Все глаза устремлены на мачту и ванты.

Матросы, как мухи, тесной кучкой сидят на вантах, тянут, крутят веревки, колотят деревянными молотками. Всё это делается не так, как бы делалось стоя на якоре. Невозможно: после бури идет сильная зыбь, качка, хотя и не прежняя, всё продолжается. До берега еще добрых 500 миль, то есть 875 верст.

Многие похудели от бессонницы, от усиленной работы и бродили как будто на другой день оргии. И теперь вспомнишь, как накренило один раз фрегат, так станет больно, будто вспомнишь какую-то обиду. Сердце хранит долго злую память о таких минутах! 16 июля.

Я писал, что 9 числа оставалось нам около 500 миль до Бонин-Сима: теперь 16 число, а остается тоже 500... ну хоть 420 миль, стало быть, мы сделали каких-нибудь миль семьдесят в целую неделю: да, не более. После шторма наступил штиль... Что это за штука! Тихий океан решительно издевается над нами: тут он вздумал доказать нам, что он в самом деле тихий. Необъятная масса колебалась целиком, то закрывая, то открывая горизонт, но не прибавляя нам хода. Жарко, движения в атмосфере нет, а между тем иногда вдруг появлялись грозные и мрачные тучи. На судне готовились к перемене, убирали паруса; но тучи разрешались маленьким дождем, и штиль продолжал свирепствовать. Кроме того, что изменялись соображения в плане плавания, дело на ум не шло, почти не говорили друг с другом. Встанут утром: "Что, сколько хода?" — "Полтора узла", — отвечают. "На румбе?" — "Нет, согнало на зюйд". И опять повесили голову. Иной делает догадки: "Тихо, тихо, — говорит, — а потом, видно, хватит опять!" В эту минуту учат ружейной пальбе: стукотня такая, что в ушах трещит. Жарко, скучно, но... что притворяться: всё это лучше качки, мокроты, ломки. До свидания. 21-го.

Здравствуйте! Недалеко ушли: еще около трехсот миль остается. Тишь мертвая, жар невыносимый; все маются, ищут немного прохлады, чтоб вздохнуть свободнее, — а негде. В каютах духота, на палубе палит. Почти все прихварывают: редко кто не украшен сыпью или вередками от жара; у меня желудочная лихорадка и рожа на ноге. Я слег; чувствую слабость, особенно в руках и ногах, от непрерывных усилий держаться, не упасть. Но я голоден, потому что есть было почти нельзя. А сколько перебилося, переломалось и подмокло всякого добра! Вчера всё мокрое вынесли на палубу: что за картина! что за безобразие! Тут развешено платье и белье, там ковры, книги, матросская амуниция, подмокшие сухари — всё это разложено, развешено, в пятнах, в грязи, сыростью несет, как из гнилого подвала; на юте чинят разорванные паруса.

Мы счастливы тем, что скоро вырвались из-за черты урагана и потому дешево отделались. Следили каждое явление и сравнивали с описаниями: вихрь задул от W, потом перешел к SW; мы взяли на O и пересекли дугу. Находясь в середине этого магического круга,

захватывающего пространство в несколько сот миль, не подозреваешь, по тишине моря и ясности неба, что находишься в объятиях могучего врага, и только тогда узнаешь о нем, когда он явится лицом к лицу, когда раздастся его страшный свист и гул, начнется ломка, треск, когда застонет и замечется корабль...

До свидания. Пойду уснуть, я еще не оправился совсем.

Штили! Ах, если б вы знали, что это за наказание! Оно, конечно, лучше жестокой качки, но всё несносно! Вчера оставалось двести пятьдесят миль; и сегодня остается столько же, и завтра, по-видимому, опять! А дунь ветерок, этого расстояния не хватит и на сутки. Кажется, тут бы работать: нет, однообразие и этот неподвижный покой убивает деятельность, да к этому еще жара, духота, истощение свежих припасов. Вдруг кто-нибудь скажет: "Задувает, кажется" – и все оживятся, радость! Ничего не бывало: это так показалось.

Другой, также от нечего делать, пророчит: "Завтра будет перемена, ветер: горизонт облачен". Всем до того хочется дальше, что уверуют и ждут – опять ничего. Однажды вдруг мы порадовались было: фрегат пошел восемь узлов, то есть четырнадцать верст в час; я слышал это из каюты и спросил проходившего мимо Посыета:

– Восемь узлов?

– Нет, три, – сказал он, – это только на четверть часа фрегат взял большой ход: теперь стихает.

Наконец, миль за полтора, вдруг дунуло, и я на другой день услышал обыкновенный шум и суматоху. Доставали канат. Все толпились наверху встречать новый берег. Каюта моя, во время моей болезни, обыкновенно полнехонька была посетителей: в ней можно было поместиться троим, а придет человек семь; в это же утро никого: все глазели наверху. Только барон Крюднер забежал на минуту.

– Узкость проходим! – сказал он и исчез.

С приходом в порт Ллойд у нас было много приятных ожиданий, оттого мы и приближались равнодушно к новому берегу, нужды нет, что он пустой. Там ожидали нас: корвет из Камчатки, транспорт из Ситхи и курьеры из России, которые, конечно, привезли письма. Все волновались этими надеждами.

Я на другой день вышел, хромя от боли в ноге, взобрался на ют посмотреть, где мы. Мы в заливе, имеющем вид подковы, обставленном высокими и крупными утесами, покрытыми зеленью. Два громадные камня торчали из воды в бухте, как две башни. Я еще из каюты ночью слышал, когда всё утихло на фрегате, шум будто водяной мельницы. Это, как я теперь увидел, буруны бешено плещутся в берег; увидел и узкость: надо проходить под боком отвесного утеса, чтобы избежать гряды видных на поверхности камней, защищающих вход от волн с океана. Везде буруны да скалы: вон только кое-где белеют песок и отлогости.

"Где жилье?" – спросил я, напрасно ища глазами хижины, кровли, человека или хоть животное. Ничего не видать; но наши были уже на берегу. Вон в этой бухточке есть хижина, вон в той две да за горой несколько избышек.

Суда здесь, курьеры здесь, а с ними и письма. Сколько расспросов, новостей! У всех письма в руках, у меня целая дюжина.

Побольше остров называется Пиль, а порт, как я сказал, Ллойд. Острова Бонин-Сима стали известны с 1829 года. Из путешественников здесь были: Бичи, из наших капитан Литке и, кажется, недавно Вонлярлярский, кроме того, многие неизвестные свету англичане и американцы. Теперь сюда беспрестанно заходят китоловные суда разных наций, всего более американские. Бонин-Сима по-китайски или по-японски значит Безлюдный остров.

Я думал, что исполнится наконец и эта моя мечта – увидеть необитаемый остров; но напрасно: и здесь живут люди, конечно всего человек тридцать разного рода Робинзонов, из беглых матросов и отставных пиратов, из которых один до сих пор носит на руке какие-то выжженные порохом знаки прежнего своего достоинства. Они разводят ям, сладкий картофель, таро, ананасы, арбузы. У них есть свиньи, куры, утки. На другом острове они держат коров и быков, потому что на Пиле скот портит деревья.

Кроме всей этой живности у них есть жены, каначки или сандвичанки, да и между

ними самими есть канаки, еще выходцы из Лондона, из Сан-Франциско – словом, всякий народ. Один живет здесь уже 22 года, женат на кривой пятидесятилетней каначке. Все они живут разбросанно, потому что всякий хочет иметь маленькое поле, огород, плантацию сахарного тростника, из которого, мимоходом будь сказано, жители выделывают ром и сильно пьянствуют.

Странный остров: ни долин, ни равнин; одни горы. Как съедете, идете четверть часа по песку, а там сейчас же надо подниматься в гору и продираться сквозь непроходимый лес. Жители торгуют, или, по крайней мере, стараются торговать, с мореплавателями овощами, черепахами и тому подобными предметами; а мореплаватели, с своей стороны, стараются приобретать всё даром, как пишут в "Nautical Magazine" и как нам подтвердил и сам Севри, или Севрэ, здешний старожил. Года четыре назад приходили два китоловные судна и, постояв несколько времени, ушли, как делают все порядочные люди и корабли.

Но один потерпел при выходе какое-то повреждение, воротился и получил помощь от жителей: он был так тронут этим, что, на прощанье, съехал с людьми на берег, поколотил и обобрал поселенцев. У одного забрал всех кур, уток и тринадцатилетнюю дочь, у другого отнял свиней и жену, у старика же Севри, сверх того, две тысячи долларов – и ушел. Но прибывший вслед за тем английский военный корабль дал об этом знать на Сандвичевы острова и в Сан-Франциско, и преступник был схвачен, с судном, где-то в Новой Зеландии.

Нынче и на Восточном океане от полиции не уйдешь!

Я, несмотря на боль в ноге, рискнул съехать на берег. Товарищи мои вооружились топорами, а я должен был сесть на бревно (зато красного дерева) и праздно смотреть, как они прорубали себе дорожку на холм. Лес состоял из зонтичной, или веерной, пальмы, которой каждая ветвь похожа на распушенный веер, потом из капустной пальмы, сердцевина которой вкусом немного напоминает капусту, но мягче и нежнее ее, да еще кардамонов и томанов, как называют эти деревья жители. Томаны – это превосходное красное дерево. Тут мы нашли озерко с пресной водой, сажени в три или четыре шириной и длиной и по грудь глубиной. Матросы полоскались без милосердия. Я смотрел, как из срубленных и падающих деревьев выскакивали ящерицы. Одну кто-то из наших ударил веткой, хвост оторвался и пополз в одну сторону, а ящерица в другую.

Да еще бегали по песку – сначала я думал – пауки или стоножки, а это оказались раки всевозможных цветов, форм и величин, начиная от крошечных, с паука, до обыкновенных: розовые, фиолетовые, синие – с раковинами, в которых они прятались, и без раковин; они сновали взад и вперед по взморью, круглые, длинные, всякие.

Дня через два я опять отправился с бароном Крюднером и Посьетом в другую бухточку, совсем закрывающуюся скалой. Мы проехали у подножия двух или трех утесов и пристали к песчаной отлогости, на которой стоял видный, красивый мужчина и показывал нам рукой, где лучше пристать. У него был прекрасный выпуклый профиль, нос орлиный, смелый взгляд, важная походка, без аффектации, и седые кудри почти до плеч, хотя на вид ему не было и пятидесяти лет. У него-то на руках и были выжжены знаки, похожие на браслеты. Он встретил нас упреком, что мы не хотели его посетить, и повел к хижине. Она состояла из четырех столбов (всё красного дерева), крытых и закрытых со всех сторон сухими пальмовыми листьями. Это была его спальня.

Тут же встретила нас и его жена, каначка, седая, смуглая, одетая в синее бумажное платье, с платком на голове, как наши бабы. Особо выстроена была тоже хижина, где эта чета обедала: по крайней мере, заглянув, я видел там посуду, стол и разную утварь. Две собаки, с повисшими хвостами и головами, встретили тоже нас.

А кругом, над головами, скалы, горы, крутизны, с красивыми оврагами, и всё поросло лесом и лесом. Крюднер ударил топором по пню, на котором мы сидели перед хижинкой; он сверху весь серый; но едва топор сорвал кору, как под ней зазелело дерево, точно кровь. У хижинки тек ручеек, в котором бродили красноносые утки. Ручеек можно перешагнуть, а воды в нем так мало, что нельзя и рук вымыть.

Мы пошли вверх на холм. Крюднер срубил капустное дерево, и мы съели впятером всю

сердцевину из него. Дальше было круто идти. Я не пошел: нога не совсем была здорова, и я сел на обрубке, среди бананов и таро, растущего в земле, как морковь или репа. Прочитав, что сандвичане делают из него роп-роп, я спросил каначку, что это такое. Она тотчас повела меня в свою столовую и показала горшок с какою-то белой кашею, вроде тертого картофеля.

Они едят, доставая ее пальцем. Муж, однако ж, предупредил, чтоб я не ел, потому что это кушанье давно сделано и потому несвежо.

Он вынес нам несколько арбузов, которые мы с удовольствием и съели.

Тихо, хорошо. Наступил вечер: лес с каждой минутой менял краски и наконец стемнел; по заливу, как тени, качались отражения скал с деревьями. В эту минуту за нами пришла шлюпка, и мы поехали. Наши суда исчезали на темном фоне утесов, и только когда мы подъехали к ним вплоть, увидели мачты, озаренные луной. 2-го августа.

Сегодня с утра движение и сборы на фрегате: затеяли свезти на берег команду. Офицеры тоже захотели провести там день, обедать и пить чай. "Где же это они будут обедать? – думал я, – ведь там ни стульев, ни столов", и не знал, ехать или нет; но и оставаться почти одному на фрегате тоже невесело.

Ко мне пришел Савич сказать, что последняя шлюпка идет на берег, чтоб я торопился.

– А где же обедать? – спросил я.

– Да ведь там у нас устроена баня, – отвечал он. – Теперь всё убрали и сделали из нее столовую.

– А столы, стулья?

– Ничего нет: будем обедать на парусах.

"На парусах!" – подумывал я, враг обедов на траве, особенно *impromptu*, чаев на открытом воздухе, где то ложки нет, то хлеб с песком или чай с букашками. Но нечего делать, поехал; а жарко, палит.

А ргггг о жаре: в одно утро вдруг Фаддеев не явился ко мне с чаем, а пришел другой.

– Где ж Фаддеев? – спросил я.

– У него шкура со спины сошла, – отвечал матрос лаконически.

– Как сошла: отчего?

– Да так-с: этаких у нас теперь человек сорок есть: от солнышка. Они на берегу нагишом ходили: солнышком и напекло; теперь и рубашек нельзя надеть.

Я пошел проведать Фаддеева. Что за картина! в нижней палубе сидело, в самом деле, человек сорок: иные покрыты были простыней с головы до ног, а другие и без этого. Особенно один уже пожилой матрос возбудил мое сострадание. Он морщился и сидел голый, опершись руками и головой на бочонок, служивший ему столом.

– Что с тобой сделалось? – спросил я.

– Да кто его знает, что такое, ваше высокоблагородие! Вон спина-то какая! – говорил он, поворачивая немного спину ко мне.

На спину страшно было взглянуть: она вся была багровая и покрыта пузырями, как будто ее окатили кипятком.

– Зачем же вы на солнце сидели, и еще без платья? – упрекнул я.

– В Тамбове, ваше высокоблагородие, всегда, бывало, целый день на солнце сидишь и голову подставишь – ничего; ляжешь на траве, спину и брюхо греешь – хорошо. А здесь бог знает что: солнце-то словно пластырь! – отвечал он с досадой.

Все обожженные стонали, охали и морщились. И смешно, и жалко было смотреть. Фаддеев был совсем изуродован и тоже охал. Я побранил его хорошенько.

– Отстань, ваше высокоблагородие! – в тоске сказал он.

Я как съехал на берег, так под палатку, потому что приближался полдень и никакой защиты не было от палящих лучей. На берегу хлопотали: готовили обед; кривая каначка ловила рыбу. В палатке душно – я в лес. Барон Крюднер из чащи подает мне голос и зовет смотреть живописную речку, которой я еще не видал. Я продрался сквозь кусты, сквозь томаты, кардамон и пальмы и пошел за ним вдоль по речке. В самом деле живописно: речка-ручей, аршина в два, а в ином месте и меньше шириной, струится с утеса по камням

и впадает в озерко. Между камнями ползает бесчисленное множество миниатюрных крабов, точно пауков, и насекомых. Они с неимоверною быстротою исчезали в камнях, чуть лишь тронешь их. Доктор и О. А. Гошкевич уже давно там и ловят их руками. Савич далеко шел вперед и ломал деревья, как медведь; слышен был только треск по его следам. Впереди меня плелся барон Крюднер на своих тоненьких ногах, а сзади пробирался я. Мы оступались, спотыкались. Я хотел перешагнуть в одном месте через ручей, ухватился за куст, он изменил, и я ступил в воду, не без ропота, к удовольствию товарищей.

Между тем около нас всё так красиво: над нами всеерные пальмы и тоمانы расстилали густую тень, берега плотно заросли травой и лесом. Солнце иногда прорезывалось сквозь ветви, палило, как через зажигательное стекло, ярко освещая группу камней и сверкая в воде: в минуту всё мокло на нас, а там делалось опять темно и прохладно. Эта природная аллея, тишина, яркие краски зелени – всё живописно, но немного угрюмо. Цветов нет, птиц мало, не слышать даже и стрекотанья кузнечиков. У томанов грубый продолговатый лист и серый ствол; у пальм светло-зеленые крепкие листья до того, что едва разорвешь руками. Берег глинистый, крепкий и сухой. Местами по берегу растут бананы, достояние поселенцев, – этот хлеб жарких стран, да продолговатые зеленые лимоны: во вкусе их есть какая-то затхлость. Видно, что это привитой и искаженный на чужой почве плод. Как прекрасны все природные плоды в жарких климатах, так неудачны все привитые. В Индии старались разводить виноград – не родится; а если где и привился, так никуда не годен; яблоки тоже; чай нехорош. То же можно заметить и о животных: пробовали разводить английских, арабских лошадей и других животных – они перерождаются в какое-то хилое племя. Но что родится там, то уже родится роскошно и сильно.

Мы дошли до какого-то вала и воротились по тропинке, проложенной по берегу прямо к озерку. Там купались наши, точно в купальне, под сводом зелени. На берегу мы застали живописную суету: варили кушанье в котлах, в палатке накрывали... на пол, за неимением стола. Собеседники сидели и лежали. Я ушел в другую палатку, разбитую для магнитных наблюдений, и лег на единственную бывшую на всем острове кушетку, и отдохнул в тени. Иногда врывался свежий ветер и проникал под тент, принося прохладу.

Позвали обедать. Один столик был накрыт особо, потому что не все уместились на полу; а всех было человек двадцать. Хозяин, то есть распорядитель обеда, уступил мне свое место. В другое время я бы поцеремонился; но дойти и от палатки до палатки было так жарко, что я измучился и сел на уступленное место – и в то же мгновение вскочил: уж не то что жарко, а просто горячо сидеть. Мое седалище состояло из десятков двух кирпичей, служивших каменкой в бане: они лежали на солнце и накалились.

За обедом был, между прочим, суп из черепахи; но после того супа, который я ел в Лондоне, этого нельзя было есть. Там умеют готовить, а тут наш Карпов как-то не так зарезал черепаху, не выдержал мяса, и оно вышло жестко и грубо. Подавали уток; но утки значительно похудели на фрегате. Зато крику, шуму, веселья было без конца! Я был подавлен, уничтожен зноем. А товарищи мои пили за обедом херес, портвейн, как будто были в Петербурге!

Только в ранней молодости и можно пить безнаказанно вино в такой бане. Я, не дождавшись конца обеда, ушел скорее в другую палатку, чтоб не заняли места, и глубоко заснул.

Солнце уж было низко на горизонте, когда я проснулся и вышел. Люди бродили по лесу, лежали и сидели группами; одни готовили невод, другие купались. Никогда скромный Бонин-Сима не видал такой суматохи на своих пустынных берегах!

Бичи пишет, что в его время было так много черепах здесь, что они покрывали берег, приходя класть яйца в песок. Молодые черепахи, вылупившись, спешили к морю, но на пути их ждали бесчисленные враги: на берегу клевали птицы, в море во множестве пожирали шарки (акулы). Зато, выросши и окрепнув, они, в своей броне, не боятся уже ничего. "Шарок, – пишет он, – было еще больше, нежели черепах: они даже хватили за весла зубами". Куда всё это делось? Черепахи, с поселением людей, являются реже: жители ловят их и берегут

где-то в садках, продавая приезжим. Мы заплатили четыре доллара за черепаху, но зато какую! шесть человек насилу тащили ее. Здесь поселенцы забирают их на берегу посредством собак. Собака схватит и тащит за ласт (у морских черепах – плавательные лапы вместо лап) дальше от берега. Эти черепахи не пригодны ни на что, кроме супа. На гребенки идет кость черных черепах. Шарки есть, но немного, и в двадцать лет один раз шарка откусила голову матросу с китоловного судна. У нас поймали одну небольшую акулу. Я осмотрел рот у ней: зубы расположены в четыре ряда, мелкие, но острые, как пила. Есть чем поесть, было бы что.

Вечером зажгли огни под деревьями; матросы группами теснились около них; в палатке пили чай, оттуда слышались пение, крики. В песчаный берег яростно бил бурун: иногда подойдешь близко, заговоришься, вал хлестнет по ногам и бахромой рассыплется по песку. Вдали светлел от луны океан, точно ртуть, а в заливе, между скал, лежал густой мрак.

Я подошел к небольшой группе, расположившейся на траве, около скатерти, на которой стояли чашки с чаем, блюдо свежей, только что наловленной рыбы да лежали арбузы и ананасы. Надо было лечь на брюхо: это большое счастье, что здесь нет ни одной гадины, ни змей, ни ядовитых насекомых – ничего. Этим фактом некоторые из моих товарищей хотели доказать ту теорию, что будто бы растительные семена или пыль разносятся на огромное расстояние ветром, оттого-де такие маленькие острова, как Бонин-Сима, и притом вулканического происхождения, не имевшие первобытной растительности, и заросли, а змей-де и разных гадин занести ветром не могло, оттого их и нет.

Положили было ночью сниматься с якоря, да ветер был противный. На другой день тоже. Наконец 4-го августа, часа в четыре утра, я, проснувшись, услышал шум, голоса, свистки и заснул опять. А часов в семь ко мне лукаво заглянул в каюту дед.

– Здравствуйте! Поздравляю вас...

– А что?

– В море!

– Далеко?

– Да вон, Нагасаки видно?

"Ах, этот старый!.. Узнай от него правду!" – Я вышел на палубу.

Впереди синее море, над головой синее небо, да солнце, как горячий уголь, пекло лицо, а сзади кучка гор жмутся друг к другу плечами, будто проводить нас, пожелать счастливого пути. Это берега Бонин-Сима: прощай, Бонин-Сима! 4-го августа.

Тихий ветер, ходу шесть узлов. Жарко в природе, холодно в душе; кругом всё море да море...

Конец первого тома

Том 2

I

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

в конце 1853 и в начале 1854 годов

Вход на нагасакский рейд. – Первые визиты японцев. – Вид рейда и города. – Батареи; деревни. – Переводчики и баниосы. – Караульные лодки и гребцы. – Передача письма к губернатору. – Ежедневные сношения с японцами. – Доставка провизии. – Визит голландцев

из фактории. – Буря. – Новый переводчик. – Переговоры о церемониале свидания адмирала с нагасакским губернатором. – Губернаторские секретари. – Торжественный поезд в Нагасаки. – Пристань и носилки. – Японские солдаты. – Улица и дома. – Свидание с губернатором. – Передача письма от русского правительства к японскому. – Японское угощение. – Ожидание ответа из Едо. – Другой губернатор. – Еще переводчик. – Годовщина похода. – Спектакль на корвете "Оливуца". – Смерть сиогуна. – Гроза. – Ответ из Едо. – Катанье на шлюпках. – Паппенберг. – Крысий остров. – Подарки. – Важное известие из Едо. – Отплытие.

Нагасакский рейд. С 10 августа 1853 года.

От островов Бонинсима до Японии – не путешествие, а прогулка, особенно в августе: это лучшее время года в тех местах. Небо и море спорят друг с другом, кто лучше, кто тише, кто синее, – словом, кто более понравится путешественнику. Мы в пять дней прошли 850 миль. Наше судно, как старшее, давало сигналы другим трем и одно из них вело на буксире. Таща его на двух канатах, мы могли видаться с бывшими там товарищами; иногда перемолвим и слово, написанное на большой доске складными буквами.

9-го августа, при той же ясной, но, к сожалению, чересчур жаркой погоде, завидели мы тридцатое государство. Это были еще самые южные острова, крайние пределы, только островки и скалы Японского архипелага, носившие европейские и свои имена. Тут были Юлия, Клара, далее Якуносима, Номосима, Ивосима, потом пошли саки: Тагасаки, Коссаки, Нагасаки. Сима значит остров, саки – мыс, или наоборот, не помню.

Вот достигается наконец цель десятимесячного плавания, трудов. Вот этот запертой ларец, с потерянным ключом, страна, в которую заглядывали до сих пор с тщетными усилиями склонить, и золотом, и оружием, и хитрой политикой, на знакомство. Вот многочисленная кучка человеческого семейства, которая ловко убегает от ферулы цивилизации, осмеливаясь жить своим умом, своими уставами, которая упрямо отвергает дружбу, религию и торговлю чужеземцев, смеется над нашими попытками просветить ее и внутренние, произвольные законы своего муравейника противопоставит и естественному, и народному, и всяким европейским правам, и всякой неправде.

"Долго ли так будет?" – говорили мы, лаская рукой шестидесятифунтовые бомбовые орудия. Хоть бы японцы допустили изучить свою страну, узнать ее естественные богатства: ведь в географии и статистике мест с оседлым населением земного шара почти только один пробел и остается – Япония. Странная, занимательная пока своею неизвестностью земля растянулась от 32 до 40 с лишком градусов «северной» широты, следовательно с одной стороны южнее Мадеры. В ней господствуют зной и морозы, растут пальма и сосна, персик и клюква. Там есть горы, равные нашим высочайшим горам, горящие пики, и в горах – мы знаем уже – родится лучшая медь в свете, но не знаем еще, нет ли там лучших алмазов, серебра, золота, топазов и, наконец, что дороже золота, лучшего каменного угля, этого самого дорогого минерала XIX столетия.

Мы завидели мыс Номо, обозначающий вход на нагасакский рейд. Все собрались на юте, любуясь на зеленые, ярко обливаемые солнцем берега. Но здесь нас не встретили уже за несколько миль лодки с фруктами, раковинами, обезьянами и попугаями, как на Яве и в Сингапуре, и особенно с предложением перевезти на берег: напротив!

Мы входили немного с стесненным сердцем, по крайней мере я, с тяжелым чувством, с каким входят в тюрьму, хотя бы эта тюрьма была обсажена деревьями.

Но это что несетя мимо нас по воде: какая-то маленькая, разукрашенная разноцветными флажками шлюпка-игрушка? "Это у них религиозный обряд", – сказал один из нас. "Нет, – перебил другой, – это просто суеверный обычай". – "Гаданье, – заметил третий, – видите, видите, еще такая же плывет? – это гаданье; они пробуют счастья". – "Нет, позвольте, – заговорил кто-то, – у Кемпфера говорится..." – "Просто игрушки: мальчишки

пустили", – проворчал сквозь зубы дед. И чуть ли это мнение было не справедливее всех ученых замечаний. Но здесь всякая мелочь казалась знаменательной особенностью.

Вдруг появилась лодка, только уж не игрушка, и в ней трое или четверо японцев, два одетые, а два нагие, светло-красноватого цвета, загорелые, с белой, тоненькой повязкой кругом головы, чтоб волосы не трепались, да такой же повязкой около поясицы – вот и всё. Впрочем, наши еще утром видели японцев.

Я только что проснулся, Фаддеев донес мне, что приезжали голые люди и подали на палке какую-то бумагу. "Что ж это за люди?" – спросил я. "Японец, должно быть", – отвечал он. Японцы остановились саженьях в трех от фрегата и что-то говорили нам, но ближе подъехать не решались; они пятились от высунувшихся из полупортиков пушек. Мы махали им руками и платками, чтоб они вошли.

Наконец они решились, и мы толпой окружили их: это первые наши гости в Японии. Они с боязнью озирались вокруг и, положив руки на колени, приседали и кланялись чуть не до земли. Двое были одеты бедно: на них была синяя верхняя кофта, с широкими рукавами, и халат, туго обтянутый вокруг поясицы и ног. Халат держался широким поясом. А еще? еще ничего; ни панталон, ничего...

Обувь состояла из синих коротких чулок, застегнутых вверху пуговкой. Между большим и следующим пальцем шла тесемка, которая прикрепляла к ноге соломенную подошву. Это одинаково, и у богатых, и у бедных.

Голова вся бритая, как и лицо, только с затылка волосы подняты кверху и зачесаны в узенькую, коротенькую, как будто отрубленную косичку, крепко лежавшую на самой маковке. Сколько хлопот за такой хитрой и безобразной прической! За поясом у одного, старшего, заткнуты были две сабли, одна короче другой. Мы попросили показать и нашли превосходные клинки.

Мы повели гостей в капитанскую каюту: там дали им наливки, чаю, конфект. Они еще с лодки всё показывали на нашу фор-брам-стенгу, на которой развевался кусок белого полотна, с надписью на японском языке "Судно российского государства". Они просили списать ее, по приказанию разумеется, чтоб отвезти в город, начальству.

Через полчаса явились другие, одетые побогаче. Они привезли бумагу, в которой делались обыкновенные предостережения: не съезжать на берег, не обижать японцев и т. п. Им так понравилась наливка, что они выпросили, что осталось в бутылке, для гребцов будто бы, но я уверен, что они им и понюхать не дали.

В бумаге еще правительство, на французском, английском и голландском языках, просило остановиться у так называемых Ковальских ворот, на первом рейде, и не ходить далее, в избежание больших неприятностей, прибавлено в бумаге, без объяснения, каких и для кого. Надо думать, что для губернаторского брюха.

Японское правительство – как мы знали из книг и потом убедились, и при этом случае, и впоследствии сами, – требует безусловного исполнения предписанной меры, и, в случае неисполнения, зависело ли оно от исполнителя или нет, последний остается в ответе. Например, иностранные корабли не иначе допускаются на второй и третий рейды, как с разрешения губернатора. Мы разрешения не требовали, но к нам явилась третья партия японцев, человек восемь кроме гребцов, и привезла "разрешение" идти и на второй рейд. Все эти посещения быстро следовали одно за другим. Губернатор поспешил прислать разрешение, не зная, намерены ли мы, по первому извещению, остановиться на указанном месте. Если б ему предписано было, например, истребить нас, он бы, конечно, не мог, но все-таки должен бы был стараться об этом, а в случае неудачи распороть себе брюхо.

Я полагаю так, судя по тому, что один из нагасакских губернаторов, несколько лет назад, распорол себе брюхо оттого, что командир английского судна не хотел принять присланных чрез этого губернатора подарков от японского двора. Губернатору приказано было отдать подарки, капитан не принял, и губернатор остался виноват, зачем не отдал.

Вскрывать себе брюхо – самый употребительный здесь способ умирать поневоле, по крайней мере так было в прежние времена. Заупрямься кто сделать это, правительство

принимает этот труд на себя; но тогда виновный кроме позора публичной казни подвергается лишению имени, и это падает на его семейство. Кто-то из путешественников рассказывает, что здесь в круг воспитания молодых людей входило, между прочим, искусство ловко, сразу распарывать себе брюхо. Впоследствии, при случае как-нибудь, расскажу об этом, что узнаю, подробнее. Теперь некогда.

Третья партия японцев была лучше одета: кофты у них из тонкой, полупрозрачной черной материи, у некоторых вытканы белые знаки на спинах и рукавах – это гербы. Каждый, даже земледелец, имеет герб и право носить его на своей кофте. Но некоторые получают от своих начальников и вообще от высших лиц право носить их гербы, а высшие сановники – от сиюгуна, как у нас ордена.

Но не все имеют право носить по две сабли за поясом: эта честь предоставлена только высшему классу и офицерам; солдаты носят по одной, а простой класс вовсе не носит; да он же ходит голый, так ему не за что было бы и прицепить ее, разве зимой.

Кофта у гостей или хозяев наших – как хотите, застегивалась длинными шелковыми шнурами.

Они объявили, что они переводчики, оппер-толки и ондер-толки, то есть старшие и младшие. Они назначаются для сношений с голландской факторией. Мы посадили их в капитанскую каюту, и они вынули бумагу, в которой предлагалось множество вопросов.

Переводчиков здесь целое сословие: в короткое время у нас перебивалось около тридцати, а всех их около шестидесяти человек; немного недостает до счета семидесяти толковников. Они знают только голландский язык и употребляются для сношений с голландцами, которые, сидя тут по целым годам, могли бы, конечно, и сами выучиться по-японски. Но кто станет учить их? это запрещено под смертною казнью. По-китайски японцы знают все, как мы по-французски, как шведы по-немецки, как ученые по-латыне. Пишут и по-японски, и по-китайски, но только произносят китайские письма по-своему. Вообще всё: язык, вера их, обычаи, одежда, культура и воспитание – всё пришло к ним от китайцев.

Мы уже были предупреждены, что нас встретят здесь вопросами, и оттого приготовились отвечать, как следует, со всею откровенностью. Они спрашивали: откуда мы пришли, давно ли вышли, какого числа, сколько у нас людей на каждом корабле, как матросов, так и офицеров, сколько пушек и т. п.

Между прочим, после заявления нашего, что у нас есть письмо к губернатору, они спросили, отчего же мы одно письмо привезли на четырех судах? В этом ироническом вопросе проглядывала детская недоверчивость к нашему приходу и подозрительность насчет каких-нибудь враждебных замыслов с нашей стороны. Мы поспешили успокоить их и отвечали на всё искренно и простодушно и в то же время не могли воздержаться от улыбки, глядя на эти мягкие, гладкие, белые, изнеженные лица, лукавые и смысленные физиономии, на косички и на приседанья.

Они ознакомились с нами и ободрились ласковым обхождением. Им принесли сладких пирожков, наливов, вина. Они вглядывались во всё с любопытством, осматривали всё в каюте, раскрыли рот от удивления, когда кто-то дотронулся до клавишей фортепиано. Им предложили сигар, но они не знали, как с ними обойтись: один закуривал, не откусив кончика, другой не с той стороны. Сигары были не по ним: крепки. Одному сделалось дурно от духоты в каюте, а может быть и от качки, хотя волнение было слабое и движение фрегата едва заметное. Они вообще очень нежны. Например, не могли вовсе сидеть в каюте, беспрестаннотирали пот с головы и лица, отдувались и обмахивались веерами. Они вынимали из-за пазухи свой табак, чубуки из пальмового дерева с серебряным мундштуком и трубкой, величиной с половину самого маленького женского наперстка. Табак лежал в бумажном кисете, не более *porte-monnaie**. Японец брал оттуда щепоть табаку, скатывал его в комок, как вату или пеньку, когда хотят положить ее в ухо, клал в трубку и, курнув раза три, выбрасывал пепел и прятал трубку за пазуху. Всё это делалось с удивительной быстротой. Табак очень тонок и волокнист, как лен, красно-желтого цвета, и напоминает

немного вкусом турецкий, но только очень слаб, а видом похож на рыжие густые волосы. * кошелек – франц.

Как навастривали они уши, когда раздавался какой-нибудь шум на палубе: их пугало, когда вдруг люди побегут по вантам или потянут какую-нибудь снасть и затопают. Они ехали с нами, а лодка их с гребцами шла у нас на бакштове.

Наконец мы вошли на первый рейд и очутились среди островов и холмов. Здесь застал нас штиль, и потом подул противный ветер; надо было лавировать. "Куда ж вы? – говорили японцы, не понимая лавировки, – вам надо сюда, налево". Наконец вошли и на второй рейд, на указанное место.

Что это такое? декорация или действительность? какая местность! Близкие и дальние холмы, один другого зеленее, покрытые кедровником и множеством других деревьев – нельзя разглядеть каких, толпятся амфитеатром, один над другим. Нет ничего страшного; всё улыбающаяся природа: за холмами, верно, смеющиеся долины, поля... Да смеется ли этот народ? Судя по голым, палимым зноем гребцам, из которых вон трое завернулись, сидя на лодке, в одно какое-то пестрое одеяло, от солнца, нельзя думать, чтоб народ очень улыбался среди этих холмов. Все горы изрезаны бороздами и обработаны сверху донизу.

Вон деревни жмутся в теснинах, кое-где разбросаны хижины. А это что: какие-то занавески с нарисованными на них, белой и черной краской, кругами? гербы Физенского и Сатсумского удельных князей, сказали нам гости. Дунул ветерок, занавески заколебались и обнаружили пушки: в одном месте три, с развалившимися станками, в другом одна вовсе без станка – как страшно! Наши артиллеристы подозревают, что на этих батареях есть и деревянные пушки.

Где же Нагасаки? Города еще не видать. А! вот и Нагасаки. Отчего ж не Нагасаки? оттого, что настоящее название – Нагасаки, а буква н прибавляется так, для шика, так же как и другие буквы к некоторым словам. "Нагасаки – единственный порт, куда позволено входить одним только голландцам", – сказано в географиях, и куда, надо бы прибавить давно, прочие ходят без позволения. Следовательно, привилегия ни в коем случае не на стороне голландцев во многих отношениях.

"Так это Нагасаки!" – слышалось со всех сторон, когда стали на якорь на втором рейде, в виду третьего, и все трубы направились на местность, среди которой мы очутились. В Нагасаки три рейда: один очень открыт с моря и защищен с двух сторон. Там налево, на скрытом холме, строится батарея и, кажется, по замечанию наших артиллеристов, порядочная. Но город, конечно, не весь виден, говорили мы: это, вероятно, только часть, и самая плохая, предместье; тут всё домишки да хижины! Где же здания, дворцы, храмы, о которых пишет Кемпфер и другие, особенно Кемпфер, насчитывая их невероятное число? Должно быть, там, дальше, за мысом.

Но какие виды вокруг! что за перспектива вдали! Вот стоишь при входе на второй рейд, у горы Паппенберг, и видишь море, но зато видишь только профиль мыса, заграждающего вид на Нагасаки, видишь и узенькую бухту Кибач, всю. Передвинешься на середину рейда – море спрячется, зато вдруг раздвинется весь залив налево, с островами Кагена, Катакасима, Каменосима, и видишь мыс en face*, а берег направо покажет свои обработанные террасы, как исполинскую зеленую лестницу, идущую по всей горе, от волн до облаков. * спереди – франц.

Мы стали прекрасно. Вообразите огромную сцену, в глубине которой, верстах в трех от вас, видны высокие холмы, почти горы, и у подошвы их куча домов с белыми известковыми стенами, черепичными или деревянными кровлями. Это и есть город, лежащий на берегу полукруглой бухты. От бухты идет пролив, широкий, почти как Нева, с зелеными, холмистыми берегами, усеянными хижинами, батареями, деревнями, кедровником и нивами.

Декорация бухты, рейда, со множеством лодок, странного города, с кучей сереньких домов, пролив с холмами, эта зелень, яркая на близких, бледная на дальних холмах, – всё так гармонично, живописно, так непохоже на действительность, что сомневаешься, не нарисован ли весь этот вид, не взят ли целиком из волшебного балета?

Что за заливы, уголки, приюты прохлады и лени, образуют узор берегов в проливе! Вон там идет глубоко в холм ущелье, темное, как коридор, лесистое и такое узкое, что, кажется, ежеминутно грозит раздавить далеко запрятавшуюся туда деревеньку. Тут маленькая, обставленная деревьями бухта, сонное затишье, где всегда темно и прохладно, где самый сильный ветер чуть-чуть рябит волны; там бесечно отдыхает выгашенная на берег лодка, уткнувшись одним концом в воду, другим в песок.

Налево широкий и длинный залив с извилинами и углублениями. Посредине его Паппенберг и Каменосима – две горы-игрушки, покрытые ошестинившимся лесом, как будто две головы с взъерошенными волосами. Их обтекают со всех сторон миньютюрные проливы, а вдали видна отвесная скала и море.

Направо идет высокий холм с отлогим берегом, который так и манит взойти на него по этим зеленым ступеням террас и гряд, несмотря на запрещение японцев. За ним тянется ряд низеньких, капризно брошенных холмов, из-за которых глядят серьезно и угрюмо довольно высокие горы, отступив немного, как взрослые из-за детей. Далее пролив, теряющийся в море; по светлой поверхности пролива чернеют разбросанные камни. На последнем плане синет мыс Номо.

Пролив отделяет нагасакский берег от острова Кагена, который, в свою очередь, отделяется другим проливом от острова Ивосима, а там чисто, море – и больше ничего.

Везде уступы, мыски или отставшие от берега, обросшие зеленью и деревьями глыбы земли. Местами группы зелени и деревьев лепятся на окраинах утесов, точно исполинские букеты цветов. Везде перспектива, картина, точно артистически обдуманная прихоть!

Но с странным чувством смотрю я на эти игриво-созданные, смеющиеся берега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения. Люди появляются редко; животных не видеть; я только раз слышал собачий лай. Нет людской суеты; мало признаков жизни. Кроме караульных лодок другие робко и торопливо скользят у берегов с двумя-тремя голыми гребцами, с слюнявым мальчишкой или остроглазой девчонкой.

Так ли должны быть населены эти берега? Куда спрятались жители? зачем не шевелятся они толпой на этих берегах? отчего не видно работы, возни, нет шума, гама, криков, песен – словом, кипения жизни или "мышьей беготни", по выражению поэта? зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешенная синими, белыми, красными тканями? Оттуда слышен однообразный звук "бум-бум-бум" японского барабана: это, скажут вам, Физенский или Сатсумский князья объезжают свои владения.

Вы знаете, что Япония разделена на уделы, которые все зависят от сиюгуна, платят ему дань и содержат войска. Город Нагасаки принадлежит ему, а кругом лежат владения князей.

Зачем же, говорю я, так пусты и безжизненны эти прекрасные берега? зачем так скучно смотреть на них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли же это всё заселится, оживится?

Мы спрашиваем об этом здесь у японцев, затем и пришли, да вот не можем добиться ответа. Чиновники говорят, что надо спросить у губернатора, губернатор пошлет в Едо, к сиюгуну, а тот пошлет в Миако, к микадо, сыну неба: сами решите, когда мы дождемся ответа!

Все мы стояли на палубе, кто чем занят; у всех почти трубы в руках. Одни занимались уборкою парусов, другие прилежно изучали карту, и в том числе дед, который от карты бегал на ют, с юта к карте; и хотя ворчал на неверность ее, на неизвестность места, но был доволен, что труды его кончались. Другие просто думали о том, что видели, глядя туда и сюда, в том числе и я. Меня хотя и занимала новость предмета и проникался я прелестью окружавших нас картин природы, но тут же, рядом с этими впечатлениями, чувствовалась и особенно предчувствовалась скука. Я бы охотно променял Японию на Манилу, на Бразилию или на Сандвичевы острова – на что хотите. Не скучно ли видеть столько залогов природных сил, богатства, всяких даров в неискусных, или, скорее, несвободных, связанных какими-то ненужными путами руках!

Да я ли один скучаю? Вон Петр Александрович сокрушительно вздыхает, не зная, как он будет продовольствовать нас: дадут ли японцы провизии, будут ли возить свежую воду; а если и дадут, то по каким ценам? и т. п. От презервов многие "воротят носы", говорит он.

Кстати о презервах: кажется, я о них не говорил ни слова. Это совсем изготовленная и герметически закупоренная в жестянках провизия всякого рода: супы, мясо, зелень и т. п. Полезное изобретение – что и говорить! Но дело в том, что эту провизию иногда есть нельзя: продавцы употребляют во зло доверенность покупателей; а поверить их нельзя: не станешь вскрывать каждый наглухо закупоренный и залитый свинцом ящик. После уже, в море, окажется, что говядина похожа вкусом на телятину, телятина – на рыбу, рыба – на зайца, а всё вместе ни на что не похоже. И часто всё это имеет один цвет и запах. Говорят, у французов делают презервы лучше: не знаю. Мы купили их в Англии.

Вон и другие тоже скучают: Савич не знает, будет ли уголь, позволят ли рубить дрова, пустят ли на берег освежиться людям? Барон насупился, думая, удастся ли ему... хоть увидеть женщин. Он уж глазел на все японские лодки, ища между этими голыми телами не такое красное и жесткое, как у гребцов. Косы и кофты мужчин вводили его иногда в печальное заблуждение...

Японцы уехали. Настал вечер; затеплились звезды, и, вдобавок, между ними появилась комета. Мы наблюдаем ее уже третий вечер, едва успевая ловить на горизонте, – так рано скрывается она.

Нас издали, саженьях во ста от фрегата, и в некотором расстоянии друг от друга окружали караульные лодки, ярко освещенные разноцветными огнями в больших, круглых, крашеных фонарях из рыбьей кожи; на некоторых были даже смоляные бочки. С последним лучом солнца по высотам загорелись огни и нитями опоясали вершины холмов, унизали берега – словом, нельзя было нарочно зажечь иллюминации великолепнее в честь гостей, какую японцы зажгли из страха, что вот сейчас, того гляди, гости нападут на них. Везде перекликались караульные; лодки ходили взад и вперед. Гребцы гребли стоя, с криком "Оссильян, оссильян!", чтоб дружнее работать. По горам, в лесу, огни, точно звезды, плавали, опускаясь и подымаясь по скатам холмов: видно было, что везде расставлены люди, что на нас смотрели тысячи глаз, сторожили каждое движение.

Всё мало-помалу утихало на наших судах. Пробыли зорю, сыграли гимн "Коль славен наш Господь в Сионе", и матросы улеглись. Многие из нас и чаю не пили, не ужинали: всё смотрели на берега и на их отражения в воде, на иллюминацию, на лодки, толкуя, предсказывая успех или неуспех дела, догадываясь о характере этого народа. Потом, один за другим, разбрелись. Я остался и вслушивался в треск кузнечиков, доносившийся с берега, в тихий плеск волн; смотрел на игру фосфорических искр в воде и на дальние отражения береговых огней в зеркале залива. Здесь уже не было буруна, наводящего тоску на душу, как на Бонинсима, только зарница ярко играла над холмами. И я наконец ушел и лег спать, но долго еще мерещились мне женоподобные, приседающие японцы, их косы, кофты, и во сне преследовал долетавший до ушей крик "Оссильян, оссильян!"

"Хи! Хи! Хи!" – слышу в каюте у соседа, просыпаясь поутру, спустя несколько дней по приходе, потом тихий шепот и по временам внезапное возвышение голоса на каком-нибудь слове. Фаддеев стоит подле меня с чаем. "Давно ты тут?" – "В начале седьмой стклянки, ваше высокоблагородие". – "А теперь которая?" – "Да вон, слышишь?" В это время забил барабан, заиграла музыка, значит, восемь часов. "Что там такое рядом в каюте?" – спросил я. "Известно что, японец!" – отвечал он. "Зачем они приехали?" – "А кто их знает?" – "Ты бы спросил". – "А как я его спрошу? нам с ним говорить-то всё равно как свинье с курицей..."

От японцев нам отбоя нет: каждый день, с утра до вечера, по несколько раз. Каких тут нет: оппер-баниосы, ондер-баниосы, оппер-толки, ондер-толки, и потом еще куча сволочи, их свита. Но лучше рассказать по порядку, что позамечательнее.

На другой день, а может быть и дня через два после посещения переводчиков, приехали три или четыре лодки, украшенные флагами, флажками, значками, гербами и пиками – всё атрибуты военных лодок, хотя на лодках были те же голые гребцы и ни одного солдата. Нам

здесь всё еще было ново, и мы с нетерпением ждали, что это такое. Лодки хоть куда: немного похожи на наши зимние крестьянские розвальни: широкие, плоскодонные, с открытой кормой. Они все чисто выстроены из белого леса, с навесом, покрытым циновками. Весла у гребцов длинные, состоящие из двух частей, связанных посередине. Весло привязано к лодке, и гребец, стоя, ворочает его к себе и от себя. Гребцов, смотря по величине лодки, бывает от 4 до 8 и даже до 12 человек. Лодка – это плавучий дом. Тут есть всё: маленький очаг – варить пищу – и вся домашняя утварь. На караульных лодках по очереди дежурят чиновники, чтоб наблюдать за нашими действиями. Этот порядок принят издавна в отношении ко всем иностранным судам.

Сначала вошли на палубу переводчики. "Оппер-баниосы", – говорили они почтительным шепотом, указывая на лодки, а сами стали в ряд. Вскоре показались и вошли на трап, потом на палубу двое японцев, поблагодобрее и понаряднее прочих. Переводчики встретили их, положив руки на колени и поклонившись почти до земли. За ними вошло человек двадцать свиты.

Оппер-баниосы, один худой, с приятным лицом, с выдавшеюся верхнею челюстью и большими зубами, похожими на клыки, как у многих японцев. Другой рябоватый, с умным лицом и с такою же челюстью, как у первого. На них, сверх черной кофты из льняной материи и длинного шелкового халата, были еще цветные шелковые же юбки с разрезанными боками и шелковыми кистями. За пазухой, по обыкновению, был целый магазин всякой всячины: там лежала трубка, бумажник, платок для отирания пота и куча листов тонкой, проклеенной, очень крепкой бумаги, на которой они пишут, отрывая по листку, в которую сморкаются и, наконец, завертывают в нее, что нужно. Они присели, положив руки на колени, то есть поклонились нашим.

По-японски их зовут гокейнсы. Они старшие в городе, после губернатора и секретарей его, лица. Их повели на юг, куда принесли стулья; гокейнсы сели, а прочие отказались сесть, почтительно указывая на них. Подали чай, конфет, сухарей и сладких пирожков. Они выпили чай, покурили, отведали конфет и по одной завернули в свои бумажки, чтоб взять с собой; даже спрятали за пазуху по кусочку хлеба и сухаря. Наливку пили с удовольствием.

Когда дошло дело до вопроса: зачем они приехали, один переводчик, толстый и рябой, по имени Лёда, стал перед гокейнсами, низко поклонился и, оставшись в наклоненном положении, передал наш вопрос. Гокейнс тихо-тихо, почти шепотом, и скоро начал говорить, также нагнувшись к переводчику, и все другие переводчики и другой гокейнс и часть свиты тоже наклонились и слушали. "Хи, хи, хи!" – твердил переводчик отрывисто, пока гокейнс отвечал ему. Частица "хи" означает подтверждение речи, вроде "Да, слушаю". Ее употребляют только младшие, слушая старших. Потом, когда гокейнс кончил, Лёда потянул воздух в себя – и вдруг, выпрямившись перед нами, перевел, что они приехали предложить некоторые вопросы.

Он говорил обыкновенным голосом, а иногда вдруг возвышал его на каком-нибудь слове до крика, кивал головой, улыбался. Прочие переводчики молчали: у них правило, когда старший тут, другой молчит, но непременно слушает; так они поверяют друг друга. Эта система взаимного шпионства немного похожа на иезуитскую. Так, их переводчик Садагора – который страх как походил на пожилую девушку с своей седой косой, недоставало только очков и чулка в руках, – молчал, когда говорил Лёда, а когда Лёды не было, говорил Садагора, а молчал Нарабайоси и т. д.

"Отчего у вас, – спросили они, вынув бумагу, исписанную японскими буквами, – сказали на фрегате, что корвет вышел из Камчатки в мае, а на корвете сказали, что в июле?" – "Оттого, – вдруг послышался сзади голос командира этого судна, который случился тут же, – я похерил два месяца, чтоб не было придинок да расспросов, где были в это время и что делали". Мы все засмеялись, а Посьет что-то придумал и сказал им в объяснение.

Корвет в самом деле вышел в мае из Камчатки, но заходил на Сандвичевы острова. Мы спросили японцев, зачем это им? "Что вам за дело, где мы были? вам только важно, что мы пришли".

Чтобы согласить эту разногласицу, Лёда вдруг предложил сказать, что корвет из Камчатки, а мы из Петербурга вышли в одно время. "Лучше будет, когда скажете, что и пришли в одно время, в три месяца". Ему показали карту и объяснили, что из Камчатки можно прийти в неделю, в две, а из Петербурга в полгода. Он сконфузился и стал сам смеяться над собой.

Тут же показали им кстати Россию и Японию. Увидев, как последняя мала, они добродушно стали хохотать.

Им заметили, что напрасно они обременяют себя и других этими вопросами. "В Едо надо послать", – отвечали они. Потом следовал другой, третий вопрос, всё в том же роде. "И всё надо в Едо посылать?" – "Всё!" – сказал, потянув в себя воздух, Лёда. "Ну, много же у вас дела в Едо!" – подумал кто-то подле меня вслух. Но я, вспомнив, какими вопросами осыпали японцы с утра до вечера нашего знаменитого пленника, Головнина, нашел еще, что эти вопросы не так глупы. Они уехали поздно ночью, улыбаясь, приседая и кланяясь.

А между тем наступал опять вечер с нитями огней по холмам, с отражением холмов в воде, с фосфорическим блеском моря, с треском кузнечиков и криком гребцов "Оссилян, оссилян!" Но это уж мало заняло нас: мы привыкли, ознакомились с местностью, и оттого шканцы и ют тотчас опустели, как только буфетки, Янцен и Витул, зазвенели стаканами, а вестовые, с фуражками в руках, подходили то к одному, то к другому с приглашением "Чай кушать".

Баниосам, на прощанье, сказано было, что есть два письма: одно к губернатору, а другое выше; чтоб за первым он прислал чиновника, а другое принял сам. "Скажем губернатору", – отвечали они. Они, желая выведать о причине нашего прихода, спросили: не привезли ли мы потерпевших кораблекрушение японцев, потом: не надо ли нам провизии и воды – две причины, которые японцы только и считали достаточными для иноземцев, чтоб являться к ним, и то в последнее время. А прежде, как известно, они и потерпевших кораблекрушение своих же японцев не пускали назад, в Японию. "Вы уехали из Нипона, – говорили они, – так ступайте куда хотите". С иностранцами поступали еще строже: их держали в неволе.

Но время взяло свое, и японцы уже не те, что были сорок, пятьдесят и более лет назад. С нами они были очень любезны; спросили об именах, о чинах и должностях каждого из нас и всё записали, вынув из-за пазухи складную железную чернильницу, вроде наших старинных свечных щипцов. Там была тушь и кисть. Они ловко владеют кистью. Я попробовал было написать одному из оппер-баниосов свое имя кистью рядом с японскою подписью – и осрамился: латинских букв нельзя было узнать.

Прошло дня два: в это время дано было знать японцам, что нам нужно место на берегу и провизия. Провизии они прислали небольшое количество в подарок, а о месте объявили, что не смеют дать его без разрешения из Едо.

На третий день после этого приехали два баниоса: один бывший в прошедший раз, приятель наш Баба-Городзаймон, который уже ознакомился с нами и освоился на фрегате, шутил, звал нас по именам, спрашивал название всего, что попадалось ему в глаза, и записывал. Он был, по-видимому, очень добр, жив, общителен. Другой – Самбро. Не думайте, чтоб в понятиях, словах, манерах японца (за исключением разве сморканья в бумажки да прятанья конфет; но вспомните, как сморкаются две трети русского народа и как недавно барыни наши бросили ридикюли, которые наполнялись конфетами на чужих обедах и вечерах) было что-нибудь дикое, странное, поражающее европейца. Ровно ничего: только костюм да действительно нелепая прическа бросаются в глаза. Во всем прочем это народ, если не сравнивать с европейцами, довольно развитой, развязный, приятный в обращении и до крайности занимательный своеобразием воспитания. Об этом придется говорить ниже.

Баниосы привезли с собой переводчиков, Лёду и Садагору. Их принял сначала Посьет, потом адмирал в своей каюте. Баниосов посадили на массивные кресла, несколько человек свиты сели сзади, на стульях. Адмирал поместился на софе, против них, а мы вчетвером у

окошек на длинном диване. Лёда и Садагора стояли согнувшись, так что лиц их вовсе было не видать и только шпаги торчали вверх. Баба-Городзаймон, наклонясь немного к Лёде и втягивая в себя воздух, начал говорить шепотом, скоро и долго. У него преприятная манера говорить: он говорит, как женщина, так что самые его отказы и противоречия смягчены этим тихим, ласковым голосом. "Хи, хи, хи", – отрывисто и усердно повторял Лёда, у которого подергивало плечи и пот катился струями по вискам. В каюте было душно, а снаружи жарко, до 20№.

Лёда, выслушав, выпрямился, обратился к Посьету, который сидел подле баниосов, и объявил, что губернатор просит прислать письмо, адресованное собственно к нему. Про другое, которое следовало переслать в Едо, к высшим властям, он велел сказать, что оно должно быть принято с соблюдением церемониала, а он, губернатор, определить его сам не в состоянии и потому послал в столицу просить разрешения. "А как скоро можно сделать путь туда и обратно?" – спросили их, зная, впрочем, что этот путь можно сделать недели в три и даже, как говорит английский путешественник Бельчер, в две недели. Им сказано было и об этом. Баба отвечал, однако ж, что, вероятно, на ответ понадобится дней тридцать. Он извинялся тем, что надо обдумать ответ, но адмирал настаивал, чтоб ответ прислали скорее. Тогда Садагора отвечал, что курьер помчится, как птица.

Один из свиты всё носился с каким-то ящиком, завязанным в платок. Когда отдали письмо Баба-Городзаймону, он развязал деревянный лакированный ящик, поставил его на стол, принял письмо обеими руками, поднял его, в знак уважения, ко лбу, положил в ящик и завязал опять в платок, украшенный губернаторскими гербами. После этого перевязал узел шнурком, достал из-за пазухи маленькую печать и приложил к шнурку и отдал ящик своему чиновнику, сказав что-то переводчику. "Хи, хи, хи!" – повторял тот и, обратившись к нам, перевел, что письмо будет доставлено верно и в тот же день.

Адмирал предложил им завтракать в своей каюте, предоставив нам хозяйничать, а сам остался в гостиной. Мы сели за большой стол. Подали, по обыкновению, чаю, потом всё сладкое, до которого японцы большие охотники, пирожков, еще не помню чего, вино, наливку и конфеты. Японцы всматривались во всё, пробовали всего понемножку и завертывали в бумажку то конфету, то кусочек торта, а Лёда прибавил к этому и варенья и всё спрятал в свою обширную кладовую, то есть за пазуху: "детям", – сказал он нам. Гостям было жарко в каюте, одни вынимали маленькие бумажные платки итирали пот, другие, особенно второй баниос, сморкались в бумажки, прятали их в рукав, обмахивались веерами. О. А. Гошкевич завел ящик с музыкой, и вдруг тихо, под сурдиной, раздалось "Grace, grace"* из "Роберта". Но это мало подействовало: Баба сказал, что у него есть две табакерки с музыкой: голландцы привезли. В углу накрыт был другой стол, для нескольких лиц из свиты. Баба не пил совсем вина: он сказал, что постоянно страдает головною болью и "оттого, – прибавил он, – вы видите, что у меня не совсем гладко выбрита голова". Ему предложили посоветоваться с нашим доктором, но он поблагодарил и отказался. * "Пощадите, пощадите – франц.

Вообще мы старались быть любезны с гостями, показывали им, после завтрака, картинки и, между прочим, в книге Зибольда изображение японских видов: людей, зданий, пейзажей и прочего. Они попросили показать фрегат одному из баниосов, который еще в первый раз приехал. Их повели по палубам. Они рассматривали пушки, ружья и внимательно слушали объяснения о ружьях с новыми прицелами, купленных в Англии. Всё занимало их, и в этом любопытстве было много наивного, детского, хотя японцы и удерживались слишком обнаруживаться.

Они пробыли почти до вечера. Свита их, прислужники, бродили по палубе, смотрели на всё, полуразиня рот. По фрегату раздавалось щелканье соломенных сандалий и беспрестанно слышался шорох шелковых юбок, так что, в иную минуту, почудится что-то будто знакомое... взглянешь и разочаруешься! Некоторые физиономии до крайности глуповаты.

Тут были, между прочим, два или три старика в панталонах, то есть ноги у них выше обтянуты синей материей, а обуты в такие же чулки, как у всех, и потом в сандалии.

Коротенькие мантии были тоже синие. "Что это за люди?" – спросили. "Солдаты", – говорят. Солдаты! нельзя ничего выдумать противоположнее тому, что у нас называется солдатом. Они, от старости, едва стояли на ногах и плохо видели. Седая косичка, в три волоса, не могла лежать на голове и торчала кверху; сквозь редкую косу проглядывала лысина цвета красной меди.

Вообще не видно почти ни одной мужественной, энергической физиономии, хотя умных и лукавых много. Да если и есть, так зачесанная сзади кверху коса и гладко выбритое лицо делают их непохожими на мужчин.

С лодок налезло на трапы и русленя множество голых, полуголых и оборванных гребцов. На некоторых много-много, что синий длинный халат – и больше ничего: ни панталон, ни кофт, ни сандалий. О шапках я не упоминаю, потому что здесь эта часть одежды не существует. На юге, в Китае, я видел, носят еще зимние маленькие шапочки, а летом немногие ходят в остроконечных малайских соломенных шапках, похожих на крышку от суповой миски, а здесь ни одного японца не видно с покрытой головой. Они даже редко прикрывают ее и веером, как китайцы. Едет иногда лодка с несколькими людьми: любо смотреть, как солнце жарит их прямо в головы; лучи играют на бритых, гладких лбах, точно на позолоченных маковках какой-нибудь башни, и на каждой голове горит огненная точка. Как бы, кажется, не умереть или, по крайней мере, не сойти с ума от такой прогулки под солнечными лучами, а им ничего, да еще под здешними лучами, которые, как медные спицы, вонзаются в голову!

Баба' обещал доставить нам большое удобство: мытье белья в голландской фактории. Наконец японцы уехали. Кто-то из них кликнул меня и схватил за руку. "А, Баба', adieu!"* – "Adieu", – повторил и он. * "...прощайте!" – француз.

Дни мелькали за днями: вот уже вторая половина августа. Японцы одолели нас. Ездят каждый день раза по два, то с провизией, то с вопросом или с ответом. Уж этот мне крайний Восток: пока, кроме крайней скуки, толку нет! Разглядываешь, от нечего делать, их лица и не знаешь, что подумать о их происхождении. Как им ни противно быть в родстве с китайцами, как ни противоречат этому родству некоторые резкие отличия одних от других, но всякий раз, как поглядишь на оклад и черты их лиц, скажешь, что японцы и китайцы близкая родня между собою. Те же продолговатые, смугло-желтые лица, такое же образование челюстей, губ, выдавшиеся лбы и виски, несколько приплюснутый нос, черные и карие, средней величины, глаза. Я не говорю уже о нравственном сходстве: оно еще более подтверждает эту догадку. Вероятно, и те и другие вышли из одной колыбели, Средней Азии, и, конечно, составляли одно племя, которое в незапамятные времена распространилось по юго-восточной части материка и потом перешло на все окрестные острова.

Татарский пролив и племенная, нередкая в истории многих имеющих один корень народов вражда могла разделить навсегда два племени, из которых в одно, китайское, подмешались, пожалуй, и манчжуры, а в другое, японское, – малайцы, которых будто бы японцы, говорит Кемпфер, застали в Нипоне и вытеснили вон. В языке их, по словам знающих по-китайски, есть некоторое сходство с китайским. И опять могло случиться, что первобытный, общий язык того и другого народа – у китайцев так и остался китайским, а у японцев мог смешаться с языком quasi-малайцев или тех островитян, которых они застали на Нипоне, Киузиу и других островах и которые могли быть, пожалуй, и курильцы.

Чем это не мнение, скажите на милость? Я знаю, что я не понравился бы за это японцам, до того, что они не прочь бы посадить меня и в клетку, благо я теперь в Японии. Они сами производят себя от небесных духов, а потом соглашаются лучше происходить с севера, от курильцев, лишь не от китайцев. Но я готов отстаивать свое мнение, теперь особенно, когда я только что расстался с китайцами, когда черты лиц их так живы в моей памяти и когда я вижу другие, им подобные. Чем же это не мнение? Ведь Кемпфер выводит же японцев прямо – откуда бы вы думали? от вавилонского столпотворения! Он ведет их толпой, или колонией, как он называет, из-за Каспийского моря, через всю Азию в Китай, и оттуда в Японию, прямо так, как они есть, с готовым языком, нравами, обычаями, чуть не с

узелком под мышкой, в котором были завязаны вот эти нынешние их кофты с гербами и юбки. Замечу еще, что здесь кроме различия, которое кладут между простым и непростым народом образ жизни, пища, воспитание и занятия, есть еще другое, резкое, несомненно племенное различие. Когда всматриваешься пристально в лица старших чиновников и их свиты и многих других, толпящихся на окружающих нас лодках, невольно придешь к заключению, что тут сошлись и смешались два племени. Простой народ действительно имеет в чертах большое сходство с малайцами, которых мы видели на Яве и в Сингапуре. А так как у японцев строже, нежели где-нибудь, соблюдается нетерпимость смешения одних слоев общества с другими, то и немудрено, что поработившее племя до сих пор остается не слитым с поработанным.

Сравните японское воспитание с китайским: оно одинаково. Одна и та же привилегированная, древняя религия синто, или поклонение небесным духам, как и в Китае, далее буддизм. Но и тут и там господствует более нравственно-философский, нежели религиозный, дух и совершенное равнодушие и того и другого народа к религии. Затем одинакое трудолюбие и способности к ремеслам, любовь к земледелию, к торговле, одинакие вкусы, один и тот же род пищи, одежда – словом, во всем найдете подобие, в иных случаях до того, что удивляешься, как можно допустить мнение о разномыслии этих народов!

И те и другие подозрительны, недоверчивы: спасаются от опасностей за системой замкнутости, как за каменной стеной; у обоих одна и та же цивилизация, под влиянием которой оба народа, как два брата в семье, росли, развивались, созревали и состарелись. Если бы эта цивилизация была заимствована японцами от китайцев только по соседству, как от чужого племени, то отчего же манчжуры и другие народы кругом остаются до сих пор чуждыми этой цивилизации, хотя они еще ближе к Китаю, чем Япония?

Нет, пусть японцы хоть сейчас посадят меня в клетку, а я, с упрямством Галилея, буду утверждать, что они – отрезанные ломти китайской семьи, ее дети, ушедшие на острова и, по географическому своему положению, запершиеся там до нашего прихода. И самые острова эти, если верить геологам, должны составлять часть, оторвавшуюся некогда от материка...

Вам, может быть, покажется странно, что я вхожу в подробности о деле, которое, в глазах многих, привыкших считать безусловно Китай и Японию за одно, не подлежит сомнению. Вы, конечно, того же мнения, как и эти многие, как и я, как и все вероятно, словом – *tout le monde**. Только японцы оскорбляются, когда иностранцы, по невежеству и варварству, как говорят они, смешивают их с китайцами. Я затронул этот вопрос только потому, что я... в Японии теперь. А кто сюда попадет, тот неминуемо коснется и вопроса о сходстве японцев с китайцами. Это здесь капитальный вопрос. Я только следую примеру других. Что делать: от скуки вдаюсь в педантизм! * весь свет – франц.

Зато избавляю себя и вас от дальнейших воззрений и догадок: рассмотрите эти вопросы на досуге, в кабинете, с помощью ученых источников. Буду просто рассказывать, что вижу и слышу.

Говоря об источниках, упомяну, однако ж, об одном, чуть ли не самом любопытном. Устав от Кемпфера, я напал на одну старую книжку в библиотеке моего соседа по каюте, тоже о Японии или о Японе, как говорит заглавие, и о вине гонения на христиан, сочинения Карона и Гагенара, переведенные чрез Степана Коровина, Синбирнина и Ивана Горлицкого. К сожалению, конец страницы, с обозначением года издания, оторван. За этой книгой я отдыхал от подробных и подчас утомительных описаний почтенного Кемпфера и других авторитетов. Что за краткость, что за добродушие! какой язык! Не могу не поделиться с вами ученым наслаждением и выпишу на выдержку, с дипломатическою точностью, два-три места о Японии и о японцах:

"...остров Ябадии, о котором скажет Птоломей, есть оной, его же ныне нарицают островом Нифон".

"...империя Японская ныне обретается сочинена из многих островов, из которых некия могут быти и не острова, но полуострова".

"Компания Голландская во Индии восточной пребываша тогда в таком великом

благоденствии, по истинне весма великом..."

"Чтож бы то такое ни было, воспитание ли, или как то естественно, что жены там (в Японии) добры, жестоко верны и очень стыдливы".

"Много имеют японцы благосклонности к отцам и к матерям и так умствуют, что тот, который в этом поползнется, того уже боги покажут".

"Доходы вельмож бывают от разного произношения страны, которою кто владеет. У инных земля много произносит жита, инные вынимают много золота и серебра, а прочие меди, олова, свинца..."

И этим языком и тоном написана вся эта любопытная книга, вероятно современница "Телемахида"!

Я ленился записывать имена всех приезжавших к нам гокейнсов и толков. Баба ездил почти постоянно и всякий раз привозил с собой какого-нибудь нового баниоса, вероятно приятеля, желавшего посмотреть большое судно, четырехаршинные пушки, ядра, с человеческую голову величиной, послушать музыку и посмотреть ученье, военные тревоги, беганье по вантам и маневры с парусами. Однажды, при них, заставили матрос маршировать: японцы сели на юте на пятках и с восторгом смотрели, как четыреста человек стройно перекидывали в руках ружья, точно перья, потом шли, нога в ногу, под музыку, будто одна одушевленная масса. При них катались и на шлюпках, которые, как птицы с

Японцы тихо, с улыбкой удовольствия и удивления, сообщали друг другу замечания на своем звучном языке. Некоторые из них, и особенно один из переводчиков, Нарабайоси 2-й (их два брата, двоюродные, иначе гейстра), молодой человек лет 25-ти, говорящий немного по-английски, со вздохом сознался, что всё виденное у нас приводит его в восторг, что он хотел бы быть европейцем, русским, путешествовать и заглянуть куда-нибудь, хоть бы на Бонинсима...

Бедный, доживешь ли ты, когда твои соотечественники, волей или неволей, пустят других к себе или повезут своих в другие места? Ты, конечно, будешь из первых. Этот Нарабайоси 2-й очень скромный, задумчив; у него нет столбняка в лице и манерах, какой замечен у некоторых из японцев, нет также самоуверенности многих, которые совершенно довольны своею участью и ни о чем больше не думают. Видно, что у него бродит что-то в голове, сознание и потребность чего-то лучшего против окружающего его... И он не один такой. В этих людях будущность Японии – и наш успех.

Красивых лиц я почти не видал, а оригинальных много, большая часть, почти все. Вон, посмотрите, они стоят в куче на палубе, около шпиля, а не то заберутся на вахтенную скамью. Зачесанные снизу косы придают голове вид груши, кофты напоминают надетые в рукава кацавейки или мантильи с широкими рукавами, далее халат и туфли. Одно лицо толстое, мясистое, другое длинное, худощавое, птичье; брови дугой, и такой взгляд, который сам докладывает о глупости головы; третий рябой – рябых много – никак не может спрятать верхних зубов. Один смотрит, подняв брови, как матросы, купаясь, один за другим бросаются с русленей прямо в море и на несколько мгновений исчезают в воде; другой присел над люком и не сводит глаз с того, что делается в кают-компании; третий, сидя на стуле, уставил глаза в пушку и не может от старости свести губ. Стоят на ногах они неуклюже, опустившись корпусом на колени, и большею частью смотрят сонно, вяло: видно, что их ничто не волнует, что нет в этой массе людей постоянной идеи и цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее. Это всё свита.

Баниосы тоже, за исключением некоторых, Бабы-Городзаймона, Самбро, не лучше: один скажет свой вопрос или ответ и потом сонно зевает по сторонам, пока переводчик передает. Разве ученье, внезапный шум на палубе или что-нибудь подобное разбудит их внимание: они вытаращат глаза, наострят уши, а потом опять впадают в апатию. И музыка перестала шевелить их. Нет оживленного взгляда, смелого выражения, живого любопытства, бойкости – всего, чем так сознательно владеет европеец.

Один только, кроме Нарабайоси 2-го, о котором я уже говорил, обратил на себя мое

внимание, еще один – и тем он был заметнее. Я не знаю его имени: он принадлежал к свите и не входил с баниосами в каюту, куда, по тесноте и жару, впускались немногие, только необходимые лица. Он высок ростом, строен и держал себя прямо. Совестно ли ему было, что он не был допущен в каюту, или просто он признавал в себе другое какое-нибудь достоинство, кроме чести быть японским чиновником, и понимал, что окружает его, – не знаю, но он стоял на палубе гордо, в красивой, небрежной позе. Лицо у него было европейское, черты правильные, губы тонкие, челюсти не выдавались вперед, как у других японцев. Незаметно тоже было в выражении лица ни тупого самодовольства, ни комической важности или наивной, ограниченной веселости, как у многих из них. Напротив, в глазах, кажется, мелькало сознание о своем японстве и о том, что ему недостает, чего бы он хотел. Видите ли, и японец может быть интересен, но как редко! Если он придет еще раз, непременно познакомлюсь с ним, узнаю его имя, зазову в каюту и как-нибудь дознаюсь, что он такое. Я даже думаю, не инкогнито ли он тут, не из любопытства ли замешался в свиту и приехал посмотреть, что мы за люди.

Вечером в тот день, то есть когда японцы приняли письмо, они, по обещанию, приехали сказать, что "отдали письмо", в чем мы, впрочем, нисколько не сомневались.

Дня через три приехали опять гокейны, то есть один Баба и другой, по обыкновению новый, смотреть фрегат. Они пожелали видеть адмирала, объявив, что привезли ответ губернатора на письма от адмирала и из Петербурга. Баниосы передали, что его превосходительство "увидел письмо с удовольствием и хорошо понял" и что постарается всё исполнить. Принять адмирала он, без позволения, не смеет, но что послал уже курьера в Едо и ответ надеется получить скоро.

Время между тем тянулось и наконец дотянулось до 9-го сентября. Ждали ответа из Едо, занимались и скучали, не занимались – и тоже скучали. Развлечений почти никаких. То наши поедут на корвет, то с корвета приедут к нам – обедать, пить чай. Готовят какую-то пьесу для театра. Японцы посещают нас, но пока реже. Вскоре, однако ж, они стали посещать нас чаще, и вот почему. В начале приезда мы просили прислать нам провизии, разумеется за деньги, и сказали, что иначе не возьмем. В ответ на это японцы запели свою песню, то есть что надо послать в Едо, в верховный совет, тот доложит сиюгуну, сиюгун микадо, и поэтому ответа скоро получить – унмоглик! невозможно. Губернатор прислал только небольшое количество живности и зелени, прося принять это в подарок. Ему сказали, что возьмут с условием, если и он примет ответный подарок, контр-презент, как они называют.

Наши, взятые из Китая и на Бонинсима, утки и куры частью состарелись, не столько от времени, сколько от качки, пушечных выстрелов и других дорожных и морских беспокойств, а частью просто были съедены. Надо было послать транспорт в Китай, за быками и живностью, а шкуну, с особыми приказами, на север, к берегам Сибири. Об этом объявили губернатору, затем чтоб он дал приказание своим, при возвращении наших судов, впустить их беспрепятственно на рейд. Он ужасно встревожился, опасаясь, вероятно, не за подкреплением ли идут суда, и поспешно прислал сказать, чтобы мы не посылали транспорта, что свежую провизию мы можем покупать от голландцев, а они будут получать от японцев.

Мы обрадовались, и адмирал принял предложение, а транспорт все-таки послал, потому что быков у японцев бить запрещено как полезный рабочий скот и они мяса не едят, а всё рыбу и птиц, поэтому мы говядины достать в Японии не могли. Да притом надо было послать бумаги и письма, через Гонконг и Ост-Индию, в Европу. Губернатор ужасно опростоволосился. А мы в выигрыше: в неделю два раза дается длинная записка прислать того, другого, третьего, живности, зелени и т. п. От этого, по средам и пятницам, куча японцев толпится на палубе. Вот сегодня одна партия приехала сказать, что другая везет свинью, и точно привезли. Вчера не преминули сначала дать знать, что привезут воды, а потом уже привезли. Даже и ту воду, которая следовала на корвет, они привезли сначала к нам на фрегат, сказать, что привезли, а потом уже на корвет, который стоит сажень на сто

пятьдесят ближе к городу. Теперь беспрестанно слышишь щелканье соломенных подошв, потом визг свиньи, которую тащат на трап, там глухое падение мешка с редькой, с капустой; вон корзинку яиц тащат, потом фруктов, груш, больших, крепких и годных только для компота, и какисов, или какофиг.

Мы воспользовались этим случаем и стали помещать в реестрах разные вещи: трубки японские, рабочие лакированные ящики с инкрустацией и т. п. Но вместо десяти-двадцати штук они вдруг привезут три-четыре. На мою долю досталось, однако ж, кое-что: ящик, трубка и другие мелочи. Хотелось бы выписать по несколько штук на каждого, но скупое возят. За ящик побольше берут по 12 таилов (таил – около 3 р. асс.), поменьше – 8.

Промахнувшись раз, японцы стали слишком осторожны: адмирал сказал, что, в ожидании ответа из Едо об отведении нам места, надо свезти пока на пустой, лежащий близ нас, камень хронометры для проверки. Об этом вскользь сказали японцам: что же они? на другой день на камне воткнули дерево, чтоб сделать камень похожим на берег, на который мы обещали не съезжать. Фарсёры!

30-го августа, в Александров день, был завтрак у именинника барона Шлипенбаха на корвете. Было очень весело. Между различными развлечениями было одно, очень замечательное. На палубу явилось человек осьмнадцать мальчиков, от 12 до 16 лет. Они стройно и согласно пели романсы, хоровые песни: у одного чистый, звучный сопрано, у другого прекрасный контральто. Наконец, двое самых маленьких плясали по-русски. Их заставляли говорить наизусть басни Крылова. У всех нерусские физиономии – кто бы это были? Камчадалы! Они учатся в школе, в Петропавловске, и готовятся в лоцманские и штурманские должности. Вот где зажглась искра просвещения и искусства! Все эти мальчики по праздникам ездили на фрегат и прекрасно хором пели обедню.

Нас посетил в начале сентября помощник здешнего обер-гофта, или директора голландской фактории, молодой человек, по имени... забыл как. Самого обер-гофта зовут Донкер Курциус. Он происходит из старой голландской фамилии. С помощником приехала куча японских переводчиков: они не отходили от него ни на шаг. С ним заговорили по-французски, но он просил говорить не иначе как по-голландски, опасаясь японцев. Жалкое положение – сидеть в тюрьме, бог знает из чего! Этот молодой человек уже девять лет здесь. Он сказал, что на другой день явится сам обер-гофт с визитом. Но тот ни на другой, ни на третий день не являлся, потом дал знать, что нездоров. Наконец, когда, по возвращении нашего транспорта из Китая, адмирал послал обер-гофту половину быка, как редкость здесь, он благодарил коротенькою записочкой, в которой выражалось большое удовольствие, что адмирал понял настоящую причину его мнимой невежливости.

2-го сентября, ночью часа в два, задул жесточайший ветер: порывы с гор, из ущелий, были страшные. В три часа ночи, несмотря на луну, ничего не стало видно, только блистала неяркая молния, но без грома, или его не слышать было за ветром.

Трудно, живучи на берегу, представить себе такой ветер! Гул от него, шум снастей, командный крик – просто ад! Я в свое окошечко видел блуждающий свет фонарей, слышал, точно подземный грохот, стук травимой цепи и глухое, тяжелое падение другого якоря. Рассвело. Я вышел на палубу; жарко; дышать густым, влажным и теплым воздухом было тяжело до тоски. Я перешел в капитанскую каюту, сел там на окно и смотрел на море: оно напоминало выдержанный нами в Китайском море ураган. Отдали третий якорь. Весь рейд был как один огромный водоворот. Вода крутилась и кипела, ветер с воем мчал ее в виде пыли, сек волны, которые, как стадо преследуемых животных, метались на прибрежные камни, потом на берег, затопляя на мгновение хижины, батареи, плетни и палисады. Японские лодки, притаясь под берегом, качались, как скорлупки.

Часов в семь утра мгновенно стихло, наступила отличная погода. Следующая и вчерашняя ночи были так хороши, что не уступали тропическим. Какие нежные тоны – сначала розового, потом фиолетового, вечернего неба! какая грациозная, игривая группировка облаков! Луна бела, прозрачна, и какой мягкий свет льет она на всё!

Но скучно и жарко: бесконечное наше лето, начавшееся с января, у берегов Мадеры,

тянется до сих пор, как кошмар. Пройдет ли оно? Сегодня хотя и прохладно, но надолго ли? "Дайте срок: ужо задует от тропиков, будет вам прохлада!" – пророчески, как сибилла, ворчит дед. Дни идут однообразно. Встают матросы в четыре часа (они ложатся в восемь), и начинается мытье палубы с песком и камнями. Это делается над моей головой. Проснешься, послушаешь и опять заснешь, да ведь как сладко, под это трение камня и песку об доски, как под дробный стук дождя в деревянную кровлю! От шести до семи с половиной встают и офицеры и идут к поднятию флага, потом пьют чай, потом – кто куда. Начинается ученье, тревоги, движение парусами. Я, если хороша погода, иду на ют и любуюсь окрестностями, смотрю в трубу на холмы, разглядываю деревни, хижины, движущиеся фигуры людей, вглядываюсь внутрь хижин, через широкие двери и окна, без рам и стекол, рассматриваю проезжающие лодки с группами японцев; потом сажусь за работу и работаю до обеда. Обедают от часу до половины третьего, потом сон, потом прогулка, одни и те же битые и перебитые разговоры. А там чай, прогулка по палубе, при звуках музыки нашего оркестра, затем картина вечерней зари и великолепно сияющих, точно бенгальскими огнями, в здешнем редком и прозрачном воздухе звезд. Ходишь вечером посидеть то к тому, то к другому; улягутся наконец все, идти больше не к кому, идешь к себе и садишься вновь за работу.

Приезд японцев не раз прерывает наши дневные занятия. Заслышишь щелканье их туфель по палубе, оставишь перо, возьмешь фуражку и пойдешь смотреть, зачем приехали. Вот так приехали они 5 сентября. Мне нездоровилось: я, ослабевший, заснул до обеда. Фаддеев будит: "Поди, ваше высокоблагородие, японцы здесь: приехал новый, такой толстый". Я застал его уже у адмирала с другими японцами. У него круглое, полное и смуглое лицо, без румянца, как у всех у них, с выдавшимися донельзя верхними зубами, с постоянною, отчасти невольною, по причине выдавшихся зубов, улыбкою. Он очень проворен и суетлив; зовут его Кичибе. Он приехал поговорить о церемониале, с каким нужно принять посланника и бумагу в верховный совет. А! значит, получен ответ из Едо, хотя они и говорят, что нет: лгут, иначе не смели бы рассуждать о церемониале, не зная, примут ли нас. Мне поручено составить проект церемониала, то есть как поедет адмирал в город, какая свита будет сопровождать его, какая встреча должна быть приготовлена и т. п. Это очень важное дело здесь.

6-го.

Так и есть, ответ получен. Сегодня явился опять новый старший переводчик Кичибе и сказал, что будто сейчас получили ответ. У меня бумага о церемониале была готова, когда меня позвали в адмиральскую каюту, где были японцы. К. Н. Посьет стал им передавать изустно, по-голландски, статьи церемониала. Кичибе улыбался, кряхтел, едва сидел от нетерпения на стуле, выслушивая его слова. Он ссылаясь на нашего посланника Резанова, говоря, что у него было гораздо меньше свиты. Ему отвечали, что это нам не пример, что нынешнее посольство предпринято в больших размерах, оттого и свиты больше. Адмирал потому более настаивал на этом, что всем офицерам хотелось быть на берегу.

Не предвидя возможности посылать к вам писем из Нагасаки, я перестал писать их и начал вести дневник. Но случай послать письмо представляется, и я вырываю несколько листов из дневника, чем и заключаю это письмо. Сообщу вам, между прочим, о нашем свидании с нагасакским губернатором, как оно записано у меня под 9-м сентября.

"Что это, откуда я? где был, что видел и слышал? Прожил ли один час из тысячи одной ночи, просидел ли в волшебном балете, или это так мелькнул перед нами один из тех калейдоскопических узоров, которые мелькнут раз в воображении, поразят своею яркостью, невозможностью и пропадут без следа?"

Вы, конечно, бывали во всевозможных балетах, видали много картин в восточном

вкусе и потом забывали, как минутную мечту, как вздорный сон, прервавший строгую думу, оторвавший вас от настоящей жизни? Ну а если б вдруг вам сказали, что этот балет, эта мечта, узор, сон – не балет, не мечта, не узор и не сон, а чистейшая действительность? "Где-нибудь на островах, у Излера?" – возразите вы. Да, на островах конечно, но не у Излера, а у Овосавы Бунго-но-ками-сама, нагасакского губернатора. Мы сейчас от него.

Не подумайте, чтоб там поразила нас какая-нибудь нелепая пестрота, от которой глазам больно, груды ярких тканей, драгоценных камней, ковров, арабески – всё, что называют восточною роскошью, – нет, этого ничего не было. Напротив, всё просто, скромно, даже бедно, но всё странно, ново: что шаг, то небывалое для нас.

Еще 5, 6 и 7 сентября ежедневно ездили к нам гокейнсы договариваться о церемониале нашего посещения. Вы там в Европе хлопчете в эту минуту о том, быть или не быть, а мы целые дни бились над вопросами: сидеть или не сидеть, стоять или не стоять, потом как и на чем сидеть и т. п. Японцы предложили сидеть по-своему, на полу, на пятках. Станьте на колени и потом сядьте на пятки – вот это и значит сидеть по-японски. Попробуйте, увидите, как ловко: пяти минут не просидите, а японцы сидят по нескольку часов. Мы объявили, что не умеем так сидеть; а вот не хочет ли губернатор сидеть по-нашему, на креслах? Но японцы тоже не умеют сидеть по-нашему, а кажется, чего проще? с непривычки у них затекают ноги. Припомните, как угощали друг друга Журавль и Лисица, – это буквально одно и то же.

На другой день рано утром явились японцы, среди дня опять японцы и к вечеру они же. То и дело приезжает их длинная, широкая лодка с шелковым хвостом на носу, с разрубленной кормой. Это младшие толки едут сказать, что сейчас будут старшие толки, а те возвещают уже о прибытии гокейнсов. Зачем еще? "Да всё о церемониале". – "Опять?" – "Мнение губернатора привезли". – "Ну?" – "Губернатор просит, нельзя ли на полу-то вам посидеть?.." – начал со смехом и ужимками Кичибе.

Он, воротясь из Едо, куда был послан, кажется, присутствовать при переговорах с американцами, заменил Льюда и Садагору, как старший.

"Ах ты, Боже мой! ведь сказали, что не сядем, не умеем, и платья у нас не так сшиты, и тяжело нам сидеть на пятках..." – "Да вы сядьте хоть не на пятки, просто, только протяните ноги куда-нибудь в сторону..." – "Не оставить ли их на фрегате?" – ворчали у нас и наконец рассердились. Мы объявили, что привезем свои кресла и стулья и сядем на них, а губернатор пусть сидит на чем и как хочет.

Кичибе, Льюда и Садагора – все поникли головой, но потом согласились. Всё это говорили они в капитанской каюте. Адмирал объявил им утром свой ответ и, узнав, что они вечером приехали опять с пустяками, с объяснениями о том, как сидеть, уже их не принял, а поручил разговаривать с ними нам. "Да вот еще, – просили они, – губернатор желал бы угостить вас, так просит принять завтрак". – "С удовольствием", – приказал сказать адмирал. "После разговора о делах, – продолжал Кичибе, – губернатор пойдет к себе отдохнуть, и вы тоже пойдете отдохнуть в другую комнату, – прибавил он, вертясь на стуле и судорожно смеясь, – да и... позавтракаете". – "Одни? – спросили его, – вы никак с ума сошли? У нас в Европе этого не делается". – "По-японски это весьма употребительно, – сказали они, – мы так всегда..."

Но, кажется, лгали: они хотели подражать адмиралу, который велел приготовить, в первое свидание с японцами на фрегате, завтрак для гокейнсов и поручил нам угощать их, а сам не присутствовал. Боже мой! сколько просьб, молений! Кичибе вертелся, суетился; у него по вискам лились потоки испарины. Льюда кланялся, улыбался, как только мог хуже. Суровый Садагора и тот осклабился. Но мы были непреклонны. Все толки опечалились. Со вздохом перешли они потом к другим вопросам, например к тому, в чьих шлюпках мы поедем, и опять начали усердно предлагать свои, говоря, что они этим хотят выразить нам уважение. Но мы уклонились и сказали, что у нас много своих; опять упрашиванья с их стороны, отказ с нашей. У них вытянулись лица.

Всё это такие мелочи, о которых странно бы было спорить, если б они не вели за собой довольно важных последствий. Уступка их настояниям в пустяках могла дать им повод

требовать уступок и в серьезных вопросах и, пожалуй, повести к некоторой заносчивости в сношениях с нами. Оттого адмирал и придерживался постоянно принятой им в обращении с ними системы: кротости, вежливости и твердости, как в мелочных, так и в важных делах. По мелочам этим, которыми начались наши сношения, японцам предстояло составить себе о нас понятие, а нам установить тон, который должен был господствовать в дальнейших переговорах. Поэтому обстоятельство это гораздо важнее, нежели кажется с первого взгляда.

У нас стали думать, чем бы оказать им внимание, чтоб смягчить отказы, и придумали сшить легкие полотняные или коленкоровые башмаки, чтоб надеть их, сверх сапог, входя в японские комнаты. Это – восточный обычай скинуть обувь: и японцам, конечно, должно понравиться, что мы не хотим топтать их пола, на котором они едят, пьют и лежат. Пошла суматоха: надо было в сутки сшить, разумеется на живую нитку, башмаки. Всех заняли, кто только умел держать в руках иглу. Судя по тому, как плохо были сшиты мои башмаки, я подозреваю, что их шил сам Фаддеев, хотя он и обещал дать шить паруснику. Некоторые из нас подумывали было ехать в калошах, чтоб было что снять при входе в комнату, но для однообразия последовали общему примеру. Впрочем, я, пожалуй, не прочь бы и сапоги снять, даже сесть на пол, лишь бы присутствовать при церемонии.

Вечером, видим, опять едут японцы. "Который это раз? зачем?" – "Да всё о церемониале". – "Что еще?" – "Губернатор просит, нельзя ли вам угоститься без него: так выходит хорошо по-японски", – говорит Кичибе. "А по-русски не выходит", – отвечают ему. Начались поклоны и упрасиванья. "Ну хорошо, скажите им, – приказал объявить адмирал, узнав, зачем они приехали, – что, пожалуй, они могут подать чай, так как это их обычай; но чтоб о завтраке и помину не было".

Японцы обрадовались и тому, особенно Кичибе. Видно, ему приказано от губернатора непременно устроить, чтоб мы приняли завтрак: губернатору, конечно, предписано от горочью, а этому от сиюгуна. "Еще губернатор, – начал Кичибе, – просит насчет шлюпок: нельзя ли вам ехать на нашей..." – "Нельзя", – коротко и сухо отвечено ему.

Стали потом договариваться о свите, о числе людей, о карауле, о носилках, которых мы требовали для всех офицеров непременно. И обо всем надо было спорить почти до слез. О музыке они не сделали, против ожидания, никакого возражения; вероятно, всем, в том числе и губернатору, хотелось послушать ее. Уехали.

На другой день, 8-го числа, явились опять, попробовали, по обыкновению, настоять на угощении завтраком, также на том, чтоб ехать на их шлюпках, но напрасно. Им очень хотелось настоять на этом, конечно затем, чтоб показать народу, что мы не едем сами, а нас везут, словом, что чужие в Японии воли не имеют.

Потом переводчики попросили изложить по-голландски все пункты церемониала и отдать бумагу им для доставления губернатору. Им сказано, что бумага к вечеру будет готова и чтоб они приехали за ней; но они объявили, что лучше подождут. Я ушел обедать, а они всё ждали, потом лег спать, опять пришел, а они не уезжали, и так прождали до ночи. Им дали на юте обедать, и Посьет обедал с ними. Нужды нет, что у них не едят мяса, а они ели у нас пирожки с говядиной и суп с курицей. Велели принести с лодок и свой обед, между прочим рыбу, жареную, прессованную и разрезанную правильными кусочками. К. Н. Посьет говорит, что это хорошо. Не знаю, правда ли: он в деле гастрономии такой снисходительный.

Они уехали, сказав, что свидание назначено завтра, 9-го числа, что рентмейстер, первый после губернатора чиновник в городе, и два губернаторские секретаря приедут известить нас, когда губернатор будет готов принять. Мы назначили им в 10-ть часов утра. Тут они пустились в договоры, как примем, где посадим чиновников. "На креслах, на диване, на полу: пусть сядут, как хотят, направо, налево, пусть влезут хоть на стол", – сказано им. "Нельзя ли нарисовать, как они будут сидеть?" – сказал Кичибе.

Ну сделайте милость, скажите, что делать с таким народом? А надо говорить о деле. Дай Бог терпение! Вот что значит запереться от всех: незаметно в детство впадешь.

Настало вожденное утро. Мы целый месяц здесь: знаем подробно японских свиней, оленей, даже раков, не говоря о самих японцах, а о Японии еще ничего сказать не могли.

"Фаддеев! весь парадный костюм мне приготовить; и ты поедешь; оденься". Все нарядились в парадные платья. Я спросил белый жилет, смотрю – он уже не белый, а желтый. Шелковые галстуки, лайковые перчатки – все были в каких-то чрезвычайно ровных, круглых и очень недурных пятнах, разных видов, смотря по цвету, например на белых перчатках были зеленоватые пятна, на палевых оранжевые, на коричневых масака и так далее: всё от морской сырости. "Что ж ты не проветривал? – строго заметил я Фаддееву, – видишь, ни одной годной пары нет?" – "Да это так нарочно сделано", – отвечал он, пораженный круглой, правильной формой пятен. "А галстуки тоже нарочно с пятнами?" Фаддеев стороной посмотрел на галстуки. "И они в пятнах, – сказал он про себя, – что за чудо!"

Но о перчатках нечего было и хлопотать: мы с апреля, то есть с мыса Доброй Надежды, и не пробовали надевать их – напрасный труд, не наденешь в этом жару, а и наденешь, так будешь не рад – не скинешь после.

В 10-м часу приехали, сначала оппер-баниосы, потом и секретари. Мне и К. Н. Посъету поручено было их встретить на шканцах и проводить к адмиралу. Около фрегата собралось более ста японских лодок с голым народонаселением. Славно: пестроты нет, все в одном и том же костюме, с большим вкусом! Мы с Посъетом ждали у грот-мачты, скоро ли появятся гости и что за секретари в Японии, похожи ли на наших?

Вот идут по трапу и ступают на палубу, один за другим, и старые и молодые японцы, и об одной, и о двух шпагах, в черных и серых кофтах, с особенно тщательно причесанными затылками, с особенно чисто выбритыми лбами и бородой, – словом, молодец к молодцу: длиннолицые и круглолицые, самые смуглые, и изжелта, и посветлее, подслеповатые и с выпученными глазами, то донельзя гладкие, то до невозможности рябые. А что за челюсти, что за зубы! И всё это лезло, лезло на палубу... Да будет ли конец? Показались переводчики, а за ними и секретари. "Которые же секретари? где?" – спрашивали мы. "Да вот!.."

Весь этот люд, то есть свита, все до одного вдруг, как по команде, положили руки на колени, и поклонились низко, и долго оставались в таком положении, как будто хотят играть в чехарду. "Это-то секретари?" На трап шли, переваливаясь с ноги на ногу, два старика, лет 70-ти каждый, плешивые, с седыми жиденькими косичками, в богатых штофных юбках, с широкой бархатной по подолу обшивкой, в белых бумажных чулках и, как все прочие, в соломенных сандалиях. Они едва подняли веки на нас, на всё, что было кругом, и тотчас же опустили. Грянула музыка – опять они подняли веки и опять опустили. Потом тихо поплелись, шаркая подошвами, куда мы повели их, не глядя по сторонам. Оппер-баниосы тут же поступили в их свиту и шли за ними. И они, в свою очередь, хикали, когда те обращали к ним речь. Сначала их привели в капитанскую каюту и посадили, по вчерашнему рисунку, на два кресла. Прочие не смели сесть. Секретари объявили, что желали бы видеть адмирала.

Так же сонно, не глядя ни на что вокруг, спустились они в адмиральскую каюту. Там, чтоб почтить их донельзя, подложили им на кресла, в отличие от свиты, по сафьяновой подушке, так что ноги у них не доставали до полу. Чего, кажется, почетнее? Им принесли чаю и наливки. Чай они хлебнули, а от наливки отказались, сказав, что им некогда, что они приехали только от губернатора объявить, что его превосходительство ожидает русских. Они просили нас не тотчас ехать вслед за ними, чтоб успеть приехать вовремя и встретить нас. "Наши лодки так скоро, как ваши, ходить не могут", – прибавили они. Баниосы остались, чтоб ехать с нами".

9-го сентября.

День рождения его императорского высочества великого князя Константина Николаевича. Когда, после молебна, мы стали садиться на шлюпки, в эту минуту, по свистку, взвились кверху по снастям свернутые флаги, и люди побежали по реям, лишь только русский флаг появился на адмиральском катере. Едва катер тронулся с места, флаги всех

наций мгновенно развернулись на обоих судах и ярко запестрели на солнце. Вместе с гимном "Боже, царя храни" грянуло троекратное ура. Все бывшие на шлюпках японцы, человек до пятисот, на минуту оцепенели, потом, в свою очередь, единодушно огласили воздух криком изумления и восторга.

Впереди шла адмиральская гичка: К. Н. Посьет ехал в ней, чтоб установить на берегу почетный караул. Сзади ехал катер с караулом, потом другой, с музыкантами и служителями, далее шлюпка с офицерами, за ней катер, где был адмирал со свитой. Сзади шел еще вельбот; там сидел один из офицеров. Впереди, сзади, по бокам торопились во множестве японские шлюпки – одни, чтоб идти рядом, другие хотели обогнать. Ехали медленно, около часа; музыка играла всё время. По батареям, пристаням, холмам – везде толпились кучи бритых голов, разноцветных, больше синих, халатов. Лодки, как утки, плавали вокруг, но близко к нам не подходили.

Мы с любопытством смотрели на великолепные берега пролива, мимо которых ехали. Я опять не мог защититься от досады, глядя на места, где природа сделала с своей стороны всё, чтоб дать человеку случай приложить и свою творческую руку и наделать чудес, и где человек ничего не сделал. Вон тот холм, как он ни зелен, ни приютен, но ему чего-то недостает: он должен бы быть увенчан белой колоннадой с портиком или виллой с балконами на все стороны, с парком, с бегущими по отлогостям тропинками. А там, в рытвине, хорошо бы устроить спуск и дорогу к морю да пристань, у которой шипели бы пароходы и гомозились люди. Тут, на высокой горе, стоять бы монастырю с башнями, куполами и золотым, далеко сияющим из-за кедров, крестом. Здесь бы хорошо быть складочным магазином, перед которыми теснились бы суда с лесом мачт...

"А что, если б у японцев взять Нагасаки?" – сказал я вслух, увлеченный мечтами. Некоторые засмеялись. "Они пользоваться не умеют, – продолжал я, – что бы было здесь, если б этим портом владели другие? Посмотрите, какие места! Весь Восточный океан оживился бы торговлей..."

Я хотел развивать свою мысль о том, как Япония связалась бы торговыми путями, через Китай и Корею, с Европой и Сибирью; но мы подъезжали к берегу. "Где же город?" – "Да вот он", – говорят. "Весь тут? за мысом ничего нет? так только-то?"

Мы не верили глазам, глядя на тесную кучу серых, невзрачных, одноэтажных домов. Налево, где я предполагал продолжение города, ничего не было: пустой берег, маленькие деревушки да отдельные, вероятно рыбацьи, хижины. По мысам, которыми замыкается пролив, всё те же дрянные батареи да какие-то низенькие и длинные здания, вроде казарм. К берегам жмутся неуклюжие большие лодки. И всё завешено: и дома, и лодки, и улицы, а народ, которому бы очень не мешало завеситься, ходит уж чересчур нараспашку.

Я начитался о многолюдстве японских городов и теперь понять не мог, где же помещается тут до шестидесяти тысяч жителей, как говорит, кажется, Тунберг? "Сколько жителей в Нагасаки?" – спросил я однажды Баба-Городзаймона, через переводчика разумеется. Он повторил вопрос по-японски и посмотрел на другого баниоса, тот на третьего, этот на ондер-баниоса, а ондер-баниос на переводчика. И так вопрос и взгляд дошли опять до Бабы, но без ответа. "Иногда бывает меньше, – сказал наконец Садагора, – а в другой раз больше". Вот вам и ответ! Они всего боятся; всё им запрещено: проврутся во вздоре – и за то беда. Я спросил однажды, как зовут сиюгуна. "Не знаем", – говорят. Впрочем, у них имя государя действительно почти тайна, или по крайней мере они, из благоговения, не произносят его; по смерти его ему дают другое имя. У них вообще есть обычай менять имена по несколько раз в жизни, в разные эпохи, например при женитьбе и тому подобных обстоятельствах.

Мы всё ближе и ближе подходили к городу: везде, на высотах, и по берегу, и на лодках, тьмы людей. Вот наконец и голландская фактория. Несколько голландцев сидят на балконе. Мне показалось, что один из них поклонился нам, когда мы поравнялись с ними. Но вот наши передние шлюпки пристали, а адмиральский катер, в котором был и я, держался на веслах, ожидая, пока там всё установится.

Берег! берег! Наконец мы ступили на японскую землю. Мы вышли на каменную пристань. Ну, берег не очень занимательный: хоть и не выходить!

На пристань вела довольно высокая, из дикого камня, лестница. Набережная плотно убита была песком: это широкая площадка. Дома были завешены сплошной, синей и белой, холстиной. Караул построился в две шеренги по правую сторону пристани, офицеры по левую. Сзади толпился тощей кучкой народ, мелкий, большею частью некрасивый и голый. Видно было, что на набережную пустили весьма немногих: прочие глядели с крыш, из-за занавесок, проверяя в них отверстия, с террас, с гор – отовсюду. В толпе суетился какой-то старик с злым лицом, тоже не очень одетый. Он унимал народ, не давал лезть вперед, чему кроме убедительных слов немало способствовала ему предлинная жердь, которая была у него в руках.

Едва адмирал ступил на берег, музыка заиграла, караул и офицеры отдали честь. А где же встреча, кто ж примет: одни переводчики? Нет, это шутки! Велено спросить, узнать и вытребовать.

Переводчики засуетились, забегали, а мы пока осматривали носилки, или "норимоны" по-японски, которые, по уговору, ожидали нас на берегу. Их было двенадцать или еще, кажется, больше, по числу офицеров. Я думаю, их собрали со всего города. Они заменяют в Японии наши кареты. Носилки, довольно красивые на взгляд, обиты разными материями, украшены значками и кистями. Но в них сесть было нельзя: или ног, или головы девать некуда. "Не для пыток ли заведены у них эти экипажи?" – подумаешь, глядя на них. Полунагие носильщики на толстой жерди, продетой сверху, несут норимоны на плечах. Всё это крайне неловко, не то что в Китае. В Гонконге меня носили в препокорных и удобных носилках, вроде наших качелей, на которых простой народ качается на Святой неделе. В них сидишь, как в креслах. Кроме носилок была тут, говорят, еще и лошадь. Я не заметил лошади и не знаю, зачем она была. В этой суматохе простительно и слона не заметить. Кое-кто из наших попробовали было влезть в эти клетки, то есть носилки, но тотчас же выскочили и пошли пешком.

Наконец явился какой-то старик с сонными глазами, хорошо одетый; за ним свита. Он стал неподвижно перед нами и смотрел на нас вяло. Не знаю, торжественность ли они выражают этим апатическим взглядом, но только сначала, без привычки, трудно без смеху глядеть на эти фигуры в юбках, с косичками и голыми коленками.

Я стоял сзади, в свите адмирала, в хвосте нашей колонны. Вдруг впереди раздалась команда "Марш вперед!", музыка грянула, и весь отряд тронулся с места. Слышались мерные и дробные шаги идущих в ногу матросов. Отошли не более ста сажен по песчаной набережной и стали подниматься на другую каменную лестницу. По сторонам расставлены были, на сажень один от другого, японские... Ужели это солдаты? Посмотрите, что это такое: взятые на подбор, поменьше ростом, японцы в маленьких, в форме воронки, лакированных шапках, с сонными глазами. Они стояли, откинувшись корпусом назад, ноги врозь, с согнутыми коленками. На плечах у них, казалось, были ружья: надо подозревать так, потому что самые ружья спрятаны в чехлах, а может быть, были одни чехлы без ружей. Здесь всё может быть, чего в других местах не бывает.

Мы еще были внизу, а колонна змеилась уже по лестнице, штыки сверкали на солнце, музыка уходила вперед и играла всё глуше и глуше. Скомандовали: "Левое плечо вперед!" – колонна сжалась, точно змей, в кольцо, потом растянулась и взяла направо; музыка заиграла еще глуше, как будто вошла под свод, и вдруг смолкла.

Над головой у нас голубое, чудесное небо, вдали террасы гор, кругом странная улица с непохожими на наши домами и людьми тоже.

Мы завернули за колонной направо, прошли ворота и очутились на чистом, мощеном дворе перед широким деревянным крыльцом без дверей.

Прежде всего бросается в глаза необыкновенная опрятность двора, деревянной, крытой циновками лестницы, наконец, и самих японцев. В этом им надо отдать справедливость. Все они отличаются чистотой и опрятностью, как в своей собственной персоне, так и в платье.

Как бы в этой густой косе не присутствовать разным запахам, на этих халатах не быть пятнам? Нет ничего. Не говорю уже о чиновниках: те и опрятно и со вкусом одеты; но взглянешь и на нищего, видишь наготу или разорванный халат, а пятен, грязи нет. Тогда как у китайцев, например, чего не натерпишься, стоя в толпе! Один запах сандалового дерева чего стоит! от дыхания, напитанного чесноком, кажется, муха умрет на лету. От японцев никакого запаха. Глядишь на голову: через косу сквозит бритый, но чистый череп; голые руки далеко видны в широком рукаве: смуглы, правда, но все-таки чисты. Манеры у них приличны; в обращении они вежливы – словом, всем бы порядочные люди, да нельзя с ними дела иметь: медлят, хитрят, обманывают, а потом откажут. Бить их жаль. Они такой порядок устроили у себя, что если б и захотели не отказать или вообще сделать что-нибудь такое, чего не было прежде, даже и хорошее, так не могут, по крайней мере добровольно. Например: вот они решили, лет двести с лишком назад, что европейцы вредны и что с ними никакого дела иметь нельзя, и теперь сами не могут изменить этого. А, уж конечно, они убедились, особенно в новое время, что если б пустить иностранцев, так от них многому бы можно научиться: жить получше, быть посведущее во всем, сильнее, богаче.

Правительство знает это, но, по крайней памяти, боится, что христианская вера вредна для их законов и властей. Пусть бы оно решило теперь, что это вздор и что необходимо опять сдружиться с чужестранцами. Да как? Кто начнет и предложит? Члены верховного совета? – Сиогун велит им распороть себе брюхо. Сиогун? – Верховный совет предложит ему уступить место другому. Микадо не предложит, а если бы и вздумал, так сиогун не сошьет ему нового халата и даст два дня сряду обедать на одной и той же посуде.

Известно, что этот микадо (настоящий, законный государь, отодвинутый узурпаторами-наместниками, или сиогунскими, на задний план) не может ни надеть два раза одного платья, ни дважды обедать на одной посуде. Всё это каждый день меняется, и сиогун аккуратно поставляет ему обновки, но простые, подешевле.

Японцы так хорошо устроили у себя внутреннее управление, что совет не может сделать ничего без сиогунского, сиогун без совета и оба вместе без удельных князей. И так система их держится и будет держаться на своих искусственных основаниях до тех пор, пока не помогут им ниспровергнуть ее... американцы или хоть... мы!

А теперь они еще пока боятся и подумать выглянуть на свет Божий из-под этого колпака, которым так плотно сами накрыли себя. Как они испуганы и огорчены нашим внезапным появлением у их берегов! Четыре большие судна, огромные пушки, множество людей и твердый, небывалый тон в предложениях, самостоятельность в поступках! Что ж это такое?

Как они засуетились, когда попросили их убрать подальше караульные лодки от наших судов, когда вдруг вздумали и послали одно из судов в Китай, другое на север без позволения губернатора, который привык, чтоб судно не качнулось на японских водах без спроса, чтоб даже шлюпки европейцев не ездили по гавани! Теперь им холодно объявляют, чего хотят и чего не хотят. Они думают противиться, иногда вдруг заговорят по-прежнему, требуют, а сами глазами умоляют не отказать, чтоб им не досталось свыше. Им поставится всякая наша вина в вину. Узнав, что завтра наше судно идет в море, они бегут к губернатору и торопятся привезти разрешение. Мы хохочем. Они объявили, что с батареей будут палить, завидя суда в море, и этим намекнули, что у них есть пушки, которые даже палят. "Палите", – отвечаем с улыбкой. Просят не ездить далеко по рейду – мы ничего не отвечаем и едем. А губернатор всё еще поднимает нос: делает запросы, хочет настаивать, да вдруг и спустится, уступит.

Давно ли сарказмом отвечали японцы на совет голландского короля отворить ворота европейцам? Им приводили в пример китайцев, сказав, что те пускали европейцев только в один порт, и вот что из этого вышло: открытие пяти портов, торговые трактаты, отмена стеснений и т. п. "Этого бы не случилось с китайцами, – отвечали японцы, – если б они не пускали и в один порт".

А вот теперь иностранцы постучались и в их заветные ворота с двух сторон. Пришел и

их черед практически решать вопрос: пускать или не пускать европейцев, а это всё равно для японцев, что быть или не быть. Пустить – гости опять принесут свою веру, свои идеи, обычаи, уставы, товары и пороки. Не пускать... но их и теперь четыре судна, а пожалуй, придет и десять, всё с длинными пушками. А у них самих недлинные, и без станков или на соломенных станках. Есть еще ружья с фитилями, сабли, даже по две за поясом у каждого, и отличные... да что с этими игрушками сделаешь?

Пустить или не пустить – легко сказать! Пустить – когда им было так тихо, покойно, хорошо – и спать и есть. Не пустить... а как гости сами пойдут, да так, что губернатор не успеет прислать и позволения? С кем посоветоваться? у кого спросить? Губернатор не смеет решить. Он пошлет спросить в верховный совет, совет доложит сиюгуну, сиюгун – микадо. Этот прямой и непосредственный родственник неба, брат, сын или племянник луны мог бы, кажется, решить, но он сидит с своими двенадцатью супругами и несколькимистами их помощниц, сочиняет стихи, играет на лютне и кушает каждый день на новой посуде. Губернатору велят на всякий случай прогнать, истребить иностранцев или по крайней мере ни за что не пускать в Едо. Губернатору лучше бы, если б мы, минуя Нагасаки, прямо в Едо пришли: он отслужил свой год и, сдав должность другому, прибывшему на смену, готовился отправиться сам в Едо, домой, к семейству, которое удерживается там правительством и служит порукой за мужа и отца, чтоб он не нашалил как-нибудь на границе. А пока мы здесь, он не может ехать, даже когда приедет другой губернатор. И вот губернатор начинает спроваживать гостей – нейдут; чуть он громко заговорит или не исполняет просьб, не шлет свежей провизии, мешает шлюпкам кататься – ему грозят идти в Едо; если не присылает, по вызову, чиновников – ему говорят, что сейчас поедут сами искать их в Нагасаки, и чиновники едут. "Будьте вы прокляты!" – думает, вероятно, он, и чиновники то же, конечно, думают; только переводчик Кичибе ничего не думает: ему всё равно, возьмут ли Японию, нет ли, он продолжает улыбаться, показывать свои фортепиано изо рта, хикает и перед губернатором, и перед нами.

Но что же делать им? и пустить нельзя, и не пустить мудрено. Они попробуют хитрить: то скажут, что мы съели всех свиней в Нагасаки, и скоро не будет свежей провизии; продают утку по талеру за штуку, думая этим надоесть. Ничего не берет! Талеры платят и едят дорогих уток, всё равно как дешевых. Как поступить? Свысока ли, как прежде, или как требует время и обстоятельства? Они, в недоумении, пробуют и то и другое. Они видят, что их система замкнутости и отчуждения, в которой одной они искали спасения, их ничему не научила, а только остановила их рост. Она, как школьная затея, мгновенно рушилась при появлении учителя. Они одни, без помощи; им ничего больше не остается, как удариться в слезы и сказать: "Виноваты, мы дети!" – и, как детям, отдаться под руководство старших.

Кто же будут эти старшие? Тут хитрые, неугомонные промышленники, американцы, здесь горсть русских: русский штык, хотя еще мирный, безобидный, гостем пока, но сверкнул уже при лучах японского солнца, на японском берегу раздалось "Вперед!" *Avis au Japon!* {К сведению Японии – франц.}

Если не нам, то американцам, если не американцам, то следующим за ними – кому бы ни было, но скоро суждено опять влить в жилы Японии те здоровые соки, которые она самоубийственно выпустила вместе с собственной кровью из своего тела, и одряхлела в бессилии и мраке жалкого детства.

Я не раз упомянул о разрезывании брюха. Кажется, теперь этот обычай употребляется реже. После нашего прихода, когда правительство убедится, что и ему самому, не только подданным, придется изменить многое у себя, конечно будут пороть брюхо еще реже. А вот пока что говорит об этом обычай мой

"Каким же образом тое отправляется, как себе чрево распарывать, таким: собирают своих родителей и вместе идут в пагод, посреди того пагода постилают циновки и ковры, на тех садятся и пиршествуют, на прощании ядят иждивительно и сладко, а пьют много. И как уже пир окончится, тот, который должен умереть, встает и разрезывается накрест, так что его внутренняя вся вон выходят. Которые ж смелые, то, по таком действии, и глотку себе

перерезывают. Думаю, что разных образцов, как себе чрево распарывать, между ими боле до пятидесяти восходит".

Кажется, иностранцам, если только уступит правительство, с японским народом собственно не будет больших хлопот. Он чувствует сильную потребность в развитии, и эта потребность проговаривается во многом. Притом он беден, нуждается в сообщении с другими. Порядочные люди, особенно из переводчиков, обращавшихся с европейцами, охают, как я писал, от скуки и недостатка жизни умственной и нравственной. Низший класс тоже с завистью и удивлением поглядывает на наши суда, на людей, просит у нас вина, пьет жадно водку, хватает брошенный кусок хлеба, с детским любопытством вглядывается в безделки, ловит на лету в своих лодках какую-нибудь тряпку, прячет. К нам подъехала недавно лодка: в ней были два гребца, а на носу небрежно лежал хорошо одетый мальчик лет тринадцати. Видно, что он выпросился погулять, посмотреть корабль и других людей. Гребцы, по обыкновению, хватали всё, что им ни бросали, но не ели, а подавали ему: он смотрел с любопытством и прятал. Им спустили на веревке бутылку вина, водки, дали сухарей, конфет – всё брали. Да и высший класс, кажется, тяготится отчуждением от мира и своей сонной и бесплодной жизнью. Кто-то из переводчиков проговорился нам, что, в приезд Резанова, в их верховном совете только двое, из семи или осьми членов, подали голос в пользу сношений с европейцами, а теперь только два голоса говорят против этого. Кликни только клич – и японцы толпой вырвутся из ворот своей тюрьмы. Они общежительны, охотно увлекаются новизной; и не преследуй у них шпионы, как контрабанду, каждое прошептанное с иностранцами слово, обмененный взгляд, наши суда сейчас же, без всяких трактатов, завалены бы были всевозможными товарами, без помощи сиогуна, который все барыши берет себе, нужды нет, что Япония, по словам властей, страна бедная и торговать будто бы ей нечем.

Сколько у них жизни кроется под этой апатией, сколько веселости, игривости! Куча способностей, дарований – всё это видно в мелочах, в пустом разговоре, но видно также, что нет только содержания, что все собственные силы жизни перекипели, перегорели и требуют новых, освежительных начал. Японцы очень живы и натуральны; у них мало таких нелепостей, как у китайцев; например, тяжелой, педантической, устарелой и ненужной учености, от которой люди дуреют. Напротив, они всё выведывают, обо всем расспрашивают и всё записывают. Все почти бывшие в Едо голландские путешественники рассказывают, что к ним нарочно посылали японских ученых, чтоб заимствовать что-нибудь новое и полезное. Между тем китайский ученый не смеет даже выразить свою мысль живым, употребительным языком: это запрещено; он должен выражаться, как показано в книгах. Если японцы и придерживаются старого, то из боязни только нового, хотя и убеждены, что это новое лучше. Они сами скучают и зевают, тогда как у китайцев, по рассказам, этого нет. Решительно японцы – французы, китайцы – немцы здешних мест.

Но пока им не растолковано и особенно не доказано, что им хотят добра, а не зла, они боятся перемен, хотя и желают, не доверяют чужим и ведут себя, как дети. Они теперь мечутся, меряют орудия, когда они на них наведены, хотят в одну минуту выучиться строить батареи, лить пушки, ядра и даже – стрелять. Они не понимают, что Россия не была бы Россией, Англия Англией, в торговле, войне и во всем, если б каждую заперли на замок. Не дети ли, когда думали, что им довольно только не хотеть, так их и не тронут, не пойдут к ним даже и тогда, если они претерпевших кораблекрушение и брошенных на их берега иностранцев будут сажать в плен, купеческие суда гонять прочь, а военные учтиво просить уйти и не приходить? Они думали, что и всё так будет, что не доберутся до них, не захотят или не смогут.

Вот они теперь ссылаются на свои законы, обычаи, полагая, что этого довольно, что всё это будет уважено безусловно, несмотря на то что сами они не хотели знать и слышать о чужих законах и обычаях. За настойчивостью кроется страх, что мы не послушаем, не исполним их капризов. Им хочется отказать в требованиях, но хочется и узнать, что им за это будет: в самом ли деле будут драться, и больно ли? Ужели не пощадят их? Кажется, нет – и,

пожалуй, припомнят все: пролитую кровь христиан, оскорбление посланников, тюрьмы пленных, грубости, надменность, чванство. Еще дела не начались, а на Лю-чу, в прихожей у порога, и в Китае также, стоит нетерпеливо, как у долго не отпирающихся дверей, толпа миссионеров: они ждут не дождутся, когда настанет пора восстановить дерзко поверженный крест...

А нечего делать японцам против кораблей: у них, кроме лодок, ничего нет. У этих лодок, как и у китайских джонок, паруса из циновки, очень мало из холста, да еще открытая корма: оттого они и ходят только у берегов. Кемпфер говорит, что в его время сиюгун запретил строить суда иначе, чтоб они не ездили в чужие земли. "Нечего, дескать, им там делать".

Но я забыл, что нас ждет Овосава Бунго-но-ками-сама, нагасакский губернатор. Мы остановились на крыльце, а караул и музыканты на дворе. В сенях, или первой комнате, устланной белыми циновками, мы увидели и наших переводчиков. Впереди всех был Кичибе. Уж он маялся от нетерпения: ему, по-видимому, давно хотелось очнуться от своей неподвижности, посуетиться, поговорить, пошуметь и побегать. Только что мы на крыльцо, он вскочил, начал кланяться, скалил зубы и усердно показывал рукой на анфиладу комнат, приглашая идти. Тут началась церемония надевания коленкорových башмаков. Мы натаскивали, натаскивали с Фаддеевым, едва натащили. Я не узнал Фаддеева: весь в красном, в ливрее, с стоячим воротником, на вытяжке, а лицо на сторону – неподражаем! Он числился при адмиральской каюте с откомандированием, для прислуги, ко мне.

Мы пошли по комнатам: с одной стороны заклеенная вместо стекол бумагой оконная рама доходила до полу, с другой – подвижные бумажные, разрисованные, и весьма недурно, или сделанные из позолоченной и посеребренной бумаги ширмы, так что не узнаешь, одна ли это огромная зала или несколько комнат.

В глубине зал сидели, в несколько рядов, тесной кучей, на пятках человеческие фигуры в богатых платьях, с комическою важностью. Ни бровь, ни глаз не шевелились. Не слышно и не видно было, дышат ли, мигают ли эти фигуры, живые ли они, наконец? И сколько их! Вот целые ряды в большой комнате; вот две массивные фигуры седых стариков посажены в маленьком проходе, как фарфоровые куклы; далее тянутся опять длинные шеренги. Тут и молодые и старые с густыми и жиденькими косичками, похожими на крысий хвост. Какие лица, какие выражения на них! Ни одна фигура не смотрит на нас, не следит с жадным любопытством за нами, а ведь этого ничего не было у них сорок лет, и почти никто из них не видал других людей, кроме подобных себе. Между тем все они устали глаза в стену или в пол и, кажется, побились об заклад о том, кто сделает лицо глупее. Все, более или менее, успели в этом; многие, конечно, неумышленно.

Общий вид картины был оригинален. Я был как нельзя более доволен этим странным, фантастическим зрелищем. Тишина была идеальная. Раздавались только наши шаги. "Башмаки, башмаки!" – слышу вдруг чей-то шепот. Гляжу – на мне сапоги. А где башмаки? "Еще за три комнаты оставил", – говорят мне. Я увлекся и не заметил. Я назад: в самом деле, коленкоровые башмаки лежали на полу. Сидевшие в этой комнате фигуры продолжали сидеть так же смирно и без нас, как при нас; они и не взглянули на меня. Догоняю товарищей, но отсталых не я один: то тот, то другой наклонится и подбирает башмаки. Наконец входим в залу, светлее и больше других; справа стоял, в нише, золоченый большой лук: знак ли это губернаторского сана или так, украшение – я добиться не мог. Зала, как и все прочие комнаты, устлана была до того мягкими циновками, что идешь, как по тюфяку. Здесь эффект сидящих на полу фигур был еще ярче. Я насчитал их тридцать.

В одно время с нами показался в залу и Овосава Бунго-но-ками-сама, высокий, худощавый мужчина, лет пятидесяти, с важным, строгим и довольно умным выражением в лице. Овосава – это имя, Бунгоно – нечто вроде фамилии, которая, кажется, дается, как и в некоторых европейских государствах, от владений, поместьев или земель, по крайней мере так у высшего сословия. Частица "но" повторяется в большей части фамилий и есть, кажется, не что иное, как грамматическая форма. Ками – почетное название, вроде нашего и кавалер;

сама – господин, титул, прибавляемый сзади имен всех чиновных лиц.

Мы взаимно раскланялись. Кланяясь, я случайно взглянул на ноги – проклятых башмаков нет как нет: они лежат подле сапог. Опираясь на руку барона Крюднера, которую он протянул мне из сострадания, я с трудом напялил их на ноги. "Нехорошо", – прошептал барон и засмеялся слышным только мне да ему смехом, похожим на кашель. Я, вместо ответа, показал ему на его ноги: они были без башмаков. "Нехорошо", – прошептал я в свою очередь.

А между тем губернатор, после первых приветствий, просил передать ему письмо и, указывая на стоявший на столике маленький лакированный ящик, предложил положить письмо туда.

Тут бы следовало, кажется, говорить о деле, но губернатор просил прежде отдохнуть, бог ведает от каких подвигов, и потом уже возобновить разговор, а сам скрылся. Первая часть свидания прошла, по уговору, стоя.

В отдыхальне, как мы прозвали комнату, в которую нас повели и через которую мы проходили, уже не было никого: сидящие фигуры убрались вон. Там стояли привезенные с нами кресло и четыре стула. Мы тотчас же и расположились на них. А кому недостало, те присутствовали тут же, стоя. Нечего и говорить, что я пришел в отдыхальню без башмаков: они остались в приемной зале, куда я должен был сходить за ними. Наконец я положил их в шляпу, и дело там и осталось.

За нами вслед, шумной толпой, явились знакомые лица – переводчики: они ринулись на пол и в три ряда уселись по-своему. Мы завели с ними разговор. "У вас стекол нет вовсе в рамах?" – спросил К. Н. Посьет. "Нет", – был ответ. "У вас все дома в один этаж или бывают в два этажа?" – спрашивал Посьет. "Бывают в два", – отвечал Кичибе и поглядел на Льоду. "И в три", – сказал тот и поглядел на Садагору. "Бывают тоже и в пять", – сказал Садагора. Мы засмеялись. "Часто у вас бывают землетрясения?" – спросил Посьет. "Да, бывают", – отвечал Садагора, глядя на Льоду. "Как часто: в десять или двадцать лет?" – "Да, и в десять, и в двадцать лет бывают", – сказал Льода, поглядывая на Кичибе и на Садагору. "Горы распадаются, и дома падают", – прибавил Садагора. И в этом тоне продолжался весь разговор.

Вдруг из дверей явились, один за другим, двенадцать слуг, по числу гостей; каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка. Подойдя к гостю, слуга ловко падал на колени, кланялся, ставил чашку на пол, за неимением столов и никакой мебели в комнатах, вставал, кланялся и уходил. Ужасно неловко было тянуться со стула к полу в нашем платье. Я протягивал то одну, то другую руку и насилу достал. Чай отличный, как желтый китайский. Он густ, крепок и ароматен, только без сахара.

Опять появились слуги: каждый нес лакированную деревянную подставку, с трубкой, табаком, маленькой глиняной жаровней, с горячими углями и пепельницей, и тем же порядком ставили перед нами. С этим еще было труднее возиться. Японцам хорошо, сидя на полу и в просторном платье, проделывать все эти штуки: набивать трубку, закуривать углем, вытряхивать пепел; а нам каково со стула? Я опять вспомнил угощение Лисицы и Журавля.

Хотя табак японский был нам уже известен, но мы сочли долгом выкурить по трубке, если только можно назвать трубкой эти наперстки, в которые не поместится щепоть нюхательного, не то что курительного табаку. Кажется, я выше сказал, что японский табак чрезвычайно мягок и крошится длинными волокнами. Он так мелок, что в пачке, с первого взгляда, похож на кучу какой-то темно-красной пыли.

Кичибе суетился: то побежит в приемную залу, то на крыльцо, то опять к нам. Между прочим, он пришел спросить, можно ли позвать музыкантов отдохнуть. "Хорошо, можно", – отвечали ему и в то же время послали офицера предупредить музыкантов, чтоб они больше одной рюмки вина не пили.

Только что мы перестали курить, явились опять слуги, каждый с деревянным, гладко отесанным и очень красивым, хотя и простым, ящиком. Поставили перед нами по ящику: кто постарше, тем на ножках, прочим без ножек. Открываем – конфеты. Большой кусок чего-то

вроде торта, потом густое, как тесто, желе, сложенное в виде сердечка; далее рыбка из дрянного сахара, крашеная и намазанная каким-то маслом; наконец, мелкие, сухие конфеты: обсахаренные плоды и, между прочим, морковь. Не правда ли, отчаянная смелость в деле кондитерского искусства? А ничего, недурно: если, на основании известной у нас в народе поговорки, можно "съесть и обсахаренную подошву", то морковь, конечно, и подавно! Да, взаперти многого не выдумаешь, или, пожалуй, чего не выдумаешь, начиная от варенной в сахаре моркови до пороху включительно, что и доказали китайцы и японцы, выдумав и то и другое.

Наконец, не знаю в который раз, вбежавший Кичибе объявил, что если мы отдохнули, то губернатор ожидает нас, то есть если устали, хотел он, верно, сказать. В самом деле устали от праздности. Это у них называется дело делать. Мы пошли опять в приемную залу, и начался разговор.

Прежде всего сели на перенесенные в залу кресла, а губернатор на маленькое возвышение, на четверть аршина от пола. Кичибе и Лёда оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу почтительный и, как выстрел, пронзительный взгляд, потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. Лёда лежал всё время так и только исподлобья бросал такие же пронзительные взгляды то на губернатора, то на нас. Старший был Кичибе, а Лёда присутствовал только для проверки перевода и, наконец, для того, что в одиночку они ничего не делают. Кругом, ровным бордюром вдоль стен, сидели на пятках все чиновники и свита губернатора.

Воцарилось глубочайшее молчание. Губернатор вынул из лакированного ящика бумагу и начал читать чуть слышным голосом, но внятно. Только что он кончил, один старик лениво встал из ряда сидевших по правую руку, подошел к губернатору, стал, или, вернее, пал на колени, с поклоном принял бумагу, подошел к Кичибе, опять пал на колени, без поклона подал бумагу ему и сел на свое место.

После этого вдруг раздался крикливый, жесткий, как карканье вороны, голос Кичибе: он по-голландски передал содержание бумаги нам. Смеяться он не смел, но втягивал воздух в себя; гримасам и всхлипываньям не было конца.

В бумаге заключалось согласие горочью принять письмо. Только было, на вопрос адмирала, я разинул рот отвечать, как губернатор взял другую бумагу, таким же порядком прочел ее; тот же старик, секретарь, взял и передал ее, с теми же церемониями, Кичибе. В этой второй бумаге сказано было, что "письмо будет принято, но что скорого ответа на него быть не может".

Оно покажется нелогично, не прочитавши письма, сказать, что скорого ответа не может быть. Так, но имея дело с японцами, надо отчасти на время отречься от европейской логики и помнить, что это крайний Восток. Я выше сказал, что они народ незакоренелый без надежды и упрямый: напротив, логичный, рассуждающий и способный к принятию других убеждений, если найдет их нужными. Это справедливо во всех тех случаях, которые им известны по опыту; там же, напротив, где для них всё ново, они медлят, высматривают, выжидают, хитрят. Не правы ли они до некоторой степени? От европейцев добра видели они пока мало, а зла много: оттого и самое отчуждение их логично. Португальские миссионеры привезли им религию, которую многие японцы доверчиво приняли и исповедовали. Но ученики Лойолы привезли туда и свои страстишки: гордость, любовь к власти, к золоту, к серебру, даже к превосходной японской меди, которую вывозили в невероятных количествах, и вообще всякую любовь, кроме христианской. Вам известно, что было следствием этого: варфоломеевские ночи и отчуждение от света.

Но если вспомнить, что делалось в эпоху младенчества наших старых государств, как встречали всякую новизну, которой не понимали, всякое открытие, как жгли лекарей, преследовали физиков и астрономов, то едва ли японцы не более своих просветителей заслуживают снисхождения в упрямом желании отделаться от иноземцев. Удивительно ли после этого, что осторожность и боязнь повторения старых зол отдалили их от нас,

помешали им вырасти и что у них осталась только их природная смышленность да несколько опытов, давших им фальшивое понятие обо всем, что носит название образованности?

Пока читали бумаги, я всматривался в лица губернатора и его придворных, занимаясь сортировкой физиономий на смышленные, живые, вовсе глупые или только затупелые от недостатка умственного движения. Было также несколько загадочных, скрытных и лукавых лиц. У многих в глазах прятался огонь, хотя они и смотрели, по обыкновению, сонно и вяло. Любопытно было наблюдать эти спящие страсти, непробужденные и нетронутые желания, вместо которых выглядывало детское притворство или крайняя неловкость. У них, кажется, в обычае казаться при старшем как можно глупее, и оттого тут было много лиц, глупых из почтения. Если губернатор и казался умнее прочих, так это, может быть, потому, что он был старше всех. А в Едо и он кажется глуп. Одно лицо забавнее другого.

Вон и все наши приятели: Баба-Городзаймон например, его узнать нельзя: он, из почтения, даже похудел немного. Чиновники сидели, едва смея дохнуть, и так ровно, как будто во фронте. Напрасно я хочу поздороваться с кем-нибудь глазами: ни Самбро, ни Ойе-Саброски, ни переводчики не показывают вида, что замечают нас.

Впрочем, в их уважении к старшим я не заметил страха или подобострастия: это делается у них как-то проще, искреннее, с теплотой, почти, можно сказать, с любовью, и оттого это не неприятно видеть. Что касается до лежання на полу, до неподвижности и комической важности, какую сохраняют они в торжественных случаях, то, вероятно, это если не комедия, то балет в восточном вкусе, во всяком случае спектакль, представленный для нас. Должно быть, и японцы в другое время не сидят точно одурелые или как фигуры воскового кабинета, не делают таких глупых лиц и не валяются по полу, а обходятся между собою проще и искреннее, как и мы не таскаем же между собой везде караул и музыку. Так думалось мне, и мало ли что думалось!

Еще мне понравилось в этом собрании шелковых халатов, юбок и мантилий отсутствие ярких и резких красок. Ни одного цельного цвета, красного, желтого, зеленого: всё смесь, нежные, смягченные тоны того, другого или третьего. Не верьте картинкам, на которых японцы представлены какими-то попугаями. И простой народ здесь не похож костюмами на ту толпу мужчин, женщин и детей, которую я видел на одной плантации в Сингапуре. Там я поражен был смесью ярких платьев на малайцах и индийцах и счел их за какое-то собрание птиц в кабинете натуральной истории. Здесь, в толпе низшего класса, в большинстве, во-первых, бросается в глаза нагота, как я сказал, а потом преобладает какой-нибудь один цвет, но не из ярких, большею частью синий. В платьях же других, высших классов допущены все смешанные цвета, но с большою строгостью и вкусом в выборе их.

Пробегая глазами только по платьям и не добираясь до этих бритых голов, тупых взглядов и выдавшихся верхних челюстей, я забывал, где сижу: вместо крайнего Востока как будто на крайнем Западе: цвет? в туалете – как у европейских женщин. Я заметил не более пяти штофных, и то неярких, юбок у стариков; у прочих, у кого гладкая серая или дикого цвета юбка, у других темно-синего, цвета *Adelaide, vert-de-gris, vert de pomme** – словом, все наши новейшие модные цвета, *couleurs fantaisie***, были тут. * медной ржавчины и яблочно-зеленый – франц. ** фантазийные цвета – франц.

Губернатор был в халате и юбке одного цвета, *pensee**, с темными тоненькими полосками. Мантилья его покроем отличалась от других. У всех прочих спина и рукава гладкие: последние, у кисти руки, широки; всё вместе похоже на мантильи наших дам; у него рукава с боков разрезаны, и от них идут какие-то надставки, вроде маленьких крыльев. Это, как я узнал после, полупарадный костюм, соответствующий нашим вицмундирам. Скажите, думал ли я, думали ли вы, что мне придется писать о японских модах? * фиолетово-коричневого – франц.

Обычай сидеть на пятках происходит у них будто бы, как я читал где-то, оттого, что восточные народы считают неприличным показывать ноги, особенно перед высшими лицами. Не думаю: по крайней мере, сидя на наших стульях, они без церемонии выказывают голые ноги выше, нежели нужно, и нисколько этим не смущаются. Пусть они не считают нас

за старших, но они воздерживались бы от этого по привычке, если б она у них была. Вся разница в восточной манере сидеть от нашей произошла, кажется, от простой и самой естественной причины. В Европе нежарко: мы ищем света и строим дома с большими окнами, сидим на возвышениях, чтоб быть ближе к свету; нам нужны стулья и столы. В Азии, напротив, прячутся от солнца: от этого окошек почти нет. Зачем же им в полупотемках громоздиться на каких-то хитро придуманных подставках, когда сама природа указывает возможность сесть там, где стоишь? А если приходится сидеть, обедать, беседовать, заниматься делом на том же месте, где ходишь, то, разумеется, пожелаешь, чтоб ноги были у всех чисты. От этого на Востоке, при входе, и надо снять туфли или сандалии. Самые земные поклоны у них происходят от обычая сидеть на пятках. Стоять перед старшим или перед гостем, по их обычаю, неучтиво: они, встречая гостя, сейчас опускаются на пол, а сидя на полу, как же можно иначе поклониться почтительно, как не до земли?

С какой холодной важностью и строгостью в лице, с каким достоинством говорил губернатор, глядя полусурово, но с любопытством на нас, на новые для него лица, манеры, прически, на шитые золотом и серебром мундиры, на наше открытое и свободное между собой обращение! Мы скрадывали невольные улыбки, глядя, как он старался поддержать свое истинно японское достоинство.

Но это длилось недолго. Вдруг, когда он стал объяснять, почему скоро нельзя получить ответа из Едо, приводя, между причинами, расстояние, адмирал сделал ему самый простой и естественный вопрос: "А если мы сами пойдем в Едо морем на своих судах: дело значительно ускорится? Мы, при хорошем ветре, можем быть там в какую-нибудь неделю. Как он думает?" Какая вдруг перемена с губернатором: что с ним сделалось? куда делся торжественный, сухой и важный тон и гордая мина? Его японское превосходительство смутилось. Он вдруг снизошел с высоты своего величия, как-то иначе стал сидеть, смотреть; потом склонил немного голову на левую сторону и с умильной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом говорил тихо и долго. "Хи, хи, хи!" – слышалось только из Кичибе, который, как груда какая-нибудь, образующая фигурой опрокинутую вверх дном шлюпку, лежал на полу, судорожно подергиваясь от этого всем существом его произносимого "хи". Губернатор говорил, что "японскому глазу больно видеть чужие суда в других портах Японии, кроме Нагасаки; что ответа мы тем не ускорим, когда пойдем сами", и т. п.

После "делового" разговора начались взаимные учтивости. С обеих сторон уверяли, что очень рады познакомиться. Мы не лгали: нам в самом деле любопытно было видеть губернатора, тем более что мы месяц не сходили с фрегата и во всяком случае видели в этом развлечение. Но за г-на Овосаву можно было поручиться, что в нем в эту минуту сидел сам отец лжи, дьявол, к которому он нас, конечно, и посылал мысленно. Говорят, не в пору гость хуже татарина: в этом смысле русские были для него действительно хуже татар. Я сказал выше, что Овосаве оставалось всего каких-нибудь два месяца до отъезда, когда мы приехали. Событие это, то есть наш приход, так важно для Японии, что правительство сочло необходимым присутствие обоих губернаторов в Нагасаки. Не правда ли, что Овосава Бунго-но имел причину сетовать на наше посещение?

После размена учтивостей губернатор встал и хотел было уходить, но адмирал предложил еще некоторые вопросы. Губернатор просил отложить их до другого времени, опасаясь, конечно, всяких вопросов, на которые, без разрешения из Едо, не знал, что отвечать. Он раскланялся и скрылся. Мы пошли назад. За нами толпа чиновников и переводчиков. Тут был и Баба-Городзаймон. "Здравствуй, Баба!" – сказал я, уж не помню, на каком языке. Он приветливо кивнул головой. Тут мы видели его чуть ли не в последний раз. Его в тот же день услали с нашим письмом в Едо. Он был счастлив: он тоже отслужил годичный срок и готовился уехать с губернатором к семейству, в объятия супруги, а может быть и супруг: у них многоженство не запрещено.

Проходя через отдыхальню, мы были остановлены переводчиками. Они заступили нам дорогу и просили покушать. В комнате стоял большой, прекрасно сервированный стол, уставленный блюдами, бутылками всех форм, с мадерой, бордо, и чего-чего там не было! И

всё на европейский лад. Вероятно, стол, посуда и вина, а может быть и кушанья, взяты были у голландцев. Адмирал приказал повторить свое неизбежное условие, то есть чтоб губернатор участвовал в завтраке. Кичибе, кланяясь, разводил руками, давился судорожным смехом, и всё двигался к столу, усердно приглашая и нас. Другие не отставали от него, улыбались, приседали – всё напрасно. Мы покосились на завтрак, но твердо прошли мимо, не слушая переводчиков. Едва мы вышли на крыльцо, музыка заиграла, караул отдал честь полномочному, и мы в прежнем порядке двинулись к пристани.

На пристани вдруг вижу в руках у Фаддеева и у прочих наших слуг те самые ящики с конфетами, которые ставили перед нами. "Что это у тебя?" – спросил я. "Коробки какие-то". – "Где ты взял?" – "Китаец дал... то бишь японец". – "Зачем?" – "Не могу знать". – "Зачем же ты брал, когда не знаешь?" – "Отчего не взять? Он сказал: на вот, возьми, отнеси домой, господам". – "Как же он тебе сказал, на каком языке?" – "По-своему". – "А ты понял!" – "Понял, ваше высокоблагородие. Чего не понять? говорит да дает коробки, так значит: отнеси господам".

Вон этот ящик стоит и теперь у меня на комоде. Хотя разрушительная десница Фаддеева уже коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до России. В нем лежит пока табак, японский же.

– Чего вам дали? – спросили мы музыкантов на пристани.

– По рюмке воды, – угрюмо отвечало несколько голосов.

– Неужели? – спросил кто-то.

– Точно так, ваше благородие.

– Что ж вы?

– Выпили.

– Зачем же?

– Мы думали, что это... не вода.

– Да, может быть, вода-то хорошая? – спросил я.

– Нешто: лучше морской, – отвечал один.

– Это полезно для здоровья, – заметил я.

Трезвые артисты кинули на меня несколько мрачных взглядов. Матросы долго не давали прохода музыкантам, напоминая им японское угощение.

Едва мы тронулись в обратный путь, японские лодки опять бросились за нами с криком "Оссилян!", взапуски, стараясь перегнать нас, и опять напрасно.

ДНЕВНИК

С 15 сентября по 11 ноября

15 и 16 сентября.

Вчера приезжали японцы, вызванные нами: два оппер-баниоса. Их побранили за то, что лодки японские осмеливаются становиться близко; сказали, что будем насильно отбуксировывать их дальше и ездить кататься за линию лодок. Наш транспорт облепили лодки, с расспросами, где он был да долго ли и т. п. Мало этого: переводчики приехали еще к нам, вызвали Посьета из-за обеда узнать, правду ли объявили им. Он рассердился и сказал, чтоб они об этом вперед не спрашивали; что они во зло употребляют наше снисхождение. Сегодня были японцы с ответом от губернатора, что если мы желаем, то можем стать на внутренний рейд, но не очень близко к берегу, потому что будто бы помешаем движению японских лодок на пристани. Говорят, сегодня приехал новый губернатор на смену Овосава Бунго-но. Нового зовут Мизно Чикого-но-ками-сама. У нас был еще новый, приехавший из

Едо же переводчик Эйноске. Я спал и не видал никого. Приезжие и вида не показывают, что американцы были у них в Едо. Они думают, что мы и не знаем об этом; что вообще в Европе, как у них, можно утаить, что, например, целая эскадра идет куда-нибудь или что одно государство может не знать, что другое воюет с третьим. Адмирал хочет посылать транспорт опять в Шанхай, узнать: война или мир в Европе?

А тепло, хорошо; дед два раза лукаво заглядывал в мою каюту: "У вас опять тепло, – говорил он утром, – а то было засвежело". А у меня жарко до духоты. "Отлично, тепло!" – говорит он обыкновенно, войдя ко мне и отирая пот с подбородка. В самом деле 21№ по Реом«юру» тепла в тени.

17-го.

Весь день и вчера всю ночь писали бумаги в Петербург; не до посетителей было, между тем они приезжали опять предложить нам стать на внутренний рейд. Им сказано, что хотим стать дальше, нежели они указали. Они поехали предупредить губернатора и завтра хотели быть с ответом. О береге всё еще ни слова: выжидают, не уйдем ли. Вероятно, губернатору велено не отводить места, пока в Едо не прочтут письма из России и не узнают, в чем дело, в надежде, что, может быть, и на берег выходить не понадобится.

18, 19, 20-го.

Приехали гокейнсы и переводчики: один гокейнс – новый, с глупым лицом, приехавший с другим губернатором из Едо. Я познакомился с новым переводчиком Эйноске. Он говорит по-английски очень мало, но понимает почти всё. Он научился у голландцев, из которых некоторые знают английский язык. Эйноске учится немного и по-французски. Он сказал, что у него много книг, большею частью голландских; есть и французские. По-голландски он, по словам Посьета, знает хорошо. Они привезли приглашение стать на рейд, где мы хотели; даже усердно приглашали, настаивали, чтоб фрегат со второго рейда перешел в проход, ведущий на ближайший к Нагасаки рейд. Адмирал, напротив, хотел, чтоб суда наши растянулись и чтоб корвет стал при входе на внутренний рейд, шкуна и транспорт поместились в самом проходе, а фрегат остался бы на втором рейде, который нужно было удержать за собой. Иначе, лишь только фрегат вошел бы в проход, японцы выстроили бы линию из своих лодок позади его и загородили бы нам второй рейд, на котором нельзя было бы кататься на шлюпках; а они этого и добивались. Но мы поняли и не согласились. А как упрашивали они, утверждая, что они хлопочут только из того, чтоб нам было покойнее! "Вы у нас гости, – говорил Эйноске, – представьте, что пошел в саду дождь и старшему гостю (разумея фрегат) предлагают зонтик, а он отказывается..." – "Чтоб уступить его младшим (мелким судам)", – прибавил Посьет.

Японские лодки вздумали мешать нашим ездить подальше и даже махали, чтоб те воротились. Сейчас подняли красный флаг, которым у нас вызывают гокейнсов: им объявили, чтоб этого не было; что если их лодки будут подходить близко, то их отведут силой дальше. Вообще их приняли сухо, а адмирал вовсе не принял, хотя они желали видеть его. Он приказал объявить им, что "и так много делают снисхождения, исполняя их обычаи: не ездят на берег; пришли в Нагасаки, а не в Едо, тогда как могли бы сделать это, а они не ценят ничего этого, и потому кататься будем".

19 числа перетянулись на новое место. Для буксировки двух судов, в случае нужды, пришло 180 лодок. Они вплоть стали к фрегату: гребцы, по обыкновению, голые; немногие

были в простых, грубых, синих полухалатах. Много маленьких девчонок (эти все одеты чинно), но женщины ни одной. Мы из окон бросали им хлеб, деньги, роздали по чарке рому: они всё хватали с жадностью. Их много налезло на пушки, в порта. Крик, гам!

Корвет перетянулся, потом транспорт, а там и мы, но без помощи японцев, а сами, на парусах. Теперь ближе к берегу. Я целый день смотрел в трубу на дома, деревья. Всё хижины да дрянные батареи с пушками на развалившихся станках. Видел я внутренность хижин: они без окон, только со входами; видел голых мужчин и женщин, тоже голых сверху до пояса: у них надета синяя простая юбка – и только. На порогах, как везде, бегают и играют ребятишки; слышу лай собак, но редко.

21-го.

Сегодня жарко, а вечером поднялся крепкий ветер; отдали другой якорь. Японцев не было: свежо, да и незачем; притом в последний раз холодно расстались.

Вечером была славная картина: заходящее солнце вдруг ударило на дальний холм, выглядывавший из-за двух ближайших гор, у подошвы которых лежит Нагасаки. Бледная зелень ярко блеснула на минуту, лучи покинули ее и осветили гору, потом пали на город, а гора уже потемнела; лучи заглядывали в каждую впадину, ласкали крутизны, которые, вслед за тем, темнели, потом облили блеском разом три небольшие холма, налево от Нагасаки, и, наконец, по всему берегу хлынул свет, как золото. Маленькие бухты, хижины, батареи, кусты, густо росшие по окраинам скал, как исполинские букеты, вдруг озарились – всё было картина, поэзия, всё, кроме батарей и японцев. С этими никакие лучи не сделали бы ничего.

24-го.

Ничего не было, и даже никого: японцы, очевидно, сердятся за нашу настойчивость кататься по рейду, несмотря на караульные лодки, а может быть, и за холодный прием.

25-го сентября – ровно год, как на "Палладе" подняли флаг и она вышла на кронштадтский рейд: значит, поход начался. У нас праздник, молебен и большой обед. Вызвали японцев: приехал Хагивари-Матаса, старший из баниосов, только что прибывший из Едо с новым губернатором.

Японцев опять погладили по голове: позвали в адмиральскую каюту, угостили наливкой и чаем и спросили о месте на берегу. Они сказали, что через день или два надеются получить ответ из Едо. Им объявили, что мы не прочь ввести и фрегат в проход, если только они снимут цепь лодок, заграждающих вход туда. Они сначала сослались, по обыкновению, на свои законы, потом сказали, что люди, нанимаясь в караул на лодках, снискивают себе этим пропитание. Посъет, по приказанию адмирала, отвечал, что ведь законы их не вечны, а всего существуют лет двести, то есть стеснительные законы относительно иностранцев, и что пора их отменить, уступая обстоятельствам. Эйноске очень умно и основательно отвечал: "Вы понимаете, отчего у нас эти законы таковы (тут он показал рукой, каковы они, то есть стеснительны, но сказать не смел), нет сомнения, что они должны измениться. Но корабли европейские, – прибавил он, – начали посещать, прилежно и во множестве, Нагасаки всего лет десять, и потому не было надобности менять".

Вот как поговаривают нынче японцы! А давно ли они не боялись скрутить руки и ноги приезжим гостям? давно ли называли европейские правительства дерзкими за то, что те смели писать к ним?

У нас всё еще веселятся по поводу годовщины выхода в море. Музыка играет,

песенники поют. Матросы тоже пировали, получив от начальства по лишней чарке. Были забавные сцены. В кают-компанию пришел к старшему офицеру писарь с жалобой на музыканта Макарова, что он изломал ему спину. "И больно?" – спросили его. "Точно так-с, – отвечал он с той улыбкой человека навеселе, в которой умещаются и обида и удовольствие, – писать вовсе не могу", – прибавил он, с влажными глазами и с той же улыбкой, и старался водить рукой по воздуху, будто пишет. "Да, видно, Макаров пьян?" – "Точно так-с". Позвали Макарова. Тот был трезвее его и хранил важную и угрюмую мину. "За что ты прибил его?" – был вопрос. "Я не прибил, я только ударил его в грудь..." – сказал он. "Точно так-с, в грудь", – подтвердил писарь. "За что ж ты его?" – "С кулаком к роже лез!" – отвечал Макаров. "Ты лез?" – "Точно так-с, лез", – отвечал писарь. Все хохотали. Прогнали обоих и велели помириться.

Вечером другая комедия: стали бить зорю: вдруг тот, кто играет на рожке, заиграл совсем другое. Вахтенный офицер строго остановил его. Когда всё кончили, он подошел к нему. Матрос был не очень боек от природы, что показывало и лицо его. "Что ты заиграл?" – спросил офицер. Молчание. "Что ты заиграл?" – "Ошибся! – отвечал тот, – забыл". – "А есть не забываешь?" – "Никак нет-с". – "Сколько раз в день?" – "Два раза". – "Когда?" – "За обедом и за ужином". – "А за завтраком?" – "И за завтраком". – "Стало быть, сколько же раз?" – "Два раза". – "Как два раза: обед?" – "Точно так". – "Ужин?" – "Ужин". – "И завтрак?" – "Точно так-с". – "Сколько же раз?" – "Два раза..." – "А за завтраком?" – "Это не еда, это каша".

27-го.

Ни одного японца не было. Утро ясное и свежее, ветерок; не более 15 или 16^{го} тепла. Наши гонялись на шлюпках и заезжали далеко, к неудовольствию японцев. Их маленькие лодки отделились от больших и пошли, не знаю зачем, за нашими катерами. Было свежо, катера делали длинные и короткие галсы, вдруг поворачивали, лавировали и обреза?ли один другого, то есть пересекали, гоняясь, друг другу путь. Те остановились и не знали, что им делать. Я стоял на юте, и одна японская лодка, проходя мимо, показала на наших. Я отвечал жестом, что они далеко будут кататься.

Наши и корветные офицеры играли "Женитьбу" Гоголя и "Тяжбу". Сцена была на шканцах корвета. "Тяжба" – на нагасакском рейде! Я знал о приготовлениях; шли репетиции, барон Крюднер дирижировал всем; мне не хотелось ехать: я думал, что чересчур будет жалко видеть. Однако ничего, вышло недурно, мичман Зеленый хоть куда: у него природный юмор, да он еще посмотрелся на лучших наших комических актеров. Смешон Лосев свахой. Всё это было чрезвычайно забавно, по оригинальности, самой неловкости актеров. Едучи с корвета, я видел одну из тех картин, которые видишь в живописи и не веришь: луну над гладкой водой, силуэт тихо качающегося фрегата, кругом темные, спящие холмы и огни на лодках и горах. Я вспомнил картины Айвазовского.

28 и 29-го.

Японцы приезжали от губернатора сказать, что он не может совсем снять лодок в проходе; это вчера, а сегодня, то есть 29-го, объявили, что губернатор желал бы совсем закрыть проезд посредине, а открыть с боков, у берега, отведя по одной лодке. Адмирал приказал сказать, что если это сделают, так он велит своим шлюпкам отвести насильно лодки, которые осмелятся заставить собою средний проход к корвету. Переводчики, увидев,

что с ними не шутят, тотчас убрались и чаю не пили.

Вчера привезли свежей и отличной рыбы, похожей на форель, и огромной. Одной стало на тридцать человек, и десятка три пронсов (раков, вроде шримсов, только большего размера), превкусных. Погода как летняя, в полдень 17 градусов в тени, но по ночам холодно.

Мой дневник похож на журнал заключенного – не правда ли? Что делать! Здесь почти тюрьма и есть, хотя природа прекрасная, человек смышлен, ловок, силен, но пока еще не умеет жить нормально и разумно. Странно покажется, что мы здесь не умираем со скуки, не сходя с фрегата; некогда скучать: работа есть у всех. Адмирал не может видеть праздного человека; чуть увидит кого-нибудь без дела, сейчас что-нибудь и предложит: то бумагу написать, а казалось, можно бы morgen, morgen, nur nicht heute,¹ кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу; сам даже возьмет на себя труд выбрать ее в своей библиотеке и укажет, что прочесть или перевести из нее.

30-го.

Ничего замечательного. Требовали баниосов, но они не явились: рассердились, вероятно, на нас за то, что мы пригрозили отбуксировать их лодки прочь, как только они вздумают мешать нам, и вообще с ними стали действовать порешительнее. Они привезли провизию и, между прочим, больших круглых раков, видом похожих на пауков. Но эти раки мне не понравились: клешней у них нет, и шеи тоже, именно нет того, что хорошо в раках; ноги недурны, но крепки; в середине рака много всякой дряни, но есть и белое мясо, которым наполнен низ всей чашки.

Вечером была всенощная накануне Покрова. После службы я ходил по юту и нечаянно наткнулся на разговор мичмана Болтина с сигнальщиком Феодоровым, тем самым, который ошибся и вместо повестки к зоре заиграл повестку к молитве. Этот Феодоров отличался крайней простотой. "Смотри в трубу на луну, – говорил ему Болтин, ходивший по юту, – и как скоро увидишь там трех-четырех человек, скажи мне". – "Слушаю-с". Он стал смотреть и долго смотрел. "Что ж ты ничего не говоришь?" – "Да там всего только двое, ваше благородие". – "Что же они делают?" – "Ничего-с". – "Ну, смотри". – "Что ж это за люди?" – спросил Болтин. Тот молчал. "Говори же!" – "Каин и Авель", – отвечал он. "Вот еще заметь эти две звезды и помни, как их зовут: вот эту Венера, а ту Юпитер". – "Слушаю-с". – "И если что-нибудь с ними случится, донеси". – "Слушаю-с". И он серьезно стал смотреть в ту сторону. Чрез минуту я спросил его, в каких местах он бывал с тех пор, как мы вышли из Англии. Он молчал. "Говори же!" – "На Надежде" (Мыс Доброй Надежды). – "А до этого?" – "Забыл". – "Вспомни!" Он молчал. "Где же?" Молчал. "Ну припомни названия разных вин, так доберешься". Молчание. "Какие же есть вина?" – "Пенное". – "Ну а французские?" – "Ренское". – "А мадера?" – "Точно-с, есть и мадера. Мы и сами там были", – добавил он. "А что же звезды?" – вдруг спросил Болтин. Феодоров беспокойно оглянулся: хватить – одной нет; она уже скрылась за горизонт. "Где же?" – "Только одна осталась". – "А где другая?" – "Не могу знать". – "А как ее зовут?" Молчание. "Ну, как?" – "Мадера", – подумав, отвечал Феодоров. "А другую?" – "Питер", – сказал он. И это было нам развлечение, за неимением других.

Октября 1-го.

Праздник у нас, и в природе праздник. Вспомните наши ясно-прохладные осенние дни,

когда, где-нибудь в роще или длинной аллее сада, гуляешь по устланным увядшими листьями дорожкам; когда в тени так свежо, а чуть выйдешь на солнышко, вдруг осветит и огреет оно, как летом, даже станет жарко; но лишь распахнешься, от севера понесется такой пронзительный и приятный ветерок, что надо закрыться. А небо синее, всё светло, нарядно. Здесь тоже, хоть и 32№ «северной» широты, а погода, как у нас. Только вечернее небо, перед заходом и восходом солнца, великолепно и непохоже на наше. Вот и сегодня то же: бледно-зеленый, чудесный, фантастический колорит, в котором есть что-то грустное; чрез минуту зеленый цвет перешел в фиолетовый; в вышине несутся клочки бурых и палевых облаков, и наконец весь горизонт облит пурпуром и золотом – последние следы солнца; очень похоже на тропики.

Японцев, кажется, не было... ах, виноват – были, были: с рыбой и раками. Баниосы всё не едут: они боятся показаться, думая, как бы им не досталось за то, что не разгоняют лодок, а может быть, они, видя нашу кротость, небрежничают и не едут. Но стоит только сказать, что мы сейчас сами пойдем на шлюпках в Нагасаки, – тотчас явятся, нет сомнения. Если поугатить их и потребовать губернатора – и тот придет. Но тогда понадобилось бы изменить уже навсегда принятый адмиралом образ действия, то есть кротость и вежливость.

Иногда, однако ж, не мешало бы пугнуть их порядком. Вот сегодня, например, часу в восьмом вечера, была какая-то процессия. Одну большую лодку тащили на буксире двадцать небольших с фонарями; шествие сопровождалось неистовыми криками; лодки шли с островов к городу; наши, К. Н. Посьет и Н. Назимов (бывший у нас), поехали на двух шлюпках к корвету, в проход; в шлюпку Посьета пустили поленом, а в Назимова хотели плеснуть водой, да не попали – грубая выходка простого народа! Посьет сейчас же поворотил и приблизился к лодке; там было человек двадцать: все присмирели, спрятавшись на дно лодки.

2-го и 3-го.

Так и есть: страх сильно может действовать. Вчера, второго сентября, послали записку к японцам с извещением, что если не явятся баниосы, то один из офицеров послан будет за ними в город. Поздно вечером приехал переводчик сказать, что баниосы завтра будут в 12 часов.

Явились в 11 часов трое: Ойе-Саброски, другой, прибывший из Едо, и третий, новый. Они извинились, что не ехали долго, сваливая всё на переводчика, который будто не так растолковал, и сказали, что этого вперед уже не случится. Вчера отвели насильно две их лодки дальше от фрегата; сам я не видал этого, но, говорят, забавно было смотреть, как они замахали руками, когда наши катера подошли, приподняли их якорь и оттащили далеко. Баниосы ни слова об этом. Им сказали о брошенном полене со шлюпки и о других глупостях: они извинялись, отговариваясь, что не знали об этом. Вчерашняя процессия – шествие лодок – просто визит управляющего князя Физенского голландцам, а не религиозный праздник, как мы думали. О береге сказали, что ежедневно ждут ответа.

Сегодня суббота: по обыкновению, привезли провизию и помешали опять служить всенощную. Кроме зелени всякого рода, рыбы и гомаров привезли, между прочим, маленького живого оленя или лань, за неимением свиней; говорят, что больше нет; остались поросята, но те нужны для приплода.

С баниосами были переводчики Лёда и Съоза. Я вслушивался в японский язык и нашел, что он очень звучен. В нем гласные преобладают, особенно в окончаниях. Нет ничего грубого, гортанного, как в прочих восточных языках. А баниосы сказали, что русский язык похож будто на китайский, – спасибо! Мы заказали привезти много вещей, всеоров, лакированных ящичков и тому подобного. Не знаем, привезут ли.

4-го.

Воскресенье: началось, по обыкновению, обедней, потом приезжали переводчики сказать, что исполнят наше желание и отведут лодки дальше, но только просили, чтоб мы сами этого не делали. Мы объявили им накануне, что, видно, губернаторские приказания не исполняются, так мы, пожалуй, возьмем на себя труд помочь его превосходительству и будем отбуксировывать. Вечер у нас был замечательный. Когда стемнело, мы видим вдруг в проливе, ведущем к городу, как будто две звезды плывут к нам; но это не японские огни – нет, что-то яркое, живое, вспыхивающее. Мы стали смотреть в ночную трубу, но всё потухло; видим только: плывут две лодки; они подплыли к корме, и вдруг раздалось мелодическое пение... Серенада! это корветские офицеры с маленькими камчадалами, певчими, затеяли серенаду из русских и цыганских песен. Долго плавали они при лунном свете около фрегата и жгли фальшфейеры; мы стояли на юте и молча слушали. Адмирал поблагодарил, когда они кончили, и позвал офицеров пить чай. Маленьких певчих напоили тоже чаем. Японская лодка, завидев яркие огни, отделилась от прочих и подошла, но не близко: не смела и, вероятно, заслушалась новых сирен, потому что остановилась и долго колыхалась на одном месте.

5-го.

Сегодня дождь, но теплый, почти летний, так что даже кот Васька не уходил с юта, а только сел под гик. Мы видели, что две лодки, с значками и пиками, развозили по караульным лодкам приказания, после чего эти отходили и становились гораздо дальше. Адмирал не приказал уже больше и упоминать о лодках. Только если последние станут преследовать наши, велено брать их на буксир и таскать с собой.

6, 7, 8, 9 и 10-го.

Зарезали лань и ели во всех видах: в котлетах, в жарком – отлично! точно лучшая говядина, только нежнее и мягче. П. А. Тихменев косится на лань: он не может есть раков и зайца и т. п. "Не показано, – говорит, – да и противно". Про лань говорит, что это "собака". За десертом подавали новый фрукт здешний, по-голландски называемый kakies, красно-желтый, мягкий, сладкий и прохладительный, вроде сливы; но это не слива, а род фиго или смоквы, как называет отец Аввакум, привезенной будто бы сюда еще португальцами и называющейся у них какофига. Отец Аввакум говорит, что и в Китае таких плодов много... Но не до лани и не до плодов теперь: много нового и важного.

7-го октября был ровно год, как мы вышли из Кронштадта. Этот день прошел скромно. Я живо вспомнил, как, год назад, я в первый раз вступил на море и зажил новою жизнью, как из покойной комнаты и постели перешел в койку и на колеблющуюся под ногами палубу, как неблагоприятно встретило нас море, засвистал ветер, заходили волны; вспомнил снег и дождь, зубную боль – и прощанье с друзьями...

Я видел наконец японских дам: те же юбки, как и у мужчин, закрывающие горло кофты, только не бритая голова, и у тех, которые попорядочнее, сзади булавка поддерживает косу. Все они смуглянки, и куда нехороши собой! Говорят, они нескромно ведут себя – не знаю, не видал и не хочу чернить репутации японских женщин. Их нынче много ездит около

фрегата: всё некрасивые, чернозубые; большею частью смотрят смело и смеются; а те из них, которые лучше собой и понаряднее одеты, прикрываются веером.

Но это всё неважное: где же важное? А вот: 9-го октября, после обеда, сказали, что едут гокейнсы. И это не важность: мы привыкли. Вахтенный офицер посылает сказать обыкновенно К. Н. Посьету. Гокейнсов повели в капитанскую каюту. Я был там. "А! Ойе-Саброски! Кичибе!" – встретил я их, весело подавая руки; но они молча, едва отвечая на поклон, брали руку. Что это значит? Они, такие ласковые и учтивые, особенно Саброски: он шутник и хохотун, а тут... Да что это у всех такая торжественная мина; никто не улыбается?

– Болен, что ли, Саброски? – спросил я.

– Нет...

– Что ж он такой скучный, да и все?

Ответа не было. Только Кичибе постоянно показывал верхние зубы и суетился по обыкновению: то побежит вперед баниосов, то воротится и крикнет и нехотя улыбается. И Эйноске тут. У этого черты лица правильные, взгляд смелый, не то что у тех.

Из разговоров, из обнаруживаемой по временам зависти, с какою глядят на нас и на всё европейское Эйноске, Съюза, Нарабайоси 2-й, видно, что они чувствуют и сознают свое положение, грустят и представляют немую, покорную оппозицию: это *jeune Japon**. Садагора – нянька, приставленная к голландцам и гроза их, Лёда, напротив, принадлежит, кажется, к разряду застарелых и закоснелых японцев. Они похожи на тех заглубевших в преданиях слуг, которые придерживаются старины; их ничем не переломаешь. Они находят всё старое прекрасным, перемен не желают и всё новое считают грехом. Садагора – старый, грубый циник, Лёда, напротив, лстивый, кланяющийся плут. Кичибе составляет *juste milieu*** между тем и другим; он посвежее их: у него нет застарелой ненависти к новому и веры в японскую систему правления, но ему не угнаться и за новыми. Он просто служит за жалованье, кому и как хотите. Есть еще Ясиро, Кичибе-сын и много подростков, всё кандидаты в переводчики. У них наследственные должности: сын по большей части занимает место отца. * молодая Япония – франц. ** золотая середина – франц.

Баниосы объявили, что они желают поговорить с адмиралом. Мы с Посьетом давай ломать голову о чем? "Верно, о месте", – говорил он. "Но нерадостное, должно быть!" – прибавил я. Я сказал адмиралу о их желании. Он велел пустить их к себе. Все сели; воцарилось молчание. Саброски повесил голову совсем на грудь; другой баниос, подслеповатый, громоздкий старик, с толстым лицом, смотрел осовелыми глазами на всё и по временам зевал; третий, маленький, совсем исчезал между ними, стараясь поддаться под мину и позу своих соседей. Эйноске задумчиво молчал. Один Кичибе гоголем сидел и ждал, когда ему велят говорить. Мы ждали, что будет.

Наконец Саброски, вздохнув глубоко и прищутив глаза, начал говорить так тихо, как дух, как будто у него не было ни губ, ни языка, ни горла; он говорил вздохами; кончил, испустив продолжительный вздох. Кичибе, с своей улыбкой, с ясным взглядом и наклоненной головой, просто, без вздохов и печали, объявил, что сиогун, ни больше ни меньше, как *gestorben* – умер!

Мы окаменели на минуту, потом – ничего. "Скажите, – заметил адмирал чиновниками, – что я вполне разделяю их печаль". Баниосы поклонились, некоторые опять вздохнули, Ойе вновь заговорил шепотом. "Хи! хи! хи!" – слышалось только от Кичибе, как предсмертная икота. Потом он, потянув воздух в себя, начал переводить, по обычаю, расстановисто, с спирающимся хохотом в горле – знак, что передает какой-нибудь отказ и этим хохотом смягчает его, золотит пилюлю. "Из Едо... по этому печальному случаю... получить скоро ответ – хо-хо-хо – унмоглик, невозможно!" – досказал он наконец так, как будто из него выдавили последние слова.

На это приказано отвечать, что возражение пришлют письменное. "Все заняты похоронами покойного и восшествием на престол нового сиогуна, – продолжил Кичибе переводить, – всё это требует церемоний" и т. п. Велено было спросить: скоро ли отведут нам место на берегу? Долго говорил Саброски ответ. Кичибе, выслушав его, сказал, что "из

Едо об этом... – тут горло ему совсем заперло смехом – не получено никакого разрешения". – "Однако ж могли получить три раза, – строго заметили ему, – отчего же нет ответа?" Кичибе перевел вопрос, потом, выслушав возражение, начал: "Из Едо не получено об этом никакого – хо-хо-хо – разрешения". "Это мы слышали, – переводил К. Н. Посьет, – но будет ли разрешение и скоро ли? нам надо верить хронометры. Вы не цените нашей вежливости и внимания: другие давно бы съехали сами. Теперь мы видим, что Нагасаки просто западня, в которую заманивают иностранцев, чтоб водить и обманывать. От столицы далеко, переговоры наскучат, гости утомятся и уйдут – вот ваша цель! Но об этом узнает вся Европа; и ни одно судно не пойдет сюда, а в Едо – будьте уверены". Кичибе опять передал и опять начал свое: "Из Едо... не получено – хо-хо-хо!... никакого..."

Хоть кого из терпения выведут! "Спросите губернатора: намерен ли он дать нам место или нет? Чтоб завтра был ответ!" – были последние слова, которыми и кончилось заседание.

Потом им подали чаю и наливки. Они выпили по рюмке, подняли головы, оставили печальный тон, заговорили весело, зевали кругом на стены, на картины, на мебель; совсем развеселились; печали ни следа, так что мы стали догадываться, не хитрят ли они, не выдумали ли, если не всё, так эпоху события. По их словам, сиогун умер 14 августа, а мы пришли 10-го. Может быть, он умер и в прошлом году, а они сказали, что теперь, в надежде, не уйдем ли. Поверить их трудно: они, может быть, и от своих скрывают такой случай, по крайней мере, долго. Мы не знали, что и подумать, толковали и догадывались. Адмирал приказал написать губернатору, что мы подождем ответа из Едо на письмо из России, которое, как они сами говорят, разошлось в пути с известием о смерти сиогуна. Верховный совет не знал, в чем дело, и потому ответа дать не мог. Но как же такое известие могло идти более двух месяцев из Едо до Нагасаки, тогда как в три недели можно съездить взад и вперед? Нечисто! Ясно, что сиогун или умер позже, или они знали раньше, да без надобности не объявили нам об этом, или, наконец, вовсе не умер. Последнее, однако ж, невероятно: народ, уважающий так глубоко своих государей, не употребит такого предлога для побуждения, и то не наверное, иностранцев к отплытию. Адмирал, между прочим, приказал прибавить в письме, что "это событие случилось до получения первых наших бумаг и не помешало им распорядиться принятием их, также определить церемониал свидания российского полномочного с губернатором и т. п., стало быть, не мешает и дальнейшим распоряжениям, так как ход государственных дел в такой большой империи остановиться не может, несмотря ни на какие обстоятельства. Поэтому мы подождем ответа из горючю и вообще не покинем японских берегов без окончательного решения дела, которое нас сюда привело".

Так японцам не удалось и это крайнее средство, то есть объявление о смерти сиогуна, чтоб заставить адмирала изменить намерение: непременно дожждаться ответа. Должно быть, в самом деле японскому глазу больно видеть чужие суда у себя в гостях! А они, без сомнения, надеялись, что лишь только они сделают такое важное возражение, адмирал уйдет, они ответ пришлют года через два, конечно отрицательный, и так дело затянется на неопределенный и продолжительный срок.

Через день японцы приехали с ответом от губернатора о месте на берегу, и опять Кичибе начал: "Из Едо... не получено" и т. п. Адмирал не принял их. Посьет сказал им, что он передал адмиралу ответ и не знает, что он предпримет, потому что его превосходительство ничего не отвечал.

Это пугает наших милых хозяев: они уж раз приезжали за какими-то пустяками, а собственно затем, чтоб увериться, не затеваем ли мы что-нибудь, не проговоримся ли о своих намерениях. И точно затеваем: хотим сами съехать на берег с хронометрами. Посьет уж запустил об этом словцо. Они всё отзывались, что губернатор распорядиться не может, что ему за это достанется. "Ну а если мы сами съедем или другие сделали бы это, тогда не достанется?" – спросил он. "Это будет не дружески", – был ответ. "А это по-дружески, когда вам говорят, что нам необходимо верить хронометры, что без этого нельзя в море идти, а вы не отводите места?" – "Из Едо... хо-хо-хо... не получено", – начал Кичибе.

Подите с ними! Они стали ссылаться на свои законы, обычаи. На другое утро приехал Кичибе и взял ответ к губернатору. Только что он отвалил, явились и баниосы, а сегодня, 11 числа, они приехали сказать, что письмо отдали, но что из Едо не получено и т. п. Потом заметили, зачем мы ездим кругом горы Паппенберга. "Так хочется", – отвечали им.

На фрегате ничего особенного: баниосы ездят каждый день выведывать о намерениях адмирала. Сегодня были двое младших переводчиков и двое ондер-баниосов: они просили, нельзя ли нам не кататься слишком далеко, потому что им велено следить за нами, а их лодки не угоняются за нашими. "Да зачем вы следите?" – "Велено", – сказал высокий старик в синем халате. "Ведь вы нам помешать не можете". – "Велено, что делать! Мы и сами желали бы, чтоб это скорее изменилось", – прибавил он.

У меня между матросами есть несколько фаворитов, между ними Дьюпин, широкоплечий, приземистый матрос, артиллерист. Он широк не в одних только плечах. Его называют огневой, потому что он смотрит, между прочим, за огнями; и когда крикнут где-нибудь в углу: "Фитиль!" – он мчится что есть мочи по палубе подать огня. Специальность его, между прочим, состоит в том, что он берет и приподнимает, как поднос, кранец с ядрами и картечью и, поставив, только ухнет, а кранец весит пудов пять. Трудно встретить человека, крепче и плотнее сложенного. Я часто разговариваю с ним. <|>"Жарко, Дьюпин", – говорю я ему. "Точно так, тепло, хорошо, ваше высокоблагородие", – отвечает он. А так тепло, что приходишь в совершенное отчаяние, не зная, куда деться. "Да ты смотри не напейся холодного после работы, – говорю я шутя, – или на сырости не ложись ночью". – "Слушаю, ваше высокоблагородие", – отвечает он серьезно. "Я подарю тебе шерстяные чулки: надевай смотри". И велел Фаддееву дать ему пару. Дьюпин еще в тропиках надел их и, встретив меня, стал благодарить. "Благодарю покорнейше, ваше высокоблагородие, теперь хорошо, тепло", – говорил он. "Холодно что-то, Дьюпин", – сказал я ему, когда здесь вдруг наступили холода, так что надо было приниматься за байковые сюртуки. "Точно так, ваше высокоблагородие, свеженько, хорошо". А сам был босиком. "Что же ты босиком?" – спросил я. "Лучше: ноги не горят, да и палубы не затопчешь сапогами". Вот я на днях сказал ему, что "видел, как японец один поворачивает пушку, а вас тут, – прибавил я, – десятеро, возитесь около одной пушки и насилу двигаете ее". – "Точно так, ваше высокоблагородие", – отвечал он, – куда нам! Намедни и я видел, что волной плеснуло на берег, вон на ту низенькую батарею, да и смыло пушку, она и поплыла, а японец едет подле да и толкает ее к берегу. Уж такие пушки у них!" Потом, подумав немного, он сказал: "Если б пришлось драться с ними, ваше высокоблагородие, неужели нам ружья дадут?" – "А как же?" – "По лопарю бы довольно". (Лопарь – конец толстой веревки.)

13-го октября.

Нового ничего. Холодно и ясно; превосходная погода: всё так светло, празднично. Холмы и воды в блеске; островки и надводные камни в проливе, от сильной рефракции, кажутся совершенно отставшими от воды; они как будто висят на воздухе. Зори вечерние (утренних я никогда не вижу) обливают золотом весь горизонт; зажгутся звезды, прежде всего Юпитер и Венера. Венера горит ярко, как большая свеча. Вчера мы смотрели в трубу на Сатурна: хорошо видели и кольца. У Юпитера видны три спутника; четвертый прячется за планетой.

17, 18 и 19 октября.

Ждем судов наших и начинаем тревожиться. Ну, пусть транспорт медлит за противным NO муссоном, лавируя миль по двадцати в сутки, а шкуна? Вот уж два месяца, как ушла; а ей сказано, чтоб долее семи недель не быть. Делают разные предположения.

Вчера, 18-го, адмирал приказал дать знать баниосам, чтоб они продолжали, если хотят, ездить и без дела, а так, в гости, чтобы как можно более сблизить их с нашими понятиями и образом жизни. Младшие переводчики перепутали всё, и двое ондер-баниосов, не бывших ни разу, явились спросить, что нам нужно, думая, что мы их вызывали за делом. Сегодня, 19-го, явились опять двое, и, между прочим, Ойе-Саброски, "с маленькой просьбой от губернатора, – сказали они, – завтра, 20-го, поедет князь Чикузен или Цикузен, от одной пристани к другой в проливе, посмотреть свои казармы и войска, так не может ли корвет немного отодвинуться в сторону, потому что князя будут сопровождать до ста лодок, так им трудно будет проехать". Им отвечали, что гораздо удобнее лодкам обойти судно, нежели судно, особенно военному, переходить с места на место. Так они и уехали.

С Саброски был полный, высокий ондер-баниос, но с таким неяпонским лицом, что хоть сейчас в надворные советники, лишь только юбку долой, а юбка штофная, голубая: славно бы кресло обить! Когда я стал заводить ящик с

После обеда, говорят, проезжал какой-то князь с поездом. Погода была сегодня так хороша, тепла, как у нас в июле, и так ясна, как у нас никогда не бывает. Но по вечерам вообще туманно, по ночам сыро и очень холодно. Скучновато: новостей нет, и занятия как-то идут вяло. Почиваем, кушаем превосходную рыбу ежедневно в ухе, в пирогах, холодную, жареную; раков тоже, с клешнями, без клешней, толстокожих, с усами и без оных, круглых и длинных. Уж некоторые, в том числе и я, начинаем жаловаться на расстройство желудка от этой монашеской пищи. Фаддеев учится грамоте. Я было написал ему прописи, но он избегает учиться у меня. Я застаю его за какой-то замасленной бумагой, на которой написаны преуродливые азы. Фаддеев копирует их усердно и превосходит уродливостью; а с моих не копирует.

– Кто написал тебе? – спросил я.

– Агапка, – отвечает он, – он взялся выучить меня писать.

– А ты что ему за это?

– Две чарки водки.

25-го.

Давно я не принимался за свой дневник: скучно что-то, и болен я. Между тем много кое-чего бы надо было записать. Во-первых, с 20-го на 21-е, ночью была жестокая гроза. Накануне и в тот день шел дождь, потом к вечеру начала блистать молния. Всё это к ночи усиливалось. Ночь темная, ни зги не видно, только молния вдруг обливала нестерпимым блеском весь залив и горы. Осмотрели громовые отводы. Какие удары! молния блеснет – и долго спустя глухо загремит гром – значит, далеко; но чрез минуту вдруг опять блеск почти кровавый, и в то же мгновение раздается удар над самой палубой. И поминутно, поминутно как будто начинает что-то сыпаться с гор: сначала в полтона, потом загремит целым аккордом. Смотреть больно, слушать утомительно. Началось часов с семи, а кончилось в 3-м часу ночи. Один раз молния упала так близко, что часовой крикнул: "Огонь с фор-русленей упал!" В другой раз попала в Паппенберг, в третий – в воду, близ кормы. Я видел сам. Недаром Кемпфер, Головнин и другие пишут, что грозы ужасны в Японии. На другой день было

Наконец, 23-го утром, запалили японские пушки: "А! судно идет!" Которое? Мы волновались. Кто поехал навстречу, кто влез на марсы, на салинги – смотреть. Уж не англичане ли? Вот одолжат! Нет, это наш транспорт из Шанхая с письмами, газетами и провизией.

21-го приехали Ойе-Саброски с Кичибе и Эйноске. Последний решительно отказался от книг, которые предлагали ему и адмирал, и я: боится. Гокейнсы сказали, что желали бы говорить с полномочным. Их повели в каюту. Они объявили, что наконец получен ответ из Едо! Grande nouvelle! Мы обрадовались. "Что такое? как? в чем дело?" – посыпались

вопросы. Мы с нетерпением ожидали, что позовут нас в Едо или скажут то, другое...

Но вот Кичибе потянул в себя воздух, улыбнулся самою сладчайшею из своих улыбок – дурной признак! "Из Едо, – начал он давиться и кряхтеть, – прислан ответ". – "Ну?" – "Что письма ваши прибыли туда... благополучно", – выговорил он наконец, обливаясь потом, как будто дотащил воз до места. "Ну?" – "Что... прибыли... благополучно!.." – повторил он. "Слышали. Еще что?" – "Еще... только и есть!" – "Это не ответ", – заметили им. Они начали оправдываться, что они не виноваты и т. п. Адмирал сказал, что он надеется чрез несколько дней получить другой ответ, лучше и толковее этого. Потом спросили их о месте на берегу. "Из Едо... – начал, кряхтя и улыбаясь, Кичибе, – не получено..." И запел свою песню. "Знаем. Да что ж, будет ли ответ? Это, видно, губернатор виноват: он не хотел представить об этом?" Баниосы оправдывались, что нет, что ни он, ни они не виноваты. "Из Едо..." и т. д.

29.

Давно ли мы жаловались на жар? давно ли нельзя было есть мяса, выпить рюмки вина? А теперь, хоть и совестно, а приходится жаловаться на холод! Погода ясная, ночи лунные, NO муссон дует с резким холодком. Опять всем захотелось на юг, все бредят Манилой.

Вчера, 28-го, когда я только было собрался уснуть после обеда, мне предложили кататься на шлюпке в море. Мы этим нет-нет да и напомним японцам, что вода принадлежит всем и что мешать в этом они не могут, и таким образом мы удерживаем это право за европейцами. Наши давно дразнят японцев, катаясь на шлюпках.

Но знаете ли, что значит катанье у моряков? Вы думаете, может быть, что это робкое и ленивое ползанье наших яликов и лодок по сонным водам прудов и озер с дамами, при звуках музыки и т. п.? Нет: с такими понятиями о катанье не советую вам принимать приглашения покататься с моряком: это всё равно, если б вас посадили верхом на бешеную лошадь да предложили прогуляться. Моряки катаются непременно на парусах, стало быть в ветер, чего многие не любят, да еще в свежий ветер, то есть когда шлюпка лежит на боку и когда белоголовые волны скачут выше борта, а иногда и за борт.

Ветер дул NO, свежий и порывистый: только наш катер отвалил, сейчас же окрылился фоком, бизанью и кливером, сильно лег на бок и понесся пуще всякой тройки. Едва мы подошли к проливу между Паппенбергом и Ивосима, как вслед за нами, по обыкновению, с разных точек бросились японские казенные лодки, не стоящие уже кругом нас цепью, с тех пор как мы отбуксировали их прочь, а кроющиеся под берегом. Лодки бросались не с тем, чтобы помешать нам, – куда им! они и не догонят, а чтоб показать только перед старшими, что исполняют обязанности караульных. Они бросаются, гребут, торопятся, и лишь только дойдут до крайних мысов и скал, до выхода в открытое море, как спрячутся в бухтах и ждут. А когда наши шлюпки появятся назад, японцы опять бросятся за ними и толпой едут сзади, с криком, шумом, чтоб показать своим в гавани, что будто и они ходили за нашими в море. Мы хохочем.

Едва наш катер вышел за ворота, на третий рейд, японские лодки прижались к камням, к батареям и там остались. Паппенберг на минуту отнял у нас ветер: сделался маленький штиль, но лишь только мы миновали гору, катер пошел чесать. Волнение было крупное, катер высоко забирал носом, становясь, как лошадь, на дыбы, и бил им по волне, перескакивая чрез нее, как лошадь же. Куда тут японским лодкам! Матросы молча сидели на дне шлюпки, мы на лавках, держась руками за борт и сжавшись в кучу, потому что наклоненное положение катера всех сбивало в одну сторону.

Но холодно; я прятал руки в рукава или за пазуху, по карманам, носы у нас посинели. Мы осмотрели, подойдя вплоть к берегу, прекрасную бухту, которая лежит налево, как только вступишь с моря на первый рейд. Я прежде не видал ее, когда мы входили: тогда я занят был рассматриванием ближних берегов, батарей и холмов.

А бухта отличная: на берегу видна деревня и ряд террас, обработанных до последней крайности, до самых вершин утесов и вплоть до крутых обрывов к морю, где уже одни камни стоймя опускаются в океан и где никакая дикая коза не влезет туда. Нет вершка необработанной земли, и всё в гору, в гору. Везде посеян рис и овощи. Горы изрезаны по бокам уступами, и чтоб уступы не обваливались, бока их укреплены мелким камнем, как и весь берег, так что вода, в большом обилии необходимая для риса, может стекать по уступам, как по лестнице, не разрушая их. Видели скот, потом множество ребятишек; вышло несколько японцев из хижин и дач и стали в кучу, глядя, как мы то остановимся, то подъедем к самому берегу, то удалимся, лавируя взад и вперед. Мы глядели на некоторые беседки и храмы по высотам, любовались длинной, идущей параллельно с берегом, кедровой аллеею.

Не думайте, чтобы храм был в самом деле храм, по нашим понятиям, в архитектурном отношении что-нибудь господствующее не только над окрестностью, но и над домами, – нет, это, по-нашему, изба, побольше других, с несколько возвышенною кровлею, или какая-нибудь посеребренная от времени большая беседка в старом заглухшем саду. Немудрено, что Кемпфер насчитал такое множество храмов: по высотам их действительно много; но их, без трубы,

Какое бы славное предместье раскинулось в ней, если б она была в руках европейцев! Да это еще будет и, может быть, скоро... Знаете, что на днях сказал Матабе, один из ондер-толков, привозящий нам провизию? Его спросили: отчего у них такие лодки, с этим разрезом на корме, куда могут хлестать волны, и с этим неуклюжим, высоким рулем? Он сослался на закон, потом сказал, что это худо: "Да ведь Япония не может долго оставаться в нынешнем ее положении, – прибавил он, – скоро надо ожидать перемен". Каков Матабе? а небойкий, невзрачный человек, и с таким простым, добрым и честным лицом! Оттого, может быть, он и говорит так.

Глядя вчера на эти обработанные донельзя холмы, я вспомнил Гонконг и особенно торговое заведение Джердина и Маттисона, занимающее целый угол. Там тоже горы, да какие! не чета здешним: голый камень, а бухта удобна, берега приглубы, суда закрыты от ветров. Что же Джердин? нанял китайцев, взял да и срыл гору, построил огромное торговое заведение, магазины, а еще выше над всем этим – великолепную виллу, сделал скаты, аллеи, насадил всего, что растет под тропиками, – и живет, как бы жил в Англии, где-нибудь на острове Вайте. Я не видал в Гонконге ни клочка обработанной земли, а везде скрытые горы для улиц да для дорог, для пристаней. Китайцы – а их там тысяч тридцать – не боятся умереть с голоду. Они находят выгоднее строить европейцам дворцы, копать землю, не всё для одного посева, как у себя в Китае, а работать на судах, быть приказчиками и, наконец, торговать самим. Так должно быть и, конечно, будет и здесь, как справедливо предсказывает Матабе.

Я иззяб с этим катаньем. Был пятый час в исходе; осеннее солнце спешило спрятаться за горизонт, а мы спешили воротиться с моря засветло и проехали между камнями, оторвавшимися от гор, под самыми батареями, где японцы строят домики для каждой пушки. Как издевался над этими домиками наш артиллерист К. И. Лосев! Он толковал, что домик мешает углу обстрела и т. п. Сторож японец начал браниться и кидать в нас камни, но они едва падали у ног его. Мы хохочем. Сзади нас катер – и тому то же, и там хохот. Вот Паппенберг – и опять штиль у его подошвы. Катер вышел из ветра и стал прямо; парус начал хлестать о мачту; матросы взялись за весла, а я в это время осматривал Паппенберг. С западной его стороны отвалился большой камень с кучей маленьких; между ними хлещет бурун; еще подальше от Паппенберга есть такая же куча, которую исхлестали, округлили и избородили волны, образовав живописную группу, как будто великанов, в разных положениях, с детьми.

Когда в Нагасаки будет издаваться "Иллюстрация", непременно нарисуют эти камни. И Паппенберг тоже, и Крысий, другой, маленький, пушистый островок. В тексте скажут, что с Паппенберга некогда бросали католических, папских монахов, отчего и назван так остров. В самом деле, есть откуда бросать: он весь кругом в отвесных скалах, сажень в десять и более

вышины. Только с восточной стороны, на самой бахrome, так сказать, берега, японцы протоптали тропинки да поставили батарею, которую, по обыкновению, и завесили, а вершину усадили редким сосняком, отчего вся гора, как я писал, имеет вид головы, на которой волосы встали дыбом. Вообще японцы любят утыкать свои холмы редкими деревьями, отчего они походят также и на пасхальные куличи, утыканные фальшивыми розанами. На Крысьем острове избиты были некогда испанцы и сожжены их корабли с товарами. На нем, нет сомнения,

Только что мы подъехали к Паппенбергу, как за нами бросились назад таившиеся под берегом, ожидавшие нас японские лодки и ехали с криком, но не близко, и так все дружно прибыли – они в свои ущелья и затишья, мы на фрегат. Я долго дул в кулаки.

Ноябрь. 1, 2, 3.

То дождь, то ясно, то тепло, даже жарко, как сегодня, например, то вдруг холодно, как на родине.

Японцы еще третьего дня приезжали сказать, что голландское купеческое судно уходит наконец с грузом в Батавию (не знаю, сказал ли я, что мы застали его уже здесь) и что губернатор просит – о чем бы вы думали? – чтоб мы не ездили на судно! А мы велели сказать, что дадим письма в Европу, и удивляемся, как губернатору могла прийти в голову мысль мешать сношению двух европейских судов между собою? Опять переводчики приехали, почти ночью, просить по крайней мере сделать это за Ковальскими воротами, близ моря. Им не хочется, чтоб народ видел и заключил по этому о слабости своего правительства; ему стыдно, что его не слушаются. Сказано, что нет. Переводчики объявили, что, может быть, губернатор не позволит пристать к борту, загородит своими лодками. "Пусть попробует, – сказано ему, – выйдут неприятные последствия – он ответит за них".

Радость, радость, праздник: шкуна пришла! Сегодня, 3-го числа, палят японские пушки. С салингов завидели шкуну. Часу в 1-м она стала на якорь подле нас. Сколько новостей!

5-е.

Тоска, несмотря на занятия, несмотря на внешнее спокойствие, на прекрасную погоду. Я вчера к вечеру уехал на наш транспорт; туда же поехал и капитан. Я увлек и отца Аввакума. Мы поужинали; вдруг является К. Н. Посьет и говорит, что адмирал изменил решение: прощай, Манила, Лю-чу! мы идем в Едо. Толки, споры. Говорят, сухарей нет: как идти? Адмирал думает оттуда уже послать транспорт в Шанхай за полным грузом провизии на несколько месяцев. Но кроме недостатка провизии в Едо мешает идти противный НО муссон. Сегодня вызвали баниосов; приехал Ойе-Саброски, Кичибе и Съоза да еще баниос, под пару Саброски (баниосы иначе не ездят, как парами). Он смотрит всякий раз очень ласково на меня своим довольно тупым, простым взглядом и напоминает какую-нибудь безусловно добрую тетку, няньку или другую женщину-баловницу, от которой ума и наставлений не жди, зато варенья, конфет и потворства – сколько хочешь.

Все были в восторге, когда мы объявили, что покидаем Нагасаки; только Кичибе был ни скучнее, ни веселее других. Он переводил вопросы и ответы, сам ничего не спрашивая и не интересуясь ничем. Он как-то сказал на вопрос Посьета, почему он не учится английскому языку, что жалеет, зачем выучился и по-голландски. "Отчего?" – "Я люблю, – говорит, – ничего не делать, лежать на боку".

Но баниосы не обрадовались бы, узнавши, что мы идем в Едо. Им об этом не сказали

ни слова. Просили только приехать завтра опять, взять бумаги да подарки губернаторам и переводчикам, еще прислать, как можно больше, воды и провизии. Они не подозревают, что мы собираемся продовольствоваться этой провизией – на пути к Едо! Что-то будет завтра?

6-го.

Были сегодня баниосы и утром и вечером. Пришла и им забота. Губернаторы оба в тревоге. "Отчего вдруг вздумали идти? В какой день идут и... куда?" – хотелось бы еще спросить, да не решаются: сами чувствуют, что не скажут. Сегодня уж они не были веселы. С баниосами был старший из них, Хагивари. Их позвали к адмиралу. Они сказали, что губернаторы решили принять бумаги в совет. Потом секретарь и баниосы начали предлагать вопросы: "Что нас заставляет идти внезапно?" – "Нечего здесь больше делать", – отвечали им. "Объяснена ли причина в письме к губернатору?" – "В этих бумагах объяснены мои намерения", – приказал сказать адмирал.

О подарках они сказали, что их не могут принять ни губернаторы, ни баниосы, ни переводчики: "Унмоглик!" – "Из Едо, – начал давиться Кичибе, – на этот счет не получено... разрешения". – "Ну, не надо. И мы никогда не примем, – сказали мы, – когда нужно будет иметь дело с вами".

Кичибе извивался, как змей, допрашиваясь, когда идем, воротимся ли, упрасывая сказать день, когда выйдем, и т. п. Но ничего не добился. "Спудиг (скоро), зер спудиг", – отвечал ему Посьет. Они просили сказать об этом по крайней мере за день до отхода – и того нет. На них, очевидно, напала тоска. Наступила их очередь быть игрушкой. Мы мистифицировали их, ловко избегая отвечать на вопросы. Так они и уехали в тревоге, не добившись ничего, а мы сели обедать.

Мы недоумевали, отчего так вдруг обеспокоились японцы нашим отъездом? почему просят сказать за день? Верно, у них есть готовый ответ, да, по своей привычке, медлят объявлять. Вечером явились опять и привезли Эйноске, надеясь, что он потолковее: допросится. Но так же бесполезно. Куда? хотелось им знать. "Куда ветер понесет", – отвечали с улыбкой. Наконец сказали, что будем где-нибудь близко, согласно с тем, как объявил адмирал, то есть что не уйдем от берегов Японии, не окончив дела. "Но ответ вы получите в Нагасаки", – заметили они. Мы ничего не сказали. Беда им, да и только! "Вы представьте, – сказал Эйноске, – наше положение: нам велели узнать, а мы воротимся с тем же, с чем уехали". – "И мое положение представьте себе, – отвечал Посьет, – адмирал мне не говорит ни слова больше о своих намерениях, и я не знаю, что сказать вам". Так они и уехали.

7-го.

Комедия с этими японцами, совершенное представление на нагасакском рейде! Только что пробило восемь склянок и подняли флаг, как появились переводчики, за ними и оппер-баниосы, Хагивари, Саброски и еще другой, робкий и невзрачный с виду. Они допрашивали, не недовольны ли мы чем-нибудь? потом попросили видиться с адмиралом. По обыкновению, все уселись в его каюте, и воцарилось глубокое молчание.

Хагивари говорил долго, минут десять: мы думали, и конца не будет. Кичибе начал переводить его речь по-своему, коротко и отрывисто, и передал, по-видимому, только мысль, но способ выражения, подробности, оттенки – всё пропало. Он и ограничен, и упрям. Если скажут что-нибудь резко по-голландски, он, сколько мы могли заметить, смягчит в переводе на японский язык или вовсе умолчит. Адмирал недоволен и хочет просить, чтоб его устранили от переговоров. Эйноске, напротив, всё понимает и старается объяснить до тонкости.

Они начали с того, что "так как адмирал не соглашается остаться, то губернатор не решается удерживать его, но он предлагает ему на рассуждение одно обстоятельство, чтоб адмирал поступил сообразно этому, именно: губернатору известно наверное, что дней чрез десять, и никак не более одиннадцати, а может быть и чрез семь, придет ответ, который почему-то замедлился в пути".

На это отвечено, что "по трехмесячном ожидании не важность подождать семь дней; но

нам необходимо иметь место на берегу, чтоб сделать поправки на судах, поверить хронометры и т. п. Далее, если ответ этот подвинет дело вперед, то мы останемся, в противном случае уйдем... куда нам надо".

Между тем мы заметили, бывши еще в каюте капитана, что то один, то другой переводчик выходили к своим лодкам и возвращались. Баниосы отвечали, что "они доведут об этом заявлении адмирала до сведения губернатора и..."

Вдруг у дверей послышался шум и голоса. Эйноске встал, пошел к дверям, поспешно воротился и сказал, что приехали еще двое баниосов, но часовой не пускает их. Велено впустить. Вошли двое, знакомые лица, не знаю, как их зовут. Они поклонились, подошли к Хагивари и подали ему бумагу. Я смекнул, что они приехали с ответом из Едо. Хагивари, с видом притворного удивления, прочел бумагу, подал ее Саброски, тот прочел, передал дальше, и так она дошла до Кичибе. Они начали ахать, восклицать. Кичибе чуть не подавился совсем на первом слове: "Почта... почта... из Едо erhalten, получена!"

Я не мог выдержать, отвернулся от них и кое-как справился с неистовым желанием захохотать. Фарсёры! Как хитро: приехали попытаться замедлить, просили десять дней срока, когда уже ответ был прислан. Бумага состояла, по обыкновению, всего из шести или семи строк. "Четверо полномочных, groote herren, важные сановники, – сказано было в ней, – едут из Едо для свидания и переговоров с адмиралом".

Вот тебе раз! вот тебе Едо! У нас как гора с плеч! Идти в Едо без провизии, стало быть на самое короткое время, и уйти!

Спросили, когда будут полномочные. "Из Едо... не получено... об этом". Ну пошел свое! Хагивари и Саброски начали делать нам знаки, показывая на бумагу, что вот какое чудо случилось: только заговорили о ней, и она и пришла! Тут уже никто не выдержал, и они сами, и все мы стали смеяться. Бумага писана была от президента горочью Абе-Исен-о-ками-сама к обоим губернаторам о том, что едут полномочные, но кто именно, когда они едут, выехали ли, в дороге ли – об этом ни слова.

Японцы уехали с обещанием вечером привезти ответ губернатора о месте. "Стало быть, о прежнем, то есть об отъезде, уже нет и речи", – сказали они, уезжая, и стали отирать себе рот, как будто стирая прежние слова. А мы начали толковать о предстоящих переменах в нашем плане. Я еще, до отъезда их, не утерпел и вышел на палубу. Капитан распоряжался привязкой парусов. "Напрасно, – сказал я, – велите опять отвязывать, не пойдем".

После обеда тотчас явились японцы и сказали, что хотя губернатор и не имеет разрешения, но берет всё на себя и отводит место. К вечеру опять приехали сказать, не хотим ли мы взять бухту Кибач, которую занимал прежде посланник наш, Резанов. Адмирал отвечал, что во всяком случае он пошлет осмотреть место прежде, нежели примет. Поехали осматривать Пешуров, Корсаков и Гошкевич и возвратились со смехом и досадой, сказав, что место не годится: голое, песок, камень. Ну, надо терпения с этим народом? Вот четвертый день всё идут толки о месте.

Мы хотя и убрали паруса, но адмирал предполагает идти, только не в Едо, а в Шанхай, чтобы узнать там, что делается в Европе, и запастись свежеею провизиею на несколько месяцев. Японцам объявили, что место не годится. Губернатор отвечал, что нет другого: видно, рассердился. Мы возразили, что вон есть там, да там, да вон тут: мало ли красивых мест! "Если не дадут, уйдем, – говорили мы, – присылайте провизию". – "Не могу, – отвечал губернатор, – требуйте провизию по-прежнему, понемногу, от голландцев". Он надеялся нас тем удержать. "Ну, мы пойдем и без провизии", – отвечено ему.

10-го.

Сегодня вдруг видим, что при входе в бухту Кибач толпится кучка народу. Там и баниосы, и переводчики, смотрят, размеривают, втыкают колышки: ясно, что готовят другое место, но какое! тоже голое, с зеленью правда, но это посеvy риса и овощей; тут негде ступить.

Губернатор, узнав, что мы отказываемся принять и другое место, отвечал, что больше у него нет никаких, что указанное нами принадлежит князю Омуре, на которое он не имеет

прав. Оба губернатора после всего этого успокоились: они объявили нам, что полномочные назначены, место отводят, следовательно, если мы и за этим за всем уходим, то они уж не виноваты.

Адмирал просил их передать бумаги полномочным, если они прежде нас будут в Нагасаки. При этом приложена записочка к губернатору, в которой адмирал извещал его, что он в "непродолжительном времени воротится в Японию, зайдет в Нагасаки, и если там не будет ни полномочных, ни ответа на его предложения, то он немедленно пойдет в Едо".

Баниосы спрашивали, что заключается в этой записочке, но им не сказали, так точно, как не объявили и губернатору, куда и надолго ли мы идем. Мы всё думали, что нас остановят, дадут место и скажут, что полномочные едут; но ничего не было. Губернаторы, догадавшись, что мы идем не в Едо, успокоились. Мы сказали, что уйдем сегодня же, если ветер будет хорош.

Часа в три мы снялись с якоря, пробыв ровно три месяца в Нагасаки: 10 августа пришли и 11 ноября ушли. Я лег было спать, но топот людей, укладка якорной цепи разбудили меня. Я вышел в ту минуту, когда мы выходили на первый рейд, к Ковальским, так называемым, воротам. Недавно я еще катался тут. Вон и бухта, которую мы осматривали, вон Паппенберг, все знакомые рытвины и ложбины на дальних высоких горах, вот Каменосима, Ивосима, вон, налево, синее море Номо, а вот и простор, беспредельность, море!

II

ШАНХАЙ

Седельные острова. – Рыбачья флотилия. – Поездка в Шанхай на купеческой шкуне. – Гуцлав. – Янсекия. – Пожар. – Река и местечко Вусун. – Военные джонки и европейские суда. – Шанхай. – О чае. – Простой народ. – Таможня. – Американский консул. – Резная китайская работа. – Улицы и базары. – Лавки и продавцы. – Фрукты, зелень и дичь. – Харчевни. – Европейские магазины. – Буддийская часовня. – Шанхайские доллары и медная китайская монета. – Окрестности, поля, гулянье англичан. – Лагерь и инсургенты. – Таутай Самква. – Осада города продавцами провизии. – Обращение англичан с китайцами. – Торговля опиумом. – Значение Шанхая. – Претендент на богдыханский престол. – Успехи христианства в Китае. – Фермы и земледельцы. – Китайские похороны. – Возвращение на фрегат.

С 11 ноября 1853 года.

Опять плавучая жизнь, опять движение по воле ветра или покой по его же милости! Как воеет он теперь и как холодно! Я отвык в три месяца от моря и с большим неудовольствием смотрю, как все стали по местам, как четверо рулевых будто приросли к штурвалу, ухватясь за рукоятки колеса, как матросы полезли на марсы и как фрегат распустил крылья, а дед начал странствовать с юта к карте и обратно. Мы пошли по 6 и по 7 узлов, в бейдевинд. За нами долго следила японская джонка, чтоб посмотреть, куда мы направимся. Я не знал, куда деться от холода, и, как был одетый в байковом пальто, лег на кровать, покрылся ваточным одеялом – и всё было холодно. В перспективе не теплее: в Шанхае бывают морозы, несмотря на то что он лежит под 31 градусом северной широты.

Сегодня выхожу на палубу часу в девятом: налево, в тумане, какой-то остров; над ним, как исполинская ширма, стоит сизая туча с полосами дождя. Пасмурно; дождь моросит; в

воздухе влажно, пахнет немного болотом. Предчувствуешь насморк. Погода совершенно такая же, какая бывает в Финском заливе или на Неве в конце лета, в серенькие дни. "Что это за остров?" – спросил я. "Гото", – говорят. "А это, направо?" – "Ослиные уши". – "Что-о? почему это уши?" – думал я, глядя на группу совершенно голых, темных камней, – да еще и ослиные?" Но, должно быть, я подумал это вслух, потому что кто-то подле меня сказал: "Оттого что они торчмя высовываются из воды – вон видите?" Вижу, да только это похоже и на шапку, и на ворота, и ни на что не похоже, всего менее на уши. Ведь говорят же, что Столовая гора похожа на стол, а Львиная на льва: так почему ж и эти камни не назвать так? А вон, правее, еще три камня: командир нашего транспорта, капитан Фуругельм, первый заметил их. Они не показаны на карте, и вот у нас отмечают их положение. Они видны несколько правее от Ушей, если идти из Японии, как будто на втором плане картины. Кто предлагал назвать их Камнями Паллады, кто Тремя Стражами, но они остались без названия.

Ветер стал свежеть: убрали брамсели и вскоре взяли риф у марселей. Как улыбаются мне теперь картины сухопутного путешествия, если б вы знали, особенно по России! Едешь не торопясь, без срока, по своей надобности, с хорошими спутниками; качки нет, хотя и тряско, но то не беда. Колокольчик заглушает ветер. В холодную ночь спрячешься в экипаже, утонешь в перины, закроешься одеялом – и знать ничего не хочешь. Утром поздно уже, переспав два раза срок, путешественник вдруг освобождает с трудом голову из-под спуда подушек, вскакивает, с прической а l'imbecile,* и дико озирается по сторонам, думая: "Что это за деревья, откуда они взялись и зачем он сам тут?" Очнувшись, шарит около себя, ища картуза, и видит, что в него вместо головы угодила нога, или ощупывает его под собой, а иногда и вовсе не находит. Потом пойдут вопросы: далеко ли отъехали, скоро ли приедут на станцию, как называется вон та деревня, что в овраге? Потом станция, чай, легкая утренняя дрожь, теньеровские картины; там опять живая и разнообразная декорация лесов, пашен, дальних сел и деревень, пекущее солнце, оводы, недолгий жар и снова станция, обед, приветливые лица да двугривенные; после еще сон, наконец, знакомый шлагбаум, знакомая улица, знакомый дом, а там она, или он, или оно... Ах! где вы, милые, знакомые явления? А здесь что такое? одной рукой пишу, другой держусь за переборку; бюро лезет на меня, я лезу на стену... До свидания. * как у помешанного – фр.

14-го.

Вот и Saddle Islands, где мы должны остановиться с судами, чтоб нейти в Шанхай и там не наткнуться или на мель, или на англичан, если у нас с ними война. Мы еще ничего не знаем. Да с большими судами и не дойдешь до Шанхая: река Янсекиян вся усеяна мелями: надо пароход и лоцманов. Есть в Шанхае и пароход, "Конфуций", но он берет четыреста долларов за то, чтоб ввести судно в Шанхай. Что сказал бы добродетельный философ, если б предвидел, что его соименник будет драть по стольку с проходящих судов? проклял бы пришельцев, конечно. А кто знает: если б у него были акции на это предприятие, так, может быть, сам брал бы вдвое. Здесь неимоверно дорог уголь: тонн стоит десять фунт. стерл., оттого и пароход берет дорого за буксир.

Saddle Islands лежат милях в сорока от бара, или устья, Янсекияна, да рекой еще миль сорок с лишком надо ехать, потом речкой Восунг, Усун или Woosung, как пишут англичане, а вы выговаривайте как хотите. Отец Аввакум, живший в Китае, говорит, что надо говорить Вусун, что у китайцев нет звука "г".

Saddle Islands значит Седельные острова: видно уж по этому, что тут хозяйничали англичане. Во время китайской войны английские военные суда тоже стояли здесь. Я вижу берег теперь из окна моей каюты: это целая группа островков и камней, вроде знаков препинания; они и на карте показаны в виде точек. Они бесплодны, как большая часть островов около Китая; ветры обнажают берега. Впрочем, пишут, что здесь много устриц и –

чего бы вы думали? – нарциссов!

Сию минуту К. Н. Посъет вызвал меня посмотреть рыбачий флот. Я думал, что увижу десятка два рыбачьих лодок, и не хотел выходить: вообразите, мы насчитали до пятисот. Они все стоят в линию, на расстоянии около трех кабельтовых от нас, то есть около трехсот сажен, – это налево. А справа видны острова, точно морские чудовища, выставившие темные, бесцветные хребты: ни зелени, ни возвышенностей не видно; впрочем, до них еще будет миль двенадцать. Я всё смотрел на частокол китайских лодок. Что они там делают, эти рыбаки, а при случае, может быть, и пираты, как большая часть живущих на островах китайцев? Над ними нет управы. Китайское правительство слишком слабо и без флота ничего не может с ними сделать. Англичан и других, кто посильнее на море, пираты не трогают, следовательно, тем до них дела нет. Даже говорят, что англичане употребляют их для разных послуг. Зато небольшим купеческим судам от них беда. Их уличить трудно: если они одолеют корабль, то утопят всех людей до одного; а не одолеют, так быстро уйдут, и их не сыщешь в архипелагах этих морей. Впрочем, они нападают только тогда, когда надеются наверное одолеть. Всё затруднение поймать их состоит в том, что у них не одно ремесло. Сегодня они купцы, завтра рыболовы, а при всяком удобном случае – разбойники. Наши моряки любят, как они ловко управляют на море с своими красными бочкообразными лодками и рогожными парусами: видно, что море – их стихия. Старшего над ними, кажется, никого нет: сегодня они там, завтра здесь и всегда избегнут всякого правосудия. Народонаселение лезет из Китая врозь, как горох из переполненного мешка, и распространяется во все стороны, на все окрестные и дальние острова, до Явы с одной стороны, до Калифорнии с другой. Китайцев везде много: они и купцы, и отличные мастеровые, и рабочие. Я удивляюсь, как их еще по сю пору нет на мысе Доброй Надежды? Этому народу суждено играть большую роль в торговле, а может быть и не в одной торговле.

Наше двухдневное плавание до сих пор было хорошо. В среду мы снялись с якоря, сегодня, в субботу, уже подходим. Всего сделали около 450 миль: это семьсот с лишком верст. Качка была, да не сильная, хотя вчера дул свежий ветер, ровный, резкий и холодный. Волнение небольшое, но злое, постоянное: как будто человек сердится, бранится горячо и гневу его долго не предвидится конца. Фрегат шел, накрываясь на левую сторону, и от напряжения слегка судорожно вздрагивал: под ногами чувствуешь точно что-нибудь живое, какие-то натянутые жилы, которые ежеминутно готовы разорваться от усилия. Так заметно, особенно для ног, давление воздуха на мачты, паруса и на весь остов судна.

Сегодня встаем утром: теплее вчерашнего; идем на фордевинд, то есть ветер дует прямо с кормы; ходу пять узлов и ветер умеренный. "Свистать всех наверх – на якорь становиться!" – слышу давеча и бегу на ют. Вот мы и на якоре. Но что за безотрадные скалы! какие дикие места! ни кустика нет. Говорят, есть деревня тут: да где же? не видать ничего, кроме скал.

16-го.

Вчера наши уехали на шкуне в Шанхай. Я не поехал, надеясь, что успею: мы здесь стоим еще с месяц. Меня звали, но я не был готов, да пусть прежде узнают, что за место этот Шанхай, где там быть и что делать? пускают ли еще в китайский город? А если придется жить в европейской фактории и видеть только ее, так не стоит труда и ездить: те же англичане, тот же ростбиф, те же "much obliged" и "thank you". А у китайцев суматоха, беспорядок. Инсургенты в городе, войска стоят лагерем вокруг: нет надежды увидеть китайский театр, получить приглашение на китайский обед, попробовать птичьих гнезд. Хоть бы подрались они при нас между собою! Говорили, будто отсюда восемьдесят миль до Шанхая, а выходит сто пять, это сто восемьдесят четыре версты.

Наши съезжали сегодня на здешний берег, были в деревне у китайцев, хотели купить

рыбы, но те сказали, что и настоящий и будущий улов проданы. Невесело, однако, здесь. Впрочем, давно не было весело: наш путь лежал или по английским портам, или у таких берегов, на которые выйти нельзя, как в Японии, или незачем, как здесь например.

Наши, однако, не унывают, ездят на скалы гулять. Вчера даже с корвета поехали на берег пить чай на траве, как, бывало, в России, в березовой роще. Только они взяли с собой туда дров и воды: там нету. Не правда ли, есть маленькая натяжка в этом сельском удовольствии?

В море.

Пришло время каяться, что я не поехал в Шанхай. Безыменная скала, у которой мы стали на якорь, защищает нас только от северных, но отнюдь не от южных ветров. Сегодня вдруг подул южный ветер, и барометр стал падать. Скорей стали сниматься с якоря и чрез час были в море, вдали от опасных камней. Отважные рыбацьи лодки тоже скрылись по бухтам. Мы то лежим в дрейфе, то лениво ползем узел, два вперед, потом назад, ходим ощупью: тьма ужасная; дождь, как в Петербурге, уныло и непрерывно льет, стуча в кровлю моей каюты, то есть в ют. Но в Петербурге есть ярко освещенные залы, музыка, театр, клубы – о дожде забудешь; а здесь есть скрип снастей, тусклый фонарь на гафеле да одни и те же лица, те же разговоры: зачем это не поехал я в Шанхай!

Сегодня, 19-го, ветер крепкий гнал нас назад узлов по девяти. Я не мог уснуть всю ночь. Часов до четырех, по обыкновению, писал и только собрался лечь, как начали делать поворот на другой галс: стали свистать, командовать; бизань-шкот и грота-брас идут чрез роульсы, привинченные к самой крышке моей каюты, и когда потянут обе эти снасти, точно два экипажа едут по самому черепу. Ветер между тем переменялся, и мы пошли на свое место. Нас догнал корвет, ночью жгли фальшфейеры. Часов в восемь мы опять были в желтых струях Янсекияна. Собственно до настоящего устья будет миль сорок отсюда, но вода так быстра, что мы за несколько миль еще до этих Saddle Islands встретили уже желтую воду.

Страшно подумать, что с 5-го августа, то есть со дня прихода в Японию, мы не были на берегу, исключая визита к нагасакскому губернатору. Это ровно три месяца. И когда сойдем, еще не знаю. Придет ли за нами шкуна сюда или нет; буду ли я в Шанхае – неизвестно. Ходишь по палубе, слушаешь, особенно по вечерам, почти никогда не умолкающий здесь вой ветра. Слышишь и какие-то, будто посторонние, примешивающиеся тут же голоса, или мелькнет в глаза мгновенный блеск не то отдаленного пушечного выстрела, не то блуждающего по горам огонька: или это только так, призраки, являющиеся в те мгновения, когда в организме есть ослабление, расстроенность... Корвет сегодня, 21-го,

22-го.

Я еще не был здесь на берегу – не хочется, во-первых, лазить по голым скалам, а во-вторых, не в чем: сапог нет, или, пожалуй, вон их целый ряд, но ни одни нейдут на ногу. Кожа всего скорее портится в море; сначала она отсыреет, заплесневеет, потом ссыхается в жарких климатах и рвется почти так же легко, как писчая бумага. Я советую вам ехать в дальний вояж без сапог или в тех только, которые будут на ногах; но возьмите с собой побольше башмаков и ботинок... и то не нужно: везде сделают вам. Теперь я ношу ботинки китайской работы, сделанные в Гонконге... Вот что значит скука-то: заговоришься а *groros des bottes**. * ни с того, ни с сего – фр.

23-го.

Еще с утра вчера завидели шкуну; думали, наша – нет: чересчур высок рангоут, а лавирует к нам. Капитан, отец Аввакум и я из окна капитанской каюты смотрели, как ее обливало со всех сторон водой, как ныряла она; хотела поворачивать, не поворачивала, наконец поворотила и часов в пять бросила якорь близ фрегата. Мы никак не ожидали, чтоб это касалось до нас. На шкуне были наши, К. Н. Посьет и С. П. Шварц: они привезли из Шанхая зелень, живых быков, кур, уток – словом, свежую провизию и новости, но не свежие: от августа, а теперь ноябрь.

В Китае мятеж; в России готовятся к войне с Турцией. Частных писем привезли всего два. Меня зовут в Шанхай: опять раздумье берет, опять нерешительность – да как, да что? Холод и лень одолели совсем, особенно холод, и лень тоже особенно. Вчера я спал у капитана в каюте; у меня невозможно раздеться; я пишу, а другую руку спрятал за жилет; ноги зябнут.

Вот уж четвертый день ревет крепкий NW; у нас травят канат, шкуну взяли на бакштов, то есть она держится за поданный с фрегата канат, как дитя за платье няньки. Это американская шкуна; она, говорят, ходила к Южному полюсу, обогнула Горн. Ее зовут "Точкой". Относительно к океану она меньше точки, или если точка, то математическая. Нельзя подумать, глядя на нее, чтоб она была у Горна: большая лодка и всего 12 человек на ней, и со шкипером. У ней изорвало вчера паруса, подмочило всю нашу провизию, кур, уток, а одного быка совсем унесло валом. Да и путешественники пришли на фрегат – точно из гостей от самого Нептуна.

Так и есть, как я думал: Шанхай заперт, в него нельзя попасть: инсургенты не пускают. Они дрались с войсками – наши видели. Надо ехать, разве потому только, что совестно быть в полутора верстах от китайского берега и не побывать на нем. О войне с Турцией тоже не решено, вместе с этим не решено, останемся ли мы здесь еще месяц, как прежде хотели, или сейчас пойдем в Японию, несмотря на то что у нас нет сухарей.

Янсекиян и Шанхай.

Все, кто хотел ехать, начали собираться, а я, по своему обыкновению, продолжал колебаться, ехать или нет, и решил не ехать. Утром предполагали отправиться в восемь часов. Я встал в шесть и – поехал. Погода была порядочная, волнение умеренное, для фрегата вовсе незаметное, но для маленькой шкуны чувствительное. Я осмотрелся на шкуне: какая перемена после фрегата! Там не знаешь, что делается на другом конце, по несколько дней с иным и не увидишься; во всем порядок, чистота. Здесь едешь, как в лодке. Палуба завалена всякой дрянью; от мачты и парусов негде поворотиться; темно, грязно, скользко, ноги прилипают к палубе. Шкипер шкуны, английский матрос, служивший прежде на купеческих судах, нанят хозяином шкуны, за 25 долларов в месяц, ходить по окрестным местам для разных надобностей. На руле сидел малаец в чалме; матросы все китайцы.

Нас было человек десять: теснота такая, что почти проходу не было. Кроме офицеров, г-д Посьета, Назимова, Кроуна, Белавенца, Болтина, Овсянкина, кн. Урусова, да нас троих: не офицеров, отца Аввакума, О. А. Гошкевича и меня, ехали пятеро наших матросов, мастеровых, делать разные починки на шкуне "Восток". Посьет, приехавший на этой шкуне, уж знал, что ни шкипер, несмотря на свое звание матроса, да еще английского, ни команда его не имели почти никакого понятия об управлении судном. Рулевой, сидя на кожаной

скамеечке, правил рулем как попало. Он очень об этом не заботился: беспрестанно качал ногой, набивал трубку, выкуривал, выколачивал тут же, на палубу, и опять набивал. На компас он и внимания не обращал; да и стекло у компаса так занесло пылью, плесенью и всякой дрянью, что ничего не видно на нем.

Шкипер немного больше заботился о судне. Это был маленький, худощавый человечек в байковой куртке и суконной шапке, похожей на ночной чепчик. Он вынес изодранную карту Чусанского архипелага и островов Сэдль, положил ее на крышку люка, а сам сжался от холода в комок и стал незаметен, точно пропал с глаз долой. Положив ногу на ногу и спрятав руки в рукава, он жевал табак и по временам открывал рот... что за рот! не обращая ни на что внимания. Его беспрестанно побуждали офицеры, напоминали ему о ветре, о течении. Он крикнет что-нибудь на полуанглийском-полукитайском языке и опять пропадет. Рулевой правил наудачу; китайские матросы, сев на носу в кружок, с неописанным проворством ели двумя палочками рис.

Наши офицеры, видя, что с ними недалеко уедешь, принялись хозяйничать сами. Один оттолкнул рулевого, который давал шкуне рыскать, и начал править сам, другой смотрел на карту. Наши матросы заменили китайцев, тянули и отдавали по команде снасти, сделанные из травы и скрипевшие, как едущий по снегу обоз. Ветер, к счастью, был попутный, течение тоже; мы шли узлов семь с лишком. Вот уже миновали знаки препинания, то есть Седельные острова. Вдали, налево, виден был имеющий форму купола островок Гуцлав, названный так в честь знаменитого миссионера Гуцлава.

Как ни холодно, ни тесно было нам, но и это путешествие, с маленькими лишениями и неудобствами, имело свою занимательность, может быть, потому, что вносило хоть немного разнообразия в наши монотонные дни.

Посидев на палубе, мы ушли вниз и завладели каютой шкипера. Она состояла из двух чуланчиков, вроде нор, и, по черноте и беспорядку, походила в самом деле на какой-то лисятник. Всего более мучил меня запах проклятого растительного масла, употребляемого китайцами в пищу; запах этот преследовал меня с Явы: там я почуял его в первый раз в китайской лавчонке и с той минуты возненавидел. В Сингапуре и в Гонконге он смешивался с запахом чеснока и сандалового дерева и был еще противнее; в Японии я три месяца его не чувствовал, а теперь вот опять! Оглядываюсь, чтоб узнать, откуда пахнет, – и ничего не вижу: на лавке валяется только дождевая кожаная куртка, вероятно хозяйская. Я отворил все шкафчики, поставцы: там чашки, чай – больше ничего нет, а так разит!

Мы в крошечной каюте сидели чуть не на коленях друг у друга, а всего шесть человек, четверо остались наверху. К завтраку придут и они. Куда денешься? Только стали звать матроса вынуть наши запасы, как и остальные стали сходиться. Вон показались из люка чьи-то ноги, долго опускались; наконец появилось и всё прочее, после всего лицо. Потом другие ноги, и т. д. Я сначала, как заглянул с палубы в люк, не мог постигнуть, как сходят в каюту: в трапе недоставало двух верхних ступеней, и потому надо было прежде сесть на порог, или "карлинсы", и спускать ноги вниз, ощупью отыскивая ступеньку, потом, держась за веревку, рискнуть прыгнуть так, чтобы попасть ногой прямо на третью ступеньку. Выходить надо было на руках, это значит выскакивать, то есть упереться локтями о края люка, прыгнуть и стать сначала коленями на окраину, а потом уже на ноги. Вообще сходить в каюту надо было с риском. Однако ж к завтраку и к ужину все рискнули сойти. От обеда воздержались: его не было.

Кому не случалось обедать на траве, за городом, или в дороге? Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб, жареные индейки, пироги? Мне даже показалось, что тут подали те же три стакана и две рюмки, которые я будто уж видал где-то в подобных случаях. Вилка тоже, с переломанным средним зубцом, подозрительна: она махнула сюда откуда-нибудь из-под Москвы или из Нижнего. Вон соль в бумажке; есть у нас ветчина, да горчицу забыли. Вообще тут, кажется, отрешаются от всяких правил, наблюдаемых в другое время. Один торопится доест утиное крылышко, чтоб поспеть взять пирога, который исчезает с невероятной быстротою. А другой, перебирая вилкой остальные

куски, ропщет, что любимые его крылышки улетели. Кто начинает только завтракать, кто пьет чай; а этот, ожидая, когда удастся, за толпой, подойти к столу и взять чего-нибудь посущественнее, сосет пока попавшийся под руку апельсин; а кто-нибудь обогнал всех и эгоистически курит сигару. Две собаки, привлеченные запахом жаркого, смотрят сверху в люк и жадно вырывают из рук поданную кость. Ничего, всё было бы сносно, если б не отвратительный запах китайского масла! Мне просто дурно; я ушел наверх.

Один только О. А. Гошкевич не участвовал в завтраке, который, по простоте своей, был достоин троянской эпохи. Он занят другим: томится морской болезнью. Он лежит наверху, закутавшись в шинель, и чуть пошевелится, собаки, не издававшие никогда шинели, с яростью лают.

Но вот наконец выбрались из архипелага островков и камней, прошли и Гуцлав. Тут, в открытом океане, стало сильно покачивать; вода не раз плескала на палубу. Пошел мелкий дождь. Шкипер надел свою дождевую куртку, и – вдруг около него разлился запах противного масла. Ах, если б я прежде знал, что это от куртки!.. Вода всё желтее и желтее. Вскоре вошли за бар, то есть за черту океана, и вошли в реку. Я "выскочил" из каюты посмотреть берега. "Да где ж они?" – "Да берегов нет". – "Ведь это река?" – "Река". – "Янсекиян?" – "Да, "Сын океана" по-китайски". – "А берега?.." – "Вон, вон", – говорит шкипер. Смотрю – ничего нет.

Наконец показалась полоса с левой стороны, а с правой вода – и только: правого берега не видать вовсе. Левый стал обозначаться яснее. Он так низмен, что едва возвышается над горизонтом воды и состоит из серой глины, весь защищен плотинами, из-за которых видны кровли, с загнутыми уголками, и редкие деревья да борозды полей, и то уж ближе к Шанхаю, а до тех пор кругозор ограничивается едва заметной темной каймой. Вправо остался островок. Я спросил у шкипера название, но он пролаял мне глухие звуки, без согласных. Пробовал я рассмотреть на карте, но там кроме чертежа островов были какие-то посторонние пятна, покрывающие оба берега. Потом ничего не стало видно: сумерки скрыли всё, и мы начали пробираться по "Сыну океана" ощупью. Два китайца беспрестанно бросали лот. Один кричал: "Three and half"; потом "Half and four" – и так разнообразил крик всё время. Наши следили карту, поверяя по ней глубину. Глубина беспрестанно изменялась, от 8 до 31/2 сажен. Как только доходило до последней цифры, шкипер немного выходил из апатии и иногда сам брался за руль.

Нашим мелким судам трудно входить сюда, а фрегату невозможно, разве с помощью сильного парохода. Фрегат сидит 23 фута; фарватер Янсекияна и впадающей в него реки Вусун, на которой лежит Шанхай, имеет самую большую глубину 24 фута, и притом он чрезвычайно узок. Недалеко оставалось до Woosung (Вусуна), местечка при впадении реки того же имени в Янсекиян.

У Вусуна обыкновенно останавливаются суда с опиумом и отсюда отправляют свой товар на лодках в Шанхай, Нанкин и другие города. Становилось всё темнее; мы шли осторожно. Погода была пасмурная. "Зарево!" – сказал кто-то. В самом деле налево, над горизонтом, рдело багровое пятно и делалось всё больше и ярче. Вскоре можно было различить пламя и вспышки – от выстрелов. В Шанхае – сражение и пожар, нет сомнения! Это помогло нам определить свое место.

Наконец, при свете зарева, как при огненном столпе израильтян, мы, часов в восемь вечера, завидели силуэты судов, различили наш транспорт и стали саженьях в пятидесяти от него на якорь. Китайцы, с помощью наших матросов, проворно убрали паруса и принялись за рис, а мы за своих уток и чай. Некоторые уехали на транспорт. Дремлется. Шкипер сошел вниз пить чай и рассказывал о своей шкуне, откуда она, где она была. Между прочим, он сказал, что вместе с этой шкуной выстроена была и другая, точно такая же, ее "sistership", как он выразился, но что та погибла в океане, и с людьми. Потом рассказывал, как эта уцелевшая шкуна отразила нападение пиратов, потом еще что-то. Я, пробуждаясь от дремоты, видел только – то вдалеке, то вблизи, как в тумане, – суконный ночной чепчик, худощавое лицо, оловянные глаза, масляную куртку, еще косу входившего китайца-слуги да чувствовал запах

противного масла. На лавке, однако ж, дремать неудобно; хозяин предложил разместиться по нишам и, между прочим, на его постели, которая тут же была, в нише, или, лучше сказать, на полке. Из другой комнаты, или, вернее, чулана, слышалось храпенье. Там, на таких же полках, уже успели разложиться по двое, да двое на лавках. Это был маленький арсенал: вся противоположная двери стена убрана была ружьями, пиками и саблями. А утром хозяин снял с полки пару пистолетов, вынес их наверх и выстрелил на воздух из предосторожности. "Зачем это оружие у вас?" – спросил я, указывая на пики, сабли и ружья. "Это еще старое, – сказал он, – я застал его тут. В здешних морях иначе плавать нельзя".

Я как был в теплом пальто, так и влез на хозяйскую постель и лег в уголок, оставляя место кому-нибудь из товарищей, поехавших на транспорт. Не знаю, что бы вы сказали, глядя, где и как мы улеглись. Вообразите себе большой сундук, у которого вынут один бок, – это наше ложе для двоих. Я тотчас же заснул, лишь только лег. Ночью, слышу, кто-то сильно возится подле меня, по-видимому, укладывается спать. Это А. Е. Кроун, возвратившийся с транспорта. Всё замолчало, и мы заснули. Я проснулся потом от сильной духоты и запаху масла. Ах, хоть бы минуту дохнуть свежим воздухом! Я попробовал освободиться – нет возможности: мой сосед лежит, как гранитный камень, и не шелохнется, как я ни толкал его в бока: он совсем запер мне выход. Я думал, как мне поступить, – и заснул. Просыпаюсь – утро, светло; мы движемся. Китаец ставит чашки на стол; матрос принес горячей воды.

Пасмурно и ветрено; моросит дождь; ветер сильный. Мы идем по реке Вусуну; она широка, местами с нашу Оку. Ясно видим оба берега, низменные, закрытые плотинами; за плотинами группируются дома, кое-где видны кумирни или вообще здания, имеющие особенное назначение; они выше и наряднее прочих. Поля все обработаны; хотя хлеб и овощи сняты, но узор правильных нив красив, как разрисованный паркет. Есть деревья, но редко и зелени мало на них; мне казалось, что это ивы. Вдали ничего нет: ни горы, ни холма, ни бугра – плоская и, казалось, топкая долина.

Ближе к Шанхаю река заметно оживлялась: беспрестанно встречались джонки, с своими, красно-бурого цвета, парусами, из каких-то древесных волокон и коры. Китайские джонки устройством похожи немного на японские, только у них нет разрезной кормы. У некоторых китайских лодок нос и корма пустые, а посредине сделан навес и каюта; у других, напротив, навес сделан на носу. Большие лодки выстроены из темно-желтого бамбукового корня, покрыты циновками и очень чисты, удобны и красивы, отделаны, как мебель или игрушки. Багры, которыми они управляются, и весла бамбуковые же. Между прочим, много идет на эти постройки камфарного дерева: оно не щепится. Его много в Китае и в Японии, но особенно на Зондских островах.

Лодки эти превосходны в морском отношении: на них одна длинная мачта с длинным парусом. Борты лодки, при боковом ветре, идут наравне с линией воды, и нос зарывается в волнах, но лодка держится, как утка; китаец лежит и беззаботно смотрит вокруг. На этих больших лодках рыбаки выходят в море, делая значительные переходы. От Шанхая они ходят в Ниппо, с товарами и пассажирами, а это составляет, кажется, сто сорок морских миль, то есть около двухсот пятидесяти верст.

Мили за три от Шанхая мы увидели целый флот купеческих трехмачтовых судов, которые теснились у обоих берегов Вусуна. Я насчитал до двадцати рядов, по девяти и десяти судов в каждом ряду. В иных местах стояли на якоре американские так называемые клиппера, то есть большие, трехмачтовые суда, с острым носом и кормой, отличающиеся красотой и быстрым ходом.

С полудня начался отлив; течение было нам противное, ветер тоже. Крепкий NW дул прямо в лоб. Шкипер начал лавировать. Мы все стояли наверху. Паруса беспрестанно переносили то на правый, то на левый галс. Надо было каждый раз нагибаться, чтоб парусом не сшибло с ног. Шкуна возьмет вдруг направо и лезет почти на самый берег, того и гляди коснется его; но шкипер издаст гортанный звук, китайцы, а более наши люди, кидаются к снастям, отдают их, и освобожденные на минуту паруса хлещут, бьются о мачты, рвутся из рук, потом их умирят, кричат: "Берегись!", мы нагнемся, паруса перенесут налево, и

шкуна быстро поворачивает. Минут через десять начинается то же самое. Мокро, скользко; переходя торопливо со стороны на сторону, того и гляди слетишь в люк. Мы сделали уже около десяти поворотов.

Вон и Шанхай виден. Суда и джонки, прекрасные европейские здания, раззолоченная кумирня, протестантские церкви, сады – всё это толпится еще неясной кучей, без всякой перспективы, как будто церковь стоит на воде, а корабль на улице. Нетерпение наше усилилось: хотелось переодеться, согреться, гулять. Идти бы прямо, а мы еще всё направо да налево. Вдруг – о горе! не поворотили вовремя – и шкуну потащило течением назад, прямо на огромную, неуклюжую, пеструю джонку; едва-едва отделались и опять пошли лавировать. Ветер неистово свищет; дождь сечет лицо.

Наконец, слава Богу, вошли почти в город. Вот подходим к пристани, к доку, видим уже трубу нашей шкуны; китайские ялики снуют взад и вперед. В куче судов видны клиппера, поодаль стоит, закрытый излучиной, маленький, двадцатипушечный английский фрегат "Spartan", еще далее французские и английские пароходы. На зданиях развеваются флаги европейских наций, обозначая консульские дома.

Мы с любопытством смотрели на всё: я искал глазами Китая, и шкипер искал кого-то с нами вместе. "Берег очень близко, не пора ли поворачивать?" – с живостью кто-то сказал из наших. Шкипер схватился за руль, крикнул – мы быстро нагнулись, паруса перенесли на другую сторону, но шкуна не поворачивала; ветер ударил сильно – она всё стоит: мы были на мели. "Отдай шкоты!" – закричали офицеры нашим матросам. Отдали, и шкуна, располагавшая лечь на бок, выпрямилась, но с мели уже не сходила.

Шкипер сложил ногу на ногу, засунул руки в рукава и покойно сел на лавочку, поглядывая во все стороны. Китайцы проворно убрали паруса, наши матросы ловили разорвавшийся кливер, который хлестал по бушприту. На нас, кажется, насмешливо смотрели все прочие суда и джонки. Совершенно то же самое, как сломавшаяся среди непроходимой грязи ось: карета передками упирается в грязь, сломанное колесо лежит возле, кучка извозчиков равнодушно и тупо глядит то на колесо, то на вас. Вы сидите, а мимо вас идут и скачут; иные усмехнутся, глядя, как вы уныло выглядываете из окна кареты, другие посмотрят с любопытством, а большая часть очень равнодушно – и все обгоняют. Точно то же и на мели. Надо было достать лодку. Они вдали ходили взад и вперед, перевозя через реку, но на нас мало обращали внимания. Выручил В. А. Корсаков: он из дока заметил нас и тотчас же приехал. Нас двое отправились с ним, прочие остались с вещами, в ожидании, пока мы придем за ними лодку.

Под проливным дождем, при резком, холодном ветре, в маленькой крытой китайской лодке, выточенной чисто, как игрушка, с украшениями из бамбука, устланной белыми циновками, ехали мы по реке Вусуну. Китаец правил стоя, одним веслом; он с трудом выгребал против ветра и течения. Корсаков показывал мне иностранные суда: французские и английские пароходы, потом купленный китайцами европейский бриг, которым командовал английский шкипер, то есть действовал только парусами, а в сражениях с инсургентами не участвовал. Потом ехали мы мимо военных джонок, назначенных против инсургентов же. С них поднялась пальба: китайский адмирал делал ученье. Тут я услышал, что во вчерашнем сражении две джонки взорваны на воздух. Китайцы действуют, между прочим, так называемыми вонючими горшками (stinkpots). Они с марсов бросают эти горшки, наполненные какими-то особыми горючими составами, на палубу неприятельских судов. Вырывающиеся из горшков газы так удушливы, что люди ни минуты не могут выдержать и бросаются за борт. Китайские пираты с этими же горшками нападают на купеческие, даже на военные, суда.

Чрез полчаса мы сидели в чистой комнате отеля, у камина, за столом, уставленным, по английскому обычаю, множеством блюд. Спутники, уехавшие прежде нас в Шанхай, не очень, однако ж, обрадовались нам. "Вас много наехало!" – вместо всякого приветствия встретили они нас. "Да мы еще не все: чрез час придут человек шесть!" – в свою очередь, не без удовольствия, отвечали мы. – А что?" – "Куда ж вы поместитесь? комнат нет, все

разобраны: мы живем по двое и даже по трое". – "Ничего, – отвечали мы, – поживем и вчетвером". Так и случилось. Хозяин, с наружным отчаянием, но с внутренним удовольствием, твердил: "Дом мой приступом взяли!" – и начал бегать, суетиться. Откуда явились кушетки, диваны, подушки? Нумера гостиницы, и без того похожие на бивуаки, стали походить на контору дилижансов.

Гостиница наша, "Commercial house", походила, как все дома в Шанхае, на дачу. Большой, двухэтажный каменный дом, с каменной же верандой или галереей вокруг, с большим широким крыльцом, окружен садом из тощих миртовых, кипарисных деревьев, разных кустов и т. п. Окна все с жалюзи: видно, что при постройке принимали в расчет более лето, нежели зиму. Стены тоненькие, не более как в два кирпича; окна большие; везде сквозной ветер; всё неплотно. Дом трясется, когда один человек идет по комнате; через стенки слышен разговор. Но когда мы приехали, было холодно; мы жались к каминам, а из них так и валил черный, горький дым.

Вообще зима как-то не к лицу здешним местам, как не к лицу нашей родине лето. Небо голубое, с тропическим колоритом, так и млеет над головой; зелень свежа; многие цветы ни за что не соглашаются завянуть. И всего продолжается холод один какой-нибудь месяц, много – шесть недель. Зима не успевает воцариться и, ничего не сделав, уходит.

Целый вечер просидели мы все вместе дома, разговаривали о европейских новостях, о вчерашнем пожаре, о лагере осаждающих, о их неудачном покушении накануне сжечь город, об осажденных инсургентах, о правителе шанхайского округа, Таутае Самква, который был в немилости у двора и которому обещано прощение, если он овладеет городом. В тот же вечер мы слышали пушечные выстрелы, которые повторялись очень часто: это перестрелка императорских войск с инсургентами, безвредная для последних и бесполезная для первых.

На другой день, 28 ноября (10 декабря) утром, встали и пошли... обедать. Вы не поверите? Как же иначе назвать? В столовой накрыт стол человек на двадцать. Перед одним дымится кусок ростбифа, перед другим стоит яичница с ветчиной, там сосиски, жареная баранина; после всего уж подадут вам чаю. Это англичане называют завтракать. Позавтракаешь – и хоть опять ложиться спать. "Да чай это или кофе?" – спрашиваю китайца, который принес мне чашку. "Tea or coffee", – бессмысленно повторял он. "Tea, tea", – забормотал потом, понявши. "Не может быть: отчего же он такой черный?" Попробовал – в самом деле та же микстура, которую я, под видом чая, принимал в Лондоне, потом в Капштате. Там простительно, а в Китае – такой чай, заваренный и поданный китайцем!

Что ж, нету, что ли, в Шанхае хорошего чаю? Как не быть! Здесь есть всякий чай, какой только родится в Китае. Всё дело в слове "хороший". Мы называем "хорошим" нежные, душистые цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая: он слишком тонок. Эти чаи называются здесь пекое (рекое flower). Англичане хорошим чаем, да просто чаем (у них он один), называют особый сорт грубого черного или смесь его с зеленым, смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать потребителю, язвит язык и нёбо во рту, как почти всё, что англичане едят и пьют. Они готовы приправлять свои кушанья щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клеветают еще на нас, что мы пьем не чай, а какие-то цветы, вроде жасминов.

Оставляя, кому угодно, опровергать это: англичане в деле гастрономии – не авторитет. Замечу только, что некоторые любители в Китае действительно подбавляют себе в чай цветы или какие-нибудь душистые специи; в Японии кладут иногда гвоздику. Кажется, отец Иоакинф тоже говорит о подобной противозаконной подмеси, которую допускают китайцы, кладя в черный чай жасминные, а в желтый розовые листки. Но это уж извращенный вкус самих китайцев, следствие пресыщения. Есть и у нас люди, которые нюхают табак с бергамотом или резедой, едят селедку с черносливом и т. п. Англичане пьют свой черный чай и знать не хотят, что чай имеет свои белые цветы.

У нас употребление чая составляет самостоятельную, необходимую потребность; у англичан, напротив, побочную, дополнение завтрака, почти как пищеварительную приправу;

оттого им всё равно, похож ли чай на портер, на черепаший суп, лишь бы был черен, густ, щипал язык и не походил ни на какой другой чай. Американцы пьют один зеленый чай, без всякой примеси. Мы удивляемся этому варварскому вкусу, а англичане смеются, что мы пьем, под названием чая, какой-то приторный напиток. Китайцы сами, я видел, пьют простой, грубый чай, то есть простые китайцы, народ, а в Пекине, как мне рассказывал отец Аввакум, порядочные люди пьют только желтый чай, разумеется без сахара. Но я – русский человек и принадлежу к огромному числу потребителей, населяющих пространство от Кяхты до Финского залива, – я за пекое: будем пить не с цветами, а цветочный чай и подождем, пока англичане выработают свое чутье и вкус до способности наслаждаться чаем рекое flower, и притом заваривать, а не варить его, по своему обыкновению, как капусту.

Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим чаем: надо знать, что значит чашка чаю, когда войдешь в трескучий, тридцатиградусный мороз в теплую комнату и сядешь около самовара, чтоб оценить достоинство чая. С каким наслаждением пили мы чай, который привез нам в Нагасаки капитан Фуругельм! Ящик стоит 16 испанских талеров; в нем около 70 русских фунтов; и какой чай! У нас он продается не менее 5 руб. сер. за фунт.

После обеда... виноват, после завтрака, мы вышли на улицу; наша отель стояла на углу, на перекрестке. Прямо из ворот тянется улица без домов, только с бесконечными каменными заборами, из-за которых выглядывает зелень. Направо такая же улица, налево – тоже, и все одинакие. Дома все окружены дворами и большею частью красивые; архитектура у всех почти одна и та же: всё стиль загородных домов. Я пошел сначала к адмиралу по службе, с тем чтоб от него сделать большую прогулку. Улицы пестрели народом. Редко встретишь европейца; они все наперечет здесь. Всё азиатцы, индийцы, кучками ходят парси, или фарси, с Индийского полуострова или из Тибета. Они играют здесь роль псов, питающихся крупичками, падающими от трапезы богатых, то есть промышляют мелочами, которые европейцы не считают достойными внимания. Этих парси, да чуть ли не тех самых, мы видели уже в Сингапуре. Они ходят в длинном платье, похожем на костюмы московских греков; на голове что-то вроде узенького кокошника из цветного, лоснящегося ситца, похожего на клеенку. Они сильно напоминают армян.

Китайцы – живой и деятельный народ: без дела почти никого не увидишь. Шум, суматоха, движение, крики и говор. На каждом шагу попадаются носильщики. Они беглым и крупным шагом таскают ноши, издавая мерные крики и выступая в такт. Здесь народ не похож на тот, что мы видели в Гонконге и в Сингапуре: он смирен, скромен и очень опрятен. Все мужики и бабы одеты чисто, и запахов разных меньше по улицам, нежели в Гонконге, исключая, однако ж, рынков. Несет ли, например, носильщик груды кирпичей, они лежат не непосредственно на плече, как у нашего каменщика; рубашка или кафтан его не в грязи от этого. У него на плечах лежит бамбуковое коромысло, которое держит две дощечки, в виде весов, и на дощечках лежат две кучи красиво сложенных серых кирпичей. С ним не страшно встретиться. Он не толкнет вас, а предупредит мерным своим криком, и если вы не слышите или не хотите дать ему дороги, он остановится и уступит ее вам. Всё это чисто, даже картинно: и бамбук, и самые кирпичи, костюм носильщика, коса его и легко надетая шапочка из серого тонкого войлока, отороченная лентой или бархатом. Заглянешь в ялик к перевозчику: любо посмотреть, тянет сесть туда. Дерево лакировано – это бамбуковый корень; навес и лавки покрыты чистыми циновками. Если тут и есть какая-нибудь утварь, горшок с похлебкой, чашка, то около всё чисто; не боишься прикоснуться и выпачкаться.

Между прочим, я встретил целый ряд носильщиков: каждый нес по два больших ящика с чаем. Я следил за ними. Они шли от реки: там с лодок брали ящики и несли в купеческие дома, оставляя за собой дорожку чая, как у нас, таская кули, оставляют дорожку муки. Местный колорит! В амбарах ящики эти упаковываются окончательно, герметически, и идут на американские клипперы или английские суда.

Мы вышли на набережную; там толпа еще деятельнее и живописнее. Здесь сближение европейского с крайним Востоком резко. По берегу стоят великолепные европейские дома с

колоннадами, балконами, аристократическими подъездами, а швейцары и дворники – в своих кофтах или халатах, в шароварах; по улице бродит такая же толпа. То идет купец, обритый донельзя, с тщательно заплетенной косой, в белой или серой, маленькой, куполообразной шляпе с загнутыми полями, в шелковом кафтане или в бараньей шубке в виде кацавейки; то чернорабочий, без шапки, обвивший, за недосугом чесаться, косу дважды около вовсе "нелилейного чела". Там их стоит целая куча, в ожидании найма или работы; они горланят на своем негармоническом языке. Тут цирюльник, с небольшим деревянным шкапчиком, где лежат инструменты его ремесла, раскинул свою лавочку, поставил скамью, а на ней расположился другой китаец и сладострастно жмурится, как кот, в то время как цирюльник бреет ему голову, лицо, чистит уши, дергает волосы и т. п. Тут ходячая кухня, далее, у забора, лавочка с фарфором. Лодочники группой стоят у пристани, вблизи своих лодок, которые тесно жмутся у берега. Идет европеец – и толпа полегоньку сторонится, уступает место. На рейде рисуются легкие очертания военных судов, рядом стоят большие барки, недалеко и военные китайские суда, с тонкими мачтами, которые смотрят в разные стороны. Из-за стройной кормы европейского купеческого корабля выглядывает писанный рыбий глаз китайского судна. Всё копошится, сгружает, нагружает, торопится, говорит, перекликается...

Я смотрел на противоположный берег Вусуна, но он низмен, ровен и ничего не представляет для глаз. На той стороне поля, хижины; у берегов отгорожены места для рыбной ловли – и больше ничего не видать. Едва ли можно сыскать однообразнее и скучнее местность. Говорят, многие места кажутся хороши, когда о них вспомнишь после. Шанхай именно принадлежит к числу таких мест, которые покажутся хороши, когда оттуда выедешь. Зевая на речку, я между тем прозевал великолепные дома многих консулов, таможеню, теперь пустую, занятую постоем английских солдат с военных судов. Она была некогда кумирней и оттого резко отделяется от прочих зданий своею архитектурною пестротой. Я неприметно дошел до дома американского консула. Это последний европейский дом с этой стороны; за ним начинается китайский квартал, отделяемый от европейского узеньким каналом.

Дом американского консула Каннингама, который в то же время и представитель здесь знаменитого американского торгового дома Россель и Ко, один из лучших в Шанхае. Постройка такого дома обходится «в» 50 тысяч долларов. Кругом его парк, или, вернее, двор с деревьями. Широкая веранда опирается на красивую колоннаду. Летом, должно быть, прохладно: солнце не ударяет в стекла, защищаемые посредством жалюзи. В подъезде, под навесом балкона, стояла большая пушка, направленная на улицу.

Дом... но вы знаете, как убираются порядочные, то есть богатые, дома: и здесь то же, что у нас. Шелковые драпри до полу, зеркала, как озера, вправленные в стены, ковры, бронза. Но не всё, однако ж, как у нас: *boiserie**, например, массивные шкапы, столы и кровати – здешние, образцы китайского искусства, из превосходного темного дерева, с мозаическими узорами, мелкой, тонкой работы. Если у кого-нибудь из вас есть дедовский дом, убранный по-старинному, вы найдете там образцы этой мозаической мебели. Кровати особенно изумительно хороши: они обыкновенно двуспальные, с занавесками, как везде в Англии. И в домах, и в гостиницах – везде вас положат на двуспальную кровать, будьте вы самый холостой человек. Дико мне казалось влезать под катафалк английских постелей, с пестрыми занавесками, и особенно неудобно класть голову на длинную, во всю ширину кровати, и низенькую круглую подушку, располагающую к апоплексическому удару. Но чего не делает привычка! * деревянная обшивка – фр.

Китайцы, как известно, отличные резчики на дереве, камне, кости. Ни у кого другого, даже у немца, не достанет терпения так мелко и чисто выработать вещь, или это будет стоить бог знает каких денег. Здесь, по-видимому, руки человеческие и время нипочем. Если б еще этот труд и терпение тратились на что-нибудь важное или нужное, а то они тратятся на такие пустяки, что не знаешь, чему удивляться: работе ли китайца или бесполезности вещи? Например, они на коре грецкого или миндального ореха вырезают целые группы фигур в

разных положениях, процессии, храмы, дома, беседки, так что вы можете различать даже лица. Из толстокожего миндального ореха они вырежут вам джонку со всеми принадлежностями, с людьми, со всем; даже вы отличите рисунок рогожки; мало этого: сделают дверцы или окна, которые отворяются, и там сидит человеческая фигура. Каких бы, кажется, денег должно стоить это? а мы, за пять, за шесть долларов, покупали целые связки таких орехов, как баранки.

Мне приходилось часто бывать в доме г-на Каннингама, у которого остановился адмирал, и потому я сделал ему обычный визит. Китаец-слуга, нарядно одетый в национальный костюм, сказал, что г-н Каннингам в своем кабинете, и мы отправились туда. Маленький, белокурый и невидный из себя, г-н Каннингам встретил меня очень ласково, непохоже на английскую встречу: не стиснул мне руки и не выломал плеча, здороваясь, а так обошелся, как обходятся все люди между собою, исключая британцев. В кабинете – это только так, из приличия, названо кабинетом, а скорее можно назвать конторой – ничего не было, кроме бюро, за которым сидел хозяин, да двух-трех превысоких табуретов и неизбежного камина. Каннингам пригласил меня сесть. Я кое-как вскарабкался на антигеморроидальное сидалище, и г-н Каннингам тоже; мы с высот свободно обозревали друг друга. "На чем вы приехали?" – спросил меня г-н Каннингам. Я только было собрался отвечать, но пошевелил нечаянно ногой: круглое сидалище, с винтом, повернулось, как по маслу, подо мной, и я очутился лицом к стене. "На шкуне", – отвечал я в стену и в то же время с досадой подумал: "Чье это, английское или американское удобство?" – и ногами опять приводил себя в прежнее положение. "Долго останетесь здесь?" – "Смотря по обстоятельствам", – отвечал я, держа рукой подушку стула, которая опять было зашевелилась подо мной. "Сделайте мне честь завтра отобедать со мной", – сказал он приветливо. "А теперь идите вон", – мог бы прибавить, если б захотел быть чистосердечен, и не мог бы ничем так угодить. Но визит кончился и без того.

От консула я пошел с бароном Крюднером гулять. "Ну покажите же мне всё, что позамечательнее здесь, – просил я моего спутника, – вы здесь давно живете. Это куда дорога?" – "Эта?.. не знаю", – сказал он, вопросительно поглядывая на дорогу. "Где ж город, где инсургенты, лагерь?" – сыпались мои вопросы. "Там где-то, в той стороне", – отвечал он, показав пальцем в воздушное пространство. "А вон там, что это видно в Шанхае? – продолжал я, – повыше других зданий, кумирни или дворцы?" – "Кажется..." – отвечал барон Крюднер. "Где лавки здесь? поведите меня: мне надо кое-что купить". – "Вот мы спросим", – говорил барон и искал глазами, кого бы спросить. Я засмеялся, и барон Крюднер закашлял, то есть засмеялся вслед за мной. "Что ж вы делали здесь десять дней?" – сказал я. "Вы завтра у консула обедаете?" – спросил он меня. "Ужинаю, только немного рано, в семь часов". – "У него будет особенно хороший обед, – задумчиво отвечал барон Крюднер, – званный, и обедать будут, вероятно, в большой столовой. Наденьте фрак".

Между тем мы своротили с реки на канал, перешли маленький мостик и очутились среди пестрой, движущейся толпы, среди говора, разнообразных криков, толчков, запахов, костюмов – словом, на базаре. Здесь представлялась мне полная картина китайского народонаселения без всяких прикрас, в натуре.

Знаете ли, чем поражен был мой первый взгляд? какое было первое впечатление? Мне показалось, что я вдруг очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке или на ярмарке губернского города, вдалеке от Петербурга, где еще не завелись ни широкие улицы, ни магазины; где в одном месте и торгуют, и готовят кушанье, где продают шелковый товар в лавочке, между кипящим огромным самоваром и кучей кренделей, где рядом помещаются лавка с фруктами и лавка с лаптями или хомутами. Разница в подробностях: у нас деготь и лыко – здесь шелк и чай; у нас груды деревянной и фаянсовой посуды – здесь фарфор. Но китайская простонародная кухня обилием блюд, видом, вонью и затейливостью перешеголяла нашу. Чего тут нет? Жаль, что нельзя разглядеть всего: "С души рвет", – как говорит Фаддеев, а есть чего поглядеть! Море, реки, земля, воздух – спорят здесь, кто больше принес в дар

Длинные, бесконечные, крытые переулки, или, лучше сказать, коридоры, тянутся по всем направлениям и образуют совершенный лабиринт. Если хотите, это всё дома, выстроенные сплошь, с жильем вверху, с лавками внизу. Навесы крыш едва не касаются с обеих сторон друг друга, и оттого там постоянно господствует полумрак. В этом-то лабиринте вращается огромная толпа. От одних купцов теснота, а с продавцами, кажется бы, и прохода не должно быть. Между тем тут постоянно прилив и отлив народа. Тут с удивительною ловкостью пробираются носильщики с самыми громоздкими ношами, с ящиками чая, с тюками шелка, с охапкой хлопчатой бумаги, чуть не со стог сена. А вон пронесли двое покойника, не на плечах, как у нас, а на руках; там бежит кули с письмом, здесь тащат корзину с курами. И все бегут, с криками, с напевами, чтоб посторонились. Этот колотит палочкой в дощечку: значит, продает полотно; тот несет живых диких уток и мертвых, висящих чрез плечо, фазанов, или наоборот. Разносчики кричат, как и у нас. Вы только отсторонились от одного, а другой слегка трогает за плечо, вы пятитесь, но вам торопливо кричит третий – вы отскакиваете, потому что у него в обеих руках какие-то кишки или длинная, волочащаяся по земле рыба. "Куда нам деться? две коровы идут", – сказал барон Крюднер, и мы кинулись в лавочку, а коровы прошли дальше. В лавочках, у открытых дверей, расположены припасы напоказ: рыбы разных сортов и видов – вяленая, соленая, сушеная, свежая, одна в виде сабли, так и называется саблей, другая с раздвоенной головой, там круглая, здесь плоская, далее раки, шримсы, морские плоды. Дичи неимоверное множество, особенно фазанов и уток; они висят на дверях, лежат кучами на полу.

Вот обширная в глубину лавка, вся наполненная мужиками, и бабами тоже. Это харчевня. Ну так и хочется сказать: "Здорово, хлеб да соль!" Народ группами сидит за отдельными столами, как и у нас. Из маленьких синих чашек, без ручек, пьют чай, но не прикусывает широкоплечий ямщик по крошечке сахар, как у нас: сахару нет и не употребляют его с чаем. Зато все курят из маленьких трубок с длинными, тоненькими чубуками; это опять противно нашему: у нас курят из коротеньких чубуков и предлинных трубок. Над ними клубится облаком пар, от небольших, поставленных в разных углах лавки печей, и, поклубившись по харчевне, вырывается на улицу, обдает неистовым, крепким запахом прохожего и исчезает – яко дым. Чего тут нет! лепешки из теста лежат *au naturel*, потом, по востребованию, опускаются в кипяток и подаются чрез несколько минут готовые. Рядом варится какая-то черная похлебка, едва ли лучше спартанской, с кусочками свинины или рыбы. Я видел даже щи – да, ленивые щи: в кипятке варится кочан отличной зеленой капусты и кусок, кажется, баранины. Есть и оладьи, и жареная свинина, и пирожки.

Много знакомого увидел я тут, но много и невиданного увидел и особенно обонял. Боже мой, чего не ест человек! Конечно, я не скажу вам, что, видел я, ел один китаец на рынке, всенародно... Я думал прежде, что много прибавляют путешественники, но теперь на опыте вижу, что кое-что приходится убавлять. Каких соусов нет тут! всё это варится, жарится, печется, кипит, трещит и теплым, пахучим паром разносится повсюду. Напрасно стали бы вы заглушать запах чем-нибудь: ни пачули, ни сами "четыре разбойника" не помогут; особенно два противные запаха преследуют: отвратительного растительного масла, кажется кунжутного, и чесноку.

Отдохнешь у лавки с плодами: тут и для глаз, и для носа хорошо. С удивлением взглянете вы на исполинские лимоны – апельсины, которые англичане называют пампль-мусс. Они величиной с голову шести-семилетнего ребенка; кожа в полтора пальца толщины. Их подают к десерту, но не знаю зачем: есть нельзя. Мы попробовали было, да никуда не годится: ни кислоты лимона нет, ни сладости апельсина. Говорят, они теперь неспелые, что, созревши, кожа делается тоньше и плод тогда сладок: разве так. Потом целыми грудами лежат, как у нас какой-нибудь картофель, мандарины, род мелких, но очень сладких и пахучих апельсинов. Они еще хороши тем, что кожа отделяется от них сразу со всеми волокнами, и вы получаете плод облупленный, как яйцо, сочный, почти прозрачный. Тут был и еще плод овальный, похожий на померанец, поменьше грецкого ореха; я забыл его название. Я взял попробовать, раскусил и выбросил: еще хуже пампль-мусса. Китайцы

засмеялись вокруг, и недаром, как я узнал после. Были еще так называемые жужубы, мелкие, сухие фиги с одной маленькой косточкой внутри. Они сладки – про них больше нечего сказать; разве еще, что они напоминают собой немного вкус фиников: та же приторная, бесхарактерная сладость, так же вязнет в зубах. Орехов множество: грецких, миндальных, фисташковых и других. Зелень превосходная; особенно свежи зеленые продолговатые кочни капусты, еще длинная и красная морковь, крупный лук и т. п.

Мы продолжали пробираться по рядам и вышли – среди криков и стука рабочих, которые, совершенно голые, немилосердно колотили хлопчатую бумагу в своих мастерских, – к магазину американца Фога. Там всё есть: готовое платье, посуда, материи, вина, сыр, сельди, сигары, фарфор, серебро. Между съестными лавками мы наткнулись на китайскую лавочку, вроде галантерейной. Тут продавались всякие мелочи. Я купил до тридцати резных фигур из мягкого разноцветного камня агальматолита (*agalmatolite, fragodite, pierre a magots ou a sculpture*; ¹ Bildstein, Speckstein aus China), попросту называемого жировиком. Камень этот, кроме Китая, находят местами в Венгрии и Саксонии.

Нет, я вижу, уголка в мире, где бы не запрашивали неслыханную цену. Китаец запросил за каменные изделия двадцать два доллара, а уступил за восемь. Этой слабости подвержены и просвещенные, и полупросвещенные народы, и, наконец, дикари. Кто у кого занял: мы ли у Востока, он ли у нас?

Наконец мы вышли на маленькую, мутную речку, к деревянному, узенькому, дугообразному мостику. Тут стояла небольшая часовня; в ней идол Будды. У подножия нищий собирал милостыню. На мосту, в фуражке, в матросской рубашке, с ружьем на плече, ходил часовой с английского парохода "Спартан". При сходе с моста сидел китаец перед котлом вареного риса. Народ толпился у котла. Всякий клал несколько кашей (мелких медных монет) на доску, которою прикрыт был котел. Китаец поднимал тряпицу, доставал из котла рукой горсть рису, клал в свой фартук, выжимал воду и, уже сухой, подавал покупателю. Непривлекательна китайская кухня, особенно при масле, которое они употребляют в пищу! Коровьего масла у них нет: его привозят сюда для европейцев из Англии, и то, которое подавали в Шанхае, было несвежо. Иногда китайцы употребляют свиное сало.

Кстати о монете. В Шанхае ходит двух родов монета: испанские и американские доллары и медная китайская монета. Испанские, и именно Карла IV, предпочитаются всем прочим и называются, не знаю почему, шанхайскими. На них даже кладется от общества шанхайских купцов китайская печать, в знак того, что они не фальшивые. По случаю междоусобной войны банкиры необыкновенно возвысили курс на доллары, так что доллар, на наши деньги, вместо обыкновенной цены 1 р. 33 к. стоит теперь около 2 р. Но это только при получении от банкиров, а в обращении он в сущности стоит всё то же, то есть вам на него не дадут товара больше того, что давали прежде. Все бросились менять, то есть повезли со всех сторон сюда доллары, и брали за них векселя на Лондон и другие места, выигрывая по два шиллинга на доллар. При покупке вещей за всё приходилось платить чуть не вдвое дороже; а здесь и без того дорого всё, что привозится из Европы. Беда, кому нужно делать большие запасы: потеря огромная! Прочие доллары, то есть испанские же, но не Карла IV, а Фердинанда и других, и мексиканские тоже, ходят по 80-ти центов. Кроме того, ходят полкроны и шиллинги, но их очень мало в обращении. Зато медной монеты, или кашей, множество. Она чеканится из неочищенной меди, чуть не из самородка, и очень грязна на вид; величиной монета с четвертак, на ней грубая китайская надпись, а посредине отверстие, чтобы продевать бечевку. Я сначала не вдруг понял, что значат эти длинные связки, которые китайцы таскают в руках, чрез плечо и на шее, в виде ожерелья.

Я что-то купил в лавочке, центов на 30, и вдруг мне дали сдачи до тысячи монет. Их в долларе считают до 1500 штук. Я не знал, что делать, но выручили нищие: я почти всё роздал им. Остатки, штук 50, в числе любопытных вещей, привезу показать вам.

"Однако ж час, – сказал барон, – пора домой; мне завтракать (он жил в отели), вам обедать". Мы пошли не прежней дорогой, а по каналу и повернули в первую длинную и

довольно узкую улицу, которая вела прямо к трактиру. На ней тоже купеческие дома, с высокими заборами и садиками, тоже бежали вприпрыжку носильщики с ношами. Мы пришли еще рано; наши не все собрались: кто пошел по делам службы, кто фланировать, другие хотели пробраться в китайский лагерь.

Через час по всему дому раздался звук гонга: это повестка готовиться идти в столовую. Через полчаса мы сошли к столу, около которого суетились слуги, всё китайцы. Особенно весело было смотреть на мальчишек. На их маленьких лицах, с немного заплывшими глазками, выгнутым татарским лбом и висками, было много сметливости и плутовства; они живо бегали, меняли тарелки, подавали хлеб, воду и еще коверкали и без того исковерканный английский язык. Между прочим, мы увидели тут темно-коричневое лицо, в белой чалме, и с зубами еще белее. Мне что-то лицо показалось знакомым, да и он глядел на нас с приветливой улыбкой. Я спросил его, кто он, откуда. "Madrasman, -отвечал он, – я вас знаю, я видел вас в Сингапуре". – "Как же ты сюда попал?" – "Так, приехал служить". – "Что ж там делал, чем был?" – "Купец". – "О, лжешь, – думал я, – хвастаешь, а еще полудикий сын природы!" Я сейчас же вспомнил его: он там ездил с маленькой каретой по городу и однажды целую улицу прошел рядом со мною, прося запомнить номер его кареты и не брать другой. А здесь он был буфетчиком, раздавал гостям кушанья, китайским мальчишкам – щелчки.

Второй обед был полнее первого. Тут кроме супа была вареная баранина и жареная баранина, вареная говядина и жареная говядина, вареные куры и жареные куры, fowl, потом гусь, ветчина, зелень. Это только первая перемена. Вторая и последняя состояла из дичи и пирожного. И то и другое подается вместе, мне кажется, между прочим, с тою целью, чтоб гости разделились на партии, одни за пирожное, другие за жаркое. Пирожное то же самое, что я ел в Лондоне, в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды: applepie, сладкая яичница и пудинг с коринкой.

После обеда пришел барон Крюднер, и я же повел его показывать ему город и окрестности. Мы вышли на набережную Вусуна и пошли налево, мимо великолепного дома английского консула, потом португальского, датского и т. д. По дороге встречались, с мерным криком "а-а! а-а!", носильщики с чаем и щедро сыпали его по улице. Тут матросы с французских судов играли в пристенок: красивый, рослый и хорошо одетый народ. Мы подошли к впадающей в Вусун речке и к перевозу. Множество возвращающегося с работы простого народа толпилось на пристани, ожидая очереди попасть на паром, перевозивший на другую сторону, где первая кидалась в глаза куча навозу, грязный берег, две-три грязные хижины, два-три тощие дерева и за всем этим – вспаханные поля.

Мимо плетней, огородов, через поля, поросшие кустарниками хлопчатой бумаги и засеянные разным хлебом, выбрались мы сначала в деревушку, ближайшую к городу. Хижины из бамбука, без окошек, с одними дверями, лепились друг к другу. По деревне извивалась грязная канавка, стояли кадки с навозом для удобрения полей. Некуда было деться от запаха; мы не рады были, что зашли. Ноги у нас ползли по влажной, глинистой почве. На нас бросились лаять собаки, а на них бросилась старая китаянка унимать. Некоторые китайцы ужинали на пороге, проворно перекладывая двумя палочками рис из чашек в рот, и до того набивали его, что не могли отвечать на наше приветствие "чинь-чинь" ("Здравствуй"), а только ласково кивали.

Но, несмотря на запах, на жалкую бедность, на грязь, нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости, даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства. Простыми глазами сразу увидишь, что находишься по преимуществу в земледельческом государстве и что не даром рука богдыхана касается однажды в год плуга как главного, великого деятеля страны: всякая вещь обдуманно, не как-нибудь, применена к делу; всё обработано, окончено; не увидишь кучки соломы, небрежно и не у места брошенной, нет упавшего плетня и блуждающей среди посевов козы или коровы; не валяется нигде оставленное без умысла и бесполезно гниющее бревно или какой-нибудь подобный годный в дело предмет. Здесь, кажется, каждая щепка, камешек, сор – всё имеет свое назначение и идет в дело.

Почва, по природе, болотистая, а ни признака болота нет, нет также какого-нибудь недопаханного аршина земли; одна гряда и борозда никак не шире и не уже другой. Самые домики, как ни бедны и ни грязны, но выстроены умно; всё рассчитано в них; каждым уголком умеют пользоваться: всё на месте и всё в возможном порядке.

Мы выбрались из деревеньки и вышли на так называемую променаду, отведенное европейцам загородное место для езды и для прогулок. Это широкая дорога, идущая от города, между полей, мимо вала, отделяющего лагерь империалистов от городской земли. Всё это место похоже на арену какого-нибудь цирка: земля так же рыхла, вспаханная лошадиными копытами. Мы застали и самое ристалище. Шанхайские европейцы и европейки скакали здесь взад и вперед: одни на прекрасных лошадях лучшей английской породы, привезенных из Англии, другие на малорослых китайских лошадаках. Только одно семейство каталось в шарабане, да еще одну леди, кажется жену пастора, несли четыре китаца в железных креслах, поставленных на двух бамбуковых жердях. Несколько пешеходов, офицеров с судов да мы все составляли публику, или, лучше сказать, мы все были действующими лицами. Настоящую публику составляли китайцы, мирные городские или деревенские жители, купцы и земледельцы, кончившие дневной труд. Тут была смесь одежд: видна шелковая кофта и шаровары купца, синий халат мужика, камзол и панталоны империалиста с вышитым кружком или буквой на спине. Вся эта публика, буквально спустя рукава, однако ж с любопытством, смотрела на пришельцев, которые силою ворвались в их пределы и мало того, что сами свободно разгуливают среди их полей, да еще наставили столбов с надписями, которыми запрещается тут разъезжать хозяевам. Китайцы встречали или провожали замечанием каждого проезжего и смеялись. Особенно скачущие женщины возбуждали их внимание: небывалое у них явление! Их женщины – пока еще так себе, хозяйственная принадлежность: им далеко до львиц.

К нам присоединились другие наши спутники. Мы, сквозь эту фалангу любопытных, подошли к валу, взошли на мостик, брошенный дугой через канавку, и стали смотреть на лагерь. Туда и оттуда беспрестанно носили мимо нас в паланкинах китайских чиновников и купцов. Над сбитыми в кучу палатками насажены были тысячи разноцветных флагов и значков, всё фамильные гербы и отличия этого чиновно-аристократического царства. По временам из лагеря попадали, но больше холостыми зарядами, для того, как сказывали нам английские офицеры, чтоб показать, что они бдят. В самом деле только бдят и пугают друг друга. Они палят и в туман, ночью, не видя неприятеля. Хоть бы ночное нападение и пожар, который мы видели с реки Вусуна, – жалкая карикатура на сражение.

Империалистами командует здесь правитель шанхайского округа Таутай Самква. Он собрал войско и расположил его лагерем у городских стен, а сам жил на джонках и действовал с реки. Как бы, кажется, не выгнать толпу бродяг и оборванцев? Но до сих пор все его усилия напрасны, европейцы сохраняют строгий нейтралитет, несмотря на то что он предлагает каждому европейцу по двадцати, кажется, долларов в сутки, если кто пойдет к нему на службу. Охотников до сих пор является мало. Ночное нападение ему не удалось. Он пробовал зажечь город, но и то неудачно: выгорело одно предместье, потому что город зажжен был против ветра и огонь не распространился. А сколько мелких и бесполезных жестокостей употреблено было! И это не устрашает инсургентов. Те заперлись себе в крепости, получают съестные припасы через стены из города – и знать ничего не хотят.

Пока я стоял на валу, несколько империалистов вдруг схватили из толпы одного человека, на вид очень смиренного, и потащили к лагерю. Я думал, что это обыкновенная уличная сцена, ссора какая-нибудь, но тут случился англичанин, который растолковал мне, что империалисты хватают всякого, кто оплошает, и в качестве мятежника ведут в лагерь, повязав ему что-нибудь красное на голову как признак возмущения. А там ему рубят голову и втыкают на пик. За всякого приведенного инсургента дают награду. "Oh, that's bad, very bad (худо)!" – заключил англичанин, махнул рукой и пошел прочь.

Но и инсургенты платят за это хорошо. На днях они объявили, что готовы сдать город и просят прислать полномочных для переговоров. Таутай обрадовался и послал к ним девять

чиновников, или мандаринов, со свитой. Едва они вошли в город, инсургенты предали их тем ужасным, утонченным мучениям, которыми ознаменованы все междоусобные войны.

Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет впечатлений и приключений. Он каждый день с утра отправляется, с заряженным револьвером в кармане, то в лагерь, то в осажденный город, посмотреть, что там делается, нужды нет, что китайское начальство устранило от себя ответственность за всё неприятное, что может случиться со всяким европейцем, который без особенных позволений и предосторожностей отправится на место военных действий.

Наши вздумали тоже идти в лагерь; я предвидел, что они недолго проходят, и не пошел, а сел, в ожидании их, на бревне подле дороги и смотрел, как ездили англичанки. Вот несется полная, величавая, одна из тех великолепных, драпирующихся в большую шаль, женщин с победоносной походкой, от которых невольно сторонись. Она, как монумент, крепко сидела на рослой лошади, и та, как будто чувствуя, кого несет на хребте, скакала плавно. Подле нее, свесив до полу ноги, ехал англичанин, такой жидкий и невеличественный, как полна и величественна была его супруга. Другая, низенькая и невзрачная женщина, точно мальчишка, тряслась на седле, на маленькой рыжей лошаденке, колотя по нем своей особой так, что слышно было. Третья – писаная, что называется, красавица: румяная, с алым ротиком, в виде сердечка, и ограниченностью в синих глазах. Все эти барыни были с такими тоненькими, не скажу стройными, талиями, так обтянуты амазонками, что китайская публика, кажется, смотрела на них больше с состраданием, нежели с удовольствием.

Я недолго ждал своих; как я думал, так и вышло: их не пустили, и мы отправились другой дорогой домой, опять мимо полей и огородов. В некоторых местах поливали ведрами навоза поля; мы бежали, что стало сил, от этой пахучей идиллии. Уж вечерело. Солнце опустилось; я взглянул на небо и вспомнил отчасти тропики: та же бледно-зеленая чаша, с золотым отливом над головой, но не было живописного узора облаков, млеющих в страстной тишине воздуха; только кое-где, дрожа, искрились белые звезды. Луна разделила улицы и дороги на две половины, черную и белую. "Вот зима-то! Ах, если б нам этакую!" – говорил я, пробираясь между иссохшими кустами хлопчатой бумаги, клочья которой оставались еще кое-где на сучьях и белели, как снежный пух. В байковом пальто было жарко идти. Вдали скакали в город джентльмены и леди, торопясь обедать.

В шесть часов мы были уже дома и сели за третий обед – с чаем. Отличительным признаком этого обеда или "ужина", как упрямо называл его отец Аввакум, было отсутствие супа и присутствие сосисок с перцем, или, лучше, перца с сосисками, – так было его много положено. Чай тоже, кажется, с перцем. Есть мы, однако ж, не могли: только шкиперские желудки флегматически поглощали мяса через три часа после обеда.

Вечером мы собрались в клубе, то есть в одной из самых больших комнат, где жило больше постояльцев, где светлее горела лампа, не дымил камин и куда приносили больше каменного угля, нежели в другие номера. Театра нет здесь, общества тоже, если хотите в строгом смысле, нет. Всюду, куда забрались англичане, вы найдете чистую комнату, камин с каменным углем, отличный кусок мяса, херес и портвейн, но не общество. И не ищите его. Англичане всюду умеют внести свою чопорность, негибкие нравы и скуку. Вас пригласят обедать; вы, во фраке и белом жилете, являетесь туда; если есть аппетит – едите, как едали баснословные герои или как новейшие извозчики, пьете еще больше, но говорите мало, *se n'est pas de rigueur**, потом тихонько исчезаете. Но не думайте прийти сами, без зову. По делу можете, и то в указанный час; а просто побеседовать сами – нельзя. Да и день так расположен: утро все заняты, потом гуляют, с семи и до десяти и одиннадцати часов обедают, а там спят. В Англии есть клубы; там вы видите с людьми, с которыми привыкли быть вместе, а здесь европейская жизнь так быстро перенеслась на чужую почву, что не успела пустить корней, и оттого, должно быть, скучно. Не знаю, что делают молодые люди; немолодые наживают деньги. Какой-нибудь мистер Каннингам или другой, подобный ему представитель торгового дома проживет лет пять, наживет тысяч двести долларов и уезжает,

откуда приехал, уступая место другому члену того же торгового дома. * это необязательно – фр.

Мы очень разнообразили время в своем клубе: один писал, другой читал, кто рассказывал, кто молча курил и слушал, но все жались к камину, потому что как ни красиво было небо, как ни ясны ночи, а зима давала себя чувствовать, особенно в здешних домах.

Только П. А. Тихменев, оставаясь один в Шанхае, перебрался в лучшую комнату и, общий баловень на фрегате, приобрел и тут как-то внимание целого дома. У него лучше и раньше прибиралась комната, в корзинке было больше угля, нежели у других. У нас у всех принесут горсть угля и потом не допросишься. Явная несправедливость! Мы вчетвером составили компанию на акциях для добывания каменного угля из нумера Петра Александровича. Так попросить – он бы или вовсе отказал, или дал бы самую малость, как он говорит. А нам нужно было натопить два нумера. Мы положили так: И. В. Фуругельм заговорит с Тихменевым о хозяйстве – это любимая его тема, а В. А. Корсаков и А. Е. Кроун в это время понесут корзину с углем. Мне досталась самая легкая роль: прикрыть отступление Воина Андреевича и Александра Егоровича, что я сделал, став к камину спиной и раздвинув немного, как делают, не знаю зачем, англичане, полы фрака. Фуругельм заговорил о шанхайской капусте, о том, какая она зеленая, сочная, расспрашивал, годится ли она во щи и т. п. Уголь давно уже пылал в каминах, а Петр Александрович всё еще рассказывал о капусте. Мы дослушали из приличия, Фуругельм внимательно, я – рассеянно.

На другой день, вставши и пообедавши, я пошел, уже по знакомым улицам, в магазины купить и заказать кое-что. В улице, налево от гостиницы, сказали мне, есть магазин: четвертый или пятый дом. Я прошел шестой, а всё магазина не вижу, и раза два ходил взад и вперед, не подозревая, что одно широкое, осененное деревьями крыльцо и есть вход в магазин. Меня встретил пожилой мужчина, черноволосый, с клинообразной бородой, в длинном шлафоре-сюртуке, с не совсем чистым английским выговором. "Жид!" – шепнул мне бывший со мной Гошкевич, успевший уже обегать европейский квартал. Тут, как и у Фога и как во всякой провинции, было всё в магазине. Мы накупили сапог, башмаков и отправились к Фогу за сигарами, но в дверях столкнулись с высоким, черноволосым мужчиной. "Вот сам Фог, – сказал опять Гошкевич, – он – жид!" Он, как легавая собака дичь, чуял жидов.

Мы пошли прямо и вышли на речку. Я зашел за бароном Крюднером. "Пойдемте, я вам буду показывать город", – сказал я. Он молча последовал за мною. Речка, разделяющая европейский квартал от китайского, шириной всего сажень пять, мутна, как и сам Янсекиянь, как и Вусун. На речке толпятся джонки, на которых живут китайские семейства; по берегам движется целое народонаселение купцов, лодочников, разного рода мастеровых. В одном месте нас остановил приятный запах: это была мастерская изделий из камфарного дерева. Мы зашли в сарай и лавку и очутились среди гробов, сундуков и ларцов. Когда мы вошли, запах камфары, издали очень приятный, так усилился, что казалось, как будто к щекам нашим вдруг приложили по подушечке с камфарой. Мы хотели купить сундуки из этого дерева, но не было возможности объясниться с китайцами. Мы им по-английски, они по-своему; прибегали к пальцам, но ничего из этого не выходило. Две девки, работавшие тут же, и одна прехорошенькая, смеялись исподтишка, глядя на нас; рыжая собака с ворчаньем косилась; запах камфары сильно щекотал нервы в носу. Мы, шагая по стружкам, выбрались и пошли к Фогу, а потом отправились отыскивать еще магазин, французский, о существовании которого носились темные слухи и который не давался нам другой день.

Мы быстро миновали базар и все запахи, прошли мимо хлопчатобумажных прядилен, харчевен, разносчиков, часовни с Буддой и перебежали мостик. "Куда же теперь, налево или направо?" – спросил я барона. "Да куда-нибудь, хоть налево!" Прямо перед нами был узенький-преузенький переулочек, темный, грязный, откуда, как тараканы из щели, выходили китайцы, направо большой европейский каменный дом; настежь отворенные ворота вели на чистый двор, с деревьями, к широкому чистому крыльцу. Налево открылся нам целый новый китайский квартал, новый лабиринт лавок, почище и побогаче, нежели на

той стороне. Тут были лавки с материями, мебельные; я любовался на китайскую мебель, о которой говорил выше, с рельефами и деревянной мозаикой. Здесь нет харчевен и меньше толкотни. Лавки начали редеть; мы шли мимо превысоких, как стены крепости, заборов из бамбука, за которыми лежали груды кирпичей, и наконец прошли через огромный двор, весь изрытый и отчасти заросший травой, и очутились под стенами осажденного города.

Известно, что китайцы – ужасные педанты, не признают городом того, который не огорожен; оттого у них каждый город окружен стеной, между прочим и Шанхай.

Но какая картина представилась нам! Еще издали мы слышали смешанный шум человеческих голосов и не могли понять, что это такое. Теперь поняли. Нас от стен разделял ров; по ту сторону рва, под самыми стенами, толпилось более тысячи человек народу и горланили во всю мочь. На стене, облепив ее как мухи, горланила другая тысяча человек, инсургентов. Внизу были разносчики. Они принесли из города всё, что только можно принести, притащить, привезти и приволочь. Живность, зелень, фрукты, дрова, целые бревна, медленно ползли по стенам вверх. Стена, из серого кирпича, очень высока, на глазомер сажень в шесть вышиною, и претолстая. Осажденные во всё горло требовали – один свинью, другой капусты, третий курицу, торговались, бранились, наконец условливались; сверху спускалась по веревке корзина с деньгами и поднималась с курами, апельсинами, с платьем; там тащили доски, тут спорили. Кутерьма ужасная! Посторонним ничего нельзя было разобрать. Я убедился только, что продавцы осаждают город гораздо деятельнее и успешнее империалистов. Там слышны ленивые выстрелы: те осаждают, чтоб истребить осажденных, а эти – чтобы продлить их существование.

Наши проникли-таки потом в лагерь, в обществе английских офицеров, и видели груды жареных свиней, кур, лепешек и т. п., принесенных в жертву пушкам и расставленных у жерл.

Осаждающие могли бы, конечно, помешать снабжению города съестными припасами, если б сами имели больше свободы, нежели осажденные. Но они не смеют почти показываться из лагеря, тогда как мы видели ежедневно инсургентов, свободно разгуливавших по европейскому городу. У этих и костюм другой: лба уже они не бреют, как униженного, введенного манчжурами обычая. Но и тех и других англичане и американцы держат в руках. Посыет видел, как два всадника, возвращаясь из города в лагерь, проехали по земле, отведенной для прогулок англичанам, и как английский офицер с "Спартана" поколотил их обоих палкой за это, так что один свалился с лошади. Ров и стена, где торгуют разносчики, обращены к городу; и если б одно ядро попало в европейский квартал, тогда и осажденные и осаждающие не разделились бы с консулами. Одно и так попало нечаянно в колеса французского парохода: командир хотел открыть огонь по городу. Не знаю, как уладили дело.

Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтоб было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним. К нам повадился ходить в отель офицер, не флотский, а морских войск, с "Спартана", молодой человек лет двадцати: он, кажется, тоже не прочь от приключений. Его звали Стокс; он беспрестанно ходил и в осажденный город, и в лагерь. Мы с ним гуляли по улицам, и если впереди нас шел китаец и, не замечая нас, долго не сторонился с дороги, Стокс без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону. Китаец сначала оторопеет, потом с улыбкой подавленного негодования посмотрит вслед. А нет, конечно, народа смирнее, покорнее и учтивее китайца, исключая кантонских: те, как и всякая чернь в больших городах, груба и бурлива. А здесь я не видал насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца: на лицах видишь почтительное и робкое внимание. Англичане вот как платят за это: на их же счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы! Наш хозяин, Дональд, конечно плюгавейший из англичан, вероятно нищий в Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир, без

видов на успех, – и этот Дональд, сказывал Тихменев, так бил одного из китайцев, слуг своего трактира, что "меня даже жалость взяла", – прибавил добрый Петр Александрович.

Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать: не китайцы ли англичан своею вежливостью, кротостью да и умением торговать тоже.

Полюбовавшись на осаду продавцов, мы пошли по берегу рва искать дом французского консула и французский магазин. Утром шел дождь, и ноги вязли в клейкой грязи. Мы кое-как выбрались к мостику, видели веющий над кучей кровель французский флаг, и всё не знали, как попасть к нему. Мы остановились в нерешительности у мостика, подле большого каменного европейского дома с настежь отворенными воротами. Я вошел на двор, отворил дверь в дом и очутился в светлом, чистом, прекрасном магазине, похожем на все европейские столичные магазины. "Где это я?" – спросил я вслух. "Во французском магазине Реми", – отвечал забравшийся туда прежде нас Гошкевич. Ко мне подошел пожилой, невысокий брюнет и заговорил по-французски.

– Посмотрите-ка на хозяина, – сказал мне Гошкевич по-русски. Я посмотрел.

– А что?

– Разве не видите?

– Вижу... Да что такое?

– Жид! – отвечал он.

Из этого очерка одного из пяти открытых англичанам портов вы никак не заключите, какую блистательную роль играет теперь, и будет играть еще со временем, Шанхай! И в настоящее время он в здешних морях затмил колоссальными цифрами своих торговых оборотов Гонконг, Кантон, Сидней и занял первое место после Калькутты, или Калькатты, как ее называют англичане. А всё опиум! За него китайцы отдают свой чай, шелк, металлы, лекарственные, красильные вещества, пот, кровь, энергию, ум, всю жизнь. Англичане и американцы хладнокровно берут всё это, обращают в деньги и так же хладнокровно переносят старый, уже заглухнувший упрек за опиум. Они, не краснея, слушают его и ссылаются одни на других. Английское правительство молчит – одно, что остается ему делать, потому что многие стоящие во главе правления лица сами разводят мак на индийских своих плантациях, сами снаряжают корабли и шлют в Янсекия. За 16-ть миль до Шанхая, в Вусуне, стоит целый флот так называемых опиумных судов. Там складочное место отравы. Другие суда привозят и сгружают, а эти только сбывают груз. Торг этот запрещен, даже проклят китайским правительством; но что толку в проклятии без силы? В таможеню опиума, разумеется, не повезут, но если кто провезет тайком, тому, кроме огромных барышей, ничего не достается.

Мало толку правительству и от здешней таможни, даром что таможенные чиновники заседают в том же здании, где заседал прежде Будда, то есть в кумирне. Китайцы с жадностью кидаются на опиум и быстро сбывают товар внутрь. Китайское правительство имеет право осматривать товар на судах только тогда, когда уверено, что найдет его там. А оно никогда не найдет, потому что подкупленные агенты всегда умеют заблаговременно предупредить хозяина, и груз бросят в реку или свезут: тогда правительство, за фальшивое подозрение, не разделается с иностранцами, и оттого осмотра никогда не бывает. Английское правительство оправдывается тем, что оно не властно запретить сеять в Индии мак, а присматривать-де за неводворением опиума в Китай – не его дело, а обязанность китайского правительства. Это говорит то же самое правительство, которое участвует в святом союзе против торга неграми!

Но что понапрасну бросать еще один слабый камень в зло, в которое брошена бесполезно тысяча? Не странно ли: дело так ясно, что и спору не подлежит; обвиняемая сторона молчит, сознавая преступление, и суд изречен, а приговора исполнить некому!

Бесстыдство этого скотолобивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара, какой бы он ни был, хоть яд! Другой пример меркантильности англичан еще разительнее: не будь у кафров ружей и пороха, англичане одною войной навсегда положили бы предел их грабегам и возмущениям. Поэтому и запрещено, под

смертной казнью, привозить им порох; между тем кафры продолжали действовать огнестрельным оружием. Долго не подозревали, откуда они берут военные припасы; да однажды, на пути от одного из портов, взорвало несколько ящиков с порохом, который везли вместе с прочими товарами к кабрам – с английских же судов! Они возили это угощение для своих же соотечественников: это уж – из рук вон – торговая нация!

Страшно и сказать вам итог здешней торговли. Тридцать пять лет назад в целый Китай привозилось европейцами товаров всего на сумму около пятнадцати миллионов серебром. Из этого опиум составлял немного более четвертой части. Лет двенадцать назад, еще до китайской войны, привоз увеличился вдвое, то есть более, нежели на сумму тридцать миллионов серебром, и привоз опиума составлял уже четыре пятых и только одну пятую других товаров. Это в целом Китае. А теперь гораздо больше привозится в один Шанхай. Шанхай играет бесспорно первостепенную роль в китайской торговле. Он возвысился не на счет соседних городов: Аомя, Нинпо и Фу-Чу-Фу; эти места имели свой круг деятельности, свой род товаров, и всё это имеют до сих пор.

Но Кантон и Гонконг не могли не потерять отчасти своего значения с тех пор, как открылась торговля на севере. Многие произведения северного края нашли ближайшую точку отправления, и приток их к этим двум местам уменьшился. Но опасение насчет предполагаемого совершенного упадка – неосновательно. Заклучая в своих стенах около миллиона жителей и не один десяток в подведомственных ему и близлежащих областях, Кантон будет всегда служить рынком для этих жителей, которым нет надобности искать работы и сбыта товаров в других местах. Притом он мануфактурный город: нелегко широкий приток товаров его к южному порту поворотить в другую сторону, особенно когда этот порт имеет еще на своей стороне право старшинства. Гонконг тоже не падет от возвышения Шанхая, а только потеряет несколько и потерял уже как складочное место: теперь многие суда обращаются непосредственно в Шанхай, тогда как прежде обращались, с грузами или за грузами, в Гонконг.

Причины возвышения Шанхая заключаются в выгодном его географическом положении на огромной реке, на которой выше его лежит несколько многолюдных торговых мануфактурных городов, между прочим Нанкин и Сучеу-Фу. Шанхай сам по себе ничтожное место по народонаселению; в нем всего (было до осады) до трехсот тысяч жителей: это мало для китайского города, но он служил торговым предместьем этим городам и особенно провинциям, где родится лучший шелк и чай – две самые важные статьи, которыми пока расплачивается Китай за бумажные, шерстяные и другие европейские и американские изделия. Только торговля опиумом производится на звонкую, больше на серебряную, монету.

Один из новых путешественников, именно г-н Нопич, сделавший путешествие вокруг света на датском корвете "Галатея", под командою г-на Стен-Билля, издал в особой книге собранные им сведения о торговле посещенных им мест. Это добросовестный и полезный труд. Хотя Нопич был в Китае в 1847-1848 годах, а с тех пор торговая статистика много изменилась, особенно в итогах, но некоторые общие выводы и данные сохраняют силу до сих пор. Между прочим, нельзя не привести дельного его совета: при отправлении товаров в Китай строго сообразоваться со вкусом и привычками китайцев: сукна, например, и прочие подобные изделия должны быть изготовляемы по любимым их образцам, известных цветов, известной меры. Он даже дает мелочные, но полезные наставления, как укладывать материи, какими ярлыками снабжать и т. п. Советует еще не потчевать китайцев образчиками, с обещанием, если понравится товар, привезти в другой раз: "Китайцы, – говорит он, – любят, увидевши вещь, купить тотчас же, если она приходится по вкусу".

Теперь, по случаю волнений в Китае, торговля стонет, кризис в полном разгаре. Далеко отзовется этот удар, нанесенный торговле; его, как удар землетрясения, почувствуют Гонконг, Сингапур, Индия, Англия и Соединенные Штаты. Хотя торг, особенно опиумом, не прекратился, но все китайские капиталисты разбежались, ушли внутрь, и сбыт производится лениво, сравнительно с прежним, и все-таки громадно само по себе. В самом Шанхае лавки и

дома заперты, богатые купцы выбрались, а оставшиеся заплатили контрибуцию инсургентам. Один из этих купцов оказался католиком и был обложен пошлиною в восемьдесят тысяч испанских пиастров; но дело кончилось, кажется, на шести или семи тысячах.

Суда, хотя и не в прежнем числе, продолжают подвозить товары в город и окрестности мимо таможи. Таутай, однако ж, протестовал против явного нарушения таможенных правил и отнесся к английскому консулу, требуя уплаты пошлин. Тот отвечал, что он не знает, имеет ли право местная власть требовать пошлин, когда она не в силах ограждать торговлю, о которой купцы должны заботиться сами. Во всяком случае решение дела оставлено до конца войны, а конца войны не предвидится, судя по началу; по крайней мере шанхайская война скоро не кончится.

В Нанкине, лежащем повыше на Янсекияне, теперь главный пункт инсургентов. Там же живет и главный начальник их и вместе претендент на престол Тайпин-Ван. Нанкинские инсургенты считают Шанхай слишком ничтожным пунктом и оттого не посылают туда подкрепления. Французский полномочный Бурбулон ездил, со свитою, на пароходе в Нанкин: Тайпин-Ван не принял его, а предоставил видеться с ним своему секретарю. На вопрос француза, как намерено действовать новое правительство, если оно утвердится, Тайпин-Ван отвечал, что подданные его, как христиане, приходится европейцам братьями и будут действовать в этом смысле, но что обязательствами себя никакими не связывают. Тот так и воротился, с чем поехал. Но ответ этот принят европейцами глубоко к сведению. Вся эта восставшая сволочь объявляет себя христианами. Христианство это водворено протестантами или пробравшимися с востока несторианами и смешалось с буддизмом.

Впрочем, оно пробирается туда всеми возможными путями. И знаете ли, что содействует его водворению? религиозный индифферентизм китайцев! У них нет фанатизма, они не заразились им даже от буддистов. Учение Конфуция – не религия, а просто обиходная нравственность, практическая философия, не мешающая никакой религии. Католическое духовенство, правда, не встретит в массе китайского народа той пылкости, какой оно требует от своих последователей, разве этот народ перевоспитается совсем, но этого долго ждать; зато не встретит и не встречает до сих пор и фанатического сопротивления, а только ленивое, систематическое противодействие со стороны правительства как политическую предосторожность.

Практическому и промышленному духу китайцев, кажется, более по плечу дух протестантской, нежели католической, проповеди. Протестанты начали торговлей и привели напоследок религию. Китайцы обрадовались первой и незаметно принимают вторую, которая ни в чем им не мешает. Католики, напротив, начинают религией и хотят преподавать ее сразу, со всею ее чистотою и бескорыстным поклонением, тогда как у китайцев не было до сих пор ничего, похожего на религиозную идею. Есть у них, правда, поклонение небесным духам, но это поклонение не только не вменяется в долг народной массе, но составляет, как я уже, кажется, заметил однажды, привилегию и обязанность только богдыхана.

Мне в Шанхае подарили три книги на китайском языке: Новый завет, географию и Езоповы басни – это забота протестантских миссионеров. Они переводят и печатают книги в Лондоне – страшно сказать, в каком числе экземпляров: в миллионах, привозят в Китай и раздают даром. Мне называли имя английского богача, который пожертвовал вместе с другими огромные суммы на эти издания. Медгорст – один из самых деятельных миссионеров: он живет тридцать лет в Китае и беспрерывно подвигается в пользу распространения христианства; переводит европейские книги на китайский язык, ездит из места на место. Он теперь живет в Шанхае. Наши синологи были у него и приобрели много изданных им книг, довольно редких в Европе. Некоторые он им подарил.

Одно заставляет бояться за успех христианства: это соперничество между распространителями; оно, к сожалению, отчасти уже существует. Католические миссионеры запрещают своим ученикам иметь книги, издаваемые протестантами, которые привезли и

роздали, между прочим в Шанхае, несколько десятков тысяч своих изданий. Издания эти достались большею частью китайцам-католикам, и они принесли их своим наставникам, а те сожгли.

Был уже седьмой час, когда я и Крюднер стали собираться обедать к американскому консулу. Надо было бриться, одеваться, и всё это в холоде, в тесноте, на бивуаках. "Вы, верно, мои бритвы взяли?" – скажет мне Крюднер, шаря по всем углам. "Нет, не брал; а вот вы не надели ли мои сапоги: я что-то не вижу их? Тут их целая куча лежала, а теперь нет". Тяжело кажется без слуги доставать платье из глубины туго набитого чемодана. "Ну уж эти путешествия!" – слышится из соседней комнаты, где такой же труженик, как мы, собирался тоже на обед и собственноручно, охая, со стоном, чистит фрак. Щетка вырывается из непривычных рук вместе с платьем и, сопровождаемая бранью, падает на пол.

Мы пришли в самую пору, то есть последние. В гостиной собралось человек восемь. Кроме нас четверых или пятерых тут были командиры английских и американских судов и еще какие-то негоцианты да молодые люди, служащие в конторе Каннингама, тоже будущие негоцианты.

Стол был заставлен блюдами. "Кому есть всю эту массу мяса, птиц, рыб?" – вот вопрос, который представится каждому неангличанину и неамериканцу. Но надо знать, что в Англии и в Соединенных Штатах для слуг особенного стола не готовится; они едят то же самое, что и господа, оттого нечего удивляться, что чуть не целые быки и бараны подаются на стол.

Кругом по столу ходили постоянно три графина, с портвейном, хересом и мадерой, и останавливались на минуту перед каждым гостем. Всякий нальет себе, чего ему вздумается. Шампанское человек разносил в течение целого обеда и наливал сейчас же, как только заметит у кого-нибудь пустую рюмку. "Господин Каннингхам желает выпить с вами рюмку вина", – сказал чисто по-английски, наливая мне шампанского, китаец, одетый очень порядочно и похожий в своем костюме немного на наших богатых ярославских баб. Он говорил это почти каждому гостю. Выпить с кем-нибудь рюмку вина – значит поднять свою рюмку, показать ее тому, с кем пьешь, а он покажет свою, потом оба кивнут друг другу и выпьют. Через минуту соседи мои стали пить со мной по рюмке, а там пошло наперекрест, кто с кем хотел.

Это была бы сушая напасть для непьющих, если б надо было выпивать по целой рюмке; но никто не обязывается к этому. Надо только налить или долить рюмку, а выпить можно хоть каплю.

Вино у Каннингама, разумеется, было прекрасное; ему привозили из Европы. Вообще же в продаже в этих местах, то есть в Сингапуре, Гонконге и Шанхае, вина никуда не годятся. Херес, мадера и портвейн сильно приправлены алкоголем, заглушающим нежный букет вин Пиренейского полуострова. Да их большею частью возят не оттуда, а с мыса Доброй Надежды. Шампанское идет из Америки и просто никуда не годится. Это американское шампанское свирепствует на Сандвичевых островах и вот теперь проникло в Китай.

Всё убрали, кроме вина, и поставили десерт: всё то же, что и в трактире, то есть гранаты, сухие фиги, или жужубы, орехи, мандарины, пампль-мусс и, наконец, те маленькие апельсины или померанцы, которые я так неудачно попробовал на базаре. "Разве это едят?" – спросил я своего соседа. "Yes, o yes!" – отвечал он, взял один померанец, срезал верхушку, выдавил всю внутренность, с косточками, на тарелку, а пустую кожу съел. "Что такое, разве это хорошо?" – "Попробуйте!" Я попробовал: кожа сладкая и ароматическая, между тем как внутри кисло. Всё навыворот: у фруктов едят кожу, а внутренность бросают!

Я дал сильный промах и едва-едва поправился. Подали кофе и сигары.

– Мне очень нравятся английские обычаи, – сказал я, – по окончании обеда остаются за столом, едят фрукты, пьют вино, курят и разговаривают...

– У англичан не курят, – живо перебил мой сосед, – это наш обычай.

Я смотрю на него, что он такое говорит. Я попался: он не англичанин, я в гостях у американцев, а хвалю англичан. Сидевший напротив меня барон Крюднер закашлялся своим

смехом. Но кто ж их разберет: говорят, молятся, едят одинаково и одинаково ненавидят друг друга!

После обеда нас повели в особые галереи играть на бильярде. Хозяин и некоторые гости, узнав, что мы собираемся играть русскую, пятишаровую партию, пришли было посмотреть, что это такое, но как мы с Посьетом в течение получаса не сделали ни одного шара, то они постояли да и ушли, составив себе, вероятно, не совсем выгодное понятие о русской партии.

Третий, пятый, десятый и так далее дни текли однообразно. Мы читали, гуляли, рассеянно слушали пальбу инсургентов и империалистов, обедали три раза в день, переделали все свои дела, отправили почту, и, между прочим, адмирал отправил курьером в Петербург лейтенанта Кроуна с донесениями, образчиками товаров и прочими результатами нашего путешествия до сих мест. Стало скучно. "Куда бы нибудь в другое место пора! – твердили мы. – Всех здесь знаем, и все знают нас. Со всеми кланяемся и разговариваем".

Утром 6-го декабря, в самый зимний и самый великолепный солнечный день, с 15^е тепла, собрались мы вчетвером гулять на целый день: отец Аввакум, В. А. Корсаков, Посьет и я. Мы долго шли берегом до самого дока, против которого стояла шкуна. На плоту переехали рукав Вусуна, там же переезжало много китайцев на другом плоту. Какой-то старый купец хотел прыгнуть к нам на плот, когда этот отвалил уже от берега, но не попал и бухнулся в воду, к общему удовольствию собравшейся на берегу публики. Старик держал за руку сына или внука, мальчика лет семи: и тот упал. "Тата, тата (тятя)!" – кричал он в воде. Посьет, пылкий мой сосед, являющийся всегда, когда надо помочь кому-нибудь, явился и тут и вытащил мальчика, а другие – старика.

Мы заехали на шкуну. Там, у борта, застали большую китайскую лодку с разными безделками: резными вещами из дерева, вазами, тростями из бамбука, каменными изваяниями идолов и т. п. Я хотя и старался пройти мимо искушения, закрыв глаза и уши, однако купил этих пустяков долларов на десять. Мы слегка позавтракали на шкуне и, воротясь на берег, прошли чрез док. Док без шлюз, а просто с проходом, который закладывается илом, когда судно впускают туда; а надо выпустить – ил выкидывается на берег, в кучу: работа нелегкая! Но что значит труд для китайцев? Док принадлежит частному человеку, англичанину кажется. Большое пространство около дока завалено камфарными деревьями, необыкновенно длинными и толстыми. Этот лес идет на разные корабельные надобности.

Оттуда мы вышли в слободку, окружающую док, и по узенькой улице, наполненной лавчонками, дымящимися харчевнями, толпящимся, продающим, покупающим народом, вышли на речку, прошли чрез съестной рынок, кое-где останавливаясь. Видели какие-то неизвестные нам фрукты или овощи, темные, сухие, немного похожие видом на каштаны, но с рожками. Отец Аввакум указал еще на орехи, называя их "водяными грушами".

В. А. Корсаков, который способен есть всё не морщась, что попадет под руку, – китовину, сивуча, что хотите, пробует всё с редким самоотвержением и не нахвалится. Много разных подобных лакомств, орехов, пряников, пастил и т. п. продается на китайских улицах.

С речки мы повернули направо и углубились в поля. Точно залы, а не нивы. Мы шли по маленьким, возвышающимся над нивами тропинкам, которые разграничивают поля. На межах растут большие деревья. Деревень нет, всё фермы. Каждый крестьянин живет отдельно в огороженном доме, среди своего поля, которое и обрабатывает. Похоже на Англию. На многих полях видели надгробные памятники, то чересчур простые, то слишком затейливые. Больше всего квадратные или продолговатые камни, а на одном поле видели изваянные, из белого камня, группы лошадей и всадников. Грубо сделано. Надо вспомнить, что и за артисты работают эти вещи!

Пробираясь чрез большое поле гуськом, по узенькой тропинке, мы вдруг остановились все четверо. Вдали шла процессия: носильщики несли... сундук не сундук – "гроб", – сказал кто-то. Мы бросились в ту же сторону: она остановилась на одном поле. За гробом шло

несколько женщин, все в широких белых платьях, повязанные белыми же платками, несколько детей и собака. Носильщики поставили гроб, женщины выли, или "вопили", как говорят у нас в деревнях. Четыре из них делали это равнодушно, как будто по долгу приличия, а может быть, они были и нанятые плакальщицы; зато пятая, пожилая, заливалась горькими слезами. Те, заметя нас, застыдились и понизили голоса; дети робко смотрели на гроб; собака с повисшим хвостом, увидя нас, тихо заворчала. Пятая женщина не обращала ни на что внимания; она была поглощена горем. Рыдая, она что-то приговаривала; мы, конечно, не понимали слов, но язык скорби один везде. Она бросалась на гроб, обнимала его руками, клала на него голову, на минуту умолкала, потом со стоном начинала опять свою плачевную песнь. Тяжело было смотреть: мы еще скорее пошли прочь, нежели пришли, но нас далеко провожал голос ее, прерываемый всхлипываниями и рыданиями. На месте, где поставили гроб, не было могилы. Китайцы сначала оставляют гробы просто, иногда даже открытыми, и потом уже хоронят.

Мы шли по полям, засеянным разными овощами. Фермы рассеяны саженьях во ста пятидесяти или двухстах друг от друга. Заглядывали в дома; "Чинь-чинь", – говорили мы жителям: они улыбались и просили войти. Из дверей одной фермы выглянул китаец, седой, в очках с огромными круглыми стеклами, державшихся только на носу. В руках у него была книга. Отец Аввакум взял у него книгу, снял с его носа очки, надел на свой и стал читать вслух по-китайски, как по-русски. Китаец и рот разинул. Книга была – Конфуций.

Мы пошли обратно к городу, по временам останавливаясь и любясь яркой зеленью посевов и правильно изрезанными полями, засеянными рисом и хлопчатобумажными кустарниками, которые очень некрасивы без бумаги: просто сухие, черные прутья, какие остаются на выжженном месте. Голоногие китайцы, стоя по колено в воде, вытаскивали пучки рисовых колосьев и пересаживали их на другое место.

В предместье мы опять очутились в чаду китайской городской жизни; опять охватили нас разные запахи, в ушах раздавались крики разносчиков, трещанье и шипенье кухни, хлопанье на бумагопрядильнях. Ах, какая духота! вон, вон, скорей на чистоту, мимо интересных сцен! Однако ж я успел заметить, что у одной лавки купец, со всеми признаками неги, сидел на улице, зажмурив глаза, а жена чесала ему седую косу. Другие у лавок ели, брились.

Подходя к перевозу, мы остановились посмотреть прелюбопытную машину, которая качала из бассейна воду вверх на террасы для орошения полей. Это – длинная, движущаяся на своей оси лестница, ступеньки которой загребали воду и тащили вверх. Машину приводила в движение корова, ходя по вороту кругом. Здесь, как в Японии, говядину не едят: не достало бы мест для пастбищ; скота держат столько, сколько нужно для работы, от этого и коровы не избавлены от ярма.

Мы скучно и беспечно жили до 15-го декабря, как вдруг получены были с почтой известия о близком разрыве с западными державами. С часу на час ждали парохода с ост-индской почтой; и если б она пришла с известием о войне, нашу шкуну могли бы захватить английские военные суда. Наш 52-пушечный фрегат и 20-пушечный корвет, конечно, сильнее здешних судов, но они за 90 миль, а в Вусун войти, по мелководью, не могут. Командиру шкуны и бывшим в Шанхае офицерам отдано было приказание торопиться к Saddle Islands для соединения с отрядом. Мне предоставлено на волю: остаться или воротиться потом на китайской лодке. Это крытые и большие лодки из бамбука, гладкие, лакированные, с резьбой и разными украшениями. Но ехать на них девяносто миль – мученье: тесно и беспокойно, да и окатит соленой водой не один раз.

Я не знал, на что решиться, и мрачно сидел на своем чемодане, пока товарищи мои шумно выбирались из трактира. Кули приходили и выходили, таская поклажу. Все ушли; девятый час, а шкуне в 10 часу велено уйти. Многие из наших обедают у Каннингама, а другие отказались, в том числе и я. Это прощальный обед. Наконец я быстро собрался, позвал писаря нашего, который жил в трактире, для переписки бумаг, велел привести двух кули, и мы отправились.

Они на толстой бамбуковой жерди, с большими крашеными фонарями, понесли мой чемодан, покрикивая: "Аа-аа-аа". Я и писарь едва успевали следовать за ними. Пришли к пристани: темнота; ни души там, ни одной лодки. Кули крикнул: из кучи джонок слабо отозвался кто-то и замолчал, но никто не ехал. Кули обернулся в другую сторону и крикнул громче. Около одного судна послышалась возня и зашевелилось весло: плыла лодка. В это же время послышалось сильное движение весел и от джонок. Наконец мы поехали; всё темно; только река блистала от звезд, как стекло. Мы чрез полчаса едва добрались до шкуны. Вдали, в городе, поспаливали.

На шкуне битком набито народу: некоторым и сесть было негде. Но в Вусуне многие отделились на транспорт, и стало посвободнее. Спали на полу, по каютам, по лавкам – везде, где только можно. Я лег в капитанской каюте, где горой лежали ящики, узлы, чемоданы. Бараны и куры, натисканные в клетках, криком беспрестанно напоминали о себе. Между ними была пара живых фазанов, которые, вероятно, в первый раз попали в такое демократическое общество. Против меня лежал отец Аввакум. Он, видно, рассуждал о чем-нибудь, хотел, кажется, сказать что-то, да не успел и заснул. На лице осталось раздумье, рот отворен, он опирается на локоть и табакерка в руке. "Непременно упадет, – думал я, – лишь только качнет посильнее". А покачивало. Я всё ждал, как это случится, да и сам заснул. Впросонках видел, как пришел Крюднер, посмотрел на нас, на оставленное ему место, втрое меньше того, что ему нужно по его росту, подумал и лег, положив ноги на пол, а голову куда-то, кажется, на полку. Пришел П. А. Тихменев, учтиво попросил у нас позволения лечь на полу! "Надеюсь, что вы позволите мне, – начал он, по своему обыкновению, красноречиво, – занять местечко: я не намерен никого обременять, но в подобном случае теснота неизбежна, и потому" и т. д. Ему никто не ответил, все спали или дремали; он вздохнул, разостлал какую-то кожу, потом свое пальто и лег с явным прискорбием. Утром он горько жаловался мне, что мое одеяло падало ему на голову и щекотало по лицу.

Лишь только вышли за бар, в открытое море, Гошкевич отдал обычную свою дань океану; глядя на него, то же сделал, с великим неудовольствием, отец Аввакум. Из неморяков меня только одного ни разу не потревожила морская болезнь: я не испытал и не понял ее.

К вечеру мы завидели наши качающиеся на рейде суда, а часов в семь бросили якорь и были у себя – дома. Дома! Что называется иногда домом? Какая насмешка!

Прощайте! Не сетуйте, если это письмо покажется вам вяло, скудно наблюдениями или фактами и сухо; пеняйте столько же на меня, сколько и на Янсекия и его берега: они тоже скудны и незанимательны, нельзя сказать только сухи; немудрено, что они так отразились и в моем письме.

III

РУССКИЕ В ЯПОНИИ

Взаимные подарки. – Новые лица. – Известия о японских полномочных. – Условия свидания с ними. – Новый год. – Опять поезд в Нагасаки. – Салют. – Полномочные и оба губернатора. – Приветствия; обед; разговоры. – Междометия. – Посещение полномочными фрегата. – Встреча; обед. – Подарки. – Японские сабли. – Парадный прием и обед у японцев. – Подарки от сиюгуна. – Письма от верховного совета. – Частые поездки в Нагасаки для конференции. – Японский Новый год. – Вторичное посещение фрегата полномочными. – Прощальный обед у них. – Отплытие.

Опять нагасакский рейд.

Четверо суток шли мы назад, от Saddle Islands, домой – так называли мы Нагасаки, где обжились в три месяца, как дома, хотя и рассчитывали прийти в два дня. Но мы не рассчитывали на противный ветер, а он продержал нас часов сорок почти на одном месте. На этом коротеньком переходе не случилось ничего особенного. Я не упоминаю о качке: и это не особенное в море. В конце четвертых суток увидели острова Гото, потом всё скрылось в темноте. До сих пор хлопотали, как бы скорее прийти, а тут начали стараться не приходить скоро. Убавили парусов и стали делать около пяти миль в час, чтобы у входа быть не прежде рассвета. Мы незаметно подкрались к Нагасаки.

Рано утром услышал я шум, топот; по временам мелькала в мое окошечко облитая солнцем зеленая вершина знакомого холма. Фаддеев принес чай и сказал, что японец приезжал уж с бумагой, с которой, по форме, является на каждое иностранное судно. "Да мы на якоре, что ли?" – спросил я. "Никак нет еще". – "Ведь мы на рейде?" – "Точно так". – "За чем же дело стало?" – "Лавируем: противный ветер, не подошли с полверсты". Но вот и дошли, вот раздалась команда "Из бухты вон!", потом "Якорь отдать!" Стали; я вышел на палубу.

Немного холодно, как у нас в сентябрьский день с солнцем, но тихо. Нагасакский ковш синее, как само небо; вода чуть-чуть плещется. Холмы те же, да не те: бурые, будто выжженные солнцем. Такие точно в прошлом году, месяцем позже, явились мне горы Мадеры. И здесь, как там, молодая зелень проглядывает местами, но какая разница! Там цветущие сады, плющ и виноград вьются фестонами по стенам, цветы стыдливо выглядывают из-за заборов, в январе веет теплый воздух, растворенный кипарисом, миртом и элиотропом; там храмы, виллы, вина, женщины – полная жизнь! Здесь – огороды с редькой и морковью, заборы, но без цветов, деревянные кумирни, а не храмы, вместо вина – саки; есть и женщины, но какие? Первая страница жизни – и вдобавок холод!

Опять пошло по-прежнему. Вот и японцы едут: баниосы; с ними Съоза. Они приехали поздравить с приездом. Поговорив с Посыетом в капитанской каюте, явились на ют к адмиралу, с почтением. Ойе-Саброски, с детским личиком своим, был тут старший. Присев перед адмиралом, он уж искал вокруг глазами, как бы спалить что-нибудь. "А! Гончаров! Гончаров!" – закричал он детским голосом, увидев меня, и засмеялся; но его остановил серьезный вопрос: "Тут ли полномочные?" – "Будут, чрез три дня", – отвечал он чрез Съозу. "Если не будут, – приказано было прибавить, – мы идем, куда располагали, в Едо. Время дорого, и терять его не станем. Полномочные, может быть, уж здесь, да вы не хотите нам сказать". – "Нет, их нет", – начали они уверять. Угроза так подействовала на них, что они сейчас же скрылись.

Вечером я читал у себя в каюте: слышу, за стеной как будто колют лучину. "Что там?" – спрашиваю. "Да японцы тут". – "Опять? Кто ж это лучину ломает?" Это разговаривает Кичибе. Я пошел в капитанскую каюту и застал там Эйноске, Кичибе, старшего из баниосов, Хагивари Матаса, опять Ойе-Саброски и еще двух подставных: всё знакомые лица. "Здравствуй, Эйноске! Здравствуй, Кичибе!" Кичибе загорланил мое имя, Эйноске подал руку, Ойе засмеялся, а Хагивари потупился, как бык, и подал мне кулак. Тут же был и тот подставной баниос, который однажды так ласково, как добрая тетка, смотрел на меня.

Их повели к адмиралу. "Губернаторы приказали кланяться и поздравить с благополучным приездом", – сказал Хагивари. Кичибе четыре раза повернулся на стуле, крикнул и начал давиться смехом, произнося каждый слог отдельно. "Благодарите губернаторов за внимание", – отвечали им. Кичибе перевел ответ: все четыре бритые головы баниосов наклонились разом. Опять Хагивари сказал что-то. "Их превосходительства, губернаторы, приказали осведомиться о здоровье", – переводил Кичибе. "Благодарите. Надеемся, что и они здоровы", – приказано отвечать. Поклон и ответ: "Совершенно здоровы". – "Губернаторы желают, – продолжал Кичибе, – чтобы впредь здоровье

полномочного было удовлетворительно". Им пожелали того же самого.

Бог знает, когда бы кончился этот разговор, если б баниосам не подали наливки и не повторили вопрос: тут ли полномочные? Они объявили, что полномочных нет и что они будут не чрез три дня, как ошибкой сказали нам утром, а чрез пять, и притом эти пять дней надо считать с 8-го или 9-го декабря... Им не дали договорить. "Если в субботу, – сказано им (а это было в среду), – они не приедут, то мы уйдем". Они стали торговаться, упрашивать подождать только до их приезда, "а там делайте, как хотите", – прибавили они.

Очевидно, что губернатору велено удержать нас, и он ждал высших лиц, чтобы сложить с себя ответственность во всем, что бы мы ни предприняли. Впрочем, положительно сказать ничего нельзя: может быть, полномочные и действительно тут – как добраться до истины? все средства к обману на их стороне. Они могут сказать нам, что один какой-нибудь полномочный заболел в дороге и что трое не могут начать дела без него и т. п., – поверить их невозможно.

Мы еще с утра потребовали у них воды и провизии в таком количестве, чтоб нам стало надолго, если б мы пошли в Едо. Баниосы привезли с собой много живности, овощей, фруктов и – не ящики, а целые сундуки конфет, в подарок от губернаторов. Им заметили, что уж раз было отказано в принятии подарка, потому что губернатор не хотел сам принимать от нас ничего. Начались опять упрасиванья. Кичибе вылезал совсем из своих халатов, которых, по случаю зимы, было на нем до пяти, чтоб убедить, но напрасно. Провизию велено было сгрузить назад в шлюпки.

Тогда переводчики попросили позволения съездить к губернаторам узнать их ответ. Баниосы остались. Им показывали картинки, заводили маленький орган, всячески старались занять их, а между тем губернаторский подарок пирамидой лежал на палубе. Свиньи, с связанными ногами, делали отчаянные усилия встать и издавали пронзительный визг; петухи, битком набитые в плетеную корзинку, дрались между собою, несмотря на тесноту; куры неистово кудахтали. По палубе носился запах чеснока, редьки и апельсинов. "Хи, хи, хи!" – твердил по-прежнему в каюте Кичибе, а Эйноске тихим, вкрадчивым голосом расспрашивал меня английским ломаным языком, где мы были. "В Китае", – сказал я. "Что видели?" – "Много, между прочим войну инсургентов с империалистами". – "А еще?" – "Еще..." Я знал, чего он добивается, но мне хотелось помучить его. "Еще американцев", – сказал я. "Кого же?" – живо перебил он. "Коммодора Перри..." – "Коммодора Перри?.." – повторил он еще живее. "Не видали, а видели капитана американского корвета "Саратога"!" – "Саратога"!" Всё это знакомые японцам имена судов, бывших в Едо. "Где ж Перри? в Соединенных Штатах?" – спросил он, подвинув нос почти вплоть к моему носу. "Нет, не в Соединенных Штатах, а в Амое". – "В Амое?" – "Или в

Чрез полчаса он передал этот разговор Хагивари: я слышал названия: "Амой, Нинпо, Гонконг". Тот записал.

– Что бы вам съездить хоть в Шанхай, – сказал я Эйноске, – там бы вы увидели образчик европейского города.

– О да, – отвечал он, – мне бы хотелось больше: я желал бы ехать вокруг света. Эта мысль обольщает меня.

– Да вот в Россию поедем, – говорил я. – Какие города, храмы, дворцы! какое войско увидел бы там!

– В Россию нет, – живо перебил он, – там женщин нет!

– Кто это вам сказал? – заметил я, – как женщин нет: plenty (много)! Да вы женаты?

– Да; у меня есть десятилетняя дочка; на днях ей оспу прививали.

– Так что ж вам за дело до женщин? – спросил я.

Он усмехнулся. Каков японский Дон Жуан!

К вечеру пришло от губернатора согласие принять подарки. Насчет приезда полномочных опять просили дать срок, вместо субботы, до четверга, прибавив, что они имеют полное доверие от правительства и большие права. Это всё затем, чтобы заинтересовать нас их приездом. Баниосы сказали, что полномочные имеют до шестисот

человек свиты с собой и потому едут медленно и не все четверо вдруг, а по одному. На это приказано отвечать, что если губернатор поручится, что в четверг назначено будет свидание, тогда мы подождем, в противном случае уйдем в Едо.

Такое решение, по-видимому, очень обрадовало их; по этому можно было заключить, что если не все четверо, то хоть один полномочный да был тут.

Живо убрали с палубы привезенные от губернатора конфеты и провизию и занялись распределением подарков с нашей стороны. В этот же вечер с баниосами отправили только подарок первому губернатору, Овосаве Бунго-но: малахитовые столовые часы, с группой бронзовых фигур, да две хрустальные вазы. Кроме того, послали ликеров, хересу и несколько голов сахару. У них рафинаду нет, а есть только сахарный песок.

Надо было прибрать подарок другому губернатору, оппер-баниосам, двум старшим и всем младшим переводчикам, всего человекам двадцати.хлопот бездна: нужно было перевернуть весь трюм на транспорте, достать зеркала, сукна, материи, карманные часы и т. п., потом назначать, кому что. В этом предстояло немалое затруднение: всех главных лиц мы знали по имени, а прочих нет; их помнили только в лицо; оттого в списке у нас они значились под именами: косого, тощего, рябого, колченогого, а другие носили название некоторых наших земляков, на которых походили. Кое-как уладили и это. Дня два возились с подарками. Другому губернатору подарили трюмо, коврик и два разноцветные комнатные фонаря. Баниосам по зеркалу, еще сукна и материи на халаты. Никто не был забыт, кто чем-нибудь был полезен. Самым мелким чиновникам, под надзором которых возили воду и провизию, и тем дано было по халату и по какой-нибудь вещице.

Сукна у японцев нет, и не все они знают о его употреблении. Им нарочно дарили его, чтоб они узнали, что это такое, и привыкали носить. Потребность есть: зимой они носят по три, по четыре халата из льняной материи, которые не заменят и одного суконного. А простой народ ходит, когда солнце греет, совсем нагой, а в холод накидывает на плечи какую-то тряпицу. Жалко было смотреть на бедняков, как они, с обнаженной грудью, плечами и ногами, тряслись, посинелые от холода, ожидая часа по три на своих лодках, пока баниосы сидели в каюте.

Еще дарили им зеркала, вместо которых они употребляют полированный металл или даже фарфор; раздавали картинки, термометры, компасы, дамские несессеры – словом, всё, что могло возбудить любопытство и обратиться в потребность.

На другой день, 24-го числа, в Рождественский сочельник, погода была великолепная: трудно забыть такой день. Небо и море – это одна голубая масса; воздух теплый, без движения. Как хорош Нагасакский залив! И самые Нагасаки, облитые солнечным светом, походили на что-то путное. Между бурными холмами кое-где ярко зеленели молодые всходы нового посева риса, пшеницы или овощей. Поглядишь к морю – это бесконечная лазоревая пелена.

В этот день вместе с баниосами явился новый чиновник, по имени Синоуара Томотаро, принадлежащий к свите полномочных и приехавших будто бы вперед, а вернее, вместе с ними. Все они привезли уверение, что губернатор отвечает за свидание, то есть что оно состоится в четверг. Итак, мы остаемся.

Настала наконец самая любопытная эпоха нашего пребывания в Японии: завязывается путем дело, за которым прибыли, в одно время, экспедиции от двух государств. Мы толкуем, спорим между собой о том, что будет: верного вывода сделать нельзя с этим младенческим, отсталым, но лукавым народом. В одном из прежних писем я говорил о способе их действия: тут, как ни знай сердце человеческое, как ни будь опытен, а трудно действовать по обыкновенным законам ума и логики там, где нет ключа к мирозерцанию, нравственности и нравам народа, как трудно разговаривать на его языке, не имея грамматики и лексикона.

Вчера предупредили японцев, что нам должно быть отведено хорошее место, но ни одно из тех, которые они показывали прежде. Они были готовы к этому объяснению. Хагивари сейчас же вынул и план из-за пазухи и указал, где будет отведено место: подле города где-то.

"Там есть кумирня, – прибавил он, – бонзы на время выберутся оттуда". Кроме того, есть дом или два, откуда тоже выгоняют каких-то чиновников. Завтра К. Н. Посьет, по приказанию адмирала, едет осмотреть. Губернаторы, кажется, все силы употребляют угодить нам или по крайней мере показывают вид, что угождают. Совсем противное тому, что было три месяца назад! Впечатление, произведенное в Едо нашим прибытием, назначение оттуда, для переговоров с нами, высших сановников и, наконец, вероятно, данные губернаторам инструкции, как обходиться с нами, – всё это много сбавило спеси у их превосходительств.

Мы на этот раз подошли к Нагасаки так тихо в темноте, что нас с мыса Номо и не заметили и стали давать знать с батарей в город выстрелами о нашем приходе в то время, когда уже мы становились на якорь. Мы застали японцев врасплох. Ни одной караульной лодки не было на рейде; часа через три они стали было являться, и довольно близко от нас, но мы послали катер отбуксировать их дальше. Шкуна и транспорт вошли далеко в Нагасакский залив, и мы расположились, как у себя дома. Лодки исчезли и уже не появлялись более. Губернаторы предупреждают наши желания.

Сегодня, 26-го, чиновники приезжали опять благодарить за подарки и опять показывали план места. Их тоже поблагодарили за провизию.

Рождество у нас прошло, как будто мы были в России. Проводив японцев, отслушали всенощную, вчера обедню и молебствие, поздравили друг друга, потом обедали у адмирала. После играла музыка. Эйноске, видя всех в парадной форме, спросил, какой праздник. Хотя с ними избегали говорить о христианской религии, но я сказал ему (надо же приучать их понемногу ко всему нашему): затем сюда приехали.

Кажется, недалеко время, когда опять проникнет сюда слово Божие и водрузится крест, но так, что уже никакие силы не исторгнут его. Когда-то? Не даст ли Бог нам сделать хотя первый и робкий шаг к тому?хлопот будет немало с здешним правительством – так прочна (правительственная) система отчуждения от целого мира! Приняты все меры против сближения: нелегко познакомить народ с нашим бытом и склонить его на сторону европейцев. Пока нет приманки, нет и искушений: правительство понимает это и строго запрещает привоз всяких предметов роскоши, и особенно новых. Наших подарков не дали чиновникам в руки. Эйноске сказывал вчера, что список вещам отправляют в Едо, и если оттуда пришлют разрешение, тогда и раздадут их. На всё у них запрещение: сегодня Посьет дает баниосам серебряные часы, которые забыли отослать третьего дня в числе прочих подарков: чего бы, кажется, проще, как взять да прибавить к прочим? Нет, нельзя, надо губернатора спросить, а тот отнесется в совет, совет к сиогуну, тот к микадо – и пошло! Еще сказали им сегодня, что место поедут посмотреть с Посьетом трое вместо двоих, как сказано прежде. Опять сомнение и в этих пустяках: даже готовились, после долгих совещаний, отказать, да их не послушали.

И так во всем один неизменный порядок. Нарушить это, обратить их к здравому смыслу ничем другим нельзя, как только силой. Они долго не допустят свободно ходить по своим городам, ездить внутрь страны, заводить частные сношения, даже и тогда, когда решатся начать торговлю с иностранцами. Если теперь японцам уже нельзя подчинить эту торговлю таким же ограничениям, каким подчинены сношения с голландцами, то, с другой стороны, иностранцам нельзя добровольно склонить их действовать совершенно на европейский лад. Ни хитрость, ни убеждения – не помогут. Одна надежда на их трусость. Угроза со стороны европейцев и желание мира со стороны японцев помогут выторговать у них отмену некоторых стеснений. Словом, только внешние чрезвычайные обстоятельства, как я сказал прежде, могут потрясти их систему, хотя народ сам по себе и способен к реформам.

Сегодня, 28-го декабря русского стиля, приехали Хагивари, Ойе-Саброски и Сабро сказать, что полномочные прибыли. Эйноске и Кичибе и те были в парадных шелковых халатах, в новых кофтах (всегда черных) и в шелковых юбках. Первое свидание назначено в четверг. Адмирал желает, чтобы полномочные приехали на фрегат, так как он уже был на берегу и передал бумаги от своего правительства, – следовательно, теперь они, имея

сообщить адмиралу ответ, должны также привезти его сами. Но еще не решено, как это должно произойти.

Место видели: говорят, хорошо. С К. Н. Посыетом ездили: В. А. Римский-Корсаков, И. В. Фуругельм и К. И. Лосев. Место отведено на левом мысу, при выходе из пролива на внутренний рейд. Сегодня говорили баниосам, что надо фрегату подтянуться к берегу, чтоб недалеко было ездить туда. Опять затруднения, совещания и наконец всегдашний ответ: "Спросим губернатора".

Спросили и губернатора, тот говорит, что надо еще кое-что убрать, что чиновники и бонзы не перебрались оттуда. Вчера и сегодня шли толки о свидании. Адмирал объявил, что не останется в Нагасаки, если 1 (13) января не будет свидания. Он приказал сказать, что ждет полномочных к себе, а они отвечали, что просят к себе, говоря, что устали с дороги. Адмирал предложил им некоторые условия и, подозревая, что они не упустят случая, по обыкновению, промедлить, объявил, что дает им срок до вечера. Баниосы вечером приехали сказать, что полномочные согласны и просили дать им записку об этих условиях. Дали.

Сегодня, 30-го, просыпаемся, говорят, что Кичибе и Эйноске сидят у нас с шести часов утра, – вот как живо стали поворачиваться! Первому особенно – беда: "Люблю лежать и ничего не делать!" – твердит он. Приехали баниосы и привезли бумагу, на голландском и японском языках, в которой изъявлено согласие на все условия, за исключением только двух: что, 1-е, команда наша съедет на указанное место завтра же. Говорят: еще не совсем готово место и просят подождать три дня; 2-е, полномочные приедут не на другой день к нам, а через два дня.

Адмирал не взял на себя труда догадываться, зачем это, тем более что японцы верят в счастливые и несчастные дни, и согласился лучше поехать к ним, лишь бы за пустяками не медлить, а заняться делом.

Главные условия свидания состояли в том, чтобы один из полномочных встретил адмирала при входе в дом, чтобы при угощении обедом или завтраком присутствовали и они, а не как хотел Овосава: накормить без себя. Далее, что караул наш будет состоять из сорока человек, кроме музыкантов; офицеров будет втрое больше прежнего; что поедем мы на девяти шлюпках. Наконец, мы, с своей стороны, встретим полномочных у себя с должным почетом и, между прочим, будем салютовать пушечными выстрелами, если только они этого пожелают.

На последнее полномочные сказали, что дадут знать о салюте за день до своего приезда. Но адмирал решил, не дожидаясь ответа о том, примут ли они салют себе, салютовать своему флагу, как только наши катера отвалят от фрегата. То-то будет переполох у них! Всё остальное будет по-прежнему, то есть суда расцветятся флагами, люди станут по реям и – так далее.

1854 год

1 (13) января.

С Новым годом! Как вы проводили старый и встретили Новый год? Как всегда: собралось, по обыкновению, танцевали, шумели, играли в карты, потом зевнули не раз, ожидая боя полночи, поймали наконец вожаемую минуту и взялись за бокалы – всё одно, как пять, десять лет назад?

В первый раз в жизни случилось мне провести последний день старого года как-то иначе, непохоже ни на что прежнее. Я обедал в этот день у японских вельмож! Слушайте же, если вам не скучно, подробный рассказ обо всем, что я видел вчера. Не берусь одевать все вчерашние картины и сцены в их оригинальный и яркий колорит. Обещаю одно: верное, до

добродушия, сказание о том, как мы провели вчерашний день.

Назначено было отвалить нам от фрегата в одиннадцать часов утра. Но известно, что час и назначают затем, чтоб только знать, насколько приехать позже назначенного времени, – так заведено в хорошем обществе. И мы, как люди хорошего общества, отвалили в половине первого.

Вы улыбаетесь при слове "отваливать": в хорошем обществе оно не в ходу; но у нас здесь "отваливай" – фешенебельное слово.

Мы отвалили. Ехали на девяти шлюпках, которые растянулись на версту. Порядок тот же, как и в первую поездку в город, то есть впереди ехал капитан-лейтенант Посьет, на адмиральской гичке, чтоб встретить и расставить на берегу караул; далее, на баркасе, самый караул, в числе пятидесяти человек; за ним катер с музыкантами, потом катер со стульями и слугами; следующие два занимали офицеры: человек пятнадцать со всех судов. Наконец, адмиральский катер: на нем кроме самого адмирала помещались командиры со всех четырех судов: И. С. Унковский, капитан-лейтенанты Римский-Корсаков, Назимов и Фуругельм; лейтенант барон Крюднер, переводчик с китайского языка О. А. Гошкевич и ваш покорнейший слуга. Затем ехали два вельбота и еще гичка с некоторыми офицерами.

Люди стали по ряям и проводили нас, по-прежнему, троекратным "ура"; разноцветные флаги опять в одно мгновение развязались и пали на снасти, как внезапно брошенная сверху куча цветов. Музыка заиграла народный гимн. Впечатление было всё то же, что и в первый раз. Я ждал с нетерпением салюта: это была новость. Мне хотелось видеть, что японцы?

Да, я забыл сказать, что за полчаса до назначенного времени приехал, как и в первый раз, старший после губернатора в городе чиновник сказать, что полномочные ожидают нас. За ним, по японскому обычаю, тянулся целый хвост баниосов и прочего всякого чина. Чиновник выпил чашку чаю, две рюмки cherry brandy (вишневой наливки) и уехал.

Только японцы стали садиться на лодки, как адмирал поручил К. Н. Посьету сказать переводчикам, чтобы баниосы велели всем японским лодкам подальше отойти от фрегата: салютовать, дескать, будут. Заранее он извещать об этом не хотел, предвидя со стороны губернаторов возражения и просьбы не салютовать. Баниосы так и оцепенели от этой неожиданной новости. Один занес было ногу на трап, чтобы сойти, да и остался на несколько секунд с поднятой ногой. Вся толпа остановилась за ним, а старший чиновник сидел уж в своей лодке и ждал других. Очнувшись, баниос побежал к нему передать новость и тотчас же воротился с просьбою не салютовать, подождать, пока они дадут знать губернатору. Этого-то и не хотели. "Некогда, некогда, – торопили мы их, – поезжайте скорее, мы сейчас сами едем". Нейдут в лодки, да и только, всё стоят у трапа; упрашивают.

Мы предвидели смущение японцев и не могли удерживаться от смеха. Я слышу слово "misverstand"* от переводчика и подхожу узнать, что такое: он говорит, что на их батареях люди не предупреждены о салюте, и оттого выйдет недоразумение: станут, пожалуй, палить и они. "Нужды нет, пусть палят, – говорят им, – так и следует – отвечать на салют". Всё не решаются уходить. "Пора, пора, – торопили их, – сейчас будут палить: вон уж пошли по орудиям". Давно бы надо было сказать так. Раздалось такое дружное щелканье соломенных сандалий по трапу, какого еще, кажется, не было. Они уехали и увели с собой все лодки. * недоразумение – голл.

Тронулись с места и мы. Только зашли наши шлюпки за нос фрегата, как из бока последнего вырвался клуб дыма, грянул выстрел, и вдруг горы проснулись и разом затрепали эхом, как будто какой-нибудь гигант закатился хохотом. Другой выстрел, за ним выстрел на корвете, опять у нас, опять там: хохот в горах удвоился. Выстрелы повторялись: то раздавались на обоих судах в одно время, то перегоняли друг друга; горы выходили из себя, а губернаторы, вероятно, пуше их.

Если японскому глазу больно, как выразился губернатор в первое свидание, видеть чужие суда в портах Японии, то японскому уху еще, я думаю, больнее слышать рев чужих пушек. Их пушки малы, и выстрелы не будили гор. Я смотрел на лодки, на японские батареи: нигде никакого движения, только две собаки мечутся взад и вперед и ищут места спрятаться,

да негде: побегут от выстрела к горам, а оттуда гонит их эхо. Но кончилось: пушки замолчали, горы опять заснули, собаки успокоились, на высотах показалось несколько длиннополых японских фигур. Гребцы наши молчаливо, но сильно налегли грудью на весла. Мы углубились уже далеко в залив, а дым от выстрелов всё еще ленивым узором крался по воде, направляясь тихонько к морю. Издали, с передового катера, слабо доносились к нам звуки музыки.

Мы быстро двигались вперед мимо знакомых уже прекрасных бухт, холмов, скал, лесков. Я занялся тем же, чем и в первый раз, то есть мысленно уставлял все эти пригорки и рощи храмами, дачами, беседками и статуями, а воды залива – пароходами и чашей мачт; берега населял европейцами: мне уж виделась дорожка парка, скачущие амазонки; а ближе к городу снились фабрики, русская, американская, английская...

Японские лодки кучей шли и опять выбивались из сил, торопясь перегнать нас, особенно ближе к городу. Их гребцы то примолкнули, то вдруг заголосят отчаянно: "Оссильян! оссильян!" Наши невольно заразятся их криком, приударят веслами, да вдруг как будто одумаются и начнут опять покойно рыть воду.

Наконец надо же и совесть знать, пора и приехать. В этом японском, по преимуществу тридесетом, государстве можно еще оправдываться и тем, что "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". Чуть ли эта поговорка не здесь родилась и перешла по соседству с Востоком и к нам, как и многое другое... Но мы выросли, и поговорка осталась у нас в сказках.

В Японии, напротив, еще до сих пор скоро дела не делаются и не любят даже тех, кто имеет эту слабость. От наших судов до Нагасаки три добрые четверти часа езды. Японцы часто к нам ездят: ну что бы пригласить нас стать у города, чтоб самим не терять по-пустому время на переезды? Нельзя. Почему? Надо спросить у верховного совета, верховный совет спросит у сиогуна, а тот пошлет к микадо.

Японские лодки непременно хотели пристать все вместе с нашими: можете себе представить, что из этого вышло. Одна лодка становилась поперек другой, и все стеснились так, что если б им поручили не пустить нас на берег, то они лучше бы сделать не могли того, как сделали теперь, чтоб пустить.

Потом пошло всё по-прежнему, то есть музыканты, караул – всё стояло на своих местах. И японские войска расставлены были по обеим сторонам дороги, то есть те же солдаты, с картонными шапками на головах и ружьями, или quasi-ружьями в чехлах, ноги врозь и колени вперед. И лошадь была тут, которой я опять не заметил, и норимоны, и старик с сонными глазами, и толпа переводчиков, и баниосы. Японцы, подобрав халаты, забыв важность, пустились за нами вприпрыжку, бегом, теряя туфли, чтоб поспеть к дому прежде нас. В сениях сидели на пятках те же лица, но на крыльце стоял, по уговору, младший из полномочных в каком-то странном головном уборе.

Мы не успели рассмотреть его хорошенько. Он пошел вперед, и мы за ним. По анфиладе рассажено было менее чиновников, нежели в первый раз. Мы толпой вошли в приемную залу. По этим мирным галереям не раздавалось, может быть, никогда такого шума и движения. Здесь, в белых бумажных чулках, скользили доселе, точно тени, незаметно от самих себя, японские чиновники, пробираясь иногда ползком; а теперь вот уже в другой раз раздаются такие крепкие шаги!

В ту минуту, как мы вошли в приемную залу, отодвинулись, точно кулисы, ширмы с противоположной стороны, и оттуда выдвинулись медленно, один за другим, все полномочные. Показался несколько согбенный старик; от старости рот у него постоянно был немного открыт. За ним другой, лет сорока пяти, с большими карими глазами, с умным и бойким лицом. Третий – очень пожилой человек, худощавый и смуглый, с поникшим взором, как будто прошедший всю жизнь в затворничестве, и немного с птичьим лицом. Четвертый – средних лет: у этого было очень обыкновенное лицо, каких много, не выражающее ничего, как лопата. На таких лицах можно сразу прочесть, что, кроме ежедневных будничных забот, они о другом думают мало.

Они стали все четверо в ряд – и мы взаимно раскланялись. С правой стороны, подле полномочных, поместились оба нагасакские губернатора, а по левую еще четыре, приехавшие из Едо, по-видимому, важные лица. Сзади полномочных сели их оруженосцы, держа богатые сабли в руках; налево, у окон, усажены были в ряд чиновники, вероятно тоже из Едо: по крайней мере мы знакомых лиц между ними не заметили.

Все четверо полномочные были в широких мантиях из богатой, толстой, шелковой с узорами материи, которая едва сжималась в складки; рукава у кисти были чрезвычайно широкие, спереди, от самого подбородка до пояса, висел из той же материи нагрудник; под мантией обыкновенный халат и юбка, конечно шелковые же. У старика материя зеленая, у второго белая, вроде моар, только с редкими полосами. У всех четырех полномочных, и у губернаторов тоже, на голове наставлена была на маковку, вверх дном, маленькая, черная, с гранью, коронка, очень похожая формой на дамские рабочие корзиночки и, пожалуй, на кузовки, с которыми у нас бабы ходят за грибами. Коронки эти делаются, как я после узнал, из папье-маше. У двоих чиновников, помещавшихся налево от полномочных, коронки были одинаковой с ними формы, а у следующих двух одна треугольная, другая квадратная, обе плоские. У старших коронки прикреплялись пропущенными под подбородок белыми, а у младших черными шнурами. Всё бы еще ничего; но у третьего полномочного, у обоих губернаторов и еще у одного чиновника шелковые панталоны продолжались на аршин далее ног. Губернаторы едва шли, с трудом поднимая ноги.

Эта одежда присвоена какому-то чину или должности. Вообще весь этот костюм был самый парадный, как наши полные мундиры. Глядя на фигуру стоящего в полной форме японца, с несколько поникшей головой, в этой мантии, с коробочкой на лбу и в бесконечных панталонах, поневоле подумаешь, что какой-нибудь проказник когда-то задал себе задачу одеть человека как можно неудобнее, чтоб ему нельзя было не только ходить и бегать, но даже шевелиться. Японцы так и одеты: шевелиться в этой одежде мудрено. Она выдумана затем, чтоб сидеть и важничать в ней. И когда видишь японцев, сидящих на пятках, то скажешь только, что эта вся амуниция как нельзя лучше пригнана к сидячему положению и что тогда она не лишена своего рода величавости и даже красива. Эти куски богатой шелковой материи, волнами обильно обвивающие тело, прекрасно драпируются около ленивой живой массы, сохраняющей важность и неподвижность статуи.

Обе стороны молча с минуту поглядели друг на друга, измеряя глазами с ног до головы – мы их, они нас. Наш знакомый, Овосава Бунго-но, недавно еще с таким достоинством и гордостью принявший нас, перешел на второй план, он лицом приходился прямо в ухо старику и стоял, потупя взгляд, не поворачиваясь ни направо, ни налево. Только изредка, украдкой, он косился на нас. И было за что: ему оставалось отдежурить всего какой-нибудь месяц и ехать в Едо, а теперь он, по милости нашей, сидит полтора года, и Бог знает, сколько времени еще просидит! Другой губернатор, Мизно Чикого-но, был с лица не мудрец, но с сердитым выражением.

Полномочные сделали знак, что хотят говорить, и мгновенно, откуда ни возмись, подползли к их ногам, из двух разных углов, как два ужа, Эйноске и Кичибе.

Они приложили лбы к полу и слушали в этом положении, едва дыша. Начал старик. Мы так и впились в него глазами: старик очаровал нас с первого раза; такие старички есть везде, у всех наций. Морщины лучами окружали глаза и губы; в глазах, голосе, во всех чертах светилась старческая, умная и приветливая доброта – плод долгой жизни и практической мудрости. Всякому, кто ни увидит этого старичка, захотелось бы выбрать его в дедушки. Кроме того, у него были манеры, обличающие порядочное воспитание. Он начал говорить, но губы и язык уже потеряли силу: он говорил медленно; говор его походил на тихое и ровное переливание из бутылки в бутылку жидкости.

Кичибе приподнял голову, подавился немного и потом уже перевел приветствие. Старик поздравлял адмирала с приездом и желал ему доброго здоровья. Адмирал отвечал тоже приветствием. Кичибе поклонился в землю и перевел. Старик заговорил опять такое же форменное приветствие командиру судна; но эти официальные выражения чувств, очень

хорошие в устах Овосавы, как-то не шли к нему. Он смотрел так ласково и доброжелательно на нас, как будто хотел сказать что-нибудь другое, искреннее. И действительно, после сказал. Но теперь он продолжал приветствия К. Н. Посьету, взявшему на себя труд быть переводчиком, наконец, всем офицерам.

Лишь только кончил старик, как чиновник, стоявший с левой стороны и бывший чем-то вроде церемониймейстера, кликнул шепотом: "Эйноске!" – и показал на второго полномочного. Эйноске быстро подполз к ногам второго и приложил лоб к полу; тот повторил те же приветствия и в таком же порядке. Переводчики ползком подскочили к третьему и четвертому полномочным и, наконец, к губернаторам. Все они по очереди повторяли поздравление, твердо произнося русские имена. Им отвечено было адмиралом благодарственным приветствием от себя и от всех.

Всё это делалось стоя, все были в параде: шелковых юбок не оберешься. Видно, что собрание было самое торжественное. Кичибе и Эйноске были тоже в шелку: креповая черная или голубая мантилья, с белыми гербами на спине и плечах, шелковый халат, такая же юбка и белые бумажные чулки.

Пока говорились приветствия, я опять забылся, как в первое свидание с губернатором: это было только второе в том же роде, но с более ярким колоритом. Глаз и мысль не успели привыкнуть к новости зрелища. Мне не верилось, что всё это делается наяву. В иную минуту казалось, что я ребенок, что няня рассказала мне чудную сказку о неслыханных людях, а я заснул у ней на руках и вижу всё это во сне. Да где же это я в самом деле? кто кругом меня, с этими бритыми лбами, смуглыми, как у мумий, щеками, с поникшими головами и полуопущенными веками, в длинных, широких одеждах, неподвижные, едва шевелящие губами, из-за которых, с подавленными вздохами, вырываются неуволнимые для нашего уха, глухие звуки? Уж не древние ли покойники встали из тысячелетних гробниц и собрались на совещание? Ходят ли они, улыбаются ли, поют ли, пляшут ли? знают ли нашу человеческую жизнь, наше горе и веселье, или забыли в долгом сне, как живут люди? Что это за дом, за комната: окна заклеены бумагой, в комнате тускло и сыро, как в склепе; кругом золоченые ширмы с изображением аистов – эмблемы долголетия? Крышу поддерживает ряд простых, четырехугольных, деревянных столбов; она без потолка, из тесаных досок, дом первобытной постройки, как его выдумали люди. Где же я?

Иллюзия, которою я тешил себя, продолжалась недолго: вон один отживший, самый древний, именно старик, вынул из-за пазухи пачку тонкой бумаги, отодрал лист и высморкался в него, потом бросил бумажку, как в бездну, в свой неизмеримый рукав. "А! это живые!"

Нас попросили отдохнуть и выпить чашку чаю в ожидании, пока будет готов обед. Ну, слава Богу! мы среди живых людей: здесь едят. Японский обед! С какой жадностью читал я, бывало, описание чужих обедов, то есть чужих народов, вникал во все мелочи, говорил, помните, и вам, как бы желал пообедать у китайцев, у японцев! И вот и эта мечта моя исполнилась. Я *ricque-assiette** от Лондона до Едо. Что будет, как подадут, как сядут – всё это занимало нас. * блюдолиз, прихлебатель – фр.

В "отдыхальне" подали чай, на который просили обратить особенное внимание. Это толченый чай самого высокого сорта: он родился на одной горе, о которой подробно говорит Кемпфер. Часть этого чая идет собственно для употребления двора сиюгуна и микадо, а часть, пониже сорт, для высших лиц. Его толкут в порошок, кладут в чашку с кипятком – и чай готов. Чай превосходный, крепкий и ароматический, но нам он показался не совсем вкусен, потому что был без сахара. Мы, однако ж, превознесли его до небес.

После чая подали трубки и табак, потом конфеты, опять в таких же чрезвычайно гладко обтесанных сосновых ящиках, у которых даже углы были не составные, а цельные. Что за чистота, за тщательность в отделке! А между тем ящик этот делается почти на одну минуту: чтобы подать в нем конфеты и потом отослать к гостю домой, а тот, конечно, бросит. Конфеты были – тертый горошек с сахарным песком, опять морковь, кажется, да еще что-то в этом роде, потом разные подобия рыбы, яблока и т. п., всё из красного и белого

риса.

Около нас сидели на полу переводчики; из баниосов я видел только Хагивари да Ойе-Саброски. При губернаторе они боялись взглянуть на нас, а может быть, и не очень уважали, пока из Едо не прислали полномочных, которые делают нам торжественный и почетный прием. Тогда и прочие зашевелились, не знают, где посадить, жмут руку, улыбаются, угощают.

Через полчаса церемониймейстер пришел звать нас к обеду. Он извинялся, что теснота не позволяет обедать всем вместе и что общество рассядется по разным комнатам. Адмирала, И. С. Унковского, К. Н. Посьета и меня ввели опять в приемную залу; с нами обедали только два старших полномочных, остальные вышли вон. Зала так просторна, что в ней могли бы пообедать, без всякой тесноты, человек шестьдесят; но японцы для каждого из нас поставили по особому столу. Полномочные сидели на своих возвышениях, на которые им и ставили блюда.

Вот появилось ровно шесть слуг, по числу гостей, каждый с подносом, на котором лежало что-то завернутое в бумаге, рыба, как мне казалось. Они поставили подносы, вышли на минуту, потом вошли и унесли их: перед нами остались пустые, ничем не накрытые столы, сделанные, нарочно для нас, из кедрового дерева. "Ну, обычай не совсем патриархальный, – подумал я, – что бы это значило?" – "Это наш обычай, – сказал старик, – подавать блюдо с "этим" на стол и сейчас уносить: это у нас – символ приязни". А это – была не рыба, как мне показалось сначала, а какая-то тесьма, видом похожая на вязигу. Я принял было ее за морскую траву, но она оказалась перепонкой какой-то улитки, прилипающей, посредством ее, к скалам. Так вот видите: это

Опять появилось шестеро, точно в сказке – молодцов, сказал бы я, если б была малейшая тень молодцеватости. Я был бы снисходителен, не требовал бы много, но не было ничего похожего, по нашим понятиям, на человеческую красоту в целом собрании. Старик был красивее всех своею старческою, обворожительною красотою ума и добродушия, да второй полномочный еще мог нравиться умом и смелостью лица, пожалуй, и Овосава хорош, с затаенною мыслию или чувством на лице, и если с чувством, то, верно, неприязни к нам. Остальные же все – хоть не смотреть. Эйноске разве недурен, и то потому, что похож на европейца и носит на лице след мысли и образования. Но, Боже мой! в каком он положении, и Кичибе тоже! Они распростерлись на полу между нами и полномочными, как две легавые собаки, готовясь... есть – вы думаете? нет, переводить.

Слуги между тем продолжали ставить перед каждым гостем красные лакированные подставки, величиной со скамеечки, что дамы ставят у нас под ноги. Слуга подходил, ловко и мерно поднимал подставку, в знак почтения, наравне с головой, падал на колени и с ловким, мерным движением ставил тихонько перед гостем. Шесть раз подходили слуги и поставили шесть подставок. Но никто ничего еще не трогал. Все подставки тесно уставлены были деревянными лакированными чашками, величиной и формой похожими на чайные, только без ручки; каждая чашка покрыта деревянным же блюдечком. Тут были также синие, фарфоровые обыкновенные чашки, всё с кушаньем, и еще небольшие, с соей. Ко всему этому поданы были две палочки.

"Ну, это значит быть без обеда", – думал я, поглядывая на две гладкие, белые, совсем тупые спицы, которыми нельзя взять ни твердого, ни мягкого кушанья. Как же и чем есть? На соседа моего Унковского, видно, нашло такое же раздумье, а может быть, заговорил и голод, только он взял обе палочки и грустно разглядывал их. Полномочные рассмеялись и наконец решили приняться за обед. В это время вошли опять слуги, и каждый нес на подносе серебряную ложку и вилку для нас.

"В доказательство того, что всё поданное употребляется в пищу, – сказал старик, – мы начнем первые. Не угодно ли открыть чашки и кушать, что кому понравится?"

"Ну-ка, что в этой чашке?" – шепнул я соседу, открывая чашку: рис вареный, без соли. Соли нет, не видать, и хлеба тоже нет.

Я подержал чашку с рисом в руках и поставил на свое место. "Вот в этой что?" – думал

я, открывая другую чашку: в ней была какая-то темная похлебка; я взял ложку и попробовал – вкусно, вроде наших бураков, и коренья есть.

"Мы употребляем рис при всяком блюде, – заметил второй полномочный, – не угодно ли кому-нибудь переменить, если поданный уже простыл?" Церемониймейстер, с широким, круглым лицом, с плоским и несколько вздернутым, широким же, арабским носом, стоя подле возвышения, на котором сидели оба полномочные, взглядом и едва заметным жестом распорядился прислугою.

Сзади Эйноске сидели на пятках двое слуг, один с чайником, другой с деревянной лакированной кружкой, в которой был горячий рис.

Мы между тем переходили от чашки к чашке, изредка перекидываясь друг с другом словом. "Попробуйте, – говорил мне вполголоса Посьет, – как хорош винегрет из раков в синей чашке. Раки посыпаны тертой рыбой или икрой; там зелень, еще что-то". – "Я ее всю съел, – отвечал я, – а вы пробовали сырую рыбу?" – "Нет, где она?" – "Да вот нарезана длинными тесьмами..." – "Ах! неужели это сырая рыба? а я почти половину съел!" – говорил он с гримасой.

В другой чашке была похлебка с рыбой, вроде нашей селянки. Я открыл, не помню, пятую или шестую чашку: в ней кусочек рыбы плавал в чистом совершенно и светлом бульоне, как горячая вода. Я думал, что это уха, и проглотил ложки четыре, но мне показалось невкусно. Это действительно была горячая вода – и больше ничего.

Сосед мой старался есть палочками и возбуждал, да и мы все тоже, не одну улыбку окружавших нас японцев. Не раз многие закрывали рот рукавом, глядя, как недоверчиво и пытливо мы вглядываемся в кушанья и как сначала осторожно пробуем их. Но я с третьей чашки перестал пробовать и съел остальное без всякого анализа, и всё одной и той же ложкой, прибегая часто к рису, за недостатком хлеба. Помню, что была жареная рыба, вареные устрицы, а может быть и моллюск какой-нибудь, похожий вкусом на устрицу. О. А. Гошкевич сказывал, что тут были трепанги; я ел что-то черное, хрупкое и слизистое, но не знаю что. Попадалось мне что-то сладкое, груша кажется, облитая красным, сладким соусом, потом хрустело на зубах соленое и моченое: соленое – редька, заменяющая японцам соль. В синей фарфоровой чашке натискано было какое-то тесто, отзывавшееся яичницей, тут же вареная морковь. Потом в горячей воде плавало крылышко утки с вареной зеленью.

Сзади всех подставок поставлена была особо еще одна подставка перед каждым гостем, и на ней лежала целая жареная рыба с загнутым кверху хвостом и головой. Давно я собирался придвинуть ее к себе и протянул было руку, но второй полномочный заметил мое движение. "Эту рыбу почти всегда подают у нас на обедах, – заметил он, – но ее никогда не едят тут, а отсылают гостям домой с конфетами". Одно путное блюдо и было, да и то не едят! Ох уж эти мне эмблемы да символы!

Слуга подходил ко всем и протягивал руку: я думал, что он хочет отбирать пустые чашки, отдал ему три, а он чрез минуту принес мне их опять с теми же кушаньями. Что мне делать? Я подумал, да и принялся опять за похлебку, стал было приниматься вторично за вареную рыбу, но собеседники мои перестали действовать, и я унялся. Хозяевам очень нравилось, что мы едим; старик ласково поглядывал на каждого из нас и от души смеялся усилиям моего соседа есть палочками.

К концу обеда слуги явились с дымившимися чайниками. Мы с любопытством смотрели, что там такое. "Теперь надо выпить саки", – сказал старик, и слуги стали наливать в красные, почти плоские лакированные чашки разогретый напиток. Мы выпили по чашечке. Нам еще прежде, между прочей провизией, доставлено было несколько кувшинов этого саки, и тогда оно нам не понравилось. Теплый он лучше: похоже вкусом на слабый, выдохшийся ром. Саки – перегнанное вино из риса. Потом налили опять. Мы стали было отговариваться, но старик объявил, что надо выпить до трех раз. Мы выпили и в третий раз, и наши хозяева тоже. Пока мы ели, нам беспрестанно подбавляли горячего риса. После саки вновь принесли дымившийся чайник: я думал, не опять ли саки, но старик предложил, не хотим ли мы теперь выпить – "горячей воды"! Это что за шутка? Нашел лакомство! "Нет, не хотим", – отвечали

мы. Однако ж я подумал, что уж если обедать по-японски, так надо вполне обедать, и потому попробовал и горячей воды: всё так же нехорошо, как если б я попробовал ее и за русским столом. "Ну, не хотите ли полить рис горячей водой и съесть?" – предложил старик. И этого не хотим. Между тем оба полномочные подставили плоскодонные чашки, им налили кипятку, и они выпили. Они объяснили, что они утоляют жажду горячей водой.

Хозяева были любезны. Пора назвать их: старика зовут Тсутсуй Хизе-но-ками-сама, второй Кавадзи Сойемон-но-ками... нет, не ками, а дзио-сами, это всё равно: "дзио" и "ками" означают равный титул; третий Алао Тосан-но-ками-сама; четвертого... забыл, после скажу. Впрочем, оба последние приданы только для числа и большей важности, а в сущности они сидели с поникшими головами и молча слушали старших двух, а может быть, и не слушали, а просто заседали.

После обеда подали чай с каким-то оригинальным запахом; гляжу: на дне гвоздичная головка – какое варварство, и еще в стране чая!

Старик всё поглядывал на нас дружески, с улыбкой.

"Мы приехали из-за многих сотен, – начал он мямлить, – а вы из-за многих тысяч миль; мы никогда друг друга не видали, были так далеки между собою, а вот теперь познакомились, сидим, беседуем, обедаем вместе. Как это странно и приятно!" Мы не знали, как благодарить его за это приветливое выражение общего тогда нам чувства. И у нас были те же мысли, то же впечатление от странности таких сближений. Мы благодарили их за прием, хвалили обед. Я сделал замечание, что нахожу в некоторых блюдах сходство с европейскими и вижу, что японцы, как люди порядочные, кухней не пренебрегают. В самом деле, рыба под белым соусом – хоть куда. Если б ко всему этому дать хлеба, так можно даже наесться почти досыта. Без хлеба как-то странно было на желудке: сыт не сыт, а есть больше нельзя. После обеда одолевает не дремота, как обыкновенно, а только задумчивость. Но я смеялся, вспомнив, что пишут о японском столе и, между прочим, что они будто готовят кушанье на касторовом масле. А у них и обыкновенное деревянное масло употребляется редко, и только с зеленью; всё же прочее жарится и варится на воде, с примесью саки и сои. Потом сказали мы хозяевам, что из всех народов крайнего Востока японцы считаются у нас, по описаниям, первыми – по уменью жить, по утонченности нравов и что мы теперь видим это на опыте.

Наконец кончился обед. Всё унесли и чрез пять минут подали чай и конфеты в знакомых уже нам ящиках. Там были подобия бамбуковых ветвей из леденца, лент, сердец, потом рыбы, этой альфы и омеги японского стола, от нищего до вельможи, далее какой-то тертый горошек с сахарным песком и рисовые конфеты.

Когда убрали наконец всё, адмирал сказал, что он желал бы сделать полномочным два вопроса по делу, которое его привело сюда, и просит отвечать сегодня же. Старик вынул пачку бумаги, тщательно отодрал один листок, высморкался, спрятал бумажку в рукав, потом кротко возразил, что, по японским обычаям, при первом знакомстве разговоры о делах обыкновенно откладываются, что этого требуют приличия и законы гостеприимства. Адмирал заметил, что это отнюдь не помешает возникающей между нами приязни; что вопросы эти не потребуют каких-нибудь мудреных ответов, а просто двух слов, "да" или "нет". Мы видели, что им лень говорить о деле. Вообще и важные сановники, и неважные после обеда выражались больше междометиями, которых невозможно передать словами. Грудные звуки раздавались из всех углов. О деле неприлично говорить, а это ничего!

Адмирал согласился прислать два вопроса на другой день, на бумаге, но с тем, чтоб они к вечеру же ответили на них. "Как же мы можем обещать это, – возразили они, – когда не знаем, в чем состоят вопросы?" Им сказано, что мы знаем вопросы и знаем, что можно отвечать. Они обещали сделать, что можно, и мы расстались большими друзьями.

С музыкой, в таком же порядке, как приехали, при ясной и теплой погоде, воротились мы на фрегат. Дорогой к пристани мы заглядывали за занавески и видели узенькую улицу, тощие деревья и прятавшихся женщин. "И хорошо делают, что прячутся, чернотубые!" – говорили некоторые. "Кисел виноград..." – скажете вы. А женщины действительно

чернозубые: только до замужства хранят они естественную белизну зубов, а по вступлении в брак чернят их каким-то составом.

Фаддеев, бывший в числе наших слуг, сказал, что и их всех угостили, и на этот раз хорошо. "Чего ж вам дали?" – спросил я. "Красной и белой каши; да что, ваше высокоблагородие, с души рвет". – "Отчего?" – "Да рыба – словно кисель, без соли, хлеба нет!"

Вслед за нами явилось к фрегату множество лодок, и старший чиновник спросил, довольны ли мы: это только предлог, а собственно ему поручено проводить нас и донести, что он доставил нас в целости на фрегат. Случись с нами что-нибудь, несчастье, неприятность, хотя бы от провожатых и не зависело отвратить ее, им бы досталось.

Чрез час каюты наши завалены были ящиками: в большом рыба, что подавали за столом, старая знакомая, в другом сладкий и очень вкусный хлеб, в третьем конфеты. "Вынеси рыбу вон", – сказал я Фаддееву. Вечером я спросил, куда он ее дел? "Съел с товарищами", – говорит. "Что ж, хороша?" "Есть душок, а хороша", – отвечал он.

На другой день, 1-го января 1854 г., приехал Эйноске условиться о завтрашнем дне. Увидя нас всех в праздничных платьях, он спросил о причине. Ему сказали, что у нас наступил Новый год. Он поздравил; мы велели подать шампанского, до которого он, кажется, большой охотник. И он, и два бывшие с ним баниоса подпили: те покраснели, а Эйноске, смесью английского, голландского и французского языков с нагасакским наречием, извинялся, что много пил и, в подтверждение этого, забыл у нас свою мантилью на собачьем меху. Он выучился пить шампанское у американцев, и как скоро: те пробыли всего шесть дней!

А свежо: зима в полном разгаре, всего шесть градусов тепла. Небо ясно; ночи светлые; вода сильно искрится. Вообще, судя по тому, что мы до сих пор испытали, можно заключить, что Нагасаки – один из благословенных уголков мира по климату. Ровная погода: когда ветер с севера – ясно и свежо, с юга – наносит дождь. Но мы видели больше ясного времени.

Завтрашнего дня не было, то есть у нас готовился неслыханный и невиданный праздник и не состоялся. Праздник этот – важный факт, доказывающий, что всё бессильно перед временем и обстоятельствами. Давно ли все крайневосточные народы, японцы особенно, считали нас, европейцев, немного хуже собак? не хотели знаться, дичились, чуждались? И нас губернатор хотел принять с таким, с такою... глупостью, следовало бы сказать, с гордостью, скажу учтивее; а теперь четыре важные японские сановника сами едут к нам в гости! Кажется, небывалый еще пример в сношениях японцев с иностранцами! Они просили отсрочки на два дня и вместо пятницы, как обещали было сначала, назначили воскресенье. У них случились тут какие-то праздники, и оттого они отложили.

Да, Эйноске, между прочим, приезжал с Хагивари объясниться насчет салюта. Мы ожидали, что вчера, при свидании, скажут нам что-нибудь об этом. Но ни слова: хозяева вполне уважали законы гостеприимства. Зато теперь Хагивари приехал с упреком от губернатора за салют. Ему отвечали сначала шуткой, потом заметили, что они сами не сказали ничего решительного о том, принимают ли наш салют или нет, оттого мы, думая, что они примут его, салютовали и себе. Они стали просить не палить больше. "Теперь нет повода – и не станем, если только полномочные не хотят, чтоб им палили", – отвечал Посьет. "Не хотят, не хотят!" – подтвердили они. "А если другой адмирал придет сюда, – спросил Эйноске заботливо, – тогда будете палить?" – "Мы не предвидим, чтобы пришел сюда какой-нибудь адмирал, – отвечали ему, – оттого и не полагаем, чтоб понадобилось палить".

В этом вопросе крылся, кажется, другой: не придут ли англичане? Японцы уже выразили однажды предположение, что вслед за нами, вероятно, придут и другие нации с предложениями о торговле.

В Новый год, вечером, когда у нас все уже легли, приехали два чиновника от полномочных, с двумя второстепенными переводчиками, Сьозой и Льодой, и привезли ответ на два вопроса. К. Н. Посьет спал; я ходил по палубе и встретил их. В бумаге сказано было, что полномочные теперь не могут отвечать на предложенные им вопросы, потому что у них

есть ответ верховного совета на письмо из России и что, по прочтении его, адмиралу, может быть, ответы на эти вопросы и не понадобятся. Нечего делать, надо было подождать.

Мы занялись приготовлениями к встрече невиданных на европейских судах гостей. Сколько возни, хлопот, соображений истратилось в эти два дня! Смешать и посадить всех гостей за один стол, как бы сделали в Европе, невозможно. Здесь соблюдается такая строгая постепенность в званиях, что несоблюдением ее как раз наживешь врагов. Вообще нужна большая осторожность в обращении с ними, тем более что изучение приличий составляет у них важную науку, за неимением пока других. Еще Гвальтьери, говоря о японцах, замечает, что наша вежливость у них – невежливость, и наоборот. Например: встать перед гостем, говорит он, у них невежливо, а надо сесть. Мы снимаем шляпу в знак уважения, а они – туфли. Мы, выходя из дома, надеваем плащ, а они – широкие панталоны или юбку, которую будто бы снимают при входе в дом. (Посещая нас, они не снимали ее: не изменился ли обычай и в самой Японии со времени Гвальтьери?) Наши русые волосы и белые зубы им противны; у них женщины сильно чернят зубы; чернили бы и волосы, если б они и без того не были чернее сажи. У нас женщины в интересном положении, как это называют некоторые, надевают широкие блузы, а у них сильно стягиваются; по разрешении от бремени у нас и мать и дитя моют теплой водой (кажется, так?), а у них холодной. Не знаю, отчего Гвальтьери, приводя эти противоположности, тут же кстати не упомянул, что за обедом у них запивают кушанья, как сказано выше, горячей водой, а у нас холодной. Или это они недавно выдумали?

Да, это всё так; тут параллель можно продолжать, пожалуй, еще. Мне, например, не случилось видеть, чтоб японец прямо ходил или стоял, а непременно полусогнувшись, руки постоянно держит наготове, на коленях, и так и смотрит по сторонам, нельзя ли кому поклониться. Лишь только завидит кого-нибудь равного себе, сейчас колени у него начинают сгибаться, он точно извиняется, что у него есть ноги, потом он быстро наклонится, будто переломится пополам, руки вытянет по коленям и на несколько секунд оцепенеет в этом положении; после вдруг выпрямится и опять согнется, и так до трех раз и больше. А иногда два японца, при встрече, так и разойдутся в этом положении, то есть согнувшись, если не нужно остановиться и поговорить. Слуги у них бегают тоже полусогнувшись и приложив обе ладони к коленям, чтоб недолго было падать на пол, когда понадобится. Перед высшим лицом японец быстро падает на пол, садится на пятки и поклонится в землю. У самих полномочных тоже голова всегда клонится долу: все они сидят с поникшими головами, по привычке, в свою очередь, падать ниц перед высшими лицами. Полномочным, конечно, не приходится упражнять себя в этом, пока они в Нагасаки; а в Едо?

Утром 4-го января фрегат принял праздничный вид: вымытая, вытертая песком и камнями, в ущерб моему ночному спокойствию, палуба белела, как полотно; медь ярко горела на солнце; снасти уложены были красивыми бухтами, из которых в одной поместился общий баловень наш, кот Васька. Все нарядились. На юте устроили, из сигнальных флагов, палатку и в ней седалища из ковров для четырех полномочных и стулья для их свиты. В адмиральской каюте, роскошно и без того убранной, устроены были такие же седалища, для них же, за особым столом. Другой стол приготовлен был для адмирала и для троих из его свиты. За маленьким столиком, особо, должен был помещаться японский церемониймейстер. Для переводчиков приготовили было два стула, но

Часов в 11 приехали баниосы с подарками от полномочных адмиралу. Все вещи помещались в простых деревянных ящиках, а ящики поставлены были на деревянных же подставках, похожих на носилки с ножками. Эти подставки заменяют отчасти наши столы. Японцам кажется неуважительно поставить подарок на пол. На каждом ящике положены были свертки бумаги, опять с символом "прилипчивости".

Но что за вещи прислали они – загляденье! Один прислал шкатулку, черную, лакированную, с золотыми рельефами храмов, беседок, гор, деревьев. Лак необыкновенно густ, черен, не сходит, говорят, десятки лет и чист, как зеркало. Таких лакированных вещей нигде нет. Другая коробочка испещрена красно-золотистыми, потонувшими в лаке, искрами.

При шкатулке были разные безделки: курительница для порошков, которую японцы носят на поясе, и еще какие-то принадлежности. Другой подарил чернильницу с золотыми украшениями, со всем прибором для письма, с тушью, кистями, стопой бумаги и даже с восковыми раскрашенными свечами.

Но самым замечательным и дорогим подарком была сабля, и по достоинству, и по значению. Подарок сабли у них служит несомненным выражением дружбы. Японские сабельные клинки, бесспорно, лучшие в свете. Их строго запрещено вывозить. Клинки у них испытываются, если Эйноске не лгал, палачом над преступниками. Мастер отдает их, по выделке, прямо палачу, а тот пробует, сколько голов (!?) можно перерубить разом. Мастер чеканит число голов на клинке. Это будто бы и служит у них оценкою достоинства сабли. Подаренная адмиралу перерубает, как говорил Эйноске, три головы. Сабли считаются драгоценностью у японцев. Клинок всегда блестит как зеркало; на него, как говорят, не надыхаются. У Эйноске сабля, подаренная ему другом, существует, по словам его, около пятисот лет.

Я не знаю толку в саблях, но не мог довольно налюбоваться на блеск и отделку клинка, подарка Кавадзи. Ножны у ней сделаны, кажется, из кожи акулы и все зашиты в шелк, чтоб предостеречь от ржавчины. Старик Теутсуй подарил дорогие украшения к этой сабле, насечки и т. п. Подарок знаменательный, особенно при начале дел наших! Полномочные сами не раз давали понять нам, что подарок этот выражает отношения Японии к России. Оно тем более замечательно, что подарок сделан, конечно, с согласия и даже по повелению правительства, без воли которого ни один японец, кто бы он ни был, ни принять, ни дать ничего не смеет. Один раз Эйноске тихонько сказал Посьету, что наш матрос подарил одному японцу пустую бутылку. "Ну так что ж?" – спросил тот. "Позвольте прислать ее назад, – убедительно просил Эйноске, – иначе худо будет: достанется тому, кто принял подарок". – "Да вы бросьте в воду". – "Нельзя: мы привезем, а вы уж и бросьте, пожалуй, сами".

Каков народ! какова система ограждения от контрабанды всякого рода! Какая бы, кажется, могла быть надежда на торговлю, на введение христианства, на просвещение, когда так глухо заперто здание и ключ потерян? Как и когда придет всё это? А придет, нет сомнения, хотя и не скоро.

В Китае началось и деятельно продолжается. Когда я ехал в Шанхай, я думал, что там, согласно Нанкинскому трактату, далее определенной черты европейцу нельзя и шагу сделать: а между тем мы исходили все окрестности и знаем их почти как петербургские. Всего десять лет прошло с открытия пяти портов в Китае – и европейцы почти совсем овладели ими. Всё делается исподволь, понемногу. Например, в Китае иностранцам позволено углубляться внутрь страны на такое расстояние, чтобы в один день можно было на лошади вернуться домой; а американский консул в Шанхае выстроил себе дачу где-то в горах, миль за восемьдесят от моря. Когда губернатор провинции протестовал против этого, консул отвечал, что католические миссионеры, в разных местах, еще дальше имеют монастыри: пусть губернатор выгонит их оттуда, тогда и он откажется от дачи. А выгнать миссионеров нельзя: они глубоко пустили корни. Католический епископ в Гонконге сказывал, что между китайцами считается до пятисот тысяч католиков. Все они тайно покровительствуют миссионерам, укрывают их от взоров правительства, дают селиться среди себя и всячески помогают. Начальство подкуплено, и миссионеры делают свое дело явно. Губернатор знал о миссионерах и потому замолчал на возражение консула.

В другой раз к этому же консулу пристал губернатор, зачем он снаряжает судно, да еще, кажется, с опиумом, в какой-то шестой порт, чуть ли не в самый Пекин, когда открыто только пять? "А зачем, – возразил тот опять, – у острова Чусана, который не открыт для европейцев, давно стоят английские корабли? Выгоните их, и я не пошлю судно в Пекин". Губернатор знал, конечно, зачем стоят английские корабли у Чусана, и не выгнал их. Так судно американское и пошло, куда хотело.

Сделавши одно послабление, губернатор должен был допустить десять и молчать,

иначе ему несдобровать. Он сам первый нарушитель законов. А европейцы берут всё больше и больше воли, и в Пекине узнают об этом тогда, когда уже они будут под стенами его и когда помешать разливу чужого влияния будет трудно.

Впрочем, этого ожидать скоро нельзя по другим обстоятельствам: во всяком другом месте жители, по лености и невежеству, охотно отдают себя в опеку европейцам, и те скоро делаются хозяевами у них. Китайцы, напротив, сами купцы по преимуществу и, по меркантильному духу и спекулятивным способностям, превосходят англичан и американцев и не выпустят из своих рук внутренней торговли. Оттого ни те ни другие не имеют успеха внутри Китая и даже не завязывают там никаких прямых сношений. Торговля производится чрез китайских комиссионеров, которые и ездят внутрь для закупки товаров от самих плантаторов чая и фабрикантов шелка.

Если и Японии суждено отворить настежь ворота перед иностранцами, то это случится еще медленнее; разве принудят ее к тому войной. Но и в этом отношении она имеет огромные преимущества перед Китаем. Если она переймет у европейцев военное искусство и укрепит свои порты, тогда она безопасна от всякого вторжения. Одна измена может погубить ее: то есть если кому-нибудь удастся зажечь в ней междоусобную войну, вооружить удельных князей против метрополии – тогда ей несдобровать. Но пока она будет держаться нынешней своей системы, увертываясь от влияния иностранцев, уступая им кое-что и держа своих по-прежнему в страхе, не позволяя им брать без позволения даже пустой бутылки, она еще будет жить старыми своими началами, старой религией, простотой нравов, скромностью и умеренностью образа жизни. В настоящую минуту можно и ее отпереть разом: она так слаба, что никакой войны не выдержит. Но для этого надо поступить по-английски, то есть пойти, например, в японские порты, выйти без спросу на берег, и когда станут не пускать, начать драку, потом самим же пожаловаться на оскорбление и начать войну. Или другим способом: привезти опиум, и когда станут принимать против этого строгие меры, тоже объявить войну.

Долго заставили себя ждать полномочные. Мы уж давно расхаживали по юту и по шканцам, раза по два бегали к камбузу съесть по горячему пирожку или по котлетке, а их всё нет!

В первом часу наконец от берега тронулась целая флотилия к нам. Посреди пятидесяти или шестидесяти лодок медленно плыли две огромные, крытые лодки или барки, как два гроба, обтянутые, как гробы же, красной материей, утыканные золочеными луками, стрелами, пиками и булавами. Лодки были в два этажа, с галереею вокруг для гребцов. Вверху помещалась свита, внизу сами полномочные. Множество мелких лодок вели большие на буксире. На носу большой лодки стоял японец с какой-то белой метелкой и, махая ею, управлял буксиром под мерный звук гонга и криков. Шум был страшный. Оба гроба пристали к парадному трапу и стали рядом.

Баниосы, переводчики поползли, как из мешка, и затопили палубу. За ними вышло до шестидесяти человек караула. Японцы не хотели уступить нам в церемониале. Для угощения свиты и людей и для соблюдения порядка назначено было несколько офицеров. Наконец вышли и полномочные. К. Н. Посьет и я встретили их при входе, адмирал – у дверей своей каюты. На шканцы был вызван караул с музыкой. Им предложили посмотреть фрегат, и они с удовольствием согласились. Я никак не думал, чтоб старик приехал. Куда бы, кажется, ему? А он оказал удивительную бодрость, обошел палубы, спустился в самую нижнюю, в арсенал, и не обнаруживал никаких признаков усталости. Они на всем останавливались, расспрашивали, и если находили что-нибудь покрытое или завешенное, приподнимали и спрашивали, что там такое, зачем.

Их повели в адмиральскую каюту. Она была очень ярко убрана: стены в ней, или, по-морскому, переборки, и двери были красного дерева, пол, или палуба, устлана ковром; на окнах красные и зеленые драпри. Для четырех полномочных приготовлен был широкий и невысокий диван, покрытый пестрыми английскими коврами. Посидев несколько минут, все пошли наверх, в палатку. Полномочные вели себя как тонкие, век жившие в свете, люди; всё

должно было поражать их, не выдавших никогда европейского судна, мебели, украшений. Что шаг, то новое для них. Они сознались в этом на другой день, но тут не показали, ни жестом, ни взглядом, удивления или восторга. Музыку они тоже слышали в первый раз, и только один из них качал головой в такт, как делают у нас меломаны, сидя в опере.

Им подали чай. Между тем вся команда выстроилась на палубе; началось ученье ружьем, потом маршировка. Четыреста человек маршировали вокруг мачт, от юта до бака и обратно. Но всего эффектнее было, когда пробили тревогу: из всех люков сыпались люди и разбегались, как мыши, по всем направлениям, каждый к своему оружию. Я уж привык к этому, но и мне зрелище это показалось интересно; а людям, не видавшим никогда ничего подобного! Им показали действие орудиями. Они благодарили адмирала и попросили поблагодарить людей. "Спасибо, ребята", – сказал адмирал. "Рады стараться!" – раздалось четыреста голосов. Опять эффект.

Накрыли столы. Для полномочных и церемониймейстера в гостиной адмиральской каюты. За другим столом сидел адмирал и трое нас. В столовой посадили одиннадцать человек свиты полномочных и еще десять человек в кают-компании. Для караула отведено было место в батарейной палубе.

Хотя японцы и просили устроить обед на европейский лад, однако ж нельзя было заставить их есть вилками и ножами, и потому наделали палочек. Хлеба они не едят, и им беспрестанно ставили горячий рис. С тарелок они тоже не привыкли есть: им подавали суп и уху в чайных чашках. В столовой, где обедала свита, на столе расставлены были тарелки с вареньем и пирожным. Гости начали с этого и до супу уничтожили все сладкие пирожки и конфекты, полагая, что если поставлено, то медлить нечего. "Что это?" – спрашивали они при каждом блюде и чего-то, казалось, ожидали. Им подавали больше рыбы, но переводчик сказал, что они ждут мяса, которое едят, как редкость. Отвращения они к нему не имеют, напротив, очень любят, а не едят только потому, что не велено, за недостатком скота, который употребляется на работы. У нас из мясных блюд приготовлен был для них нарочно пилав из баранины, ветчина, и, кажется, только. Говядины на фрегате в то время не было. Прочие блюда были из рыбы или живности. Они с удовольствием ели баранину, особенно четвертый полномочный. Кончив тарелку, он подал ее человеку сам: знак, что желает повторения. Скатерти, салфетки, солонки – всё обращало их внимание. И надо было отдать им справедливость: они так пригляделись к нашему порядку, что едва можно было заметить разницу между ними и европейцами. Только один из них, Кавадзи, на минуту придержался японского обычая. Подали какое-то жидкое пирожное, вроде крема с бисквитами: он попробовал, должно быть, ему понравилось; он вынул из кармана бумажку, переложил в нее всё, что осталось на тарелке, стиснул и спрятал за пазуху. "Не подумайте, что я беру это для какой-нибудь красавицы, – заметил он, – нет, это для своих подчиненных".

При этом случае разговор незаметно перешел к женщинам. Японцы впали было в легкий цинизм. Они, как все азиатские народы, преданы чувственности, не скрывают и не преследуют этой слабости. Если хотите узнать об этом что-нибудь подробнее, прочтите Кемпфера или Тунберга. Последний посвятил этому целую главу в своем путешествии. Я не был внутри Японии и не жил с японцами и потому мог только кое-что уловить из их разговоров об этом предмете.

Я и Посьет беспрестанно выходили из-за стола то подлить им шампанского, то показать, как надо есть какое-нибудь блюдо, или растолковать, из чего оно приготовлено. Они смущались нашею вежливостью и внимательностью и не знали, как благодарить.

Пили они умеренно. Они пробовали с большим любопытством вино, отпивая понемногу, но бокала не доканчивали, кроме, однако ж, четвертого полномочного, мужчины рослого и полного. Тот выпил бокала четыре.

Им намекнули было о деле, о завтрашнем свидании; но полномочные отвечали, что они увлеклись нашим праздником, сделанным им приемом и приятной беседой, а о деле и забыли совсем.

Переводчики ползали по полу: напрасно я приглашал их в другую комнату, они и

руками и ногами уклонились от обеда, как от дела, совершенно невозможного в присутствии grooten herren, важных особ. Но у них в горле пересохло. Кичибе вертелся на полу во все стороны, как будто его кругом рвали собаки. "Хи, хи!" – беспрестанно откликался он то тому, то другому. Под конец обеда, в котором не участвовал, он совсем охрип и осовел. Я налил ему и Эйноске по бокалу шампанского: они стали было отнекиваться и от этого, но Кавадзи махнул головой, и они, поклонившись ему до земли, выпили с жадностью, потом обратили признательный взгляд ко мне и подняли бокалы ко лбу в знак благодарности.

Я заглянул в другую комнату: там пир был в полном разгаре. Несколько раскрасневшихся лиц и приятных улыбок доказывали, что собеседники тоже пробовали наши вина. Между ними я заметил одну совсем бритую голову, без косички: это доктор. Доктора и жрецы не носят вовсе волос. Он рекомендовался нашим докторам, был очень жив и говорил немного по-голландски. За десертом, в подражание горячему саки, подали им глинтвейн. Полномочные хлебнули немного, более из любопытства. Потом мы, подражая тоже их обычаю, поставили перед каждым полномочным по ящику конфет. Они уже тут не могли скрыть своего удовольствия или удивления и ахнули – так хороши были ящики из дорогого красивого дерева, с деревянной же мозаикой. Да и конфеты, пестротой своей, бросались в глаза. Потом им показали и подарили множество раскрашенных гравюр с изображением видов Москвы, Петербурга, наших войск, еще купленных в Англии картинок женских головок, плодов, цветов и т. п. Новые ахи удовольствия и изумления!

Наконец, около сумерек, всё это нашествие иноплеменных исчезло от нас с просьбою посетить их.

На другой день, 5-го января, рано утром, приехали переводчики спросить о числе гостей, и когда сказали, что будет немного, они просили пригласить побольше, по крайней мере хоть всех старших офицеров. Они сказали, что настоящий, торжественный прием назначен именно в этот день и что будет большой обед. Как нейти на большой обед? Многие, кто не хотел ехать, поехали.

В самом деле, на пристани ожидала нас толпа гуще, было больше суматохи; навстречу вышли важнее чиновники, в самых пестрых юбках. Еще я заметил на этот раз кроме солдат в конических шапках какую-то прислугу, несшую белые фонари из рыбьих пузырей на высоких бамбуковых шестах. Прямо против пристани выстроена была новенькая, только что с иголки, галерея, вроде гауптвахты. Там, на пятках, сидело в четыре ряда человек пятьдесят японцев. Наверху, на террасе, налево и прямо – везде такие же галереи: не помню, были ли они прежде тут или нет? А! вот и лошадь! наконец я увидел и ее: дрянная буланая лошаденка пугалась музыки, прыгала и рвалась к лестнице. Всадник едва удерживал ее; кажется, он был представитель японской кавалерии. Но с нами караула было меньше, и шествие не так торжественно.

Японские полномочные и свита одеты были по-прежнему очень парадно. Тсутсуи и Кавадзи объявили, что они имеют вручить письмо от верховного совета. "Пожалуйте, где оно?" – спросили их. "А вот, – отвечали они, указывая на окованный железом белый сундук, какие у нас увидишь во всяком старинном купеческом доме, и на шелковый, с кистями, тут же стоящий ящик. – Кто примет письмо?" О. А. Гошкевич, по приказанию адмирала, вышел на середину. Церемониймейстер, с поклоном, подошел и открыл шелковый ящик. "Ужели такое большое письмо?" – думал я, глядя с любопытством на ящик. "Извольте же принимать", – сказал переводчик. Гошкевич взял ящик и насилу держал в руках. Он пошел в "отдыхальню", и мы за ним, а за нами понесли сундук. "Зачем же большой сундук?" – подумал я еще, глядя в недоумении на сундук. Открыли его: там стоял другой сундук, поменьше, потом третий, четвертый, всё меньше и меньше. И вот в этот-то четвертый сундук и вставлялся шелковый, по счету пятый, ящик. Но отчего ж он тяжелый? Подняли крышку и увидели в нем еще шестой и последний ящик из белого лакированного дерева, тонкой отделки, с окованными серебром углами. А уж в этом ящике и лежала грамота от горочью, в ответ на письмо из России, писанная на золоченой, толстой, как пергамент, бумаге и завернутая в несколько шелковых чехлов. Какие затейники!

После этого церемониймейстер пришел и объявил, что его величество сиюгун прислал российскому полномочному подарки и просил принять их. В знак того, что подарки принимаются с уважением, нужно было дотронуться до каждого из них обеими руками. "Вот подарят редкостей! – думали все, – от самого сиюгуна!" – "Что подарили?" – спрашивали мы шепотом у Посьета, который ходил в залу за подарками. "Ваты", – говорит. "Как ваты?" – "Так, ваты шелковой да шелковой материи". – "Что ж, шелковая материя – это хорошо!"

В это время слуги внесли подставки, вроде постелей, и на них разложены были куски материй и ваты. Материя двух цветов, белая и красная, с ткаными узорами, но так проста, что в порядочном доме нельзя и драпри к окну сделать. "Что ж, нет у них лучше, или не может дать сиюгун?" Как нет! едва ли в Лионе делают материи лучше тех, которые мы видели на платьях полномочных. Но японцы не дарят и не показывают их, чтобы не привлекать на свое добро чужих взглядов и отбить охоту торговать. Притом шелк у них запрещено вывозить, наравне с металлами. В Японии его мало. Им сырец привозится из Китая, и они выделывают материя для собственного употребления. Лучшие и богатые материи делаются ссыльными на маленькой неприступной скале, к югу от Японии. Там ни одна лодка не может пристать к скалам, и преступникам в известные сроки привозят провизию, а они на веревках втаскивают ее вверх. Сам остров мал и бесплоден.

Наконец сундук с письмом и подарки – всё убрали, церемониймейстер пришел опять сказать, что его величество сиюгун повелел угостить нас обедом. Обед готовили, как видно, роскошный. Вместо шести было поставлено по двенадцати подставок или скамеечек перед каждым из нас. На каждой скамеечке – по две, по три, а на иных и больше чашек с кушаньями. Кроме того, были наставлены разные миниатюрные столики, коробки, как игрушки; на них воткнуты цветы, сделанные из овощей и из материй очень искусно. Под цветами лежала закуска: кусочки превкусной, прессованной желтой икры, сырая рыба, красная пастила, еще что-то из рыбы, вроде сыра.

На особом миньютюрном столике, отдельно, посажена на деревянной палочке целая птичка, как есть в натуре, с перьями, с хвостом, с головой, похожая на бекаса. Когда я задумался, не зная, за что приняться, Накамура Тамея, церемониймейстер, подошел ко мне и показал на птичку, предлагая попробовать ее. "Да как же ее есть, когда она в перьях?" – думал я, взяв ее в руки. Но между перьями наложено было мясо птички, изжаренное и нарезанное кусочками. Дичь была очень вкусна. Я съел всю птичку. Накамура знаками спросил, не хочу ли я другую? "Гм!" – сделал я утвердительно. Слуга вскочил, взял миньютюрную подставку, с бывшей птичкой, и принес другую. А я между тем обратил внимание на прочее: съел похлебку сладкую с какими-то клецками, похожими немного и на макароны. Что там было еще – я и вникнуть не мог. Далее была похлебка из грибов, варенных целиком, рыба с бульоном и под соусами, вареная зелень, раки и вареные устрицы, множество соленых и моченых овощей: всё то же, что в первый раз, но со многими прибавлениями.

Рыба, с загнутым хвостом и головой, была, как и в первый раз, тут же, но только гораздо больше прежней. Это красная толстая рыба, называемая *steinbrassen* по-голландски, по-японски тай – лакомое блюдо у японцев; она и в самом деле хороша.

Цветы искусственные и дичь с перьями напомнили мне старую европейскую, затейливую кухню, которая щеголяла такими украшениями. Давно ли перестали из моркови и свеклы вырезать фигуры, узором располагать кушанья, строить храмы из леденца и т. п.? Еще и нынче по местам водятся такие утонченности. Новейшая гастрономия чуждается украшений, не лстящих вкусу. Угодить зрению – не ее дело. Она презирует мелким искусством – из окорока делать конфекту, а из майонеза цветник.

Опять мы пили саки, а японцы, сверх того, горячую воду; опять наставили сластей, только гораздо больше прежнего. Особенно усердно приглашали нас наши амфитрионы есть сладкое тесто из какого-то горошка. Были тут синие, белые и красные конфекты, похожие вкусом частью на картофель, частью на толокно. Мак тоже играл роль, но всего более рис: из него сделаны были звездочки, треугольники, параллелограммы и т. п. Было из теста что-то

вроде блина с начинкой из сахарного песка, в первобытном виде, как он добывается из тростника; были клейкие витушки и проч. Потом подали еще толченого, дорогого чая, взбитого с пеной, как шоколад.

Меня особенно помирilo с этой кухней отсутствие всякого растительного масла. Японцы едят три раза в сутки и очень умеренно. Утром, когда встают, – а они встают прерано, раньше даже утра, – потом около полудня и, наконец, в 6 часов. Порции их так малы, что человеку с хорошим аппетитом их обеда не доставит на закуску. Чашки, из которых японцы едят, очень малы, а их подают неполные. В целой чашке лежит маленький кусочек рыбы, в другой три гриба плавают в горячей воде, там опять под соусом рыбы столько, что мало один раз в рот взять. И все блюда так. Головинин прав, говоря, что бывшим с ним в плену матросам давали мало есть. По-своему японцы давали довольно, а тем мало.

Мы после узнали, что для изготовления этого великолепного обеда был приглашен повар симабарского удельного князя. Симабара – большой залив по ту сторону мыса Номо, милях в двадцати от Нагасаки. Когда князь Симабара едет ко двору, повар, говорили японцы, сопровождает его туда щеголять своим искусством.

В сумерки мы простились с хозяевами и с музыкой воротились домой. Вслед за нами приехали чиновники узнать, довольны ли мы, и привезли гостинцы. Какое наказание с этими гостинцами! побросать ящики в воду неловко: японцы увидят, скажут, что пренебрегаем подарками, беречь – места нет. Для большой рыбы также сделаны ящики, для конфет особо, для сладкого хлеба опять особо. Я сберег несколько миньятюрных подставок; если доведу, то увидите образчик терпения и в то же время мелочности.

Привезли подарки от сиюгуна, вату и проч., и всё сложили на палубе: пройти негде. Ее было такое множество, что можно было, кажется, обложить ею весь фрегат.

На другой же день начались и переговоры, и наши постоянные поездки в Нагасаки. Мы ездили без всякого уже церемониала, в двух катерах. В одном адмирал и четверо из нас: Посьет, Гошкевич, Пещуров и я, в другом слуги со стульями. Когда мы предложили оставлять стулья на берегу, в доме губернатора, его превосходительство – и руками и ногами против этого. Он сказал, что ему придется самому там спать и караулить стулья. "Пожар будет, сгорят, пожалуй, – говорил он, – и крыс тоже много в этом доме: попортят". Мы все засмеялись, и он не выдержал и тоже осклабился. "Да мы не взыщем, у нас еще есть", – возразил адмирал. "Вы не взыщете, а я все-таки должен буду отвечать, если хоть один стул попортится", – заметил он и не согласился, а предложил, если нам скучно возить их самим, брать их и доставлять обратно в японской лодке, что и делалось.

Не знаю, писал ли я, что место велено дать и что губернатор просил только сроку для отделки дома там и т. п. Но день за днем проходил, а отговорка всё была одна и та же, то есть что помещение для нас еще не готово. Он улыбался, когда ему изъясляли неудовольствие: видно было, что он действовал не сам собою. Ему, конечно, поручено было протянуть дело до нашего ухода, и он исполнял это отлично. Наконец тянуть далее было нельзя, и он сказал, что место готово, но предложил пользоваться им на таких условиях, что согласиться было невозможно: например, чтобы баниосы провожали нас на берег и обратно к судам. Адмирал приказал им сказать, что места не надо, и отослал бумагу об этих условиях назад. Японцы того и хотели. Им нужно было не давать повадки иностранцам съезжать на берег: если б они дали место нам, надо было бы давать и другим, а они надеялись или вовсе уклониться от этой необходимости, или, по возможности, ограничить ее, наконец, хоть отдалить, сколько можно, это событие.

Не касаюсь предмета нагасакских конференций адмирала с полномочными: переговоры эти могут послужить со временем материалом для описаний другого рода, важнее, а не этих скромных писем, где я, как в панораме, взялся представить вам только внешнюю сторону нашего путешествия.

Мы часто повадились ездить в Нагасаки, почти через день. Чиновники приезжали за нами всякий раз, хотя мы просили не делать этого, благо узнали дорогу. Но им всё еще хочется показывать народу, что иностранцы не иначе как под их прикрытием могут

выходить на берег.

Что с ними делать? Им велят удалиться, они отойдут на лодках от фрегата, станут в некотором расстоянии; и только мы отвалим, гребцы затянут свою песню "Оссильян! оссильян!" и начнут стараться перегнать нас.

В день, назначенный для второй конференции, погода была ужасная: ветер штормовой ревел с ночи, дождь лил как из ведра. Японцы никак не воображали, что мы приедем, не являлись за нами и не ждали нас на берегу. А мы надели непромокаемые пальто, взяли зонтики да и отправились. Вода ручьем текла с нас, мы ничего, едем себе. Японцы и рты разинули. Они, как мухи в непогоду, сидели по своим углам. В доме поставили мангалы, небольшие жаровни, для нагревания воздуха. Но воздух не нагревался; а можно было погреть только руки да угореть. Я не понимаю, как они сами терпят это? Мы почти всякий раз, во время заседаний, надевали шинели и пальто. Это подавало повод почти каждому японцу подойти ко мне и погладить бобровый воротник. На вопрос, есть ли у них меха, они отвечали, что есть звери: выдры и лисицы, но что мехов почти никто не носит.

Назначать время свидания предоставлено было адмиралу. Один раз он назначил чрез два дня, но, к удивлению нашему, японцы просили назначить раньше, то есть на другой день. Дело в том, что Кавадзи хотелось в Едо, к своей супруге, и он торопил переговорами. "Тело здесь, а душа в Едо", – говорил он не раз.

Кавадзи этот всем нам понравился, если не больше, так по крайней мере столько же, сколько и старик Тсутсуй, хотя иначе, в другом смысле. Он был очень умен, а этого не уважать мудро, несмотря на то что ум свой он обнаруживал искусной диалектикой против нас же самих. Но каждое слово его, взгляд, даже манеры, – всё обличало здравый ум, остроумие, проницательность и опытность. Ум везде одинаков: у умных людей есть одни общие признаки, как и у всех дураков, несмотря на различие наций, одежд, языка, религий, даже взгляда на жизнь.

Мне нравилось, как Кавадзи, опершись на богатый веер, смотрел и слушал, когда речь обращена была к нему. До половины речи рот его был полуоткрыт, взгляд немного озабочен – признаки напряженного внимания. На лбу, в меняющихся узорах легких морщин, заметно отражалось, как собирались в голове у него, одно за другим, понятия и как формировался из них общий смысл того, что ему говорили. После половины речи, когда, по-видимому, он схватывал главный смысл ее, рот у него сжимался, складки исчезали на лбу, всё лицо светлело: он знал уже, что отвечать. Если вопрос противной стороны заключал в себе кроме сказанного еще другой, скрытый смысл, у Кавадзи невольно появлялась легкая улыбка. Когда он сам начинал говорить и говорил долго, он весь был в своей мысли, и тогда в глазах прямо светился ум. Если говорил старик, Кавадзи потуплял глаза и не смотрел на старика, как будто не его дело, но живая игра складок на лбу и содрогание век и ресниц показывали, что он слушал его еще больше, нежели нас. Переговоры все, по-видимому, были возложены на него, Кавадзи, а Тсутсуй был послан так, больше для значения и, может быть, тоже по своему приятному характеру.

Однажды в частной беседе адмирал доказывал, что японцы напрасно боятся торговли; что торговля может только разлить довольство в народе и что никакая нация от торговли не приходила в упадок, а, напротив, богатели.

Приводили им в пример, чем бы иностранцы могли торговать с ними. "Вон, например, у вас замечен недостаток в первых домашних потребностях: окна заклеены бумагой, – говорил адмирал, глядя вокруг себя, – от этого в комнатах и темно, и холодно; вам привезут стекла, научат, как это делать. Это лучше бумаги и дешево стоит". "У нас, – далее говорил он, – в Камчатке и других местах, около лежащих, много рыбы, а соли нет; у вас есть соль: давайте нам ее, и мы вам же будем возить соленую рыбу, которая составляет главную пищу в Японии. Зачем употреблять вам все руки на возделывание риса? употребите их на добывание металлов, а рису вам привезут с Зондских островов – и вы будете богаче..." – "Да, – прервал Кавадзи, вдруг подняв свои широкие веки, – хорошо, если б иностранцы возили рыбу, стекло да рис и тому подобные необходимые предметы; а как они будут возить вон эти часы,

какие вы вчера подарили мне, на которые у нас глаза разбежались, так ведь японцы вам отдадут последнее..." А ему подарили прекрасные столовые астрономические часы, где кроме обыкновенного циферблата обозначены перемены луны и вставлены два термометра. Мы все засмеялись, и он тоже. "Впрочем, примите эти слова как доказательство только того, что мне очень нравятся часы", – прибавил он.

Хотели было после этого говорить о деле, но что-то не клеилось. "Нет, видно, нам уже придется кончить эту беседу смеючись", – прибавил Кавадзи, приподнимаясь аристократически-лениво с пятки.

Ну чем он не европеец? Тем, что однажды за обедом спрятал в бумажку пирожное, а в другой раз слизнул с тарелки сою из анчоусов, которая ему очень понравилась? Это местные нравы – больше ничего. Он до сих пор не видал тарелки и ложки, ел двумя палочками, похлебку свою пил непосредственно из чашки. Можно ли его укорять еще и за то, что он, отдавая какого-нибудь кушанья, отдавал небрежно тарелку Эйноске, который, как пудель, сидел у ног его? Переводчик брал, с земным поклоном, тарелку и доедал остальное.

Я вглядывался во всё это и – как в Китае – базары и толкотня на них поразили меня сходством с нашими старыми базарами, так и в этих обычаях поразило меня сходство с нашими же старыми нравами. И у нас, у ног старинных бар и барынь, сидели любимые слуги и служанки, шуты, и у нас также кидали им куски, называемые подачкой; у нас привозили из гостей разные сласти или гостинцы. Давно ли еще Грибоедов посмеялся, в своей комедии, над "подачкой"? В эпоху нашего младенчества из азиатской колыбели попало в наше воспитание несколько замашек и обычаев, и теперь еще не совсем изгладившихся, особенно в простом быту.

После восьми или десяти совещаний полномочные объявили, что им пора ехать в Едо. По некоторым вопросам они просили отсрочки, опираясь на то, что у них скончался государь, что новый сиюгун очень молод и потому ему предстоит сначала показать в глазах народа уважение к старым законам, а не сразу нарушать их и уже впоследствии как будто уступить необходимости. Далее нужно ему, говорили они, собрать на совет всех своих удельных князей, а их шестьдесят человек.

Однажды на вопрос, кажется, о том, отчего они так медлят торговать с иностранцами, Кавадзи отвечал: "Торговля у нас дело новое, несозревшее; надо подумать, как, где, чем торговать. Девуцу отдают замуж, – прибавил он, – когда она вырастет: торговля у нас не выросла еще..."

После семи или восьми заседаний начал уже ездить на фрегат церемониймейстер Накамура Тамея с Эйноске и с четырьмя секретарями, записывавшими всё, что говорилось. Как быстро подчиненный усваивает здесь роль начальника, да и не здесь только! Накамура, как медведь, неловко влезал на место, где сидели полномочные, сжимал, по привычке многих японцев, руки в кулаки и опирал их о колени, морщил лоб и говорил с важностью. Но его постигла было вот какая беда: адмирал отдал ему, для передачи полномочным, запечатанный пакет, заключающий важные бумаги.

Накамура благополучно доставил его по адресу. Но на другой день вдруг явился, в ужасной тревоге, с пакетом, умоляя взять его назад... "Как взять? Это не водится, да и не нужно, причины нет!" – приказал отвечать адмирал. "Есть, есть, – говорил он, – мне не велено возвращаться с пакетом, и я не смею уехать от вас. Сделайте милость, возьмите!"

И сами полномочные перепугались: "В бумагах говорится что-то такое, – прибавил Накамура, – о чем им не дано никаких приказаний в Едо: там подумают, что они как-нибудь сами напросились на то, что вы пишете". Видя, что бумаг не берут, Накамура просил адресовать их прямо в горочью. На это согласились.

Как он обрадовался, когда Посьет, по приказанию адмирала, дотронулся до бумаги рукой: это значило – взял. Он, с радости, отвязал от пояса бронзовый флакончик для духов, который они все носят (то есть кто важнее), и подал его Посьету. Мы все засмеялись. В этом Накамура есть еще что-то дикое, Впрочем только в наружности. Он похож немного, взглядами, голосом и движениями, на зверя. Он полюбил Посьета и меня, беспрестанно

гладил нас по плечу, подавал руку. Еще в первое посещение фрегата, когда четверо полномочных и он сидели с нами за обедом в адмиральской каюте, он выказал мне расположение: предлагали тосты, и он предложил, сказав, что очень рад видеть всех, особенно меня. Мы все засмеялись. Впрочем, я и Посьет, может быть, обязаны его вниманием тому, что мы усердно хозяйничали, потчевали гостей, подливали им шампанское, в том числе и ему. "Мы не умеем так угостить вас", – задумчиво говорили они как будто с завистью. Накамура понравилось очень пьянино в каюте капитана. Когда стали играть, он пришел в восторг. "Кото, кото!" – отрывисто твердил он, показывая на фортепьяно. Так называется похожий с виду на фортепьяно японский музыкальный инструмент, вроде гуслей, на которых играют японки.

Чтоб занять его чем-нибудь, пока адмирал читал привезенную им бумагу, я показывал ему разные картинки, между прочим прошлогодних женских мод. Картинки эти вшиты были в журналы. Женские фигуры и платья произвели большой эффект. Заметив это, я выдрал картинки из журналов и подарил ему. Он был в восторге. Еще я подарил ему вид Лондона в свертке, величиной в восемнадцать футов, купленный мною в туннеле под Темзой. Накамура обрадовался и на другой же день привез мне коробку лучшего табаку, две трубки и два маленькие кисета. Отдавая, он повторял: "Табакко, табакко". Португальцы завезли им это слово вместе с табаком.

Занимая Накамуру, я взял маленький японский словарь Тунберга и разговоры и начал читать японские фразы, писанные латинскими буквами. Неимоверный хохот поднялся между Накамурой и другими японскими собеседниками. Между прочим, там есть фраза: "Покажи мне дом Миссури". Я вместо Миссури вставил имя губернатора Овосава и привел гостей в крайнее недоумение, даже в испуг. Накамура, собеседники его и два переводчика стали заглядывать в книгу, чтоб узнать, как попало туда имя губернатора. Узнав мою хитрость, Накамура грозил мне пальцем и хохотал. Впрочем, видно, что он смысленный и распорядительный человек, хотя и медвежьей наружности.

Противнее всех вел себя Эйноске. Он был переводчиком при Кавадзи и потому переводил важнейшую часть переговоров. Он зазнался, едва слушал других полномочных; когда Кавадзи не было, он сидел на стуле развалившись. Вообще не скрывал, что он вырос, и под конец переговоров вел себя гораздо хуже, нежели в начале. Он не прочь и покутить: часто просил шампанского и один раз, при Накамуре, так напился с четырех бокалов, что вздумал было рассуждать сам, не переводить того, что ему говорили; но ему сказали, что возьмут другого переводчика. Кичибе не забывался: он показывал зубы, сидел в уголку и хикал на все стороны. "Хи!" – откликался он, быстро оборачиваясь то к тому, то к другому японцу, когда кликали: "Кичибе!" "Кичибе!" – кликнул я однажды в шутку. "Хи!" – отозвался он на мою сторону и пополз ко мне, но увидев ошибку, добродушно засмеялся и пополз назад.

Когда мы ездили в Нагасаки, нам каждый день давали в полдень закуску, а часа в три так называемый банкет, то есть чай и конфеты. Мы тоже угощали Накамуру и всю свиту его, и они охотно ездили к нам. Губернаторские чиновники не показывались больше, так как дела велись уже с полномочными и приехавшими с ними чиновниками. Особенно с удовольствием ели они мясо и пили вишневку. Их всячески забавляли: показывали волшебный фонарь, модель паровоза, рельсы. С разинутыми ртами смотрели они, как мчится сама собою машинка, испуская пар; играли для них на маленьких органах, наконец, гремела наша настоящая музыка.

Адмирал приказал сказать Накамуре, что он просит полномочных на второй прощальный обед на фрегат. Между тем наступил их Новый год, начинающийся с январским новолунием. Это было 17 января. Адмирал послал двум старшим полномочным две свои визитные карточки и подарки, состоящие из вишневки, ликеров, части быка, пирожного, потом послали им маленькие органы, картинки, альбомы и т. п.

20 января нашего стиля обещались опять быть и сами полномочные, и были. Приехав, они сказали, что ехали на фрегат с большим удовольствием. Им подали чаю, потом адмирал

стал говорить о делах.

Перед обедом им опять показали тревогу в батарейной палубе, но у них от этого, кажется, душа в пятки ушла. В самом деле, для непривычного человека покажется жутко, когда вдруг четыреста человек, по барабану, бегут к пушкам, так что не подвертывайся: сшибут с ног; раскрепляют их, отодвигают, заряжают, палят (примерно только, ударными трубками, то есть пистонами) и опять придвигают к борту. Почти пятиаршинные орудия летают, как игрушки. Грохот орудий, топот людей, вспышки и удары пистонов, слова команды – всё это больно видеть и не японскому глазу. Видно было, что нашим гостям это удовольствие не совсем понравилось. Старик Тсутсуй испугался до дурноты. Велели скорее прекратить. Накануне они засылали Эйноске просить, будто для себя, а в самом деле, конечно, по приказанию из Едо, подарить одно ружье с новым прицелом да несколько пушечных пистонов. Но адмирал отказал, заметив, что такие предметы можно дарить только тем, с кем находишься в самых дружеских и постоянных сношениях.

После тревоги показали парусное ученье: в несколько минут отдали и убрали паруса.

Потом сели за стол, уже не по-прежнему, а все вместе, на европейский лад, то есть все четверо полномочных, потом Тамея да нас семь человек. Остальным накрыт был стол в кают-компании. Кичибе и Эйноске сели опять на полу, у ног старших двух полномочных. Блюда все подавали по-европейски. Я помогал управляться с ними Кавадзи, а Посыет Тсутсую. Кавадзи ел всё с разбором, спрашивал о каждом блюде, а старик жевал, кажется, бессознательно, что ему ни подавали. Они охотнее и больше пили, нежели в первый раз, выучились у нас провозглашать здоровье и беспрестанно подливали вино и нам, и себе. Мы отпивали понемногу, а они добродушно каждый раз выпивали всю рюмку.

В середине обеда Кавадзи стал немного волноваться; старик ничего. Подали шампанское. Когда пробка выскочила и вино брызнуло вон, они сделали большие глаза. Эйноске, как человек опытный, поспешил растолковать им свойство этого вина. Адмирал предложил тост: "За успешный ход наших дел!" Кавадзи, после бокала шампанского и трех рюмок наливки, положил голову на стол, пробыл так с минуту, потом отряхнул хмель, как сон от глаз, и быстро спросил: "Когда он будет иметь удовольствие угощать адмирала и нас в последний раз у себя?" – "Когда угодно, лишь бы это не сделало ему много хлопот", – отвечено ему. Но он просил назначить день, и когда адмирал назначил чрез два дня, Кавадзи прибавил, что к этому сроку и последние требуемые адмиралом бумаги будут готовы. Кавадзи всё твердил: "До свидания, когда увидимся?" Он надеялся, не выскажемся ли мы, куда пойдем из Нагасаки, то есть не воротимся ли в Россию. Эйноске однажды начал мерять стол в адмиральской каюте. "Зачем?" – спросили его. "А чтоб сделать такой же, – отвечал он, – когда придется угощать вас опять". Он думал, не обнаружим ли мы при этом случае наших намерений; но им ничего не сказали; говорили только: "До свидания", а где, когда – ни слова.

Это пугало их: ну, как нагрянем в Едо? тогда весь труд полномочных пропал и их приезд в Нагасаки был напрасен. Им хотелось отвратить нас от Едо, между прочим, для того, чтоб мы не стакнулись с американцами да не стали открывать торговлю сейчас же, и, пожалуй, чего доброго, не одними переговорами. Вы, конечно, знаете из газет, что японцы открыли три порта для американцев. Адмирал полагает, что после этого затворничество Японии должно кончиться само собою, без трактатов. Китоловы не упустят случая ходить по портам, тем более что японцы, не желая допускать ничего похожего на торговлю, по крайней мере теперь, пока зрело не обдумают и не решат этот вопрос между собою, не хотят и слушать о плате за дрова, провизию и доставку воды. А китоловам то и на руку, особенно дрова важны для них: известно, что они, поймав кита, на океане же топят и жир из него. Теперь плавают множество китоловов: как усмотреть, чтоб они не торговали в японских портах, которые открыты только для того, чтоб суда могли забежать, взять провизии, воды да и вон скорей? Японцы будут мешать съезжать на берег, свозить товары; затеется не раз ссора, может быть драка, сначала частная, а там... Известно, к чему всё это ведет.

За обедом я взял на минуту веер из рук Кавадзи посмотреть: простой, пальмового дерева, обтянутый бумажкой. Я хотел отдать ему назад, но он просил знаками удержать у

себя "на память", как перевел Эйноске слова его. Я поблагодарил, но, не желая оставаться в долгу, отвинтил золотую цепочку от своих часов и подал ему. Он на минуту остановился, выслушал переведенное ему приветствие и сказал, что благодарит и принимает мой подарок. Потом вышел из-за стола и что-то шепнул Эйноске. Это вот что: Кавадзи и Тсутсуй приготовили мне и Посьету по два ящика с трубками в подарок. Приняв от меня золотую цепочку, он, вероятно, нашел, что подарок его слишком ничтожен. Кичибе, не зная ничего этого, после обеда начал вертеться подле меня и, по своему обыкновению, задыхаться смехом и кряхтеть. Он раза два принимался было говорить со мною и наконец не вытерпел и в третий раз заговорил, нужды нет, что я не знаю по-голландски. "Их превосходительства, Тсутсуй и Кавадзи, просят вас и Посьета принять по маленькому подарку..." Эйноске не дал ему кончить и увел в столовую. Трубки все подарили Посьету, который, благодаря мне, получил подарок в двойном количестве.

На другой день Кавадзи прислал мне три куса шелковой материи и четыре пальмовые чубука с медными мундштуками и трубками. Медь блестит, как золото; и в самом деле, в японской меди много его. Тсутсую я подарил серебряную позолоченную ложку, с чернью, фасона наших деревенских ложек, и пожелал, чтоб он привык есть ею и приучил бы детей своих, "в надежде почаще обедать с русскими". Он прислал мне в ответ два маленькие ящика: один лакированный, с инкрустацией из перламутра, другой деревянный, обтянутый кожей акулы, миньютюрный поставец, в каком возят в дороге пищу. Это очень оригинальная вещь. Третий полномочный, которому я подарил *porte-monnaie*, отдал мне полдюжиной кошельков для табаку и черенком для ножа. Японцы носят разные насечки на своих саблях и, между прочим, небольшие ножи. Подаренный мне стальной черенок был тонкой отделки, с рисованными цветами, птицами и с японскою надписью. Накамура прислал медную японскую чернильницу с кистью и тушью.

Подарки, присланные адмиралу, завалили всю палубу, всю каюту. Сами вещи не слишком громоздки, но для всякой сделан особый ящик, и так отчетливо, как будто должен служить целый век. Многие подарки были очень замечательны, одни по изяществу, другие по редкости у нас. Вазы и чашки фарфоровые прекрасны, лакированные вещи еще лучше. Прислали столиков, шкафчиков, этажерок, даже целые ширмы; далее, кукол, в полном японском костюме, кинжал, украшения к нему и прочее. Еще прислали сои – это просто наказание! Один из чиновников подарил до пятнадцати кадочек с соей. Прислали саки, какой-то сушеной рыбы, икры; губернатор – опять зелени, всё это на прощанье.

После обеда адмирал подал Кавадзи золотые часы; "к цепочке, которую вам сейчас подарили", – добавил он. Кавадзи был в восторге: он еще и в заседаниях как будто напрашивался на такой подарок и всё показывал свои толстые, неуклюжие серебряные часы, каких у нас не найдешь теперь даже у деревенского дьячка. Тсутсую подарили часы поменьше, тоже золотые, и два куса шелковой материи. Прочим двум по куску материи.

В 8 часов они отправились. Едва они отъехали сажен десять от фрегата, как вдруг на концах всех рей показались сначала искры, потом затеплились огоньки, пока слабо, потом внезапно весь фрегат будто вспыхнул, и окрестность далеко озарилась фантастическим заревом бенгальских огней. На палубе можно было увидеть иголку – так ярко обливало зарево фрегат и удалявшиеся японские лодки, и еще ярче отражалось оно в воде. Это произвело эффект: на другой день у японцев только и разговора было, что об этом: они спрашивали, как, что, из чего, просили показать, как это делается.

В субботу мы были у них. Мрачно, сыро, холодно в комнатах, несмотря на то что день был порядочный. До обеда время прошло в приветствиях, изъявлениях дружбы. И с губернатором заключен был мир. Адмирал сказал им, что хотя отношения наши с ними были не совсем приятны, касательно отведения места на берегу, но он понимает, что губернаторы ничего без воли своего начальства не делали и потому против них собственно ничего не имеет, напротив, благодарит их за некоторые одолжения, доставку провизии, воды и т. п.; но просит только их представить своему начальству, что если оно намерено вступить в какие бы то ни было сношения с иностранцами, то пора ему подумать об отмене всех этих стеснений,

которые всякой благородной нации покажутся оскорбительными. Губернатор отвечал, что он об этом известит свое начальство, а его просит извинить только в том, что провизия иногда доставлялась не вполне, сколько требовалось, по причине недостатка. Губернаторам послали по куску шелковой материи; они отдалили, уж не знаю чем: ящичков возили так много, что нам надоело даже любопытствовать, что в них такое.

Прощальный обед у полномочных был полный, хороший. Похлебка с луком, приправленная соей и пряностями, очень вкусна. В ней плавали фрикадельки, только не знаю из чего. Я опять с удовольствием поел красной прессованной икры, рыбы под соусом, съел две чашки горячего рису. Накамура, в подражание нам, беспрестанно подходил ко всем нам и усердно потчевал. "Не угодно ли еще чего-нибудь?" – спрашивали хозяева. "Нет, ничего, благодарим". – "Может быть, рису или саки чашечку?" – "Нет, нет; мы сыты". – "Ну не выпьете ли горячей воды?" – ласково спросил старик. Мы отказались и от этого. "Стало быть, можно убирать?" – "Сделайте милость".

После обеда подали "банкет". Конфеты так и блестели на широкой тарелке синего фаянса. И каких тут не было! желтые, красные, осыпанные рисовой пылью, а всё есть нельзя. Всё это завернули вместе с тарелкой и отослали к нам: Фаддееву праздник! После поставили перед каждым из нас по подставке, на которой лежали куски материи, еще подарки от сиогуна. Материи льняные, шелковые и, кажется, бумажные. Офицерам всем принесли по ящичку с дюжиной чашек тонкого, почти прозрачного фарфора – тоже от имени японского государя. Материи, кажется, считаются, как подарок, выше; но их охотно можно променять на эти легкие, почти прозрачные, оригинальные чашки.

Полномочные опять пытались узнать, куда мы идем, между прочим, не в Охотское ли море, то есть не скажем ли, в Петербург. "Теперь пока в Китай, – сказали им, – в Охотском море – льды, туда нельзя". Эта скрытность очевидно не нравилась им. Напрасно Кавадзи прищуривал глаза, закусывал губы: на него смотрели с улыбкой. Беда ему, если мы идем в Едо!

Адмирал не хотел, однако ж, напрасно держать их в страхе: он предполагал объявить им, что мы воротимся не прежде весны, но только хотел сказать это уходя, чтобы они не делали возражений. Оттого им послали объявить об этом, когда мы уже снимались с якоря. На прощанье Тсутсуй и губернаторы прислали еще недосланные подарки, первый бездну ящичков адмиралу, Посьету, капитану и мне, вторые – живности и зелени для всех.

Ветер был попутный, погода тихая. Нам не нужно было уже держаться вместе с другими судами. Адмирал отпустил их, приказав идти на Ликейские острова, и мы, поставив все паруса, 24-го января покатали по широкому раздолью на юг. Шкуна ушла еще прежде за известиями в Шанхай о том, что делается в Европе, в Китае. Ей тоже велено прийти на Лю-чу. Не привезет ли она писем от вас? Я что-то отчаиваюсь, получаете ли вы мои? Манила! Манила! вот наша мечта, наша обетованная земля, куда стремятся напряженные наши желания. Это та же Испания, с монахами, синьорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да еще вдобавок Испания тропическая!

IV

ЛИКЕЙСКИЕ ОСТРОВА

Вид берега. – Бо-Тсунг. – Базиль Галль. – Идиллия. – Дорога в столицу. – Столица Чуди. – Каменные работы. – Пейзажи. – Жители, дома и храмы. – Поля. – Королевский замок. – Зависимость островов. – Протестантский миссионер. – Другая сторона идиллии. – Напа-Киян. – Жилище миссионера. – Напакьянский губернатор. – Корабль с китайскими эмигрантами. – Прогулки и отплытие.

Порт Напа-Киян, с 31-го января по 9-е февраля 1854 г.

Я всё время поминал вас, мой задумчивый артист: войдешь, бывало, утром к вам в мастерскую, откроешь вас где-нибудь за рамками, перед полотном, подкрадешься так, что вы, углубившись в вашу творческую мечту, не заметите, и смотришь, как вы набрасываете очерк, сначала легкий, бледный, туманный; всё мешается в одном свете: деревья с водой, земля с небом... Придешь потом через несколько дней – и эти бледные очерки обратились уже в определительные образы: берега дышат жизнью, всё ярко и ясно...

В таких же бледных очертаниях, как ваши эскизы, явились сначала мне Ликейские острова. Масса земли, не то синей, не то серой, местами лежала горбатой кучкой, местами полосой тянулась по горизонту. Нас отделяли от берега пять-шесть миль и гряда коралловых рифов. Об эту каменную стену яростно била вода, и буруны или расстилались далеко гладкой пеленой, или высоко вскакивали и облаками снежной пыли сыпались в стороны. Издали казалось, что из воды вырываются клубы густого белого дыма; а кругом синее-пресинее море, в которое с рифов потоками катился жемчуг да изумруды. Берег темен; но вдруг луч падал на какой-нибудь клочок, покрытый свежим всходом, и как ярко зеленел этот клочок!

Последние два дня дул крепкий, штормовой ветер; наконец он утих и позволил нам зайти за рифы, на рейд. Это было сделано с рассветом; я спал и ничего не видал. Я вышел на палубу, и берег представился мне вдруг, как уже оконченная, полная картина, прихотливо изрезанный красивыми линиями, со всеми своими очаровательными подробностями, в красках, в блеске.

Берег, особенно в сравнении с нагасакским, казался низменным; но зато как он разнообразен! Налево от нас выдающаяся в море часть выветрилась. Там росла скудная трава, из-за которой, как лысина сквозь редкие волосы, проглядывали кораллы, посеревшие от непогод, кое-где кусты да глинистые отмели. Прямо перед нами берега далеко отступили от мели назад, представляя коллекцию пейзажей, один другого лучше. Низменная часть тонет в густых садах; холмы покрыты нивами, точно красивыми разноцветными заплатами; вершины холмов увенчаны кедрами, которые стоят дружными кучками с своими горизонтальными ветвями.

Что за зелень там, в этой куче деревьев? чем засеяны поля? каковы дома?.. Скорей, скорей на берег! Две коралловые серые скалы выступают далеко из берегов и висят над водой; на вершине одной из них видна кровля протестантской церкви, а рядом с ней тяжело залегли в густой траве и кустах каменные массивные глыбы разных форм, цилиндры, полукруги, овалы; издали примешь их за здания – так велики они. Это памятники кладбища. Далее направо берег опять немного выдался к морю и идет то холмами, то тянется низменной, песчаной отмелью, заливаемой приливом. Вплоть почти под самым берегом идет гряда рифов, через которые скачут буруны; местами высунулись из воды камни; во время отлива они видны, а в прилив прячутся.

Вообще весь рейд усеян мелями и рифами. Беда входить на него без хороших карт! а тут одна только карта и есть порядочная – Бичи. Через час катер наш, чуть-чуть задев килем за камень обмелевшей при отливе пристани, уперся в глинистый берег. Мы выскочили из шлюпки и очутились – в саду не в саду и не в лесу, а в каком-то парке, под непроницаемым сводом отчасти знакомых и отчасти незнакомых деревьев и кустов. Из наших северных знакомцев было тут немного сосен, а то всё новое, у нас невиданное.

Меня опять поразил, как на Яве и в Сингапуре, сильный, приторный и пряный запах тропических лесов, охватила теплая влажность ароматических испарений. Мимо леса красного дерева и других, которые толпой жмутся к самому берегу, как будто хотят столкнуть друг друга в воду, пошли мы по тропинке к другому большому лесу или саду,

манившему издали к себе. Мы прошли по глинистой отмели, мимо ям и врытых туда сосудов для добывания из морской воды соли. За отмелью начиналась аллея или улица – как хотите, маленькой деревушки Бо-Тсунг.

Возьмите путешествие Базиля Галля (в 1816 г.): он в числе первых посетил Ликейские острова, и взгляните на приложенную к книге картинку, вид острова: это именно тот, где мы пристали. Вы посмеетесь над этим сказочным ландшафтом, над огромными деревьями, спрятавшимися в лесу хижинами, красивым ручейком. Всё это покажется похожим на пейзажи – с деревьями из моху, с стеклянной водой и с бумажными людьми. Но когда увидите оригинал, тогда посмеетесь только бессилию картинки сделать что-нибудь похожее на действительность.

Что это такое Ликейские острова, или, как писали у нас в старых географиях, Лиеу-киеу, или, как иностранцы называют их, Лю-чу (Loo-choo), а по выговору жителей Ду-чу? Разворачиваете того же Галля, думаете прочесть путешествие и читаете – идиллию. Да, это идиллия, брошенная среди бесконечных вод Тихого океана. Слушайте теперь сказку: дерево к дереву, листок к листку так и прибраны, не спутаны, не смешаны в неумышленном беспорядке, как обыкновенно делает природа. Всё будто размерено, расчищено и красиво расставлено, как на декорации или на картинах Ватто. Читаете, что люди, лошади, быки – здесь карлики, а куры и петухи – великаны; деревья колоссальные, а между ними чуть-чуть журчат серебряные нити ручейков да приятно шумят театральные каскады. Люди добродетельны, питаются овощами и ничего между собою, кроме учтивостей, не говорят; иностранцы ничего, кроме дружбы, ласк да земных поклонов, от них добиться не могут. Живут они патриархально, толпой выходят навстречу путешественникам, берут за руки, ведут в дома и с земными поклонами ставят перед ними избытки своих полей и садов... Что это? где мы? среди древних пастушеских народов в золотом веке? Ужели Феокрит в самом деле прав?

Всё это мне приходило в голову, когда я шел под тенью акаций, миртов и банианов; между ними видны кое-где пальмы. Я заходил в сторону, шевелил в кустах, разводил листья, смотрел на ползучие растения и потом бежал догонять товарищей.

Чем дальше мы шли, тем меньше верилось глазам. Между деревьями, в самом деле как на картинке, жались хижины, окруженные каменным забором из кораллов, сложенных так плотно, что любая пушка задумалась бы перед этой крепостью: и это только чтоб оградить какую-нибудь хижину. Я заглядывал за забор: мишьячные дома окружены огородом и маленьким полем. В деревне забор был сплошной: на стене, за стеной росли деревья; из-за них выглядывали цветы. Еще издали завидел я, у ворот стояли, опершись на длинные бамбуковые посохи, жители; между ними, с важной осанкой, с задумчивыми, серьезными лицами, в широких, простых, но чистых халатах с широким поясом, выделялись – совестно и сказать "старики", непременно скажешь "старцы", с длинными седыми бородами, с зачесанными кверху и собранными в пучок на маковке волосами. Когда мы подошли поближе, они низко поклонились, преклоняя головы и опуская вниз руки. За них боязливо прятались дети.

"Что это такое? – твердил я, удивляясь всё более и более, – этак не только Феокриту, поверишь и мадам Дезульер и Геснеру с их Меналками, Хлоями и Дафнами; недостает барашков на ленточках". А тут кстати, как нарочно,

"Куда же мы идем?" – вдруг спросил кто-то из нас, и все мы остановились. "Куда эта дорога?" – спросил я одного жителя по-английски. Он показал на ухо, помотал головой и сделал отрицательный знак. "Пойдемте в столицу, – сказал И. В. Фуругельм, – в Чую, или Чуди (Tshudi, Tshue – по-китайски Шоу-ли, главное место, но жители произносят Шули); до нее час ходьбы по прекрасной дороге, среди живописных пейзажей". – "Пойдемте".

Я любовался тем, что вижу, и дивился не тропической растительности, не теплоте, мягкому и пахучему воздуху – это всё было и в других местах, а этой стройности, прибранности леса, дороги, тропинок, садов, простоте одежд и патриархальному, почтенному виду стариков, строгому и задумчивому выражению их лиц, нежности и

застенчивости в чертах молодых; дивился также я этим земляным и каменным работам, стоившим стольких трудов: это муравейник или в самом деле идиллическая страна, отрывок из жизни древних. Здесь как всё родилось, так, кажется, и не менялось целые тысячелетия. Что у других смутное предание, то здесь современность, чистейшая действительность. Здесь еще возможен золотой век.

Лес как сад, как парк царя или вельможи. Везде виден бдительный глаз и заботливая рука человека, которая берет обильную дань с природы, не искажая и не оскорбляя ее величия. Глядя на эти коралловые заборы, вы подумаете, что за ними прячутся такие же крепкие каменные дома, – ничего не бывало: там скромно стоят игрушечные домики, крытые черепицей, или бедные хижинки, вроде хлебов, крытые рисовой соломой, о трех стенках из тонкого дерева, заплетенного бамбуком; четвертой стены нет: одна сторона дома открыта; она задвигается, в случае нужды, рамой, заклеенной бумагой, за неимением стекол; это у зажиточных домов, а у хижин вовсе не задвигается. Мы подошли к красивому, об одной арке, над ручьем, мосту, сложенному плотно и массивно, тоже из коралловых больших камней... Кто учил этих детей природы строить? невольно спросишь себя: здесь никто не был; каких-нибудь сорок лет назад узнали о их существовании и в первый раз заглянули к ним люди, умеющие строить такие мосты; сами они нигде не были.

Это единственный уцелевший клочок древнего мира, как изображают его Библия и Гомер. Это не дикари, а народ – пастыри, питающиеся от стад своих, патриархальные люди с полным, развитым понятием о религии, об обязанностях человека, о добродетели. Идите сюда поверять описания библейских и одиссеевских местностей, жилищ, гостеприимства, первобытной тишины и простоты жизни. Вас поразит мысль, что здесь живут, как жили две тысячи лет назад, без перемены. Люди, страсти, дела – всё просто, несложно, первобытно. В природе тоже красота и покой: солнце светит жарко и румяно, воды льются тихо, плоды висят готовые. Книг, пороку и другого подобного разврата нет. Посмотрим, что будет дальше. Ужели новая цивилизация тронет и этот забытый, древний уголок?

Тронет, и уж тронула. Американцы, или люди Соединенных Штатов, как их называют японцы, за два дня до нас ушли отсюда, оставив здесь больных матросов да двух офицеров, а с ними бумагу, в которой уведомляют суда других наций, что они взяли эти острова под свое покровительство против ига японцев, на которых имеют какую-то претензию, и потому просят других не распоряжаться. Они выстроили и сарай для склада каменного угля, и после этого человек Соединенных Штатов, коммодор Перри, отплыл в Японию.

– Куда ведет мост? – спросили мы И. В. Фуругельма, который прежде нас пришел с своим судном "Князь Меншиков" и успел ознакомиться с местностью острова.

– В Напу, или в Напа-Киян: вон он! – отвечал Фуругельм, указывая через ручей на кучу черепичных кровель, которые жались к берегу и совсем пропадали в зелени.

Мы продолжали идти в столицу по деревне, между деревьями, которые у нас растут за стеклом в кадках. При выходе из деревни был маленький рынок. Косматые и черные, как чертовки, женщины сидели на полу на пятках, под воткнутыми в землю, на длинных бамбуковых ручках, зонтиками, и продавали табак, пряники, какое-то белое тесто из бобов, которое тут же поджаривали на жаровнях. Некоторые из них, завидя нас, шмыгнули в ближайшие ворота или узенькие переулочки, бросив свои товары; другие не успели и только закрывались рукавом. Боже мой, какое безобразие! И это женщины: матери, жены! Да кто же женится на них? Мужчины красивы, стройны: любой из них годится в Менайки, а Хлои их ни на что не похожи! Нет, жаркие климаты не благоприятны для дам, и прекрасным полом следовало бы называть здесь нашего брата, ликейцев или лу-чинцев, а не этих обожженных солнцем лу-чинок.

Вы знаете дорогу в Парголово: вот такая же крупная мостовая ведет в столицу; только вместо булыжника здесь кораллы: они местами так остры, что чувствительно даже сквозь подошву. Я не понимаю, как ликейцы ходят по этим дорогам босиком? Зато местами коралл обтерся совсем, и нога скользит по нем, как по паркету. Выйдя из деревни, мы вступили в великолепнейшую аллею, которая окаймлена двумя сплошными стенами зелени. Кроме

банианов, замечательны вышиной и красотой толстые деревья, из волокон которых японцы делают свою писчую бумагу; потом разные породы мирт; изредка видна в саду кокосовая пальма, с орехами, и веерная. Но пальма что-то показалась мне невзрачна против виденных нами на Яве и в Сингапуре: видно, ей холодно здесь – листья жидки и малы. Мы прошли мимо какого-то, загороженного высокой каменной и массивной стеной, здания с тремя входами, наглухо заколоченными, с китайскими надписями на воротах: это буддийский монастырь. В щели, из-за стены, выглядывало несколько бонз с бритыми головами.

Всё это место напоминало мне наши старые и известные европейские сады. От аллеи шло множество дорожек и переулков, налево – в лес и к теснящимся в нем частым хижинам и фермам, направо – в обработанные поля. Дорога змееобразно вилась по холмам и долинам... Ах, какая местность вдруг распахнулась перед нами, когда мы миновали лес! Точно вдруг приподнялся занавес: вдали открылись холмы, долины, овраги, скаты, обрывы, темнели леса, а вблизи пестрели поля, убранные террасами и засеянные рисом, плантации сахарного тростника, гряды с огородною зеленью, то бледною, то изумрудно-темною!

Всё открывшееся перед нами пространство, с лесами и горами, было облитое горячим блеском солнца; кое-где в полях работали люди, рассаживали рис или собирали картофель, капусту и проч. Над всем этим покоился такой колорит мира, кротости, сладкого труда и обилия, что мне, после долгого, трудного и под конец даже опасного плавания, показалось это место самым очаровательным и надежным приютом.

Всё это не деревья, не хижины: это древние веси, сени, кущи и пажити; иначе о них неприлично и выражаться. Странно мне было видеть себя и товарищей, в наших коротких, обтянутых платьях, быстро и звонко шагающих под тенью исполинских банианов. Маленькие, хорошенькие лошадки, не привыкшие видеть европейцев, пугались при встрече с нами; они брыкались и бросались в сторону. Вожатые, завидя нас, закрывали им глаза соломенной шляпой и торопились пройти мимо. Встречные женщины хотя и не брыкались, но тоже закрывались, а если успевали, то и они бросались в сторону. Только одна девочка, лет тринадцати и, сверх ожидания, хорошенькая, вышла из сада на дорогу и смело, с любопытством, во все глаза смотрела на нас, как смотрят бойкие дети. "Какой большой петух! – показывая на петуха, сказал кто-то, – по крайней мере в полтора раза выше наших".

Мы шли в тени сосен, банианов или бледно-зеленых бамбуков, из которых Посыет выломал тут же себе славную зеленую трость. Бамбуки сменялись выглядывавшим из-за забора бананником, потом строем красивых деревьев и т. д. "Что это, ячмень, кажется!" – спросил кто-то. В самом деле, наш кудрявый

Глаза разбегались у нас, и мы не знали, на что смотреть: на пешеходов ли, спешивших, с маленькими лошадками и клажей на них, из столицы и в столицу; на дальнюю ли гору, которая мягкой зеленой покатостью манила войти на нее и посидеть под кедрами; солнце ярко выставляло ее напоказ, а тут же рядом пряталась в прохладной тени долина с огороженными высоким забором хижинами, почти совсем закрытыми ветвями. Что это за сила растительности! какое разнообразие почвы! И всюду чистота, порядок. Таково богатство и разнообразие видов, что перестаешь наконец дорожить увидеть то, не прозевать это, запомнить третье. Рассеянно смотришь вокруг: всё равно, куда ни смотри, одно и то же – всё прекрасно, игриво, зелено.

Дорога пошла в гору. Жарко. Мы сняли пальто: наши узкие костюмы, из сукна и других плотных материй, просто невозможны в этих климатах. Каков жар должен быть летом! Хорошо еще, что ветер с моря приносит со всех сторон постоянно прохладу! А всего в 26-м градусе широты лежат эти благословенные острова. Как не взять их под покровительство? Люди Соединенных Штатов совершенно правы, с своей стороны.

На горе начались хижины – всё как будто игрушки; жаль, что они прячутся за эти сплошные заборы; но иначе нельзя: ураганы, или тайфуны, в полосу которых входят и Лю-чу, разметали бы, как сор, эти птичьи клетки, не будь они за такой крепкой оградой. По горе лесу уже не было, но зато чего не было в долине, которая простиралась далеко от подошвы ее в сторону! Я устал любоваться, равнодушно смотрел на персиковые деревья в

полном цвету, на миртовые и кипарисные кусты! Мы вошли на гору, окинули взглядом всё пространство и молчали, теряясь в красоте и разнообразии видов. Глаз видит далеко: с обеих сторон острова видно море на третьем плане. Вон и риф, с пеной бурунов, еще вчера грозивший нам смертью! "Я в бурю всю ночь не спал и молился за вас, – сказал нам один из оставшихся американских офицеров, кажется методист, – я поминутно ждал, что услышу пушечные выстрелы". Время было бурное, а вход на рейд, как я сказал выше, считается очень опасным.

Наконец мы пришли. "Э! да не шутя столица!" – подумаешь, глядя на широкие ворота с фронтоном в китайском вкусе, с китайскою же надписью.

"Что там написано? прочтите", – спросили мы Гошкевича. "Не вижу, высоко", – отвечал он. Мы забыли, что он был близорук.

Мы прошли ворота: перед нами тянулась бесконечная широкая улица, или та же дорога, только не мощенная крупными кораллами, а убитая мелкими камнями, как шоссе, с сплошными, по обеим сторонам, садами или парками, с великолепной растительностью. Из-за заборов местами выглядывали красные черепичные кровли. Никто нас не встретил, никто даже не показывался: все как будто выехали из города. Немногие встречные и, между прочим, один доктор или бонз, с бритой головой, в халате из травяного холста, торопливо шли мимо, а если мы пристально вглядывались в них, они, с выражением величайшей покорности, а больше, кажется, страха, кланялись почти до земли и спешили дальше. У некоторых ворот показывались и исчезали люди или смотрели в щели. Видно, что в этой улице жил высший или зажиточный класс: к домам их вели широкие каменные коридоры. Мы крупным шагом шли всё далее; улица заворотилась налево, и мы очутились перед дворцом.

Это замок с каменной, массивной стеной, сажени в четыре вышины, местами поросшей мохом и ползучими растениями. Широкое каменное крыльцо, грубой работы, вело к высокому portalу, заколоченному наглухо досками. У ворот по обеим сторонам, на пьедесталах, сидели коралловые животные, вроде сфинксов. Нигде ни признака жизни; всё окаменело, точно в волшебной сказке, а мы пришли из-за тридцати земель как будто доставать жар-птицу. У ворот, в стороне, выстроена деревянная галерея, вроде гауптвахты, какие мы видели в Нагасаки. В ней на циновках сидели на пятках ликейцы, вероятно слуги дворца: и те не шевелились, тоже – как каменные. Мы присели тут немного отдохнуть, потом спустились под гору, куда вела покатая терраса, усаженная банианами, кедрами, между которыми змеились во все стороны тропинки. В некоторых местах сочились и чуть-чуть журчали каскады. Вон огороженная забором и окруженная бассейном кумирня; вдали узкие, но правильные улицы; кровли домов и шалашей, разбросанных на горе и по покатости, – решительно куши да сени древнего мира!

Это не жизнь дикарей, грязная, грубая, ленивая и буйная, но и не царство жизни духовной: нет следов просветленного бытия. Возделанные поля, чистота хижин, сады, груды плодов и овощей, глубокий мир между людьми – всё свидетельствовало, что жизнь доведена трудом до крайней степени материального благосостояния; что самые заботы, страсти, интересы не выходят из круга немногих житейских потребностей; что область ума и духа цепенеет еще в сладком, младенческом сне, как в первобытных языческих пастушеских царствах; что жизнь эта дошла до того рубежа, где начинается царство духа, и не пошла далее... Но всё готово: у одних дверей стоит религия, с крестом и лучами света, и кротко ждет пробуждения младенцев; у других – "люди Соединенных Штатов" с бумажными и шерстяными тканями, ружьями, пушками и прочими орудиями новейшей цивилизации...

Мы сошли с террасы и обошли замок вокруг, взбираясь обратно вверх по крутой каменной тропинке, всё из кораллов. Других тропинок я не видал; и те, которые ведут из улиц в поля, все идут лестницами, выложенными из камня. Ликейцы следовали за нами, но издали, робко. И. В. Фуругельм, к которому не нравилось это провожанье, махнул им рукой, чтоб шли прочь: они в ту же минуту согнулись почти до земли и оставались в этом положении, пока он перестал обращать на них внимание, а потом опять шли за нами, прячась

в кусты, а где кустов не было, следовали по дороге, и всё издали. Я, однако ж, знаками подзывал одного к себе. Он не вдруг подошел: сделает два шага и остановится в нерешимости; наконец подошел. В это время надо было спускаться по чрезвычайно крутой и извилистой каменной тропинке, проложенной сквозь чащу леса, над обрывами и живописными оврагами, сплошь заросшими пальмами, миртами и кедрами. Я оперся на локтей, и он был, кажется, очень доволен этим, шел ровно и осторожно и всякий раз бросался поддерживать меня, когда я оступался или нога моя скользила по гладкому кораллу. Я, имея надежную опору, не без смеха смотрел, как кто-нибудь из наших поскользнется, спохватится и начнет упираться по скользкому месту, а другой помчится вдруг по крутизне, напрасно желая остановиться, и бежит до первого большого дерева, за которое и уцепится.

Внизу мы прошли чрез живописнейший лесок – нельзя нарочно расположить так красиво рощу – под развесистыми банианами и кедрами, и вышли на поляну. Здесь лежала, вероятно занесенная землетрясением, громадная глыба коралла, вся обросшая мохом и зеленью. Романтики тут же объявили, что хорошо бы приехать сюда на целый день с музыкой; "с закуской и обедом", – прибавили положительные люди. Мы вышли в одну из боковых улиц с маленькими домиками: около каждого теснилась кучка бананов и цветы.

Из нее вышли на другую улицу, прошли несколько домов; улица вдруг раздвинулась. С одной стороны домов не стало, и мы остановились, очарованные несравненным видом. Представьте пруд, вроде Марли, гладкий и чистый, как зеркало; с противоположной стороны смотрелась в него целая гора, покрытая густо, как щетка или как шуба, зеленью самых темных и самых ярких колоритов, самых нежных, мягких, узорчатых листьев и острых игл. Этот исполинский букет так тесно был сжат, что нельзя было видеть почвы, на которой он растет.

Мы продолжали путь по улице, взглянули вперед – другое неожиданное зрелище привлекло наше внимание. Это была, по-видимому, самая населенная и торговая улица. Но что делают жители? Они с испугом указывают на нас: кто успеваешь, запирает лавки, а другие бросают их незапертыми и бегут в разные стороны. Напрасно мы маним их руками, кланяемся, машем шляпами: они пуще бегут. Я видел, как по кровле одного дома, со всеми признаками ужаса, бежала женщина: только развевались полы синего ее халата; рассыпавшееся здание косматых волос обрушилось на спину; резво работала она голыми ногами. Но не все успели убежать: оставшиеся мужчины недоверчиво смотрели на нас; женщины закрылись. Товар всё тот же, что и на первом рынке. Тут видели мы кузницу, еще пилили дерево, красили простую материю, продавали зелень, табак да разные сласти.

Мы походили еще по парку, подошли к кумирне, но она была заперта. Сидевший у ворот старик предложил нам горшечек с горячими угольями закурить сигары. Мы показывали ему знаками, что хотим войти, но он ласково улыбался и отрицательно мотал головой. У ворот кумирни, в деревянных нишах, стояли два, деревянные же, раскрашенные идола безобразной наружности, напоминавшие, как у нас рисуют дьявола. Я зашел было на островок, в другую кумирню, которую видел с террасы дворца, но жители, пока мы шли вниз, успели запереть и ее. Между народом я заметил несколько бритых бонз, всё молодых; один был просто мальчик: вероятно, это служители храмов.

Заглянув еще в некоторые улицы и переулки, мы вышли на большую дорогу и отправились домой. Я устал и с удовольствием поглядывал на хребет каждой лошади; но жители не дают лошадей, хотя я видел у одного забора множество их оседланных и привязанных. Сходя с горы, мы увидели чистенький дворик; я подошел к воротам. Старик, которого я тут застал, с красным носом и красными шишками по всему лицу, поклонился и вошел в дом; я за ним, со мной некоторые из товарищей. Дом оказался кумирней, но идола не было, а только жертвенник с китайскими надписями на стенах и столбах да бедная домашняя утварь. Тут, кажется, молились не буддисты, а приверженцы древней китайской религии. Мы заглянули в другую комнату, по-видимому парадную, устланную до того чистыми матами, что совестно было ступить ногой. Хозяева, кажется, обедали. Они

зашевелились было готовить нам чай, но мы, чтоб не тревожить их, удалились.

Говорят, жители не показывались нам более потому, что перед нашим приездом умерла вдовствующая королева, мать регента, управляющего островами вместо малолетнего короля. По этому случаю наложен траур на пятьдесят дней. Мы видели многих в белых травяных халатах. Известно, что белый цвет – траурный на Востоке.

Ликейские острова управляются королем. Около трехсот лет назад прибыли сюда японские суда, а именно князя Сатсумского, взяли острова в свое владение и обложили данью, которая, по словам здешнего миссионера, простирается до двухсот тысяч рублей на наши деньги. Но, по показанию других, острова могут приносить вдесятеро больше. По этим цифрам можно судить о плодородии острова. Недаром князь Сатсумский считается самым богатым из всех японских князей.

Но дань платится натурою: рисом, который выше всех сортов, и даже японского, также табаком, амброй, тканями из банановых волокон и саки. Саки тоже считается лучшим, и японцы выменивают много своего риса на здешний, как лучший для выделки саки.

После ликейцы думали было отложиться от Японии, но были покорены вновь. Ликейский король, в начале царствования, отправляется обыкновенно в Японию и там утверждается окончательно.

Нынешнему королю всего двенадцать лет. Он поедет в Японию по достижении пятнадцатилетнего возраста. Король живет здесь как пленник, в крепком своем замке, который мы видели, и никому не показывается. Показываться народу, как вам известно, считается для верховной власти неприличным на Востоке. Здешний миссионер проник, однако ж, нечаянно, в китайском платье, в замок и, незамеченный, дошел до покоев короля. Король играл в мячик и долго не замечал постороннего; потом увидел и скрылся. Придворные с поклонами окружили нескромного посетителя и показали дорогу вон.

Ликейцы находились в зависимости и от китайцев, платили прежде и им дань; но японцы, уничтожив в XVII столетии китайский флот и десант, посланный из Китая для покорения Японии, избавили и ликейцев от китайской зависимости. Однако ж последние все-таки ездят в Пекин довершать в тамошних училищах образование и оттого знают всё по-китайски. Письменного своего языка у них нет: они пишут японскими буквами. Ездят они туда не с пустыми руками, но и не с данью, а с подарками – так сказал нам миссионер, между тем как сами они отрекаются от дани японцам, а говорят, что они в зависимости от китайцев. Кажется, они говорят это по наущению японцев; а может быть, услышав от американцев, что с японцами могут возникнуть у них и у европейцев несогласия, ликейцы, чтоб не восстановить против себя ни тех ни других, заранее отрекаются от японцев.

Гошкевич и отец Аввакум отыскиали между ликейцами одного знакомого, с которым виделись, лет двенадцать назад, в Пекине, и разменялись подарками. Вот стечения обстоятельств! "Вы мне подарили графин", – сказал ликеец отцу Аввакуму. Последний вспомнил, что это действительно так было.

Однако ж ликейцы не производят себя ни от японцев, ни от китайцев, ни от корейцев. С первого раза видно, что в существовании ликейцев не участвовали китайцы. Корейцев я еще не видал и потому не знаю, есть ли сходство у них с ликейцами или нет. У ликейцев глаза большие, не угловатые, как у китайцев, овал лица правильный, скулы не выдаются. Язык у них, по словам миссионера, сродни японскому и составляет, кажется, его идиом. Ликейцы и японцы понимают друг друга. Ближе всего предположить, что они родня между собою.

Мы лениво возвращались домой, не переставая распространять по дороге чувство вроде безотчетного ужаса. Мальчишка лет десяти, с вязанкой зелени, вел другого мальчика лет шести; завидя нас, он бросил вязанку и маленького своего товарища и кинулся без оглядки бежать по боковой тропинке в поля. Возвратясь в деревню Бо-Тсунг, мы втроем, Посьет, Аввакум и я, зашли в ворота одного дома, думая, что сейчас за воротами увидим и крыльцо; но забор шел лабиринтом и был не один, а два, образуя вместе коридор. Мы повернули направо, потом налево... Конец, что ли? нет, опять коридор направо, точно западня для волков, еще налево – и мы очутились в маленьком садике перед домиком, огороженным еще

третьим, бамбуковым, и последним забором. Мы, входя, наткнулись на низенькую, черную, как головешка, старуху с плоским лицом. Она, как мальчишка же, перепугалась и бросилась бежать по грядам к лесу, работая во все лопатки. Мы покатались со смеху; она ускорила шаги. Мы хотели отворить ворота – заперты; зашли с другой стороны к калитке – тоже заперта. Оставалось уйти. Мы посмотрели опять на бегущую всё еще вдали старуху и повернули к выходу, как вдруг из домика торопливо вышел заспанный старик и отпер нам калитку, низко кланяясь и прося войти. Мы вошли в палисадник; он отодвинул одну стену или раму домика, и нам представились мињятюрные комнаты, совершенно как клетки попугая, с своей чистотой, лакированными вещами и белыми циновками. Мы туда не вошли, а попросили огня. Сейчас другой, молодой ликеец принес нам горшок с золой и угольями. Мы взглянули кругом себя – цветы, алоэ, бананы, больше ничего; поблагодарили хозяина и вышли вон. Я посмотрел, что старуха? Она в это время добежала до первых деревьев леса, забежала за банан, остановилась и, как орангутанг, глядела сквозь ветви на нас. Увидя, что мы стоим и с хохотом указываем на нее, она пустилась бежать дальше в лес.

Мы догнали товарищей, которые уже садились в катер. Но во время нашей прогулки вода сбыла, и катер трогал килем дно. Мы стянулись кое-как и добрались до нашего судна, где застали гостей: трех длиннобородых старцев в белых, с черными полосками, халатах и сандалиях на босу ногу. Они приехали от напайского губернатора поздравить с приездом и привезли в подарок зелени, яиц и кур. Их угостили чаем. Один свободно говорил с Гошкевичем, на бумаге, по-китайски, а другой по-английски, но очень мало. И то успех, когда вспомнишь, что наши европейские языки чужды им и по духу, и по формам. Давно ли "человек Соединенных Штатов покровительствует" этим младенцам, а уж кое-чему научил... Ликейцы обещали привезти быков, рыбы, зелени за деньги и уехали.

На другой день, 2-го февраля, мы только собрались было на берег, как явился к нам английский миссионер Беттельгейм, худощавый человек, с еврейской физиономией, не с бледным, а с выцветшим лицом, с руками, похожими немного на птичьи когти; большой говорун. В нем не было ничего привлекательного, да и в разговоре его, в тоне, в рассказах, в приветствиях была какая-то сухость, скрытность, что-то не располагающее в его пользу. Он восемь лет живет на Лю-чу и в мае отправляется в Англию печатать книги Св«ященного» Писания на ликейском и японском языках. Жену и детей он уже отправил в Китай и сам отправится туда же с Перри, который обещал взять его с собою, лишь только другой миссионер приедет на смену.

Восемь лет на Лю-чу – это подвиг истинно христианский! Миссионер говорил по-английски, по-немецки и весьма плохо по-французски. Мы пустились в расспросы о жителях, о народонаселении, о промышленности, о нравах, обо всем.

– Что за место, что за жители! – говорили мы, – не веришь Базилу Галлю, а выходит на проверку, что он еще скромн.

– Да, место точно прекрасное, – сказал Беттельгейм, – надо еще осмотреть залив Мельвиль да один пункт на северной стороне – это рай.

– А жители? Какая простота нравов, гостеприимство! Странствуешь точно с Улиссом к одному из гостеприимных царей-пастырей, которые выходили путникам навстречу, угощали...

– Разве они встречали и угощали вас? – спросил пастор.

– Нет, встречали мало, больше провожали...

– Да, они действительно охотнее провожают, нежели встречают: ведь это полицейские, шпионы.

– Как полицейские? Разве здесь есть они?

– Как же! Чтоб наблюдать, куда вы пойдете, что будете делать, замечать, кто к вам подойдет, станет разговаривать, чтоб потом расправиться с тем по-своему...

– Что вы? возможно ли? Кажется, жители так кротки, простодушны, так приветливы: это видно из их поклонов...

– Боятся, так и приветливы. Если японцы стали вдруг приветливы, когда вы и

американцы появились с большой силой, то как же не быть приветливыми ликейцам, которых всего от шестидесяти до восьмидесяти тысяч на острове!

– Мне нравятся простота и трудолюбие, – сказал я. – Есть же уголок в мире, который не нуждается ни в каком соседе, ни в какой помощи! Кажется, если б этим детям природы предоставлено было просить чего-нибудь, то они, как Диоген, попросили бы не загораживать им солнца. Они умеренны, воздержны...

– Они точно простоваты, – заметил миссионер, – но насчет воздержания... нельзя сказать: они сильно пьют.

– Пьют! что вы? помилуйте, – защищали мы с жаром (нам очень хотелось отстоять идиллию и мечту о золотом веке), – у них и вина нет: что им пить?

– А саки? – отвечал Беттельгейм, – оно здесь лучше, нежели в Японии, и крепкое, как ром.

– Пьют! – говорил я в недоумении.

– И играют, – прибавил пастор.

– Нет, уж это слишком! ужели в самом деле? Да во что же: в какие-нибудь невинные игры: борются, бегают, как древние на олимпийских играх...

– Нет, нет! – настойчиво твердил Беттельгейм, – играют в азартные игры...

– Скажите, пожалуйста: эти добродетельные, мудрые старцы – шпионы, картежники, пьяницы! Кто бы это подумал!

– Да, у них есть что-то вроде карт, – сказал он, – даже нищие, и те играют как-то стружками или щепками и проигрываются дотла.

– Вот тебе и идиллия, и золотой век, и "Одиссея"! Да у кого они переняли? – хотел было я спросить, но вспомнил, что есть у кого перенять: они просвещение заимствуют из Китая, а там, на базаре, я видел непроходимую кучу народа, толпившегося около другой кучи сидевших на полу игроков, которые кидали, помнится, кости. Каждый ставил деньги; один счастливый загребал потом у всех. Игра начиналась снова; игроки так углубились в свое дело, что не замечали зрителей, и зрители, в свою очередь, не замечали игроков и следили за костями. Вспомнил я еще, что недалеко от ликейцев – Манила, что там проматываются на пари за бои петухов; что еще на некоторых островах Тихого океана страсть к игре свирепствует, как в любом европейском клубе.

– Удивительно, – сказал я, – что такие кроткие люди заражены самою зазорною из страстей!

– Нельзя сказать, чтоб они были кротки, – заметил пастор, – здесь жили католические миссионеры: жители преследовали их, и недавно еще они... поколотили одного миссионера, не католического...

– Кого же это?

– Меня, – кротко и скромно отвечал Беттельгейм (но под этой скромностью таилось, кажется, не смирение). – Потом, – продолжал он, – уж постоянно стали заходить сюда корабли христианских наций, и именно от английского правительства разрешено раз в год посылать одно военное судно, с китайской станции, на Лю-чу наблюдать, как поступают с нами, и вот жители кланяются теперь в пояс. Они невежественны, грязны, грубы...

Мне стало подозрительно это поголовное порицание бедных ликейцев. Наши сказывали, что когда они спрашивали ликейцев, где живет миссионер, то последние обнаружили знаки явного нерасположения к нему, и один по-английски

Платя за нерасположение нерасположением, что было не совсем по-христиански, пастор, может быть, немного преувеличивал миньятюрные пороки этих пигмеев. Они действительно неласковы были всегда к миссионерам. Несколько лет назад здесь поселились два католических монаха. Жители, не зная их звания, обходились с ними очень дружелюбно, всем их снабжали; но узнав, кто они, стали чуждаться их. Они не оскорбляли их, напротив, кланялись им; но лишь только те открывали рот, чтоб заговорить о религии, ликейцы зажимали уши и бежали прочь. Так те, не успев ни в чем, и уехали на французском военном судне, под командою, кажется, адмирала Сесилия, назад, в Китай.

Беттельгейм, однако ж, сказывал, что он беспрепятственно проповедует ликейцам в их домах, и будто они слушают его. Сомневаюсь, судя по тому, как с ним здесь поступают. Он говорит даже, что ему удалось несколько человек крестить.

– Я бы успел и больше, – заключил он, – если б не мешали японцы. Те ежегодно приезжают сюда на шестидесяти лодках, за данью и за товарами, а ликейцы посылают в Японию до шестнадцати. Японцы живут здесь подолгу и поддерживают в народе свою систему отчуждения от иностранцев и, между прочим, ненависть к христианам. И теперь их здесь до 600 человек. Они отрастили себе волосы, оделись в здешний костюм и прячутся, наблюдая и за жителями, и за иностранцами. Вы видите, что здесь всё японское: пришедшая оттуда религия, нравы, обычаи, даже письменный язык, наполовину, однако ж, с китайским. Одни и те же произведения почвы и та же промышленность. Они делают такие же материи, такие же лакированные вещи, только всё грубее и проще; едят то же самое, как те, – вся японская жизнь и сама Япония в миньютуре. Не верьте Базиллю Галлю, – заключил он, отодвигая лежавшую перед ним книгу Галля, – в ней ни одного слова правды нет, всё диаметрально противоположно истине!

Я действительно не верю Галлю, но не верю также и ему: первого слишком ласково встречали, а другого... поколотили; от этого два разных голоса.

Я выразил ему только опасение, чтоб он и его преемники торопливостью не испортили всего дела. "Если Япония откроет свои порты для торговли всем нациям, – сказал я, – может быть, вы поспешите вместе с товарами послать туда и ваши переводы Нового завета. Предсказываю вам, что вы закроете опять Японию, ничего не сделаете для религии и испортите торговлю. Японцы осматривали до сих пор каждое судно, записывали каждую вещь, не в видах торгового соперничества, а чтоб не прокралась к ним христианская книга, крест – всё, что относится до религии; замечали число людей, чтоб не пробрался в Японию священник проповедовать религию, которой они так боятся. И долго еще не отступят они от этих строгостей, разве когда заменят свою жизнь европейскою. Вы лучше подождите, – заключил я, – когда учредятся европейские фактории, которые, конечно, выговорят себе право отправлять дома богослужение, и вы сначала везите священные книги и предметы в эти фактории, чего японцы *par le temps qui court*! запретить уже не могут, а от них исподволь, понемногу, перейдут они к японцам".

Пока мы рассуждали в каюте, на палубе сигнальщик объявил, что трехмачтовое судно идет. Все пошли вверх. С правой стороны, из-за острова, показалось большое купеческое судно, мчавшееся под всеми парусами прямо на риф.

Был туман и свежий ветер, потом пошел дождь. Однако ж мы в трубу рассмотрели, что судно было под английским флагом. Адмирал сейчас отправил навстречу к нему шлюпку и штурманского офицера отвести от мели. Часа через два корабль стоял уже близ нас на якоре.

Но что это у него на палубе? Ужаснейшая толпа народа, непроходимой кучей, как стадо баранов, жалась на палубе. Без справок можно было догадаться, что это эмигранты. Точно такое судно видели мы у острова Мадеры с эмигрантами, отправлявшимися в Австралию. Но откуда и куда их везут? Беттельгейм сказал, что, верно, тут же приехал другой миссионер, на смену ему, и поехал туда разведать. Чрез полчаса он вернулся с молодым человеком, лет 26-ти, которого и представил адмиралу как своего преемника. Оба они обедали у нас. Вновь прибывший пастор, англичанин же, объявил, что судно пришло из Гонконга, употребив ровно месяц на этот переход, что идет оно в Сан-Франциско с пятьюстами китайцев, мужчин и женщин. Кого и чего нет теперь в Сан-Франциско? Начало этого города напоминает начало Рима: оба составились из бродяг.

После обеда наши уехали на берег чай пить *in's Grune**. Я прозевал, но зато из привезенной с английского корабля газеты узнал много новостей из Европы, особенно интересных для нас. Дела с Турцией завязались; Англия с Францией продолжают интриговать против нас. Вся Европа в трепетном ожидании... * на лоне природы – нем. идет

Часов в семь за мной прислали шлюпку. Уж было темно. Застав наших на мысе, около роши, у костра, я рассказал им наскоро новости и сам пошел по тропинке к лесу, оставив их

рассуждать. Хорошо! Я наслаждался неизвестными вам впечатлениями, светлым сумраком лунной, томной и теплой ночи, шелестом листьев рощи, полной мрака. Банианы, пальмы и другие чужеземцы шумели при тихом ветре иначе, нежели наши березы и осины, мягче, на чужом языке; и лягушки квакали по-другому, крепче наших, как кастаньеты. Вблизи плескал прилив, вдали глухо ревели буруны на рифах. До меня доносился живой говор товарищей. Меня позвали ехать, я поспешил на зов и в темноте наткнулся на кучку ликейцев, которые из-за шалаша наблюдали за нашими. Они вдруг низко поклонились и, не разгибаясь, дали мне пройти.

На другой день мы отправились на берег с визитами, сначала к американским офицерам, которые заняли для себя и для матросов – не знаю как, посредством ли покупки или просто "покровительства", – препорядочный домик и большой огород с сладким картофелем, таро, горохом и табаком. Я не пошел к ним, а отправился по берегу моря, по отмели, влез на холм, пробрался в грот, где расположились бивуаком матросы с наших судов, потом посетил в лесу нашу идиллию: матрос Кормчин пас там овец. Везде, даже в лесу, видел я каменные постройки, заборы, плетни и хижины с огородами и полями. Всё обработано, всюду протоптаны чистые дорожки или сделаны каменные тропинки.

Остров, судя по пространству, очень заселен; он длиной верст восемьдесят, а шириной от шести до пятнадцати и восемнадцати верст: и на этом пространстве живет от шестидесяти до семидесяти тысяч. В Напе, говорил миссионер, до двадцати, и в Чуди столько же тысяч жителей.

Я дождался наших на мосту, ведущем в Напу, и мы пошли в город искать миссионеров.

Там то же почти, что и в Чуди: длинные, загороженные каменными, массивными заборами улицы с густыми, прекрасными деревьями: так что идешь по аллеям. У ворот домов стоят жители. Они, кажется, немного перестали бояться нас, видя, что мы ничего худого им не делаем. В городе, при таком большом народонаселении, было живое движение. Много народа толпилось, ходило взад и вперед; носили тяжести, и довольно большие, особенно женщины. У некоторых были дети за спиной или за пазухой.

Мы не знали, в которую сторону идти: улиц множество и переулков тоже. С нами толпа народа; спрашиваем по-английски, называем миссионера по имени – жители указывают на ухо и мотают головой: "Глухи, дескать, не слышим". Некоторые, при наших вопросах, переговаривают между собою, и вот один пойдет вперед и выведет нас к морю. Опять толки, и опять явится провожатый. Один водил, водил по грязи, наконец повел в перелесок, в густую траву, по тропинке, совсем спрятавшейся среди кактусов и других кустов, и вывел на холм, к кладбищу, к тем огромным камням, которые мы видели с моря и приняли сначала за город. Меня зло взяло.

– Ну теперь вижу, что вы пьяницы и картежники... – ворчал я на ликейцев.

– Да и мошенники уж кстати, – прибавил другой товарищ, – ведь они нарочно водят нас.

Третий товарищ смеялся, слыша наш ропот. Наконец один ликеец привел нас вторично к морю, на отмель, и ушел, как и прочие, в толпу. Тогда мы насильно вывели одного из толпы за руки и послали вперед показывать дорогу. Делать было нечего. Он привел нас к серой, нависшей над водой скале и указал на зеленый, бывший рядом с ней холм и тропинку в кустах. "Опять вверх!" – ворчали мы, теряя терпение, и пошли на холм, подошли к протестантской церкви, потом спустились с холма и очутились у сада и домика миссионеров. Оказалось, что мы блуждали всё время около этого места. На нас бросились лаять две большие собаки, лишь только мы вошли в садик.

Миссионер встретил нас на крыльце и ввел в такую же комнату с рамой, заклеенной бумагой, как и в ликейских домах. Тут мы застали шкипера вновь прибывшего английского корабля с женой, страдающей зубной болью женщиной, но еще молодой и некрасивой; тут же была жена нового миссионера, тоже молодая и некрасивая, без передних зубов. В одном только кабинете пастора, наполненном книгами и рукописями, были два небольших окна со стеклами, подаренными ему, кажется, человеком Соединенных Штатов. Над дверью был

другой подарок, от него же: большая серебряная ваза. Всё остальное было более, нежели просто: грубый, деревянный стол, такие же стулья и диван – не лучше их.

Миссионер предложил нам вина и каких-то сдобных сухарей, извиняясь, что у него только и есть две рюмки и два стакана. Ему на другой же день адмирал послал дюжину вина и по дюжине или по две рюмок и стаканов – пей не хочу! Он нам показывал много лакированных вещей работы здешних жителей: чашки для кушанья, поставцы, судки, подносы и т. п.; но после японских вещей в этом роде на эти и глядеть было нельзя. Беттельгейм просил адмирала взять несколько вещей от него на память. Что было лучше всего, так это великолепный баниан у самого крыльца, бросающий тень на весь дворик, да множество разных кустов и цветов. Жаль только, что на Лю-чу есть ядовитые змеи. Миссионер рассказывал, что он поймал двух у себя в комнатах. В галерее, выходящей на двор, помещались небольшая аптека и большая библиотека. Несколько ликейцев собралось у ворот и заглядывало на нас во двор; но миссионер махнул им рукой не очень ласково, чтоб они шли прочь. "Не может забыть побоев!" – шепнул мне один из товарищей. Миссионер проводил нас назад до самого фрегата на нашей шлюпке.

Дорогой адмирал послал сказать начальнику города, что он желает видеть его у себя и удивляется, что тот не хочет показаться. Велено прибавить, что мы пойдем сами в замок видеть их двор. Это очень подействовало. Чиновник, или секретарь начальника, отвечал, что если мы имеем сказать что-нибудь важное, так он, пожалуй, и приедет.

– Очень важное, – сказали ему.

Он хотел быть на другой день, но шел проливной дождь. Наконец вчера, 7-го февраля, начальник приехал на фрегат с секретарем, помощником, переводчиком китайского языка и маленькою свитою. Он был высокий, седой старик, не совсем патриархальной наружности, с красным носом и вообще – увы, прощай, идиллия! – с следами сильного невозддержания на лице, с изломанными чертами, синими и красными жилками на носу и около. Он говорил сиплым и пискливым голосом. Товарищ его – высокий и здоровый мужчина, лет 50-ти, с черной, длинной и жидкой, начинающейся с подбородка, как у всех у них, бородой. Прочие так себе, все здоровой наружности, свежие. У губернатора пучок на голове был проткнут золотой, у помощника и переводчика серебряной, а у прочих медной шпилькой. За первым сидел мальчик лет шестнадцати и беспрестанно набивал ему трубку, а тот давал ему подачки: бисквиты, наливку, которою его потчевали. Он подарил адмиралу два каких-то тортов, а ему дали большой самовар, стеклянной посуды и еще прежде послали сукна на халат за присланную живность и зелень. Показывали ему японские подарки и, между прочим, подаренную адмиралу саблю.

– А у вас есть сабли? – спросили его.

– Нет.

– Какое же у вас оружие?

– А вот, – отвечал он, показывая веер.

Его поблагодарили за доставку провизии, и особенно быков и рыбы, и просили доставлять – разумеется, за деньги – вперед русским судам всё, что понадобится. Между прочим, ему сказано, что так как на острове добывается соль, то может случиться, что суда будут заходить за нею, за рисом или другими предметами: так нельзя ли завести торговлю?

– Нет, нет! у нас производится всего этого только для самих себя, – с живостью отвечал он, – и то рис едим мы, старшие, а низший класс питается бобами и другими овощами.

– Да еще мы просим сказать жителям, – продолжали мы, – чтоб они не бегали от нас: мы им ничего не сделаем.

– Они бегают оттого, что европейцы редко заходят сюда, и наши не привыкли видеть их. Притом американцы, бывши здесь, брали иногда с полей горох, бобы: если б один или несколько человек сделали это, так оно бы ничего, а когда все...

Мы уверили его, что наши не дотронутся ни до чего.

– Да, сделайте милость, – продолжал переводчик, – насчет женщин тоже... Один американец взял нашу женщину за руку; у нас так строго на этот счет, что муж, пожалуй, и

разведется с нею. От этого они и бегают от чужих.

Какова нравственность: за руку нельзя взять! В золотой век, особенно в библейские времена и при Гомере, было на этот счет проще!

Мы съехали после обеда на берег, лениво и задумчиво бродили по лесам, или, лучше сказать, по садам, зашли куда-то в сторону, нашли холм между кедрами, полежали на траве, зашли в кумирню, напились воды из колодца, а вечером пили чай на берегу, под навесом мирт и папирусов, – словом, провели вечер совершенно идиллически.

Погода здесь во всё время нашего пребывания была непостоянная: то дует северный муссон, иногда свежий до степени шторма, то идет проливной, безотрадный дождь. Зато чуть проглянет солнце – всё становится так прозрачно, ясно, так млеет в радости... У нас, однако ж, было довольно дурной погоды – такой уж февраль здесь.

С кораблем, везущим эмигрантов, всё истории. Третьего дня он стал было сниматься с якоря и сел на мель. С наших судов подали ему немедленную помощь: не будь этого, он бы скоро не снялся и при первом свежем ветре разбился бы в щепы; он и сам засвидетельствовал это. Наши ездили туда на корабль и рассказывают, что такой нечистоты, неурядицы, шума, хаоса и представить себе нельзя. Корабль большой, а матросов всего человек двадцать, и то инвалиды. Едва достаёт рук управляться с парусами, а толпящиеся на палубе китайцы мешают им пошевелиться. Крик и шум так велики, что слышно у нас. Чтоб облегчить судно и помочь ему сняться с мели, всех китайцев и китаянок перевезли часа на два к нам. Их поместили на баке и шкафуте и отгородили веревкой. Много очень высоких и хорошо сложенных мужчин. Женщины большею частью молодые и всё девицы, от четырнадцати до двадцати лет. Одна обращала на себя особенное внимание. Она, как кажется, была тут старшая, вроде начальницы, как и у мужчин были тоже старшины. Звали ее Ача. Она нехороша собой, но лицо, однако ж, привлекательно. Она была бойкая женщина и говорила по-английски почти как англичанка. На ней было широкое и длинное шелковое голубое платье, надетое как-то на плечо, вроде цыганской шали, белые чистые шаровары; прекрасная, маленькая, но не до уродливости нога, обутая по-европейски. Она сидела на станке пушки, бойко глядела вокруг и беспрестанно кокетничала ногой, выставя ее напоказ. Прочие женщины сидели в куче на полу. Мужчины, которых было гораздо больше, толпились, как стадо. Мы расспрашивали Ачу, где она выучилась по-английски и зачем едет в Калифорнию. Она сказала, что едет обратно, что прожила уж три года в Сан-Франциско; теперь ездила на четыре месяца в Гонконг на вербовку женщин для какого-то магазина... Мужчины ехали для грубых работ.

Наконец корабль сошел с мели, и китайцев увезли обратно. Он, однако ж, не ушел за противным ветром.

Третьего дня оба миссионера явились в белых холстинных шляпах, в белых галстуках и в черных фраках, очень серьезные, и сказали, что они имеют сообщить что-то важное. "На купеческом судне китайцы не слушаются шкипера", – объявили они и просили потребовать китайских старшин и спросить, чем они недовольны. По вызову адмирала явились трое китайцев, нарядно одетые, благовидной наружности. Они сказали, что им отказывают в воде; что когда они подходили к бочке, матросы кулаками толкали их прочь. "От этого вышли ссоры, – прибавили они, – и больше ничего". Им представили всю опасность их положения, если б они не исполняли требований шкипера, прибавив, что в море надо без рассуждений делать всё, чего он потребует.

– Так, знаем, – отвечали они, – мы просим только раздавать сколько следует воды, а он дает мало, без всякого порядка; бочки у него текут, вода пропадает, а он, отсюда до Золотой горы (Калифорнии), никуда не хочет заходить, между тем мы заплатили деньги за переезд по семидесяти долларов с человека.

Их помирили, заставив китайцев подписать условие слушаться, а шкиперу посоветовали завести побольше порядка и воды, да не идти прямо в Сан-Франциско, а зайти на Сандвичевы острова. Так и расстались с ними. Вечером видели еще, как Ача прогуливалась с своими подчиненными по берегу. Третьего дня корабль ушел; шкипер и

миссионеры не знали, как и благодарить начальство нашего судна. Наши матросы помогли ему сняться и с якоря: он один не управился бы. Когда эта громада, битком набитая народом, нечистая, некрашенная, в беспорядке, как наружном, так и внутреннем, тихо неслась мимо нас, мы стояли наверху и следили за ней глазами.

– Дойдет ли? – сказала я с сомнением.

– До'йдет, – с уверенностью отвечал стоявший подле меня матрос, сильно ударяя на о, – отчего не до'йти, до'йдет!

Вчера, 8-го, и мы в последний раз съехали на берег. Романтики, взяв по бутерброду, отправились с раннего утра, другие в полдень, я, с капитаном Лосевым, после обеда, и все разбрелись по острову. Мы не пошли ни в деревню Бо-Тсунг, ни на большую дорогу, а взяли налево, прорезали рощу и очутились в обработанных полях, идущих неровно, холмами, во все стороны. С одного холма мы любовались окрестностью; мы очутились как будто среди зеленого волнующегося моря: ничего кругом, кроме зелени. Мы шли по тропинкам, мимо возделанных полей, бедных хижин, состоявших из бамбуковых загоронок. Кругом их огороды. У хижин, на рогожках, кучами лежали овощи и сушились на солнце, между прочим табак, назначенный для жвачки. Табак здесь очень хорош: он несколько крепче и темнее японского; тот чересчур нежен и слаб. Мы шли одни. Сначала за нами по улице следила толпа каких-то провожатых, но они кинули нас, лишь только мы повернули в поля. Тропинки шли то вверх, на холмы, то спускались в овраги. Жар заставил нас оставить поля и искать тени в густых аллеях. Мы вошли в переулки деревенек – везде одно и то же. Жители пугались менее прежнего; ребятишки с улыбкой кланялись в пояс, заигрывали и вдруг с хохотом разбегались в стороны, лишь только тронешь одного.

Мы вышли к большому монастырю, в главную аллею, которая ведет в столицу, и сели там на парапете моста. Дорога эта оживлена особенным движением: беспрестанно идут с ношами овощей взад и вперед или ведут лошадей с перекинутыми через спину кулями риса, с папушами табаку и т. п. Лошади фыркали и пятились от нас. В полях везде работают. Мы пошли на сахарную плантацию. Она отделялась от большой дороги полями с рисом, которые были наполнены водой и походили на пруды с зеленой, стоячей водой.

Мы обошли поле сахарного тростника вокруг. Он растет слишком часто; в других местах его сажают реже. Он высок, как добрый кустарник. Тут же его резали и таскали на ближайший холм в пресс, приводимый в движение быком. За тростником я увидел кучу народа. "Что там такое делается?" – спросили мы друг друга. Пригляделись и видим, что двое наших матросов взяли из рук ликейцев инструмент, вроде согнутого под прямым углом заступа, и преусердно взрывали им гряды с сладким картофелем. Комы земли и картофель так и летели по сторонам, а ликейцы, окружив их, смотрели внимательно на работу.

"Вот, ишь ты! вот! вот!" – слышалось при каждом ударе.

Мы отправились на холм, где были вчера, к кумирне. По дороге встретили толпу крестьян с прекрасными, темными и гладкими, претолстыми бамбуковыми жердями, на которых таскают тяжести.

Мне хотелось поближе разглядеть такую жердь. Я протянул к одному руку, чтоб взять у него бамбук, но вся толпа вдруг смутилась. Ликейцы краснели, делали глупые рожи, глядели один на другого и пятились. Так и не дали.

Я не знаю, с чем сравнить у нас бамбук, относительно пользы, какую он приносит там, где рождается. Каких услуг не оказывает он человеку! чего не делают из него или им! Разве береза наша может, и то куда не вполне, стать с ним рядом. Нельзя перечесть, как и где употребляют его. Из него строят заборы, плетни, стены домов, лодки, делают множество посуды, разные мелочи, зонтики, вееры, трости и проч.; им бьют по пяткам; наконец его едят в варенье, вроде инбирного, которое делают из молодых веток.

Едва мы взошли на холм и сели в какой-то беседке, предшествующей кумирне, как вдруг тут же, откуда-то из чащи, выполз ликеец, сорвал в палисаднике ближайшего дома два цветка шиповника, потом сжался, в знак уважения к нам, в комок и поднес нам с поклоном. Он, конечно, имел приказание следить за нами издалека. Еще к нам пришел из дома мальчик,

лет двенадцати, и оба они сели перед нами на пятках и рассматривали пристально нас, платья наши, вещи. Лосев вынул записную книжку, а я нарисовал в ней фигуру мальчика, вырвал рисунок из книжки и отдал ему. Что это за рисунок! Моему рисовальному учителю, конечно, и в голову не приходило, чтоб я показывал свое искусство на Ликейских островах. Мальчик был в восторге. Мы дали им сигар, отдали огниво, сверх того я дал старшему доллар. Он вынул из-за пазухи каш (маленькую медную китайскую монету) и смотрел то на нее, то на доллар. Я старался объяснить ему, что таких монет в долларе тысяча четыреста. Ни в Китае, ни у них другой монеты не водится. Американцы стали вводить испанские доллары в употребление. Мы долларами платили в Китае за провизию. Мальчик принес в маленьком чайнике чаю, который, впрочем, не имел никакого вкуса. Мы посидели с полчаса в беседке, окруженной рядом высоких померанцевых и других дерев, из породы мирт.

Уже вечерело, когда мы вышли на большую дорогу. Здесь встретил нас Унковский и подговорил ехать с ним в вельботе, который ждал его в Напе. "Недалеко", – сказал он. Мы пошли налево, через другой мост, через лес, поле, наконец по улицам – конца не было. Идучи мимо этих полей, где прорыты канавки, сделаны стоки, глядя на эту правильность и порядок, вы примете остров за образцовую ферму или отлично устроенное помещичье имение. В полях и из некоторых домов несло, как в Китае, удобрением, которое заготавливается в ушатах. Удобрение это состоит из всякого рода нечистот, которые сливаются в особые места, гниют, и потом, при посевах, ими поливают поля, как я видел в Китае. Говорят, это лучше нашего способа удобрения. "Сорных трав меньше", – сказал Лосев, большой агроном.

Мы шли, шли в темноте, а проклятые улицы не кончались: всё заборы да сады. Ликейцы, как тени, неслышно скользили во мраке. Нас провожал тот же самый, который принес нам цветы. Где было грязно или острые кораллы мешали свободно ступать, он вел меня под руку, обводил мимо луж, которые, видно, знал наизусть. К несчастью, мы не туда попали, и, если б не провожатый, мы проблуждали бы целую ночь. Наконец добрались до реки, до вельбота, и вздохнули свободно, когда выехали в открытое море.

Адмирал хотел отдать визит напаканскому губернатору, но он у себя принять не мог, а дал знать, что примет, если угодно, в правительственном доме. Он отговаривался тем, что у них частные сношения с иностранцами запрещены. Этим же объясняется, почему не хотел принять нас и нагасакский губернатор иначе как в казенном доме.

Но довольно Ликейских островов и о Ликейских островах, довольно и для меня и для вас! Если захотите знать подробнее долготу, широту места, пространство, число островов, не поленитесь сами взглянуть на карту, а о нравах жителей, об обычаях, о произведениях, об истории – прочтите у Бичи, у Бельчера. Помните условие: я пишу только письма к вам о том, что вижу сам и что переживаю изо дня в день.

Сегодня мы ушли и вот качаемся теперь в Тихом океане; но если б и остались здесь, едва ли бы я собрался на берег. Одна природа да животная, хотя и своеобразная, жизнь, не наполняют человека, не поглощают внимания: остается большая пустота. Для того даже, чтобы испытывать глубже новое, не похожее ни на что свое, нужно, чтоб тут же рядом, для сравнения, была параллель другой, развитой жизни.

V

МАНИЛА

От Лю-чу до Манилы

Манильский залив. – Островки Коррехидор, Конь и Монахиня. – Вход на рейд. – Река

Пассиг. – Улицы, лавки, отель. – Предмесье Бинондо и старый город. – Тагалы, китайцы, метисы и испанцы. – Окрестности. – Растительность. – Плантации. – Кальсадо. – Французские миссионеры. – Изделия из соломы и ананасных волокон. – Церкви Санта-Круц и Мигель. – Учение солдат. – Женщины. – Ящерицы в домах. – Ванны. – Визиты к испанцам. – Табачная фабрика. – Французский епископ. – Испанский монастырь. – Собор. – Богомольцы и проповедники. – Петушьи бои. – Породы деревьев. – Канатная фабрика. – Запас сигар. – Дамы на фрегате. – Происхождение слов "Люсон" и "Манила". – Красота природы. – Географическая, историческая и статистическая заметка о Филиппинских островах.

9-го февраля,

рано утром, оставили мы Напакианский рейд и лавировали, за противным ветром, между большим Лю-чу и другими, мелкими Ликейскими островами, из которых одни путешественники называли Ама-Керима, а миссионер Беттельгейм говорит, что Ама-Керима на языке ликейцев значит: вон там дальше – Керима. Сколько по белу свету ходит переводов и догадок, похожих на это!

Транспорт "Князь Меншиков" и корвет "Оливуца" получили приказание идти вперед, а шкуна "Восток" послана осмотреть и, по возможности, описать островок, открытый лейтенантом Панафидиным под 25е «северной» широты. 10-е число мы всё лавировали день и ночь против S ветра и подались вперед не более сорока миль; зато 11-го, в 8 часов утра, подул чересчур свежий NO. Началась качка. У марселей взяли три рифа и спустили брам-стенги. Неслись по одиннадцати узлов на фордевинд. Не люблю я фордевинда, или фордака, как Фаддеев называет этот ветер: он дует с кормы, следовательно, реи и паруса ставятся тогда прямо. Судно, держась на одном киле, падает то на правую, то на левую сторону.

11-го числа, часов в 9 вечера, мы пересекли Северный тропик. Становилось темно. Ночью ни зги не видать; небо заволочло тучами; ветер ревет; а часа в два ночи надо было проходить сквозь группу островов Баши, ту самую, у которой 9-го и 10-го июля прошлого года нас встретил ураган. Хотя пролив, через который следовало идти, имеет в ширину до 19 миль, но в темноте поневоле в голову приходят разные сомнения, например, что могла быть погрешность в карте или течением отнесло от курса, тогда можно наткнуться... К счастью, утром погода была ясная и позволила сделать верную обсервацию. В сказанный час, даже в темноте, увидели берег, промчались через пролив благополучно – и вот мы опять в Китайском море.

Сегодня, 12-го, какая погода! Море еще у Лю-чу было синее, а теперь, в тропиках, и подавно. Солнце печет иногда до утомления, как у нас бывает перед грозой. Теплота здесь напитана разными запахами; солнце проникает всюду. Появились летучие рыбы, с сельдь величиною; они летают во множестве стаями и поодиночке.

Ночью несколько стихло; мы отдохнули от качки и спали хорошо. Шли узлов по девяти, при мягком и теплом ветре, который нежит нервы, как купанье. После обеда вдруг, откуда ни возмись, задул крепкий, но попутный ветер с берега, который был виден влево: это берег Люсона. Остров этот очень велик; от северной его оконечности до Манилы считают с лишком триста миль, а еще сколько от Манилы до южной оконечности! У кого ни посмотришь, описание Манилы в руках. Все заранее обольщают себя мечтами, кто – увидеть природу, еще роскошнее виденной, кто – новых жителей, новые нравы, кто льститя встретиться с крокодилом, кто с креолкой, иной рассчитывает на сигары; тот хочет заказать белье из травяного холста; у всех различные желания. Барон Крюднер заглядывает во все путешествия и мучится, что ничего нет об отелях: чего доброго, пожалуй, их нет совсем!

Звезды великолепны; море блещет фосфором. На небе первый бросился мне в глаза

Южный Крест, почти на горизонте. Давно я не видал его. Вот и наша Медведица; подалее Орион. Небо не везде так богато: здесь собрались аристократы обоих полушарий.

Часов с шести вечера вдруг заштило, и мы вместо 11 и 12 узлов тащимся по 11/2 узла. Здесь мудреные места: то буря, даже ураган, то штиль. Почти все мореплаватели испытывали остановку на этом пути; а кто-то из наших от Баши до Манилы шел девять суток: это каких-нибудь четыреста пятьдесят миль. Нам остается миль триста. Мы думали было послезавтра прийти, а вот...

Вам, конечно, случалось осматривать картинную галерею какого-нибудь любителя: он перед некоторыми своими дорогими картинами останавливает вас так долго, что картина даже... надоедает. Вот этак подчас казалось и нам в штиль, при тишине моря и синеве неба. А ведь как хорошо, красиво это безукоризненно чистое и голубое небо, синяя, беспредельная гладь моря, влажно-теплый береговой воздух! Но и морская поэзия надоеет, и тропическое небо, яркие звезды: помянешь и майские петербургские ночи, когда, к полуночи, небо захочет будто бы стемнеть, да вдруг опять засветлеет, точно ребенок нахмурится: того и гляди заплачет, а он вдруг засмеялся и пошел опять играть!..

Вдали, видишь, качаются три судна, как мы же, безветренные, да синее, как туча, берег Люсона. На палубе бездействие; паруса стоят неподвижно; ученье делать нет возможности от жара. Сегодня воскресенье; после обедни мы стояли на юте и смотрели вдаль. Вот мимо пронеслось стадо дельфинов: сначала плыл один – наруже видно было только острое черное перо. Вскоре появились они во множестве, переваливаясь с волны на волну. Еще большая акула долго следила за фрегатом. Ей два раза бросали крюк с наживой; два раза она хватала его, и один раз уже потащили было ее вверх, но крюк сломался. Среди бездействия и эти мелочи кажутся занимательны! Завтра новолуние: ожидают перемен, крепких ветров. Сегодня началась масленица; все жалеют, что не успеют на карнавал в Манилу.

16-го мы наконец были у входа в Манильский залив, один из крупнейших в мире. Посредине входа лежит островок Коррехидор с маяком. Слева подле него торчат, в некотором от него и друг от друга расстоянии, голые камни Конь и Монахиня; справа сплошная гряда мелких камней. Мы, лавировкой, часов в шесть вечера вошли в залив. От Коррехидора отделилась было шлюпка и пошла на нас, чтоб, вероятно, "узнать о здоровье". Но где ей за нами! Мы шли по 9-ти узлов, обогнали какое-то странное, не то китайское, не то индийское, судно и часу в десятом бросили якорь на Манильском рейде, верстах в пяти от берега.

Мы подбирались к рейду тихо, осторожно, и ветер притих; настала ночь. Вы не знаете тропических ночей, светлых без света, теплых, кротких и безмолвных. Ни ветерка, ни звука. Дрожат только звезды. Между Южным Крестом, Канопусом, нашей Медведицей и Орионом, точно золотая пуговица, желтым светом горит Юпитер. Канопус блестит, как брильянт, и в его блеске тонут другие бледные звезды корабля Арго, а всё вместе тонет в пучине Млечного Пути. Что это за роскошь!.. Но чу! колокол! Давно я не слышал благовеста. Густые и протяжные звуки разнеслись по рейду и смолкли. Я смотрел на городские огни: всё кругом их таилось в сумраке. У меня на душе зашевелилось приятное чувство любопытства; в воображении поднялись из праха забвения картины и образы католического юга. Мне захотелось вдруг побывать в древнем монастыре, побродить в сумраке церквей, поглядеть на развалины, рядом с свежей зеленью, на нищету в золотых лохмотьях, на лень испанца, на красоту испанки – чувства и картины, от которых я было стал уставать и отвыкать.

Но говорят и пишут, между прочим американец Вилькс, француз Малля (Mallat), что здесь нет отелей; что иностранцы, после 11-ти часов, удаляются из города, который на ночь запирается, что остановиться негде, но что зато все гостеприимны и всякий дом к вашим услугам. Это заставляет задумываться: где же остановиться, чтоб не быть обязанным никому? есть ли необходимые для путешественника удобства?

Устал я. До свидания; авось завтра увижу и узнаю, что такое Манила. Мы сделали от Лю-чу тысячу шестьсот верст от 9-го до 16-го февраля... Манила! добрались и до нее, а как

кажется это недостижимо из Петербурга! точно так же, как отсюда теперь кажется недостижим Петербург – ни больше ни меньше. До свидания. Расскажу вам, что увижу в Маниле.

Февраль 1854 г.

Лишь только встали мы утром 16 февраля, я вышел на ют смотреть Манилу. "Где же она?" – думал я, поглядев вокруг себя: пусто! Мы, по-вчерашнему, в море; вдаль синеют берега; это мы видели всякий день, идучи под берегом Люсона. "Да где же Манила?" – спрашиваю. "А вон, вон", – говорит дед, показывая пальцем вдаль. "Да вы не туда смотрите; вон где!" – прибавляет он, повертывая меня за плечо. Вижу едва заметную кайму берега; на нем что-то белее: не то дома, не то церкви; сзади, вдалеке, горы. "Так это Манила?" – "Да; а вон Кавита", – говорит дед, повертывая меня опять плечом вправо, почти назад от Манилы. Но там уж ничего не видать: ни домов, ни церквей. Снится как будто во сне полоса берега, да между этой полосой и нашим фрегатом виден трепещущий парус рыбацкой лодки. Недалеко от нас стояли французский военный пароход "Colbert" и несколько купеческих судов. "А Манилы все-таки не видать!" – сказал я. "Еще бы видеть! – возразил дед, – мы в двух с половиною милях от нее". – "А ближе разве нельзя стать?" – спросил я. "С нашим фрегатом... что вы! тут глубина пойдет шесть да пять сажен. Другое дело купеческие суда – те и в реку входят".

"На берег кому угодно! – говорят часу во втором, – сейчас шлюпка идет". Нас несколько человек село в катер, все в белом, – иначе под этим солнцем показаться нельзя – и поехали, прикрывшись холстинным тентом; но и то жарко: выставишь нечаянно руку, ногу, плечо – жжет. Голубая вода не струится нисколько; суда, мимо которых мы ехали, будто спят: ни малейшего движения на них; на палубе ни души. По огромному заливу кое-где ползают лодки, как сонные мухи.

По мере нашего приближения берег стал обрисовываться: обозначилась серая, длинная стена, за ней колокольни, потом тесная куча домов. Открылся вход в реку, одетую каменной набережной. На правом берегу, у самого устья, стоит высокая башня маяка.

Река Пассиг – славная, быстрая река; на ней много движения. Берега заставлены, в два-три ряда, судами, джонками, лодками, так что мы с трудом пробирались и не раз принуждены были класть весла по борту. На судах деятельность: выгрузка, нагрузка; сейчас видно, что это большой порт. Некоторые корабли лежат почти на боку и чинятся. Всюду гомозятся за работой красно-смуглые, голые тела: всё индийцы. На левом берегу крепость. "Вот Манила и есть! – сказал, указывая на крепость, барон Крюднер, который уж был у губернатора, – это испанский город; тут все власти". – "А это что ж?" – спросили мы, указывая на противоположный берег. – "Это предместье Бинондо; тут торговля, иностранцы". Вот пока всё, что я узнал.

"Куда ж пристать?" – "Вот одна пристань, а другая там, дальше где-то, у моста". – "Так пристанем к ближайшей!" – сказал кто-то. "Отчего ж к ближайшей? – возразил другой, – уж заберемся подальше". – "И здесь хорошо". Стали спорить; большинство решило пристать немедленно; но тут течением потащило нас на мель, на праздню валявшиеся в тине якоря. "Клади лево руля! лево руля!" – говорил один. "Отталкивайся, бери правей... – командовал другой, – вот так! теперь пристанем". – "Да нет, поедемте туда, к той пристани!" – решили многие – и поехали. А пристать следовало тут, как мы после увидели.

Мы продолжали плыть по реке. На одном берегу ряд грязноватых пакгаузов, домов, длинных заборов; зелени нигде не видать; изредка выбегают на солнце из-за каменной ограды два-три банановые листа. Направо, у крепости, растет мелкая трава; там бегают с криком ребятишки; в тени лежат буйволы, с ужаснейшими, закинутыми на спину рогами, или стоят по горло в воде. На стене ходят часовые с большими эполетами из красной бахромы, в уланских киверах и в суконных мундирах с перевязью. "Крепость славно

укреплена", – говорили наши, рассматривая артиллерию и толщину стен.

Но вот и мост. Насилу продрались мы, между судов и лодок, к каменным ступеням пристани и вышли на улицу. Ух, как душно! Нас охватил горячий и удушливый воздух: точно в пекарню вошли. "Ужели это Манила? – говорил один из наших спутников, помоложе, привыкший с именем Манилы соединять что-то цветущее, – да где же роскошь, поэзия?.. Ах, как нехорошо пахнет!" – вдруг прибавил он. Пахло в самом деле нехорошо. Мы вошли в улицу, состоящую из сплошного ряда лавок, и вдруг угадали причину запаха: из лавок выглядывали бритые досиня китайские головы и лукавые физиономии. Прямые азиатские жиры: где их нет? и всюду разносят они запах чеснока, сандалового дерева и растительного масла. Здесь они, однако ж, почище, нежели в Сингапуре и Гонконге, и лавки у них поопрятнее, похожи на наши гостиные дворы, только с жильем сверху. Здесь меньше кузнецов, столяров; не видать, чтоб жарили и пекли на улице. Но голых много. Неприятно видеть эти белые и дряблые тела: точно провизия какая-нибудь выставлена напоказ между частью баранины и окороком ветчины.

Мы искали, кого бы спросить о французской отели, о которой слышали утром, о том, можно ли поселиться в ней, иметь экипаж и т. п. На улице никого; редко пробежит индеец или китаец с ношей, и опять улица опустеет. Только собаки да свиньи лежат кое-где у забора в тени. Мы обращались и к китайцам, и к индийцам с вопросом по-английски и по-французски: "Где отель?" Встречные тупо глядели на нас или отвечали вопросом же: "Signor?" Мы стали ухитряться, как бы, не зная ни слова по-испански, сочинить испанскую фразу. После довольно продолжительной конференции наконец сочинили пять слов, которые долженствовали заключать в себе вопрос: "Где здесь французская отель?" С этим обратились мы к солдату, празднующему в тени какого-то желтого здания, похожего на казармы. Другой солдат стоял на часах. Первый поглядел на нас, подумал и повел по китайским рядам. Из лавок на нас несло попеременно мылом, сапожным товаром, пряностями, чаем и т. п. Наконец солдат привел нас на какой-то двор, на котором было множество колясок и лошадей. Кучера, чистившие их, посмотрели вопросительно на нас, а мы на них, потом все вместе на солдата: "Что это мы сказали ему?" – спросил один из нас в тоске от жара, духоты и дурного запаха на улицах. "Верно что-нибудь хорошее, что он нас в конюшню привел!" – "А всё же вышло что-нибудь да по-испански: не даром же он привел сюда", – прибавил кто-то в утешение. "Франческа, франческа", – повторили мы солдату. Один из кучеров тоже что-то сказал ему, и тот повел нас опять по рядам. Улица была прекрасная; лавки, чем дальше шли, тем лучше. Наконец проводник остановился перед одной дверью и указал нам войти туда.

Мы очутились в европейском магазине, но в нем царствовал такой эклектизм, что ни за что не скажешь сразу, чем торгует хозяин. Тут стояло двое-трое столовых часов, коробка с перчатками, несколько ящиков с вином, фортепьяно; лежали материи, висели золотые цепочки, теснились в куче этажерки, красивые столики, шкапы и диваны, на окнах вазы, на столе какая-то машина, потом бумага, духи. Мы имели время рассмотреть всё, потому что в магазине никого не было и никто не шел к нам. Минут через пять уже появился молодой, высокий, белокурый, очень красивый француз, по обыкновению изысканно одетый, и удивился, найдя нас тут. За ним вышла немолодая, невысокая, очень некрасивая француженка, одетая еще изысканнее. Она тоже с удивлением посмотрела на нас. Мы заговорили все вместе, и хозяева тоже. Мы стали горько жаловаться на жар, на духоту, на пустоту на улицах, на то, что никто, кроме испанского, другого языка не понимает и что мы никак не можем найти отели. Они усердно утешали нас тем, что теперь время съесты, – все спят, оттого никто по улицам, кроме простого народа, не ходит, а простой народ ни по-французски, ни по-английски не говорит, но зато говорит по-испански, по-китайски и по-португальски, что, перед съестой и после съесты, по улицам, кроме простого народа, опять-таки никто не ходит, а непостоянный народ всё ездит в экипажах и говорит только по-испански. "Отель, – прибавили они в последнее утешение нам, – точно есть: содержит ее француз monsieur Демьен, очень хороший человек, но это предалеко отсюда. Вот, не угодно ли, вас проводит туда кули, а вы заплатите ему за это реал или, пожалуй, больше".

Француженка, в виде украшения, прибавила к этим практическим сведениям, что в Маниле всего человек шесть французов да очень мало американских и английских негоциантов, а то всё испанцы; что они всё спят да едят; что сама она католичка, но терпит и другие религии, даже лютеранскую, и что хотела бы очень побывать в испанских монастырях, но туда женщин не пускают, – и при этом вздохнула из глубины души. "А много монахов в Маниле?" – спросил я. "On ne voit que за, monsieur",* – отвечала она. На прощанье хозяева просили удостоить их посещением, если понадобится нам – мебель. * Только их и видишь, сударь – фр.

Опять пошли мы кочевать, под предводительством индийца или, как называет Фаддеев, цыгана, в белой рубашке, выпущенной на синие панталоны, в соломенной шляпе, босиком, по пустым улицам, стараясь отворачивать от многих лавочек, откуда уж слишком пахло китайцами.

Пока мы шли под каменными сводами лавок, было сносно, но лавки кончились; началась другая улица, пошли перекрестки, площади; надо было проходить по открытым местам. Зонтик оказался слабою защитой; ноги горели в ботинках. Мы прошли мимо моста, у которого пристали; за ним видна большая церковь; впереди, по новой улице, опять ряды лавок, гораздо хуже, чем в той, где мы были. Попадались всё те же индийцы и китайцы, изредка метисы и одна метиска с распушенной по спине мокрой косой, которую она подставляет под солнце посушить после купанья.

Метисы – это пересажённые на манильскую почву, с разных других мест, цветки, то есть смесь китайцев, испанцев и других племен с индийцами. Испанские метисы одержимы желанием прослыть, где есть случай, испанцами – но это невозможно: чересчур смуглые лица, чересчур черные волосы обличают неиспанскую кровь на каждом шагу. Они и сами понимают это и смиряются. Женщины присвоили себе и особенный костюм: ярко полосатую и даже пеструю юбку и белую головную мантилью, в отличие от черной, исключительного головного убора испанок *pur sang**. Испанцы так дорожат привилегией родиться и получить воспитание на своем полуострове, что уже родившиеся здесь, от испанских же родителей, дети на несколько процентов ценятся ниже против европейских испанцев в здешнем обществе. Одна молодая испанка... Но ведь это я всё узнал не дорогой к трактиру, а после: зачем же забегать? Расскажу, когда дойдет очередь, если не... забуду. * чистокровных – фр.

Улицы, дома, лавки – всё это провинциально и похоже на все в мире, как я теперь погляжу, провинциальные города, в том числе и на наши: такие же длинные заборы, длинные переулки без домов, заросшие травой, пустота, эклектизм в торговле и отсутствие движения.

У одного переулка наш вожатый остановился, дав догнать себя, и пошел между двумя заборами, из-за которых выглядывали жарившиеся на солнце бананы. В этом переулке совсем не видно было домов, зато росло гораздо больше травы, в тени лежало гораздо более свиней и собак, нежели в других улицах. Наконец вот и дом, один; вдали, уж на загибе, другой – и только. "Да скоро ли кончится этот путь?" – говорили мы, донельзя утомленные жаром. Тагал остановился у первого из домов, у довольно грязных ворот. "Fonda!" – сказал он, указывая рукой во двор. Мы недоверчиво заглянули туда – и что же: опять коляски и лошади. "Что ж это значит: смеются, что ли, над нами?" – ворчали мы. "Fonda!" – твердил упрямо тагал. "Так что ж, что "fonda"? веди нас в отель!" – кричали мы, кто по-французски, кто по-английски. К счастью, вышел какой-то молодой человек и объявил по-английски, что это фунда, то есть отель и есть. "А лошади, коляски – что это значит?" – сердито спрашивали мы. "Хозяин содержит и экипажи", – отвечал он.

Мы успокоились и спрятались под спасительную тень, пробежав двор, наполненный колясками и лошадьми, вошли на лестницу и очутились в огромной столовой зале, из которой открытая со всех сторон галерея вела в другие комнаты; далее следовали коридоры с номерами. О, роскошь! солнца нет; везде сквозной ветер; но, к сожалению, он не всегда здесь к вашим услугам. У нас, на севере, велят избегать его, а здесь искать. Отель напоминала нам Сингапур: такие же длинные залы, длинный стол и огромный веер, прикрепленный к потолку. Везде задвижные рамы во всю величину окна. Есть и балкон или просто крыша над

сараями, огороженная бортами, как на кораблях, или, лучше сказать, как на... балконах.

На нас с любопытством поглядывала толпа слуг-индийцев, большею частью мальчишек. Впрочем, тагалы вообще невысоки ростом и моложавы на вид. "Лимонаду!" – спросили мы, и вся толпа слуг разом бросилась вон, так что пол, столы, стулья – всё заходило в зале. Тут я разглядел, что полы, потолки – всё это выстроено чересчур на живую нитку. Я сквозь щели досок на полу видел, что делается на дворе; каждое слово, сказанное внизу, слышно в комнате, и обратно. Разглядел я еще, что в рамах нет ни одного стекла, а вместо их что-то другое. "Слюда!" – сказал один из нас. "Нет, это жесть, – решил другой, – посмотрите, какая крепкая!"

Слуги вбежали, как лошади, с таким же шумом, с каким ушли, и принесли несколько бутылок лимонаду. Мы жадно напали на лимонад и потом уже спросили, где хозяин и можно ли его видеть. Опять они с оглушительным топотом шарахнулись вон. Явился хозяин, m-g Demien, лет 35-ти, приятной наружности, с добрым лицом, в белой куртке и соломенной шляпе, вежливый, но не суетливый, держит себя очень просто, но с достоинством, не болтун и не хвастун, что редко встретишь в французе. Он объявил, что за полтора пиастра в сутки дает комнату со столом, то есть с завтраком, обедом, ужином; что он содержит также и экипажи; что коляска и пара лошадей стоят в день два пиастра с половиной, а за полдня пиастр с четвертью; что завтракают у него в десять часов, обедают в четыре, а чай пьют и ужинают в восемь. "Впрочем, у меня когда хотите, тогда и дадут есть, comme chez tous les mauvais gargotiers*", – прибавил он. "Excellent, monsieur Demien"**, – сказал барон Крюднер в умилении. * как у всех плохих кабатчиков – фр. ** Превосходно, господин Демьен – фр.

"Скажите, пожалуйста, – начали мы расспрашивать хозяина, – как бы посмотреть город?" – "Можно, – отвечал он, – вы что хотите видеть?" – "Прежде всего испанский город, достопримечательности". – "Можно". – "Церкви, например?" – "Можно". – "Так велите же дать лошадей, мы бы поехали..." – "Церкви видеть нельзя: они заперты", – сказал Демьен. "Когда ж служат в них?" – "До восьми часов утра; позже – жарко". – "Ну, фабрику сигар можно видеть?" – "Нет, надо до одиннадцати часов утра; к полудню все расходится отдыхать: жарко. Да у вас есть позволение от губернатора?" – "Позволение?" – спросили мы. "Да?" – "Нет". – "Впрочем, если у вас есть кто-нибудь знакомый в городе, то вас проведут, по знакомству с директором".

Мы придумались перед этими неожиданными помехами. "Еще нам хотелось бы съездить внутрь острова: посмотреть, например, грот Св. Маттео, лагуны... можно ли у вас достать лошадей?" – спрашивали мы далее. "Можно, сколько хотите; только здешнее начальство неохотно пускает иностранцев внутрь... Впрочем, для вас, может быть, губернатор разрешит: вы редкие гости". – "Чем же это лучше Японии? – с досадой сказал я, – нечего делать, велите мне заложить коляску, – прибавил я, – я проедусь по городу, к стати куплю сигар..." – "Коляски дать теперь нельзя..." – "Вы шутите, господин Демьен?" – "Нимало: здесь ездят с раннего утра до полудня, потом с пяти часов до десяти и одиннадцати вечера; иначе заморишь лошадей". – "Где ж магазин с сигарами! покажите, мы пешком пойдем". – "Есть один магазин казенный, да там не всегда бывают сигары... надо на фабрике..." – "Это из рук вон! ведь на фабрику попасть нельзя?" – "Трудно". – "Где ж берут сигары? мы на улице видели, все курят". – "В частных лавках есть, да дрянные". – "Нет ли у вас?" – "Нет, я не держу, потому что здесь всякий сам запасает себе".

Мы пожали плечами, а Демьен улыбался: он наслаждался нашим положением. "Что ж нам делать теперь – научите". – "А вот отдохните здесь, теперь три часа, в четыре подадут обед: обедайте, если хотите, а после я тотчас велю закладывать экипажи, пораньше, для вас, и вы поедете кататься. Сигар я пошлю купить сейчас же". – "Мы обедали", – отвечали мы. "Завтракали, – поспешно добавил барон, – почему ж не отобедать? Надо же изучать нравы, обычаи..." – "А что это у вас вставлено в рамы вместо стекол?" – спросил я хозяина. "Перламутровые раковины". – "Зачем же?" – "Они мало света пропускают в комнаты и не принимают в себя жара. Да стекол здесь не напасешься от одних землетрясений", – прибавил он.

Мы сели у окна, на самом сквозном ветру, и смотрели на огороженный забором плац с аллеєю больших тенистых деревьев, назначенный, по-видимому, для ученья солдат. Дальше виднелись крыши домов с редкою, выглядывавшею из-за них зеленью. С другой стороны, с балкона, вид был лучше. Балкон выходил на Пассиг с движущейся по ней живой панорамой судов, странных лодок, индийцев. Из-за крепостной стены глядели куполы и кресты церквей. В трактир приходили и уходили разные лица, всё в белых куртках, индийцы в грязных рубашках, китайцы без того и без другого. Мимо везли на буйволах разные клади: видно, буйволы, насчет езды по жаре, не входили в одну категорию с лошадьми.

В трактире к обеду стало поживее; из нумеров показались сонные лица жильцов: какой-то очень благообразный, высокий, седой старик, в светло-зеленом сюртуке, ирландец, как нам сказали, полковник испанской службы, француз, бледный, донельзя с черными волосами, донельзя в белой куртке и панталонах, как будто завернутый в хлопчатую бумагу, с нежным фальцетто, без грудных нот. Потом, несмотря на жар, пришло с улицы несколько английских шкиперов: что за широкоплечестъ! что за приземистость! ноги, вогнутые внутрь или дугой наружу. Они вчетвером, как толпа буйволов, прошли по галерее мерно, основательно, так что пол заходил ходенем. Посмотришь ли на индивидуума этой породы спереди, только и увидишь синюю, толстую, суконную куртку, такие же панталоны, шляпу и под ней вместо лица круг красного мяса, с каймой рыжих, жестких волос, да огромные, жесткие, почти неразжимающиеся кулаки: горе, кому этакой кулак окажет знак вражды или дружбы! Взглянешь сзади – то же самое, только шляпа вплоть приходится к плечам. Он неизменим всегда и везде: ни белых курток, ни соломенных шляп, никаких этих нежностей не знает. Явилось еще несколько лиц, всего человек двадцать. Слуги проявляли необыкновенную деятельность: они продолжали бросаться вон и возвращаться бегом, каждый с каким-нибудь блюдом, и скоро заставили весь стол, так что скатерти стало не видно.

Чего не было за столом! Мяса решительно все и во всех видах, живность тоже; зелени целый огород, между прочим кукуруза с маслом. Но фруктов мало: не сезон им.

Стол – смесь английского с французским: зелень, например, вся приготовлена по-французски, а мясо и рыба поданы по-английски, неразрезанными; к ним особо опять французские рагу, тут же и сои, пикули. Хотя все кушанья разом поставлены на стол, но собеседники друг друга не беспокоили просьбою отрезать того, другого, как принято у англичан. "Зачем так много всего этого? – скажешь невольно, глядя на эти двадцать, тридцать блюд, – не лучше ли два-три блюда, как у нас?.." Впрочем, я не знаю, что лучше: попробовать ли понемногу от двадцати блюд или наестся двух так, что человек после обеда часа два томится сомнением, будет ли он жив к вечеру, как это делают иные...

Слуги и за обедом суются как угорелые, сталкивают друг друга с ног, беснуются и вдруг становятся неподвижно и глядят на вас, прося глазами приказать что-нибудь еще.

После обеда стало посвежее; все разъехались. Мне подали прекрасную небольшую коляску, запряженную парой мелких, но прехорошеньких, круглых и резвых лошадей. "Велите кучеру ехать сначала в Манилу, – сказал я хозяину, – потом в окрестности, только подальше и позанимательнее". – "А на кальсадо хотите ехать?" – спросил он. "Что это такое кальсадо?" – "Это гулянье около крепости и по взморью: туда по вечерам собираются все кататься". – "Ужо, попозднее", – сказал я. Он долго что-то говорил кучеру, и тот погнал лошадей еще по горячим улицам, по которым мы утром тащились пешком до отели. Я прилежно глядел кругом, чтоб скорее освоиться в городе.

Мы промчались по предместью, теперь уже наполненному толпами народа, большею частию тагалами и китайцами, отчасти также метисами: весь этот люд шел на работу или с работы; другие, казалось, просто обрадовались наступавшей прохладе и вышли из домов гулять, ходили по лавкам, стояли толпами и разговаривали.

Тагалы нехороши собой: лица большею частью плоские, овальные, нос довольно широкий, глаза небольшие, цвет кожи не чисто смуглый. Они стригутся по-европейски, одеваются в бумажные панталоны, сверху выпущена бумажная же рубашка; у франтов

кисейная с вышитою на европейский фасон манишкой. В шляпах большое разнообразие: много соломенных, но еще больше европейских, шелковых, особенно серых. Метисы ходят в таком же или уже совершенно в европейском платье.

Женщины, то есть тагалки, гораздо лучше мужчин: лица у них правильнее, глаза смотрят живее, в чертах больше смысленности, лукавства, игры, как оно и должно быть. Они большие кокетки: это видно сейчас по взглядам, которыми они отвечают на взгляды любопытных, и по подавляемым улыбкам. Как хорош смуглый цвет при живых, страстных глазах и густой черной косе, которая плотным узлом громоздится на маленькой голове напоказ всем, без всякого убора! Вас поразила бы еще стройность этих женщин: они не высоки ростом, но сложены прекрасно, тем прекраснее, что никто, кроме природы, не трудился над этим станом. Нет ни пояса, ни тесемки около поясницы, ничего, что намекало бы на шнуровку и корсет. Весь костюм состоит из бумажной, плотно обвитой около тела юбки, без рубашки; юбка прикрыта еще большим платком – это нижняя часть одежды; верхняя состоит из одного только спенсера, большею частью кисейного, без всякой подкладки, ничем не соединяющегося с юбкою: от этого, при скорой походке, от грациозных движений тагалки, часто бросается в глаза полоса смуглого тела, внезапно открывающаяся между спенсером и юбкой.

У многих, особенно у старух, на шее, на медной цепочке, свех платья, висят медные же или серебряные кресты или медальоны с изображениями святых. Нечего прибавлять, что все здешние индийцы – католики. В дальних местах, внутри острова, есть еще малочисленные племена, или, лучше сказать, толпы необращенных дикарей; их называют негритами (*negritos*). Испанское правительство иногда посылает за ними небольшие отряды солдат, как на охоту за зверями.

Между этими стройными женскими фигурами толкались кроме тагалов китайцы в своих кофтах, с длинною, путавшеюся в ногах косою, или пробирались монахи. И мужчины, и женщины почти все курили сигары.

Мы выехали из предместья и по длинному, но довольно узкому мосту через Пассиг, потом мимо казарм въехали в крепость, окруженную широким, наполненным водой рвом и серой, массивной стеной из дикого камня. Проехали еще чрез ворота за внутреннюю, выбеленную кирпичную стену и очутились в длинной, узенькой, мрачной улице испанского города. Дома шли сплошной массой, в два этажа, с непрерывной каймой висячих балконов, похожих на шкапы с плотно затворенными дверцами. Нижние этажи первой улицы заняты китайскими лавками, всё почти с европейскими товарами.

Мы мчались из улицы в улицу, так что предметы рябили в глазах: то выскочим на какую-нибудь открытую площадку – и всё обольется лучами света: церковь, мостовая, сад перед церковью, с яркою и нежною зеленью на деревьях, и мы сами, то погрузимся опять во тьму крошечную длинного переулка. В глазах мелькнет вывеска лавки, отворенное жалюзи и заспанное лицо старого испанца; там арфа у окна; там детская головка; солдат на часах. Сказал бы кучеру: "Стой, тише!" – да как ему скажешь? Выйдет такая же история, пожалуй, как давеча с фондой. Мы доскакали до большой площади с сквером посередине и бронзовым монументом. "Stop, halt", – говорил я. Кучер всё мчал дальше. Я потерял терпение и тростью тронул его в спину. Он быстро обернулся ко мне и смотрел на меня вопросительно, а лошади всё ехали. Насилу я знаками объяснил ему, что хочу выйти.

Я пошел по площади кругом; она образует параллелограмм: с одной стороны дворец генерал-губернатора – большое двухэтажное каменное здание новейшей постройки; внизу, в окнах, вместо рам большие железные решетки. Здесь все дома в два этажа; в нижних этажах помещаются лавки и кладовые, но не жилые покои, по причине землетрясений. Здания строятся по двум способам: или чрезвычайно массивно, как строятся монастыри, казармы, казенные дома, так что надо необыкновенное землетрясение, чтоб поколебать громадные стены этих зданий; или же сколачиваются на живую нитку, вроде балаганов, как выстроена фонда и почти все другие частные дома. В них потолки и полы так легки и эластичны, что покоряются движению почвы и, пошатавшись немного, остаются на своем месте. Здесь,

говорят, все привыкли к землетрясениям: и дома, и люди. Напротив дворца – ратуша с башенкой наверху. С третьей стороны собор, на четвертой – ряд больших, выстроенных в линию, частных домов.

Площадь вся так и горела жаром – нужды нет, что был уже в исходе пятый час. Дома стоят, точно необитаемые, с закрытыми жалюзи. Церковь, с серыми, обросшими мохом стенами, покоится мертво и немо. Нигде ни звука, ни движения; птичка даже не пролетит, и солдат у ворот дворца точно прирос к земле, как эта статуя Карла IV. Около монумента, на сквере, только что посажены, не сегодня, так вчера, кустики с голыми прутьями – будущие деревья; они смотрели так жалко и сухо, как будто отчаивались вырасти под этим солнцем.

Я хотел обойти кругом сквера, но подвиг был не по силам: сделав шагов тридцать, я сел в коляску, и кучер опять беспощадно погнал лошадей, опять замелькали предметы. Но город уже понемногу оживал: кое-где отодвигались жалюзи; появлялись люди. На одном балконе, опершись локтями о решетку, сидела молодая женщина с матовым лицом, с черными глазами; она смотрела бойко: видно, что не спала совсем. Вот вечером тут, пожалуй, явится кто-нибудь с отвагой и шпагой, а может быть и с шелковыми петлями. Я стал вглядываться попристальнее в нее, и она скрылась. Кое-где отворяли решетчатые железные ворота в домах; слышался стук колес; там, на балконе, собралось целое семейство наслаждаться чуть-чуть повеявшей прохладой.

Проехав множество улиц, замков, домов, я выехал в другие ворота крепости, ко взморью, и успел составить только пока заключение, что испанский город – город большой, город сонный и город очень опрятный. Едучи туда, я думал, правду сказать, что на меня повеет дух падшей, обедневшей державы, что я увижу запустение, отсутствие строгости, порядка – словом, поэзию разорения, но меня удивил вид благоустроенности, чистоты: везде видны следы заботливости, даже обилия.

За городом дорога пошла берегом. Я смотрел на необозримый залив, на наши суда, на озаряемые солнцем горы, одни, поближе, пурпуровые, подальше – лиловые; самые дальние синели в тумане небосклона. Картина впереди – еще лучше: мы мчались по большому зеленому лугу с декорацией индийских деревьев, прячущихся в тени бананов и пальм. Это одна бесконечная шпалера зелени – на бананах нежной, яркой до желтизны, на пальмах темной и жесткой.

Кучер мчит неистово; я только успеваю кидать быстрые взгляды направо и налево. Тут стена бамбуков; я нигде не видал таких больших и стройных деревьев: они растут исполинскими кустами или букетами, устремляясь, как пучки стрел, вверх, и там разбегаются ветвями в разные стороны. Дальше густая, непроницаемая масса смешанной зелени, в которой местами прячутся кисти хлебных плодов, фиг или гранат, как мне казалось при такой быстрой езде. Из чащи зелени мы вдруг вторгались в тагальскую деревню, проскакивали мимо хижин без стен, с одними решетками, сплетенными из растущего тут же рядом бамбука, крытых банановыми листьями, и без того, впрочем, осеняющими круглый год всю хижину. Деревня заменялась опять сплошным лесом-садом, который тянется долго, целые мили. Потом зеленая шпалера внезапно раздвинется, открывая поля с грядами, покосами, фермами, стадами, с пестрыми нивами, как заплатами, которые стелются далеко, вплоть до синеющего на горизонте леса. Местами декорация леса прячет за собой табачную, кофейную или, наконец, сахарную плантацию. Одно цветет, с другого уже собраны плоды, третье едва всходит. Но бананы преобладают всё: везде, из всех углов и щелей, торчат их нескромные, ярко-свежие листья, осеняющие крупные и тяжелые кисти плодов. Всё здесь заросло, всё зелень, всё сад, как на Яве; нет пустого клочка голой земли.

Сколько мостиков и речек перемахнули мы! Везде на них жилье, затишья, углубления в сторону: там в сонные воды заблудившейся в лесу и ставшей неподвижно речки смотрятся дачи во всем убранстве зелени и цветов; через воды переброшен мост игрушечной постройки, каких много видишь на театре, отчасти на Черной речке тоже.

На балконах уже сидят, в праздном созерцании чудес природы, заспанные, худощавые фигуры испанцев *de la vieille roche*, напоминающих Дон Кихота: лицо овальное, книзу уже, с

усами и бородой, похожей тоже на ус, в ермолках, с известными крупными морщинами, с выражающим одно и то же взглядом тупого, даже отчасти болезненного раздумья, как будто печати страдания, которого, кажется, не умеет эта голова высказать, за неумением грамоте. На всех картинках испанской школы увидите такие лица. Другие еще почивают или, проснувшись, кушают. Быстроглазые тагалки, занятые чем-нибудь в хижинах или около, вдруг поднимают на проезжих глаза и непременно что-нибудь высказывают ими: или вопрос, или насмешку, или другое, но во всяком случае красноречиво. Мужчины – те ничего не говорят: смотрят на вас с равнодушным любопытством, медленно почесывая грудь, спину или что-нибудь другое, как делают и у нас мужики в полях, отрываясь на минуту от плуга или косы, чтоб поглядеть на проезжего. Одни из них возятся около волов, другие работают по полям и огородам, третьи сидят в лавочке и продают какую-нибудь дрянь; прочие покупают ее, едят, курят, наконец, многие большею частью сидят кучками всюду на улице, в садах, в переулках, в поле и почти все с петухом под мышкой.

Это вечный товарищ тагала: он с ним всюду. Я видел петухов, привязанных к дверям лавок: хозяин торгует – петух должен быть тут же. Я останавливался, выходил из коляски посмотреть, что они тут делают; думал, что увижу знаменитые манильские петушьи бои, но видел только боевые экзерции; петухов раздражали, спуская друг на друга, но тотчас же и удерживали за хвост, как только рыцари слишком ошметинятся. Тут лишь пробовали их силу, ценили качества и готовили к настоящим сражениям. А сражения происходят в особых цирках по праздникам. Странно видеть взрослых людей, с задумчивыми, иногда с такими деловыми физиономиями, за ребяческой забавой. Мне невольно пришла на память Европа, карты и деловые физиономии тоже...

Когда я выезжал из города в окрестности, откуда-то взялась и поехала, то обгоняя нас, то отставая, коляска; в ней на первых местах сидел августинец с умным лицом, черными, очень выразительными глазами, с выбритой маковкой, без шляпы, в белой полотняной или коленкоровой широкой одежде; это бы ничего: "On ne voit que ça", – говорит француженка; но рядом с монахом сидел китаец – и это не редкость в Маниле. У этого китайца были светло-русые волосы, голубые или, по крайней мере, серые глаза, белое или, скорее, красноватое лицо, начиная с носа, совершенно как у европейца. Подумав хорошенько, я снизошел и к этому явлению. "Почему ж, – думал я, – не быть у китайца русым волосам и красному носу, как у европейца? ведь англичане давно уж распространяют в Китае просвещение и завели много своего. Между прочим, и носы, и русые волосы..." Но зачем у этого китайца большой золотой крест на груди? Если он христианин, как надо полагать, зачем он в китайском платье? – боится своих, прячется? не думаю: тогда бы он боялся носить и крест. Наконец, зачем он сидит с католическим монахом? Кто это против них, весь в черном, светском платье, худощавый мужчина, который не надевает шляпы, а держит ее в руках? Потом отчего они все молчат и смотрят в разные стороны?

Это очень интриговало меня; я поминутно обращал взгляды на коляску, до того, что августинский монах вышел из терпения и поклонился мне, полагая, вероятно, по моим вопросительным и настойчивым взглядам, что я добивался поклона. Мне стало совестно, и я уже не взглянул ни разу на коляску и не знаю, где и как она отстала от нас.

Солнце уж скрывалось; мертвый полуденный сон миновал; бездействие кончилось. По деревьям, по дороге и по воде заиграл ветерок, подувший с моря, но так мягко, нежно, осторожно, как разве только мать дует в лицо спящему ребенку, чтоб согнать докучливую муху. Почти не слышать его, а прохладно, тепло и покойно; ветви не качаются взад и вперед и не хлещут одна другую, как в наших северных дубравах; они не движутся, только листья шепчут, и то не все: иной с подошву толщиной – где ему шептать! зефиры не скоро раскачают его.

А кучер всё мчал да мчал меня, то по глухим переулкам, с бледными, но чистыми хижинами, по улицам, то опять по полянам, по плантациям. Из-за деревьев продолжали выглядывать идиллии в таких красках, какие, конечно, не снились самому отцу Феокриту. Везде толпы; на балконах множество голов.

Мы проезжали мимо развалин массивного здания, упавшего от землетрясения, как надо полагать. Я вышел из экипажа, заглянул за каменную ограду и видел стену с двумя-тремя окнами да кучу щебня и кирпичей, заросших травой.

В тагальских деревнях между хижинами много красивых домов легкой постройки – это дачи горожан, которые бегут сюда, между прочим, тотчас после первых приступов землетрясения, как сказал мне утром мсье Демьен. Здесь нечему раздавить человека: всё из жердочек, из прутьев; стен нет: место их занимают окна, задвигаемые посредством жалюзи. Жалюзи открывались к вечеру и обнаруживали внутренность домов. У тагалов нечего смотреть: несколько посуды для приготовления пищи, лавки и семейство, сидящее на полу. Хижины строятся на подставках для защиты от периодически разливающихся рек, от дождей; под хижинной помещаются свиньи, куры, всё домашнее хозяйство. Побогаче хижины окружены двориками, огороженными бамбуком, а чаще кустами бананов. Во многих хижинах я видел висящие мундиры, а иногда и сам смуглый воин из тагалов, вроде Отелло, сидел тут же среди семейства.

Да, прекрасны окрестности Манилы, особенно при вечернем солнце: днем, в полдень, они ослепительны и знойны, как степь. Если б не они, не эта растительность и не веселый, всегда праздничный вид природы, не стоило бы, кажется, и ездить в Манилу, разве только за сигарами.

Мы въехали в город с другой стороны; там уж кое-где зажигали фонари: начинались сумерки. Китайские лавки сияли цветными огнями. В полумраке двигалась по тротуарам толпа гуляющих; по мостовой мчались коляски. Мы опять через мост поехали к крепости, но на мосту была такая теснота от экипажей, такая толкотня между пешеходами, что я ждал минут пять в линии колясок, пока можно было проехать. Наконец мы высвободились из толпы и мимо крепостной стены приехали на гласис и вmeshались в ряды экипажей.

Где это я? Под Новинским или в Екатерингофе 1-го мая? По гласису тянутся две аллеи больших широколиственных деревьев; между аллеями, по широкой дороге, движется бесконечная нить двухместных и четвероместных колясок, с синьорами и синьоринами, с джентльменами, джентльменками, и огибает огромное пространство от предместий, мимо крепости, до самого взморья. На берегу залива собралось до сотни экипажей: гуляющие любовались морем и слушали прекрасную музыку. Играли полковые музыканты. Я остановился послушать знакомые мотивы из опер и незнакомые польки, мазурки. Многие мужчины – в белом, исключая львов: те – в суконном платье и черных шелковых шляпах. Весь шик заключается в том, чтоб – хоть задохнуться, да казаться европейцем, не изменять европейского костюма и обычаев. Женщины-испанки – все с открытой головой и даже без мантильи; англичанки и американки в шляпках. Лиц не видать: темно. Местами расставлены жандармы в треугольных шляпах, темных мундирах с белой перевязью, верхом на небольших, но крепких, коренастых лошадях. Порядок строгий; ни одна коляска не смеет обогнать другую, ни остановиться в рядах.

Это и есть знаменитое кальсадо, или гулянье, о котором говорил мсье Demien.

Проехав раза два по нем взад и вперед, я отправился в отель. Кальсадо не уйдет; да хоть бы и ушло – не беда: это та же Москва, Петербург, Берлин, Париж и т. д. В фонде уж опять накрыт длинный стол, опять заставили его двадцатью блюдами, всё почти теми же, что и за обедом, кроме супа. Это называется пить чай, а чаю не видать. Вскоре, один за другим, собрались все – и наши и чужие. Завязался живой и шумный разговор, рассказ, кто что видел, слышал. Я ушел на балкон и велел туда принести себе чай. Боже мой, какая микстура! Полухолодный, темный и мутный настой, мутный от грязного сахарного песку. В Маниле родится прекрасный сахар и нет ни одного завода для рафинировки. Всё идет отсюда вон, больше в Америку, на мыс Доброй Надежды, по китайским берегам, и оттого не достанешь куска белого сахара. Нужды нет, что в двух шагах от Китая, но не достанешь и чашки хорошего чаю. Я убеждаюсь более и более, что иностранцы не знают, что такое чай, и что одни русские знают в нем толк.

Ночь была лунная. Я смотрел на Пассиг, который тек в нескольких саженьях от балкона,

на темные силуэты монастырей, на чуть-чуть качающиеся суда, слушал звуки долетавшей какой-то музыки, кажется арфы, только не фортепьян, и женский голос. Глядя на всё окружающее, не умеешь представить себе, как хмурится это небо, как бледнеют и пропадают эти краски, как природа расстается с своим праздничным убором.

"Ваше высокоблагородие! – прервал голос мое раздумье: передо мной матрос. – Катер отваливает сейчас; меня послали за вами". На рейде было совсем не так тихо и спокойно, как в городе. Катер мчался стрелой под парусами. Из-под него фонтанами вырывалась золотая пена и далеко озаряла воду. Через полчаса мы были дома.

24-го февраля.

Я уж давно живу у Демьена в отели. Наши приезжают утром и к вечеру возвращаются на фрегат. На другой день прихода нашего хотел было я перебраться в город, но к нам приехали с визитом испанцы. Дома были только вахтенный офицер да еще очень немногие, кого удерживала служба. Я с Фаддеевым укладывался у себя в каюте, чтоб ехать на берег; вдруг Крюднер просунул ко мне голову в дверь. "Испанцы едут", – сказал он. "Бог с ними!" – отвечал я. "Примите их, сделайте одолжение", – просил он. "Что я с ними буду делать?" – "А я еще меньше вас". Но разговаривать было некогда: на палубу вошло человек шесть гидальго, но не таких, каких я видел на балконах и еще на портретах Веласкеца и других; они были столько же гидальго, сколько и джентльмены: все во фраках, пальто и сюртуках, некоторые в белых куртках. "Commendante de bahia!" – сказал мне один из гидальго, показывая на высокого и красивого мужчину с усами. Но "commendante de bahia" ни по-французски, ни по-английски не говорил, по-русски ни слова, а я знал по-испански одно: fonda, да, пожалуй, еще другое – muchacho, которое узнал в отеле и которое значит мальчик. Теперь к моему лексикону прибавились еще два слова: fuego – огонь, anda – пошел! К счастью, с ним были, между прочим, два молодых человека, которые, хотя очень дурно, но зато очень скоро говорили по-французски. Один Vincento d'Abello, сын редактора здешней газеты, сборщика податей тож, другой Carmena, оба они служили и по редакции и по сбору податей.

Я до сих пор имею темное понятие о том, что такое "commendante de bahia" – начальник залива в переводе. Вчера утром уж был у нас какой-то капитан над портом, только не этот. Что ж это еще? Им показали фрегат, вызвали музыку, угощали чаем, только не микстурой, а нашим, благовонным чаем. Они заговорили о турках, об англичанах, о синопском деле, о котором только что получено было известие. А я им о Коррехидоре, острове, лежащем у входа в залив, потом о сигарах. Они обещали мне полное покровительство для осмотра фабрики и для покупки сигар.

Только на другой день утром мог я переселиться в город. Приехал барон Крюднер с берега с каким-то китайцем. Но какой молодец этот китаец! большие карие глаза так и горят, лицо румяное, нос большой, несколько с горбом. Они проходят по палубе и говорят чистейшим французским языком. "Вот французский миссионер, живущий в Китае", – сказал барон, знакомя нас. Мне объяснилось вчерашнее явление за городом. "Вы здесь не одни, – сказал я французу, – я видел вчера кого-нибудь из ваших, тоже в китайском платье, с золотым наперсным крестом..." – "Круглолицый, с красноватым лицом и отчасти носом... figure rubiconde?" – спросил француз. "Да, да!" – "Это наш епископ, monseigneur Dinacourt, он заведывает христианами провинции Джеджиан (или Чечиан, или Шешуан) в Китае; теперь приехал сюда отдохнуть в здешнем климате: он страдает приливами к голове. Хотите побывать у него? Он будет очень рад и сам явится к вам". – "Очень рады". – "И к испанскому епископу". – "Мы бы очень желали... особенно интересно посмотреть здешние монастыри". – "И прекрасно: monseigneur Dinacourt живет сам в испанском монастыре. Завтра или – нет, завтра мне надо съездить в окрестности, в pueblo, – послезавтра приезжайте ко мне, в дом

португальского епископа; я живу там, и мы отправимся".

Отель был единственное сборное место в Маниле для путешественников, купцов, шкиперов. Беспреданно по комнатам проходят испанцы, американцы, французские офицеры, об одном эполете, и наши. Французы, по обыкновению, кланяются всем и каждому; англичане, по такому же обыкновению, стараются ни на кого не смотреть; наши делают и то и другое, смотря по надобности, и в этом случае они лучше всех.

Мне не раз случалось слышать упрёки, что мы не очень разговорчивы в публичных местах с незнакомыми, что вот французы любезнее всех и т. п. Справедливы ли такие упрёки? Для чего навязывать какому-нибудь народу черту, какой у него нет в нравах? Англичане вовсе не говорят в публичных местах между собою. "Оттого у них и скучно, в их собраниях", – скажете вы. Совершенно справедливо: едешь ли по железной дороге, сидишь ли в таверне, за обедом, в театре – молчание. Но зато англичане не беспокоят друг друга в публичных местах. Уважение к общественному спокойствию простерто до тонкости и... действительно до скуки. А вот мой приятель, барон Крюднер, воротясь из Парижа, рассказывал, что ему на парижской дороге, в одном вагоне, было до крайности весело, а в другом до крайности страшно. В последний забралось несколько чересчур разговорчивых и "любезных" людей: одни пели, другие хохотали, третьи курили; но были и такие, которые не пели, не хохотали и не курили. Беспреданно слышалось: "Laissez-moi tranquille, je veux dormir". – "Dormez, si vous pouvez. Quant a moi, j'ai payé mon argent aussi bien que vous, je veux chanter". – "Au diable les fumeurs!" – "Tenez-vous tranquille ou bien je vous dirai deux mots..." * "Оставьте меня, я хочу спать". – "Спите, если можете, что же до меня, то я заплатил так же, как и вы, я хочу петь". – "К черту курильщиков!" – "Успокойтесь, или я скажу вам пару слов..." – фр.

Уж не знаю, что хуже: молчать или разговаривать вот этак? Впрочем, если заговоришь вот хоть с этим американским кэптенем, в синей куртке, который наступает на вас с сжатыми кулаками, с стиснутыми зубами и с зверским взглядом своих глаз, цвета морской воды, он сейчас разожмет кулаки и начнет говорить, разумеется, о том, откуда идет, куда, чем торгует, что выгоднее, привозить или вывозить и т. п. Болтовни, острот от него не ждите. От француза вы не требуете же, чтоб он так же занимался своими лошадьми, так же скакал по полям и лесам, как англичане, ездил куда-нибудь в Америку бить медведей или сидел целый день с удочкой над рекой... словом, чтоб был предан страстно спорту. "Этот спорт, – заметил мне барон Крюднер, которому я всё это говорил, – служит только маской скудоумия или по крайней мере неспособности употребить себя как-нибудь лучше..." Может быть, это правда; но зато как англичане здоровы от этих упражнений спорта, который входит у них в систему воспитания юношества!

Мы пошли ходить по лавкам, накупили тонких соломенных шляп и сигарочниц. Заметив большое требование, купцы, особенно китайцы, набивали цену на свой товар. Дюжину посредственных сигарочниц они продавали за три доллара – это еще дешево; но за другие, побольше, мягкие, тонкие и изящные, просили по три доллара за штуку и едва соглашались брать по полтора. Что может быть лучше манильской соломенной шляпы? Она тонка и гладка, как лист атласной почтовой бумаги, – на голове не слыхать – и плотна, солнце не пропекает через нее; между тем ее ни на ком не увидишь, кроме тагалов да ремесленников, потому что шляпы эти – свое, туземное изделие и стоит всего доллар, много полтора. Львы носят черные шелковые, как я сказал; просто джентльмены – низенькие некрасивые шляпы, грубой китайской соломы, которые продаются по три доллара. Манила знаменита еще изделиями из волокон пины, ананасовых кореньев. Из этих волокон делают материи, вроде кисеи, легкие, прозрачные, и потом носовые платки, те дорогие лоскутки, которые барыни возят в вечерние собрания напоказ и в которые сморкаться не положено. Я долго не догадывался, что это за товар продает всякий день индианка на полу в галерее нашей отели. Около нее всегда толпились некоторые из женатых моих спутников.

Мы ходили из лавки в лавку, купили несколько пачек сигар – оказались дрянные. Спрашивали, по поручению одного из товарищей, оставшихся на фрегате, нюхательного

табаку – нам сказали, что во всей Маниле нельзя найти ни одного фунта. Нас всё потчевали европейскими изделиями: сукнами, шелковыми и другими материями, часами, цепочками; особенно француз в мебельном магазине так приставал, чтоб купили у него цепочку, как будто от этого зависело всё его благополучие.

Измученные, мы воротились домой. Было еще рано, я ушел в свою комнату и сел писать письма. Невозможно: мною овладело утомление; меня гнело; перо падало из рук; мысли не связывались одни с другими; я засыпал над бумагой и поневоле последовал полуденному обычаю: лег и заснул крепко до обеда.

После обеда мы с бароном Крюднером отправились в окрестности. По дороге мы останавливались в двух церквах. В одной – в предместьи Бинондо, за мостом, да в другой – уже за городом, при въезде в индийские деревни. У ограды первой встретился нам иезуит в черной рясе, в черной шляпе с длинными-предлинными полями – вы знаете эту шляпу. Иезуит поклонился нам: "Don Basilio!" – протяжно пропел мой спутник, отдавая поклон. Церковь совсем нового стиля, чисто итальянского, без всякой примеси готического и мавританского. Внутренность расположена крестом. Образов меньше, нежели скульптурных изображений. Иисус Христос, в фиолетовой бархатной рясе, несущий крест, с терновым венком на голове, Божия Матерь с Младенцем – все эти изображения сделаны из воска, иные, кажется, из дерева. Я не скажу, чтоб это возбуждало благоговение... напротив. Вечерняя молитва кончилась, но в церкви было довольно молящихся. Несколько испанок в черных, метиски в белых мантильях и полосатых юбках; они стояли на коленях по две, по три, уткнувшись носами в книгу и совсем закрывшись мантильями. Напрасно мы ждали, не взглянут ли они кругом себя, но ни одна не шевельнулась, и мы не могли прочесть благоговения или чего-нибудь другого на лицах их. Мальчишки стояли на коленях по трое в ряд; один читал молитвы, другие повторяли нараспев, да тут же кстати и шалили, – всё тагалы; взрослых мужчин не было ни одного. Священник исповедовал мальчика лет десяти, который, стоя на коленях, шептал ему на ухо. Священник задумчиво слушал, и как долго: всё время, пока мы были в церкви! В другой церкви то же самое, только победнее. Ни одной испанки или метиски, всё тагалки. Также много деревянных фигур, работы очень грубой.

Мы вышли... Какое богатство, какое творчество и величие кругом в природе! Мы ехали через предместья Санта-Круц, Мигель и выехали через канал, на который выходят балконы и крыльца домов, через маленький мостик, через глухие улицы и переулки на Пассиг.

Тут только увидел я, как велик город, какая сеть кварталов и улиц лежит по берегам Пассига, пересекая его несколько раз! После этого не удивись, что здесь до ста пятидесяти тысяч жителей. Мы остановились на минуту в одном месте, где дорога направо идет через цепной мост к крепости, мимо обелиска Магеллану, а налево... Ах, как хорошо налево! Когда будете в Маниле, велите везти себя через Санта-Круц в Мигель: тут река образует островок, один из тех, которые сняты только во сне да изображаются на картинах; на нем какая-то миньятюрная хижина в кустах; с одной стороны берега смотрятся в реку ряды домов, лачужек, дач; с другой – зеленеет луг, за ним плантации. Что за картины! что за вечер! "А у нас-то теперь, – сказал я барону – шубы, сани, визг полозьев..." – "И опера", – договорил он. "Нет, Великий пост и война!"

Мы помчались вдаль, но места были так хороши, что спутник мой остановил кучера и как-то ухитрился растолковать ему, что мы не держали ни с кем пари объехать окрестности как можно скорее, а хотим гулять. Мы поехали тихой рысью; кучер был, кажется, не совсем доволен, но зато лошади и мы с бароном совершенно счастливы. Места – что дальше, то лучше. Мальчишки бежали за коляской, прося милостыни: видно было, что они делали это из баловства. Взрослые стояли тут же, у своих хижин, и не просили ничего. Мне напомнило детство и наши провинции множество бумажных змей, которые мальчишки спускали за городом на каждом шагу. Только у нас, от одного конца России до другого, змеи всё одни и те же, с знаменитым мочальным хвостом и трещоткой, а здесь они в виде бабочек, птиц и т. п. Некоторые хижины едва походили на человеческое жилье. У иной подставки покривились

так, что нельзя и угадать, как она держится. Из нее вылезет ребенок, выскочит курица или прыгнет туда же собака и сидит там рядом с цыпленком и с самим хозяином. В другом месте всё жилище состоит из очага, который даже нельзя назвать домашним, за отсутствием самого дома; на очаге жарится что-нибудь; около возится старуха; вблизи есть всегда готовый банан или гряда таро, картофелю. Здесь больше и не нужно.

Возвращаясь в город, мы, между деревень, наткнулись на казармы и на плац. Большие желтые здания, в которых поместится до тысячи человек, шли по обеим сторонам дороги. Полковник сидел в креслах на открытом воздухе, на большой, расчищенной луговине, у гауптвахты; молодые офицеры учили солдат. Учение делают здесь с десяти часов до двенадцати утра и с пяти до восьми вечера.

Солдаты всё тагалы. Их, кто говорит, до шести, кто – до девяти тысяч. Офицеры и унтер-офицеры – испанцы. По всему плацу босые индийские рекруты маршировали повзводно; их вел унтер-офицер, а офицер, с бамбуковой палкой, как коршун, вился около. Палка действовала неумолимо, удары сыпались то на голые пятки, то на плечи, иногда на затылок провинившегося... Я поскорей уехал.

На кальсадо гулянье было в полном разгаре. Весь город приехал туда, а деревни пришли. Есть много хорошеньких лиц, бледных, черноглазых синьор с открытой головой и волшебным веером в руках. Они отличаются от всех гордостью во взгляде, во всей позе, держат себя аристократически строго. Вот метиски – другое дело: они бойко врываются, в наемной коляске, в ряды экипажей, смело глядят по сторонам, на взгляды отвечают повторительными взглядами, пересмеиваются с знакомыми, а может быть, и с незнакомыми... Среди круга многие катались верхом, а по обеим сторонам экипажей, по аллее и по полю, шли непрерывной толпой тагалы и тагалки домой из гавани, с фабрик, с работы. Некоторые женщины ехали на волах.

Вдруг раздался с колокольни ближайшего монастыря благовест, и всё – экипажи, пешеходы – мгновенно стало и оцепенело. Мужчины сняли шляпы, женщины стали креститься, многие тагалки преклонили колени. Только два англичанина или американца промчались в коляске в кругу, не снимая шляп. Через минуту всё двинулось опять. Это "Angelus". Мы объехали раз пять площадь. Стало темно; многие разъезжались. Мы поехали на Эскольту есть сорбетто, то есть мороженое.

В длинной-предлинной зале нижнего этажа с каменным полом, за длинным столом и маленькими круглыми столиками, сидели наши и не наши, англичане, испанцы, американцы, метисы и ели мороженое, пили лимонад. Человек десять тагалов и один негр бросились на нас, как будто с намерением сбить с ног, а они хотели только узнать, чего мы хотим. Я спросил того-другого, попробовал – нет, разве только тагалам впору есть такое мороженое. Кто приехал из Европы, тому трудно глотать этот подслащенный снег. Я закурил сигару и пошел по Эскольте. Это лучшая улица здесь; она по вечерам ярко освещена и оживлена гуляющими высшего класса; они только вечером и посещают лавки.

Дома, после чаю, после долгого сиденья на веранде, я заперся в свою комнату и хотел писать; но мне, как и всем, дали ночник из кокосового масла. Он горел тускло и наконец стал мерцать так слабо, что я почти ощупью добрался до кровати и залез под синий кисейный занавес. Он опускается под тюфяк и не раздвигается. Несмотря на эти предосторожности, москиты пробираются за кисею, и если заберутся два-три, они так отделают, что на другой день встанешь с десятком красных пятен, которые не сходят по нескольку дней. Я как-то на днях увидел, что из коридора вечером ко мне в комнату проползла ящерица, вершка в два длины, и скрылась, лишь только я зашевелился, чтоб поймать ее. На другой день я пожаловался на нее мсье Демьену и просил велеть отыскать и извлечь ее вон. "Pourquoi? – спросил он своим отрывистым голосом, – il ne mord pas". – "Так, да все-таки ведь это ящерица, гадина, так сказать, заползет на постель – нехорошо". – "Напротив, очень хорошо, – сказал он, – у меня в постели семь месяцев жила ящерица, и я не знал, что такое укушение комара, – так она ловко ловит их. И вас не укусит, когда она там, ни один комар..." – "Куда ж она делась потом?" – спросил я, заинтересованный историей ящерицы. "Околела". – "Как,

сама собой?" – "Нет, я во сне задавил ее". Меня в самом деле почти не кусали комары, но я все-таки лучше бы, уж так и быть, допустил двух-трех комаров в постель, нежели ящерицу. Однако ж я ни разу не видал ее. "Вот скорпионы – другое дело, – говорил Демьен, – *c'est tris mauvais*, я часто находил их у себя в кухне: с дровами привозили. А с тех пор, как топлю каменным углем, не видать ни одного".

"Какое наслаждение, после долгого странствования по морю, лечь спать на берегу в постель, которая не качается, где со столика ничего не упадет, где над вашей головой не загремит ни бизань-шкот, ни грота-брас, где ничто не шелохнется!.." – думал я... и вдруг вспомнил, что здесь землетрясения – обыкновенное, ежегодное явление. Избави Боже от такой качки!

Утром вам приносят чай, или кофе, или шоколад, когда вы еще в постели. Потом вы можете завтракать раза три, потому что иные завтракают, по положению, в десять часов, а другие в это время еще гуляют и завтракают позже, и всё это за полтора доллара. Вдобавок ко всему вы можете взять ванну, какую хотите. За теплую платите четыре реала, за холодную ничего – так написано в объявлении, выставленном в зале на стене. Вода прямо из Пассига. Ванны устроены на веранде, выходящей на двор. В первый раз меня привел *muchacho*, мальчик. "Где ж вода, *aqua*?" – спросил я. Он показал шнурок, сделал знак, что надо дернуть, и ушел. Я стал в ванну, под дождь, дернул за шнурок – воды нет; еще – всё нет; я дернул из всей мочи – на меня упало пять капель счетом, четыре скоро, одна за другой, пятая немного погодя, шестая показалась и повисла. Как я ни дергал, не мог добыть больше. Досадно. Я оделся и пошел вон. Рядом, вижу, другая дверь; отворяю – точно такое же маленькое помещение для ванны, но ванны нет, а шнурок есть, и лейка вверх для дождя. Есть ли только дождь? "Дай-ко я попробую здесь, – подумал я, – что за нужда, что ванны нет: тем лучше, пол каменный!" И точно так же стал под дождь. Только я дотронулся до шнурка, на меня посыпался, сначала частый, крупный дождь и в минуту освежил меня. Я дернул сильнее, и дождь обратился в сплошной каскад. "Славно, чудесно!" – твердил я вслух, а сам всё подергивал шнурок. На меня низвергались потоки; вверх, над потолком, раздавался рев и клокотанье, как будто вся река притекла к этому месту. "Ну, теперь довольно". Я перестал дергать, но вода не переставала течь, напротив, всё неистовее и неистовее вторгалась ко мне и обдавала облаком брызг и меня, и стены, и кресло, а на кресле мое белье и платье. "Что ж это такое будет?" – думал я, отыскивая с беспокойством, нет ли какой пружины остановить это наводнение. Ничего нет. Я дернул шнурок в противную сторону, думая, что остановится; нет, пуще хлещет, только дотронешься. Я не знал, что делать: одеться нельзя; выйти – да как без платья? Мне уж приходило в голову забрать белье и платье да удариться бегом до своего номера. Но всё это можно сделать в крайности, в случае пожара, землетрясения или когда вода дойдет разве до горла, а она еще и до колен не дошла. Я подумал, что мне делать, да потом наконец решил, что мне не о чем слишком тревожиться: утонуть нельзя, простудиться еще меньше – на заказ не простудишься; завтракать рано, да и после дадут; пусть себе льет: кто-нибудь да придет же. Я скрестил руки на груди, предоставив воде литься, сколько она хочет.

Минуты через три вдруг дверь начала потихоньку отворяться. "*Muchacho*!" – закричал я сердито. Вместо индийца показалось лицо Фаддеева. Как я обрадовался ему! "Ты как?" – "Белье и платье принес вашему высокоблагородию". – "Уйми, братец, воду как-нибудь, – жаловался я ему, – смотри, ведь я тону". Фаддеев тут только вникнул в мое положение и, верный своему характеру, предался необузданной радости. Напрасно он кусал губы – подавленный смех вырывался наружу, и он, раза два, под предлогом остановить машину, дернул шнурок. "Нет, постой, ваше высокоблагородие, я цыгана приведу", – сказал он после тщетных усилий остановить воду. "Цыган" подергал как-то шнурок, сбегал в другую ванну, рядом, влезал зачем-то наверх, и вода остановилась.

Через час я, сквозь пол своей комнаты, слышал, как Фаддеев на дворе рассказывал анекдот о купанье двум своим товарищам. Я сказал Демьену, и он засмеялся. "Испортились желобы у обеих ванн; надо поправить", – сказал он вскользь. "А давно испортились?" –

спросил я. "Нет, нынешней зимой..." Опять мне пришло в голову, как в "Welch's hotel", в Капштате, по поводу разбитого стекла, что на нас сваливают вот этикие неисправности и говорят, что беспечность в характере русского человека: полноте, она в характере – просто человека.

Наконец мы собрались пораньше утром, то есть часу в девятом, отдать визит молодым людям, Абелло и Кармена. Под этой учтивостью крылся умысел осмотреть королевскую сигарную фабрику и купить сигар. Кучер привез нас в испанский город, на квартиру отца Абелло, редактора здешней газеты. Мы вошли под ворота, на крытый двор, и очутились в редакции. В углу под навесом, у самых ворот, сидели двое или трое молодых людей, должно быть сотрудники, один за особым пюпитром, по-видимому главный, и писали. Тут же неподалеку тагалы складывали листы только что отпечатанной газеты. Старший сотрудник говорил по-французски. Мы спросили Абелло и Кармена: он сказал, что они уже должны быть на службе, в администрации сборов, и послал за ними тагала, а нас попросил войти вверх, в комнаты, и подождать минуту.

Мы вошли по деревянной, чистой, лощеной лестнице темного дерева прямо в бесконечную галерею-залу, убранную очень хорошо, с прекрасными драпри, затейливою новейшею мебелью. Везде уголки с диванами, пате, столики, уставленные безделками, как у редактора хорошего журнала. Тагалка встала из-за работы и пошла сказать о нас господам. Через минуту появилась высокая, полная старушка с седой головой, без чепца, с бледным лицом, черными, кротко мерцавшими глазами, с ласковой улыбкой, вся в белом: совершенно старинный портрет, бежавший со стены картинной галереи: это редакторша. Мы раскланялись и заговорили, она по-испански, мы сначала по-французски, потом по-английски, но это ровно ни к чему нас не повело или, пожалуй, повело к креслу только, которое указала старуха, прося сесть. Мы повторили опыт объясниться, но также безуспешно. Старушка наконец ушла, сказав нам что-то, вероятно прося подождать. Мы подождали минут пять, употребив это время на рассматривание залы. Между прочим, мы видели и тут в полу такие же щели, как и в фонде; потолок тоже весь собран из небольших дощечек, выбеленных мелом. Видно, землетрясения не шутят здесь и всех держат в постоянном страхе. Но эти наблюдения наскучили нам, и мы решились уйти.

На цыпочках благополучно выбрались мы из залы, сошли с лестницы и в дверях наткнулись на Абелло и Кармена. Они воротили нас, усадили, подали сигар, предлагая позавтракать, освежиться, и потом показали вчерашнюю газету, в которой был сделан приятный отзыв о нашем фрегате, о приеме, сделанном там испанцам, и проч. Мы напомнили им обещание показать нам фабрику и помочь купить сигар. Абелло пошел к своему отцу и, воротясь, велел закладывать карету. Он почти насильно усадил нас туда, вместе с собой и Кармена, а нашему кучеру велел ехать за нами.

Фабрика – огромное квадратное здание в предместьи Бинондо в два этажа, с несколькими флигелями, пристройками, со многими воротами и дверями, с большим двором внутри. У главных ворот Абелло поговорил с караульными, и те нас – не пустили. Тут подъехал таможенный офицер верхом; Абелло обратился к нему – и тот не пустил. "Этого можно бы добиться и без протекции", – заметил я барону. Все говорили, что надо иметь билет от фабричной дирекции. Мы отправились туда, к счастью недалеко, и, после хождения по разным комнатам и отделениям, наконец получили записку и отправились. Тут еще караульные стали передавать ее из рук в руки, оглядывать со всех сторон, понесли вверх, и минут через пять какой-то старый тагал принес назад, а мы пока жарились на солнце. Впрочем, это последнее обстоятельство относилось более к кучеру и лошадям, потому что сами мы сидели в карете. Тагал пригласил нас идти; с нами пошел еще один из караульных.

По мере того как мы шли через ворота, двором и по лестнице, из дома всё сильнее и чаще раздавался стук как будто множества молотков. Мы прошли несколько сеней, заваленных кипами табаку, пустыми ящиками, обрезками табачных листьев и т. п. Потом поднялись вверх и вошли в длинную залу с таким же жиденьким потолком, как везде, поддерживаемым рядом деревянных столбов.

В зале, на полу, перед низенькими, длинными, деревянными скамьями, сидело рядами до шести- или семисот женщин, тагалок, от пятнадцатилетнего возраста до зрелых лет: у каждой было по круглому, гладкому камню в руках, а рядом, на полу, лежало по куче листового табаку. Эти дамы выбирали из кучи по листу, раскладывали его перед собой на скамье и колотили камнями так неистово, что нельзя было не только слышать друг друга, даже мигнуть. Сколько голов повернулось к нам, сколько черных лукавых глаз обратилось на нас! Все молчали, никто ни слова, но глазами действовали сильно, а руками еще сильнее. Вероятно, они заметили, по нашим гримасам, что непривычным ушам неловко от этого стука, и приударили что было сил; большая часть едва удерживала смех, видя, что вместе с усиленным стуком усилились и страдальческие гримасы на наших лицах. Это для них было неожиданным развлечением, кокетством в своем роде.

Молодые мои спутники не очень, однако ж, смущались шумом; они останавливались перед некоторыми работницами и ухитрялись как-то не только говорить между собою, но и слышать друг друга. Я хотел было что-то спросить у Кармена, но не слышал и сам, что сказал. К этому еще вдобавок в зале разливался запах какого-то масла, конечно табачного, довольно неприятный.

Но вот уж мы выходим из залы. "Сейчас это кончится", – утешал я себя: мы в самом деле вышли, но опять в другую, точно такую же залу, за ней, в дальней перспективе, видна была еще зала; с каждым нашим шагом вперед открывались еще и еще. "Да сколько же тут женщин?" – спросил я, остановившись в маленьком пустом промежутке между двух зал. "От восьми до девяти тысяч", – сказал Абелло. "Что вы!" – "Да. Нынешний губернатор хочет увеличить и улучшить фабрику: очень выгодно". – "Восемь-девять тысяч!" – повторил я в изумлении, глядя на эти большею частью недурные головки и коричневые лица, сидевшие плотными рядами, как на смотру.

Во всех залах повторялся тот же маневр при нашем появлении: то есть со стороны индианок – сначала взгляды любопытства, потом усиленный стук и подавляемые улыбки, с нашей – рассеянные взгляды, страдальческие гримасы и нетерпение выйти. Впрочем, на фабрике соблюдается строгое приличие. Индианки не смеются, не разговаривают: им предоставлено только право стучать. Говорят, они тут очень скромно ведут себя: для этого приняты все меры. Кроме двух-трех старых тагалов да двух-трех чиновников-надзирателей, тут нет ни одного мужчины.

В других комнатах одни старухи скатывали сигары, другие обрезаляли их, третьи взвешивали, считали и т. д. Мы не ходили по всем отделениям: довольно и этого образчика.

В последней комнате, перед выходом, за бюро сидел альфорадор, заведывающий одним из отделений. Он говорил по-английски и прежде всего, узнав, что мы русские, сказал, что есть много заказов из Петербурга, потом объяснил, что он, несколько месяцев назад, выписан из Гаваны, чтоб ввести гаванский способ свертывать сигары вместо манильского, который оказывается по многим причинам неудобен. Он сказал, что табак манильский отнюдь не хуже гаванского и что здесь только недостает многих приемов приготовления и, между прочим, свертка нехороша. Он много важности придавал свертке, говорил даже, что она изменяет до некоторой степени вкус самого табаку. "Вот две сигары одного табаку и разных сверток, попробуйте, – сказал он, сунув нам в руки по два полена из табаку, – это лучшие сорта, одна свернута по-гавански, круче и косее, другая по-здешнему, прямо. Одна сделана сегодня, другая вчера", – заключил он, как будто для большей похвалы сигарам.

Я вертел в руках обе сигары с крайнею недоверчивостью: "Сделаны вчера, сегодня, – говорил я, – нашел чем угостить!" – и готов был бросить за окно, но из учтивости спрятал в карман, с намерением бросить, лишь только сяду в карету. "Нет, нет, покурите", – настаивал альфорадор. Нечего делать, я закурил – и вдруг заструился легкий благовонный дым. Сигара, к удивлению моему, закурилась легко, табак был прекрасный, хотя пепел и не совсем бел. "Да это прекрасная сигара! – сказал я, – нельзя ли купить таких?" – "Нет, это гаванской свертки: готовых нет, недели через две можно, – прибавил он тише, оборачиваясь спиной к нескольким старухам, которые в этой же комнате, на полу, свертывали сигары, – я могу вам

приготовить несколько тысяч..." – "Мы едва ли столько времени останемся здесь. Отчего ж их в магазине нет?" – сказал я. "Здесьние женщины привыкли к своей свертке и оттого по гаванскому способу работают медленно. Вот теперь покурите другую сигару, здесьней свертки". Я закурил, и та хороша, хотя в самом деле не так, как первая: или это так показалось, потому что альфорадор подсказал. "Ну нельзя ли хоть таких?" – спросил я. "Таких и гораздо меньше, второго сорта, вы найдете в магазине". – "А обрезанных с обеих сторон сигар можно найти там?" – "Чирут? Plenty, o, plenty (много)! – отвечал он, – то третий и четвертый сорт, обыкновенные, которые все курят, начиная от Индии до Америки, по всему Индийскому и Восточному океанам".

В самом деле, мы в Сингапуре, в Китае других сигар, кроме чирут, не видали. Альфорадор обещал постараться приготовить сигары ранее двух недель и дал нам записку для предъявления при входе, когда захотим его видеть. Мы ушли, поблагодарив его, потом г-д Абелло и Кармена, и поехали домой, очень довольные осмотром фабрики, любезными испанцами, но без сигар.

Дома мы узнали, что генерал-губернатор приглашает нас к обеду. Парадное платье мое было на фрегате, и я не поехал. Я сначала пожалел, что не попал на обед в испанском вкусе, но мне сказали, что обед был длинен, дурен, скучен, что испанского на этом обеде только и было, что сам губернатор да херес. Губернатора я видел на прогулке, с жокеями, в коляске, со взводом улан; херес пивал, и потому я перестал жалеть.

Вечером я предложил в своей коляске место французу, живущему в отели, и мы отправились далеко в поле, через С.-Мигель, оттуда заехали на Эскольту, в наше вечернее собрание, а потом к губернаторскому дому на музыку. На площади, кругом сквера, стояли экипажи. В них сидели гуляющие. Здесь большею частью гуляют сидя. Я не последовал этому примеру, вышел из коляски и пошел бродить по площади.

Какой вечер! что за вид! Церковь и ратуша облиты были лунным светом, а дворец прятался в тени; бронзовая статуя стояла, как привидение, в блеске лунных лучей. Как кроток и мягок этот свет, какая нега в теплом воздухе – и вдобавок ко всему – прекрасная музыка. Здесь восемь полковых оркестров и, кроме того, множество частных – до трехсот, сказал кто-то: пошутил, верно. А кто знает, может быть, и правда. Говорят, здесь только и делают, что танцуют, и нам бы предстояло множество вечеров и собраний, если б мы пришли не постом. Танцуют, здесь! Вот, говорят, с инквизицией уничтожились все пытки в Испании! Нет, не все! Даже музыкой заниматься – и то жарко, а они танцуют!

Музыканты все тагалы: они очень способны к искусствам вообще. У них отличный слух: в полках их учат будто бы без нот. Не знаю, сколько правды во всем этом, но знаю только, что игра их сделала бы честь любому оркестру где бы то ни было – чистотой, отчетливостью и выразительностью.

Оркестры, один за другим, становились у дворца, играли две-три пьесы и потом шли в казармы.

Играли много, между прочим из Верди, которого здесь предпочитают всем, я не успел разобрать почему: за его оригинальность, смелость или только потому, что он новее всех.

Последний оркестр, оглашая звуками торжественного марша узкие, прятавшиеся в тени улицы, шел домой. Экипажи зашевелились и помчались по разным направлениям. Мы с французом выехали из крепости опять на взморье, промчались по опустевшему кальсадо и вернулись в город. Он просил у одного дома выпустить его: "J'ai une petite visite a faire" – пропел он своим фальцетто и скрылся в дверь. В это же время вверх, у окна, мелькнул очерк женской головы и захлопнулось жалюзи... Я никого не застал в отели: одни уехали на рейд, другие на вечер, на который Кармена нас звал с утра, третьи залегли спать. Я сел за письмо.

Наконец мы собрались к миссионерам и поехали в дом португальского епископа. Там, у молодого миссионера, застали и монсиньора Динакура, епископа в китайском платье, и еще монаха с знакомым мне лицом. "Настоятель августинского монастыря, – по-французски не говорит, но всё понимает", – так рекомендовал нам его епископ. Я вспомнил, что это тот

самый монах, которого я видел в коляске на прогулке за городом.

Нам подали сигар, и епископ, приветливо и весело, как настоящий француз, начал, после двух-трех вопросов, которые сделал нам о нашем путешествии, рассказывать о себе. Он сказал, что живет двадцать лет в Китае, заведывает христианскою паствою в провинции Джедзиан, в которой считается до пятнадцати миллионов жителей. Он говорит, что цифра триста миллионов, которою определяют народонаселение Китая, не преувеличена: в его провинции есть несколько городов, где считают от двух до трех миллионов жителей, и, между прочим, знаменитый город Сучеу. "А сколько христиан?" – спросил я. "До пятисот тысяч во всем Китае". – "Мало", – сказал я. "Да, немного; но теперь обращение пошло скорее, – отвечал епископ, – особенно в среднем и низшем классах. Главное препятствие встречается в буддийских бонзах и в ученых. На них ничто не действует: одни – слепые фанатики, другие – педанты, схоластики: они в мертвой букве видят ученость и свет. Вся трудность состоит в том, чтоб уверить их, что мы пришли и живем тут для их пользы, а не для выгод. Они представить себе этого не могут и не верят". – "Вот христианским миссионерам, может быть, скоро предстоят новые подвиги, – сказал я, – возобновить подавленное христианство в Японии, которая не сегодня, так завтра непременно откроется для европейцев..." – "A coups des canons, monsieur, a coups des canons!"* – прибавил епископ. * "Только с помощью пушек, сударь, только с помощью пушек" – фр.

В это время прервали нас два монаха, иезуиты кажется. Они вошли, преклонили перед епископом колена, приняли благословение и сели. Епископ пригласил нас к себе на квартиру, в монастырь св. Августина. Монастырь занимает большой угол в испанском городе и одной стороной обращен к морю. Это настоящее аббатство, обширное, с галереями, бесконечными коридорами, кельями, в котором можно потеряться. Мы отдохнули в квартире епископа, а настоятель ушел на короткую молитву в церковь, по звону колокола. Нам предложили было завтрак, но мы отказались.

Вскоре настоятель воротился и принес только что присланное к нему официальное объявление от губернатора, что испанская королева разрешилась от бремени дочерью.

Он скрылся опять, а мы пошли по сводам и галереям монастыря. В галереях везде плохая живопись на стенах: изображения святых и портреты испанских епископов, живших и умерших в Маниле. В церковных преддвериях видны большие картины какой-то старой живописи. "Откуда эта живопись здесь?" – спросил я, показывая на картину, изображающую обращение Св. Павла. Ни епископ, ни наш приятель, молодой миссионер, не знали: они были только гости здесь.

По узенькой, извилистой лестнице вошли мы прямо на хоры главной церкви и были поражены тонкостью и изяществом деревянной резьбы, которая покрывала все стены на хорах, кафедру, орган – всё. Дерево темное, с нежными оттенками. "Кто это работал? – спросил я с изумлением, – ужели из Европы привезли? в Европе это буазери стоило бы невероятных цен". – "Всё индийцы, тагалы, – сказали они. – Вон смотрите: они работают и теперь. Церковь пострадала от землетрясения в прошедшем году, и ее теперь поправляют, и живопись здесь – всё тагалов же". Я бросил беглый взгляд на образа – нет, живопись еще в младенческом состоянии у тагалов. В музыке, лепных и резных работах они далеко впереди. Что касается до картин, то они мало чем лучше тех, что у нас иногда продают на тротуаре, на улицах. "Но ведь это в Маниле, – сказал молодой миссионер, прочитавший, должно быть, у меня на лице впечатление от этих картин, – между дикими индийцами, которые триста лет назад были почти звери..." – "Да; но триста лет назад! – сказал я. – И этот храм – ровесник стенам города: можно бы, кажется, украсить его живописью соотечественникам Мурильо".

Мы пошли вниз. Епископ показывал местами трещины по стенам, местами обвалившуюся штукатурку, раздвинувшиеся столбы – всё следы землетрясения. "Да разве часто бывают они?" – спросил я. "Каждый год что-нибудь да бывает, хоть немного, слегка, – сказал он. – Вот иезуитская церковь лежит теперь вся в развалинах". Войдя в большую церковь, епископ, а за ним и молодой миссионер преклонили колена, сложили на груди руки, поникли головами и на минуту задумались. Потом встали и начали опять живо

разговаривать. Это была лучшая церковь в Маниле, по их словам. Она в самом деле хороша: прекрасные размеры главного и побочного приделов кажут ее больше, нежели она есть. Она очень хорошо освещена сверху: свет от алтаря разливается ровно до самых дальних углов. Если б не тагальская живопись, то можно было бы увлечься этими стройными, высокими арками, легким куполом. Но живопись мешает, колет глаза; так и преследуют вас эти яркие, то красные, то синие, пятна; скульптура еще больше. Является какое-то артистически болезненное раздражение нерв, нужды нет, что вам говорят, чье это произведение. Никакой терпимости, никакого снисхождения нет в человеке, когда оскорблено его эстетическое чувство. Вдобавок к этому, еще все стены и столбы арок были заставлены тяжелыми и мрачными иконостасами с позолотой, тогда как стиль требует белых, чистых пространств с редким и строго обдуманым размещением картин высокого достоинства. Бывают примеры, что архитектура здания подавляет или поглощает живопись; а здесь наоборот. Я старался не смотреть на живопись и не спускал глаз с буазери.

Потом нас повели в ризницу. Пред ней, в комнате, стояли лавки, пюпитры – это что-то вроде класса для тагалов. Несколько их сидело тут с флейтами и кларнетами. Они бросились к руке епископа, как все тагалы, которые встречались нам на дворе, на дороге к монастырю. Некоторые становились на колени. Епископ велел музыкантам сыграть что-нибудь. Они заиграли что-то вроде марша, но не совсем стройно, не совсем чисто, особенно после того, что мы слышали у дворца. "Видно, этих учат по нотам: не они ли расписывали церковь?" – подумал я. Мы с бароном дали артистам денег и ушли, сначала в ризницу, всю заставленную шкапами с церковною утварью, – везде золото, куда ни поглядишь; потом пошли опять в коридоры, по кельям. Везде до нас долетали звуки флейт и кларнетов: артисты, от избытка благодарности, не могли перестать сами собою, как испорченная шарманка.

Мы проходили мимо дверей, с надписями: "Эконома", "Ризничий" – и остановились у эконома. "C'est un bon enfant, – сказал епископ, – entrons chez lui pour nous reposer un moment". – "Il a une excellente bière, monseigneur"* – прибавил молодой миссионер нежным голосом. * "Он славный малый... зайдем к нему немного отдохнуть". – "У него отличное пиво, монсеньор" – фр.

Они постучались, и нам отпер дверь пожилой монах, весь в белом, волоса с проседью, всё лицо в изломанных чертах, но не без доброты. Келья была темна, завалена всякой всячиной, узлами, ящиками; везде пыль; мебель разнохарактерная; в углу, из-за пестрого занавеса, выглядывала постель. На большом круглом столе лежали счета, реестры, за которыми мы и застали эконома. Он через епископа спросил нас кое-что о путешествии, надолго ли приехали, а потом не хотим ли мы чего-нибудь. "Пива", – сказали оба француза. Монах засуетился и велел тагалу вскрыть бывшие тут же где-то в углу два ящика и подать несколько бутылок английского элю и портера. Но прежде всего подал огромный поднос с сигарами. Каких тут не было! всяких размеров и сортов, и гаванской, и манильской свертки... Вот где водятся хорошие-то сигары в Маниле!

Мы сидели с полчаса; говорил всё епископ. Он рассказывал о Чусанском архипелаге и называл его перлом Китая. "Климат, почва, как в раю, – выразился он. – Я жил там восемь лет, – продолжал он, – там есть колония ирландских католиков: они имеют значительное влияние на китайцев, ввели много европейских обычаев и живут прекрасно. Чусанские китайцы снабжают почти все берега Китая рыбою, за которую выезжают на нескольких тысячах лодок далеко в море". При этой цифре меня взяло сомнение; я хотел выразить его барону Крюднеру и вдруг выразил, в рассеянности, по-французски. Эта рассеянность произошла оттого, что епископ, не знаю почему, ни с того ни с сего принялся рассказывать о Чусане по-английски. "Да, несколько тысяч", – подтвердил настойчиво епископ по-французски.

От эконома повели нас на самый верх, в рекреационную залу. "Я вам покажу прекрасный вид", – сказал епископ. Мы зашли к монаху, у которого хранился ключ от залы, – это самый полный и красивый монах, какого я только видел где-нибудь, с постоянной улыбкой, с румянцем. Я увидел у него на стене прекрасную небольшую картину "Снятие со

креста" и "Божью Матерь". Я отдохнул на этой живописи от всех виденных картин. Напрасно я старался прочесть имя живописца: едва видно было несколько белых точек на темном фоне. "Откуда эта картина?" – "Из Италии, из монастыря". Вот всё, что я узнал о ней.

Опять по извилистой лестнице поднялись мы и в рекреационную залу. Это была длинная крытая галерея с окошками на три стороны. Пол простой, деревянный; половицы так и ходили под ногами. Всё в запустении. Видно, что никто не бывает здесь. Ни на одно кресло сесть нельзя: пыль лежала густыми слоями. Можно подумать, что августинцы совсем не любят отдыхать, а проводят всё время в трудах и богомыслии. Посредине стоял бильярд, для моциона; у окон, на треножнике, поставлена большая зрительная труба. Вид из окошек в самом деле прекрасный: с одной стороны весь залив перед глазами, с другой – испанский город, с третьей – леса и деревни. И они не сидят здесь день и ночь, не наслаждаются ничем этим! Мы едва оторвались от окошек. Епископ по очереди сыграл с нами обоими на бильярде и оказался не слабым игроком.

Обратясь спиной к дверям, я вдруг услышал шелест женского платья, мягкую походку – живо оборачиваюсь – белые кисейные блузы... Толпа августинцев, человек двенадцать, всё молодые, с сигарами. Одни, немного заспанные, с горячими щеками, другие, с живым взглядом, с любопытством смотрели на нас, пришельцев издалека, и были очень внимательны. К сожалению, никто из них не знал никакого другого языка, кроме испанского. "Мы виноваты, что не можем говорить с вами, – сказали они чрез молодого француза. – Русские говорят по-французски, по-английски и по-немецки; нам следовало бы знать один из этих языков". – "Мы говорили бы и по-испански, если б Испания была поближе к нам", – отвечал я.

Вдруг послышались пушечные выстрелы. Это суда на рейде салютуют в честь новорожденной принцессы. Мы поблагодарили епископа и простились с ним. Он проводил нас на крыльцо и сказал, что непременно побывает на рейде. "Не хотите ли к испанскому епископу?" – спросил миссионер; но был уже час утра, и мы отложили до другого дня.

"Что они здесь делают, эти французы? – думал я, идучи в отель, – епископ говорит, что приехал лечиться от приливов крови в голове: в Нинпо, говорит, жарко; как будто в Маниле холоднее! А молодой всё ездит по окрестным пуэбло по каким-то делам..."

Мы рано поднялись на другой день, в воскресенье, чтоб побывать в церквах. Заехали в три церкви, между прочим в манильский собор, старое здание, постройки XVI столетия. Он только величиной отличается от других приходских церквей. Украшения в нем так же безвкусны, живопись так же дурна, как и в церкви предместья и в монастырях. Орган плох, а в других церквах он заменяется виолончелью и флейтой.

Одна церковь, впрочем, лучше других, побогаче, чище, светлее. В ней мало живописи и тусклой позолоты; она не обременена украшениями; и прихожане в ней получше, чище одеты и приличнее на вид, нежели в других местах.

Испанцев в церквах совсем нет; испанок немного больше. Всё метисы, тагалы да заезжие европейцы разных наций. Мы везде застали проповедь. Проповедники говорили с жаром, но этот жар мне показался поддельным; манеры и интонация голоса у всех заученные.

После обедни мы отправились в цирк смотреть петуший бой. Нам взялся показать его француз Р1., живший в трактире, очень любезный и обязательный человек. Мы заехали за ним в отель. Цирков много. Мы отправились сначала в предместье Бинондо, но там не было никого, не знаю почему; мы – в другой, в предместье Тондо. С полчаса колесили мы по городу и наконец приехали в предместье. Оно всё застроено избушками на курьих ножках и заселено тагалами.

Француз дорогой подтвердил нам, что тагалы самый счастливый народ в свете. "Они ни в чем не нуждаются, – сказал он, – работают мало, и если выработают какой-нибудь реал в сутки, то есть восьмую часть талера (около 14 коп. сер.), то им с лишком довольно на целый день. Индеец купит себе рису; банан у него есть, сладкий картофель или таро тоже – и обед готов. Еще останется ему на что купить кокосовой водки. Испанцы обходятся с ними

хорошо, кротко, и тагалы благословляют свою участь. Конечно, они могли бы быть еще деятельнее, следовательно, жить в большем довольстве, не витать в этих хижинах, как птицы; но для этого надобно, чтоб и повелители их, то есть испанцы, были подейтельнее; а они стоят друг друга: *tel maitre, tel valet**. * каков хозяин, таков и слуга (фр.

То же подтвердил накануне и епископ. "Ах, если бы Филиппинские острова были в других руках! – сказал он, – какие сокровища можно было бы извлекать из них! *Mais les espagnols sont indolents, paresseux, tris paresseux!*)*" – прибавил он со вздохом. * Но испанцы бездельники, лентяи, ужасные лентяи! – фр.

От нового губернатора, маркиза Новичелиса, ждут много доброго. Он затевает разные реформы; ему дано больше прав и власти, нежели его предшественникам: он нечто вроде вице-короля. Повод к увеличению его власти подали некоторые опасения насчет духовенства, влияние которого стало слишком ощутительно в этой колонии. Слухи об этом дошли до метрополии; притом индийцы на прочих островах стали пошаливать. Незадолго перед нашим прибытием они, на острове Минданао, умертвили человек двадцать солдат. Потребовались строгие меры, и то судно, которое мы встретили в Анжере, везло новые войска. На том же судне был и Кармена, с которым мы увиделись как с старым знакомым. В губернаторе находят пока один недостаток: он слишком исполнен своего достоинства, гордится древностью рода и тем, что жена его – первая штатс-дама при королеве, от этого он важничает, как петух...

Но вот и цирк, вот и петухи. Цирк – это исполинская бамбуковая клетка, в какую сажают попугаев, вся сквозная: снаружи издали можно видеть, что в ней делается. В ней три яруса галерей для зрителей, а посередине круглая арена для бойцов. Крыша коническая, сплетена тоже из бамбуковых жердей и потому сквозная, но в ней, сверх того, есть несколько люков для воздуха. Мы с трудом пробрались сквозь густую толпу народа ко входу, заплатили по реалу и вошли в клетку. Зрителей было человек до пятисот в самой клетке да человек тысяча около. Последние не зрители, а участники. У всякого под мышкой был петух. Публика вся состояла из тагалов, китайцев и метисов. Мы пробрались в верхнюю галерею и с трудом отыскивали три свободные места. Женщинам нельзя сидеть в этих сквозных галереях, особенно в верхних этажах: поэтому в цирке были только мужчины да петухи – ни женщин, ни кур ни одной. Но зато какое множество петухов! какое свирепое, непрерывное пение раздавалось в клетке и около нее!

На арене ничего еще не было. Там ходил какой-то распорядитель из тагалов, в розовой кисейной рубашке, и собирал деньги на ставку и за пари. Я удивился, с какой небрежностью индийцы бросали пригоршни долларов, между которыми были и золотые дублоны. Распорядитель раскладывал деньги по кучкам на полу, на песке арены. На ней, в одном углу, на корточках сидели тагалы с петухами, которым предстояло драться.

Вот явились двое тагалов и стали сраивать петухов, сталкивая их между собою, чтоб показать публике степень силы и воинственного духа бойцов. Петухи немного было надулись, но потом равнодушно отвернулись друг от друга. Их унесли, и арена опустела. "Что это значит?" – спросил я француза. "Петухи не внушают публике доверия, и оттого никто не держит за них пари".

Из угла отделились двое других состязателей и стали также сраивать бойцов, держа их за хвост, чтоб они не подрались преждевременно. Петухи надулись, гребни у них побагровели, они только что бросились один на другого, как хозяева растащили их за хвосты. Петухи были надежны; между зрителями обнаружилось сильное волнение. Толпа заколебалась; поднялся говор, как внезапный шум волн, и шел *crescendo*. Все протягивали друг к другу руки с долларами, перекликались, переговаривались, предлагали пари, кто за желтого, кто за белого петуха. И к нам протянулось несколько рук; нас трогали со всех сторон за плечи, за спину, предлагая пари.

Между тем хозяева петухов сняли с стальной шпоры, прикрепленной к одной ноге бойца, кожаные ножны. Распорядитель подал знак – всё умолкло. Петухов бросили друг на друга. Один из них воспользовался первой минутой свободы, хлопнул раза три крыльями и

пропел, как будто хотел душу отвести; другие, менее терпеливые, поют, сидя у хозяев под мышками. Пропев, он обратился было к своим мирным занятиям, начал искать около себя на полу, чего бы поклевать, и поскреб раза два землю ногой. Но хозяин схватил его, погладил, дернул за подбородок и бросил на другого, который рвался из рук хозяина. Тогда у обоих бойцов образовались из перьев около шеи манжеты, оба нагнули головы и стали метить друг в друга. Долго щетинились они, наконец оба вспрыгнули вдруг, и один перескочил через другого, и тотчас же опять построились в боевую позицию, и опять нагнулись. Потом раза три сильно сшиблись; полетело несколько перьев по сторонам. Опять один перескочил через другого, царапнул того шпорой, другой тоже перескочил и царапнул противника так, что он упал на бок, но в ту же минуту встал и с новой яростью бросился на врага. Тут уж ничего больше разобрать было нельзя: рыцари дрались в общей свалке, сшибались, часто и сильно впились друг другу в гребень, то один повалит другого, то другой первого.

"Это всё и у нас увидишь каждый день в любой деревне, – сказал я барону, – только у нас, при таком побоище, обыкновенно баба побежит с кочергой или кучер с кнутом разнимать драку, или мальчишка бросит камешком". Вскоре белый петух упал на одно крыло, вскочил, побежал, хромя, упал опять и наконец пополз по арене. Крыло волочилось по земле, оставляя дорожку крови.

Всякий раз, при сильном ударе того или другого петуха, раздавались отрывистые восклицания зрителей; но когда побежденный побежал, толпа завывала дико, неистово, продолжительно, так что стало страшно. Все привстали с мест, все кричали. Какие лица, какие страсти на них! и всё это по поводу петушьей драки! "Нет, этого у нас не увидите", – сказал барон. Действительно, этот момент был самый замечательный для постороннего зрителя.

Хозяин победителя схватил своего петуха и взял деньги; противник его молча удалился в толпу. Зрители тоже молча передавали друг другу проигранные доллары. Явились двое других и повторили те же проделки, то есть дразнили петухов, вооружили их шпорами: то же волнение, тот же говор повторились между зрителями, что ваша жидовская синагога! Петухи рванулись – и через минуту большой красный петух разорвал шпорами ноги серому, так что тот упал на спину, а ноги протянул кверху. Кругом кровь и перья. Победенного петуха брал какой-то запачканный тагал, сдирал у него с груди горсть перьев и клал их в большой мешок, а петуха отдавал хозяину. "Что они делают с своими петухами потом? – спросил я француза, – лечат, что ли?". – "Нет, едят с салатом", – отвечал он. "А перья зачем?" – "Не знаю", – сказал француз. Я обратился с этим вопросом к своему соседу с левой стороны, к китайцу. "Signor?" – отвечал он мне вопросом же. Я забыл, что я не в Гонконге, не в Сингапуре, наконец не в Китае, где китайцы говорят по-английски.

Иногда хозяин побежденного петуха брал его на руки, доказывал, что он может еще драться, и требовал продолжения боя. Так и случилось, что один побежденный выиграл ставку. Петух его, оправившись от удара, свалил с ног противника, забил его под загородку и так расвирепел, что тот уже лежал и едва шевелил крыльями, а он всё продолжал бить его и клёвом и шпорами.

Мы ушли, просидев с час. Говорят, забава продолжается до солнечного заката. Правительство отдает цирки на откуп и берет огромные деньги. Я выше, кажется, сказал, какие суммы получают от боя петухов. В провинции Тондо казна получает до 80 000 долларов подати, в других – где 20, где 15 000. Тагалы иногда ставят до тысячи долларов на пари. "Я слышал, что здесь есть бои быков, – спросил я француза, – нельзя ли посмотреть?" – "Не стоит, – отвечал он, – это пародия на испанские бои. Здесь тореадоры – унтер-офицеры, дерутся с дрянными, измученными быками..."

В гостиницу пришли обедать Кармена, Абелло, адъютант губернатора и много других. Абелло, от имени своей матери, изъявил сожаление, что она, по незнанию никакого другого языка, кроме испанского, не могла принять нас как следует. Он сказал, что она ожидает нас опять, просит считать ее дом своим и т. д.

После обеда мы все разъехались. Я опять ударился в окрестности один, останавливался,

где мне нравилось, заглядывал в рощи, уходил по дорожкам в плантации кофе и табаку. Дорога прекрасная; синий, туманный цвет дальних гор определялся всё более и более, по мере приближения к ним. В одной деревеньке я пошел вдоль по ручью, в кусты, между деревьями; я любовался ими, хотя не умел назвать почти ни одного по имени. Француз показывал мне в своем магазине до десяти изящнейших пород дерева, начиная от самого красного до самого черного. Коричневые, розовые, желтые, темные: с какими нежными струями и оттенками и какие массивные! Он показывал круглые столы, аршина полтора в диаметре, сделанные из одного куска. Говорят, в Маниле до тысячи пород деревьев.

Кучер мой, по обыкновению всех кучеров в мире, побежал в деревенскую лавочку съесть или выпить чего-нибудь, пока я бродил по ручью. Я воротился – его нет; около коляски собрались мальчишки, нищие и так себе тагалы с петухами под мышкой. Я доехал до речки и воротился в Манилу, к дворцу, на музыку.

Шкуна пришла 23-го февраля (7-го марта), и наше общество несколько увеличилось. Посыет уехал на озеро, Гошкевич в местечко С.-Маттео смотреть тамошний грот.

Говорят, на озерах, вдали от жилых мест, в глуши, на вершине одной горы есть образовавшийся в кратере потухшего вулкана бассейн стоячей воды, наполненной кайманами. Кругом бассейна, по лесу, гнездятся на деревьях летучие мыши, величиной с ястреба и больше. Туда проникают смелые охотники. Животных из пород ящериц здесь множество; недавно будто бы поймали каймана в 21 фут длиной. Мне один из здешних жителей советовал остерегаться, не подходить близко к развалинам, говоря, что там гнездятся ящерицы, около фута величиной, которые кидаются на грудь человеку и вцепляются когтями так сильно, что скорее готовы оставить на месте лапы, чем отстать. Есть одно средство отцепить их, это подставить им зеркало: тогда они бросаются на свое отражение. Он сказывал, что, вдвоем с товарищем, они убили из ружья двух таких ящериц.

Однако нам объявили, что мы скоро снимаемся с якоря, дня через четыре. "Да как же это? да что ж это так скоро?.." – говорил я, не зная, зачем бы я оставался долее в Луконии. Мы почти всё видели; ехать дальше внутрь – надо употребить по крайней мере неделю, да и здешнее начальство неохотно пускает туда. А всё жаль было покидать Манилу!

Утром, дня за три до отъезда, пришел ко мне Посыет. "Не хотите ли осмотреть канатный завод нашего банкира? – сказал он мне, – нас повезет один из хозяев банкирского дома, американец Мегфор". Мне несколько неловко было ехать на фабрику банкира: я не был у него самого даже с визитом, несмотря на его желание видеть всех нас как можно чаще у себя; а не был потому, что за визитом неминуемо следуют приглашения к обеду, за который садятся в пять часов, именно тогда, когда настает в Маниле лучшая пора глотать не мясо, не дичь, а здешний воздух, когда надо ехать в поля, на взморье, гулять по цветущим зеленым окрестностям – словом, жить. А тут сиди за обедом!

Однако ж я поехал с Посыетом и Мегфором, особенно когда узнал, что до фабрики надо ехать по незнакомой мне дороге. Дорога эта довольно глуха и уединенна и оттого еще более понравилась мне. Я удивился, что поблизости Манилы еще так много лежит нетронутых полей, мест, по-видимому, совсем забытых. "Или они под паром, эти поля, – думал я, глядя на пустые, большие пространства, – здешняя почва так же ли нуждается в отдыхе, как и наши северные нивы, или это нерадение, лень?" Некого было спросить; с нами ехал К. И. Лосев, хороший агроном и практический хозяин, много лет заведывавший большим имением в России, но знания его останавливались на пшенице, клевере и далее не шли. О тропической почве он знал не более меня.

Мы приехали на фабрику, занимающую большое пространство и несколько строений. Самое замечательное на этой фабрике то, что веревки на ней делаются не из того, из чего делают их в целом мире, не из пеньки, а из волокон дерева, похожего несколько на банановое. Мегфор называет его plantin. Мочала или волокна – цвета... как бы назвать его? да, светло-мочального – доставляются изнутри острова, в тюках, и идут прежде всего в расческу. При расческе материал чуть-чуть смазывают кокосовым маслом. Мы едва шагали между кучами мочал, от которых припахивало постным маслом. Расчесывают их раза три,

сначала грубыми, большими зубцами, потом тонкими, на длинные пряди, и тогда уже машинами выют веревки.

Машины привезены из Америки: мы видали на фабриках эти стальные станки, колеса; знаете, как они отделаны, выполированы, как красивые, – и тут тоже: взял бы да и поставил где-нибудь в зале, как украшение. Сараи, где по рельсам ходит машина, выющая канаты, имеют до пятисот шагов длины; рабочие все тагалы, мастера – американцы. Мальчикам платят по полуреалу в день (около семи коп. сер.), а работать надо от шести часов утра до шести вечера; взрослым по реалу; когда понадобится, так за особую плату работают и ночью. "Дешево, конечно, – говорит агроном Лосев, – но ведь зато им не надо ни полушубков, ни сапог, ни рукавиц круглый год, притом их кормят на фабрике". Мастера, трое, получают тысячу восемьсот, тысячу пятьсот и тысячу долларов в год. Отправляют товар больше в Америку, частью в канатах, частью тюками, в волокнах. Там эти веревки из плетения предпочитают на судах пеньковым, но только в бегучем такелаже, то есть для подвижных снастей, а стоячий такелаж, или смоленые неподвижные снасти, делаются из пеньковых.

В Маниле, как и в Сингапуре, в магазине корабельных запасов продаются русские пеньковые снасти, предпочитаемые всяким другим на свете; но они дороже древесных. У нас на суда взяли несколько манильских снастей; при постановке парусов от них раздавалась такая музыка, что все зажимали уши: точно тысяча саней скрипели по морозу. Говорят, что пройдет со временем, обшаркается. Фабрика производит на 130 000 долларов в год. Она принадлежит Старджису, представителю в настоящее время американского дома Russel и С[№] в Маниле, еще Мефору, который нас возил, и вдове его брата. Брат этот, года два назад, был убит индийцами, которые напали на фабрику и хотели ограбить. Испанское правительство до сих пор не может найти виновных. Говорят, американский коммодор Перри придет сюда с своей эскадрой помогать отыскивать их.

Несколько лет назад на фабрике случился пожар, и отчего? Там запрещено работникам курить сигары: один мальчик, которому, вероятно, неестественно казалось не курить сигар в Маниле, потихоньку закурил. Пришел смотритель: тагал, не зная, как скрыть свой грех, сунул сигару в кипу мочал.

Через предместье Санта-Круц мы воротились в город. Мои товарищи поехали к какой-то Маргарите покупать платки и материю из ананасовых волокон, а я домой.

Нас торопили собираться к отплытию; надо было подумать о сигарах. Я с запиской отправился на фабрику к альфорадору. У ворот мне встретился какой-то молодой чиновник, какие есть, кажется, во всех присутственных местах целого мира: без дела, скушающий, не знающий, куда деваться, – словом, лишний. Он шел было вон; а когда я показал ему записку, он воротился – и так, от нечего же делать, повел меня к альфорадору. Опять я, идучи по залам, наслушался адского стука, нанюхался табачного масла и достиг наконец до альфорадора.

Он прежде всего предложил мне сигару гаванской свертки, потом на мой вопрос отвечал, что сигары не готовы: "Дня через четыре приготовим". – "Я через день еду", – заметил я. Он пожал плечами. "Возьмите в магазине, какие найдете, – прибавил он, – или обратитесь к инспектору".

Праздный чиновник повел меня к инспектору. Тот посоветовал обратиться в магазин. Мы пошли (всё с чиновником) туда. Магазин помещался в доме фабричной администрации. Мы зашли прежде в администрацию. Один из администраторов, толстый испанец, столько же похожий на испанца, сколько на немца, на итальянца, на шведа, на кого хотите, встал с своего места, подняв очки на лоб, долго говорил с чиновником, не спуская с меня глаз, потом поклонился и сел опять за бумаги. Около него толпились тагалы и тагалки, дожидавшиеся платы. "Ну что?" – спросил я своего провожатого. Он начал мне длинную какую-то речь по-французски, и хотя говорил очень сносно на этом языке, но я почти ничего не понял, может быть, оттого, что он к каждому слову прибавлял: "Je vous parle franchement, vous comprenez?" * * "Я говорю с вами откровенно, понимаете?" – фр.

Хотел ли он подарка себе или кому другому – не похоже, кажется; но он говорил о

злоупотреблениях да тут же кстати и о строгости. Между прочим, смысл одной фразы был тот, что официально, обыкновенным путем, через начальство, трудно сделать что-нибудь, что надо "просто прийти", так всё и получишь за ту же самую цену. "Je vous parle franchement, vous comprenez?" – заключил он.

"Сигар?" – спросил я в магазине. "Сигар нет", – отвечал индеец-приказчик. "Нового приготовления, гаванской свертки, первый сорт", – говорил я. Чиновник переводил мой вопрос на ответ тагала – "нет". "Их так немного делают, что в магазин они и не поступают", – сказал он. "Ну первого сорта здешней свертки, крупных". – "Все вышли", – был ответ. – "Сегодня пришлют", – прибавил он. "Ну второго сорта?" – спросил я. Тагал порылся в ящиках, вынул одну пачку в бумаге, 125 штук, и положил передо мной. "Una peso" ("Один пиастр"), – сказал он. "Да мне надо по крайней мере пачек двадцать одного этого сорта", – заметил я. Тагал опять заглянул в ящик. "Больше нет, – сказал он, – все вышли; сегодня будут".

Тут следовало бы пожать плечами, но я был очень сердит, не до того было, чтоб прибегать к этим общим местам для выражения досады. Вот подите же: где после этого доставать сигары? Я думаю, на Невском проспекте, у Тенкате: это всего вернее. Кто-то искал счастья по всему миру и нашел же его, воротясь, у своего изголовья. Не был ли в Маниле этот путешественник и не охотник ли он курить сигары? Видно, уж так заведено в мире, что на Волге и Урале не купишь на рынках хорошей икры; в Эперне не удастся выпить бутылки хорошего шампанского, а в Торжке не найдешь теперь и знаменитых пожарских котлет: их лучше делают в Петербурге.

"Что ж у вас есть в магазине? – спросил я наконец, – ведь эти ящики не пустые же: там сигары?" – "Чируты!" – сказал мне приказчик, то есть обрезанные с обеих сторон (которые, кажется, только и привозятся из Манилы к нам, в Петербург): этих сколько угодно! Есть из них третий и четвертый сорта, то есть одни большие, другие меньше.

А провожатый мой всё шептал мне, отворачаясь в сторону, что надо прийти "прямо и просто", а куда – всё не говорил, прибавил только свое: "Je vous parle franchement, vous comprenez?" – "Да не надо ли подарить кого-нибудь?" – сказал я ему наконец, выведенный из терпения. "Non, non, – сильно заговорил он, – но вы знаете сами, злоупотребления, строгости... но это ничего; вы можете всё достать... вас принимал у себя губернатор – оно так, я видел вас там; но все-таки надо прийти... просто: vous comprenez?" – "Я приду сюда вечером, – сказал я решительно, устав слушать эту болтовню, – и надеюсь найти сигары всех сортов..." – "Кроме первого сорта гаванской свертки", – прибавил чиновник и сказал что-то тагалу по-испански... Я довез его до фабрики и вернулся домой.

Смысл этих таинственных речей был, кажется, тот, что всё количество заготавливаемых на фабрике сигар быстро расходуется официальным путем по купеческим конторам, оптом, и в магазин почти не поступает; что туземцы курят чируты, и потому трудно достать готовые сигары высших сортов. Но если кто пожелает непременно иметь хорошие сигары не в большом количестве, тот, без всяких фактур и заказов, обращается к кому-нибудь из служащих на фабрике или приходит прямо и просто, как говорил мой провожатый, заказывает, сколько ему нужно, и получает за ту же цену мимо администрации, мимо магазина, куда деньги за эти сигары, конечно, уже не поступают.

По крайней мере я так понял загадочные речи моего провожатого. Et vous, mes amis, vous comprenez? je vous parle franchement.* * И вы, друзья мои, вы понимаете? я говорю с вами откровенно. – Фр.

Насилу-то наконец вечером я запасся, для себя и для некоторых товарищей, несколькими тысячами сигар, почти всех сортов, всех величин и притом самыми свежими. На ящиках было везде клеймо: "Febrero (февраль)", то есть месяц нашего там пребывания. Запрос так велик, что не успевают делать. Другие мои спутники запаслись чрез нашего банкира, но только одними чирутами. За тысячу сигар лучшего сорта платят здесь четырнадцать долларов (около 19 р. сер.), а за чируты восемь долларов. В Петербурге первых совсем нет, а вторые продаются, если не ошибаюсь, по шести и никак не менее пяти р. сер. за

сотню. Каков процент! Табак не в сигарах не продается в Маниле; он дозволен только к вывозу. Говорят, есть еще несколько меньших фабрик, но я их не видал, так же как и фабрики сигареток или папирос.

Наконец объявлено, что не сегодня, так завтра снимаемся с якоря. Надо было перебраться на фрегат. Я последние два дня еще раз объехал окрестности, был на кальсадо, на Эскольте, на Розарио, в лавках. Вчера отправил свои чемоданы домой, а сегодня, после обеда, на катере отправился и сам. С нами поехал француз Pl. и еще испанец, некогда моряк, а теперь *commandant des troupes*, как он называл себя. В этот день обещали быть на фрегате несколько испанских семейств, в которых были приняты наши молодые люди.

Когда мы сели в катер, вдруг пришли сказать нам, что гости уже едут, что часть общества опередила нас. А мы еще не отвалили! Как засуетились наши молодые люди! Только что мы выгребли из Пассига, велели поставить паруса и понеслись. Под берегом было довольно тихо, и катер шел покойно, но мы видели вдаль, как кувыркалась в волнах крытая барка с гостями.

Часов с трех пополудни до шести на неизмеримом манильском рейде почти всегда дует ветер свежее, нежели в другие часы суток; а в этот день он дул свежее всех прочих дней и развел волнение. "Мы их догоним, – говорил барон, – тяни шкот! тяни шкот!" – командовал он беспрестанно. Паруса надулись так, что шлюпка одним бортом лежала совершенно на воде; нельзя было сидеть в катере, не держась за противоположный борт. Мы ногами упирались то в кадку с мороженым, то в корзины с конфетами, апельсинами и мангу, назначенными для гостей и стоявшими в беспорядке на дне шлюпки, а нас так и тащило с лавок долой. "Не взять ли рифы?" – спросил барон Крюднер. "Надо бы; да тогда тише пойдем, не опоздаем прежде гостей, – сказал Бутаков, – вот уже они где, за французским пароходом: эх их валяет!"

Наш катер вставал на дыбы, бил носом о воду, загребал ее, как ковшом, и разбрасывал по сторонам с брызгами и пеной. Мы-таки перегнали, хотя и рисковали если не перевернуться совсем, так черпнуть порядком. А последнее чуть ли не страшнее было первого для барона: чем было бы тогда потчевать испанок, если б в мороженое или конфеты вкатилась соленая вода?

Приставать в качку к борту – тоже задача. Шлюпку приподнимает чуть не до борта, тут сейчас и пользуйтесь мгновением: прыгайте на трап, а прозевали, волна отступит и утащит опять в преисподнюю.

Мы только что вскочили на палубу, как и гости пристали вслед за нами. Их всего было человек семь испанцев да три дамы, две испанки, мать с дочерью, и одна англичанка. Прочие приглашенные не поехали, побоявшись качки. Гости угощали чаем, мороженым и фруктами, которые были, кажется, не без соли, как заметил я, потому что один из гостей доверчиво запустил зубы в мангу, но вдруг остановился и стал рассматривать плод, потом поглядывал на нас. Хотя мы не черпнули, но все-таки нельзя было запретить морской воде брызгать в шлюпку.

С англичанкой кое-как разговор вязался, но с испанками – плохо. Девушка была недурна собой, очень любезна; она играла на фортепиано плохо, а англичанка пела нехорошо. Я сказал девушке что-то о погоде, наполовину по-французски, наполовину по-английски, в надежде, что она что-нибудь поймет если не на одном, так на другом языке, а она мне ответила, кажется, о музыке, вполнину по-испански, вполнину... по-тагальски, я думаю.

Наконец мы простились с Манилой, да вот теперь и заштилели в виду Люсона. Я вошел в свою каюту, в которой не был ни разу с тех пор, как переехал на берег. В ней горой громоздились ящики с сигарами, кучи белья, платья. Кое-как мы с Фаддеевым разобрали все по углам, но каюта моя уменьшилась наполовину. "А где соломенные шляпы?" – спросил я. "А вот они", – сказал Фаддеев, показывая на потолок. "Да как ты их укрепил?" – спросил я, недоумевая, как они там держались. А очень просто: он вставил три или четыре шляпы одну в другую и поля гвоздиками прибил к потолку: прочно, не правда ли?

"Только-то? – скажете вы. – Тут и все о Маниле?" Вы недовольны? И я тоже. Я сам

ожидал чего-то больше. А чего? Может быть, ярче и жарче колорита, более грез поэзии и побольше жизни, незнакомой нам всем, европейцам, жизни своеобразной: и нашел, что здесь танцуют, и много танцуют, спят тоже много и краснеют всего, что похоже на свое. Выше я уже сказал, что, вопреки климату, здесь на обеды ездят в суконном платье, белое надевают только по утрам, ходят в черных шляпах, предпочитают нежным изделиям манильской соломы грубые изделия Китая, что даже индеец рядится в суконное пальто вместо своей воздушной ткани, сделанной из растения, которое выросло на его родной почве, и старается походить на метиса, метис на испанца, испанец на англичанина.

Люди изменяются до конца, до своей плоти и крови: и на этом благодетельном острове, как и везде, они перерождаются и меняют нравы, сбрасывают указанный природою костюм, забывают свой язык, забыли изменить только название острова и города. Вас, может быть, вводят в заблуждение звучные имена Манилы, Люсона; они напоминают Испанию. Разочаруйтесь: эти имена не испанские, а индийские. Слово Манилла, или, правильнее, Манила, выработано из двух тагальских слов: *maugon nila*, что слово в слово значит там есть нила, а нилой называется какая-то трава, которая растет по берегам Пассига. Майрон-Нила называлось индийское местечко, бывшее на месте нынешней Манилы. Люсон взято от тагальского слова лосонг: так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы, а эти последние и называли остров Лосонг. Почему нет? ведь наши матросы называют же англичан асеи, от слова "I say", то есть "Эй, послушай!", которое беспрестанно слышится в английском разговоре. Тагал, или тагаилог, значит житель рек.

Зато природа на Люсоне неизменна, как везде, и богата, как нигде. Как прекрасен этот союз северного и южного неба, будто встреча и объятия двух красавиц! Крест и Медведица, Орион и Канопус так близко кажутся друг от друга... Необыкновенны переливы вечернего света на небе – яшмовые, фиолетовые, лазурные, наконец такие странные, темные и прекрасные тоны, под какие ни за что не подделаться человеку! Где он возьмет цвета для этого пронзительно-белого луча здешних звезд? как нарисует это мление вечернего, только что покинутого солнцем и отдыхающего неба, эту теплоту и кротость лунной ночи? Чудесен и голубой залив, и зеленый берег, дальние горы, и все эти пальмы, бананы, кедры, бамбуки, черное, красное, коричневое деревья, эти ручьи, островки, дачи – всё так ярко, так обворожительно, фантастически прекрасно!..

И при всем том ни за что не остался бы я жить среди этой природы! Есть отрадные мгновения – утром, например когда, вставши рано, отворишь окно и вступишь прохладу в комнату; но ненадолго оживит она: едва сдунет только дремоту, возбudit в организме игру сил и расположит к деятельности, как вслед за ней из того же окна дохнет на вас теплый пар раскаленной атмосферы. Вдаль посмотреть нельзя: волны сверкают, как горячие угли, стены зданий ослепительно белы, воздух как пламя – больно глазам. Часов в десять-одиннадцать, не говоря уже о полудне, сидите ли вы дома, поедете ли в карете, вы изнеможете: жар сморит; напрасно будете противиться сну. Хотите говорить – и на полуслове зевнете; мысль не успела сформироваться, а вы уж уснули. Но и сон не отрада: подушка душит вас, легчайшая ткань кажется кандалами. Дышишь горячо, ищешь ветра – его нет. Хочешь освежить высохший язык – вода теплая, положишь льду в нее – жди воспаления. К вечеру оживаешь, наслаждаешься, но и то в декабре, январе и феврале: дальше, говорят, житья нет. В летние месяцы льются потоки дождя, свирепствуют грозы, время от времени ураганы и землетрясения. В дождь ни выйти, ни выехать нельзя: в городе и окрестностях наводнение; землетрясение производит в домах и на улицах то же, что в качку на кораблях: всё в ужасе; индийцы падают ниц...

Но и вечером, в этом душном томлении воздуха, в этом лунном пронзительном луче, в тихо качающихся пальмах, в безмятежном покое природы, есть что-то такое, что давит мозг, шевелит нервы, тревожит воображение. Сидя по вечерам на веранде, я чувствовал такую же тоску, как в прошлом году в Сингапуре. Наслаждаешься и страдаешь, нега и боль! Эта жаркая природа, обласкав вас страстно, напутствует сон ваш такими богатыми грезами,

каких не приснится на севере.

И все-таки не останешься жить в Маниле, всё захочешь на север, пусть там, кроме снега, не приснится ничего! Не нашим нервам выносить эти жаркие ласки и могучие излияния сил здешней природы.

А разве, скажете вы, нет никогда таких жарких дней и обаятельных вечеров и у нас?.. Выдаются дни беспощадные, жаркие и у нас, хотя без пальм, без фантастических оттенков неба: природа, непрерывно творческая здесь и подолгу бездействующая у нас, там кладет бездну сил, чтоб вызвать в какие-нибудь три месяца жизнь из мертвой земли. Но у нас она дает пир, как бедняк, отдающий всё до копейки на пышный праздник, который в кои-то веки собрался дать: после он обречет себя на долгую будничную жизнь, на лишения. И природа наша так же: в палящем дне на севере вы уже чувствуете удушливое дыхание земли, предвещающее к ночи грозу, потоки дождя и перемену надолго. А здесь дни за днями идут, как близнецы, похожие один на другой, жаркие, страстные, но сильные, ясные и безмятежные – в течение долгих месяцев.

Может быть, вы всё будете недовольны моим эскизом и потребуете чего-нибудь еще: да чего же? Кажется, я догадываюсь. Вам лень встать с покойного кресла, взять с полки книгу и прочесть, что Филиппинские острова лежат между 114 и 134° восточн^{ой} долготы; 5 и 20° северн^{ой} широты, что самый большой остров – Люсон, с столичным городом Манила, потом следуют острова: Магинданао, Сулу, Палауан; меньшие: Самар, Панай, Лейт, Миндоро и многие другие.

В 1521 году Магеллан, первый, с своими кораблями пристал к юго-восточной части острова Магинданао и подарил Испании новую, цветущую колонию, за что и поставлен ему монумент на берегу Пассига. Вторая экспедиция приставала к Магинданао в 1524 году, под начальством Хуана Гарсия Хосе де Лоаиза. Спустя недолго приходил мореплаватель Виллалобос, который и дал островам название Филиппинских в честь наследника престола, Филиппа II, тогда еще принца астурийского.

В 1644 году Мигель Лопец Легаспи пришел, с пятью монахами ордена августинцев и с пятью судами, покорять острова силою креста и оружия. Индийцы некоторых вновь открытых островов, куда еще не проникали ни Магеллан, ни Лоаиза, перепугались, увидя европейцев. Они донесли своему начальству, что приехали люди "с тоненьким и острым хвостом, что они бросают гром, едят камни, пьют огонь, который выходит дымом из носа, а носы у них, – прибавили они, – предлинные". Индийцы приняли морские сухари за камни, шпагу – за хвост, трубку с табаком – за огонь, а носы – за носы тоже, только длинные: не оттого, что у испанцев носы были особенно длинны, а оттого, что последние у самих индийцев чересчур коротки и плоски.

Легаспи, по повелению короля, покорил и остров Лосонг, или Люсон. Он на Пассиге основал нынешний город, удержав ему название бывшего на этом месте селения Мейрон-Нила, или, сокращенно, Mai-Nila. Легаспи привлек китайцев, завел с ними торговлю, которая процветает и поныне. Вскоре наехали францисканцы, доминиканцы, построили церквей, из которых августинский

После того Манила не раз подвергалась нападениям китайцев, даже японских пиратов, далее голландцев, которые завистливым оком заглянули и туда, наконец, англичан. Эти последние, воюя с испанцами, напали, в 1762 году, и на Манилу и вконец разорили ее. Через год и семь месяцев мир был заключен и колония возвращена Испании.

Жидко об истории, скажете вы, может быть. Но стоит ли больше говорить о ней? Филиппинский архипелаг, как *parvenu* какой-нибудь, еще не имеет права на генеалогическое дерево. Говорить больше о нем значит говорить об истории испанского могущества XV, XVI и XVII столетий. Оно отозвалось и в здешних отдаленных углах, но глухо. Мир тогда сжался на маленьком лоскутке: над ним и играло всей силой своей солнце судьбы, и сюда чуть-чуть долетали его лучи. Может быть, заиграет оно когда-нибудь и здесь, как над старой Европой: тогда на путешественнике будет лежать тяжелая обязанность рыться в здешних архивах и с важностью повествовать ленивым друзьям о событиях края.

О торговле три слова.

Из Манилы вывозятся в Америку, в Китай, в Европу и особенно в Англию сахар, индиго, пенька, сигары, ром, дерево; а привозятся бумажные и шерстяные изделия, железо, корабельные припасы, провизия, стальные изделия, стекло, глиняная посуда.

Ежегодно приходит до двухсот испанских и чужих кораблей и столько же отходит.

Сумма привоза простирается свыше полутора миллиона пиастров, иногда доходит до двух; вывозится миллиона на три...

(Зри "Kaufmännische Berichte, gesammelt auf einer Reise um die Welt von W. H. Nopitsch").

Ну, теперь, кажется, всё!

VI

ОТ МАНИЛЫ ДО БЕРЕГОВ СИБИРИ

Качающаяся мачта. – Остров Батан. – Радге и алькад. – Сулой. – Остров Камигуин, порт Пио-Квинто. – Красное дерево. – Птицы и насекомые. – Бананы. – Дракон, пожирающий уток. – Обед в тропическом лесу. – Кит. – Акула. – Остров Гамильтон. – Камелии. – Корейцы. – Вести из Шанхая. – Нагасаки. – Второй губернатор. – Подарки. – Провизия. – Острова Гото. – Берега Кореи; опись их и поверка карт. – Залив Лазарева. – Прогулки по берегу. – Сильные туманы. – Змея. – Сношения с жителями. – Неприятность. – Река Тайманьга. – Историческая заметка о Корее. – Татарский пролив. – Шквал. – Большой залив. – Жители. – Тунгус Афонька. – Гиляки.

С 27 февраля по 22 мая, 1854.

Мы вышли из Манилы 27-го февраля вечером и поползли опять теми же штилями вдоль Люсона, какими пришли туда.

Тащились дней пять, но зато чуть вышли из-за острова, как крепкий норд-остовый муссон задул нам в лоб.

Сначала взяли было один, а потом постепенно и все четыре рифа. Медленно, туго шли мы, или, лучше сказать, толклись на одном месте. Долго шли одним галсом, и 8-го числа воротились опять на то же место, где были 7-го. Килевая качка несносная, для меня, впрочем, она лучше боковой, не толкает из угла в угол, но кого укачивает, тем невыносимо.

Суда наши держались с нами, но адмирал разослал их: транспорт "Князь Меншиков" – в Шанхай, за справками, шкуну – к острову Батану отыскать якорное место и заготовить провизию, корвет – еще куда-то. Сами идем на островок Гамильтон, у корейского берега, и тамждемся транспорта.

Только мы расстались с судами, как ветер усилился и вдруг оказалось, что наша фок-мачта клонится совсем назад, еще хуже, нежели грот-мачта. Общая тревога; далее идти было бы опасно: на севере могли встретиться крепкие ветра, и тогда ей несдобровать. Третьего дня она вдруг треснула; поскорей убрали фок. Надо зайти в порт, а куда? В Гонконг всего бы лучше, но это значит прямо в гости к англичанам. Решили спуститься назад, к группе островов Бабуян, на островок Камигуин, в порт Пио-Квинто, недалеко от Люсона.

Но прежде надо зайти на Батан, дать знать шкуне, чтоб она не ждала фрегата там, а шла бы далее, к северу. Мы всё лавировали к Батану; ветер воет во всю мочь, так что я у себя не мог спать: затворишься – душно, отворишь вполтину дверь – шумит как в лесу.

Вчера, с 9-го на 10-е ночью, течением отнесло нас на 35 миль в сутки, против счисления к норду, несмотря на то что накануне была хорошая обсервация, и мы очутились выше Батана. Зато как живо спустились к нему попутным ветром! Это тот самый Батан, у которого нас прихватил, в прошлом году в июле месяце, тифон, или тайфун по-китайски, то есть сильный ветер. Мы тогда напрасно искали на восточном берегу пристани: нет ее там; зато теперь тотчас отыскивали на юго-западном. Шкуна стояла уже там и еще китолов американский.

Островок недурен, весь в холмах, холмы в зелени. Бухта не закрыта от зюйда, и становиться в ней на якорь опасно, хотя в это время года, то есть при норд-остовом муссоне, в ней хорошо; зюйдовых ветров нет. Но положиться на это нельзя. А как вдруг задует? Между скал (тоже зеленых) есть затишье и пристань. Глубина неровная: 50 сажен, потом 38 и вдруг семь, почти рядом. Нам открылся монастырь, потом дом испанского алькада и деревня в зелени. Хорошо, приятно и весело смотреть на берег. Наши поехали, я нет. Меня, кажется, прихватила немного болезнь, которую немцы называют *Heimweh**. Просто домой хочется. Даст ли Бог сил выдержать! Прелесть того, что манило вдаль, – новизны, утратилась; впереди только беспокойства и неизвестность. * Тоска по родине – нем.

У нас сегодня утром завтракали *padre* и алькад. Я не выходил из каюты, не хотелось, но смотрел из окна с удовольствием, как приехавшие с ними двое индийских мальчишек, слуг, разинули вдруг рот и обомлели, когда заиграли наши музыканты. Скоро удивление сменилось удовольствием: они сели рядом на палубе и не спускали глаз с музыкантов. Мальчишек укачивало. У меньшего желтенькое лицо позеленело, и он спрятался за пушку. Вдруг *padre* позвал его; тот не слышал, и *padre* дал ему такого подзатыльника, что впору пирату такого дать, а не пастырю.

Нам прислали быков и зелени. Когда поднимали с баркаса одного быка, вдруг петля сползла у него с брюха и остановилась у шеи; бык стал было задыхаться, но его быстро подняли на палубу и освободили. Один матрос на баркасе, вообразив, что бык упадет назад в баркас, предпочел лучше броситься в воду и плавать, пока бык будет падать; но падение не состоялось, и предосторожность его возбудила общий хохот, в том числе и мой, как мне ни было скучно.

Приняв провизию, мы снялись с якоря и направляемся теперь на островок Камигуин поправить немного мачты.

Мы вышли ночью; и как тут кое-где рассеяны островки, то, для безопасности, мы удержались до рассвета под малыми парусами у островов Баши. Я спал, но к утру слышал сквозь сон, как фрегат взял большой ход на фордевинд. Этот ход сопровождается всегда боковой качкой. Мы полагали стать к часам четырем на якорь; всего было миль шестьдесят, а ходу около десяти узлов, то есть по десяти миль, или семнадцать с лишком верст в час. Но в таких расчетах надо иметь в виду течения; здесь течение было противное; попутный ветер нес нас узлов десять, а течением относило назад узлов пять. Часам к пяти мы подошли к Камигуину, но двигались так медленно, что солнце садилось, а мы еще были всё у входа.

Вдобавок ко всему у острова встретили мы сулой и попали прямо в него. Вы не знаете, что такое сулой? И дай Бог вам не знать. Сулой – встреча ветра и течения. У нас был норд-остовый ветер, а течение от SW. Что это за наказание! Никогда не испытывали мы такой огромной и беспокойной зыби. Ветер не свежий, а волны, сшибаясь с двух противных сторон, вздымаются как горы, самыми разнообразными формами. Одна волна встает, образует правильную пирамиду и только хочет рассыпаться на все стороны, как ей и следует, другая вдруг представляет ей преграду, привскакивает выше сеток судна, потом отливается прочь, образуя глубокий овраг, куда стремительно падает корабль, не поддерживаемый на ходу ветром. Взад подтолкнет его победившая волна, и он падает на бок и лежит так томительную минуту. Волны хлещут на палубу, корабль черпает бортами. Беда судам: мелкие заливают нередко, да и большие могут потерять мачты. К счастью, ветер скоро вынес нас на чистое место, но войти мы не успели и держались опять ночь в открытом море; а надеялись было стать на якорь, выкупаться и лечь спать.

Утром уже на другой день, 11-го марта, мы вошли в бухту Пио-Квинто северным входом и стали за островком того же имени, защищающим рейд. Бухта большая; берега покрыты непроходимой кудрявой зеленью. На острове есть потухший вулкан; есть пальмы, бананы; раковин множество; при мне матросы привезли Посыету набранный ими целый мешок. Я заказал и себе. Доктор убил до шести птиц, золотистых, красных, желтых: их потрошат и набивают хлопчатой бумагой. Гошкевичу раздолье. Мне нельзя на берег: ревматизм в виске напоминает о себе живою болью. Я с фрегата смотрю, как буруны стеною нападают на берег, хлещут высоко и рассыпаются широкой белой бахромой. Океан как будто лелеет эти островки: он играет с берегами, то ревет, сердится, то ласково обнимает любимцев со всех сторон, жемчужится, кипит у берегов и приносит блестящую раковину, или морского ежа, или красивый, выработанный им коралл, как будто игрушки для детей.

Фаддеев сегодня был на берегу и притащил мне раковин, одна другой хуже, и, между прочим, в одной был живой рак, который таскал за собой претяжелую раковину. "Смех какой!" – сказал он. "Верно, с кем-нибудь неприятность случилась", – подумал я, зная его характер. Так и есть. "Наши ребята, – продолжал он, – наелись каких-то стручков, словно бобы, и я один съел – ничего, годится, только рот совсем свело, не разожмешь, а у них животы подвело, их с души рвет: теперь стонут". – "Как же можно есть неизвестные растения? – заметил я, – ведь здесь много ядовитых". – "Еще мы нашли, – продолжал Фаддеев, – какие-то... орехи не орехи, похожи и на яблоки, одни красные, другие зеленые. Мы съели по штуке красной – кисло таково; хотели было зеленое попробовать, да тут ребят-то и схватило, застонали – смех! И с господами смех, – прибавил он, стараясь не смеяться, – в буруны попали; как стали приставать, шлюпку повернуло, всех вал и покрыл, все словно купались... да вон они!" – прибавил он, указывая в окно. В самом деле все мокрые.

16-е марта.

Меня всё одолевала то зубная боль, то хандра. А что за время! зелено, сине, солнечно, ярко и жарко, с легкой прохладой. Я всё ленился ехать на берег; я беспрестанно слышал, как один шел по пояс в воде, другой пробирался по камням, третий не мог продрасться сквозь лианы. Всё это мало давало мне охоты ехать туда. Но сегодня утром, лишь только я вышел на палубу, встретил меня Унковский и звал ехать. "Смотрите, бурунов совсем нет, ветер с берега, – говорил он, – вам не придется по воде идти, ног не замочите, и зубы не заболят". Я взял зонтик, надел соломенную шляпу, и мы отправились на вельботе.

В самом деле, бурунов не было, и мы въехали в ручеек, как на санях. Матросы соскочили в воду и потащили вельбот на себе, так что мы выскочили прямо на песчаный берег. В ручейке были раковины, камешки, кораллы – всё, кроме воды. Мы вошли под свод развесистых деревьев, и нас охватил влажный, горячий пар. Берег весь зарос сплошной чащей, большею частью красным деревом. Зелень густа, как волосы. Красное дерево и придает эту кудрявую наружность всему острову. У дерева крепкие и масляные, ярко-зеленые листья, у одних небольшие, у других более четверти аршина длиной и такие толстые, чтогодились бы на подошву.

Мы подошли к нашим палаткам, разбитым на самом берегу, под деревьями, и застали Гошкевича среди букашек, бабочек, раков – живых и мертвых, потрошенных и непотрошенных птиц, змей и ящериц. Посидевши минут пять в тени, мы пошли дальше, по берегу, к другой речке, очень живописной. Чаща не позволяла пробираться лесом: лианы сетью опутали деревья, и иногда ни перешагнуть, ни прорвать их не было никакой возможности. Надо было идти по берегу, усыпанному крупными и мелкими камнями, периодически покрываемыми приливом. Каменья или вонзались в подошву, или расступались под ногами и катились во все стороны. Упасть, правду сказать, было нельзя, но сломать ногу, и, пожалуй, обе, можно.

Так мы шли версты две, и я отчаялся уже дойти, как вдруг увидели наших людей. Они срубили дерево и очищали его от коры. Что это за чудовищный ствол красного дерева! Только дубы на мысе Доброй Надежды да камфарные деревья в Китае видел я такого объема. Здесь мы, по тенистой и сырой тропинке, дошли до пустого шалаша, отдохнули, переправились по доске через речку, то того быстрюю, что, когда я, переходя по зыбкому мостику, уперся в дно ручья длинной палкой, у меня мгновенно вырвало ее течением из рук и вынесло в море.

Далее мы шли лесом всё по речке. Я не мог надивиться этой растительности: нас покрывал совершенно свод зелени от солнца. Деревья, одно другого красивее, выше, гуще и кудрявее, теснились, как колосья, в кучу. Множество птиц, красных, желтых, зеленых, летало в ветвях, мелькало из куста в куст. Что за крики! Вверху раздавался то стон, то щелканье, а одна какая-то горланила так, что хоть уши зажми. Насекомых было не меньше. Я заметил много исполинских бабочек, потом что-то вроде ос, синих, с шерстью и с пятном на голове. Одна такая, накануне, сидя уже на булавке в ящике у Гошкевича, прокусила насквозь сигару, которую я ей подставил. Бабочки тоже до бесконечности разнообразны; есть с ладонь величиной. Мухи мелкие, простые, и те отличаются необыкновенной формой и красками.

Мы вышли на поляну, к шалашам индейцев и к их плантациям. Это те же тагалы, что и в Маниле, частью беглые, частью добровольно удалившиеся с Люсона. Все они говорят по-испански. Их до двухсот человек на острове. Жилища их разбросаны в разных местах. Ну, жилища! Четыре столба, аршина в полтора вышиной, на них настилка из досок, потом с трех сторон стенки из бамбуковых жердей, крытые пальмовыми листьями, четвертая сторона открыта. Там бедная утварь, кругом куры и собаки. Жители выжгли лес на далекое расстояние для плантаций. Я затерялся между бананами, кукурузой, таро и табаком. Бананы великолепны, пока еще будущие плоды не сформировались и таятся в большой, висящей книзу почке фиолетового цвета. Листья почки, вскрываясь, принимают красный цвет и потом, падая, обнаруживают целую кисть плодов. Кокосов здесь я не видал. Пальм другого рода я видел много, особенно арека.

Усталый, сел я на пень у шалашей и смотрел на веселую речку: она вся усажена кустами, тростником и разливается широким бассейном. Вода, как хрусталь, прозрачна. Тут наши матросы мыли белье, развешивая его по лианам. Одно огромное дерево было опутано лианами и походило на великана, который простирает руки вверх, как Лаокоон, стараясь освободиться от сетей, но напрасно. Внизу, вокруг ствола и вдоль, огибали его и вращались в дереве толстые растительные веревки; сверху они тонки, как нитки. Крюднер пробовал разорвать одну и не мог и насилу разрезал ножом. Птицы так и заливались на разные голоса, но они так прятались в тени, что я видел немногих. "Ночью покоя не дают, ваше высокоблагородие, – сказал матрос, ночевавший на берегу, – забьются под шалаш и кричат изо всей мочи". Пронесся над нами здешний голубь с белой головой, зеленоватой спиной, больше нашего. Вороны (я сужу по устройству крыльев), напротив, меньше наших: синие, голубые, но с черными крыльями и с белыми симметрическими пятнами на крыльях, как и наши.

С час отдохнули мы в прохладе и пошли назад. На этот раз путешествие по камням показалось мне пыткой: идешь, идешь, думаешь, вот скоро конец, взглянешь вперед, а их целая необозримая площадь. Неумолимый полдень жжет; зонтик и толстая соломенная шляпа мало защищают. Пойдешь в тень, под деревья, – ноги путаются в лианах. Буруны стеной, точно войско, шли на берег и разбивались у наших ног. Издали шум от них походил на гром. Мы разбрелись врознь, и я, от скуки, собирал дорогой раковины, оставленные приливом, особенно мелкие, чрезвычайно красивые. Некоторые из них двигались: раки были живы в них. Неся их, чуть зазеваешься, раки выползают и щупальцами цепляются за руки.

Сегодня положено обедать на берегу. В воздухе невозмутимая тишина и нестерпимый жар. Чем ближе подъезжаешь к берегу, тем сильнее пахнет гнилью от сырых кораллов, разбросанных по берегу и затопляемых приливом. Запах этот вместе с кораллами перенесли и на фрегат. Все натащили себе их кучи. Фаддеев приводит меня в отчаяние: он каждый раз приносит мне раковины; улитки околевают и гниют. Хоть вон беги из каюты!

Уже три дня рассказывают, что из болотистой речки, недалеко от наших палаток, появляется ежедневно какое-то животное аршина два длиной. Вчера оно съело мертвую утку. Утки, куры и бараны – все свезены с фрегата на берег. Одна околела и досталась животному. "Да какое животное?" – спрашивали у матросов. "С змеиным хвостом, на двух ножках", – говорил один, "и с двумя стрелками во рту", – сказал другой. "Это дракон, ваше высокоблагородие, – заключил, подумавши, один унтер-офицер. – Дня три мы уже караулим его, да всё схватить нельзя: часто, да не надолго выходит. Сегодня удалось только ударить его веслом по спине. Теперь сидит там Михелька Керн, скотник, с ружьем".

Я побежал к речке, сунулся было в двух местах, да чрез лес продрасть нельзя: папоротники и толстые стволы красного дерева стояли стеной, а лианы раскинуты, как сети. Матрос указал мне тропинку, и я подошел к речке. В одном месте она образовала бассейн, заваленный пнями, увядшими ветвями и сухими листьями. Сквозь кусты я увидел человека, неподвижно стоявшего с ружьем. "Что ты тут делаешь?" – спросил я. "Жду дракона, ваше высокоблагородие", – почти не дыша, прошептал он. Близ него валялись две утки, одна с выеденным желудком; кругом ее тучей носились и жужжали мухи, лакомые до падали; другая была еще не тронута; на ней-то Михелька Керн основывал свои надежды. И я стал с ним ждать. Но как ему обещали награду, если он дождется, а мне ничего, то я потерял терпение и выдрался опять на чистое место, к палаткам.

У одной из них собралась толпа наших и кого-то окружила. Я удвоил шаги, смотрю, в кружке стоит Гошкевич и держит что-то в руках. "Что это у вас?" – спросил я. "А вот смотрите", – отвечал он и поднес мне к самому носу ящерицу в аршин длиной. Передние и задние лапы связаны были у ней лианой на спине. Она болезненно мигала и по временам высовывала и мгновенно опять прятала длинный, тонкий язык. "Так вот кто ест уток!" – сказал я. "Нет, как можно: та гораздо больше!" – закричали на меня несколько голосов. "И не такая совсем", – сказал кто-то из толпы. "С крыльями", – прибавил матрос из малороссиян. Я не стал спорить и ушел в палатку. Там негде было ступить: целый музей раковин, всех цветов и величин, раков, между которыми были некоторые чудовищных размеров и удивительно ярких красок, как и всё здесь, под этим щедрым солнцем. Тут сидели три индийца на полу. Они, за платок, за старую рубашку, за изношенные башмаки, несли Гошкевичу всё, чем богата здешняя природа. Один тащил живую змею, другой – мешок раковин, за которыми, с сеткой на плечах, отправлялся в буруны, третий – птицу или жука.

Я бросил кончик закуренной сигары на землю: они с жадностью схватили ее и начали по очереди курить. Я дал им всем по сигаре: с какой радостью и поклонами приняли они подарок! Я потом захотел полежать на доске вне палатки: они бросились услуживать, отирать доску, подставлять под нее камешки.

Как ни привык глаз смотреть на эти берега, но всякий раз, оглянешь ли кругом всю картину лесистого берега, остановишься ли на одном дереве, кусте, рогаком стволе, невольно трепет охватит душу, и как ни зачерствеешь, заплатишь обильную дань удивления этим чудесам природы. Какой избыток жизненных сил! какая дивная работа совершается почти в глазах! какое обилие изящного творчества пролито на каждую улитку, муху, на кривой сучок, одетый в роскошную одежду!

Мы обедали в палатке; запах от кораллов так силен, что почти есть нельзя. Обед весь состоял из рыбы: уха, жареная рыба и гомар чудовищных размеров и блестящих красок; но его оставили к ужину. Шея у него – самого чистого дикого цвета, как будто из шелковой материи, с коричневыми полосами; спина синяя, двуличневая, с блеском; усы в четверть аршина длиной, красноватые.

Рыбы здесь так же разнообразны, блестящи и странны, как всё прочее. Гошкевичу принесли их бездну: они нанизаны были на нитке. Каких странностей не было тут? У одной только и есть, что голова, а рот такой, что комар не пролезет; у другой одно брюхо, третья вся состоит из спины, четвертая в каких-то шипах, у иной глаза посреди тела, в равном расстоянии от хвоста и рта; другую примешь с первого взгляда за кожаный портмоне и т. д. Все они покрыты пестрым узором красок. К десерту подали бананы; некоторые любят их,

После обеда все разбрелись: кто купаться к другой речке, кто брать пеленги по берегам, а некоторые остались в палатке уснуть. Я с захождением солнца уехал домой.

Фаддеев встретил меня с раковинами. "Отстанешь ли ты от меня с этою дрянью?" – сказал я, отталкивая ящик с раковинами, который он, как блюдо с устрицами, поставил передо мной. "Извольте посмотреть, какие есть хорошие", – говорил он, выбирая из ящика то рогатую, то красную, то синюю с пятнами. "Вот эта, вот эта; а эта какая славная!" И он сунул мне к носу. От нее запахло падалью. "Что это такое?" – "Это я чистил: улитки были, – сказал он, – да, видно, прокисли". – "Вон, вон! неси к Гошкевичу!"

Сегодня все перебираются с берега: работы кончены на фрегате, шкалы подняты и фок-мачту как будто зашнуровали. В лесу нарубили деревьев, всё, разумеется, красных, для будущих каких-нибудь починок. С берега забирают баранов, уток, кур; не знаю, заберут ли дракона или он останется на свободе доедать трупы уток.

Третьего дня бросали с фрегата, в устроенный на берегу щит, ядра, бомбы и брандскугели. Завтра, снявшись, хотят повторить то же самое, чтоб видеть действие артиллерийских снарядов в случае встречи с англичанами.

Как ни привыкнешь к морю, а всякий раз, как надо сниматься с якоря, переживаешь минуту скуки: недели, иногда месяцы под парусами – не удовольствие, а необходимое зло. В продолжительном плавании и сны перестают сниться береговые. То снится, что лежишь на окне каюты, на аршин от кипучей бездны, и любишь узорами пены, а другой бок судна поднялся сажени на три от воды; то видишь в тумане какой-нибудь новый остров, хочется туда, да рифы мешают...

Сегодня два события, следовательно, два развлечения: кит зашел в бухту и играл у берегов да наши куры, которых свезли на берег, разлетелись, штук сто. Странно: способность летать вдруг в несколько дней развилась в лесу так, что не было возможности поймать их; они летали по деревьям, как лесные птицы. Нет сомнения, что если они одичают, то приобретут все способности для летанья, когда-то, вероятно, утраченные ими в порабоженном состоянии.

Снялись с якоря, вышли попутным ветром, и только отошли мили три, как подул противный. Пошли вбок, потом в другой – лавируем. Третьего дня прошли Батан, вчера утром были в группе северных островов Баши, Байет и других; сегодня другой день штиль; идем узел-два. Слава Богу, что облачно, а то бы жар был невыносим. Скоро ли дойдем – бог весть: кто сулит две недели, кто шесть. Утром еще я говорил, ходя по юту с Посьетом: "Скучно, хоть бы случилось что-нибудь, чтобы развлечься немного". Судьба как будто услышала мой ропот и дала нам спектакль, возможный только в тропических морях, даже довольно обыкновенный там, но всегда занимательный. Об этом писали так много раз, что я не хотел ничего упоминать, если б не был таким близким свидетелем, почти участником зрелища.

Мы только что отобедали, я пришел, по обыкновению, в капитанскую каюту выкурить сигару и сел на диван, в ожидании, пока принесут огня. Капитан сидел в кресле; жарко, дверь и окна были открыты. Не просидели мы пяти минут, как наверху, над нашими головами, сделалось какое-то движение, суматоха; люди засуетились и затопали. Капитан поспешил, по своей обязанности, вон из каюты, но прежде выглянул в окно, чтоб узнать, что такое случилось, да так и остался у окна. Я думал, не оборвалась ли снасть или что-нибудь в этом роде, и не трогался с места; но вдруг слышу, многие голоса кричат на юте: "Ташши, ташши!", а другие: "Нет, стой! не ташши, оборвется!"

Я бросился к окну и вижу, на меня снизу смотрит страшное, тупое рыло чудовища.

Аршинах в двух или трех от окна висела над водой пойманная, на толстый, пальца в полтора, крюк, акула. Крюк вонзился ей в верхнюю челюсть: она, от боли, открыла рот настежь. Мне сверху далеко было видно в глубину пасти, усаженной кругом белыми, небольшими, но тонкими и острыми зубами. Вся челюсть походила на пилу. Акула была в добрую сажень величиной. Хвост ее болтался в воде, а всё остальное выходило на поверхность. Она тихо покачивалась от движения веревки, оборачиваясь к нам то спиной, то брюхом. Спина у ней темно-синего цвета, с фиолетовым отливом, а брюхо ярко-белое, точно густо окрашенное мелом. Она минут пять висела неподвижно, как будто хотела дать нам случай разглядеть себя хорошенько; только большие, черные, круглые глаза сильно ворочались, конечно от боли. Около хвоста беспокойно плавали взад и вперед обычные спутники акулы, две желтые, с черными полосами, небольшие рыбы, прозванные лоцманами. Иногда их плавают с нею по три и по четыре. Вдруг акула зашевелилась, затряслась, далеко разбрасывая хвостом воду вокруг. Она сгибалась в кольцо, билась о корму, опять об воду и снова повисла неподвижно.

Я с жадностью смотрел на это зрелище, за которое бог знает что дали бы в Петербурге. Я был, так сказать, в первом ряду зрителей, и если б действующим лицом было не это тупое, крепко обтянутое непроницаемой кожей рыло, одаренное только способностью глотать, то я мог бы читать малейшее ощущение страдания и отчаяния на сколько-нибудь более органически развитой физиономии.

От тяжести акулы и от усилий ее освободиться железный крюк начал понемногу разгибаться, веревка затрещала. Еще одно усилие со стороны акулы – веревка не выдержала бы, и акула унесла бы в море крюк, часть веревки и растерзанную челюсть. "Держи! держи! тащи скорее!" – раздавалось между тем у нас над головой. "Нет, стой! тащи! – кричали другие, – оборвется; давай конец!" (Конец – веревка, которую бросают с судна шлюпкам, когда пристают и в других подобных случаях.)

Акула пока отдыхала. Внутри ее, в глубине пасти, виднелись кости челюсти, потом бледно-розовое мясо, а далее пустое, темное пространство. Из конца сделали широкую петлю и надели на акулу. "Вот так, вот так! – кричали одобрительно голоса наверху, – под крылья-то подцепи ей!" (Под крыльями матросы разумели плавательные ласты, которые формой и величиной в самом деле походят на крылья.) Только лишь зацепили за крылья, акула была уже поймана. Ее стали тянуть вверх. Тут она собрала все силы и начала изгибаться и хлестать хвостом по воздуху, о корму, о висевшую у кормы шлюпку, обо всё, что было на пути. Я должен был посторониться от окна, потому что конец хвоста попал и в окно.

Но ничто не спасло ее, час ее пробил. "Прочь, прочь!" – кричали на юте, втаскивая туда акулу. Раздался тревожный топот людей, потом паденье тяжелого тела и вслед за тем удары в палубу.

Мы с Крюднером бросились к двери, чтоб бежать на ют, но, отворив ее, увидели, что матросы кучей отступили от юта, ожидая, что акула сейчас упадет на шканцы. Как выскочить? Ну, ежели она в эту минуту... Но любопытство преодолело; мы выскочили и вбежали на ют.

Там человек двадцать держали концы веревок, которыми было опутано чудовище. Оно билось о палубу, ползало и махало хвостом; все расступались. А. А. Колокольников схватил топор и нанес акуле удар ниже пасти – хлынула кровь и залила палубу; образовалась широкая, почти в ладонь, рана. Кто-то еще проворно черкнул ее большим ножом по животу: оттуда вывалились внутренности в виде каких-то грязных тряпок. Акула вдруг присмирела. Тогда барон Шлиппенбах взял гандшпуг (это почти в руку толщиной деревянный кол, которым ворочают пушки) и воткнул ей в пасть; гандшпуг ушел туда чуть не весь. Пасть оскалила четыре ряда зубов; нижняя челюсть судорожно шевелилась. Животное перевернули на спину и веревками привязали к гику.

Мы толпой стояли вокруг, матросы теснились тут же, другие взобрались на ванты, все наблюдали, не обнаружит ли акула признаков жизни, но признаков не было. "Нет, уж кончено, – говорили некоторые, – она вся изранена и издохла". Другие, напротив,

сомневались и приводили примеры живучести акул, и именно, что они иногда, через три часа после мнимой смерти, судорожно откусывали руки и ноги неосторожным.

Велели смыть с палубы кровь. Явились матросы с водой и швабрами. После того один из нас взял топор и начал рубить у акулы понемногу ласты, другой ножом делал в разных местах надрезы, так, из любознательности, посмотреть, толста ли кожа и что под ней. Пришел наш любитель-натуралист, присел около акулы и начал щупать кожу, рассматривать подробно голову, глаза. Кол на пасти вынули и полили окровавленную морду водой. Многие, кому наскучило смотреть, разошлись. Пора бы убрать ее. Вербки развязали, перевернули акулу опять на живот и хотели нести прочь. Кто-то вздумал еще поскоблить ножом ей спину: вдруг она встрепенулась, хлестнула хвостом направо, налево; все отскочили прочь; один матрос не успел, и ему достались два порядочные туза: один по икрам, другой повыше... Он слетел с ног; все захохотали и снова принялись укрощать зверя.

Но это не так легко было сделать теперь, когда сняли с него веревки и вынули из пасти кол. Истерзанная, исколотая, с висящими внутренностями, акула билась о палубу, извивалась змеей, быстро и сильно описывала хвостом круги и всё подвигалась к краю. Никто не решался подступить. Это было последнее благоприятное мгновение, которым она могла воспользоваться. Еще один изгиб, один взмах хвоста посильнее, пока ходили за гандшпугом и топором, она полетела бы за борт и по крайней мере околела бы в своей стихии. Но она на минуту притихла, а наши снова принялись за кол и топор. "Бей ее по голове, – кричали голоса, – да береги ноги: прочь, прочь!"

Ближе всех около нее вертелся тот матрос, которого она угостила двумя пинками. Он рассердился, или боль еще от пинков не прошла, только он с колом гонялся за акулой, стараясь ударить ее по голове и забывая, что он был босиком и что ноги его чуть не касались пасти. Но взмахи хвоста были так порывисты, что попасть в голову было трудно и удары всё приходились по спине, а это ей, по-видимому, нипочем. Наконец матросу удалось попасть два раза и в голову: акула изменила только направление, но всё изгибалась и ползла так же скоро и сильно, как и прежде. Другой ударил топором ниже головы: животное присмирело и поползло медленнее. "Руби голову, руби голову!" – кричали ему. Матрос нанес другой удар: она сильно рванулась вперед; он ударил в третий раз: она рванулась еще, но слабее. "Нет, теперь шабаш!" – сказал он, отделяя четвертым ударом голову от туловища. Но и то не шабаш: туловище еще продолжало неровно и медленно изгибаться, но всё слабее и слабее, а голова судорожно шевелила челюстями. В туловище воткнули гандшпуг и унесли. Все разошлись.

Этим спектаклем ознаменовалось наше прощание с тропиками, из которых мы выходили в то время и куда более уже не возвращались.

Вечером, идучи к адмиралу пить чай, я остановился над люком общей каюты посмотреть, с чем это большая сковорода стоит на столе. "Не хотите ли попробовать жареной акулы?" – спросили сидевшие за столом. "Нет". – "Ну так ухи из нее?" – "Вы шутите, – сказал я, – разве она годится?" – "Отлично!" – отвечали некоторые. Но я после узнал, что те именно и не дотрогивались до "отличного" блюда, которые хвалили его.

Кожа акулы очень ценится столярами для полировки дерева; кроме того, ею обивают разные вещи; в Японии обтягивают сабли. Мне один японец подарил маленький баул, обтянутый кожей акулы; очень красиво, похоже немного на тисненый сафьян. Мне показали потом маленькую рыбку, в четверть аршина величиной, найденную прилипшею к спине акулы и одного цвета со спиной. У нас попросту называли ее прилипалой. На одной стороне ее был виден отпечаток шероховатой кожи акулы.

Вчера, 25 марта, видели китолова: топят печь для выварки жира из пойманного кита. Пламя и дым далеко видны, как на пожаре. Сегодня вышли из тропиков, но всё жарко. Зато штиль сменился попутным ветром: летим до одиннадцати узлов. Что еще? да! обезьяна упала за борт и в одно мгновение исчезла в волнах. Их всех три у нас. Сегодня в сумерки летала около фрегата какая-то птица, описывая круги всё ближе и ближе. Видно, что она была утомлена и, вероятно, не надеялась добраться домой. Два раза опускалась она в шлюпку и

опять улетала. Я ходил с Крюднером по юту. Птицы не стало видно. Вдруг видим, ее несет уже к нам матрос, сжав ей одной рукой шею, другой ноги. Птица оказалась "глупыш", род морской утки, никуда не годной. Ее велели отнести к Гошкевичу; тот отравляет животных мышьяком и потом потрошит. Я восстал, назвав это предательством, то есть относительно глупыша: он искал убежища, а его хотят умертвить! Не следует. Пока его заперли в курятник. Завтра, может быть, выпустят.

29 марта.

Мы плаваем, плаваем, и всё еще около трехсот миль остается до Гамильтона, маленького корейского острова, с удобным портом, где назначено рандеву шкуне. То дунет попутный ветер, и мы пронесемся миль двести вперед, то настанет штиль, идем по три узла. Теперь вот третий день льет проливной дождь; выйти на улицу (так мы называли верхнюю палубу) нельзя. Зато тихо. Я рад, что могу заняться делом. Стало заметно холоднее, как мыдвигаемся к северу, и дождь не южный, а летний. Все достают суконные платья. Вчера матрос поймал в жилой палубе ядовитейшее из тропических насекомых – centipes, стоножку. Она красновата, длиной вершка полтора, суставчатая; у ней, однако ж, не сто ног, а всего двадцать четыре. Сначала я думал, что это шея рака. Укушение ее, если не принять скорых мер, смертельно. Она страшна людям; большие животные бегут от нее; а ей самой страшен цыпленок: он, завидев стоножку, бежит к ней, начинает клевать и съедает всю, оставляя одни ноги.

У нас, впрочем, есть всего понемножку, и особенно много развелось тараканов; мы, вероятно, их захватили в Маниле или на Камигуине. А теперь вот налетело к нам, в туман и дождь, множество ласточек. Они пробирались к северу, из жарких мест в умеренные. Непогода и ночь захватили их далеко в море, и они стаяй долго кружились около фрегата, каждый раз всё ближе и ближе, наконец сели, обессиленные, на палубу, в шлюпки, на снастях. Их набрали множество и на другой день большую часть выпустили, накормив тараканами. Было довольно ясно; они кружились весело около фрегата и мало-помалу исчезли. Тут же показались и воробьи: этим посыпали на шлюпку крупы; они наелись и улетели.

Но дунул холод, свежий ветер, и стоножки, тараканы – всё исчезло. Взяли три рифа, а сегодня, 31-го марта утром, и четвертый. Грот взяли на гитовы и поставили грот-трисель. NO дует с холодом: вдруг из тропиков, через пять дней – чуть не в мороз! Нет и 10° тепла. Стихает – слава Богу!

Мы в шестидесяти милях от Нагасаки; и туда дует попутный ветер; но нам не расчет заходить теперь: надо прежде идти на Гамильтон.

4-е апреля.

Наконец, 2-го апреля, пришли и на Гамильтон. Шкуна была уж там, а транспорта, который послан в Шанхай, еще нет. Я вышел на ют, когда стали становиться на якорь, и смотрел на берег. Порт, говорят наши моряки, очень удобный, а берегов почти нет. Островишка весь три мили, скалистый, в камнях, с тощими кое-где кустиками и реденькими группами деревьев. "Это всё камелии, – сказал Корсаков, командир шкуны, – матросы камелиями парятся в бане, устроенной на берегу". Некоторые из наших тотчас поехали на берег. Я видел его издали – не заманчиво, и я не торопился на него. Кое-где над сонными водами маленьких бухт жались в кучу хижины корейцев. Видны были только

соломенные крыши, да изредка кое-где бродили жители, все в белом, как в саванах. Наконец нам довелось увидеть и этот последний, принадлежащий к крайне восточному циклу народ.

Корею, в политическом отношении, можно было бы назвать самостоятельным государством; она управляется своим государем, имеет свои постановления, свой язык; но государи ее, достоинством равные степени королей, утверждаются на престоле китайским богдыханом. Этим утверждением только и выражается зависимость Кореи от Китая, да разве еще тем, что из Кореи ездят до двухсот человек ежегодно в Китай поздравить богдыхана с Новым годом. Это похоже на зависимость отделенного сына, живущего своим домом, от дома отца.

К сожалению, до сих пор мало сведений о внутреннем состоянии и управлении Кореи, о богатстве и произведениях страны, о нравах и обычаях жителей. Отец Аввакум сказывал мне только, что обычай утверждения корейского короля китайским богдыханом до сих пор соблюдается свято. Посланные из Кореи являются в Пекин с подарками и с просьбой утвердить нового государя. Богдыхан обыкновенно утверждает и, приняв подарки, отдаривает посланных гораздо щедрее. Впрочем, он не впутывается в их дела. Когда однажды корейское правительство донесло китайскому, что оно велело прибывшим к берегам Кореи каким-то европейским судам, кажется английским, удалиться, в подражание тому, как поступило с этими же судами китайское правительство, богдыхан приказал объявить корейцам, что "ему дела до них нет и чтобы они распоряжались, как хотят".

Еще известно, что китайцы и корейцы уговорились оставить некоторое количество земель между обоими государствами незаселенными, чтоб избежать близкого между собою соседства и вместе с тем всяких поводов к неприятным столкновениям и несогласиям обоих народов.

Когда наша шлюпка направилась от фрегата к берегу, мы увидели, что из деревни бросилось бежать множество женщин и детей к горам, со всеми признаками боязни. При выходе на берег мужчины толпой старались не подпускать наших к деревне, удерживая за руки и за полы. Но им написали по-китайски, что женщины могут быть покойны, что русские съехали затем только, чтоб посмотреть берег и погулять. Корейцы уже не мешали ходить, но только старались удалить наших от деревни.

Через час наши воротились и привезли с собой двух стариков, по-видимому старшин. За ними вслед приехала корейская лодка, похожая на японскую, только без разрубленной кормы, с другими тремя или четырьмя стариками и множеством простого, босоногого, нечесаного и неопрятного народа. И простой и непростой народ – все были одеты в белые бумажные, или травяные (grasscloth), широкие халаты, под которыми надеты были другие, заменявшие белье; кроме того, на всех надето было что-то вроде шаровар из тех же материй, как халаты, у высших белые и чистые, а у низших белые, но грязные. На некоторых, впрочем немногих, были светло-желтые или синие халаты.

Сандалии у них похожи на японские, у одних тростниковые или соломенные, у других бумажные. Всего замечательнее головной убор. Волосы они зачесывают, как ликейцы, со всех сторон кверху в один пучок, на который надевают шляпу. Что за шляпа! Тулья у ней так мала, что только и покрывает пучок, зато поля широки, как зонтик. Шляпы делаются из какого-то тростника, сплетенного мелко, как волос, и в самом деле похожи на волосные, тем более что они черные. Трудно догадаться, зачем им эти шляпы? Они прозрачны, не защищают головы ни от дождя, ни от солнца, ни от пыли. Впрочем, много шляп и других форм и видов: есть и мочальные, и колпаки из морских растений.

Я очень пристально вглядывался в лица наших гостей: как хотите, а это всё дети одного семейства, то есть китайцы, японцы, корейцы и ликейцы. Китайское семейство, как старшее и более многочисленное, играет между ними первенствующую роль. Ошибиться в этом сходстве трудно. Тогда как при первом взгляде на малайцев, например, ни за что не причтешь их к одному племени с этими четырьмя народами. Корейцы более похожи на ликейцев, но только те малы, а эти, напротив, очень крупной породы. Они носят бороду; она у них большею частью длинная и жесткая, как будто из конского волоса; у одних она

покрывает щеки и всю нижнюю часть лица; у других, напротив, растет на самом подбородке. Многие носят большие очки в медной оправе с тесемкой вокруг головы. Кажется, они носят их не от близорукости, а от глазной болезни. В толпе я заметил множество страждущих глазами.

В 1786 году появилось в Едо сочинение японца Ринсифе, под заглавием: "Главное обозрение трех царств", ближайших к Японии – Кореи, Лю-цю (Лю-чу) и Есо (Матсмая). Клапрот как-то достал сочинение, обогатил разными прибавлениями из китайских географий и перевел на французский язык. Между прочим, там о корейцах сказано: "Корейцы роста высокого и сложения гораздо крепче японцев и китайцев и других народов. Замечено, что кореец ест вдвое больше японца. Корейцы отличаются лукавством, леностью, упрямством и не любят усилий".

Гостей посадили за стол и стали потчевать чаем, хлебом, сухарями и ромом. Потом завязалась с ними живая письменная беседа на китайском языке. Они так проворно писали, что глаза не поспевали следить за кистью.

Прежде всего они спросили, "какие мы варвары, северные или южные?" А мы им написали, чтоб они привезли нам кур, зелени, рыбы, а у нас взяли бы деньги за это, или же ром, полотно и тому подобные предметы. Старик взял эту записку, надулся, как петух, и, с комической важностью, с амфазом, нараспев, начал декламировать написанное. Это отчасти напоминало мерное пение наших нищих о Лазаре. Потом, прочитав, старик написал по-китайски в ответ, что "почтенных кур у них нет". А неправда: наши видели кур.

Прочие между тем ели хлеб и пили чай. Один пальцем полез в масло, другой, откусив кусочек хлеба, совал остаток кому-нибудь из нас в рот. Третий выпил две рюмки голого рома, одну за другою, и не поморщился. Прочие трогали нас за платье, за белье, за сапоги, гладили рукой сукно, которое, по-видимому, очень нравилось им. Особенно обратили они внимание на белизну нашей кожи. Они брали нас за руки и не могли отвести от них глаз, хотя у самих руки были слегка смуглы и даже чисты, то есть у высшего класса. У простого, рабочего народа – другое дело: как везде.

Старику повторили, что мы не даром хотим взять провизию, а вот за такие-то вещи. Он прочитал опять название этих вещей, поглядел на нас немного, потом сказал: "Пудди". Что это значит: нельзя? не хочу? Его попросили написать слово это по-китайски. Он написал; вышло: "Не знаю". Думали, что он не понял, и показали ему кусок коленкора, ром, сухари: "Пудди, пудди", – твердил он. Обратились к другому, бойкому и рябому корейцу, который с удивительным проворством писал по-китайски. Он прочитал записку и, сосчитав пальцем все слова в записке, которыми означались материя, хлеб, водка, сказал: "Пудди".

Передали записку третьему: "Пудди, пудди", – твердил тот задумчиво. Отец Аввакум пустился в новые объяснения: старик долго и внимательно слушал, потом вдруг живо замахал рукой, как будто догадался, в чем дело. "Ну, понял наконец", – обрадовались мы. Старик взял отца Аввакума за рукав и, схватив кисть, опять написал: "Пудди". "Ну, видно, не хотят дать", – решили мы и больше к ним уже не приставали.

Вообще они грубее видом и приемами японцев и ликейцев, несмотря на то что у всех одна цивилизация – китайская. Впрочем, мы в Корею не видали людей высшего класса. Говоря о быте этих народов, упомяну мимоходом, между прочим, о существенной разнице во внутреннем убранстве домов китайских с домами прочих трех народов. Китайцы в домах у себя имеют мебель, столы, кресла, постели, табуреты, скамеечки и проч., тогда как прочие три народа сидят и обедают на полу. Оттого эти, чтоб не запачкать пола, который служит им вместе и столом, при входе в комнаты снимают туфли, а китайцы нет.

Корейцы увидели образ Спасителя в каюте; и когда, на вопрос их: "Кто это", успели кое-как отвечать им, они встали с мест своих и начали низко и благоговейно кланяться образу. Между тем набралось на фрегат около ста человек корейцев, так что принуждены были больше не пускать. Долго просидели они и наконец уехали.

Довольно бы и этого. Однако нужно было хоть раз съездить на берег, ступить ногой на корейскую землю. Вчера нас человек шесть-семь отправились в катере к одной из деревень.

У двоих из нас были ружья стрелять птиц, третий взял пару пистолетов. На берегу густая толпа сжалась около нас, стараясь отклонить от деревни. Но мы легко раздвинули их, дав знать, что цель наша была только пройти через деревню в поля, на холмы. Видя, что с нами нечего делать, они предпочли вести нас добровольно, нежели предоставить нам бродить где вздумается. Мы всё хотели идти внутрь села, а они вели нас по окраинам. Впрочем, у нас у самих тотчас же пропала охота углубляться в улицы, шириною в два шага.

Мы шли между двух заборов, грубо сложенных из неровных камней без всякого цемента. Из-за заборов видны были только соломенные крыши и больше ничего. Какая разница в этих заборах с постройками этого рода у ликейцев! Там тщательность, терпение, порядок и искусство; здесь лень, небрежность и неумение. Должно быть, корейцы в самом деле не любят "усилий". Когда мы пытались заглянуть за забор или входили в ворота – какой шум поднимали корейцы! Они даже удерживали нас за полы, а иногда и толкали довольно грубо. Но за это их били по рукам, и они тотчас же смиряться и походили на собак, которые идут сзади прохожих, сгорая желанием кусить, да не смеют.

Они успокоились, когда мы вышли через узенькие переулки в поле и стали подниматься на холмы. Большая часть последовала за нами. Они стали тут очень услужливы, указывали удобные тропинки, рвали нам цветы, показывали хорошие виды.

Мы шли по полям, засеянным пшеницей и ячменем; кое-где, но очень мало, виден был рис да кусты камелий, а то всё утесы и камни. Всё обнажено и смотрит бедно и печально. Немудрено, что жители не могли дать нам провизии: едва ли у них столько было у самих, чтоб не умереть с голоду. Они мочат и едят морскую капусту, выбрасываемую приливом, также ракушки. Сегодня привезли нам десятка два рыб, четыре бочонка воды, да старик вынул из-за пазухи сверток бумаги с сушеными трепангами (род морских слизняков с шишками). Ему подарили кусок синей бумажной материи и примочку для сына, у которого болят глаза.

Погуляв по северной стороне островка, где есть две красивые, как два озера, бухты, обсаженные деревьями, мы воротились в село. Охотники наши застрелили дорогой три или четыре птицы. В селе на берегу разостланы были циновки; на них сидели два старика, бывшие уже у нас, и пригласили сесть и нас. Почти все жители села сбегались смотреть на редких гостей.

Они опять подробно осматривали нас, трогали платье, волосы, кожу на руках; у меня сняли ботинки, осмотрели их, потом чулки, зонтик, фуражку. Разговор шел по-китайски, письменно, чрез отца Аввакума и Гошкевича. "Сколько вам лет?" – спрашивали они кого-нибудь из наших. "Лет 30-40", – отвечали им. "Помилуйте, – заговорили они, – мы думали, вам лет 60 или 70". Это крайне восточный комплимент. "Вам должно быть лет 80, вы мне годитесь в отцы и в деды", – сказать так – значит польстить. Они, между прочим, спросили, долго ли мы останемся. "Если долго, – сказали они, – то мы, по закону нашей страны, обязаны угостить вас, от имени правительства, обедом". Совершенно как у японцев; но им отвечали, что чрез два дня мы уйдем и потому угощения их принять не можем.

В толпе я видел одного корейца с четками в руках: кажется, буддийский бонз. На голове у него мочальная шапка.

5-е апреля.

Вчера случилась маленькая неприятность. Трое из наших отправились на берег. Толпа корейцев окружила их и не пускала идти от берега далее. Они грозили им и даже толкали их в ров. Наши воротились на фрегат, но отправились обратно уже в сопровождении вооруженных матросов; надо было прибегнуть к мерам строгости. Сегодня старик приехал рано утром и написал предлинное извинение, говоря, что он огорчен случившимся; жалеет, что мы не можем указать виновных, что их бы наказали весьма строго; просил не сердиться и

оправдывался незнанием корейцев о том, что делается "внутри четырех морей", то есть на белом свете. Его и товарищей, бывших с ним, угостили чаем, водкой и сухарями и простились с ними надолго, если не навсегда.

В самом деле им неоткуда знать, что делается "внутри четырех морей". Европейцы почти не посещали Корею. Последний был здесь Бельчер, кажется, в 1842 году. Это отважный путешественник и бойкий писатель: он живо описывает свои путешествия. Он два раза обошел вокруг земли и теперь странствует в полярных странах. Путешествия его – ряд приключений, одно занимательнее другого. Чего с ним не было? Никто столько не выдерживал штормов; в ураган он должен был срубить в Гонконге мачты; где-то на Борнео его положило на бок, и он, недели в три, без посторонней помощи, встал опять. Это настоящий морской волк. Кроме того, он увлекательно рассказывает свои приключения. Он всюду совался с своим фрегатом; между прочим, заходил и в Корею, описал островок Гамильтон, был на соседнем большом острове Квельпарт, где, говорит он, есть города, крепости и большое народонаселение.

Кругом нас по горизонту везде разбросаны острова. Корейский архипелаг неисчислим. Корея еще представляет обширную, почти нетронутую почву для мореходцев, купцов, миссионеров и ученых.

Наконец мы, более или менее, видели четыре нации, составляющие почти весь крайний восток. С одними имели ежедневные и важные сношения, с другими познакомились поверхностно, у третьих были в гостях, на четвертых мимоходом взглянули. Все четыре народа принадлежат к одному семейству если не по происхождению, как уверяют некоторые, производя, например, японцев от курильцев, то по воспитанию, этому второму рождению, по культуре, потом по нравам, обычаям, отчасти языку, вере, одежде и т. д.

Все эти народы образуют одну общую физиономию, характер, склад ума – словом, общую нравственную жизнь в главных ее чертах, но с бесчисленными оттенками, которыми один народ отличается от другого. Но что это за физиономия! что за жизнь! Я с большей отрадой смотрел на кафров и негров в Африке, на малайцев по островам Индийского океана, но с глубокой тоской следил в китайских кварталах за общим потоком китайской жизни, наблюдал подробности и попадавшие мне ближе личности, слушал рассказы других, бывалых и знающих людей. Кафры, негры, малайцы – нетронутое поле, ожидающее посева; китайцы и их родственники японцы – истощенная, непроходимо заглохшая нива. Китайцы – старшие братья в этой семье; они наделили цивилизацией младших. Вы знаете, что такое эта цивилизация, на чем она остановилась, как одряхлела и разошлась с жизнью и парализует до сих пор все силы огромного народонаселения юго-восточной части азиатского материка с японскими островами.

Что может оживить эту истощенную почву? какие новые силы нужно, чтоб вновь дать брожение огромной, перегнившей массе сил? Вспомните, сколько различных элементов столпилось на нашем маленьком европейском материке, когда старые соки перебродились, сколько новых жил открылось и впустило туда свежей и молодой крови? Теперь посмотрите, какая работа кипит ближе к нам, чтоб растолкать уснувший и обессиливший Восток от Босфора до Аравийского залива. Что это перед здешней массой народонаселения? Однако работа начинается, но трудная и пока неблагоприятная. Она началась выбрасыванием старых, сгнивших корней, сорных трав.

Нельзя было Китаю жить долее, как он жил до сих пор. Он не шел, не двигался, а только конвульсивно дышал, пав под бременем своего истощения. Нет единства и целостности, нет условий органической государственной жизни, необходимой для движения такого огромного целого. Политическое начало не скрепляет народа в одно нераздельное тело, присутствие религии не согревает тела внутри.

У китайцев нет национальности, патриотизма и религии – трех начал, необходимых для непогрешительного движения государственной машины. Есть китайцы, но нации нет; в их языке нет даже слова "отечество", как сказывал мне один наш синолог.

Всё это странно, хотя не совсем ново, если вспомнить браминскую Индию и языческий

Египет: они одряхлели, и надо было занять им сил и жизни у других, как истощенному полю нужно переменить посев. Вы знаете, что сделалось или что делается с Индией; под каким посевом и как трудно возрождается это поле для новых всходов, и Египет тоже. Китай дряхлее их обоих и, следовательно, еще менее подает надежды на возрождение сам собой. Напутствованные на жизнь немногими, скоро оскудевшими при развитии жизненных начал, нравственными истинами китайцы едва достигли отрочества и состарелись. В них успело развиться и закоренеть индивидуальное и семейное начало и не дозрело до жизни общественной и государственной или если и созрело когда-нибудь, то, может быть, затерялось в безграничном размножении народной массы, делающем невозможною – ни государственную, ни какую другую централизацию.

После семейства китаец предан кругу частных своих занятий. Нигде так не применима русская пословица: "До Бога высоко, до царя далеко", как в Китае, нужды нет, что богдыхан собственноручно запахивает каждый год однажды землю, экзаменует ученых и т. п. Китайцы знают, что это шутка и что между правительством и народом лежит бездна. Законов, правда, множество, а исполнителей их еще больше, но и это опять-таки шутка, комедия, сознательно разыгрываемая обеими сторонами. Законы давно умерли, до того разошлись с жизнью, что место их заступила целая система, своего рода тариф оплаты за отступления от законов. Оттого китаец делает что хочет: если он чиновник, он берет взятки с низших и дает сам их высшим; если он солдат, он берет жалованье и ленится и с поля сражения бежит: он не думает, что он служит, чтобы воевать, а чтоб содержать своё семейство. Купец знает свою лавку, земледелец – поле и тех, кому сбывает свой товар. Все они действуют без соображений о целостности и благе государства, оттого у них нет ни корпораций, нет никаких общественных учреждений, оттого у них такая склонность к эмиграции. Провинции мало сообщаются между собою; дорог почти нет, за исключением рек и несколько каналов. Если надо везти товар, купец нанимает людей и кое-как прокладывает себе тропинку. Затем уже китайцы равнодушны ко всему. На лице апатия или мелкие будничные заботы. Да и о чем заботиться? Двигаться вперед не нужно: всё готово...

От Бога китайцы еще дальше, нежели от царя. Последователи древней китайской религии не смеют молиться небесным духам: это запрещено. Молится за всех богдыхан. А буддисты нанимают молиться бонз и затем уже сами в храмы не заглядывают.

В науке и искусстве отразилась та же мелочность и неподвижность. Ученость спокон века одна и та же; истины написаны раз, выучены и не изменяются никогда. У ученых перемололся язык; они впали в детство и стали посмешищем у простого, живущего без ученых, а только здравым смыслом народа. Художники корпят над пустяками, вырезают из дерева, из ореховой скорлупы свои сады, беседки, лодки, рисуют, точно иглой, цветы да разноцветные платья, что рисовали пятьсот лет назад. Занять иных образцов неоткуда. Все собственные источники исчерпаны, и жизнь похожа на однообразный, тихо по капле льющийся каскад, под журчанье которого дремлет, а не живет.

Но я гулял по узкой тропинке между Европой и Китаем и видал, как сходятся две руки: одна, рука слепца, ищет уловить протянутую ей руку зрячего; я гулял между европейскими домами и китайскими хижинами, между кораблями и джонками, между христианскими церквами и кумирнями.

Работа кипит: одни корабли приходят с экземплярами Нового завета, курсами наук на китайском языке, другие с ядами всех родов, от самых грубых до тонких. Я слышал выстрелы: с обеих сторон менялись ядрами. Что будет из всего этого? Что привьется скорее: спасение или яд – неизвестно, но во всяком случае реформа начинается. Инсургенты уже идут тучей восстанавливать старую, законную династию, называют себя христианами, очень сомнительными, конечно, какими-то эклектиками; но наконец поняли они, что успех возможен для них не иначе как под знаменем христианской цивилизации, – и то много значит. Они захватили христианство, и с востока и с запада, от католических монахов, и от протестантов, и от бродяг, пробравшихся чрез азиатский материк.

Японцы народ более тонкий и, пожалуй, более развитой: и немудрено – их вдесятеро

меньше, нежели китайцев. Притом они замкнуты на своих островах – и для правительственной власти не особенно трудно стройно управлять государством. Там хитро созданная и глубоко обдуманная система государственной жизни несокрушима без внешнего влияния. И все зависит от этой системы, и самая верховная власть. Она первая падет, если начнет сокрушать систему. Китайцы заразили и их, и корейцев, и ликейцев своею младенчески старческою цивилизациею и тою же системою отчуждения, от которой сами, живучи на материке, освободились раньше. Японцы надежнее китайцев к возделанию; если падет их система, они быстро очеловечатся, и теперь сколько залогов на успех! Молодые сознают, что всё свое перебродилось у них и требует освежения извне.

Японец имеет общее с китайцем то, что он тоже эгоист, но с другой точки зрения: как у того нет сознания о государственном начале, о центральной, высшей власти, так у этого, напротив, оно стоит выше всего; но это только от страха. У него сознание это происходит не из свободного стремления содействовать общему благу и проистекающего от того чувства любви и благодарности к той власти, которая несет на себе заботы об этом благе. Ему просто страшно; он всегда боится чего-нибудь: промаха с своей стороны или клеветы, и боится неминуемого, следующего затем наказания. Он знает, что правительственная система действует непогрешительно, что за ним следят и смотрят строго и что ему не избежать кары. Китаец не много заботится об этом, потому что эта система там давно подорвана равнодушием к общему благу и эгоизмом; там один не боится другого: подчиненный, как я сказал выше,

Что касается ликейцев, то для них много пятнадцати-двадцати лет, чтоб сбросить свои халаты и переменить бамбуковые палки и веера на ружья и сабли и стать людьми, как все. Их мало; они слабы; оторвись только от Японии, которой они теперь еще боятся, – и всё быстро изменится, как изменилось на Сандвичевых островах например.

Вот какие мысли приходили мне в голову, когда, вспоминая читанное и слышанное о Китае, я вглядывался в житье-бытье этих народов! Может быть, синологи, особенно синофилы, возразят многое на это, но я не выдаю сказанного за непременною истину. Мне так казалось...

Завтра снимаемся с якоря и идем на неделю в Нагасаки, а потом, мимо корейского берега, к Сахалину и далее, в наши владения. Теперь рано туда: там еще льды. Здесь даже, на южном корейском берегу, под 34-м градусом «северной» широты, так холодно, как у нас в это время в Петербурге, тогда как в этой же широте на западе, на Мадере например, в январе прошлого года было жарко. На то восток.

Я забыл сказать, что 2-го же апреля, в один день с нами, пришел на остров Гамильтон и наш транспорт. Новости из Европы всё те же, что мы получили и в Маниле, зато из Шанхая много нового. Я предвидел, что без вмешательства европейцев не обойдется; так и вышло: войска Таутая Самква наделали беспорядков. Это куча сволочи без дисциплины; скорее разбойники, нежели войска. В Шанхае стало небезопасно ходить по вечерам: из лагеря приходили в европейский квартал кучами солдаты и нападали на прохожих; между прочим, они напали на одного англичанина, который вечером гулял с женой. Они потащили леди в лагерь; англичанин стал защищать жену и получил одиннадцать ран, между прочим одну довольно опасную. К нему подоспели на помощь другие европейцы и прогнали негодяев. Это подняло на ноги всех англичан, моряков и молодых конторщиков. Они вооружились винтовками, пистолетами, даже взяли одно орудие и отправились к лагерю, бросили в него несколько гранат и многих убили.

Потом все европейские консулы, и американский тоже, дали знать Таутая, чтоб он снял свой лагерь и перенес на другую сторону. Теперь около осажденного города и европейского квартала всё чисто. Но европейцы уже не считают себя в безопасности: они ходят не иначе как кучами и вооруженные. Купцы в своих конторах сидят за бюро, а подле лежит заряженный револьвер. Бог знает, чем это всё кончится.

Сегодня хотели сняться, да ветер противный. Мы говеем: теперь Страстная неделя.

Снялись на другой день, 7-го апреля, в 3 часа пополудни, а 9-го, во втором часу,

бросили якорь на нагасакском рейде. Переход был отличный, тихо, как в реке. Японцы верить не хотели, что мы так скоро пришли; а тут всего 180 миль расстояния.

Оппер-баниос Ойе-Саброски захохотал, частью от удовольствия, частью от глупости, опять увидя всех нас. Кичибе по-прежнему приседал, кряхтел и заливался истерическим смехом, передавая нам просьбу нагасакского губернатора не подъезжать на шлюпках к батареям. Он также, на вопрос наш, не имеет ли губернатор объявить нам чего-нибудь от своего начальства, сказал, что "из Едо... ответа... nicht erhalten, не получено".

Другой переводчик, Эйноске, был в Едо и возился там "с людьми Соединенных Штатов". Мы узнали, что эти "люди" ведут переговоры мирно; что их точно так же провожают в прогулках лодки и не пускают на берег и т. п. Еще узнали, что у них один пароход приткнулся к мели и начал было погружаться на рейде; люди уже бросились на японские лодки, но пробитое отверстие успели заткнуть. Американцы в Едо не были, а только в его заливе, который мелководен, и на судах к столице верст за тридцать подойти нельзя.

Между тем в Маниле, в английской или американской газете, я видел рисунки домов и храмов в Едо, срисованных будто бы офицером с эскадры Перри, срисованных, забыли прибавить, с картинок Зибольда. Не говорю уже о том, как раскудахтались газеты об успехах американцев в Японии, о торговом трактате. Им открыли три порта – это может быть, даже вероятно, правда: открыли порты для снабжения водой, углем, провизией; но от этого до настоящей, правильной торговли еще не один шаг. Что, если б мы заголосили о своих успехах в Японии и представили их в квадрате? ведь вышло бы, что уж давно и торгуем там.

Провизию губернатор решил доставлять сам, а не чрез голландцев, и притом без платы; всё это затем, чтоб доставка провизии как можно менее походила на торговлю. Японцам страх хотелось поправить первый свой промах; словом, он хотел мерами своими против нас выслужиться у своего начальства. Это был второй губернатор, Мизно Чикого-но ками-сама, который до сих пор действовал как под опекой первого, Овосавы Бунго-но ками-сама. Тот уехал с полномочиями в Едо, а этому хотелось показать, что он и один умеет распорядиться. Но ему объявили, что провизию мы желаем получать по-прежнему, то есть с платою, чрез голландцев, а если прямо от японцев, то не иначе как чтоб и они принимали каждый раз равноценные подарки.

Такой способ перепугал губернатора, потому что походил на меновую торговлю непосредственно с самими японцами. Нечего было делать: его превосходительство прислал сказать, что переводчики перепутали – это обыкновенная их отговорка, когда они попробуют какую-нибудь меру и она не удастся, – что он согласен на доставку провизии голландцами по-прежнему и просит только принять некоторое количество ее в подарок, за который он готов взять контр-презент. Он не упомянул ни слова о том, что вчера японские лодки вздумали мешать кататься нашим шлюпкам и стали теснить их. Наши отталкивались, пока могли, наконец Зеленый врезался с своей шлюпкой в середину их лодок так, что у одной отвалился нос, который и был привезен на фрегат.

Ночью в первом часу приехал Ойе-Саброски объясниться по этому случаю.

Нагасаки на этот раз смотрели как-то печально. Зелень на холмах бледная, на деревьях тощая, да и холодно, нужды нет, что апрель, холоднее, нежели в это время бывает даже у нас, на севере. Мы начинаем гулять в легких пальто, а здесь еще зимний воздух, и Кичибе вчера сказал, что теплее будет не раньше как через месяц.

Сегодня 11-е апреля – Пасха; была служба как следует: собрались к обедне со всех трех судов; потом разгавливались. Выписали яиц из Нагасаки, выкрасили и христосовались. На столе появились окорока, ростбифы, куличи – праздник как праздник, точно на берегу!

12-го апреля, кучами возят провизию. Сегодня пригласили Ойе-Саброски и переводчиков обедать, но они вместо двух часов приехали в пять. Я не видал их; говорят, ели много. Ойе ел мясо в первый раз в жизни и в первый же раз, видя горчицу, вдруг, прежде нежели могли предупредить его, съел ее целую ложку: у него покраснел лоб и выступили слезы. Губернатору послали четырнадцать аршин сукна, медный самовар и бочонок

солонины, вместо его подарка. Послезавтра хотят сниматься с якоря, идти к берегам Сибири.

14-е.

Вчера привезли остальную провизию и прощальные подарки от губернатора: зелень, живность и проч. Японцы пили у адмирала чай. Им показывали, как употребляют самовары, которых подарили им несколько.

Вечером наши матросы плясали и пели. С лодок набралось много простых японцев, гребцов и слуг; они с удивлением, разинув рты, смотрели, как двое, рулевой, с русыми, загнутыми кверху усами и строгим, не улыбающимся лицом, и другой, с черными бакенбардами, пожилой боцман, с гремушками в руках, плясали долго и неистово, как будто работали трудную работу. Один, устав, останавливался как вкопанный; другой в ту же минуту начинал припрыгивать, сначала тихо, потом всё скорее и скорее, глядя вниз и переставляя ноги, одну вместо другой, потом быстро падал и прыгал вприсядку, изредка вскрикивая; хор пел: прочие все молча и серьезно смотрели. Японцы не отходили. По окончании и они также молча, без улыбки разошлись, как и самые певцы и плясуны.

15-е.

Вчера один японец увидел у меня сигарочницу из манильской соломы; он долго любовался ею. Я предложил ее в подарок ему; он сначала отнекивался, потом, по моему настоянию, взял и положил за пазуху. Мы с Посыетом удивились, как это он решился взять, да еще при других. Но скоро перестали удивляться: воротясь в каюту, мы нашли сигарочницу на диване, на котором сидели японцы. Скучный народ: нельзя ничего спросить – соврут или промолчат. Заболел Кичибе и не приехал. Мы спросили, чем он болен. Сын его сказал, что у него желудок расстроен, другой японец – что голова болит, третий – ноги, а сам он на другой день сказал, что у него болело горло: и в самом деле он кашлял. Первое движение у них, когда их о чем-нибудь спросишь, не сказать, второе – солгать, как у Талейрана, который не советовал следовать первому движению сердца, потому что оно иногда бывает хорошо. Мы спросили раз: какой у них первый по торговле город? "Осаки", – отвечали они, второй Ясико (на западном берегу Нифона), третий Миако, четвертый... Вдруг они спохватились, что уж и так много сказали, и робко замолчали. Стал я показывать Саброски стереоскоп. "Хочешь видеть японский пейзаж?" – спросил я его чрез переводчика смесью немецкого, английского и голландского языков и показал какой-то, взятый, кажется, из Зибольда вид. "Фирандо, Фирандо!" – с удивлением заметил переводчик гейстра, или иначе Нарбайоси 1-й. Фирандо – местечко, где прежде торговали португальцы и испанцы; оно лежит западнее Нагасаки. Ойе, с сердцем, быстро что-то проговорил ему, и тот боязливо замолчал. Всюду, и в мелочах, систематическая ложь и скрытность, основанная на постоянном страхе, чтоб не проложили пути в Японию. Мне всё слышится ответ французского епископа, когда говорили в Маниле, что Япония скоро откроется: "coups des canons, messieurs, coups des canons", – заметил он.

Сегодня опять японцы взяли контр-презенты и уехали. Мы в эту минуту снимаемся с якоря. Шкуна идет делать опись ближайшим к Японии островам, потом в Шанхай, а мы к берегам Сибири; но прежде, кажется, хотят зайти к корейским берегам. Транспорт идет с нами. В Едо послано письмо с приглашением полномочным прибыть в Аниву для дальнейших переговоров.

Я забыл сказать, что губернатор ужасно обрадовался, когда объявили ему, что мы уходим. Он, с радости, прислал в подарок от себя множество картофеля, рыбы, лакированный стол и ящик. Его отдалили столовыми часами. Но всего важнее был ему подарок, когда, уходя, послали сказать, что идем не в Едо. "Скоро ли воротитесь домой?" – спросил меня Ойе. Ему хотелось поймать меня врасплох. "Когда кончатся дела в Японии", – отвечал я. "А вы когда в Едо, к жене?" – "Не знаю, не назначено", – сказал он. Лжет: верно

знает и час, и день, и минуту своего отъезда; но нельзя сказать правды, а почему – вот этого он, может быть, в самом деле не знает. Лганье не приносит японцам никакой пользы, потому что им в возврат лгут еще больше; иначе нельзя. Только лишь мы пришли, они приступили с расспросами: где мы были, откуда теперь, на какие берега выходили и т. п. Им сказали, что были на Лю-чу да в Батане. И вот они давай искать, где это Батан, и вчера сознались, что не могут найти на карте и просят показать. На генеральных картах этот остров не назван по имени; вся группа называется общим именем Баши. Им показали на морской карте. Они срисовали фигуру острова, затем конечно, чтоб подробно донести в Едо. И так взаимной лжи конца не будет. Видя их подозрительность и старинную ненависть к испанцам, им не сказали, что мы были в Маниле: Бог знает, какое заключение вывели бы они о нашем посещении Люсона.

Третьего дня, однако ж, говоря о городах, они, не знаю как, опять проговорились, что Ясико, или Ессико, лежащий на западном берегу острова Нифона, один из самых богатых городов в Японии, что находящийся против него островок Садо изобилует неистощимыми минеральными богатствами. Адмирал хочет теперь же, дорогой, заглянуть туда.

16-е.

Вот уж другие сутки огибаем острова Гото с окружающими их камнями. Делают опись берегам, но течение мешает: относит в сторону. Недаром у китайцев есть поговорка: хороши японские товары, да трудно обойти Гото. Особенно для их судов – это задача. Всех островов Гото, кажется, пять.

Штиль, погода прекрасная: ясно и тепло; мы лавируем под берегом. Наши на Гото пеленгуют берега. Вдали видны японские лодки; на берегах никакой растительности. Множество красной икры, точно толченный кирпич, пятнами покрывает в разных местах море. Икра эта сияет по ночам нестерпимым фосфорическим блеском. Вчера свет так был силен, что из-под судна как будто вырывалось пламя; даже на парусах отражалось зарево; сзади кормы стелется широкая огненная улица; кругом темно; невстревоженная вода не светится.

18-е.

Прошли остров Чусима. С него в хорошую погоду видно и на корейский, и на японский берега. Кое-где плавали рыбацкие лодчонки, больше ничего не видать; нет жизни, всё мертво на этих водах. Японцы говорят, что корейцы редко, только случайно, заходят к ним, с товарами или за товарами.

А какое бы раздолье для европейской торговли и мореплавания здесь, при этой близости Японии от Кореи и обеих стран от Шанхая! Корея от Японии отстоит где миль на сто, где дальше, к северу, на сто семьдесят пять, на двести, то есть на сто семьдесят пять, на триста и на триста пятьдесят верст, а от Японии до Шанхая семьсот с небольшим верст. Из Англии в Японию почта может ходить в два месяца чрез Ост-Индию. Скоро ли же и эти страны свяжутся в одну цепь и будут посылать в Европу письма, товары и т. п.? Что за жизнь кипела бы тут, в этих заливах, которыми изрезаны японские берега на Нипоне и на Чусиме, дай только волю морским нациям!

Сегодня, 19-го, штиль вдруг превратился почти в шторм; сначала налетел от НО шквал, потом задул постоянный, свежий, а наконец и крепкий ветер, так что у марселей взяли четыре рифа. Качка сделалась какая-то странная, диагональная, очень неприятная: и

привычных к морю немного укачало. Меня все-таки нет, но голова немного заболела, может быть, от этого. Вечером и ночью стало тише.

Вчера и сегодня, 20-го и 21-го, мы шли верстах в двух от Корейского полуострова; в 36№ «северной» широты. На юте делали опись ему, а смотреть нечего: всё пустынные берега, кое-где покрытые скудной травой и деревьями. Видны изредка деревни: там такие же хижины и так же жмутся в тесную кучу, как на Гамильтоне. Кое-где по берегу бродят жители. На море много лодок, должно быть рыбацкие.

Часов в пять вечера стали на якорь в бухте. Говорят, карты корейского берега – а их всего одна или две – неверны. И в самом деле вдруг перед нами к северу вырос берег, а на карте его нет. Ночью признано неудобным идти далее у неизвестных берегов, и мы остановились до рассвета. Ветер был попутный к северу; погода теплая и солнечная. Один из наших катеров приставал к берегу: жители забегали, засуетились, как на Гамильтоне, и сделали такой же прием, то есть собрались толпой на берег с дубьем, чтоб не пускать, и расступились, когда увидели у некоторых из наших ружья. Они написали на бумаге по-китайски: "Что за люди? какого государства, города, селения? куда идут?" На катере никто не знал по-китайски и написали им по-русски имя фрегата, год, месяц и число. Жители знаками спрашивали, не за водой ли мы пришли. Отвечали, что нет. Так и разошлись.

25-е.

Корейский берег, да и только. Опись продолжается, мы уж в 39№ «северной» широты; могли бы быть дальше, но ветра двое сутки были противные и качали нас по-пустому на одном месте. Берега скрывались в тумане. Вчера вдруг показались опять.

Про Корею пишут, что, от сильных холодов зимой и от сильных жаров летом, она бесплодна и бедна. Кажется, так, по крайней мере берега подтверждают это как нельзя больше. Берег с 37е пошел гористый; вдали видны громады пиков, один другого выше, с такими сморщенными лбами, что смотреть грустно. По вершинам кое-где белеет снег или песок; ближайший к морю берег низмен, песчан, пуст; зелень – скудная трава; местами кусты; кое-где лепятся деревеньки; у берегов уныло скользят изредка лодки: верно, добывают дневное пропитание, ловят рыбу, трепангов, моллюсков.

Сегодня вдруг одна из лодок направилась к нам. На ней сидело человек семь корейцев, все в своих грязно-белых халатах, надетых на такие же куртки или камзолы. На всех были того же цвета шаровары на вате; один в шляпе. Издали мы слышали их крики. Им дали знать, чтоб они вошли на палубу; но когда они вошли, то мы и не рады были посещению. Объясниться с ними было нельзя: они не умели ни говорить, ни писать по-китайски, да к тому же еще все пьяны. Матросы кучей окружили их и делали разные замечания, глядя на их халаты и собранные в пучок волосы. "Хуже литвы!" – слышу я, говорит один матрос. "Чего литвы: хуже черкес! – возразил другой, – этакая, подумаешь, нация!" Им дали сухарей, и они уехали. Один из них, уходя, обнял и поцеловал О. А. Гошкевича, который пробовал было объясниться с ними по-китайски. Мы засмеялись, а бедный Осип Антонович не знал, как стереть следы непрошеной нежности.

У нас идет деятельная поверка карты Броутона, путешествовавшего в конце прошлого столетия вместе с Ванкувером, только на другом судне. Ванкувер описывал западные берега Америки, Броутон ходил у азиатского материка. Он разбился у островов Меджикосима, близ Ликейских островов, спасся и был хорошо принят жителями. Карта его неверна: беспрестанно надо поправлять, так что фигура Кореи должна значительно измениться против обыкновенно показываемой до сих пор на картах. Искали всё глубокой, показанной у Броутона бухты, но под той широтой, под которой она у него назначена, не нашли. Зато вчера, севернее против карты, открылся большой залив. Входя в него, не подозревали, до какой степени он велик. Он весь уставлен островками. По мере того как мы двигались,

открывались всё новые, меньшие заливы; глубина везде прекрасная. Войдя в середину залива, в шхеры, мы бросили якорь. Моря уже не видать: оно со всех сторон заперто берегами; от волнения безопасно, а бассейн огромный. Здесь поместятся целые военные и купеческие флоты. Со всех сторон глядят на нас мысы, там и сям видны маленькие побочные заливы, скалы и кое-где брошенные в одиночку голые камни. Всё это немного похоже на Нагасаки, только берега не так зелены и не так унылы, как кажутся издали. Зелень, кажущаяся миля за две, за три скудным мохом, оказалась вблизи деревьями и кустами. Много зеленых посевов, кое-где деревеньки, то на скатах гор, то у отмелей, близ самых берегов.

Сегодня, часу в пятом после обеда, мы впятером поехали на берег, взяли с собой самовар, невод и ружья. Наконец мы ступили на берег, на котором, вероятно, никогда не была нога европейца. Миссионерам сюда забираться было незачем, далеко и пусто. Броутон говорит или о другой бухте, или если и заглянул сюда, то на берег, по-видимому, не выходил, иначе бы он определил его верно.

Шлюпка наша остановилась у подошвы высоких холмов, на песчаной отмели. Тут, на шестах, раскинуты были сети для рыбы; текла речка аршина в два шириною. Весь берег усеян раковинами. Кроме сосны около деревень росли разные деревья, которых я до сих пор нигде еще не видал. У одного зелень была не зеленая, а пепельного цвета, у другого слишком зеленая, как у молодого лимонного дерева, потом были какие-то совсем голые деревья с иссохшим серым стволом, с иссохшими сучьями, как у проклятой смоковницы, но на этом сером стволе и сучьях росли другие, посторонние кусты самой свежей весенней зелени. Красиво, но и странно: неестественность, натяжка, точно нарумяненная и разряженная старуха!

К сожалению, с нами не было никого из наших любителей-натуралистов и некого было спросить об этих деревьях. Мы шли по вязкому песку прилива к хижинам, которые видели под деревьями. Жители между тем собирались вдали толпой; четверо из них, и, между прочим, один старик, с длинным посохом, сели рядом на траве и, кажется, готовились к церемониальной встрече, к речам, приветствиям или чему-нибудь подобному. Все младенцы человечества любят напыщенность, декорации и ходули. Но мы, бегло взглянув на них и кивнув им головой, равнодушно прошли дальше по берегу к деревне. Какими варварами и невежами сочли они нас! Они забыли всякую важность и бросились вслед за нами с криком и, по-видимому, с бранью, показывая знаками, чтобы мы не ходили к деревням; но мы и не хотели идти туда, а дошли только до горы, которая заграждала нам путь по берегу.

Мы видели, однако ж, что хижины были обмазаны глиной, не то что в Гамильтоне; видно, зима не шутит здесь; а теперь пока было жарко так, что мы сняли сюртуки и шли в жилетах, но всё нестерпимо, хотя солнце клонилось уже к западу. Корейцы шли за нами. Рослый, здоровый народ, атлеты с грубыми, смугло-красными лицами и руками: без всякой изнеженности в манерах, без изысканности и вкрадчивости, как японцы, без робости, как лиейцы, и без смышленности, как китайцы. Славные солдаты вышли бы из них: а они заражены китайской ученостью и пишут стихи! Отец Аввакум написал им на бумажке по-китайски, что мы, русские, вышли на берег погулять и трогать у них ничего не будем. Один из них прочитал и сам написал вопрос: "Русские люди, за каким делом пришли вы в наши края, по воле ветров, на парусах? и всё ли у вас здорово и благополучно? Мы люди низшие, второстепенные, видим, что вы особые, высшие люди". И всё это в стихах.

Я ушел с бароном Крюднером вперед и не знаю, что им отвечали. Корейцы окружили нас тотчас, лишь только мы остановились. Они тоже, как жители Гамильтона, рассматривали с большим любопытством наше платье, трогали за руки, за голову, за ноги и живо бормотали между собою.

Между тем наши закинули невод и поймали одну камбалу, одну морскую звезду и один трепанг. Вдруг подул сильный норд-вест и повеял таким холодом и так быстро сменил зной, что я едва успел надеть сюртук. Горы покрылись разорванными клочьями облаков, вода закипела, волны глухо зашумели.

Около нас во множестве летали по взморью огромные утки, красноносые кулики,

чайки, голуби и много мелкой дичи. То там, то сям раздавались выстрелы, и к вечеру за ужином явилось лишнее и славное блюдо. Я подумывал, однако ж, как бы воротиться поскорее на фрегат: приготовлений к чаю никаких еще не было, а солнце уже закатывалось. У нас не было ничего, кроме сюртуков, а холод настал такой, что впору одеться в мех. По лугу паслись лошади, ростом с жеребят, между тем это не жеребята, а взрослые. Мы видели следы рогатого скота, колеи телег: видно, что корейцы домовитые люди.

Я пошел берегом к баркасу, который ушел за мыс, почти к морю, так что пришлось идти версты три. Вскоре ко мне присоединились барон Шлипенбах и Гошкевич, у которого в сумке шевелилось что-то живое: уж он успел набрать всякой всячины; в руках он нес пучок цветов и травы.

Наконец завидели баркас и пришли, когда он подымал уже верп и готовился отвалить. Мы были по крайней мере верстах в трех от фрегата. Луна взошла, но туман был так силен, что фрегат то пропадал из глаз, то вдруг появлялся; не раз мы его совсем теряли из виду и тогда правили по звездам, но и те закрывались. Мы плыли в облаке, которое несло с неимоверной быстротою, закрывая горы, берега, воду, наконец, небо и луну. Сырость ужасная: фуражки и сюртуки были мокрые. На берегу мелькнул яркий огонь: упрямые товарищи наши остались пить чай.

Полтора часа тащились мы домой. С каким удовольствием уселись потом около чайного стола в каюте! Тут Гошкевичу торжественно принесли змею, такую большую, какой, за исключением удавов, мы не видали: аршина два длины и толстая. Она шевелилась в жестяном ящике; ее хотели пересадить оттуда в большую стеклянную банку со спиртом; она долго упрячилась, но когда выгнали, то и сами не рады были: она вдруг заскользила по полу, и ее поймали с трудом. Матрос нашел ее в кусте, на котором сидели еще аист и сорока. Зачем они собрались – неизвестно; может быть, разыгрывали какую-нибудь не написанную Крыловым басню.

28-е.

Сегодня туман не позволил делать промеров и осматривать берега. Зато корейцев целая толпа у нас. Мне видно из своей каюты, какие лица сделали они, когда у нас заиграла музыка. Один, услышав фортепиано в каюте, растянулся, от удивления, на полу.

С 1-го мая. Японское море и берег Кореи.

Наши съезжали всякий день для измерения глубины залива, а не то так поохотиться; поднимались по рекам внутрь, верст на двадцать, искали города. Я не участвовал в этих прогулках: путешествие – это книга; в ней останавливаешься на тех страницах, которые больше нравятся, а другие пробегаешь только для общей связи. "Как, новые, неисследованные места: да это находка! скоро совсем не будет таких мест", – скажут мне. И слава Богу, что не будет. Скучно с этими детьми. Притом корейцы не совсем новость для нас. Я выше сказал, что они моральную сторону заняли у китайцев; не знаю, кто дал им вещественную. Увидишь одну-две деревни, одну-две толпы – увидишь и всё: те же тесные кучи хижин, с вспаханнами полями вокруг, те же белые широкие халаты на всех, широкие скулы, носы, похожие на трефовый туз, и клочок как будто конских волос вместо бороды да разинутые рты и тупые взгляды; пишут стихами, читают нараспев. На чем же тут долго останавливаться?

Если б еще можно было свободно проникнуть в города, посмотреть других жителей, их

быт, а то не пускают. В природе нет никаких ярких особенностей: местность интересна настолько или потолику, сказал бы ученый путешественник, поколику она нова, как всякая новая местность.

Одну особенность заметил я у корейцев: на расспросы о положении их страны, городов они отвечают правду, охотно рассказывают, что они делают, чем занимаются. Они назвали залив, где мы стояли, по имени, также и все его берега, мысы, острова, деревни, сказали даже, что здесь родина их нынешнего короля; еще объявили, что южнее от них, на день езды, есть место, мимо которого мы уже прошли, большое и торговое, куда свозятся товары в государстве. "Какие же товары?" – спросили их. Хлеб, то есть пшеница, рис, потом металлы: железо, золото, серебро, и много разных других продуктов.

Даже на наши вопросы, можно ли привезти к ним товары на обмен, они отвечали утвердительно. Сказали ли бы всё это японцы, ликейцы, китайцы? – ни за что. Видно, корейцы еще не научены опытом, не жили внешнею жизнью и не успели выработать себе политики. Да лучше если б и не выработали: скорее и легче переступили бы неизбежный шаг к сближению с европейцами и к перевоспитанию себя.

Впрочем, мы видели только поселян и земледельцев; высшие классы и правительство конечно имеют понятие о государственных сношениях, следовательно и о политике: они сносятся же с китайцами, с японцами и с ликейцами. Образ европейских сношений и жизни конечно им неизвестен. Здесь сказали нам жители, что о русских и о стране их они никогда не слыхивали. Мы не обиделись: они не слыхивали и об англичанах, и о французах тоже. Да спросите у нас, в степи где-нибудь, любого мужика, много ли он знает об англичанах, испанцах или итальянцах? не мешает ли он их под общим именем немцев, как корейцы мешают все народы, кроме китайцев и японцев, под именем варваров? Впрочем, корейцы должны иметь понятие о нас, то есть не здешние поселяне, а правительство их. Корейцы бывают в Пекине: наши, отец Аввакум и Гошкевич, видали их там и даже, кажется, по просьбе их что-то выписывали для них из России.

Здесь же нам сказали, что в корейской столице есть что-то вроде японского подворья, на котором живет до трехсот человек японцев; они торгуют своими товарами. А японцы каковы? На вопрос наш, торгуют ли они с корейцами, отвечали, что торгуют случайно, когда будто бы тех занесет бурей к их берегам.

Корейцы называют себя, или страну свою, Чаосин или Чаусин, а название Корея принадлежит одной из их старинных династий.

Мне кажется, всего бы удобнее завязывать сношения с ними теперь, когда они еще не закоренели в недоверчивости к европейцам и не заперлись от них и когда правительство не приняло сильных мер против иностранцев и их торговли. А народ очень склонен к мене. Как они бросились на стеклянную посуду, на медные пуговицы, на фарфор – на всё, что видели! На наши суконные сюртуки у них так и разбегались глаза; они гладили сукно, трогали сапоги. За пустую бутылку охотно отдавали свои огромные тростниковые шляпы. Все у нас наменяли этих шляп. Вон Фаддеев и мне выменял одну, как я ни упрашивал его не делать этого, и повесил в каюте. "У всех господ есть, у вашего высокоблагородия только нет", – упрямо отвечал он и повесил шляпу на гвоздь. Она заняла целую стену. Наменяли тоже множество трубок медных с чубуками из тростника. Больше им нечего менять. Требовали от них провизии, но они, подумав, опять попотчевали своим "пудди" и привезли только трех петухов, но ни быков, ни баранов, ни свиней.

Третьего дня наши ездили в речку и видели там какого-то начальника, который приехал верхом с музыкантами. Его потчевали чаем, хотели подарить сукна, но он, поблагодарив, отказался, сказав, что не смеет принять без разрешения высшего начальства, что у них законы строги и по этим законам не должно брать подарков.

Толпа сменяла другую с утра до вечера, пока мы стояли на якоре. Как еще дети природы, с примесью значительной дозы дикости, они не могли не взглянуть и враждебно на новых пришельцев, что и случилось. Третьего дня вечером корейцы собрались толпой на скале, около которой один из наших измерял глубину, и стали кидать камни в шлюпку. По ним

выстрелили холостым зарядом, но они, по-видимому, мало имеют понятия об огнестрельном оружии. Утром вчера послали в ближайшую к этой скале деревню бумагу с требованием объяснения. Они вечером прислали ответ, в котором просили извинения, сказали, что кидали камни мальчишки, "у которых нет смысла". Это неправда: мальчишки эти были вершков четырнадцати ростом, с бородой, с волосами, собранными в густой пучок на маковке, а мальчишки у них ходят, как наши девчонки, с косой и пробором среди головы.

Только лишь прочли этот ответ, как вдруг воротилась партия наших из поездки в реку, верст за десять. Все они были очень взволнованы: им грозила большая опасность. На одном берегу собралось множество народа; некоторые просили знаками наших пристать, показывая какую-то бумагу, и когда они пристали, то корейцы бумаги не дали, а привели одного мужчину, положили его на землю и начали бить какой-то палкой в виде лопатки. После этого положили точно так же и того, который бил лопаткою, и стали бить и его. Наши нашли эту комедию очень глупой и пошли прочь; тогда один из битых бросился за ними, схватил одного из матросов и потащил в толпу. Там его стали было тащить в разные стороны, но матросы бросились и отбили. Корейцы стали нападать и на этих, но они с такою силою, ловкостью и яростью схватили несколько человек и такую задали им потасовку, что прочие отступили. Когда наши стали садиться в катер, корейцы начали бросать камни и свинчатки и некоторых ушибли до крови; тогда в них выстрелили дробью, которая назначалась для дичи, и, кажется, одного ранили. Этим несколько остановили

На другой день рано утром отправлен был баркас и катера, с вооруженными людьми, к тому месту, где это случилось. Из деревни все выбрались вон с женами и с имуществом; остались только старики. Их-то и надо было. От них потребовали объяснения о случившемся. Старики, с поклонами, объяснили, что несколько негодяев смутили толпу и что они, старшие, не могли унять и просили, чтобы на них не взыскали, "отцы за детей не отвечают" и т. п. Они прибавили еще, что виновные ранены, и один даже будто бы смертельно – и уже тем наказаны. Делать с ними нечего, но положено отдать в первом месте, где мы остановимся, для отсылки в их столицу, бумагу о случившемся.

Сегодня, часу во втором пополудни, мы снялись с якоря и вот теперь покачиваемся легонько в море. Ночь лунная, но холодная, хоть бы и в России впору.

Я забыл сказать, что большой залив, который мы только что покинули, описав его подробно, назвали, в честь покойного адмирала Лазарева, его именем.

5 мая. Японское море; корейский берег.

Мы только что сегодня вступили в 41№ «северной» широты, и то двинул нас внезапно подувший попутный ветер. Идем всё подле берега; опись продолжается. Корея кончается в 43 градусе. Там начинается манчжурский берег. Сегодня, с кочующих по морю лодок, опять набралась на фрегат куча корейцев. Я не выходил; ко мне в каюту заглянули две-три косматые головы и смугло-желтые лица. Крику, шуму! Когда у нас все четыреста человек матросов в действии, наверху такого шуму нет. Один украл у Посьета серебряную ложку и спрятал в свои широкие панталоны. Ложку отняли, а вора за чуб вывели из каюты.

После обеда я смотрел на берега, мимо которых мы шли: крутые, обрывистые скалы, все из базальта, громадами теснятся одна над другой. Обрывисто, круто. Горе плователям, которые разобьются тут: спасения нет. Если и достигнешь берега, влезть на него всё равно что на гладкую, отвесную стену. Нигде не видать ни жилья, ни леса. Бледная зелень кое-где покрывает крутые ребра гор. Берег вдруг заворотил к W, и мы держим вслед за изгибами. Скоро должна быть пограничная с Манчжурией река Тамань, или Тюймэн, или Тай-мень, что-то такое.

Часа два назад, около полуночи, Крюднер вдруг позвал меня на ют послушать, как дышит кит. "Я, кроме скрипа снастей, ничего не слышу", – сказал я, послушавши немного. "Погодите, погодите... слышите?" – сказал он. "Право, нет; это манильские травяные снасти с музыкой..." Но в это время вдруг под самой кормой раздалось густое, тяжелое и продолжительное дыхание, как будто рядом с нами шел паровоз. "Что, слышите?" – сказал Крюднер. "Да; только неужели это кит?.." Вдруг опять вздох, еще сильнее, раздался внизу,

прямо под нашими ногами. "Что это такое, не знаешь ли ты?" – спросил я моего фаворита, сигнальщика Феодорова, который стоял тут же. "Это не кит, – отвечал он, – это всё водяные: их тут много!.." – прибавил он, с пренебрежением махнул рукой на бездну и, повернувшись к ней спиной, сам вздохнул немного легче кита.

9-е мая.

Наконец отыскали и пограничную реку Тайманьга; мы остановились миль за шесть от нее. Наши вчера целый день ездили промерять и описывать ее. Говорят, что это широкая, версты в две с половиной, река с удобным фарватером. Вы, конечно, с жадностью прочтете со временем подробное и специальное описание всего корейского берега и реки, которое вот в эту минуту, за стеной, делает сосед мой Пещуров, сильно участвующий в описи этих мест. Я передаю вам только самое общее и поверхностное понятие, не поверенное циркулем и линейкой.

Не без удовольствия простимся мы не сегодня, так завтра с Кореей. Уж наши видели пограничную стражу на противоположном от Кореи берегу реки. Тут начинается Манчжурия, и берег с этих мест исследован Лаперузом.

Кто знает что-нибудь о Корее? Только одни китайцы занимаются отчасти ею, то есть берут с нее годовичную дань, да еще японцы ведут небольшую торговлю с нею; а между тем посмотрите, что отец Иакинф рассказывает во 2-й части статистического описания Манчжурии, Монголии и проч. об этой земле, занимающей 8° по меридиану.

Корейское государство, или Чао-сян, формировалось в эпоху троян, первобытных греков. Здесь разыгрывались свои "Илиады", были Аяксы, Гекторы, Ахиллесы. За Гомером дела никогда не станет. Я уже сказал, какие охотники корейцы сочинять стихи. Даже одна корейская королева, покорив соседнюю область, сама сочинила оду на это событие и послала ко двору китайского богдыхана, который, пишет Иакинф, был этим очень доволен. Только имена здешних Агамемнонов и Гекторов никак не пришлись бы в наши стихи, а впрочем, попробуйте: Вэй-мань, Цицзы, Вэй-ю-цзюй и т. д. Город, вроде Илиона, называли Пьхин-сян.

Но это всё темные времена корейской истории; она проясняется немного с третьего века по Рождеству Христову. Первобытные жители в ней были одних племен с манчжурами, которых сибиряки называют тунгусами. К ним присоединились китайские выходцы. После Рождества Христова один из тунгус, Гао, основал царство Гао-ли.

Отец Иакинф говорит, что европейцы это имя как-то ухитрились переделать в Корею. Это правдоподобно. До сих пор жители многих островов Восточного океана, в том числе японцы, канаки (на Сандвичевых островах) и ликейцы, букву л заменяют буквой р. Одни называют японскую и китайскую милю ли, другие – ри; одни Ликейские острова зовут Лиу-киу, другие – Риу-киу, третьи, наконец, Ру-ку; Гонолюлю многие зовут и пишут Гоноруру. Отчего ж не переделать Гао-ли в Ко-ри? И в переделке этой виноваты не европейцы, а сами же корейцы. Когда я при них произнес: "Корея", они толпой повторили: "Кори, Кори!" – и тут же, чрез отца Аввакума, объяснили, что это имя их древнего королевского дома. Поэтому вся переделка европейцев состоит в том, что они из Ко-ри сделали Корея. Да много ли тут оставалось сделать?

По основании царства Гао-ли судьба, в виде китайцев, японцев, монголов, пошла играть им, то есть покорять, разорять, низвергать старые и утверждать новые династии. Корейские короли, не имея довольно силы бороться с судьбой, предпочли добровольно подчиниться китайской державе. Китайцы то сделают Корею своею областью, то посовестятся и восстановят опять ее самостоятельность. А когда на Китай, в V веке, хлынули монголы, корейцы покорились и им. Иногда же они вдруг обидятся и вздумают отделиться от Китая, но ненадолго: китайцы или покорят их, или они сами же опять попросят взять себя в опеку.

За эту покорность и признание старшинства Китая китайцы наградили данников своими познаниями, отчасти языком, так что корейцы пишут, чуть что поважнее и поученее, китайским, а что попроще – своим языком. Я видел их книги: письма не такие кудрявые и сложные, как у китайцев. Далее китайцы наградили их изделиями своих мануфактур и искусством писать стихи. Иногда случалось даже так, что китайцы покровительствовали корейцам и в то же время не мешали брать с них дань монголам и тунгусам. Наконец, в исходе XIV века, вступил на престол дом Ли, который царствует и теперь, платя дань или посылая подарки манчжурской, царствующей в Китае династии.

Корея разделяется на восемь областей, или дорог, по сказанию отца Иакинфа. Поощажу ваш слух от названий; если любопытствуете, загляните сами в книгу знаменитого синолога. Читая эти страницы, испещренные названиями какого-то птичьего языка, исполненные этнографических, географических, филологических данных о крае, известном нам только по имени, благоговею перед всеокрушающею любознательностью и громадным терпением ученого отца и робко краду у него вышеприведенные отрывочные сведения о Корее – всё для вас. Может быть, вы удовольствуетесь этим и не пойдете сами в лабиринт этих имен: когда вам? того гляди, пропадет впечатление от вчерашней оперы.

18 мая мы вошли в Татарский пролив. Нас сутки хорошо нес попутный ветер, потом задержали штили, потом подули противные N и NO ветра, нанося с матсмайского берега холод, дождь и туман. Какой скачок от тропиков! Не знаем, куда спрятаться от холода. Придет ночь – мученье раздеваться и ложиться, а вставать еще хуже.

По временам мы видим берег, вдоль которого идем к северу, потом опять туман скроет его. По ночам иногда слышится визг: кто говорит – сивучата пищат, кто – тюлени. Похоже на последнее, если только тюлени могут пищать, похоже потому, что днем иногда они целыми стаями играют у фрегата, выставя свои головы, гоняясь точно взапуски между собою. Во всяком случае, это водяные, как и сигнальщик Феодоров полагает.

Вчера, 17-го, какая встреча: обедаем; говорят, шкуна какая-то видна. Велено поднять флаг и выпалить из пушки. Она подняла наш флаг. Bravo! Шкуна "Восток" идет к нам с вестями из Европы, с письмами... Всё ожило. Через час мы читали газеты, знали всё, что случилось в Европе по март. Пошли толки, рассуждения, ожидания. Нашим судам велено идти к русским берегам. Что-то будет? Скорей бы добраться: всего двести пятьдесят миль осталось до места, где предположено ждать дальнейших приказаний.

Холодно, скучно, как осенью, когда у нас, на севере, всё сжимается, когда и человек уходит в себя, надолго отказываясь от восприимчивости внешних впечатлений, и делается грустен поневоле. Но это перед зимой, а тут и весной то же самое. Нет ничего, что бы предвещало в природе возобновление жизни со всею ее прелестью. Всем бы хотелось на берег, между прочим и потому, что провизия на исходе. На столе чаще стала появляться солонина и овощи. Из животного царства осталось на фрегате два-три барана, которые не могут стоять на ногах, две-три свиньи, которые не хотят стоять на ногах, пять-шесть кур, одна утка и один кот. Пора, пора...

20-го числа.

"Что нового?" – спросил я Фаддеева, который пришел будить меня. "Сейчас на якорь будем становиться, – сказал он, – канат велено доставать". В самом деле, я услышал приятный для утомленного путешественника звук: грохотанье доставаемого из трюма якорного каната.

Вы не совсем доверяйте, когда услышите от моряка слово "канат". Канат – это цепь, на которую можно привязать полдюжины слонов – не сорвутся. Он держит якорь в сто пятьдесят пуд. Вот когда скажут пеньковый канат, так это в самом деле канат.

Утро чудесное, море синее, как в тропиках, прозрачное; тепло, хотя не так, как в

тропиках, но, однако ж, так, что в байковом пальто сносно ходить по палубе. Мы шли всё в виду берега. В полдень оставалось миль десять до места; все вышли, и я тоже, наверх смотреть, как будем входить в какую-то бухту, наше временное пристанище. Главное только усмотреть вход, а в бухте ошибиться нельзя: промеры показаны.

"Вот за этим мысом должен быть вход, – говорит дед, – надо только обогнуть его. – Право! куда лево кладешь?" – прибавил он, обращаясь к рулевому. Минут через десять кто-то пришел снизу. "Где вход?" – спросил вновь пришедший. "Да вот мыс..." – хотел показать дед – глядь, а мыса нет. "Что за чудо! Где ж он? сию минуту был", – говорил он. "Марса-фалы отдать!" – закричал вахтенный. Порыв ветра нагнал холод, дождь, туман, фрегат сильно накренило – и берегов как не бывало: всё закрылось белой мглой; во ста саженьях не стало видно ничего, даже шкуны, которая всё время качалась, то с одного, то с другого бока у нас. Ну, поскорей отлаживовываться от берега! Надеялись, что шквал пройдет, и мы войдем. Нет: ветер установился, и туман тоже, да такой, что закутал верхние паруса.

Вечер так и прошел; мы были вместо десяти уже в шестнадцати милях от берега. "Ну, завтра чем свет войдем", – говорили мы, ложась спать. "Что нового?" – спросил я опять, проснувшись утром, Фаддеева. "Васька жаворонка съел", – сказал он. "Что ты, где ж он взял?" – "Поймал на сетках". – "Ну что ж не отняли?" – "Ушел в ростры, не могли отыскать". – "Жаль! Ну а еще что?" – "Еще – ничего". – "Как ничего: а на якорь становиться?" – "Куда те становиться: ишь какая погода! со шканцев на бак не видать".

Мы проскитались опять целый день, лавируя по проливу и удерживая позицию. Ветер дул свирепо, волна, не слишком большая, но острая, производила неприятную качку, неожиданно толкая в бока. На другой день к вечеру я вышел наверх; смотрю: все толпятся на юте. "Что такое?" – спрашиваю. "Входим", – говорят. В самом деле, мы входили в широкие ворота гладкого бассейна, обставленного крутыми, точно обрубленными берегами, поросшими непроницаемым для взгляда мелким лесом – сосен, берез, пихты, лиственницы. Нас охватил крепкий смоляной запах. Мы прошли большой залив и увидели две другие бухты, направо и налево, длинными языками вдающиеся в берега, а большой залив шел сам по себе еще мили на две дальше. Вода не шелохнется, воздух покоен, а в море, за мысами, свирепствует ветер. В маленькой бухте, куда мы шли, стояло уже опередившее нас наше судно "Князь Меншиков", почти у самого берега. На берегу успели разбить палатки. Около них толпится человек десять людей, с судов же; бегают собаки. Мы стали на якорь.

Что это за край; где мы? сам не знаю, да и никто не знает: кто тут бывал и кто пойдет в эту дичь и глушь?

Кто тут живет? что за народ? Народов много, а не живет никто.

Здесьние народы, с которыми успели поговорить, не знаю, на каком языке, наши матросы, умеющие объясняться по-своему со всеми народами мира, называют себя орочань, мангу, кекель. Что это, племена или фамильные названия? И этого не знаю. Наши большую часть из них называют общим именем тунгусов. Они не живут тут, а бродят с места на место, приходят к морю ловить рыбу. За ними же скоро, говорят, придут медведи за этим же. Мы пока делаем то же: рыбы пропасть, камбала, бычки, форели, род налимов. Скоро пойдет периодическая рыба из породы красных, сельди и т. п. У нас теперь рыба и рыба на столе. Вместо лошадей на берегу бродят десятка три тощих собак; но тут же с берегов выглядывает из чащи леса полная невозможность ездить ни на собаках, ни на лошадях, ни даже ходить пешком. Я пробовал и вяз в болоте, спотыкался о пни и сучья.

Какой же это берег? что за бухта? – спросите вы. Да всё тянется глухой, манчжурский, следовательно принадлежащий китайцам, берег.

Июнь.

Нет, берег, видно, нездоров мне. Пройдусь по лесу, чувствую утомление, тяжесть; вчера заснул в лесу, на разостланном брезенте, и схватил лихорадку. Отвык совсем от берега. На фрегате, в море лучше. Мне хорошо в моей маленькой каюте: я привык к своему уголку, где повернуться трудно; можно только лечь на постели, сесть на стул, а затем сделать шаг к

двери – и всё тут. Привык видеть бизань-мачту, кучу снастей, а через борт море.

Хожу по лесу, да лес такой бестолковый, не то что тропический: там или вовсе не проредешься сквозь чащу, а если проредешься, то не налюбишься красотой деревьев, их группировкой, разнообразием; а здесь можно продраться везде, но деревья стоят так однообразно, прямо, как свечки: пихта, лиственница, ель; ель, лиственница, пихта, изредка береза; куда ни взглянешь, везде этот частокол; взгляд теряется в печальной бесконечности леса. Здесь все деревья мешают друг другу расти, и ни одно не выигрывает на счет другого. В тропиках, если одно дерево убивает жизнь вокруг, зато разрастется само так широко, великолепно!

Мы успели войти кое в какие сношения с бродячими мангунами, ороча, или, по-сибирски, тунгусами. К нам часто ездит тунгус Афонька с товарищем своим, Иваном, – так их называли наши. Он подряжен бить лосей, или сохатых, по-сибирски, и доставлять нам мясо. Он уже убил трех: всего двадцать пять пуд мяса. Оно показалось мне вкуснее говяжьего. Он бьет и медведей. Недавно провожал одного из наших по лесу на охоту. "Чего ты хочешь за труды, Афонька? – спросил тот его, – денег?" – "Нет", – был ответ. "Ну, коленкору, холста?" – "Нет". – "Чего же?" – "Бутылочку".

А чем он сражается со зверями? Я заметил, что все те, которые отправляются на рыбную ловлю с блестящими стальными удочками, с щегольским красного дерева поплавком и тому подобными затеями, а на охоту с выписанными из Англии и Франции ружьями, почти всегда приходят домой с пустыми руками. Афонька бьет лосей и медведей из ружья с кремнем, которое сделал чуть ли не сам или, может быть, выменял в старину у китобоев и которое беспрестанно распадается, так что его чинят наши слесаря всякий раз, как он возвратится с охоты. На днях дали ему хорошее двуствольное ружье с пистоном. Он пошел в лес и скоро воротился. "Что ж ты?" – спрашивают. "Возьмите, – говорит, – ружье: не умею из него стрелять". Он обещал мне принести медвежьих шкур – "за бутылочку".

Про семейства гиляков рассказывают, что они живут здесь зимой при 36с мороза под кустами валежнику, даже матери с грудными детьми, а захотят погреться, так разводят костры, благо лесу много. Едят рыбу горбушу или черемшу (род чесноку).

Но их мало, жизни нет, и пустота везде. Мимо фрегата редко и робко скользят в байдарках полудикие туземцы. Только Афонька, доходивший в своих охотничьих подвигах, через леса и реки, и до китайских, и до наших границ и говорящий понемногу на всех языках, больше смесью всех, между прочим и наречиями диких, не робея, идет к нам и всегда норовит прийти к тому времени, когда команде раздают вино. Кто-нибудь поднесет и ему: он выпьет и не благодарит выпивши, не скажет ни слова, оборотится и уйдет.

Я пробрался как-то сквозь чащу и увидел двух человек, сидевших верхом на обоих концах толстого бревна, которое понадобилось для какой-то починки на наших судах. Один высокого роста, красивый, с покойным, бесстрастным лицом: это из наших. Другой невысокий, смуглый, с волосами, похожими, и цветом и густотой, на медвежью шерсть, почти с плоским лицом и с выражением на нем стоического равнодушия: это – из туземцев. Наш пригласил его, вероятно, вместе заняться делом. Русский делал вырубку на бревне, а туземец сидел на другом конце, чтоб оно не шевелилось, и курил трубку. Щепки и осколки, как дождь, летели ему в лицо и в голову: он мигал мерно и ровно, не торопясь, всякий раз, когда горсть щепок попадала в глаза, и не думал отворотить головы, также не заботился вынимать осколков, которые попадали в медвежью шерсть и там оставались. Русский рубил сильно и глубоко вонзал топор в дерево. При всяком ударе у него отзывалось что-то в груди. Он кончил и передал топор туземцу, а тот передал ему трубку. Русский закурил и сел верхом на конец, а туземец стал рубить. Щепки и осколки полетели в глаза казаку; он, в свою очередь, стал мигать.

Что за плавание в этих печальных местах! что за климат! Лета почти нет: утром ни холодно, ни тепло, а вечером положительно холодно. Туманы скрывают от глаз чуть не собственный нос. Вчера палили из пушек, били в барабан, чтоб навести наши шлюпки с офицерами на место, где стоит фрегат. Ветра большею частью свежие, холодные, тишины

почти не бывает, а половина июля!

Но путешествие идет к концу: чувствую потребность от дальнего плавания полечиться – берегом. Еще несколько времени, неделя-другая, – и я ступлю на отечественный берег. Dahin! dahin! Но с вами увижусь нескоро: мне лежит путь через Сибирь, путь широкий, безопасный, удобный, но долгий, долгий! И притом Сибирь гостеприимна, Сибирь замечательна: можно ли проехать ее на курьерских, зажмуря глаза и уши? Предвижу, что мне придется писать вам не один раз и оттуда.

Странно, однако ж, устроен человек: хочется на берег, а жаль покидать и фрегат! Но если б вы знали, что это за изящное, за благородное судно, что за люди на нем, так не удивились бы, что я скрепя сердце покидаю "Палладу"!

VII

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

Плавание по Охотскому морю. – Китолов. – Петровское зимовье. – Аянские утесы и рейд. – Сборы в путь. – Верховая езда. – Восхождение на Джукджур. – Горы и болота. – Нелькан и река Мая. – Якуты и русские поселенцы. – Опять верхом. – Леса и болота. – Юрты. – Телеги.

Август 1854 года.

Шкуна "Восток", с своим, как стрелы, тонким и стройным рангоутом, покачивалась, стоя на якоре, между крутыми, но зелеными берегами Амура, а мы гуляли по прибрежному песку, чертили на нем прутиком фигуры, лениво посматривали на шкуну и праздно ждали, когда скажут нам трогаться в путь, сделать последний шаг огромного пройденного пути: остается всего каких-нибудь пятьсот верст до Аяна, первого пристанища на берегах Сибири.

Наконец, 12 августа, толпа путешественников, и во главе их – генерал-губернатор Восточной Сибири, высыпали на берег. Всех гостей было более десяти человек, да слуг около того, да принадлежащих к шкуне офицеров и матросов более тридцати человек. А багажа сколько!

Если всё, что грузится в судно, выложить на свободное место, то неосторожный человек непременно подержит пари, что это не войдет туда, – и проиграет.

Так когда и мы все перебрались на шкуну, рассовали кое-куда багаж, когда разошлись по углам, особенно улеглись ночью спать, то хоть бы и еще взять народу и вещей. Это та же история, что с чемоданом: не верится, чтоб вошло всё приготовленное количество вещей, а потом окажется, что можно как-нибудь сунуть и то, втиснуть другое, третье.

При этом, конечно, обыкновенный, принятый на просторе порядок нарушается и водворяется другой, необыкновенный. В капитанской каюте, например, могло поместиться свободно – как привыкли помещаться порядочные люди – всего трое, если же потесниться, то пятеро. А нас за стол садилось в этой каюте одиннадцать человек, да в другой, офицерской, шестеро. Не одни вещи эластичны!

Для стола приносилась, откуда-то с бака, длинная и широкая доска: одним концом ее клали на диван, а другим на какую-то подставку – это и был стол. Там, где на диване могли сесть трое, садилось пятеро, плотно прижавшись друг к другу. Одна рука употреблялась для угощения себя, а другая оставалась позади праздною. Остальные шестеро помещались с другой стороны доски, да еще кто-нибудь скромно стоял в дверях. Прислуге оставалось

только просовывать в дверь кончик носа и руку с блюдом. Спали на столах, на стульях, на лавках.

Едва исследованное и еще не "положенное на карту" устье Амура усеяно множеством мелей. Если б эти мели были постоянны, то их изучили бы сразу; но они наносные, образуются течением реки и потому изменяются почти каждый год. Прибыль и убыль в этих водах также не подвергнута пока контролю мореплавателей, и оттого мы частенько становились на мель в виду какого-нибудь мыса или скалы. Благо, что еще не застало нас волнение в лимане, но и то однажды порядочно поколотило о песок, так что импровизированный стол наш и мы сами, сидя за ужином, подскакивали, вопросительно озираясь друг на друга. Однажды шкуна, стоя на песке, так обмелела, что принуждены были подпереть ей бока, чтоб она не расположилась лечь на один из них.

Но, слава Богу, однако ж, мы выбрались из лимана и, благополучно проскользнув между материком Азии и островом Сахалином, вышли в Охотское море и бросили якорь у песчаной косы, перед маленьким нашим поселением, Петровским зимовьем.

В 1849 году в первый раз военный транспорт "Байкал" решил не решенную Лаперузом задачу. Он послал шлюпки, которые из Охотского моря прошли в Амурский лиман, и таким образом оказалось, что Сахалин не соединен с материком, как прежде думали.

До тех пор об этом знали только гиляки, орочане, мангу и другие бродячие племена приамурского края, но никакой важности этому не приписывали и потому молчали. Да и теперь немало удивляются они, что от них всячески стараются допытаться, где устье глубже, где мельче.

Наш рейс по проливу на шкуне "Восток", между Азией и Сахалином, был всего третий со времени открытия пролива. Эта же шкуна уже ходила из Амура в Аян и теперь шла во второй раз. По этому случаю, лишь только мы миновали пролив, торжественно, не в урочный час, была положена доска, заменявшая стол, на свое место; в каюту вместо одиннадцати пришло семнадцать человек, учредили завтрак и выпили несколько бокалов шампанского.

Мне так хотелось перестать поскорее путешествовать, что я не съехал с нашими в качестве путешественника на берег в Петровском зимовье и нетерпеливо ждал, когда они воротятся, чтоб перебежать Охотское море, ступить наконец на берег твердой ногой и быть дома.

Но задул жестокий ветер, сообщения с берегом не было, и наши пробыли на берегу целые сутки. Наконец тронулись далее. Дорогой, для развлечения, нам хотелось принять участие в войне и поймать французское или английское судно. Однажды завидели довольно большое судно и велели править на него. Между тем зарядили наши шесть пушечек, приготовили abordажное оружие и, вооруженные отвагой, с сложенными назад руками, стали смотреть на чужое судно, стараясь угадать по оснастке, чье оно. Флага не было. Барон Крюднер счел нужным и сам вооружиться. Он появился на палубе с двумя заряженными пистолетами, опустив их, по рассеянности, дулом в карман. Он, по рассеянности же, не заметил, как я вынул их оттуда и отдал Афанастью, его камердинеру, положить на свое место. Между тем судно подняло американский флаг; но мы не поверили, потому что слышали, как англичане в это время отличались под чужими флагами в разных морях. Мы вызвали шкипера с бумагами. Он явился, выпил рюмку вина и объявил, что он китолов. Этого сорта суда находят в Охотском море огромную поживу и в иное время заходят туда в числе двухсот и более.

Разочарованные насчет победы над неприятелем*, мы продолжали плыть по курсу в Аян. Погода была серенькая, но теплая, волнение небольшое, какое именно нам было нужно. Обеды Н. Н. Муравьева прекрасные, общество избранное и веселое, вино, до которого, впрочем, мне никакого дела нет, отличное, сигары – из первых рук – манийские, и состояние духа у всех приятное. * В это самое время, именно 16 августа, совершилось между тем, как узнали мы в свое время, геройское, изумительное отражение многочисленного неприятеля горстью русских по ту сторону моря, в Качатке.

Любезная шкуна старалась, сколько могла, удовлетворить нашему нетерпению. Она усердно жгла некупленный, добытый руками ее матросов на Сахалине уголь да еще обвесилась парусами и бежала верст по четырнадцати в час. И горизонт уж не казался нам дальним и безбрежным, как, бывало, на различных океанах, хотя дугообразная поверхность земли и здесь закрывала даль и, кроме воды и неба, ничего не было видно. Но нам мерещились поля и дома родины, мы вдыхали в себя сырой морской воздух, воображая, что дышим ее воздухом. Наконец на четвертый день мы заметили на горизонте не поля, не дома, а какую-то серую, неприступную, грозную стену. Это была куча громадных утесов.

По мере нашего приближения они всё казались страшнее, отвеснее и неприступнее. Жилья и признаков нет; да и какое тут может быть жилье? кажется, на этих утесах и чайкам страшно сидеть. Пустота, голь и вышина, от которой дух занимается, да свист ветра – вот характер этого места. Здесь бы в старину хорошо поставить разбойничий замок, если б было кого грабить, а теперь разве поставить батареи. "Вон нора, должно быть, бобра!" – заметил кто-то, указывая на круглую, правильную лазейку в скале, прорытую почти вровень с водой.

Вглядыванье в общий вид нового берега или всякой новой местности, освоение глаз с нею, изучение подробностей – это привилегия путешественника, награда его трудов и такое наслаждение, перед которым бледнеет наслаждение, испытываемое перед картиной самого великого мастера. Посмотрите на толпу путешественников, когда они медленно подбираются к новому месту: на горизонте видна еще синяя линия берега, а они все наверху: равнодушных, отсталых, ленивых, сонных нет. Они стоят не шевелясь, как окаменелые, молчат, как немые, и если кто сделает вопрос, то робко, шепотом, и почти никогда не получит ответа. На лицах сначала напряженное внимание, в глазах вопросы, потом целая страница мыслей, живых впечатлений, удовлетворенного или неудовлетворенного любопытства. Я, под шумок, незаметно от товарищей своих, наслаждался, по праву путешественника, и картиной нового берега и поверял свои впечатления по лицам спутников. "Где же Аян?" – спрашивают наконец нетерпеливые, отвращая взгляды от безжизненных утесов, которые недолго изучить.

Как берег ни красив, как ни любопытен, но тогда только глаза путешественника загорятся огнем живой радости, когда они завидят жизнь на берегу. Шкуна между тем, убавив паров, подвигалась прямо на утесы. Вот два из них вдруг посторонились, и нам открылись сначала два купеческих судна на рейде, потом длинное деревянное строение на берегу с красной кровлей.

Кровля пуще всего говорит сердцу путешественника, и притом красная: это целая поэма, содержание которой – отдых, семья, очаг – все домашние блага. Кто не бывал Улиссом на своем веку и, возвращаясь издалека, не отыскивал глазами Итаки? "Это пакгауз", – прозаически заметил кто-то, указывая на дразнившую нас кровлю, как будто подслушав заветные мечты странников.

Ущелье всё раздвигалось, и наконец нам представилась довольно узкая ложбина между двух рядов высоких гор, усеянных березняком и соснами. Беспорядочно расставленные, с десяток более нежели скромных домиков, стоящих друг к другу, как известная изба на курьих ножках, – по очереди появлялись из-за зелени; скромно за ними возникал зеленый купол церкви с золотым крестом. На песке у самого берега поставлена батарея, направо от нее верфь, еще младенец, с остовом нового судна, дальше целый лагерь палаток, две-три юрты, и между ними кочки болот. Вот и весь Аян.

Это не город, не село, не посад, а фактория Американской компании. Она возникла лет десять назад для замены Охотского порта, который неудобен ни с морской, ни с сухопутной стороны. С моря он гораздо открытее Аяна, а с сухого пути дорога от него к Якутску представляет множество неудобств, между прочим так называемые Семь хребтов, отраслей Станового хребта, через которые очень трудно пробираться. Трудами преосвященного Иннокентия, архиепископа камчатского и курильского, и бывшего губернатора камчатского, г-на Завойки, отыскан нынешний путь к Охотскому морю и положено основание Аянского порта.

Этот порт открыт только с S, и ветер с этой стороны разводит крупное волнение. Американская компания имеет здесь склады иностранных товаров, привозимых ее судами, и снабжает иностранные суда разными потребностями: деревом, якорями, морскими картами, сухарями, холстом и т. п.

Если здесь разовьется торговля и примет когда-нибудь большие размеры, то, вероятно, устроится и брекватер, или мол, для защиты рейда от S ветров. Теперь же пока это скромный, маленький уголок России, в десяти тысячах пятистах верстах от Петербурга, с двумястами жителей, состоящих, кроме командира порта и некоторых служащих при конторе лиц с семействами, из нижних чинов, командированных сюда на службу казаков и, наконец, якутов. Чиновники компании помещаются в домах, казаки в палатках, а якуты в юртах. Казаки исправляют здесь военную службу, а якуты статскую. Первые содержат караул и смотрят за благочинием; одного из них называют даже полицеймейстером; а вторые занимаются перевозкой пассажиров и клади, летом на лошадях, а зимой на собаках. Якуты все оседлые и христиане, все одеты чисто и, сообразно климату, хорошо. И мужчины и женщины носят фризковые капоты, а зимой – олений или нерпичий мех, вывороченный наизнанку. От русских у них есть всегда работа, следовательно, они сыты, и притом, я видел, с ними обращаются ласково.

"Отдай якорь!" – раздалось для нас в последний раз, и сердце замерло и от радости, что ступаешь на твердую землю, чтоб уже с нею не расставаться, и от сожаления, что прощаешься с морем, чтобы к нему не возвращаться более.

Конец благополучну бегу,

Спускайте, други, паруса! – воскликнул бы я, от избытка радости, если б в самом деле это был конец бегу. Но десять тысяч верст остается до той красной кровли, где будешь иметь право сказать: я дома!.. Какая огромная Итака и каково нашим Улиссам добираться до своих Пенелоп! Десять тысяч верст: чего-чего на них нет! Тут целые океаны снегов, болот, сухих пучин и стремнин, свои сорокаградусные тропики, вечная зелень сосен, дикари всех родов, звери, начиная от черных и белых медведей до клопов и блох включительно, снежные ураганы, вместо качки – тряска, вместо морской скуки – сухопутная, все климаты и все времена года, как и в кругосветном плавании...

Проберешься ли цело и невредимо среди всех этих искушений? Оттого мы задумчиво и нерешительно смотрели на берег и не торопились покидать гостеприимную шкуну. Бог знает, долго ли бы мы просидели на ней в виду красивых утесов, если б нам не были сказаны следующие слова: "Господа! завтра шкуна отправляется в Камчатку, и потому сегодня извольте перебраться с нее", а куда – не сказано. Разумелось, на берег.

Но в Аяне, по молодости лет его, не завелось гостиницы, и потому путешественники, походив по берегу, купив что надобно, возвращаются обыкновенно спать на корабль. Я посмотрел в недоумении на барона Крюднера, он на Афанасья, Афанасий на Тимофея, потом поглядели на князя Оболенского, тот на Тихменева, а этот на кучера Ивана Григорьева, которого князь Оболенский привез с собою на фрегате "Диана", кругом Америки.

Люди наши, слышав приказ, вытащили весь багаж на палубу и стояли в ожидании, что делать. Между вещами я заметил зонтик, купленный мной в Англии и валявшийся где-то в углу каюты. "Это зачем ты взял?" – спросил я Тимофея. "Жаль оставить", – сказал он. "Брось за борт, – велел я, – куда всякую дрянь везти?" Но он уцепился и сказал, что ни за что не бросит, что эта вещь хорошая и что он охотно повезет ее через всю Сибирь. Так и сделал.

Нам подали шлюпки, и мы, с людьми и вещами, свезены были на прибрежный песок и там оставлены, как совершенные Робинзоны. Что толку, что Сибирь не остров, что там есть города и цивилизация? да до них две, три или пять тысяч верст! Мы поглядывали то на шкуну, то на строения и не знали, куда преклонить голову. Между тем к нам подошел какой-то штаб-офицер, спросил имена, сказал свое и пригласил нас к себе ужинать, а завтра обедать. Это был начальник порта.

Барон Крюднер ожил; облако исчезло с лица его. "Il y a une providence pour les voyageurs!" – воскликнул он, – много я на своем веку получал приглашений на обед или

ужин, но всегда порознь: и вот здесь, на пустом берегу, среди дикарей, – приглашение на обед и ужин разом!" * "Провидение хранит путешественников!" – фр.

Но обед и ужин не обеспечивали нам крова на приближавшийся вечер и ночь. Мы пошли заглядывать в строения: в одном лавка с товарами, но запертая. Здесь еще пока такой порядок торговли, что покупатель отыщет купца, тот отопрет лавку, отмеряет или отрежет товар и потом запрет лавку опять. В другом здании кто-то помещается: есть и постель, и домашние принадлежности, даже тараканы, но нет печей. Третий, четвертый дома битком набиты или обитателями местечка, или опередившими нас товарищами.

Но, однако ж, кончилось все-таки тем, что вот я живу, у кого – еще и сам не знаю; на досках постлана мне постель, вещи мои расположены как следует, необходимое платье развешено, и я сижу за столом и пишу письма в Москву, к вам, на Волгу.

"Decidement il y a une providence pour les voyageurs!"* – скажу вместе с бароном Крюднером. Места поочистились, некоторые из чиновников генерал-губернатора отправились вперед, и один из них, самый любезный и приятный из чиновников и людей, М. С. Волконский, быстро водворил меня и еще одного товарища в свою комнату. Правда, тут же рядом, через перегородку, стоял покойник, и я с вечера слышал чтение псалмов, но это обстоятельство не помешало мне самому спать как мертвому. * Решительно провидение хранит путешественников! – фр.

Через три дня предстояло отправляться далее, а мы жили буквально спустя рукава. Нас всех, Улиссов, разделили на три партии, чтоб не встретилось по дороге затруднения в лошадях. Одна партия уже уехала, другая выезжала через день. Оставались мы трое: князь Оболенский, Тихменев и я, да с нами четверо людей. У князя кучер Иван Григорьев, рассудительный и словоохотливый человек, теперь уже с печатью кругосветного путешествия на челе, да Ванюшка, молодой малый, без всякого значения на лице, охотник вскакнуть на лошадь и промчаться куда-нибудь без цели да за углом, особенно на сеновале, покурить трубку; с Тихменевым Витул, матрос с фрегата, и со мной Тимофей, повар.

Только по отъезде третьей партии, то есть на четвертый день, стали мы поговаривать, как нам ехать, что взять с собой и проч. А выехать надо было на шестой день, когда воротятся лошади и отдохнут. Зимой едут отсюда на собаках, в так называемых нартах, длинных, низеньких санках, лежа, по одному человеку в каждом. Летом надо ехать верхом верст двести, багаж тоже едет верхом, вьюками. Далее, по рекам Мае и Алдану, спускаются в лодках верст шестьсот, потом сто восемьдесят верст опять верхом, по болотам, наконец, остальные верст двести пятьдесят, до Якутска, на телегах.

Еще в тропиках, когда мелькало в уме предположение о возможности возвратиться домой через Сибирь, бывшие в Сибири спутники говорили, что в Аяне надо бросить все вещи и взять только самое необходимое; а здесь теперь говорят, что бросать ничего не надобно, что можно увязать на вьючных лошадях всё, что ни захочешь, даже книги.

Сказали еще, что если я не хочу ехать верхом (а я не хочу), то можно ехать в качке (сокращенное качалке), которую повезут две лошади, одна спереди, другая сзади. "Это-де очень удобно: там можно читать, спать". Чего же лучше? Я обрадовался и просил устроить качку. Мы с казаком, который взялся делать ее, сходили в пакгауз, купили кожи, ситцу, и казак принялся за работу.

"Помилуйте! – начали потом пугать меня за обедом у начальника порта, где собиралось человек пятнадцать за столом, – в качках возят старух или дам". Не знаю, какое различие полагал собеседник между дамой и старухой. "А старика можно?" – спросил я. "Можно", – говорят. "Ну так я поеду в качке".

"Сохрани вас Боже! – закричал один бывалый человек, – жизнь проклянете! Я десять раз ездил по этой дороге и знаю этот путь как свои пять пальцев. И полверсты не проедете, бросите. Вообразите, грязь, брод; передняя лошадь ушла по пояс в воду, а задняя еще не сошла с пригорка, или наоборот. Не то так передняя вскакивает на мост, а задняя задерживает: вы-то в каком положении в это время? Между тем придется ехать по ущельям, по лесу, по тропинкам, где качка не пройдет. Мученье!"

"Всё это неправда, – возразила одна дама (тоже бывалая, потому что там других нет), – я сама ехала в качке, и очень хорошо. Лежишь себе или сидишь; я даже вязала дорогой. А верхом вы измучитесь по болотам; якутские седла мерзкие..."

"Седло купите здесь, у Американской компании, черкесское: оно и мягко, и широко..." – "Эй, поезжайте в качке..." – "Нет, верхом: спасибо скажете..." – "Не слушайте их..." – "В качке на Джукджур не подниметесь..."

"Что это такое Джукджур?" – спросил я, ошеломленный этими предостережениями и поглядывая на всех.

"Вы не знаете, что такое Джукджур?" – спросили меня вдруг все. – Помилуйте, Джукджур!..."

"Джукджур, – начал один учено-педантически, – по-тунгусски значит большая выпуклости нашим и вашим..." – "Совсем не то; это просто две кожаные сумки, которые вешают по бокам лошади для провизии и вообще для всего, что надо иметь под рукой". – "А ящики есть?" – спросили опять. "Нет; а разве надо?" – "Как же вы повезете вещи? В чемоданах и мешках не довезете: лошадь будет драть их и о деревья, и вязнуть в болотах, и... и... и т. д. А в каждый ящик положите по два с половиной пуда и навьючьте на лошадь. Чемодан бросьте". – "Зачем бросать? всё возьмите!" – заметил бывалый. "А зонтик можно взять?" – спросил Тимофей, несмотря на мой свирепый взгляд. "И зонтик возьми", – был ответ.

"Сары, сары не забудьте купить!" – "Это еще что?" – "Сары – это якутские сапоги из конской кожи: в них сначала надо положить сена, а потом ногу, чтоб вода не прошла; иначе по здешним грязям не пройдете и не проедете. Да вот зайдите ко мне, я велю вам принести".

И мой любезный хозяин Михаил Сергеевич повел меня к себе и велел позвать Александру. Пришла якутка, молодая и, вероятно, в якутском вкусе красивая, с плоским носом, с узенькими, но карими глазами и ярким румянцем на широких щеках. "Здравствуй..." – тут он сказал что-то по-якутски. "Что это значит?" – спросил я. "Прекрасная женщина". – "Есть сары?" – "Есть". – "Принеси". – "Слусаю", – отвечала она и через пять минут принесла сапоги на слона с запахом вспотевшей лошади и сала, которым они и были вымазаны. "Вынеси, вынеси скорей!" – закричал я, – ужели их надевают люди?" – спросил я Михаила Сергеевича. "И очень порядочные, – отвечал он, – и вы наденете".

Но я подарил их Тимофею, который сильно занят приспособлением к седлу мешка с чайниками, кастрюлями, вообще необходимыми принадлежностями своего ремесла, и, кроме того, зонтика, на который более всего обращена его внимательность. Кучер Иван Григорьев во всё пытливо вглядывался. "Оно ничего: можно и верхом ехать, надо только, чтоб всё заведение было в порядке", – говорит он с важностью авторитета. Ванюшка прилаживает себе какую-то щегольскую уздечку и всякий день всё уже и уже стягивается кожаным ремнем.

П. А. Тихменев, взявшийся заведовать и на суше нашим хозяйством, то и дело ходит в пакгауз и всякий раз воротится то с окороком, то с сыром, поминутно просит денег и рассказывает каждый день раза три, что мы будем есть, и даже – чего не будем. "Нет, уж курочки и в глаза не увидите, – говорит он со вздохом, – котлет и рису, как бывало на фрегате, тоже не будет. Ах, вот забыл: нет ли чего сладкого в здешних пакгаузах? Сбегаю поскорей; черносливу или изюму: компот можно есть". Схватит фуражку и побежит опять.

Наконец в одно в самом деле прекрасное утро перед домиком, где мы жили, расположился наш караван, состоявший из восьми всадников и семнадцати лошадей, считая и вьючных. "А где же качка?" – спрашиваю я. Один из служащих улыбается, глядя на меня; а казак, который делал мне качку, вместо нее подводит оседланную лошадь. Гляжу: на ней и черкесское седло, и моя подушка. "Качки нет, – сказал мне Б., – не поспела". Я понял, что меня обманули в мою пользу, за что в дороге потом благодарил не раз, молча сел на лошадь и молча поехал по крутой тропинке в гору.

Все жители Аяна столпились около нас: все благословляли в путь. Ч. и Ф., без сюртуков, пошли пешком проводить нас с версту. На одном повороте за скалу Ч. сказал:

"Поглядите на море: вы больше его не увидите". Я быстро оглянулся, с благодарностью, с любовью, почти со слезами. Оно было синее, ярко сверкало на солнце серебристой чешуей. Еще минута – и скала загрозила ему. "Прощай, свободная стихия! в последний раз..."

От Аяна едешь по ложбинам между гор, по руслу речек и горных ручьев, которые в дожди бурлят так, что лошади едва переходят вброд, уходя по уши. Каково седоку? Немного хуже, чем лошади. Теперь сухо, и мы едва мочили подошвы; только переправляясь через Алдаму, должны были поднять ноги к седлу. Итого нет ужасного в этих диких пейзажах, но печального много. По дороге идет густой лиственный лес; едешь по узенькой, усеянной пнями тропинке. Потом лес раздвигается, и глазам является обширное, заброшенное камнями болото, которое в дожди должно быть непроходимо. Щебень составляет природное дно речек, а крупные камни набросаны, будто в виде украшений, с утесов, которые стоят стеной и местами поросли лесом, местами голы и дики. Нигде ни признака жилья, ни встречи с кем-нибудь. По этой дороге человек в первый раз, может быть, прошел в 1845 году, и этот человек, если не ошибаюсь, был преосвященный Иннокентий, архиепископ камчатский и курильский. Он искал другой дороги к морю, кроме той, признанной неудобной, которая ведет от Якутска к Охотску, и проложил тракт к Аяну.

По деревьям во множестве скакали зверки, которых здесь называют бурундучками, то же, кажется, что векши, и которыми занималась пристально наша собака да кучер Иван. Видели взбегавшего по дереву будто бы соболя, а скорее черную белку. "Ах, ружье бы, ружье!" – кричали мои товарищи.

Дорогу эту можно назвать прекрасною для верховой езды, но только не в грязь. Мы легко сделали тридцать восемь верст и слезали всего два раза, один раз у самого Аяна, завтракали и простились с Ч. и Ф., провожавшими нас, в другой раз на половине дороги лежали на траве у мостика, а потом уже ехали безостановочно. Но тоска: якут-проводник, едущий впереди, ни слова не знает по-русски, пустыня тоже молчит, под конец и мы замолчали и часов в семь вечера молча доехали до юрты, где и ночевали.

Я думал хуже о юртах, воображая их чем-то вроде звериных нор; а это та же бревенчатая изба, только бревна, составляющие стену, ставятся вертикально; притом она без клопов и тараканов, с двумя каминами; дым идет в крышу; лавки чистые. Мы напились чаю и проспали до утра как убитые.

Еще проехали день и ночевали в юрте у подошвы Джукджура. Я нанял двух якутов сопровождать меня по горе и помогать подниматься. Что за дорога была вчера! Пустыни, пустыни и пустыни, девственные, если хотите, но скучные и унылые. Мы ехали горными тропинками, мимо оврагов, к счастью окаймленных лесом, проехали вброд множество речек, горных ручьев и несколько раз Алдаму, потом углублялись в глушь лесов и подолгу ехали узенькими дорожками, пересекаемыми или горизонтально растущими сучьями, или до того грязными ямами, что лошадь и седок останавливаются в недоумении, как переехать или перескочить то или другое место. И это еще, говорят, безделица в сравнении с предстоящими грязями, где лошадь уходит совсем. "А что ж в это время делает седок?" – спросил я. "Падает в грязь", – отвечали мне.

Видели мы по лесу опять множество бурундучков, опять quasi-соболя, ждали увидеть медведя, но не видали, видели только, как якут на станции, ведя лошадей на кормовище в лес, вооружился против "могущего встретиться" медведя ружьем, которое было в таком виде, в каком только первый раз выдумал его человек. Лошадям здесь овса не положено давать, за неимением его, зато травы из-под ног – сколько хочешь. По приезде на станцию их отведут в лес и там оставят до утра. Лес по дороге был лиственный, потом стала появляться ель, сосна, шиповник. Много росло по пути брусники и рябины. Матрос наш набрал целую кружку первой, а рябину с удовольствием ел кучер Иван, жалея только, что ее не хватило морозцем.

Видели мы кочевье оленних тунгусов со стадом оленей. Тишина и молчание сопровождали нас. Только раз засвистала какая-то птичка, да, кажется, сама испугалась и замолчала, или иногда вдруг из болота выскакивал кулик, местами в вышине неслись гуси

или утки, всё это пролетные гости здесь. Не слышать и насекомых.

Вчера мы сделали тридцать пять верст и нисколько не устали. Что будет сегодня? Ах, Джукджур, Джукджур: с ума нейдет!

Наконец совершилось наше восхождение на якутский, или тунгусский, Монблан. Мы выехали часов в семь со станции и ехали незаметно в гору буквально по океану камней. Редко-редко где на полверсты явится земляная тропинка и исчезнет. Якутские лошади малорослы, но сильны, крепки, ступают мерно и уверенно. Мне переменили вчерашнюю лошадь, у которой сбились копыта, и дали другую, сильнее, с крупным шагом, остриженную а la мужик.

Джукджур отстоит в восьми верстах от станции, где мы ночевали. Вскоре по сторонам пошли горы, одна другой круче, серее и недоступнее. Это как будто искусственно насыпанные пирамидальные кучи камней. По виду ни на одну нельзя влезть. Одни сероватые, другие зеленоватые, все вообще неприветливые, гордо поднимающие плечи в небо, не удостоивающие взглянуть вниз, а только сбрасывающие с себя камни.

Я всё глядел по сторонам, стараясь угадать, которая же из гор грозный Джукджур: вон эта, что ли? Да нет, на эту я не хочу: у ней крут скат, и хоть бы кустик по бокам; на другой крупны очень камни. Давно я видел одну гору, как стену прямую, с обледеневшей снежной глыбой, будто вставленным в перстне алмазом, на самой крутизне. "Ну, конечно, не эта", – сказал я себе. "Где Джукджур?" – спросил я якута. "Джукджур!" – повторил он, указывая на эту самую гору с ледяной лысиной. "Как же на нее взобраться?" – думал я.

Между тем я не заметил, что мы уж давно поднимались, что стало холоднее и что нам осталось только подняться на самую "выпуклость", которая висела над нашими головами. Я всё еще не верил в возможность въехать и войти, а между тем наш караван уже тронулся при криках якутов. Камни заговорили под ногами. Вереницей, зигзагами, потянулся караван по тропинке. Две вьючные лошади перевернулись через голову, одна с моими чемоданами. Ее бросили на горе и пошли дальше.

Я шел с двумя якутами, один вел меня на кушаке, другой поддерживал сзади. Я садился раз семь отдыхать, выбирая для дивана камня помшистее, иногда клал голову на плечо якута. Двое товарищей уже взобрались и с вершины бросали на ледяную лысину камни. Как я завидовал им! счастливы! И собаке завидовал: она уж раза три вбежала на вершину и возвращалась к нам, а теперь, стоя на самой крутой точке выпуклости, лаяла на нас, досадуя на нашу медленность. А мне еще оставалось шагов двести. Камни катились под ногами; якуты дали нам по палке. Наконец я вошел. Меня подкрепила рюмка портвейна. Как хорошо показалось мне вино, которого я в другое время не пью! У одного якута, который вел меня, пошла из носа кровь.

Остальная дорога до станции была отличная. Мы у речки, на мшистой почве, в лесу, напились чаю, потом ехали почти по шоссе, по прекрасной сосновой, березовой и еловой аллее. Встретили красивый каскад и груды причудливо разбросанных как будто взрывом зеленоватых камней.

На Джукджуре всего более отличился мой слуга Тимофей. Только что тронулся на крутизну наш караван и камни зажурчали под ногами лошадей, вдруг Тимофей рванулся вперед и понесся в гору впереди всех. Он обогнал вьючных лошадей, обогнал проводников, даже собаку, и всё еще, с распростертыми руками, в каком-то испуге, несясь неистово в гору. "Тимофей! куда ты? с ума сошел! – кричал я, изнемогая от усталости, – ведь гора велика, успеешь устать!" Но он махнул рукой и несясь всё выше, лошади выбивались из сил и падали, собака и та высунула язык; несясь один Тимофей. Наконец он и наши верховые лошади вбежали на вершину горы и в одно время скрылись из виду. "Зачем это ты?" – спросил я потом. "Однажды..." – начал он и не мог продолжать, задохся и уже на станции рассказал. "Зачем ты бежал так вверх?" – спросил я. Он, помолчав немного, начал так: "Однажды я ехал из Буюкдерэ в Константинополь и на минуту слез... а лошадь ушла вперед с дороги: так я и пришел пешком, верст пятнадцать будет..." – "Ну так что ж?" – "Вот я и боялся, – заключил Тимофей, – что, пожалуй, и эти лошади уйдут, вбежавши на гору, так чтоб не пришлось тоже

идти пешком". – "Эти лошади уйдут!" – с горьким смехом воскликнул кучер Иван. А лошади, взойдя, стали как вкопанные и поникли головами.

Пустая юрта между Челасином и Маилом.

Вы, конечно, не удивляетесь, что я не говорю ни о каких встречах по дороге? Здесь никто не живет, начиная от Ледовитого моря до китайских границ, кроме кочевых тунгус, разбросанных кое-где на этих огромных пространствах. Даже птицы, и те мимолетом здесь. Зверей, говорят, много, но мы, кроме бурундучков и белок, других не видали. И слава Богу: встреча с медведем могла бы доставить удовольствие, а может быть, и некоторую выгоду – только ему одному: нас она повергла бы в недоумение, а лошадей в неистовый испуг.

Тоска сжимает сердце, когда проезжаешь эти немые пустыни. Спросил бы стоящие по сторонам горы, когда они и всё окружающее их увидело свет; спросил бы что-нибудь, кого-нибудь, поговорил хоть бы с нашим проводником, якутом; сделаешь заученный по-якутски вопрос: "Кась бироста ям?" ("Сколько верст до станции?"). Он и скажет, да не поймешь, или "гра-гра" ответит ("далеко"), или "чугес" ("скоро, тотчас"), и опять едешь целые часы молча.

Выработанному человеку в этих невыработанных пустынях пока делать нечего. Надо быть отчаянным поэтом, чтоб на тысячах верст наслаждаться величием пустынного и скукой собственного молчания, или дикарем, чтоб считать эти горы, камни, деревья за мебель и украшение своего жилища, медведей – за товарищей, а дичь – за провизию.

Вчера мы пробыли одиннадцать часов в седлах, а с остановками – двенадцать с половиною. Дорога от Челасина шла было хороша, нельзя лучше, даже без камней, но верстах в четырнадцати или пятнадцати вдруг мы въехали в заросшие лесом болота. Лес част, как волосы на голове, болота топки, лошади вязли по брюхо и не знали, что делать, а мы, всадники, еще меньше. Переезжая болото, только и ждешь с беспокойством, которой ногой оступится лошадь.

Везде мох и болото; напрасно вы смотрите кругом во все стороны: нет выхода из бесконечных тундр, непроходимых без проводника. Горе тому, кто бы сам собой попробовал сунуться в сторону: дороги нет, указать ее некому. Болота так задержали нас, что мы не могли доехать до станции и остановились в пустой, брошенной юрте, где развели огонь, пили чай и ночевали. Холодно было; вчера летела изморозь, дул ветер, небо мрачное и темное – осень, осень. Наши проводники залезли к нам погреться; мы дали им по стакану чаю, хотели дать водки, но и у нас ее нет: она разбилась на Джукджуре, когда перевернулись две лошади, а может быть, наша свита как-нибудь сама разбила ее... Потом якуты повели лошадей на кормовище за речку, там развели огонь и заварили свои два блюда: варенную в воде муку с маслом и муку, варенную в воде, без масла.

Кучер Иван, по своей части, приобрел замечательное сведение, что здешние лошади живут будто бы по пятидесяти лет, и сообщил об этом нам. Не знаю, правда ли.

Уже выючат лошадей, пора ехать, мы еще не сделали вчера сорока верст. Маил в нескольких верстах отсюда.

Опять пустая юрта.

Что Джукджур, что каменистая дорога, что горные речки – в сравнении с болотами! Подъезжаете вы к грязному пространству: сверху вода; проводник останавливается и осматривает, нет ли объезда: если нет, он нехотя пускает свою лошадь, она, еще более нехотя, но все-таки с резигнацией, без всякого протеста, осторожно ступает, за ней другие. Вдруг та оступилась передними, другая задними ногами, а та и теми и другими. Всадник в беспокойстве сидит – наготове упасть, если упадет лошадь, но упасть как можно безопаснее. Между тем лошадь чувствует, что она вязнет глубоко: вот она начинает делать отчаянные усилия и порывисто поднимает кверху то крестец, то спину, то голову. Хорошо в это время седоку! Наконец, побившись, она ложится набок, ложитесь поскорее и вы: оно безопаснее. Так я и сделал однажды.

Мы дотащились до Маила, где нашли прекрасную новую юрту, о двух комнатах, опрятную, с окнами, где слюда вместо стекол, пол усыпан еловыми ветками, лавки чистые,

камин хоть сейчас в гостиную, только покрасить. Мы ехали от Маила до здешней юрты, всего двадцать верст, очень долго: нас задерживали беспрестанные объезды. Это своего рода пытка, вам неизвестная. В лесу немного посуше – это правда, но зато ноги уходят в мох, вся почва зыблется под вами. Вы едете вблизи деревьев, третесь о них ногами, ветви хлещут в лицо, лошадь ваша то прыгает в яму и выскакивает стремительно на кочку, то останавливается в недоумении перед лежащим по дороге бревном, наконец перескочит и через него и очутится опять в топкой яме.

Правду говорили мне в Аяне! Иногда якут вдруг остановится, видя, что не туда завел, впереди всё одно: непроходимое и бесконечное топкое болото, дорожки не видать, и мы пробираемся назад. Пытка! Кучер Иван пытается утешать, говорит, что "никакая дорога без лужи не бывает, сколько он ни ездил". Это правда.

В Маиле нам дали других лошадей, всё таких же дрянных на вид, но верных на ногу, осторожных и крепких. Якуты ласковы и внимательны: они нас буквально на руках снимают с седел и сажают на них; иначе бы не влезть на седло, потом на подушку, да еще в дорожном платье.

Погода вчера чудесная, нынче хорошее утро. Развлечений никаких, разве только наблюдаешь, какая новая лошадь попалась: кусается ли, лягается или просто ленится. Они иногда лукавят. В этих уже нет той резигнации, как по ту сторону Станового хребта. Если седло ездит и надо подтянуть подпругу, лошадь надует брюхо – и подтянуть нельзя. Иному достанется горячая лошадь; вон такая досталась Тимофею. Лошадь начинает горячиться, а кастрюли, привязанные

Этот Иван очень своеобразен и с трудом отступает от своих взглядов и убеждений, но словоохотлив и услужлив. Он, между прочим, с гордостью рассказывал, как король Сандвичевых островов, глядя на его бороду и особенное платье, принял его за важное лицо и пожал ему руку. Однажды, когда к вечеру стало холоднее, князь Оболенский спросил свой тулуп. "Да далеко закладено в чемоданы и зашито", – сказал Иван. "Неправда, он должен быть в мешке, – сказал князь Оболенский, – покажи!" – "Никак нет, в чемодане", – утверждал кучер, показывая мешок. "А это что у тебя в мешке?" – спросил тот. "Да это, кто ее знает, шкура какая-то". – "Посмотрите! – сказал нам князь Оболенский, – он змеиную шкуру из Бразилии положил поближе, а тулуп запрятал!" – "Да я думал, что шкуру-то можно и выбросить, – сказал Иван, – а тулупчика-то жаль". – "Вот этак же, – заметил князь Оболенский, – он вез у меня пару кокосовых орехов до самого Охотского моря: хорошо, что я увидел вовремя да выбросил, а то он бы и их в чемоданы спрятал". – "Зачем это ты, Иван Григорьев, вез орехи? – спросил я. – Они понравились тебе – вкусны?" – "Нет, какое вкусны, – отвечал он с величайшим презрением, – это всё пустое! А я вез их по той причине, что в Москве видел, в лавке за этакие орехи просили по пяти целковых за штуку, так думал, сбуду их туда".

Нелькан, 29 августа.

Вчера, в осьмом часу вечера, насилу дотащились последнюю станцию верхом. Сорок верст ехали и отдыхали всего полтора часа на половине дороги, в лесу. Скучно, хотя по лесу встречалось так много дичи, что даже досадно на ее дерзость. Тетерева просто гуляют под ногами у лошадей, вальдшнепы вылетали из каждого куста, утки полоскались в каждой луже. "Как жаль, что нет ружья!" – сказал кто-то. "Как нет, есть два, славнейшие ружья". – "А порох есть?" – "И порох, и дробь, и пули". – "Так что же не стреляем? давай!" – "Далеко спрятаны, на дне чемодана", – сказал Иван Григорьев. "А змеиную шкуру держит под рукой!" – упрекнул князь Оболенский. "Шкуру недолго и бросить", – оправдывался Иван. "А кокосы напрасно не взял, – заметил я ему, – в самом деле можно бы выгодно продать..." – "Оно точно, кабы взять штук сто, так бы денег можно было много выручить", – сказал Иван,

принявший серьезно мое замечание.

От Майльской станции до Нельканской идут всё горы и горы – целые хребты; надо переправиться через них, но из них две только круты, остальные отлоги. Да и с крутых-то гор никакими кнутами не заставишь лошадей идти рысью: тут они обнаруживают непоколебимое упорство. Горы эти – всё ветви Станового хребта, к которому принадлежит и Джукджур. У подошвы каждой горы стелется болото; и как ни суха, как ни хороша погода, но болота эти никогда не высыхают: они или мерзнут, или грязны. Болота коварны тем, что поросли мхом и травой, и вы не знаете, по колено ли, по брюхо или по морду лошади глубока лужа. "Ох!" – вырвется у того или другого, среди мучительного молчания, в продолжительном и изворотливом пробирании между кочек, луж и кустов.

Наконец вчера приехали в Нелькан и переправились через Маю, услышали говор русских баб, мужиков. А с якутами разговор не ладится; только Иван Григорьев беспрестанно говорит с ними, а как и о чем – неизвестно, но они довольны друг другом.

В Нелькане несколько юрт и несколько новеньких домиков. К нам навстречу вышли станционный смотритель и казак Малышев; один звал пить чай, другой – ужинать, и оба угостили прекрасно. За ужином были славные зеленые щи, языки и жареная утка. В доме, принадлежащем Американской компании, которая имеет здесь свой пакгауз с товарами (больше с бумажными и другими материями и тому подобными нужными для края предметами, которыми торговля идет порядочная), комната просторная, в окнах слюда вместо стекол: светло и, говорят, тепло. У смотрителя станции тоже чисто, просторно; к русским печам здесь прибавили якутские камины, или чувалы: от такого русско-якутского тепла, пожалуй, вопреки пословице, "заломит и кости".

Мы отлично уснули и отдохнули. Можно бы ехать и ночью, но не было готового хлеба, надо ждать до утра, иначе нам, в числе семи человек, трудно будет продовольствоваться по станциям на берегах Май. Теперь предстоит ехать шестьсот верст рекой, а потом опять сто восемьдесят верст верхом по болотам. Есть и почтовые тарантасы, но все предпочитают ехать верхом по этой дороге, а потом до Якутска на колесах, всего тысячу верст. Всего!

Мая извивается игриво, песчаные мели выглядят так гостеприимно, как будто говорят: "Мы вас задержим, задержим"; лес не темный и не мелкий частокол, как на болотах, но заметно покрупнел к реке; стал чаще являться осинник и сосняк. Всему этому несказанно обрадовался Иван Григорьев. "Вон осинничек, вон соснячок!" – говорил он приветливо, указывая на знакомые деревья. Лодка готова, хлеб выпечен, мясо взято – едем. Теперь платить будем прогоны по числу людей, то есть сколько будет гребцов на лодках.

30 и 31 августа.

Нельзя начать плавание при более благоприятных обстоятельствах, как начали мы. Погода была великолепная, теплая. Река, с каждым извивом и оборотом, делалась приятнее, берега или отлогие, лесистые, или утесистые. Лодка мчится с невероятной быстротой. Мы промчались двадцать восемь верст в два часа и прибыли на станцию Ба'танга или Ва'танга. Дорогой наконец достали из чемодана ружье, после, однако ж, многих возражений со стороны Ивана Григорьева, и отдали Ванюшке. Он застрелил утку, подстрелил много еще, но нельзя было их достать. Издалека завидим мы их, они мчатся по течению, мы перегоняем, они улетают, а если остаются, то дорого платят за оплошность.

На Батанге живет очень смышленный старик, Петр Маньков, с женой, в хижине. Всё это переселенцы. Они стараются прививать хлебопашество, но мало средств, и земля не везде удобна. Отчасти промышляют зверями. От Батанги до Семи Протоков четырнадцать верст. Мы до Семи Протоков сделали быстрый переход. Но погода стала портиться: подул холодок, когда мы в темноте пристали к станции и у пылавшего костра застали якутов и русских мужиков и баб; последние очень красивы, особенно одна девушка, лет шестнадцати. Мы

вошли в их бедную избу, пили чай и слушали рассказы о трудностях и недостатках, с какими, впрочем, неизбежно сопряжено первоначальное водворение в новом краю. В избе и около избы толпились ребятишки с голыми ногами, грудью и даже с голым брюхом. Мы дали им две рубашки, и мальчишки с гордостью и радостью надели их. Благодарностям не было конца.

Пока мы сидели в избе, задул ветер, повалил хлопьями снег – словом, вьюга, или, по-здешнему, пурга. Мужики стали просить подождать до луны, иначе темно ехать, говорили они: трудно, много мелей. Мы согласились, но пошли спать в лодку, чтоб тронуться тотчас же, лишь взойдет луна. Ночью во сне я почувствовал, что как будто еду опять верхом, скачу опять по рытвинам: это потащили нас по реке. Холод разбудил меня; мы на мели. Якуты, стоя по колени в реке, сталкивали лодку с мели, но их усилия натолкнули лодку еще больше на мель, и вскоре мы увидели, что стоим основательно, без надежды сдвинуться нашими силами. Наши люди вооружились: кто шестом, кто веслом и стали толкаться: всё напрасно.

"Никак нельзя!" – в один голос сказали все.

До станции было еще семь верст. Мы послали одного из русских проводников туда привести лодку почтовую, а сами велели Тимофею готовить обед: щи, вчерашнюю утку. На носу была набросана земля и постоянно горел огонь. Скоро задымилась кастрюля, и через час мы обедали, знаете, как обедают на станциях, в роще, на пикнике и т. п. Кто ел из кружки, кто из чашки, на сундуке, на подставке. Когда нужно стол, обыкновенно говорили Ивану Григорьеву: "Чтоб был стол". – "Слушаю", – отвечал Иван и отправлялся в лес: через четверть часа перед нами стоял стол. В одной юрте не было ни окон, ни двери. Сказано Ивану Григорьеву, чтоб была дверь и окно. "Слушаю", – сказал он и окна заткнул потниками от лошадей, а дверь так приладил, что наутро отворить было нельзя, а надобно было выколотить.

Наконец уже в четыре часа явились люди со станции снимать нас с мели, а между прочим, мы, в ожидании их, снялись сами. Отчего же просидели часа четыре на одном месте – осталось неизвестно. Мы живо приехали на станцию. Там встретили нас бабы с ягодами (брусникой), с капустой и с жалобами на горемычное житье-бытье: обыкновенный припев!

Станция называется Маймакан. От нее двадцать две версты до станции Иктенда. Сейчас едем. На горах не оттаял вчерашний снег; ветер дует осенний; небо скучное, мрачное; речка потеряла веселый вид и опечалилась, как печалится вдруг резвое и милое дитя. Пошли опять то горы, то просеки, острова и долины. До Иктенды проехали в темноте, лежа в каюте, со свечкой, и ничего не видали. От холода коченели ноги.

От Иктенды двадцать восемь верст до Терпильской и столько же до Цепандинской станции, куда мы и прибыли часу в осьмом утра, проехав эти 56 верст в совершенной темноте и во сне. Погода всё одна и та же, холодная, мрачная. Цепандинская станция состоит из бедной юрты без окон. Здесь, кажется, зимой не бывает станции, и оттого плоха и юрта, а может быть, живут тунгусы.

Тунгусы – охотники, оленные промышленники и ямщики. Они возят зимой на оленях, но, говорят, эта езда вовсе не так приятна, как на Неве, где какой-то выходец из Архангельска катал публику: издали всё ведь кажется или хуже, или лучше, но во всяком случае иначе, нежели вблизи. А здесь езда на оленях даже опасна, потому что Мая становится неровно, с полыньями, да, кроме того, олени падают во множестве, не выдерживая гоньбы.

Печальный, пустынный и скудный край! Как ни пробуют, хлеб всё плохо родится. Дальше, к Якутску, говорят, лучше: и население гуще, и хлеб богаче, порядка и труда больше. Не знаю; посмотрим. А тут, как поглядишь, нет даже сенокосов; от болот топко; сена мало, и скот пропадает. Овощи роятся очень хорошо, и на всякой станции, начиная от Нелькана, можно найти капусту, морковь, картофель и проч.

Якуты – народ с широкими скулами, с маленькими глазами, таким же носом; бороду выщипывает; смуглый и с черными волосами. Они, должно быть, южного происхождения и

родня каким-нибудь манчжурам. Все они христиане, у всех медные кресты; все молятся; но говорят про них, что они не соблюдают постановлений церкви, то есть постов. Да и трудно соблюдать, когда нечего есть. Они едят что попало, белок, конину и всякую дрянь; выпрашивают также у русских хлеба. Русские все старообрядцы, все переселены из-за Байкала. Но всюду здесь водружен крест благодаря стараниям Иннокентия и его предшественников.

Чабда, станция, 2-го сентября.

Мы всё еще плывем по Мае, но холодно: ветер из осеннего превратился в зимний; падает снег; руки коченеют, ноги тоже. Леса по берегам желтые; по реке несутся падшие листья; всё печально. После завтрака посмотришь, посмотришь, да и ляжешь опять спать, а после обеда опять. Станции пошли русские. Якуты здесь только ямщики; они получают жалованье, а русские определены содержателями станций и получают все прогоны, да еще от казны дается им по два пуда в месяц хлеба на мужика и по одному на бабу. Они обязаны содержать в исправности данные им от казны почтовые лодки. Прогоня платят по 1 1/2 коп. сер. с человека. Всех станций по Мае двадцать одна, по тридцати, тридцати пяти и сорока верст каждая. У русских можно найти хлеб; родятся овощи, капуста, морковь, картофель, брюква, кое-где есть коровы; можно иметь и молоко, сливки, также рыбу, похожую на сига. На некоторых станциях, например в Аyme и вообще там, где есть конторы Американской компании, можно доставать говядину.

Река, чем ниже, тем глубже, однако мы садились раза два на мель: ночью я слышал смутно шум, возню; якуты бросаются в воду и тащат лодку. Вчера один из гребцов кричит к нам в дверь каюты: "Ваше высокоблагородие! а ваше высокоблагородие!" – "Ну?" – сказал я. Товарищи мои спали. "Можно реветь?" – "Если это тебе нравится, пожалуй, только ты перебудешь всех. Зачем?" – "Станок (станция) близко: не видно, где пристать; там услышат, огонь зажгут". – "Ну реви!" По реке понеслись фальцетто, медвежьи басы – ужас! И это повторяется каждую ночь, когда подъезжаем к станции.

Да, это путешествие не похоже уже на роскошное плавание на фрегате: спишь одетый, на чемоданах; ремни врезались в бока, кутаешься в пальто: стенки нашей каюты выстроены, как балаган; щели в палец; ветер сквозит и свищет – все а jour, а слава Богу, ничего: могло бы быть и хуже.

Сегодня Иван Григорьев просунул к нам голову: "Не прикажете ли бросить этот камень?" Он держал какой-то красивый, пестрый камень в руке. "Как можно! это надо показать в Петербурге: это замечательный камень, из Бразилии..." – "Белья некуда девать, – говорил Иван Григорьев, – много места занимает. И что за камень? хоть бы для точила годился!"

От Чабдинской станции тянется сплошной каменный высокий берег, версты на три, представляющий природную, как будто нарочно отделанную набережную. Река здесь широка, будет с нашу Оку; по берегам всюду мелкий лес. Мужики – всё переселенцы из-за Байкала. Хлеб здесь принимается порядочно, но мужики жалуются на прожорливость бурундучков, тех маленьких лесных зверьков, вроде мышей, которыми мы любовались в лесах. Русские не хвалят якутов, говорят, что они плохие работники. "Дай хоть целковый в день, ни за что пахать не станет". Между тем они на гребле работают без усталости, тридцать и сорок верст, и чуть станем на мель, сейчас бросаются с голыми ногами в воду тащить лодку, несмотря на резкий холод. Переселенцев живет по одной, по две и по три семьи. Женщины красивы, высоки ростом, стройны и с приятными чертами лица. Все из-за Байкала, отчасти и с Лены.

Усть-Мая, Алданская слобода, 3-го сентября.

Мы пока кончили водяное странствие. Сегодня сделали последнюю станцию. Я опять целый день любовался на трех станциях природной каменной набережной из плитняка. Ежели б такая была в Петербурге или в другой столице, искусству нечего было бы прибавлять, разве чугунную решетку. Река, разливаясь, оставляет по себе след, кладя слоями легкие заметки. Особенно хороши эти заметки на глинистом берегу. Глина крепка, и слои – как ступени: издали весь берег похож на деревянную лестницу.

Летом плавание по Мае – чудесная прогулка: острова, мысы, березняк, тальник, ельник – всё это со всех сторон замыкает ваш горизонт; всё живописно, игриво, недостает только сел, городов, деревень; но они будут – нет сомнения. Чем ниже спускались мы по Мае, тем более переселенцы хвалили свое житье-бытье. Везде строят на станциях избы, везде огород первый бросается в глаза; снопы конопли стоят сжатые. Тунгусы начинают перенимать. Вчера уже на одной станции, Урядской или Уряхской, хозяин с большим семейством, женой, многими детьми благословлял свою участь, хвалил, что хлеб родится, что надо только работать, что из конопли они делают себе одежду, что чего недостает, начальство снабжает всем: хлебом, скотом; что он всем доволен, только недостает одного... "Чего же?" – спросили мы. "Кошки, – сказал он, – последнее отдал бы за кошку: так мышь одолевает, что ничего нельзя положить, рыбу ли, дичь ли, ушкана ли (зайца) – всё жрет".

Мы везде, где нам предложат капусты, моркови, молока, всё берем с величайшим удовольствием и щедро платим за всё, лишь бы поддерживалась охота в переселенцах жить в этих новых местах, лишь бы не оставляла их надежда на сбыт своих произведений. Желательно, чтоб все проезжие по мере сил поддерживали эту надежду. Сегодня мы с князем Оболенским пошли из слободы пройтись, зашли в лес и встретили двух якутов с корзинкой. В корзинке была дичь: два тетерева, утка и прекрасная большая рыба. "Куда вы идете?" – спросили мы. "Не толкуй", – сказали они, то есть: "Не знаем по-русски". "А это кому?" – спросили мы, показывая на дичь и рыбу. "Торгуй", то есть: "Покупай", – отвечали они. Я их послал на нашу квартиру, где у них всё купили и заплатили, что они хотели, за что я и был бранен распорядителем наших расходов П. А. Тихменевым.

По случаю этих покупок наша лодка походила немного на китайскую джонку. Вверху лежала дичь и овощи (на крышке беседки), на носу говядина, там же тлел огонь и дымилась кастрюля. Эту фламандскую картину дополняла собака, которая виляла хвостом, норовя стащить плохо положенный кусок. В одной юрте она и так отличилась: якуты не имеют ни полок, ни поставцов, как русские, и ставят свои чашки и блюда под лавкой. Они поспешили встретить нас и спрятали туда остатки своего ужина. Пока мы усаживались, собака очистила все их чашки. "И дельно: не ставь снесь под лавку!" – заметил Иван Григорьев.

Одно неудобно: у нас много людей. У троих четверо слуг. Довольно было бы и одного, а то они мешают друг другу и ленятся. "У них уж завелась лакейская, – говорит справедливо князь Оболенский, – а это хуже всего. Их не добудишься, не дозовешься, ленятся, спят, надеясь один на другого; курят наши сигары".

Сегодня, возвращаясь с прогулки, мы встретили молодую крестьянскую девушку, очень недурную собой, но с болезненной бледностью на лице. Она шла в пустую, вновь строящуюся избу. "Здравствуй! ты нездорова?" – спросили мы. "Была нездорова: голова с месяц болела, теперь здорова", – бойко отвечала она. "Какая же ты красавица!" – сказал кто-то из нас. "Ишь что выдумали! – отвечала она, – вот войдите-ка лучше посмотреть, хорошо ли мы строим новую избу?"

Мы вошли: печь не была еще готова; она клалась из необожженных кирпичей. Потолок очень высок; три большие окна по фасаду и два на двор – словом, большая и светлая комната. "Начальство велит делать высокие избы и большие окна", – сказала она. "Кто ж у вас делает кирпичи?" – "Кто? я делаю, еще отец". – "А ты умеешь делать мужские работы?" – "Как же, и бревна рублю, и пашу". – "Ты хвастаешься!" Мы спросили брата ее, правда ли?

"Правда", – сказал он. "А мне не поверили, думаете, что вру: врать нехорошо! – заметила она. – Я шью и себе и семье платье, и даже обутки (обувь) делаю". – "Неправда. Покажи башмак". Она показала препорядочно сделанный башмак. "Здесь места привольные, – сказала она, – только работай, не ленись; рожь славная родится, особенно озимая, конопля; и скотине хорошо – всё. Вина нет, мужик не пьет; мы славно здесь поправились, а пришли без гроша. Теперь у нас корова с теленком, лошадь; понемногу заводимся. Вот новую-то избу хотим под станок (станцию) отдать".

Вина в самом деле пока в этой стороне нет – непьющие этому рады: все, поневоле, ведут себя хорошо, не разоряются. И мы рады, что наше вино вышло (разбилось на горе, говорят люди), только Петр Александрович жалобно по вечерам просит рюмку вина, жалуясь, что зябнет. Но без вина решительно лучше, нежели с ним: и люди наши трезвы, пьют себе чай, и, слава Богу, никто не болен, даже чуть ли не здоровее.

Мы здесь нашли исправника. Он послал за лошадьми и вперед дал знать, чтоб была подстава. Опять верхом, опять болота и топи! Утешают, что тут дорога лучше, – дай Бог! Можно, говорят, ехать верхом только верст восемьдесят, а дальше на колесах. Но лучше ли трястись на телегах, нежели верхом, – не знаю. А других экипажей здесь нет. Мы сделали восемьсот верст: двести верхом да шестьсот по Мае; остается до Якутска четыреста верст. А там Леной три тысячи верст, да от Иркутска шесть тысяч – страшные цифры! Надо спешить из Якутска сесть в лодку на Лене никак не позже десятого сентября, иначе не доберешься до Иркутска до закрытия реки.

В лесу, на тундре, 5-го сентября.

Мочи нет, опять болота одолели! Лошади уходят по брюхо. Якут говорит: "Всяко бывает, и падают; лучше пешком, или пешкьюем", – как он пренежно произносит. "Весной здесь всё вода, всё вода, – далее говорит он, – почтальон ехал, нельзя ехать, слез, пешкьюем шел по грудь, холодно, озяб, очень сердился".

Мы вторую станцию едем от Усть-Маи, или Алданского селения. Вчера сделали тридцать одну версту, тоже по болотам, но те болота ничто в сравнении с нынешними. Станция положена, по их милости, всего семнадцать верст. Мы встали со светом, поехали еще по утреннему морозу; лошади скользят на каждом шагу; они не подкованы. Князь Оболенский говорит, что они тверже копытами, оттого будто, что овса не едят.

Товарищи мои и व्यюки все уехали вперед; я оставил только своего человека, и где чуть сносно – еду, где худо – иду. Большая дорога – корыто грязи. Проводник, со всею якутскою учтивостью, отламывает от дерева сук, отрубает ножом ветви и подает мне посох. Сегодня мы ночевали в юрте. Что это за наказание! Дрянные бревна едва сколочены, щели заклеены бумагой, лавки покрыты сеном, да камин, от огня которого некуда деваться. Зато мы вчера пили чай с дамами, с якутскими. Мы их позвали сесть с собой за стол, а мужчин оставили, где они были, в углу. Якутки были в высоких остроконечных шапках из оленьей шкуры, в белом балахоне и в знаменитых сарах. По этой причине мы все пятились от них. Две из них – молодые. Им налили чаю; они сняли шапки, поправили волосы и перекрестились, взяв стаканы. Одна принесла нам молока. Здесь есть уже коровы. Но до свидания: пора, пора, опять по кочкам!

Пока я писал в лесу и осторожно обходил болота, товарищи мои, подождав меня на станке, уехали вперед, оставив мне чаю, сахару, даже мяса, и увезли с тюками мою постель, белье и деньги. Через полчаса после моего приезда воротился князь Оболенский, встретивший на дороге исправника. Последний (г-н Атласов, потомок Атласова, одного из самых отважных покорителей Камчатки) был так добр, что нарочно ездил вперед заготовить нам лошадей. С следующей станции можно, хотя с нуждою, ехать в телеге. Есть всего одна телега: ее оставляют мне, а прочие едут верхом.

Вот я один, с человеком, в самобеднейшей юрте со множеством щелей, между якутами, в их семействе. Я принят очень хорошо. В камин подложили дров, уступили мне передний угол, принесли молока. Неразговорчивы только: что ни спросишь, только и отвечают: "Не толкуй", то есть: "Не знаю". Дико, бедно и... неопратно, хотел было сказать, но оглядываюсь: ни одного таракана и ничего другого... Правду сказать, как и ужиться насекомому там, где стенки состоят из одиноких бревен без конопатки, едва кое-где замазанные глиной? Камин горит постоянно, покуда потушат; в юрте всё равно что на дворе. Ах, скорее бы выбраться из этих нежилых, безмолвных мест! Тоска: на расстоянии тридцати верст ни живой души, ни встречи с человеком, ни жилища на дороге, ни даже самой дороги! Лес и болото. Дорога отсюда, говорят, идет хуже: ужели хуже этой, что была на сегодняшних семнадцати верстах? До Якутска еще около трехсот пятидесяти верст. Нет, видно не попасть мне на Лену до льда; придется ждать зимнего пути в Якутске.

Нет сомнения, что по этому тракту была бы уже давно колесная дорога, если б... были проезжие; но их так мало, и то случайно, что издержки и труды, по устройству дороги, не вознаграждаются ничем.

Здесь, на станции, уже заметно обилие. У хозяина есть четыре или пять коров и стол покрыт красной тряпкой.

6-го сентября.

Сегодня проехали тридцать одну версту, и всё почти на рысях. Мне дали необыкновенно покойную, неспотыкливую лошадь. Хотя дорога несравненно лучше вчерашних семнадцати верст, но местами было так худо, что из рук вон! Едете по прекрасной тропинке, вдруг сажены на сто болото. Когда я вышел сегодня из юрты садиться на лошадь, всё было покрыто выпавшим ночью снегом. Я недоумевал, как же нам ехать? Все рытвины, ямы и кочки прикрыты снегом – коварно прикрытый обман! А вышло лучше: не видишь, так и не думаешь. Сомнения и ожидания дурного тревожат более, нежели самое дурное: я думаю, это все испытывают на каждом шагу.

В лесу, на семнадцатой версте, лошадь ямщика захотела отдохнуть, а я позавтракать. Вся трава была мокрая от снега, и лечь на нее было нельзя. Я нашел в лесу оставленную кем-то нару (сани) и лег на нее, как на диван; кругом пустыня. Впрочем, что такое пустыня: сосновый да еловый лес да по временам горы и болота! Отъезжайте верст за тридцать от Петербурга или от Москвы куда-нибудь в лес – и вы будете точно в такой же пустыне; вообразите только, что кругом никого нет верст на тысячу, как я воображаю, что здесь поблизости живут.

Сегодня, задолго до захождения солнца, при разгулявшейся погоде, приехали мы на станцию, не знаю какую, – названия чудовищные. Кругом коровы, лошади и, между прочим, – телега; у главной юрты есть службы, хозяйственный вид порядка и довольства. Телега приготовлена для меня. Товарищи мои уехали сегодня утром вперед. Здесь видны уже признаки колес. Юрта здесь получше, только везде щелей много, да сверху из-под крыши всё что-то сыплется на голову, должно быть, мыши возятся. Две якутки хлопочут около какой-то кастрюли. По платью их не отличишь от мужчин, только и можно узнать по серьгам. Ямщики ужинают. Огонь трещит, искры летят во все стороны, так что страшно заснуть.

7-го сентября.

Кажется, я раскланялся с верховой ездой. Вот уж другую станцию еду в телеге, или

скате, как ее называют здесь и русские и якуты, не знаю только на каком языке. Телега как телега, только гораздо больше, длиннее и глубже обыкновенной. Когда я сел сегодня в нее, каким диваном показалась она мне после верховой езды! Вы думаете, если в телеге, так уж мы ехали по дороге, по колеям: отнюдь нет; просто по тропинкам да по мерзлым кочкам или целиком по траве. Взглянув на такую дорогу, непременно скажешь, что по ней ни пройти, ни проехать нельзя, но проскакать можно; и якут скакал во всю прыть, так что дух замирает. Мне сделали из ремней так называемый плёт: едешь, точно в дормезе, не тряхнет!

Другую станцию, Ичугей-Муранскую, вез меня Егор Петрович Бушков, мещанин, имеющий четыре лошади и нанимающийся ямщиком у подрядчика, якута. Он и живет с последним в одной юрте; тут и жена его, и дети. Из дверей выглянула его дочь, лет одиннадцати, хорошенькая девочка, совершенно русская. "Как тебя зовут?" – спросил я. "Матреной, – сказал отец. – Она не говорит по-русски", – прибавил он. "Мать у нее якутка? Не эта ли?" – спросил я, указывая на какое-то существо, всего меньше похожее на женщину. "Нет, русская; а мы жили всё с якутами, так вот дети по-русски и не говорят". Ох, еще сильна у нас страсть к иностранному: не по-французски, не по-английски, так хоть по-якутски пусть дети говорят! Отчего Егор Петрович Бушков живет на Ичугей-Муранской станции, отчего нанимается у якута и живет с ним в юрте – это его тайны, к которым я ключа не нашел.

Я только было похвалил юрты за отсутствие насекомых, как на прошлой же станции столько увидел тараканов, сколько никогда не видал ни в какой русской избе. Я не решился войти. Здесь то же самое, а я ночую! Но, кажется, тут не одни тараканы: ужели это от них я ворочаюсь с боку на бок?

Итак, сегодня я сделал пятьдесят четыре версты. Лошадей нет: всех забрали товарищи. Они, как я узнал от ямщиков, сделали одну станцию в телегах, а дальше поехали верхом. Здесь предпочитают ехать верхом все сто восемьдесят верст до Амгинской слободы, заселенной русскими; хотя можно ехать только семьдесят семь верст, а дальше на телеге, как я и сделал. Только не требуйте колеи, а поезжайте большею частью по тропинке или целиком по болоту, которое усеяно поросшими травой кочками, очень похожими на сжатые и связанные снопы ржи. Оно довольно красиво: телега подпрыгивает, якут едет рысью там, где наш ямщик задумался бы проехать шагом.

Дорога идет всё оживленнее. Кое-где есть юрты уже не из одних бревен, а обмазанные глиной. Видны стога сена, около пасутся коровы. У Егора Петровича их десять.

Лес идет разнообразнее и крупнее. Огромные сосны и ели, часто надломившись живописно, падают на соседние деревья. Травы обильны. "Сена-то, сена-то! никто не косит!" – беспрестанно восклицает с соболезнаванием Тимофей, хотя ему десять раз сказано, что тут некому косить. "Даром пропадает!" – со вздохом говорит он.

Больших гор нет, но мы едем всё у подножия холмов, усеянных крупным лесом. Беспрестанно встречаются якуты; они тихий и вежливый народ: съезжают с холмов, с дороги, чтоб только раскланяться с проезжим. От Амги шесть станций до Якутска, но там уже колесная езда, даже есть на станциях тарантасы. Нет сомнения, что будет езда и дальше по аянскому тракту. Всё год от году улучшается; расставлены версты; назначено строить станционные дома. И теперь, посмотрите, какие горы скрыты, какие непроходимые болота сделаны проходимыми! Сколько трудов, терпения, внимания – на таких пространствах, куда никто почти не ездит, где никто почти не живет! Если б видели наши столичные чиновные львы, как здешние служащие (и сам генерал-губернатор) скачут по этим пространствам, они бы покраснели за свои так называемые неусыпные труды... А может быть, и не покраснели бы!

Амгинская станция. 8-го сентября.

Не веришь, что едешь по Якутской области, куда, бывало, ворон костей не занавивал, – так оживлены поля хлебами, ячменем, и даже мы видели вершок пшеницы, но ржи нет. Хлеб уже в снопах, сено в стогах. День великолепный. Заслышав наш колокольчик у речки, вдруг вперед от нас бросилось в испуге еще непривычное здесь к этим звукам стадо лошадей; только очутившаяся между ними корова с удивлением, казалось, глядела, чего это они так

испугались. Вол, с продетым кольцом в носу, везший якутку, вдруг уперся и поворотил морду в сторону, косясь на наш поезд.

В девяти верстах от Натарской станции мы переправились через речку Амгу, впадающую в Маю, на пароме первобытной постройки, то есть на десятке связанных лыками бревен и больше ничего, а между тем на нем стояла телега и тройка лошадей.

На другой стороне я нашел свежих лошадей и быстро помчался по отличной дороге, то есть гладкой луговине, но без колеи: это еще была последняя верховая станция. Далее поля всё шли лучше и богаче. По сторонам видны были юрты; на полях свозили ячмень в снопы и сено на волах, запряженных в длинные сани, – да, сани, нужды нет, что без снега. Искусство делать колеса, видно, еще не распространилось здесь повсюду, или для кочек и болот сани оказываются лучше – не знаю: Егор Петрович не мог сказать мне этого. "Исправные (богатые) якуты живут здесь", – сказал он только в ответ на замечание мое о богатстве стороны. "А ржи не сеют?" – спросил я. "Нет-с". – "Что ж они едят?" – "А ячменную муку: пекут из нее лепешки с маслом и водой, варят эту муку". – "А за Амгинской слободой тоже сеют?" – "Нет, там не сеют: зябнет очень хлеб, там холодно". – "Да ведь всего разницы верст тридцать или сорок будет". – "Точно-с, и сами не надивимся этому". – "Ловится ли рыба в речке Амге?" – "Как же-с, разная, только мелкая".

О дичи я не спрашивал, водится ли она, потому что не проходило ста шагов, чтоб из-под ног лошадей не выскочил то глухарь, то рябчик. Последние летали стаями по деревьям. На озерах, в двадцати саженьях, плескались утки. "А есть звери здесь?" – спросил я. "Никак нет-с, не слышать: ушканов только много, да вот бурундучки еще". – "А медведи, волки?.." – "И не видать совсем".

Вот поди же ты, а Петр Маньков на Мае рассказывал, что их много, что вот, слава Богу, красный зверь уляжется скоро и не страшно будет жить в лесу. "А что тебе красный зверь сделает?" – спросил я. "Как что? по бревнышку всю юрту разнесет". – "А разве разносил у кого-нибудь?" – "Никак нет, не слышать". – "Да ты видывал красного зверя тут близко?" – "Никак нет. Бог миловал".

Мы быстро доехали до Амгинской слободы. Она разбросана на двух-трех верстах; живут всё якуты, большею частью в избах, не совсем русской, но и не совсем якутской постройки. Красная тряпка на столе под образами решительно начинает преобладать и намекает на Европу и цивилизацию. В Амге она уже – не тряпка, а кусок красного сукна. Содержатель станции, из казаков, очень холодно объявил мне, что лошадей нет: товарищи мои всех забрали. "А лошадей-то надо", – сказал я. "Нет", – холодно повторил он. "А если я опоздаю в город, – еще холоднее сказал я, – да меня спросят, отчего я опоздал, а я скажу, оттого, мол, что у тебя лошадей не было..." Хотя казак не знал, кто меня спросит в городе и зачем, я сам тоже не знал, но, однако ж, это подействовало. "Вы не накушаетесь ли чаю здесь?" – "Может быть, а что?" – "Так я коней-то излажу". Я согласился и пошел к священнику. В слободе есть деревянная церковь во имя Спаса Преображения. Священников трое; они объезжают огромные пространства, с требами. В самой слободе всего около шестисот душ.

Всё сделалось, как сказал казак: через час я мчался так, что дух захватывало. На одной тройке, в скате, я, на другой мои выюки. Часа через полтора мы примчались на Крестовскую станцию. "Однако лошадей нет", – сказал мне русский якут. Надо знать, что здесь делают большое употребление или, вернее, злоупотребление из однако, как я заметил. "Однако подои корову", – вдруг, ни с того ни с сего, говорит один другому русский якут: он русский родом, а по языку якут. Да Егор Петрович сам, встретив в слободе какого-то человека, вдруг заговорил с ним по-якутски. "Это якут?" – спросил я. "Нет, русский, родной мой брат". – "Он знает по-русски?" – "Как же, знает". – "Так что ж вы не по-русски говорите?" – "Обычай такой..."

Крестовская станция похожа больше на ферму, а вся эта Амгинская слобода, с окрестностью, на какую-то немецкую колонию. Славный скот, женщины ездят на быках; юрты чистенькие (если не упоминать о блохах).

"Однако лошадей надо", – сказал я. "Нету", – отвечал русский якут. "А если я опоздаю приехать в город, – начал я, – да меня спросят отчего..." – и я повторил остальное. Опять подействовало. Явились четверо якутов, настоящих якутских якутов, и живо запрягли. Под вьюки заложили три лошади и четвертую привязали сзади, а мне только пару. "Отчего это?" – спросил я. "Ту на дороге припряжем", – сказали они. "Ну, я пойду немного пешком", – сказал я и пошел по прекрасному лугу мимо огромных сосен. "Нельзя, барин: лошадь-то коренная у нас с места прыгает козлом, на дороге не остановишь". – "Пустое, остановишь!" – сказал я и пошел. Долго еще слышал я, что Затей (как называл себя и другие называли его), тоже русский якут, упрасивал меня сесть. Я прошел с версту и вдруг слышу, за мной мчится бешеная пара; я раскаялся, что не сел; остановить было нельзя. Затей (вероятно, Закхей) направил их на луг и на дерево, они стали. Я сел; лошади вдруг стали ворочать назад; телега затрещала, Затей терялся; прибежали якуты; лошади начали бить; наконец их распрягли и привязали одну к загородке, ограждающей болото; она рванулась; гнилая загородка не выдержала, и лошадь помчалась в лес, унося с собой на веревке почти целое бревно от забора.

"Теперь не поймашь ее до утра, а лошадей нет!" – с отчаянием сказал Затей. Мне стало жаль его; виноват был один я. "Ну нечего делать, я останусь здесь до рассвета, лошади отдохнут, и мы поедем", – сказал я.

Он просиял радостью, а я огорчился тем, что надо сидеть и терять время. "Нечего делать, готовь бифтекс, ставь самовар", – сказал я Тимофею. "А из чего? – мрачно отвечал он, – провизия с вьюками ушли вперед". Я еще больше опечалился и продолжал сидеть в отпряженной телеге с поникшей головой. "Чай готовить?" – спросил меня Тимофей. "Нет", – мрачно отвечал я. Якуты с любопытством посматривали на меня. Вдруг ко мне подходит хозяйский сын, мальчик лет пятнадцати, говорящий по-русски. "Барин", – сказал он робко. "Ну!" – угрюмо отозвался я. "У нас есть утка, сегодня застрелена, не будешь ли ужинать?" – "Утка?" – "Да, и рябчик есть". Мне не верилось. "Где? покажи". Он побежал в юрту и принес и рябчика и утку. "Еще сегодня они оба в лесу гуляли". – "Рябчик и утка, и ты молчал! Тимофей! смотри: рябчик и утка..." – "Знаю, знаю, – говорил Тимофей, – я уж и сковороду чищу". Через час я ужинал отлично. Якут принес мне еще две пары рябчиков и тетерева на завтра.

9 сентября.

"Однако есть лошади?" – спросил я на Ыргалахской станции... "Коней нету", – был ответ. "А если я опоздаю, да в городе спросят" и т. д. – "Коней нет", – повторил русский якут.

Дорога была прекрасная, то есть грязная, следовательно для лошадей очень нехорошая, но седоку мягко. Везде луга и сено, а хлеба нет; из города привозят. Видел якутку, одну, наконец, хорошенькую и, конечно, кокетку.

Заметив, что на нее смотрят, она то спрячется за копну сена, которое собирала, то за морду вола, и так лукаво выглядывает из-за рогов...

Сосны великолепные, по ним и около их по земле стелется мох, который едят олени и курят якуты в прибавок к махорке. "Хорошо, славно! – сказал мне один якут, подавая свою трубку, – покури". Я бы охотно уклонился от этой любезности, но неучтиво. Я покурил: странный, но не неприятный вкус, наркотического ничего нет.

Еще я попробовал вчера где-то кирпичного чаю: тоже наркотического мало; похоже на какую-то лекарственную траву. Когда я подскакал на двух тройках к Ыргалахской станции, с противоположной стороны подскакала другая тройка; я еще издали видел, как она неслась. Коренная мчалась нахально, подымая шею, пристяжные мотали головами, то опуская их к земле, то поднимая, как какие-нибудь отчаянные кутилы. Они сошлись с моими лошадьми и дружески обнюхались, а мы, то есть седоки, обменялись взглядами, потом поклонами. Это

был заседатель. "Лошадей вот нет", – сейчас же пожаловался я. Он оборотился к старосте и сказал ему что-то по-якутски. Я так и ждал, что меня оба они спросят: "Parlez-vous jacouth?*" – и, кажется, покраснел бы, отвечая: "Non, messieurs**". * Вы говорите по-якутски? – фр. ** Нет, господа – фр.

Потом заседатель сказал, что лошади только что приехали и действительно

Нечего делать: заседатель – авторитет в подобных случаях, и я покорился его решению. Мы принялись за чай. "У меня есть рябчики, и свежие", – сказал я. "А! – значительно сделал заседатель, – а у меня огурцы", – прибавил он. "А! – еще значительнее сделал я. – У меня есть говядина", – сказал я, больше затем, чтоб узнать, что есть еще у него. "У меня – белый хлеб". – "Это очень хорошо; у меня есть черный..." – "Прекрасно!" – заметил собеседник. "Да человек вчера просыпал в него лимонную кислоту: есть нельзя. Но зато у меня есть английские супы в презервах", – добавил я. "Очень хорошо, – сказал он, – а у меня вино..." – "Вино!" Тут я должен был сознаться, что против него я – пас.

Он ехал целым домиком и начал вынимать из так называемого и всем вам известного "погребца" чашку за чашкой, блюдечки, ножи, вилки, соль, маленькие хлебцы, огурцы, наконец, покинувший нас друг – вино. "А у меня есть, – окончательно прибавил я, – повар".

VIII

ИЗ ЯКУТСКА

Ураса. – Станционный смотритель. – Ночлег на берегу Лены. – Перевоз. – Якутск. – Сборы в дорогу. – меховое платье. – Русские миссионеры. – Перевод Св. Писания на якутский язык. – Якуты, тунгусы, карагаули, чукчи. – Чиновники, купцы. – Проводы.

Было близко сумерек, когда я, с человеком и со всем багажом, по песку, между кустов тальника, подъехал на двух тройках, в телегах, к берестяной юрте, одиноко стоящей на правом берегу Лены.

У юрты встретил меня старик лет шестидесяти пяти в мундире станционного смотрителя со шпагой. Я думал, что он тут живет, но не понимал, отчего он встречает меня так торжественно, в шпаге, руку под козырек, и глаз с меня не сводит. "Вы смотритель?" – кланяясь, спросил я его. "Точно так, из дворян", – отвечал он. Я еще поклонился. Так вот отчего он при шпаге! Оставалось узнать, зачем он встречает меня с таким почетом: не принимает ли за кого-нибудь из своих начальников?

Это обстоятельство осталось, однако ж, без объяснения: может быть, он сделал это по привычке встречать проезжих, а может быть, и с целью щегольнуть дворянством и шпагой. Я узнал только, что он тут не живет, а остановился на ночлег и завтра едет дальше, к своей должности, на какую-то станцию.

"А вы куда изволите: однако в город?" – спросил он. "Да, в Якутск. Есть ли перевозчики и лодки?" – "Как не быть! Куда девается? Вот перевозчики!" – сказал он, указывая на толпу якутов, которые стояли поодаль. "А лодки?" – спросил я, обращаясь к ним. "Якуты не слышат по-русски", – перебил смотритель и спросил их по-якутски. Те зашевелились, некоторые пошли к берегу, и я за ними. У пристани стояли четыре лодки. От юрты до Якутска считается девять верст: пять водой и четыре берегом.

"Мне надо засветло поспеть на ту сторону", – сказал я. "Чего не поспеть, поспеете! –

заметил смотритель и опять спросил перевозчиков по-якутски, во сколько времени они перевезут меня через реку. – Часа в три, говорят, перевезут". – "Что вы: да ведь через три часа ночь будет!" – возразил я. "Извольте видеть, доложу вам, – начал он, – сей год вода-то очень низка: оттого много островов и мелей; где прежде напрямик ехали, тут едут между островами". – "Где же река?" – спросил я, глядя на бесконечное, расстилавшееся перед глазами пространство песков, лугов и кустов. "А вот она и есть, – сказал смотритель, указывая на луга, пески и на проток, сажен в

"Лена, значит, шире к той стороне, к нагорной, как Волга", – заключил я про себя.

Смотритель опять стал разговаривать с якутами и успокоил меня, сказав, что они перевезут меньше, нежели в два часа, но что там берегом четыре версты ехать мне будет не на чем, надо посылать за лошадьми в город.

"А там есть какая-нибудь юрта, на том берегу, чтоб можно было переждать?" – спросил я. "Однако нет, – сказал он, – кусты есть... Да почто вам юрта?" – "Куда же чемоданы сложить, пока лошадей приведут?" – "А на берегу: что им доспееет? А не то так в лодке останутся: не азойно будет" (то есть: "Не тяжело"). Я задумался: провести ночь на пустом берегу вовсе не занимательно; посылать ночью в город за лошадьми взад и вперед восемь верст – когда будешь под кровлей? Я поверил свои сомнения старику.

"Там берегом дорога хорошая, ни грязи, ни ям нет, – сказал он, – славно пешком идти". – "Человек мой города не знает: он не найдет ни лошадей, ни гостиницы", – возразил я. "Однако гостиницы нет в Якутске", – перебил смотритель. "Как нет: где же я остановлюсь?" – спросил я, испуганный новым, неожиданным обстоятельством. "Извольте послать вашу подорожную в управу: сейчас квартиру отведут; обязаны". – "A tout malheur remede*", – заметил я почти про себя. "Чего изволите?" – "Нет, это я так, по-якутски обмолвился. Вот что, господин смотритель: я рассудил, что если я теперь поеду на ту сторону, мне все-таки раньше полночи в город не попасть. Надо будить всех. Не лучше ли мне ночевать здесь, в юрте?.." – "Оно, конечно, лучше, – отвечал он, – юрта хорошая, теплая; тут ничего не воруют; только блох дивно". * "Лекарство от всех бед" – фр.

Мне наскучил якутский язык, я обрадовался русскому, даже и этому, хотя не всё и по-русски понимал. Решено: я остался. Мы вошли в юрту, или, правильнее, урасу. Это просто большой шалаш, конической формы, из березовой коры, сшитый довольно плотно, так что ветер мало проходил насквозь. Кругом лавки, покрытые сеном, так же как и пол. Посредине открытый очаг, сверху отверстие для дыма. Кроме того, там были два столика, крытые красным сукном; на одном лежала таблица, с показанием станций и числа верст, и стояла чернильница с пером. Юрта походила на военную ставку, особенно когда смотритель повесил свою шпагу на гвоздь.

Я пригласил его пить чай. "У нас чаю и сахару нет, – вполголоса сказал мне мой человек, – всё вышло". – "Как, совсем нет?" – "Всего раза на два". – "Так и довольно, – сказал я, – нас двое". – "А завтра утром что станете кушать?" Но я знал, что он любил всюду находить препятствия. "Давно ли я видел у тебя много сахару и чаю?" – заметил я. "Кабы вы одни кушали, а то по станциям и якуты, и якутки, чтоб им..." – "Без комплиментов! давай что есть!"

"Скажите, пожалуйста, каков город Якутск?" – стал я спрашивать смотрителя.

О Якутске собственно я знал только, да и вы, вероятно, не больше знаете, что он главный город области этого имени, лежит под 62№ «северной» широты, производит торг пушными товарами и что, как я узнал теперь, в нем нет... гостиницы. Я даже забыл, а может быть и не знал никогда, что в нем всего две тысячи семьсот жителей.

Я узнал от смотрителя, однако ж, немного: он добавил, что там есть один каменный дом, а прочие деревянные; что есть продажа вина; что господа всё хорошие и купечество знатное; что зимой живут в городе, а летом на заимках (дачах), под камнем, "то есть камня никакого нет, – сказал он, – это только так называется"; что проезжих бывает мало-мало; что если мне надо ехать дальше, то чтоб я спешил, а то по Лене осенью ехать нельзя, а берегом худо и т. п.

Потом он поверил мне, что он, по распоряжению начальства, переведен на дальнюю станцию вместо другого смотрителя, Татарина, который поступил на его место; что это не согласно с его семейными обстоятельствами, и потому он просил убедительно Татарина выйти в отставку, чтоб перепроситься на прежнюю станцию, но тот не согласился, и что, наконец, вот он просит меня ходатайствовать по этому делу у начальства.

Я всё обещал ему. "Плотников – моя фамилия", – добавил он. "Очень хорошо – Плотников", – записал я в книжечку, и мне живо представилась подобная же сцена из "Ревизора".

Потом смотритель рассказывал, что по дороге нигде нет ни волков, ни медведей, а есть только якуты; "еще ушканов (зайцев) дивно", да по Охотскому тракту у него живут, в своей собственной юрте, две больные, пожилые дочери, обе девушки, что, "однако, – прибавил он, – на Крестовскую станцию заходят и медведи – и такое чудо, – говорил смотритель, – ходят вместе со скотом и не давят его, а едят рыбу, которую достают из морды..." – "Из морды?" – спросил я. "Да, что ставят на рыбу, по-вашему мережи".

Смотритель говорил, не подозревая, что я предательски, тут же, при нем, записал его разговор.

Подали чай. Человек мой хитро сложил в пирамиду десятка полтора кусков сахара, чтоб не обнаружить нашей дорожной нищеты. Я придвинул сахар к смотрителю. Он взял самый маленький кусочек и на мое приглашение положить сахару в стакан отвечал, что никогда этого не делает, – сюрприз для моего человека, и для меня также: у меня наутро оставался в запасе стакан чаю. Смотритель выпил три стакана и крошечный оставшийся у него кусочек сахару положил опять на блюдечко, что человеком моим было принято как тонкий знак умения жить.

Между тем наступила ночь. Я велел подать что-нибудь к ужину, к которому пригласил и смотрителя. "Всего один рябчик остался", – сердито шепнул мне человек. "Где же прочие? – сказал я, – ведь у якута куплено их несколько пар". – "Вчера с проезжим скушали", – еще сердитее отвечал он. "Ну разогревай английский презервный суп", – сказал я. "Вчера последний вышел", – заметил он и поставил на очаг разогревать единственного рябчика.

Смотритель вынул из несессера и положил на стол прибор: тарелку, ножик, вилку и ложку. "Еще и ложку вынул!" – ворчал шепотом мой человек, поворачивая рябчика на сковородке с одной стороны на другую и следя с беспокойством за движениями смотрителя. Смотритель неподвижно сидел перед прибором, наблюдая за человеком и ожидая, конечно, обещанного ужина.

Я с удовольствием наблюдал за ними обоими, прячась в тени своего угла. Вдруг отворилась дверь и вошел якут с дымящеюся кастрюлей, которую поставил перед стариком. Оказалось, что смотритель ждал не нашего ужина. В то же мгновение Тимофей с торжественной радостью поставил передо мной рябчика. Об угощении и помину не было.

Как бы, кажется, около половины сентября лечь раздетому спать на дворе, без опасности простудиться насмерть? Ведь березовая кора не бог знает какие стены. В Петербурге сделаешь это и непременно простудишься, в Москве реже, а еще далее, и особенно в поле, в хижине, кажется, никогда. Мы легли. Человек сделал мне постель, буквально "сделал", потому что у меня ее не было: он положил на лавку побольше сена, потом непромокаемую шинель, в виде матраца, на это простыню, а вместо одеяла шинель на вате. В головах черкесское седло, которое было дано мне напрокат с тем, чтоб я его доставил в Якутск. Я быстро разделся и еще быстрее спрятался в постель.

Не то было с смотрителем: он методически начал разоблачаться, медленно снимая одну вещь за другою, с очков до сапог включительно. Потом принялся с тою же медленностью надевать ночной костюм: сначала уши заткнул ватой и подвязал платком, а другим платком завязал всю голову, затем надел на шею шарф. И так, раздеваясь и одеваясь, нечувствительно из старика превратился в старуху. Пламя камина освещало его изломанные черты, клочки седых волос, выглядывавших из-под платка, тусклый, апатический, устремленный на очаг взгляд и тихо шевелившиеся губы.

Я смотрел на него и на огонь: с одной стороны мне было очень тепло – от очага; спина же, обращенная к стене юрты, напротив, зябла. Долго сидел смотритель неподвижно; мне стало дрематься.

"Осмелюсь доложить, – вдруг заговорил он, привстав с постели, что делал всякий раз, как начинал разговор, – я боюсь пожара: здесь сена много, а огня тушить на очаге нельзя, ночью студено будет, так не угодно ли, я велю двух якутов поставить у камина смотреть за огнем!..." – "Как хотите, – сказал я, – зачем же двух?" – "Будут и друг за другом смотреть".

Пришли два якута и уселись у очага. Смотритель сидел еще минут пять, понюхал табак, крикнул, потом стал молиться и наконец укладываться. Он со стонами, как на болезненный одр, ложился на постель. "Господи, прости мне грешному! – со вздохом возопил он, протягиваясь. – Ох, Боже правый! ой-о-ох! ай!" – прибавил потом, перевертываясь на другой бок и покрываясь одеялом. Долго еще слышались постепенно ослабевавшие вздохи и восклицания. Я поглядывал на него и наконец сам заснул.

Проснувшись ночью, я почувствовал, что у меня зябнет не одна спина, а весь я озяб, и было отчего: огонь на очаге погасал, изредка стреляя искрами то на лавку, то на тулуп смотрителя или на пол, в сено. Сверху свободно струился в юрту ночной воздух, да такой, Бог с ним, свежий... Оба якута, положив головы на мой *sac de voyage*, носом к носу, спали мертвым сном. Смотритель спал болезненно: видно, что, по летам его, ему и спать уж было трудновато. Он храпел, издавая изредка легкое стенанье, потом почавкает губами, перестанет храпеть и начнет посвистывать носом.

Тут же я удостоверился, что в юрте в самом деле блох дивно.

На другой день, при ясной и теплой погоде, я с пятью якутами переправился через Лену, то есть через узенькие протоки, разделявшие бесчисленные острова. Когда якуты зашевелили веслами – точно обоз тронулся с места: раздался скрип, стук. После гребли наших матросов куда неiskusны показались мне ленские гребцы! Один какой-то якут сидел тут праздно, между тем мальчишка лет пятнадцати работал изо всех сил; мне показалось это не совсем удобно для мальчишки, и я пригласил заняться греблей праздного якута. Он с величайшею готовностью спрятал трубку в сары и принялся за весло. "Кто это такой?" – спросил я. "Староста, – сказали мне, – с наслега едет в город". Я раскаялся, что заставил работать такого сановника, но уж было поздно: он так и выходил из лопаток, работая веслом. Мальчишка достал между тем из сапога грубый кусок дерева с отверстием (это трубка), положил туда щепоть зеленоватого листового табаку, потом отделил ножом кусочек дерева от лодки и подкрошил туда же; из кремня добыл огня, зажег клочок моха вместо трута и закурил всё это вместе. "Зачем дерево кладешь в табак?" – спросил я. "Крепше!" – отвечал он.

Вдали сияли уже главы церквей в Якутске. "Скоро ли же будет Лена?" – спрашивал я, всё ожидая, что река к нагорному берегу будет глубже, следовательно островов не имеет, и откроется во всей красе и величии. Один из якутов, претендующий на знание русского языка, старался мне что-то растолковать, но напрасно. У одного острова якуты вышли на берег и потянули лодку бечевою вверх. Дотянув до конца острова, они сели опять и переправились, уж не помню через который, узенький проток и пристали к берегу, прямо к деревянной лесенке.

"Тут!" – сказали они. "Что тут?" – "Пешкьюем надо". – "Где же Лена?" – спрашиваю я. Якуты, как и смотритель, указали назад, на пески и луга. Я посмотрел на берег: там ровно ничего. Кустов дивно, правда, между ними бродит стадо коров да два-три барана, которых я давно не видал. За Лену их недавно послано несколько для разведения между русскими поселенцами и якутами. Еще на берегу же стоял пастушеский шалаш из ветвей.

Один из якутов вызвался сходить в город за лошадьми. Я послал с ним человека, а сам уселся на берегу на медвежьих шкурах. Нельзя сказать, чтоб было весело. Трудно выдумать печальнее местности. С одной стороны Лена – я уж сказал какая – пески, кусты и луга, с другой, к Якутску, – луга, кусты и пески. Вдали, за всем этим, синеют горы, которые, кажется, и составляли некогда настоящий берег реки. Якутск построен на огромной отмели,

что видно по пространным пескам, кустам и озеркам. И теперь, во время разлива, Лена, говорят, доходит до города и заливает отчасти окрестные поля.

От нечего делать я развлекал себя мыслью, что увижу наконец, после двухлетних странствий, первый русский, хотя и провинциальный, город. Но и то не совсем русский, хотя в нем и русские храмы, русские дома, русские чиновники и купцы, но зато как голо всё! Где это видано на Руси, чтоб не было ни одного садика и палисадника, чтоб зелень, если не яблонь и груш, так хоть берез и акаций, не осеняла домов и заборов? А этот узкоглазый, плосконосый народ разве русский? Когда я ехал по дороге к городу, мне

Городские якуты одеты понаряднее. У мужчин грубого сукна кафтан, у женщин тоже, но у последних полы и подол обшиты широкой красной тесьмой; на голове у тех и у других высокие меховые шапки, несмотря на прекрасную, даже жаркую, погоду. Якуты стригутся, как мы, оставляя сзади за ушами две тонкие пряди длинных волос, – вероятно, последний, отдаленный намек на свои родственные связи с той тесной толпой народа, которая из Средней Азии разбрелась до берегов Восточного океана. Я в этих прядях видел сокращение китайской косы, которую китайцам навязали манчжуры. А может быть, якуты отпускают сзади волосы подлиннее просто затем, чтоб защитить уши и затылок от жестокой зимней стужи.

Сколько я мог узнать, якутов, кажется, несправедливо считают кочующим народом. Другое дело тунгусы, чукчи и прочие племена здешнего края: те, переходя с одного места на другое, более удобное, почти никогда на прежнее не возвращаются. Якуты, напротив, если и откочевывают на время в другое от своей родной юрты место, где лучше корм для скота, но ненадолго, и после возвращаются домой. У них большей частью по две юрты, летняя и зимняя. Этак, пожалуй, и мы с вами кочующий народ, потому что летом перебираемся в Парголово, Царское Село, Ораниенбаум.

Якутского племени, и вообще всех говорящих якутским языком, считается до двухсот тысяч обоого пола в области. Мужчин якутов сто пять тысяч. Область разделена на округа, округа на улусы, улусы на наслеги, или нослеги, или, наконец... не знаю как. Люди, не вникающие в филологические тонкости, попросту называют это здесь ночлегами.

В улусе живет до несколько сот, даже до тысячи и более, человек. Селений и деревень нет: их заменяют эти "наслеги". Наслегом называется несколько разбросанных, в двадцати, или около того, верстах друг от друга, юрт, в которых живет по два и по три, происходящих от одного корня, поколения или рода. Улусом управляет выборный, утвержденный русским начальством голова, наслегом – староста и его помощники, старшины. Членов одного рода называют по-русски родовичами. Они заботятся о взаимных нуждах, по крайней мере должны заботиться, и, кажется, отвечают за благочиние, порядок и исправный взнос повинностей.

Кстати, напомним вам, что Якутская область, с первого января 1852 года, возвышена в своем значении тем, что отделена от зависимости иркутского губернского начальства и управление ее вверено особому гражданскому губернатору. Впрочем, она, на положении других губерний, подчинена главному управлению генерал-губернатора Восточной Сибири.

Нужды нет, что якуты населяют город, а всё же мне стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от времени, одноэтажных, деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь! У ней есть много особенностей как в природе, так и в людских нравах, обычаях, отчасти, как вы видите, в языке, что и образует ей свою коренную, немного суровую, но величавую физиономию.

Пока я ехал по городу, на меня из окон выглядывали ласковые лица, а из-под ворот сердитые собаки, которые в маленьких городах чересчур серьезно понимают свои обязанности. Весело было мне смотреть на проезжавшие по временам разнохарактерные дрожки, на кучеров в летних кафтанах и меховых шапках или, наоборот, в полушубках и летних картузах. Вот гостиный двор, довольно пространный, вот и единственный каменный дом, занимаемый земским судом.

В гостином дворе, который в самом деле есть двор, потому что большая часть лавок

открывается внутрь, я видел много входящих и выходящих якутов: они, говорят, составляют большинство потребителей. Прочие горожане закупают всё, что им нужно, раз в год на здешней ярмарке.

Я ехал мимо старинной, полуразрушенной стены и несколько башен: это остатки крепости, уцелевшей от времен покорения области. Якутск основан пришедшими от Енисея казаками, лет за двести перед этим, в 1630-х годах. Якуты пробовали нападать на крепость, но напрасно. Возникшие впоследствии между казаками раздоры заставили наше правительство взять этот край в свои руки, и скоро в Якутск прибыл воевода.

Еще я видел больницу, острог, казенные хлебные магазины; потом проехал мимо базара с пестрой толпой якутов и якуток. Много и русского и нерусского, что со временем будет тоже русское. Скоро я уже сидел на квартире в своей комнате за обедом.

После обеда я пошел к товарищам, которые опередили меня. Через день они отправлялись далее; я хотел ехать вслед за ними, а мне еще надо было запастись меховым платьем и обувью: на Лене могли застать морозы.

"Где я могу купить шубу?" – спросил я одного из якутских жителей, которых увидел у товарищей. "Вам какую угодно: лисью, тарабаганью, песцовую или беличью?" – спросил он. "Которая теплее". – "Так медвежью хорошо". – "Ну, медвежью". – "Азойно (тяжело) будет в медвежьей", – промолвил другой. "Так песцовую". – "Теперь здесь мехов никаких не найдете..." – заметили мне. "В Якутске не найду мехов!" – "Не найдете; вот если б летом изволили пожаловать, тогда дивно бывает мехов: тогда бы славный купили, какой угодно, и дешево". – "А вот тогда-то бы и не купил: зачем мне летом мех?"

"Лучше всего вам кухлянку купить, особенно двойную..." – сказал другой, вслушавшийся в наш разговор. "Что это такое кухлянка?" – спросил я. "Это такая рубашка из оленьей шкуры, шерстью вверх. А если купите двойную, то есть и снизу такая же шерсть, так никакой шубы не надо".

"Нет, это тяжело надевать, – перебил кто-то, – в двойной кухлянке не поворотишься. А вы лучше под одинакую кухлянку купите пыжиковое пальто, – вот и всё". – "Что это такое пыжиковое пальто?" – "Это пальто из шкур молодых оленей".

"Всего лучше купить вам борловую доху, – заговорил четвертый, – тогда вам ровно ничего не надо". – "Что это такое борловая доха?" – спросил я. "Это шкура с дикого козла, пушистая, теплая, мягкая: в ней никакой мороз не проберет".

"Помилуйте! – сказал тут еще кто-то, – как можно доху? шерсть лезет". – "Что ж такое, что лезет?" – "Как что: в рот, в глаза налезет?" – "Где ж мне купить доху или кухлянку?" – перебил я. "Теперь нигде: вот если б летом изволили пожаловать, – дружно повторили все, – тогда приезжают сюда сверху, по Лене, из Иркутска, купцы; они закупают весь пушной товар".

"Торбасами не забудьте запастись, – заметили мне, – и пыжиковыми чижами". – "Что это такое торбасы и чижи?" – "Торбасы – это сапоги из оленьей шерсти, чижи – чулки из шкур молодых оленей".

"Но, главное, помните, меховые панталоны", – сказал мне серьезно один весьма почтенный человек. "Нет, уж от этого позвольте уклониться". – "Ну, помянете меня!" – сказал он пророческим голосом. "Не забудьте также мехового одеяла", – прибавил другой. "Зачем же меховые панталоны?" – с унынием спросил я: так напугали меня все эти предостережения! "А если попадете на наледи..." – "Что это такое наледи?" – спросил я. "Наледи – это не замерзающие и при жестоком морозе ключи; они выбегают с гор в Лену; вода стоит поверх льда; случится попасть туда – лошади не вытащат сразу, полозья и обмерзнут: тогда ямщику остается ехать на станцию за людьми и за свежими лошадьми, а вам придется ждать в мороз несколько часов, иногда полсутки... Вот вы и вспомните о меховых панталонах".

"Ну а меховое одеяло зачем?" – спросил я. "На Лене почти всегда бывает хиус..." – "Что это такое хиус?" – "Это ветер, который метет снег; а ветер при морозе – беда: не спасут никакие панталоны; надо одеяло..." – "С кульком, чтоб ноги прятать", – прибавил другой.

"Только всё летом!" – повторяют все. "Ах, если б летом пожаловали, тогда-то бы мехов у нас!.."

Меня даже зло взяло. Я не знал, как быть. "Надо послать к одному старику, – посоветовали мне, – он, бывало, принашивал меха в лавки, да вот что-то не видать..." – "Нет, не извольте посылать", – сказал другой. "Отчего же, если у него есть? я пошлю". – "Нет, он теперь употребляет..." – "Что употребляет?" – "Да<~> вино-с. Дрянной старичишка! А нынче и отемнел совсем". – "Отемнел?" – повторил я. "Ослеп", – добавил он.

Стало быть, нельзя и ехать, потому что нельзя ничего достать, купить? Всё можно: а tout malheur remde. Видя мое раздумье, один из жителей посоветовал обратиться к Алексею Яковличу, к Петру Федорычу или к Александру Андреянычу да Ксенофону Петровичу: у них-де должны быть и дохи и медвежьи шкуры. "Кто это Алексей Яковлич и Петр Федорыч?" – "А вот они: здешние жители, один управляет тем, другой этим". – "Но я не имею удовольствия их знать..." А<лексей> Я<ковлич>, П<етр> Ф<едорыч> и А<лександр> А<ндреяныч> сами предупредили меня. Они начали с того, что позвали к себе обедать и меня и товарищей, и хотя извинялись простотой угощения, но угощение было вовсе не простое для скромного городка. У них действительно нашлись дохи, кухлянки и медвежьи шкуры, которые и были уступлены нам на том основании, что мы проезжие, что у нас никого нет знакомых, следовательно, все должны быть знакомы; нельзя купить вещи в лавке, следовательно, надо купить ее у частного, не торгующего этим лица, которое остается тут и имеет возможность заменить всегда проданное.

Но ведь этак, скажут мне, не напасешься вещей, если каждый день будут являться проезжие, и устанешь угощать: оно бестолково. Если каждый день будут проезжие, тогда будет и трактир; если явятся требования на меха, тогда не всё будут отсылать вверх, а станут торговать и здесь. В том-то и дело, что проезжие в Якутске – еще редкие гости и оттого их балуют пока. Но долго ли это будет? сомневаюсь. Еще несколько лет – и если вы приедете в Якутск, то, пожалуй, полиция не станет заботиться о квартире для вас, а вы в лавке найдете, что вам нужно, но зато, может быть, не узнаете обязательных и гостеприимных К<сенофонта> П<етровича>, П<етра> Ф<едорыча>, А<лексея> Я<ковлича> и других.

Вот теперь у меня в комнате лежит доха, волчье пальто, горностаевая шапка, беличий тулуп, заячье одеяло, торбасы, пыжиковые чулки, песцовые рукавицы и несколько медвежьих шкур для подстилки. Когда станешь надевать всё это, так чувствуешь, как постепенно приобретаешь понемногу чего-то беличьего, заячьего, оленьего, козлового и медвежьего, а человеческое мало-помалу пропадает. Кухлянка и доха лишают употребления воли и предоставляют полную возможность только лежать. В пыжиковых чулках и торбасах ног вместе сдвинуть нельзя, а когда наденешь двойную меховую шапку, или, по-здешнему, малахай, то мысли начинают вязаться ленивее в голове и одна за другою гаснут. Еще бы что-нибудь прибавить, так, кажется, над вами того и гляди совершится какая-нибудь любопытная метаморфоза.

Всё это надевается в защиту от сорокаградусного мороза. "Сорок градусов! – повторил я, – у нас когда и двадцать случится, так по городу только и разговора, что о погоде: забудут всякие и политические и литературные новости". – "У вас двадцать хуже наших сорока", – сказал один, бывавший за Уральским хребтом. "Это отчего?" – "От ветра: там при пятнадцати градусах да ветер, так и нехорошо; а здесь в сорок ничто не шелохнется: ни движения, ни звука в воздухе; над землей лежит густая мгла; солнце кровавое, без лучей, покажется часа на четыре, не разгонит тумана и скроется". – "Ну а вы что?" – "А мы – ничего, хорошо; только дышать почти нельзя: режет грудь". – "Вы что делаете в эти морозы?" – спросил я одну барыню. "Визиты, – говорит, – делаем". – "Что вы!.." – "Да как же? а в Рождество, в Новый год: родные есть, тетушка, бабушка, рассердятся, пожалуй, как не приедешь".

Впрочем, здесь, как я увидел после, и барыня, и кучер, и лошадь – все

"В чем же вы ездите, в дохе и в малахае?" – спросил я ее. "Нет, в шляпках, в салопах". – "Конечно, не в таких салопах, которые носят барыни в Петербурге и которые похожи на

конфетные бумажки, так что не слышать, есть ли что на плечах или нет! Верно, здесь кроют их байкой или сукном?"

А оказалось, что в таких же: "Материей, – говорит, – крыты".

Несмотря, однако ж, на продолжительность зимы, на лютость стужи, как всё шевелится здесь, в краю! Я теперь живой, заезжий свидетель того химически-исторического процесса, в котором пустыни превращаются в жилые места, дикари возводятся в чин человека, религия и цивилизация борются с дикостью и вызывают к жизни спящие силы. Изменяется вид и форма самой почвы, смягчается стужа, из земли извлекается теплота и растительность – словом, творится то же, что творится, по словам Гумбольдта, с материками и островами посредством тайных сил природы. Кто же, спросят, этот титан, который ворочает и сушей и водой? кто меняет почву и климат? Титанов много, целый легион; и все тут замешаны, в этой лаборатории: дворяне, духовные, купцы, поселяне – все призваны к труду и работают неутомимо. И когда совсем готовый, населенный и просвещенный край, некогда темный, неизвестный, предстанет перед изумленным человечеством, требуя себе имени и прав, пусть тогда допрашивается история о тех, кто воздвиг это здание, и так же не попытается, как не попыталась, кто поставил пирамиды в пустыне. Сама же история добавит только, что это те же люди, которые в одном углу мира подали голос к уничтожению торговли черными, а в другом учили алеутов и курильцев жить и молиться – и вот они же создали, выдумали Сибирь, населили и просветили ее и теперь хотят воздать Творцу плод от брошенного Им зерна. А создать Сибирь не так легко, как создать что-нибудь под благословенным небом...

Я не уехал ни на другой, ни на третий день. Дорогой на болотах и на реке Мае, едучи верхом и в лодке, при легких утренних морозах, я простудил ноги. На третий день по приезде в Якутск они распухли. Доктор сказал, что водой по Лене мне ехать нельзя, что надо подождать, пока пройдет опухоль.

Через неделю мне стало лучше; я собрался ехать. "Куда вы? как можно! – сказали мне, – да теперь вы ни в каком разе не поспеете добраться водой: скоро пойдет шуга". – "Что это такое шуга?" – "Мелкий лед; тогда вы должны остановиться и ждать зимнего пути где-нибудь на станции. Лучше вам подождать здесь". – "А берегом?" – спросил я. "Горой ехать? помилуйте! почти два раза в год в распутицу приходит горой, да и то мучится, бьется. Ведь надо ехать верхом по утесам, через пропасти, по узеньким тропинкам. А вы еще с больными ногами! Лучше подождите: всего каких-нибудь два месяца..."

"Два месяца! Это ужасно!" – в отчаянии возразил я. "Может быть, и полтора", – утешил кто-то. "Ну нет: сей год Лена не станет рано, – говорили другие, – осень теплая и ранний снежок выпадал – это верный знак, что зимний путь нескоро установится..."

Опухоль в ногах прошла, но также прошла и всякая возможность ехать до зимы. Я между тем познакомился со всеми в городе; там обед, там завтрак, кто именинник, не сам, так жена, наконец, тетка. Для вас, не последних гастрономов, замечу, что здесь есть превосходная рыба – нельма, которая играла бы большую роль на петербургских обедах. Она хороша и разварная, и в пирогах, и в жарком, да и везде; ее также маринуют. Есть много отличной дичи: рябчики, куропатки и тетерева – ежедневное блюдо к жаркому. Но коренные жители почти совсем не едят кур и телятины, как в других местах некоторые не едят, например, зайцев. Зелени тоже мало, кроме капусты и огурцов. Вина дороги: шампанское продается по 6 и 7 руб. сер. бутылка; зато хороши наливки.

Обычаи здесь патриархальные: гости пообедают, распростиются с хозяином и отправятся домой спать, и хозяин ляжет, а вечером явятся опять и садятся за бостон до ужина. Общество одно. Служащие, купцы и жены тех и других видятся ежедневно и... живут все в больших ладах.

Я заикнулся на этих словах не потому, чтоб они были несправедливы, а потому, что, пробегаю одну книгу о Якутске ("Поездка в Якутск"), я прочел там совсем противное о якутском обществе. Автор жалуется на господствующую будто бы здесь страсть к ябедничеству (стр. 126), на недостаток веселости в собраниях, на общее друг к другу недоверие и т. п. Не знаю, что сказать: я ничего этого не видал, напротив, кажется. Впрочем,

не спору: тогда (в 1832 г.) могло быть и так. Физиономия маленького города изменяется легко: это зависит от обстоятельств, от того, что за люди первенствуют в обществе. Что касается меня, я нашел много живости и разговоров на обедах; недоверия не заметил: все кушают с большою доверчивостью и говорят без умолку. Почти ежедневно собираются друг у друга, потому что кружок очень невелик. В приведенной книге даже сказано, что будто приглашенные вечером гости, просидев часу до второго, возвращаются домой к своему ужину. Теперь это не так: попробуйте уехать без ужина, тихонько, так хозяева на крыльце за полу поймают. Я, по своей привычке не ужинать, часто затруднялся, как увернуться от этого, и кончал тем, что ужинал.

Сплетни, о которых тоже говорит автор книги, до меня не доходили, конечно, потому, что я проезжий и не мог интересоваться ими. Автор прав, сказавши, что сплетни составляют общую принадлежность маленьких городов. Но полно – маленьких ли только? В больших их меньше слышно оттого, что не напасешься времени слушать и повторять слышанное. Нет, общество в том виде, как оно теперь в Якутске, право, порядочное. Да мне кажется, если б я очутился в таком уголке, где не заметил бы ни малейшей вражды, никаких сплетней, а видел бы только любовь да дружбу, невозмутимый мир, всеобщее друг к другу доверие и воздержание, я бы перепугался, куда это я заехал: всё думал бы, что это недаром, что тут что-нибудь да есть другое... Замечу еще, что купцы здесь порядочно воспитаны, выписывают журналы, читают, некоторые сами пишут. Почти все они где-нибудь учились, в иркутской гимназии например; притом они не носят бород и ходят в европейском платье, от этого нет резкого неравенства в обществе.

Говоря о ябедничестве, автор, может быть, относил эту слабость к якутам: они действительно склонны к ябедничеству; но теперь оно, как я слышал, стараниями начальства мало-помалу искореняется.

Если вы, любезный Аполлон Николаевич, признаете, и весьма справедливо, русский пикет в степи зародышем Европы (см. фельетон "С.-Петербургских ведомостей", № 176, 11 августа 1854 г.), то чем вы признаете подвиги, совершаемые в здешнем краю, о котором свежи еще в памяти у нас мрачные предания как о стране разбоев, лихоимства, безнаказанных преступлений? А вот вы едете от Охотского моря, как ехал я, по таким местам, которые еще ждут имен в наших географиях, да и весь край этот не все у нас, в Европе, назовут по имени и не все знают его пределы и жителей, реки, горы; а вы едете по нем и видите поперстные столбы, мосты, из которых один тянется на тысячу шагов. Конечно, он сколочен из бревен, но вы едете по нем через непроходимое болото. Приезжаете на станцию, конечно в плохую юрту, но под кров, греетесь у очага, находите летом лошадей, зимой оленей и смело углубляетесь, вслед за якутом, в дикую, непроницаемую чащу леса, едете по руслу рек, горных потоков, у подошвы гор или взбираетесь на утесы по протоптаным и – увы! где романтизм? – безопасным тропинкам. Вам не дадут ни упасть, ни утонуть, разве только сами непременно того захотите, как захотел в прошлом году какой-то чудаковатый мещанин, которому опытные якуты говорили, что нельзя пускаться в путь после проливных дождей: горные ручьи раздуваются в стремительные потоки и уносят быстротой лошадей и всадников. Он не послушал, разгорячился, нашумел; якуты робки и послушны; они не противоречили более; поехал и был увлечен потоком. Надпись на кресте, поставленном на дороге, свидетельствует о его гибели и предостерегает неосторожных. Подъезжаете ли вы к глубокому и вязкому болоту, якут соскакивает с лошади, уходит выше колена в грязь и ведет вашу лошадь – где суше; едете ли лесом, он – впереди, устраняет от вас сучья; при подъеме на крутую гору опоясывает вас кушаком и помогает идти; где очень дурно, глубоко, скользко – он останавливается. "Худо тут, – говорит он, – пешкьюем надо", вынимает нож, срезывает палку и подает вам, не зная еще, дадите ли вы ему на водку или нет. Это якут, недавно еще получеловек-полуживотное!

"Где же страшный, почти неодолимый путь?" – спрашиваете вы себя, проехавши тысячу двести верст: везде станции, лошади, в некоторых пунктах, как, например, на реке Мае, найдете свежее мясо, дичь, а молоко и овощи, то есть капусту, морковь и т. п., везде; у

агентов Американской компании чай и сахар.

Не забудьте, всё это в краю, который слывет безымянной пустыней! Он пустыня и есть. Не раз содрогнешься, глядя на дикие громады гор без растительности, с ледяными вершинами, с лежащим во всё лето снегом во впадинах, или на эти леса, которые растут тесно, как тростник, деревья жмутся друг к другу, высасывают из земли скудные соки и падают сами от избытка сил и недостатка почвы. Вы видите, как по деревьям прыгают мелкие зверки, из-под ног выскакивает испуганная редким появлением людей дичь. Издалека доносится до ушей шум горных каскадов или над всем этим тяготеет такое страшное безмолвие, что не решаешься разговором или песнью будить пустыню, пугаясь собственного голоса. А пугаться нечего: вы едете безопасно, как будто идете с Морской на Литейную. Я дорогой, от скуки, набрасывал на станциях в записную книжку беглые заметки о виденном. При свидании прочту вам их, и вы увидите подробные доказательства всему, что говорю теперь.

Может быть, мне возразят, что бывают неудачи, остановки, особенно зимой; иногда недостает оленей или, если случится много проезжих, лошади скоро изнуряются, и тогда... Да, переверните медаль – окажется, что проезжий иногда станет среди дороги. Надо знать, что овса здесь от Охотского моря до Якутска не родится и лошадей кормят одним сеном, оттого они слабы. Если случится много проезжих, например возвращающихся с наших транспортов офицеров, которые пришли морем из России, лошади не выносят частой езды. Недостаток оленей случается иногда от недостатка корма, особенно когда снега глубоки, так что олени, питающиеся белым мхом, не могут отрывать его ногами и гибнут от голода. Олень – нежное и слабое животное. Проезжий терпит от всего этого остановку на станциях. Случалось даже иногда путешественнику, от изнурения лошадей, дойти до станции пешком.

Но во всех этих неудобствах виновата, как видите, природа, против которой пока трудно еще взять действительные меры. Трудно, но не невозможно, конечно. Человек кончает обыкновенно тем, что одолевает и природу, но при каких условиях! Если употребить, хоть здесь например, большие капиталы и множество рук, держать по многу лошадей на станциях, доставлять для корма их, с огромными издержками, овес, тогда все затруднения устранятся, нет сомнения. Но для кого, спрашивается, все эти расходы и хлопоты: окупятся ли они? будет ли кому поблагодарить за это? Почта ходит раз в месяц, и дорога по полугоду гложет в совершенном запустении. И то сколько раз из глубины души скажет спасибо заботливому начальству здешнего края всякий, кого судьба бросит на эту пустынную дорогу, за то, что уже сделано и что делается понемногу, исподволь, – за безопасность, за возможность, хотя и с трудом, добраться сквозь эти, при малейшей небрежности непроходимые, места! В одном месте, в палатке, среди болот, живет инженерный офицер; я застал толпу якутов, которые расчищали землю, ровняли дороги, строили мост. В Алданском селении мы застали исправника К. П. Атласова: он немного встревожился, увидя, что нам троим, с четырьмя людьми при нас и для вьюков, нужно до восемнадцати лошадей. "Я не знал, что вы будете, – сказал он, – теперь, может быть, по станциям уже распустили лишних лошадей. Надо послать нарочного вперед". Мы остались тут ночевать; утром, чем свет, лошади были готовы. Мы пошли поблагодарить исправника, но его уже не было. "Где ж он?" – спрашиваем. "Да уехал вперед похлопотать о лошадях, – говорят нам, – на нарочного не понадеялся". На третьей станции мы встретили его на самой дурной части дороги. "Всё готово, – сказал он, – везде будут лошади", – и, не отдохнув получаса, едва выслушав изъявления нашей благодарности, он вскочил на лошадь и ринулся в лес, по кочкам, по трясине, через пни, так что сучья затрещали.

Кроме остановок, происходящих от глубоких снегов и малосильных лошадей, бывает, что разольются горные речки, болота наводняются и проезжему приходится иногда по пояс идти в воде. "Что ж проезжие?" – спросил я якута, который мне это рассказывал. "Сердятся", – говорит. Но это опять всё природные препятствия, против которых принимаются, как я сказал, деятельные меры.

Меня неожиданно и приятно поразило одно обстоятельство. Что нам известно о

хлебопашестве в этом углу Сибири, который причислен, кажется, так, из снисхождения, к жилым местам, к Якутской области? что оно не удастся, невозможно; а между тем на самых свежих и новых поселениях, на реке Мае, при выходе нашем из лодки на станции, нам первые бросались в глаза огороды и снопы хлеба, на первый раз ячменя и конопли. Местами поселенцы не нахвалятся урожаем. Кто эти поселенцы? Русские. Они вызываются или переводятся за проступки из-за Байкала или с Лены и селятся по несколько семейств на новых местах. Казна не только дает им средства на первое обзаведение лошадей, рогатого скота, но и поддерживает их постоянно, отпуская по два пуда в месяц хлеба на мужчину и по пуду на женщин и детей. Я видел поселенцев по рекам Мае и Алдану: они нанимают тунгусов и якутов обрабатывать землю. Те сначала не хотели трудиться, предпочитая есть конину, белок, древесную кору, всякую дрянь, а поработавши год и поевши ячменной похлебки с маслом, на другой год пришли за работой сами.

Есть места вовсе бесплодные: с них, по распоряжению начальства, поселенцы переселяются на другие участки. Подъезжая к реке Амге (это уже ближе к Якутску), я вдруг как будто перенесся на берега Волги: передо мной раскинулись поля, пестреющие хлебом. "Ужели это пшеница?" – с изумлением спросил я, завидя пушистые, знакомые мне золотистые колосья. "Пшеница и есть, – сказал мне человек, – а вон и яровое!"

Я не мог окинуть глазами обширных лугов с бесчисленными стогами сена, между которыми шевелились якуты, накладывая на волов сено, убирая хлеб. Я увидел там женщин, ребятишек, табуны лошадей и огороженные пастбища. "Где же это я? кто тут живет?" – спросил я своего ямщика. "Исправные якуты живут" (исправные – богатые), – отвечал он. Погода была великолепная, глаза разбегались, останавливаясь на сжатом хлебе, на прячущейся в чаще леса богатой, окруженной сараями и хлевами юрте, на едущей верхом на воле пестро одетой якутке.

Хлебопашество и разведение овощей по рекам Мае и Алдану – создание свежее, недавнее и принадлежит попечениям здешнего начальства. Поселенцы благословляют эти попечения. "Всё сделано для нас, – говорят они, – а где не родилось ничего – значит, и не родится никогда". Когда якуты принялись за хлебопашество около Якутска, начальство скупилло их урожай и роздало майским поселенцам. Так в прошлом или третьем году куплено было до 12 тысяч пудов. Якуты принялись еще усерднее за хлебопашество, и на другой год хлеб продавался рублем дешевле на пуд, то есть вместо 2 р. 50 к. ассигнациями продавали по 1 р. 50 к. На реке Амге хлебопашество – новость только вполнину. Оно заведено было там прежде, но, по словам тамошних жителей, шло до нынешнего времени очень плохо. Теперь с каждым годом оно улучшается. Частные люди помогают этому, поощряя хлебопашество и скотоводство: одни жертвуют хлеб для посева, другие посылают баранов, которых до сих пор не знали за Леной, третьи подают пример собственными трудами.

На Мае есть, между прочим, отставной матрос Сорокин: он явился туда, нанял тунгусов и засеял четыре десятины, на которые истратил по 45 руб. на каждую, не зная, выйдет ли что-нибудь из этого. Труд его не пропал: он воротил деньги с барышом, и тунгусы на следующее лето явились к нему опять. Двор его полон скота, завидно смотреть, какого крупного. Мы с уважением и страхом сторонились от одного быка, который бы занял не последнее место на какой-нибудь английской хозяйственной выставке. Сорокин живет полным домом; он подал к обеду нам славной говядины, дичи, сливок. Теперь он жертвует всю свою землю церкви и переселяется опять в другое место, где, может быть, сделает то же самое. Это тоже герой в своем роде, маленький титан. А сколько их явится вслед за ним! и имя этим героям – легион: здешнему потомству некого будет благословить со временем за эти робкие, но великие начинания. Останутся имена вождей этого дела в народной памяти – и то хорошо. Никто о Сорокине не кричит, хотя все его знают далеко кругом и все находят, что он делает только "как надо". На стенах у него висят в рамках похвальные листы, данные ему от начальников здешнего края. Висят эти листы в тени, так что их и не отыщешь скоро. Сорокин повесил их, конечно, не из хвастовства, а больше по обычаю русского простого человека вешать на стену всякую официальную бумагу, до паспорта включительно.

Еще одно важное обстоятельство немало способствует этим начинаниям. От берегов Охотского моря до Якутска нет ни капли вина. Я писал вам, что упавшая у нас на Джукджуре, или Зукзуре, якутском или тунгусском Монблане, одной из гор Станового хребта, вьючная лошадь перебила наш запас вина (так нам донесли наши люди), и мы совершили путь этот, по образу древних, очень патриархально, довольствуясь водой. Люди наши прожили эти пятнадцать или восемнадцать дней, против своего ожидания, трезво. Один из наших товарищей (мы ехали сначала втроем), большой насмешник, уверяет, что если б люди наши знали, что до Якутска в продаже нет вина, так, может быть, вино на горе не разбилось бы.

А вина нет нигде на расстоянии тысячи двухсот верст. Там, где край тесно населен, где народ обуздывается от порока отношениями подчиненности, строгостью общего мнения и добрыми примерами, там свободное употребление вина не испортит большинства в народе. А здесь – в этом молодом крае, где все меры и действия правительства клонятся к тому, чтобы с огромным русским семейством слить горсть иноплеменных детей, диких младенцев человечества, для которых пока правильный, систематический труд – мучительная, лишняя новизна, которые требуют осторожного и постепенного воспитания, – здесь вино погубило бы эту горсть, как оно погубило диких в Америке. Винный откуп, по направлению к Охотскому морю, нейдет далее ворот Якутска. В этой мере начальства кроется глубокий расчет – и уже зародыш не Европы в Азии, а русский, самобытный пример цивилизации, которому не худо бы поучиться некоторым европейским судам, плавающим от Ост-Индии до Китая и обратно.

Но довольно похищать из моей памятной дорожной книжки о виденном на пути с моря до Якутска: при свидании мне нечего будет вам показать. Воротимся в самый Якутск.

Я познакомился почти со всеми членами здешнего общества, и служащими и торгующими, и неслужащими и неторгующими: все они с большим участием расспрашивали о моих странствованиях и выслушивали с живым любопытством мои рассказы. Но кто бы ожидал, что в их скромной и, по-видимому, неподвижной жизни было не меньше движения и трудов, нежели во всяких путешествиях? Я узнал, что жизнь их не неподвижная, не сонная, что она нисколько не похожа на обыкновенную провинциальную жизнь; что в сумме здешней деятельности таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас, из скромности, молчат. Только в якутском областном архиве хранятся материалы, драгоценные для будущего историка Якутской области. Некоторые занимаются здесь и в Иркутске разбором старых рукописей и, конечно, издадут свои труды в свет. Но эти труды касаются прошедшего; подвиги нынешних деятелей так же скромно, без треска и шума, внесутся в реестры официального хранилища, и долго еще до имен их не дойдет очередь в истории.

Упомяну прежде о наших миссионерах. Здесь их, в Якутске, два: священники Хитров и Запольский. Знаете, что они делают? Десять лет живут они в Якутске и из них трех лет не прожили на месте, при семействах. Они постоянно разъезжают по якутам, тунгусам и другим племенам: к одним, крещеным, ездят для треб, к другим для обращения.

"Где же вы бывали?" – спрашивал я одного из них. "В разных местах, – сказал он, – и к северу, и к югу, за тысячу верст, за полторы, за три". – "Кто ж живет в тех местах, например к северу?" – "Не живет никто, а кочуют якуты, тунгусы, чукчи. Ездят по этим дорогам верхом, большею частью на одних и тех же лошадях или на оленях. По колымскому и другим пустынным трактам есть, пожалуй, и станции, но какие расстояния между ними: верст по четыреста, небольшие – всего по двести верст!"

"Двести верст – небольшая станция! Где ж останавливаются? где ночуют?" – спрашивал я. "В иных местах есть поварни", – говорят мне.

При этом слове, конечно, представится вам и повар, пожалуй, в воображении запахнет бифтексом, котлетами...

"Поварня, – говорят мне, – пустая, необитаемая юрта с одним искусственным отверстием наверху и со множеством природных щелей в стенах, с очагом посередине – и

только". Следовательно, это quasi-поварня.

Если хотите сделать ее настоящей поварней, то привезите с собой повара, да кстати уж и провизии, а иногда и дров, где лесу нет; не забудьте взять и огня: попросить не у кого, соседей нет кругом; прямо на тысячу или больше верст пустыня, направо другая, налево третья и т. д.

"Слава Богу, если еще есть поварня! – говорил отец Никита, – а то и не бывает..." – "Как же тогда?" – "Тогда ночуем на снегу". – "Но не в сорок градусов, надеюсь". – "И в сорок ночуем: куда ж деться?" – "Как же так? ведь, говорят, при 40№ дышать нельзя..." – "Трудно, грудь режет немного, да дышим. Мы разводим огонь, и притом в снегу тепло. Мороз ничего, – прибавил он, – мы привыкли, да и хорошо закутаны. А вот гораздо хуже, когда застанет пурга..."

Пурга стоит всяких морских бурь: это снежный ураган, который застилает мраком небо и землю и крутит тучи снегу: нельзя сделать шагу ни вперед, ни назад; оставайтесь там, где застала буря; если поупрямитесь, тронетесь – не найдете дороги впереди, не узнаете вашего и вчерашнего пути: где были бугры, там образовались ямы и овраги; лучше стойте и не двигайтесь. "Мы однажды добрались в пургу до юрты, – говорил отец Никита, – а товарищи отстали: не послушали инстинкта собак, своротили их не туда, куда те мчали, и заблудились. Три дня ждали их, и когда прояснилось небо, их нашли у дверей юрты. Последнюю ночь они провели тут, не подозревая жилья". Какова должна быть погода!

На днях священник Запольский получил поручение ехать на юг, по радиусу тысячи в полторы верст или и больше: тут еще никто не измерял расстояний; это новое место. Он едет разведать, кто там живет, или, лучше сказать, живет ли там кто-нибудь, и если живет, то исповедует ли какую-нибудь религию,

"Как же вы в новое место поедете? – спросил я, – на чем? чем будете питаться? где останавливаться? По этой дороге, вероятно, поварен нет..." – "Да, трудно; но ведь это только в первый раз, – возразил он, – а во второй уж легче".

А он в первый раз и едет, значит, надеется ехать и во второй, может быть, и в третий. "Можно разведать, – продолжал он, – есть ли жители по пути или по сторонам, и уговориться с ними о доставке на будущее время оленей..." – "А далеко ли могут доставлять оленей?" – спросил я. "Да хоть из-за шести или семисот верст, и то доставят. Что вы удивляетесь? – прибавил он, – ведь я не первый: там, верно, кто-нибудь бывал: в Сибири нет места, где бы не были русские". Замечательные слова! "Долго ли вы там думаете пробыть?" – спросил я. "Летом, полагаю, я вернусь". Летом, а теперь октябрь!

Вы видите, что здесь в религиозном отношении делается то же самое, что уже сделано для алеутов. Не нужно напоминать вам имя архипастыря, который много лет подвизался на пользу подвластных нам американских племен, обращая их в христианскую веру. Вам известен он как автор книги "Записки об уналашкинском отделе Алеутских островов", издание 1840 г. протоиерея (ныне камчатского, алеутского и курильского архиепископа Иннокентия) Вениаминова. Автор в предисловии скромно называет записки материалами для будущей истории наших американских колоний; но прочтя эти материалы, не пожелаешь никакой другой истории молодого и малоизвестного края. Нет недостатка ни в полноте, ни в отчетливости по всем частям знания: этнографии, географии, топографии, натуральной истории; но всего более обращено внимание на состояние церкви между обращенными, успехам которой он так много, долго и ревностно содействовал. Книга эта еще замечательна тем, что написана прекрасным, легким и живым языком. Кроме того, отцом Вениаминовым переложено на алеутский язык Евангелие, им же изданы алеутский и алеутско-кадыкский буквари, с присовокуплением на том и на другом языках заповедей, Символа веры, молитвы Господней, всedневных молитв, потом счета и цифр. То же самое, кажется, если не ошибаюсь, сделано и для колош.

Если хотите подробнее знать о состоянии православной церкви в Российской Америке, то прочтите изданную, под заглавием этим, в 1840 году брошюру протоиерея И. Вениаминова. Теперь он, то есть преосвященный Иннокентий, подвизается здесь на более

обширном поприще, начальствуя пастью двухсот тысяч якутов, несколько тысяч тунгусов и других племен, раскиданных на пространстве тысяч трех верст в длину и в ширину области. Под его руководством перелагается евангельское слово на их скудное, не имеющее права гражданства между нашими языками, наречие. Я случайно был в комитете, который собирается в тишине архипастырской кельи, занимаясь переводом Евангелия. Все духовные лица здесь знают якутский язык. Перевод вчерне уже окончен. Когда я был в комитете, там занимались окончательным пересмотром Евангелия от Матфея. Сличались греческий, славянский и русский тексты с переводом на якутский язык. Каждое слово и выражение строго взвешивалось и поверялось всеми членами.

Почтенных отцов нередко затруднял недостаток слов в якутском языке для выражения многих не только нравственных, но и вещественных понятий, за неимением самых предметов. Например, у якутов нет слова плод, потому что не существует понятия. Под здешним небом не родится ни одного плода, даже дикого яблока: нечего было и назвать этим именем. Есть рябина, брусника, дикая смородина, или, по-здешнему, кислица, морошка – но то ягоды. Сами якуты, затрудняясь названием многих занесенных русскими предметов, называют их русскими именами, которые и вошли навсегда в состав якутского языка. Так хлеб они и называют хлеб, потому что русские научили их есть хлеб, и много других, подобных тому. Так поступал преосвященный Иннокентий при переложении Евангелия на алеутский язык, так поступают перелагатели Священного Писания и на якутский язык. Впрочем, так же было поступлено и с славянским переложением Евангелия с греческого языка.

Один из миссионеров, именно священник Хитров, занимается, между прочим, составлением грамматики якутского языка для руководства при обучении якутов грамоте. Она уже кончена. Вы видите, какое дело замышляется здесь. Я слышал, что все планы и труды здешнего духовного начальства уже одобрены правительством. Кроме якутского языка Евангелие окончено переводом на тунгусский язык, который, говорят, сходен с манчжурским, как якутский с татарским. Составлена, как я слышал, и грамматика тунгусского языка, всё духовными лицами. А один из здешних медиков составил тунгусско-русский словарь из нескольких тысяч слов. Так как у тунгусов нет грамоты и, следовательно, грамотных людей, то духовное начальство здешнее, для опыта, намерено разослать пока письменные копии с перевода Евангелия в кочевья тунгусов, чтоб наши священники, знающие тунгусский язык, чтением перевода распространяли между ними предварительно и постепенно истины веры и приготавливали их таким образом к более основательному познанию Священного Писания, в ожидании, когда распространится между ними знание грамоты и когда можно будет снабдить их печатным переводом.

При этом письме я приложу для вашего любопытства образец этих трудов: молитву Господню на якутском, тунгусском и колошенском языках, которая сообщена мне здесь. Что значат трудности английского выговора в сравнении с этими звуками, в произношении которых участвуют не только горло, язык, зубы, щеки, но и брови, и складки лба, и даже, кажется, волосы! А какая грамматика! то падеж впереди имени, то притяжательное местоимение слито с именем и т. п. И всё это преодолено!

Я забыл сказать, что для якутской грамоты приняты русские буквы с незначительным изменением некоторых из них посредством особых знаков, чтобы пополнить недостаток в нашем языке звуков, частью гортанных, частью носовых. Но вы, вероятно, знаете это из книги г-на Бетлинка, изданной в С.-Петербурге: "Ueber die jakutische Sprache"*, а если нет, то загляните в нее из любопытства. Это большой филологический труд, но труд начальный, который должен послужить только материалом для будущих основательных изысканий о якутском языке. В этой книге формы якутского языка изложены сравнительно с монгольским и другими азиатскими наречиями. Сам г-н Бетлинк в книге своей не берет на себя основательного знания этого языка и ссылается на другие авторитеты. Для письменной грамоты алеутов и тунгусов приняты тоже русские буквы, за неимением никакой письменности на тех наречиях. * "О языке якутов" (нем.).

Теперь от миссионеров перейдем к другим лицам. Вы знаете, что были и есть люди, которые подходили близко к полюсам, обошли берега Ледовитого моря и Северной Америки, проникали в безлюдные места, питаясь иногда бульоном из голенища своих сапог, дрались с зверями, с стихиями, – всё это герои, которых имена мы знаем наизусть и будет знать потомство, печатаем книги о них, рисуем с них портреты и делаем бюсты. Один определил склонение магнитной стрелки, тот ходил отыскивать ближайший путь в другое полушарие, а иные, не найдя ничего, просто замерзли. Но все они ходили за славой. А кто знает имена многих и многих титулярных и надворных советников, коллежских асессоров, поручиков и майоров, которые каждый год ездят в непроходимые пустыни, к берегам Ледовитого моря, спят при 40№ мороза на снегу – и всё это по казенной надобности? Портретов их нет, книг о них не пишется, даже в формуляре их сказано будет глухо: "Исполняли разные поручения начальства".

Зачем же они ездят туда? Да вот, например, понадобилось снабдить одно место свежим мясом и послали чиновника за тысячу верст заготовить сколько-то сот быков и оленей и доставить их за другие тысячи верст. В другой раз случится какое-нибудь происшествие, и посылают служащее лицо, тысячи за полторы, за две верст, произвести следствие или просто осмотреть какой-нибудь отдаленный уголок: всё ли там в порядке. Не забудьте, что по этим краям больших дорог мало, ездят всё верхом и зимой и летом, или дороги так узки, что запрягают лошадей гусем. Другой посылается, например, в Нижне-Колымский уезд, – это ни больше ни меньше, как к Ледовитому морю, за две тысячи пятьсот или три тысячи верст от Якутска, к чукчам – зачем вы думаете: овладеть их землей, а их самих обложить податью? Чукчи остаются до сих пор еще в диком состоянии, упорно держатся в своих тундрах и нередко гибнут от голода, по недостатку рыбы или зверей. Завидная добыча, нечего сказать! Зачем же посылать к ним? А затем, чтоб вывести их из дикости и

Чукчи держат себя поодаль от наших поселенцев, полагая, что русские придут и перережут их, а русские думают – и гораздо с большим основанием, – что их перережут чукчи. От этого происходит то, что те и другие избегают друг друга, хотя живут рядом, не оказывают взаимной помощи в нужде во время голода, не торгуют и того гляди еще подерутся между собой.

Чиновник был послан, сколько я мог узнать, чтоб сблизить их. "Как же вы сделали?" – спросил я его. "Лаской и подарками, – сказал он, – я с трудом зазвал их старшин на русскую сторону, к себе в юрту, угостил чаем, уверил, что им опасаться нечего, и после того многие семейства перекочевали на русскую сторону".

И они позвали его к себе. "Мы у тебя были, теперь ты приходи к нам", – сказали они и угощали его обедом, но в своем вкусе, и потому он не ел. В грязном горшке чукчанка сварила оленины, вынимала ее и делила на части руками – какими – Боже мой! Когда он отказался от этого блюда, ему предложили другое, самое лакомое: сырые оленьи мозги. "Мы ели у тебя, так уж и ты, как хочешь, а ешь у нас", – говорили они.

Он много рассказывал любопытного о них. Он обласкал одного чукчу, посадил его с собой обедать, и тот потом не отходил от него ни на шаг, служил ему проводником, просиживал над ним ночью, не смыкая глаз и охраняя его сон, и расстался с ним только на границе чукотской земли. Поступите с ним грубо, постращайте его – и во сколько лет потом не изгладите впечатления!

Любопытно также, как чукчи производят торговлю, то есть мену, с другим племенем, коргаулями, или карагаулями, живущими на островах у устья рек, впадающих в Ледовитое море. Чукча и карагауль держат в одной руке товар, который хотят променять, а в другой по длинному ножу и не спускают друг с друга глаз, взаимно следя за движениями, и таким образом передают товары. Чуть один зазеваётся, другой вонзает в него нож и берет весь товар себе. Об убитом никто не заботится: "Должно быть, дурной человек был!" – говорят они и забывают о нем.

О коряках, напротив, рассказывают много хорошего, о тунгусах еще больше. Последние честны, добры и трудолюбивы. Коряки живут тоже скудными рыбными и

звериными промыслами, и в юртах их нередко бывает такая же стряпня, как в поварнях по колымскому и другим безлюдным трактам. В голод они делят поровну между собою всё, что добудут: зверя, рыбу или другое. Когда хотели наградить одного коряка за такой дележ, он не мог понять, в чем дело. "За что?" – спрашивает. "За то, что разделил свою добычу с другими". – "Да ведь у них нет!" – отвечал он с изумлением. Бились, бились, так и не могли принудить его взять награду. Хвалят тоже их за чистоту нравов. Дочь одного коряка изменила правилам нравственности. По обычаю коряков, ее следовало убить. Отец не мог исполнить этого долга: она была любимая и единственная дочь. "Не могу, – сказал он, подавая ей веревку, – удавись сама". Она удавилась, и он несколько лет оплакивал ее.

Не то рассказывают про якутов. Хвалят их за способности, за трудолюбие, за смекалку, но в них, как в многочисленном, преобладающем здесь племени, уже развиты некоторые пороки: они, между прочим, склонны к воровству. Убийства между ними редки: они робки и боятся наказаний. Но в воровстве они обнаруживают много тонкости, которая бы не осрамила лондонских мошенников. Один якут украдет, например, корову и, чтоб зимой по следам не добрались до него, надевает на нее сары, или сапоги из конской кожи, какие сам носит. Но и хозяин коровы не промах: он поутру смотрит не под ноги, не на следы, а вверх: замечает, куда слетаются вороны, и часто нападает на покражу, узнавая по шкуре зарезанной коровы свою собственность.

Однажды несколько якутов перелезли на чужой двор украсть лошадь. Ворота заперты, вывести нельзя; они вздумали перетащить ее через забор: передние ноги уже были за забором; воры усердно тащили за хвост и другую половину лошади. Она, конечно, к этому новому способу путешествия равнодушна быть не могла и сильно протестовала с своей стороны и копытами, и головой. Хозяин вышел на шум, а воры мгновенно спрятались, кроме того, который был на улице. "Хозяин, хозяин, – кричал он, – смотри, что я застал: у тебя лошадь воруют". – "И так воруют". – "Бери же ее назад". Стали тащить назад – не подается: вор с улицы крепко придерживал ее за узду. "Туда нейдет, – говорил он, – ты лучше подтолкни ее сюда; а потом отвори ворота, я ее приведу". Так и сделано. Само собою разумеется, что вор ускакал на лошади, не дождавшись хозяина.

Якуты здесь всё: кучера, слуги и ремесленники; они – хорошие скорняки, кузнецы, но особенно способны к плотничной и столярной работе. Им недостает вкуса, потому что нет образцов. Здешние древние диваны и стулья переходят из дома в дом, не меняя формы; по ним делают и новую мебель. Дайте им образец – они сделают совершенно такую же вещь. Знаете ли, что мне обещал принести на днях якут? Бюст Рашели из мамонтовой кости или из моржового зуба. Сюда прислан бюстик из гипса, и якут делает по нем. Якут и Рашель – каково сближение!

Кстати об изделиях из мамонтовой кости. Вы знаете, что кость эту находят не только в кусках, но в целых остовах. Мне сказывали здесь, что про найденный недавно остов мамонта кто-то выдумал объявить чукчам, что им придется везти его в Якутск, и они растаскали и истребили его так, что теперь и следов нет.

Нет проезжего, к которому бы не явились якуты, и особенно якутки, с этими изделиями. Я купил резную подставку для часов, только она не стоит на месте. Но что это за изделия! Работа такая же допотопная, как и сама кость, с допотопными надписями на гребне: "В знак любви" или "Кого люблю, того дарю". На ящиках зачем-то вырезан русский герб. Жаль, что отдаленность и глушь края мешают обратить на это внимание: кости здесь очень много, якутов еще больше, так что наши столики были бы заставлены безделками из этого красивого материала. Один из моих спутников, князь Оболенский, хотел купить кусок необделанной кости и взять с собой. "Если немного, так, пожалуй, можно достать", – отвечали ему. "Мне небольшой кусок", – сказал он. "Пудов восемнадцать, что ли?" – спросили его. Но он отступился.

Еще слово о якутах. Г-н Геденштрот (в книге своей "Отрывки о Сибири", С.-Петербург, 1830), между прочим, говорит, что "Якутская область – одна из тех немногих стран, где просвещение или расширение понятий человеческих (sic) (стр. 94) более вредно,

чем полезно. Житель сей пустыни (продолжает автор), сравнивая себя с другими мирожителями, понял бы свое бедственное состояние и не нашел бы средств к его улучшению..." Вот как думали еще некоторые двадцать пять лет назад!

Автор берет пороки образованного общества, как будто неотъемлемую принадлежность просвещения, как будто и самое просвещение имеет недостатки: тщеславие, корысть, тонкий обман и т. п. Кажется, смешно и уверять, что эти пороки только обличают в человеческом обществе еще недостаток просвещения. Если дикари увлекаются скорее всего заманчивостью блеска или чувственных удовольствий, – что совершенно справедливо, – то за ними, как за детьми, надо смотреть, что здесь и делается. Я выше сказал, что от Якутска до Охотского моря нет вина; против тайного провоза его приняты очень строгие меры. Если зло затем и прокрадется, так в такой незначительной степени, что оно уже не составит общей гибели. Факты свидетельствуют, что ябедничество тоже уменьшилось по судам. "Тщеславие, честолубие и корысть", конечно, важные пороки, если опять-таки не посмотреть за детьми и дать усилиться злу; между тем эти же пороки, как их называет автор, могут, при разумном воспитании, повести к земледельческой, мануфактурной и промышленной деятельности, которую даже без них, если правду сказать, и не привьешь к краю. Что делается без честолубия и корысти, в известной степени разумеется? "Житель пустыни (говорит автор) понял бы свое бедственное положение и не нашел бы средств к его улучшению". Напротив, тогда-то и нашел бы, когда бы понял, или ему нашли бы, и находят.

Просвещение якута пока состоит в том, чтоб приучить его к земледелию, к скотоводству, к торговле; всё это и делается. Нужды нет, что он живет в пустыне, просвещение находит средство справиться и с пустыней. Думали же прежде, что здесь не родится хлеб; а принялись с умением и любовью к делу – и вышло, что родится. Вот теперь разводят овец. Конечно, долго еще ждать, когда мы будем носить сукна якутских фабрик; но этого и не нужно пока. Слава Богу, да, слава Богу, не во гнев автору, что якуты теперь едят хлеб, а не кору, носят русское сукно, а не сырую звериную кожу! Дикаие добродетели, простота нравов – какие сокровища: есть о чем вздохнуть! Говорят, дикари не пьют, не воруют – да, пока нечего пить и воровать; не лгут – потому что нет надобности. Хорошо, но ведь оставаться в диком состоянии нельзя. Просвещение, как пожар, охватывает весь земной шар. "Но да пощадит оно, – восклицает автор (то есть просвещение) (стр. 96), – якутов и подобных им, к которым природа их земли была мачехою!" Другими словами: просвещенные люди! не ходите к якутам: вы их развратите! Какой чудак этот автор! А где же взять шубу? ведь это всё у якутов, не у них, так у тунгусов, наконец, у алеутов, у колош и т. д., всё у тех же дикарей! Природа не совсем была к ним мачеха, наградив их край соболями, белками, горностаем и медведями.

Книга г-на Геденштрома издана в 1830 году; может быть, автор с тех пор и сам отказался от своего парадокса.

Впрочем, обе приведенные книги, "Поездка в Якутск" и "Отрывки о Сибири", дают, по возможности, удовлетворительное понятие о здешних местах и вполне заслуживают того одобрения, которым наградила их публика. Первая из них дала два, а может быть, и более изданий. Рекомендую вам обе, если б вы захотели узнать что-нибудь больше и вернее об этом отдаленном уголке, о котором я как проезжий, встретивший нечаянно остановку на пути и имевший неделю-другую досуга, мог написать только этот бледный очерк.

Не указываю вам других авторитетов, важнее, например, книги барона Врангеля: вы давным-давно знаете ее; прибавлю только, что имя этого писателя и путешественника живо сохраняется в памяти сибиряков, а книгу его непременно найдете в Сибири у всех образованных людей.

Мне остается сказать несколько слов о некоторых из якутских купцов, которые также достигают до здешних геркулесовых столпов, то есть до Ледовитого моря, или в противную сторону, до неведомых пустынь. Один из них ездит, например, за пятьсот верст еще далее Нижнеколымска, до которого считается три тысячи верст от Якутска, к чукчам, другой к югу, на реку Уду, третий к западу, в Вилюйский округ.

"Свет мал, а Россия велика", – говорит один из моих спутников, пришедший также кругом света в Сибирь. Правда. Между тем приезжайте из России в Берлин, вас сейчас произведут в путешественники: а здесь изъездите пространство втрое больше Европы, и вы все-таки будете только проезжий. В России нет путешественников, всё проезжие, несмотря на то что теперь именно это стало наоборот. Разве по железным дорогам путешествуют? Они выдуманы затем, чтоб "проезжать" пространства, не замечая их. Теперь я вижу, что у нас, в этих отдаленных уголках, только еще и можно путешествовать, в старинном, занимательном смысле слова, с лишениями, трудностями, с запасом чуть не на год провизии, с перинами и самоварами. Да и то, благодаря здешнему начальству, исчезает понемногу. И здесь заводятся удобства: того и гляди скоро не дадут выпасться на снегу и в поварни приставят поваров – беда: совсем истребится порода путешественников!

Обратимся к купцам.

Они берут известное число лошадей, смотря по количеству товара, иногда до сорока, едут, каждый по своему радиусу, в некоторые сборные пункты, которые называются великолепным именем ярмарок. Туда к известному дню стекаются якуты, чукчи, тунгусы и прочие, и производится мена. Чукчи покупают простой листовой табак, называемый здесь черкасским, и железные изделия, топоры, гвозди и проч., якуты – бумажные и шерстяные материи, дабу, грубые ситцы, холстину, толстое сукно, также чай, сахар; последний большею частью в леденце, вывозимом из Китая.

Купцы выменивают от них пушной товар, добытый в течение лета и осени; товар этот покупают у них, как выше сказано, приезжающие сюда на ярмарку в июле иркутяне, перепродают на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки или в Кяхту, оттуда в Китай и т. д.

Вот вам происхождение горностаевых муфт и боа, беличьих тулупов и лисьих салопов, собольих шуб и воротников, медвежьих полостей – всего, чем мы щеголяем за Уральским хребтом! Купцы отправляются в ноябре и возвращаются в апреле. Им сопутствуют иногда жены – и всё переносят: ездят верхом, спят если не в поварнях, так под открытым небом, и живут по многим месяцам в пустынных, глухих уголках, и не рассказывают об этом, не тщеславятся. А американец или англичанин какой-нибудь съездит, с толпой слуг, дикарей, с ружьями, с палаткой, куда-нибудь в горы, убьет медведя – и весь свет знает и кричит о нем!

Купцы, однако, жаловались мне, что торг пушными товарами идет гораздо тише прежнего, так что едва стоит ездить в отдаленные края. Они искали разных причин этому, приписывая упадок торговли частью истреблению зверей, отчего звероловы возвышают цены на меха, частью беспокойствам, возникшим в Китае, отчего будто бы меха сбываются с трудом и дешево.

Но, кажется, причина тут другая: на некоторых пунктах по Лене открылись золотые прииски; золотопромышленники основали там свое пребывание, образовав около себя новые центры деятельности. Туда потянулось народонаселение, понадобились руки, там и товар находит сбыт. Вскоре, может быть, загремят имена местечек и городков, теперь едва известных по имени: Олекминска, Витима и других. Здесь имена эти начинают повторяться чаще и чаще. Люди там жмутся теснее в кучу; пустынная Лена стала живым, неумолкающим, ни летом, ни зимою, путем. Это много отвлекло рук и капиталов от Якутска.

Я так думал вслух, при купцах, и они согласились со мною. С общей точки зрения оно очень хорошо; а для этих пяти, шести, десяти человек – нет. Торговля в этой малонаселенной части империи обращается, как кровь в жилах, помогая распространению народонаселения. Одно место глохнет, другое возникает рядом, потом третье и т. д., а между тем люди разбредутся в разные стороны, оснутятся в глуши и вместо золота начнут добывать из земли что-нибудь другое.

Но довольно. Как ни хорошо отдохнуть в Якутске от трудного пути, как ни любезны его жители, но пробыть два месяца здесь – утомительно. Боже сохрани от лютости скуки и сорокаградусных морозов! Пора, пора, морозы уже трещат: 32, 35 и 37№; скоро дышать будет тяжело. В прошедшем году мороз здесь достигал, говорят, до 48№.

А я всё хожу в петербургском байковом пальто и в резиновых калошах. Надо мной

смеются и пророчат простуду, но ничего: только брови, ресницы, усы, а у кого есть и борода, куржевеют, то есть покрываются льдом, так что брови срастаются с ресницами, усы с бородой и образуют на лице ледяное забрало; от мороза даже зрачкам больно.

Вот и повозка на дворе, щи в замороженных кусках уже готовы, мороженые пельмени и струганина тоже; бутылки с вином обшиты войлоком, ржаной хлеб и белые булки – всё обращено в камень.

Я простился со всеми: кто хочет проводить меня пирогом, кто прислал рыбу на дорогу, и все просят непременно выкупать наливочки, холодненького... Беда с непривычки! Добрые приятели провожают с открытой головой на крыльцо и ждут, пока сядешь в сани, съедешь со двора, – им это ничего. Пора, однако, шибко пора!

Якутск, ноябрь, 1854.

IX

ДО ИРКУТСКА

Город Олекма. – Лена. – Станции по ней. – Сорок градусов мороза. – Вино и щи в кусках. – Юрты с чувалами. – Леса. – Тунгусы. – Витима. – Киренск. – Лошади и ямщики.

Я выехал из Якутска 26 ноября при 36№ мороза; воздух чист, сух, остр, режет легкие, и горе страждущим грудью! но зато не приобретешь простуды, флюса, как, например, в Петербурге, где стоит только распахнуть для этого шубу. Замерзнуть можно, а простудиться трудно.

И какое здесь прекрасное небо, даром что якутское: чистое, с радужными оттенками! Доха, то есть козлиная мягкая шкура (дикого горного козла), решительно защищает от всякого мороза и не надо никакого тулупа под нее: только тяжести прибавит. Она легка, пушиста и греет в 40№! Не защитит лишь от ветра, от которого ничто не защитит. Как же тогда? Опустите замет у повозки, или спрячьтесь, или, наконец, как знаете. Лошади от ветра воротят морды назад, ямщики тоже, и седоки прячут лицо в подушки – напрасно: так и режет шею, спину, грудь и непременно доберется до носа. У меня даже пятка озябла – эта самая бесчувственная часть у всякого, кто не сродни Ахиллесу.

Ну, так вот я в дороге. Как же, спросите вы, после тропиков показались мне морозы? А ничего. Сажу в своей открытой повозке, как в комнате; а прежде боялся, думал, что в 30№ не проедешь тридцати верст; теперь узнал, что проедешь лучше при 30№ и скорее, потому что ямщики мчат что есть мочи; у них зябнут руки и ноги, зяб бы и нос, но они надевают на шею боа.

Еду я всё еще по пустыне и долго буду ехать: дни, недели, почти месяцы. Это не поездка, не путешествие, это особая жизнь: так длинен этот путь, так однообразно тянутся дни за днями, мелькают станции за станциями, стелются бесконечные снежные поля, идут по сторонам Лены высокие горы с красивым лиственничным лесом.

Еще однообразнее всего этого лежит глубокая ночь две трети суток над этими пустынями. Солнце поднимается невысоко, выглянет из-за гор, протечет часа три, не отрываясь от их вершин, и спрячется, оставив после себя продолжительную огнистую зарю. Звезды в этом прозрачном небе блещут так же ярко, лучисто, как под другими, не столь суровыми небесами.

По Лене живут всё русские поселенцы и, кроме того, много якутов: оттого все русские и здесь говорят по-якутски, даже между собою. Все их сношения ограничиваются якутами да редкими проезжими. Летом они занимаются хлебопашеством, сеют рожь и ячмень, больше для своего употребления, потому что сбывать некуда. Те, которые живут выше по Лене, могут сплавлять свои избытки по реке на золотые прииски, находящиеся между городами Киренском и Олекмой.

Зимой крестьяне держат лошадей на станциях. Лошади не сильны, хотя и резвы; корм их одно сено, и потому, если разгон велик, лошади теряют силу и едва выдерживают гоньбу по длинным расстояниям между станциями. Все станции расположены на пригорках, оттого при подъеме и спуске всегда берутся предосторожности. Экипажи спускают на Лену на одной лошади, или коне, как здесь все говорят, и уже внизу подпрягают других, и тут еще держат их человек пять ямщиков, пока садится очередной ямщик; и когда он заберет вожжи, все расступятся и тройка или пятерка помчит что есть мочи, но скоро утомится: снег глубок, бежать вязко, или, по-здешнему, убрдно.

Мне странно показалось, что ленские мужички обращают внимание на такую мелочь, спускают с гор на одном коне: это не в нашем характере. Ну как бы не махнуть на тройке! Верно, начальство притесняет, велит остерегаться! Впрочем, я рад за шею ближнего, и в том числе за свою.

Многим нравится дорога не как путешествие, то есть наблюдение нравов, перемена мест и проч., а просто как дорога. Есть же охотники переезжать с квартиры на квартиру; гулять по осенней слякоти и т. п. Славно, говорят любители дороги, когда намерзнешься, заиндевеешь весь и потом ввалишься в теплую избу, наполнив холодом и избу, и чуланчик, и полати, и даже под лавку дунет холод, так что сидящие по лавкам ребятишки подожмут голые ноги, а кот уйдет из-под лавки на печку... "Хозяйка, самовар!" И пойдет суматоха: на сцену является известный погребец, загремят чашки, повалит дым, с душистой струей, от маленького графинчика, в печке затрещит огонь, на сковороде от поливаемого масла раздастся неистовое шипенье; а на столе поставлена уж водка, икра, тарелки etc., etc. Если спутник не один, идет шумный разговор, а один, так он выберет какого-нибудь старика и давай экзаменовать его: "Сколько хлеба, да какой, куда сбываете? А ты что спряталась, красавица? – тут же скажет девке мимоходом, – поди сюда!" Или даст разинувшему рот, не совсем умытому мальчишке кусок сахару: всё это называется удовольствием. Пожалуй, почему и не так? Но когда это удовольствие тянется так долго, как мое, тогда дашь ему и другое название.

Здесь идет правильный почтовый тракт, и весьма исправный, но дорога не торная, по причине малой езды. Проедет почта или кто-нибудь из служащих, и опять замолкнет надолго путь, а дорогу заметет первым ветром. Приходится проезжему вновь пролагать ее по снежным буграм: от этого здесь дорога постоянно тяжела для лошадей. Едут и рекой, где можно, лугами, островами и берегом. На одной станции случается ехать по берегу, потом спуститься на проток Лены, потом переехать остров, выехать на самую Лену, а от нее опять на берег, в лес. Иногда же, напротив, едешь по Лене от станции до станции, любишься то горами, то торосом, то есть буграми льда, где Лена встала неровно; иногда видишь в одном месте стоит пар над рекой. "Что такое?" – спросишь. "Наледи", – говорят, то есть протупающая сквозь лед вода или вытекающие на ленский лед горные ключи, вероятно минеральные, которые иногда вовсе не замерзают, может быть от присутствия в них газов. К весне, в феврале и марте, дорога по Лене, говорят, очень хороша, укатана.

Какие развлечения на таком длинном переезде? Приедешь на станцию: "Скорей, скорей дай кусочек вина и кружок щей". Всё это заморожено и везется в твердом виде; пельмени тоже, рябчики, которых здесь множество, и другая дичь. Надо иметь замороженный черный и белый хлеб. На станциях есть молоко, кое-где яйца, местами овощи, но на это нельзя рассчитывать. Жители, по малому числу проезжих, держат всё это только для себя или отправляют, если близко, на прииски, которые много поддерживают здешние места, доставляя работу. Туда стекается народ: предметов потребления надобится всё больше и

больше, обозы идут чаще из Иркутска на прииски и обратно – и формируется центр сильного народонаселения и деятельности. Та же история, что в Калифорнии, в Австралии. Это напоминает басню о кладе, завещанном стариком своим детям. Дело – не в золоте.

Первые дни мороз был уж очень силен. Высунешь на минуту руку поправить что-нибудь – и пальцы озябнут до костей; дотронешься даже до дерева, и то жжется, как железо. На одной станции я спросил, сколько считают они градусов такого мороза. "Градусов пятьдесят, батюшка", – сказала мне старуха. Человек мой усмехнулся. "Градусов пятьдесят не бывает", – сказал он. "И! родимый! у нас и семьдесят бывает", – отвечала она. "Когда же кончаются эти морозы?" – "А в апреле, кормилец; в мае всё тает, а уж в июне, в половине, и высохнет всё". – "Как вы это живете тут?" – спросил я. "Да мы уж обнатуренные", – сказала она. "А лето у вас хорошо?" – спросил я. "Годявое, да только коротко: сеем ярицу, да озябает, не каждый год родится, а когда родится, так хорошо".

В другом месте станционный смотритель позабавил меня уж другим языком. Он предложил обедать у него. "А что у вас есть?" – "Налимы имеются". – "А мясо есть?" – "Имеется баранина". – "Да скоро ли всё это поспеет?" – "Быстро соорудим".

Откуда этот язык, да и обнатуренные, – кто завез сюда?

Хороши камельки, или чувалы, на станциях и вообще в юртах. Как войдешь с морозу, охватит вас и в минуту согреет тепло, которое так и пышет от целого костра стоймя горящих поленьев лиственницы. Она лучше даже березы на дрова: славно горит и долго держит жар. Толпа крестьян, женщин, мальчишек в минуту похватают у вас кто шарф, кто шапку, рукавицы и тотчас высушат, держа у камина. Тот вам подвигает скамью, другой – стул. На станциях большею частью опрятно, сухо и просторно: столы, лавки и кровати – всё выстругано из чистого белого дерева. Ветхие избы предположено весной перестроить по новому, лучшему образцу. Тесниться в духоте уже не позволено. Со мной в одно время ехал посланный из Якутска офицер для осмотра старых строений.

Пустыня имеет ту выгоду, что здесь нет воровства. Кибитка стоит на улице, около нее толпа ямщиков, и ничего не пропадает. По дороге тоже всё тихо. Нет даже волков или редко водятся где-то в одном месте. Медведи зимой все почивают.

Мне, по случаю трудной дороги, подпрягают пять и шесть лошадей, хотя повозка у меня довольно легка, но у нее есть подрезы, а здесь ездят без них: они много прибавляют тяжести по рыхлому снегу. Еще верст двести-триста, и потом уже будут запрягать лошадей гусем, по семи, восьми и даже десяти лошадей, смотря по экипажу. Там глубоки снега и дорога узенькая, так что тройка не уместится в ряд.

Каменская станция. 7-го декабря.

Мороз не смягчается ни на минуту: везде по станциям говорят, что он свыше 40№. Я думал гораздо больше об этом морозе; я его легко переносу. Сегодня попались плохие лошади, и мы ехали тридцать верст 41/2 часа – мне и горя мало! Еще под Якутском один ямщик предложил мне "проехать зараз вместо двадцати сорок пять верст". – "Что ты, любезный, с ума сошел: нельзя ли вместо сорока пяти проехать только двадцать?" – "Сделайте божескую милость, – начал умолять, – на станции гора крута, мои кони не встачат, так нельзя ли вам остановиться внизу, а ямщики сведут коней вниз и там заложат, и вы поедете еще двадцать пять верст?" – "Однако не хочу, – сказал я, – если озябну, как же быть?" – "Да как-нибудь уж..." Я сделал ему милость – и ничего. Только с носа кожа лупится.

Сегодня я проехал мимо полыньи: несмотря на лютый мороз, вода не мерзнет, и облако черного пара, как дым, клубится над ней. Лошади храпят и пятаются. Ямщик франт попался, в дохе, в шапке с кистью, и везет плохо. Лицо у него нерусское. Вообще здесь смесь в народе. Жители по Лене состоят и из крестьян, и из сосланных на поселение из разных наций и

сословий; между ними есть и жида, и поляки, есть и из якутов. Жидов здесь любят: они торгуют, дают движение краю.

Сегодня я ночевал на Ноктуйской станции; это центр жительства золотоприискателей. Тут и дорога получше, и всё живее, потому что много проезжих. Лена делается уже; в ином месте и версты нет, только здесь выдался плес, версты в две. Берега, крутые оба, сплошь покрыты лесом.

Скоро ехать нет возможности, как ездят, например, в Европейской России. Там можно, не выходя из экипажа, переменить лошадей и ехать далее. Можно даже закусить в экипаже и выйти на пять минут, съесть кусочек сыру, ветчины, холодной телятины; а здесь всё замерзает до того, что надо щи рубить топором или ждать час, пока у камина отогреются. Вот и остановка. Вы с морозу, вам хочется выпить рюмку вина, бутылка и вино составляют одну ледяную глыбу: поставьте к огню – она лопнет, а в обыкновенной комнатной температуре не растает и в час; захочется напиться чаю – это короче всего, хотя хлеб тоже обращается в камень, но он отходит скорее всего; но вынимать одно что-нибудь, то есть чай – сахар, нельзя: на морозе нет средства разбирать, что взять, надо тащить всё: и вот опять возни на целый час – собирать всё!

Беда еще, когда столкнется много проезжих, – лошадей мало. Вот нас едет четыре экипажа, мы и сидим теперь: я здесь, на Каменской станции, чиновник с женой и инженер – на Жербинской, другой чиновник – где-то впереди, а едущий сзади купец сидит, говорят, не на станции, а на дороге. Лошади устали, или пристали, как здесь говорят. Всеми этому причина почта, которая настигла нас. Я забыл сказать, что мы сутки пробыли в Олекме. Это маленький, бедный городок. Там живет исправник, почтмейстер, окружной лекарь да несколько купцов. Нам указали квартиру у одного из последних. Останавливаться бы незачем, да надо возобновить запас хлеба. Добрый купец и старушка, мать его, угощали нас как родных, отдали весь дом в распоряжение, потом ни за что не хотели брать денег. "Мы рады добрым людям, – говорили они, – ни за что не возьмем: вы нас обидите". Мы немало смеялись над m-me K., которая, в уверенности, что возьмут деньги, командовала в доме, требуя того, другого.

На Каменской станции оканчивается Якутская область, начинающаяся у Охотского моря, – это две тысячи верст: до Иркутска столько же остается – что за расстояния! Какой детской игрушкой покажутся нам после этого поездки по Европейской России!

К удивлению моему, здешние крестьяне недовольны приисками: всё стало дороже: пуд сена теперь стоит двадцать пять, а иногда и пятьдесят, хлеб – девяносто коп. – и так всё. Якутам лучше: они здесь природные хозяева, нанимаются в рабочие и выгодно сбывают на прииски хлеб; притом у них есть много лугов и полей, а у русских нет.

Поледуйская станция. 13 декабря.

Всё еще пустыня, всё Лена! Я сейчас из леса: как он хорош, осыпанный, обремененный снегом! Столетние сосны, ели, лиственницы толпятся группами или разбросаны врозь. Взошел молодой месяц и осветил лес, чего тут нет? Какой разгул для фантазии: то будто женщина стоит на коленях, окруженная малютками, и о чем-то умоляет: всё это деревья и кусты с нависшим снегом; то будто танцующие фигуры; то медведь на задних лапах; а мертвецов какая пропасть! Особенно когда заснешь – беда: у шапки образуются сосульки и идут к бровям, от бровей другие к ресницам, а от ресниц к усам и к шарфу. Сквозь эту ледяную решетку лес кажется совсем фантастическим. Это природная декорация "Нормы".

Пока я носился мыслью так далеко, повозка моя вдруг засела в яме, в вымерзнувшей речке: это яма из ям. Я вышел вон и стал на холме. Пней множество, настоящий храм друидов: я только хотел запеть "Casta diva*", как меня пригласили в совет, как поступить. Лошади не могут вытащить. Тимофей советовал бить передовых лошадей (мы ехали гусем),

я посоветовал запрячь тройку рядом и ушел опять на холм петь, наконец ямщик нарубил кольев, и мы стали поднимать повозку сзади, а он кричал на лошадей: "Эй, ну, дружки, чтоб вас задавило, проклятые!" Но дружки ни с места. К счастью, морозу было всего каких-нибудь 31, много 32№, а не 44, как на Николин день. * "Дева пречистая" – итал.

Но прочь романтизм, и лес тоже! Замечу только на случай, если вы поедете по этой дороге, что лес этот находится между Крестовской и Поледеувской станциями. Но через лес не настоящая дорога: по ней ездят, когда нет дороги по Лене, то есть когда выпадают глубокие снега, аршина на полтора, и когда проступает снизу, от тяжести снега, вода из-под льда, которую здесь называют черной водой.

От Жербинской станции начинается Иркутская губерния и Киренский округ. Здесь выпадают ужасные снега, и оттого везут гусем верст на шестьсот, то есть почти от Олекмы до Киренска и даже далее. На Жербинской станции я застал беспорядок. Староста умер, и все ямщики отказывались ехать под предлогом, что не их очередь. "А если я опоздаю в город, да меня спросят, отчего..." – начал я было свою угрозу, которая так помогала за Якутском; но здесь не помогла. Ямщики разбежались по избам и спрятались. Я сам пошел отыскивать их. Вошел в одну избу – ямщики все сидели по печкам с завязанными ногами и охали. "Батюшки! – стонали они, – смерть пришла, ноженьки, ой, ноженьки, мочи нет!" – "Что у вас?" – спросил я. "Горячка", – говорят.

Наконец одного здорового я застал врасплох и потребовал, чтобы он ехал. Он отговаривался тем, что недавно воротился и что надо лошадей кормить и самому поесть. "Сколько тебе нужно времени?" – спросил я. "Три часа". – "Корми четыре, а потом запрягай", – сказал я и принялся, не помню в который раз, пить чай.

Ямщик пообедал, задал корму лошадям, потом лег спать, а проснувшись, объявил, что ему ехать не следует, что есть мужик Шеин, который живет особняком, на юру, что очередь за его сыновьями, но он богат и всё отделяется. Я послал за Шеиным, но он рапортовался больным. Что делать? вооружиться терпением, резигнацией? так я и сделал. Я прожил полторы сутки, наконец созвал ямщиков, и Шеина тоже, и стал записывать имена их в книжку. Они так перепугались, а чего – и сами не знали, что сейчас же привели лошадей.

Я проехал мимо приисков, то есть резиденции золотоискателей, или разведения, как назвал ямщик, указывая целую колонию домиков на другом берегу Лены.

"Какова дорога впереди?" – спрашиваю. "Торосовато или убродно", – отвечал ямщик. По Лене свирепствует теперь, и часто, повальная горячка, единственная местная болезнь. Она много похитила жертв, и я на каждой станции встречаю бледные, больные лица. Еще чаще встречаю людей с знаками на лбу, щеках и особенно на носу... Mais hony soit qui mal y pense*. Это следы озноба. С любопытством всматриваюсь и вслушиваюсь во всё. На Жербинской станции мне понравилась одна женщина, наполовину русская, наполовину якутская по родителям, больше всего тем, что любит мужа. Когда я записал и его имя в книжку за нерадение, она ужасно начала хлопотать, чтоб мне изладить коней: сама взнуздывала, завязывала упряжь, помогала запрягать, чтоб только меня успокоить, чтоб я не жаловался на мужа, и делала это с своего рода грацией. Она недурна собой. * Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает – фр.

Встретил еще несчастливца. "Я не стар, – говорил ямщик Дормидон, который попробовал было бежать рядом с повозкой во всю конскую прыть, как делают прочие, да не мог, – но горе меня одолело". Ну, начинается обыкновенная песня, думал я: все они несчастливы, если слушать их. "Что же с тобой случилось?" – спросил я небрежно. "Что? да сначала, лет двадцать пять назад, отца убили..." Я вздрогнул. "Тогда не то, что теперь: не открыли убийцу..." Я боязливо молчал, не зная, что сказать на это. "Потом моя хозяйка умерла: ну, Бог с ней! Божья власть, а всё горько!" "Да, в самом деле он несчастлив", – подумал я; что же еще после этого назвать несчастьем? "Потом сгорела изба, – продолжал он, – а в ней восьмилетняя дочь... Женился я вдругорядь, прижил два сына; жена тоже умерла. С сгоревшей избой у меня пропало всё имущество, да еще украли у меня однажды тысячу рублей, в другой раз тысячу шестьсот. А как наживал-то! как копил! Вот как трудно

было!" Мне стало жутко от этого мрачного рассказа. "Это страдания Иова!" – думал я, глядя на него с почтением. Дормидон претерпел всё людские скорби – и не унывает, еще возит проезжих, сбывает сено на прииски – и ничего. А мы-то: палец обрежем, ступим неосторожно... "Вон, слышите колоколец? – спросил он меня. – Это мой Васютка заседателя везет. – Эй, малый, вези по старой дороге, – крикнул он весело (слышите – весело!), – что нам новую-то проминать своими боками!"

Сегодня наткнулись мы на кочевье тунгусов. Пара оленей отделилась и бросилась от наших лошадей вперед и всё мчалась по дороге и забежала верст за семь от кочевья, а наши лошади пятились от них. Здесь сеют рожь, ярицу и ячмень; но первая вызябает, вторая, по краткости лета, тоже не всегда удастся, но зато ячмень очень хорош. Берега Лены утесисты и красивы. Островов тут почти нет; река становится всё уже. По-якутски почти никто не говорит, и станции пошли русские; есть старинные названия, данные, конечно, казаками при занятии Сибири.

Чуйская станция, 13 декабря. Витима.

Лена, Лена и Лена! Но всё еще пустая Лена; кое-где на лугах видны большие кучи снегу – это стога сена; кое-где три-четыре двора, есть хижины, буквально заваленные снегом, с отверстиями, то есть окошками, в которых вставлены льдины вместо стекол: ничего, тепло, только на улицу ничего не видать. В других избах, и это большею частию, окна затянуты бычачьими пузырями. На каждой станции кучи ямщиков толпятся у экипажа. Деревенки содержат гоньбу всем миром, то есть с каждого мужика требуется пара лошадей. Все ямщики "ладят коней" и толпой идут спускать с горы. Двое везут.

Витима – слобода, с церковью Преображения, с сотней жителей, с приходским училищем, и ямщики почти все грамотные. Кроме извоза они промышляют ловлей зайцев, и тулупы у всех заячьи, как у нас бараньи. Они сеют хлеб. От Витимы еще около четырехсот верст до Киренска, уездного города, да оттуда девятьсот шестьдесят верст до Иркутска. Теперь пост, и в Витиме толпа постников, окружавшая мою повозку, утащила у меня три рыбы, два омуля и стерлядь, а до рябчиков и другого скоромного не дотронулись: грех!

Кажется, я миновал дурную дорогу и не "хлебных" лошадей. "Тут уж пойдут натуральные кони и дорога торная, особенно от Киренска к Иркутску", – говорят мне. Натуральные – значит привыкшие, приученные, а не сборные. "Где староста?" – спросишь, приехав на станцию... "Коней ладит, барин. Эй, ребята! заревите или гаркните (то есть позовите) старосту", – говорят потом.

Смотрители здесь не везде: они заведывают пятью станциями. Из них один на Мухтуйской станции – франт. Он двумя пальцами грациозно взял подорожную, согнув мизинец в кольцо. Форменный сюртук у него в рюмочку; сам расчесан. Мухтуй называют здесь Парижем, потому что крестьяне (из ссыльных) ходят в пальто и танцуют кадрили. Но я пробыл на ней четверть часа и ничего этого не видал. Один проезжий мне сказывал, что, выехав рано утром, после проведенной здесь ночи, и вглядываясь в лицо своего ямщика, он увидел знакомое лицо, но не мог вспомнить, где он его видел. "Я где-то видел тебя?" – спросил он наконец ямщика. "А вчера я был вашим визави в кадрили на вечеринке", – отвечал тот. Это уж не "натуральный" ямщик, говоря по-здешнему.

Вчера ночью я проехал так называемые щеки, одну из достопримечательностей Лены. Это – огромные, величественные утесы, каких я мало видал и на морских берегах. Едешь у подошвы, и повозка с лошадьми похожи на ползающих насекомых. Они ужасно изрыты, дики, страшны, так что хочется скорей миновать их. Щеки эти находятся между Пьянобыковской и Частинской станциями, верстах в тысяче двухстах от Иркутска. Какие названия станций! Всему есть местные причины, до которых археологу нетрудно добраться, по молодости края. Например, Пьяным быком прозвали утес, о который когда-то разбилась барка с вином. Спешу сообщить вам это археологическое сведение, опасаясь, что оно погибнет от времени. Деревень еще мало: скоро пойдут, говорят, чаще, чем ближе к Иркутску. Встречаются часто приискатели, приказчики их, возы. Дорога уже лучше, торнее, морозы возобновились, да еще с ветром: несносно, спрятаться некуда.

Киренск.

Решительно нельзя ехать: скоро очень везут. Только приедешь куда-нибудь, только скинешь с себя всё и расположишься у теплой печки, как уж говорят, что лошади готовы. А всё оттого, что кони натуральные и ямщики тоже. Не могу нахвалиться расторопностью и радушием здешних ямщиков: они не знают, как принять проезжего, где посадить, и угощают, чем богаты, – сальной свечкой, лучиной, скамьей. Потом (это уж такой обычай) идут все спускать лошадей на Лену: "На руках спустим", – говорят они, и каждую лошадь берут человека четыре, начинают вести с горы и ведут, пока лошади и сами смирно идут, а когда начинается самое крутое место, они все рассыпаются, и лошади мчатся до тех пор, пока захотят остановиться.

Слава Богу! всё стало походить на Россию: являются частые селения, деревеньки, Лена течет излучинами, и ямщики, чтоб не огибать их, едут через мыски и заимки, как называют небольшие слободки. В деревнях по улице бродят лошади: они или заигрывают с нашими лошадьми, или, испуганные звуком колокольчиков, мчатся что есть мочи, вместе с рыжим поросенком, в сторону. Летают воробьи и грачи, поют петухи, мальчишки свищут, машут на проезжающую тройку, и дым столбом идет вертикально из множества труб – дым отечества! Всем знакомые картины Руси! Недостает только помещичьего дома, лакея, открывающего ставни, да сонного барина в окне... Этого никогда не было в Сибири, и это, то есть отсутствие следов крепостного права, составляет самую заметную черту ее физиономии.

Киренск город небольшой. "Где остановиться? – спросил меня ямщик, – есть у вас знакомые?" – "Нет". – "Так управа ответит". – "А кто живет по дороге?" – "Живет Синицын, Марков, Лаврушин". – "Поезжай к Синицыну".

Повозка остановилась у хорошенького домика. Я послал спросить, можно ли остановиться часа на два погреться? Можно. И меня приняли, сейчас угостили чаем и завтраком – и опять ничего не хотели брать.

В Киренске я запасся только хлебом к чаю и уехал. Тут уж я помчался быстро. Чем ближе к Иркутску, тем ямщики и кони натуральнее. Только подъезжаешь к станции, ямщики ведут уже лошадей, здоровых, сильных и дюжих на вид. Ямщики позажиточнее здесь, ходят в дохах из собачьей шерсти, в щегольских шапках. Тут ехал приискатель с семейством, в двух экипажах, да я – и всем доставало лошадей. На станциях уже не с боязнью, а с интересом спрашивали: бегут ли за нами еще подводы?

Стали встречаться села с большими запасами хлеба, сена, лошади, рогатый скот, домашняя птица. Дорога всё – Лена, чудесная, проторенная частой ездой между Иркутском, селами и приисками. "А что, смирны ли у вас лошади?" – спросишь на станции. "Чего не смирны? словно овцы: видите, запряжены, никто их не держит, а стоят". – "Как же так? а мне надо бы лошадей побойчее", – говорил я, сбивая их. "Лошадей тебе побойчее?" – "Ну да". – "Да эти-то ведь настоящие черти: их и не удержишь ничем". И оно действительно так.

Верстах в четырехстах от Иркутска, начиная от Жегаловской станции, лошади на взгляд сухи, длинношеи, длинноплечи и не обещают силы. Они уныло стоят в упряжи, привязанные к пустым саням или бочке, преграждающей им самовольную отлучку со двора; но едва проезжие начнут садиться, они наострят уши, ямщики обступят их кругом, по двое держат каждую лошадь, пока ямщик садится на козлы. "Ты, парень, – говорят ему, – пошевеливайся, коренник-то больно торопится". В самом деле, коренная поворачивает морду то направо, то налево, стараясь освободиться, пристяжные переминаются и встряхивают головой. Вот ямщик уселся, забрал вожжи, закрутил их около рук... "Ну!" – говорит он. Все мгновенно раздаются в сторону, и тройка разом выпорхнет из ворот, как птица, и мчит версты две-три вскачь, очертя голову, мотая головами, потом сажень сто резвой рысью, а там опять вскачь – и так до станции. Седок не имеет надобности побуждать ямщика, а ямщик –

лошадей. Чуть лошади немного задумаются – ямщик поднимет над ними только руку или гикнет – и опять пошли. И не увидишь, как мелькнут двадцать пять верст.

К Иркутску всё живее: много попадаетея возов; села большие, многолюдные; станционные дома чище. Крестьянские избы очень хорошие, во многих местах с иголки.

На последних пятистах верстах у меня начало пухнуть лицо от мороза. И было от чего: у носа постоянно торчал обледеный шарф: кто-то будто держал за нос ледяными клещами. Боль невыносимая! Я спешил добраться до города, боясь разнемочься, и гнал более двухсот пятидесяти верст в сутки, нигде не отдыхал, не обедал.

От слободы Качуги пошла дорога степью; с Леной я распрощался. Снегу было так мало, что он не покрыл траву; лошади паслись и щипали ее, как весной. На последней станции всё горы; но я ехал ночью и не видал Иркутска с Веселой горы. Хотел было доехать бодро, но в дороге сон неодолим. Какое неловкое положение ни примите, как ни сядьте, задайте себе урок не заснуть, пугайте себя всякими опасностями – и все-таки заснете и проснетесь, когда экипаж остановится у следующей станции.

Я проснулся, однако, не на станции. "Что это? – спросил я, заметив строения, – деревня, что ли?" – "Нет, это Иркутск". – "А Веселая гора?" – "Э, уж давно проехали!"

В самую заутреню Рождества Христова я въехал в город. Опухоль в лице была нестерпимая. Вот уж третий день я здесь, а Иркутска не видал. Теперь уже – до свидания.

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ*

* Эти главы были помещены в литературном сборнике "Складчина", изданном в 1874 году.

I

11-го декабря 1873 года и 6-го января 1874 года небольшое общество морских офицеров собралось отпраздновать дружеским обедом двадцатилетнюю годовщину избавления их от гибели в означенные числа на море при крушении в 1854 году в Японии фрегата "Диана".

На втором из этих обедов присутствовал и я, ласково приглашенный главным лицом этой группы, в которой было несколько офицеров, перешедших на фрегат "Диана" с фрегата "Паллада".

Многое возобновилось в памяти плавателей за этим обедом, много приведено было забытых подробностей путешествия, особенно при крушении "Дианы". Японская экспедиция была тут почти вся в сборе, в лице главных ее представителей, кроме бывшего командира "Паллады" (теперь вице-адмирала и сенатора И. С. Унковского), и я в этом, знакомом мне, кругу стал как будто опять плавателем и секретарем адмирала. Возьму же опять перо, перенесусь за двадцать лет назад и доскажу, между прочим, о том, что случилось с "Палладой" и как заключилось дальнейшее плавание моих спутников, после того как я расстался с ними.

А заключилось оно грандиозной катастрофой, именно землетрясением в Японии и гибелью фрегата "Дианы", о чем в свое время газеты извещали публику. О том же подробно доносил великому князю, генерал-адмиралу, начальник экспедиции в Японию генерал-адъютант (ныне граф) Е. В. Путятин.

Бывают нередко страшные и опасные минуты в морских плаваниях вообще: было несколько таких минут и в нашем плаваньи до берегов Японии. Но такие ужасы, какие испытали наши плователи с фрегатом "Диана", почти беспримерны в летописях морских

бедствий.

Обязанность – изложить событие в донесении – лежала бы на мне, по моей должности секретаря при адмирале, если бы я продолжал плавание до конца. Но я не жалею, что не мне пришлось писать рапорт: у меня не вышло бы такого капитального произведения, как рапорт адмирала ("Морской сборник", июль, 1855).

Я могу только жалеть, что не присутствовал при эффектном заключении плавания и что мне не суждено было сделать иллюстрацию этого события под влиянием собственного впечатления, наряду со всем тем, что мне пришлось самому видеть и описать.

В то самое время как мои бывшие спутники близки были к гибели, я, в течение четырех месяцев, проезжал десять тысяч верст по Сибири, от Аяна на Охотском море до Петербурга, и, в свою очередь, переживал если не страшные, то трудные, иногда и опасные в своем роде минуты.

Я совершенно случайно избежал участи, постигшей моих товарищей. Открылась Крымская кампания. Это изменяло первоначальное назначение фрегата и цель его пребывания на водах Восточного океана. Дело, начатое с Японией о заключении торгового трактата и об определении наших с нею границ на острове Сахалине, должно было, по необходимости, прекратиться. Адмирал, в последнее наше пребывание в Нагасаки, решил идти сначала к русским берегам Восточной Сибири, куда, на смену "Палладе", должен был прибыть посланный из Кронштадта фрегат "Диана"; потом зайти опять в Японию, условиться о возобновлении, после войны, начатых переговоров. Далее нельзя было предвидеть, какое положение пришлось бы принять по военным обстоятельствам: оставаться ли у своих берегов, для защиты их от неприятеля, или искать встречи с ним на открытом море. Может быть, пришлось бы, по неимению известий о неприятеле, оставаться праздно в каком-нибудь нейтральном порте, например в Сан-Франциско, и там ждать исхода войны.

Я испугался этой перспективы неизвестности и "ожидания" на неопределенный срок где бы то ни было, у наших ли пустынных азиатских берегов или хотя бы и в таком новом для меня и занимательном месте, как Сан-Франциско. Что там делать месяцы, может быть, год или годы – ибо как было предвидеть конец войны? Тогда Pacific rail road* еще не было, чтобы пробраться через американский материк домой, – и мне пришлось бы отдать себя на волю случайных обстоятельств, то есть оставаться там без цели, праздным и лишним лицом.

* Тихоокеанская железная дорога (англ.).

Притом два года плавания не то что утомили меня, а утолили вполне мою жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и образа жизни.

Я намекнул адмиралу о своем желании воротиться. Но он, озабоченный начатыми успешно и неоконченными переговорами и открытием войны, которая должна была поставить его в неожиданное положение участника в ней, думал, что я считал конченным самое дело, приведшее нас в Японию. Он заметил мне, что не совсем потерял надежду продолжать с Японией переговоры, несмотря на войну, и что, следовательно, и мои обязанности секретаря нельзя считать конченными.

А того, что кончилось мое желание путешествовать, он не заметил, несмотря на мой глубокий вздох, которым я встретил его ответ.

Да я и не путешествовал, а плывал по "казенной надобности". Я был "командирован для исправления должности секретаря при адмирале во время экспедиции к нашим американским владениям": так записано было у меня в формулярном списке. Следовательно, у меня и не было никакого права на "хочу" или "не хочу" оставаться или воротиться. Но потом, после нескольких разговоров с адмиралом об этом, он сам сжалился. Я видимо стал скучать, да, может быть, он и сам сомневался, удастся ли ему идти в Японию, так как на первом плане теперь была у него обязанность не дипломата, а воина. И вот он неожиданно для меня, с свойственной ему добротой, однажды решил: "Бог с вами, поезжайте: я знаю, что здесь вам скучно будет теперь".

Я не заставил повторять себе этого приглашения и ни одну бумагу в качестве секретаря

не писал так усердно, как предписание себе самому, от имени адмирала, "следовать до С.-Петербурга, и чтобы мне везде чинили свободный пропуск и оказываемо было в пути, со стороны начальствующих лиц, всякое содействие" и т. д.

Всё это происходило в устьях Амура. Фрегат "Диана" уже пришел на смену "Палладе", которая отслужила свой срок, состарелась и притом избита была вытерпенными нами штормами, особенно у мыса Доброй Надежды, и ураганом в Китайском море. Сначала ее хотели ввести в устье Амура, но по мелководью это оказалось невозможно. Ее оставили в Татарском проливе, в Императорской бухте. Ее разоружили, то есть сняли с нее пушки, порох, такелаж – всё, что можно было снять, а ветхий остов ее был оставлен под надзором моряков и казаков, составлявших наш пост в этой бухте, с тем чтобы в случае прихода туда французов и англичан его затопили, не давая неприятелю случая похвастаться захватом русского судна.

Так "Паллада" и кончила свое существование в этой бухте: от нее оставалось одно днище, которое, вероятно, пригодилось на что-нибудь нашим людям, содержавшим там пост.

Во время этих хлопот разоружения, перехода с "Паллады" на "Диану", смены одной команды другою, отправления сверхкомплектных офицеров и матросов сухим путем в Россию я и выпросился домой. Это было в начале августа 1854 года.

Тогда же приехал к нам с Амура бывший генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев и, пробыв у нас дня два на фрегате, уехал в Николаевск, куда должна была идти и шкуна "Восток" для доставления его со свитою в Аян на Охотском море. На этой шкуне я и отправился с фрегата, и с радостью, что возвращаюсь домой, и не без грусти, что должен расстаться с этим кругом отличных людей и товарищей.

Помню еще теперь минуту комического страха, которую я испытал, впрочем, напрасно, когда, отойдя на шкуне с версту от фрегата, мы стали на мель в устье Амурского лимана. Он весь усеян мелями, так что даже и легкая шкуна наша, и до Николаевска, и после него до Охотского моря, беспрестанно становилась на мель. Но это ей, и всякому маленькому судну, нипочем. Она так же легко снималась с мелей, как и становилась на них. Я был внизу в каюте и располагался там с своими вещами, как вдруг бывший наверху командир ее, покойный В. А. Римский-Корсаков, крикнул мне сверху: "Адмирал едет к нам: не за вами ли?" Я на минуту остолебенел, потом побежал наверх, думая, что Корсаков шутит, пугает нарочно. Нет, не шутит: вон синяя гичка и в ней адмирал! "Да, верно передумал!" – с ужасом думал я, глядя на гичку.

Но адмирал приехал за каким-то другим делом, а более, кажется, взглянуть, как мы стоим на мели, или просто захотел прокатиться и еще раз пожелать нам счастливого пути – теперь я уже забыл. Тут мы окончательно расстались до Петербурга.

II

Обращаясь к вышесказанным мною словам о страшных и опасных минутах, испытанных нами в плавании.

"Страшные" и "опасные" минуты – это не синонимы, как не синонимы и самые слова "страх" и "опасность" вообще, на море особенно. Страшных минут для иных вовсе не существует, для других – их множество. Это зависит от привычки или непривычки к морю, то есть от знакомства или незнакомства с его характером, с устройством и управлением корабля и, наконец, от нервозности характера или от воспитания пловца. Новичку всё кажется страшно или сомнительно на корабле. "Пошел все наверх!" – командует боцман, и четыреста человек бросятся как угорелые, точно спасать кого-нибудь или сами спастись от гибели, затопают по палубе, полезут на ванты: не знающий дела или нервозный человек вздрогнет, подумает, что случилась какая-нибудь беда. Ничего не бывало: надо прибавить или убавить парусов или что-нибудь в этом роде. А там загремит бегущий по роульсам

(колесцам) канат. Не то так от качки, как будто с отчаяния, распахнет свои дверцы какой-нибудь шкаф в каюте, и вся его внутренность, то есть посуда, – с треском и звоном полетит во все стороны и разобьется вдребезги. Чего не представится испуганному воображению нового пловца при этом треске! Минута – "страшная", но только разве для буфетчика, который не запер крепко дверцы и которому за это достанется.

Так и мне, не ходившему дотоле никуда в море далее Кронштадта и Петергофа, приходилось часто впадать в сомнение при этих, по непривычке "страшных", но вовсе не "опасных", шумах, тресках, беготне, пока я не ознакомился с правилами и обычаями морского быта.

Другое дело "опасные" минуты: они нечасты, и даже иногда вовсе незаметны, пока опасность не превратится в прямую беду. И мне случалось забывать или, по неведению, прозевать испугаться там, где бы к этому было больше повода, нежели при падении посуды из шкафа, иногда самого шкафа или дивана.

О многих "страшных" минутах я подробно писал в своем путевом журнале, но почти не упомянул об "опасных": они не сделали на меня впечатления, не потревожили нерв – и я забыл их или, как сказал сейчас, прозевал испугаться, оттого, вероятно, прозевал и описать. Упомяну теперь два-три таких случая.

Идучи на фрегате "Паллада" из Кронштадта в Англию, мы проходили Зунд.

Я писал тогда, как неблагоприятно было наше плавание по Балтийскому морю в октябрьскую холодную погоду, при противных ветрах и туманах. Кроме того, как я тоже писал, у нас умерло три человека от холеры. И привычным людям казалось трудно такое плавание, а мне, новичку, оно было еще невыносимо и потому, что у меня, от осеннего холода, возобновились жестокие припадки, которыми я давно страдал, невралгии с головными и зубными болями. В каюте от внешнего воздуха с дождем, отчасти с морозом, защищала одна рама в маленьком окне.

Иногда я приходил в отчаяние. Как, при этих болях, я выдержу двух- или трехгодичное плавание? Я слег и утешал себя мыслью, что, добравшись до Англии, вернусь назад. И к этому еще туманы, качка и холод!

С приближением к Дании воздух стал гораздо мягче, теплее, но туманы продолжались. При входе в Зунд мы, как всегда делается в узких проходах, вызывали лоцмана, чтобы провести нас проливом. Вызывают обыкновенно лоцманским флагом, а если флаг не виден, палят из пушки. Но, вероятно, флага, за туманом, с берегу не было видно (я теперь забыл эти подробности), а пушка могла палить и по другой причине: что бы там ни было, но лоцман не явился. Мы шли, так сказать, ощупью, подвигаясь тихо, осторожно, но всё же подвигались: нельзя стать в открытом море на одном месте. Когда туман прояснился, мы были уже в проливе.

Было тепло, мне стало легче, я вышел на палубу. И теперь еще помню, как поразила меня прекрасная, тогда новая для меня, картина чужих берегов, датского и шведского.

Обаяние, производимое величественною картинностью моря и берегов, возымело свое действие надо мною. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям: привыкну ли к морской жизни, дадут ли мне покой ревматизмы? Море и тянет к себе, и пугает, пока не привыкнешь к нему. Такое состояние духа очень наивно, но верно выразила мне одна француженка, во Франции, на морском берегу, во время сильнейшей грозы, в своем ответе на мой вопрос, любит ли она грозу? "Oh, monsieur, c'est ma passion, – восторженно сказала она, – mais... pendant l'orage je suis toujours mal a mon aise!"* "О сударь, это моя страсть.. но... во время грозы мне всегда не по себе!" (фр.).

Капитан и так называемый "дед", хорошо знакомый читателям "Паллады", старший штурманский офицер (ныне генерал), – оба были наверху и о чем-то горячо и заботливо толковали. "Дед" беспрестанно бегал в каюту, к карте, и возвращался. Затем оба зорко смотрели на оба берега, на море, в напрасном ожидании лоцмана. Я всё любовался на картину, особенно на целую стаю купеческих судов, которые, как утки, плыли кучей и всё жались к шведскому берегу, а мы шли почти посредине, несколько ближе к датскому.

Тревожился поминутно капитан, тревожился и дед, и не раз, конечно, называл лоцмана за неявку "каторжным". Он побежал в двадцатый раз вниз. Вдруг капитан послал поспешно за ним.

Они, казалось, оба были чем-то поражены.

– Мы на мели! – дошли до моего слуха тихие слова.

Я пощупал ногой палубу: она перестала двигаться, ноги стояли будто на земле.

Я смотрел на всё это рассеянно и слушал с большим равнодушием, что говорили кругом. Меня убаюкивал тихий плеск моря, теплая погода и поглощала

– Какая благодать! – говорил я себе, ощутив под ногами неподвижные доски палубы.

Но что за суматоха поднялась на фрегате – "из-за таких пустяков!" – думал я.

Засвистали всех наверх, поднялась возня, шум: "Спускать шлюпку! завозить верпы!" – только и слышалось. Офицеры, кто спал, кто читал или писал, – все принялись за дело.

Верпы – маленькие якоря, которые, завезя на несколько десятков сажен от фрегата, бросают на дно, а канат от них наматывают на шпиль и вертят последний, чтобы таким образом сдвинуть судно с места. Это – своего рода домашний способ тушить огонь, до прибытия пожарной команды.

Но тяжелый наш фрегат, с грузом не на одну сотню тысяч пуд, точно обрадовался случаю и лег прочно на песок, как иногда добрый пьяница, тоже "нагрузившись" и долго шлепая неверными стопами по грязи, вдруг возьмет да и ляжет средь дороги. Напрасно трезвый товарищ толкает его в бока, приподнимает то руку, то ногу, иногда голову. Рука, нога и голова падают снова как мертвые. Гуляка лежит тяжело, неподвижно и безнадежно, пока не придут двое "городовых" на помощь.

И фрегат, потрогиваемый слабыми верпами, как будто подается, поползет, крикнет, раздадутся радостные восклицания – а он ни с места. Нет, надо послать за "городовым". И послали.

Смотрел я на всю эту суматоху и дивился: "Вот привычные люди, у которых никаких "страшных" минут не бывает, а теперь как будто боятся! На мели: велика важность! Постоим, да и сойдем, как задует ветер посвежее, заколеблется море!" – думал я, твердо шагая по твердой палубе. Неопытный слепец!

– Подступиться разве к ним и спросить, что их так тревожит? Приступу нет: и не глядят!

Я помню только, что один из офицеров, барон Шлипенбах, оделся в полную форму и поспешно послан был в Копенгаген за пароходом помочь нам сняться с мели.

Пока моряки переживали свою "страшную" минуту, не за себя, а за фрегат, конечно, – я и другие, неприкосновенные к делу, пили чай, ужинали и, как у себя дома, легли спать. Это в первый раз после тревог, холода, качки!

– Какая благодать! – твердил я, ложась, как на берегу, дома, на

Чуть ли не грезилось мне тогда во сне, что мы дальше не пошли, а так на мели и остались, что морское начальство в Петербурге соскучилось ждать, когда мы сдвинемся, и отложило экспедицию и что мы все воротились домой безмятежно спать на незыблемых ложах.

Но под утро, сквозь сон, я услышал звук боцманских свистков, почувствовал, как моя койка закачалась подо мной и как нас потащил могучий "городовой", пароход из Копенгагена. Тогда, кажется, явился и лоцман.

На другой день, когда вышли из Зунда, я спросил, отчего все были в такой тревоге, тем более что средство, то есть Копенгаген и пароход, были под рукой? Тогда только объяснили мне техническую сторону дела: что значит, когда судно "приткнется" к мели. Прежде всего, даже легкое приткновение что-нибудь попортит в киле или в обшивке (у нашего фрегата действительно, как оказалось при осмотре в Портсмутском доке, оторвалось несколько листов медной обшивки, а без обшивки плавать нельзя, ибо-де к дереву пристают во множестве морские инфузории и точат его), а главное: если бы задул свежий ветер и развел волнение, тогда фрегат не сошел бы с мели, как я, по младенчеству своему в морском деле,

полагал, а разбился бы в щепы!

"И опять-таки мы всё воротились бы домой! – думал я, дополняя свою грезу: берег близко, рукой подать; не утонули бы мы, а я еще немного и плавать умею". Опять неопытность! Уметь плавать в тихой воде, в речках, да еще в купальнях, и плавать по морским, расходящимся волнам – это неизмеримая, как я убедился после, разница. В последнем случае редкий матрос, привычный пловец, выплывает.

Таким образом "опасная" минута, продолжавшаяся ночь, была мною вовсе не замечена.

Но не на море только, а вообще в жизни, на всяком шагу, грозят нам опасности, часто, к спокойствию нашему, не замечаемые. Зато, как будто для уравнивания хорошего с дурным, всюду рассеяно много "страшных" минут, где воображение подозревает опасность, которой нет. На море в этом отношении много клепят напрасно, благодаря "страшным", в глазах непривычных людей, минутам. И я бывал в числе последних, пока не был на море.

Впрочем, нельзя сказать, чтобы и сами моряки были вовсе нечувствительны ко всем случайностям, постигающим плователей. Не из камня же они: люди – везде люди, и искренний моряк – а моряки почти все таковы – всегда откровенно сознается, что он не бывает вполне равнодушен к трудным или опасным случаям, переживаемым на море. Бывает у моряка и тяжело, и страшно на душе, и он нередко, под влиянием таких минут, решает про себя – не ходить больше в море, лишь только доберется до берега. А поживши неделю-другую, месяц на берегу, – его неудержимо тянет опять на любимую стихию, к известным ему испытаниям.

Но моряк, конечно, не потревожится никогда пустыми страхами воображения и не поддастся мелочным и малодушным опасениям на каждом шагу, по привычке к морю с ранней молодости.

III

По приходе в Англию забылись и страшные, и опасные минуты, головная и зубная боли прошли, благодаря неожиданно хорошей для тамошнего климата погоде, и мы, прожив там два месяца, пустились далее. Я забыл и думать о своем намерении воротиться, хотя адмирал, узнав о моей болезни, соглашался было отпустить меня. Вперед, дальше манило новое. Там, в заманчивой дали, было тепло и ревматизмы неведомы.

Упомяну кстати о пережитой мною в Англии морально страшной для меня минуте, которая, не относясь к числу морских треволнений, касается, однако же, всё того же путешествия, и она задала мне тревоги больше всякой качки.

Адмирала с нами не было: он прежде фрегата уехал один в Англию делать разные приготовления к продолжительному плаванью и, между прочим, приобрел там шкуну "Восток", для плаванья вместе с "Палладой", и занимался снаряжением ее и разными другими делами. В Петербурге я видел его мельком и уже на Портсмутском рейде явился к нему в качестве секретаря и последовал за ним в Лондон. Он сейчас же поручил мне написать несколько бумаг в Петербург, между прочим изложить кратко историю нашего плаванья до Англии и вместе о том, как мы "приткнулись" к мели, и о необходимости ввести фрегат в Портсмутский док, отчасти для осмотра повреждения, а еще более для приспособления к фрегату тогда еще нового водоопреснительного парового аппарата.

Он мне показал бумаги, какие сам писал до моего приезда в Лондон. Я прочитал и увидел, что... ни за что не напишу так, как они написаны, то есть таким строгим, точным и сжатым стилем: просто не умею!

"Зачем ему секретарь? – в страхе думал я, – он пишет лучше всяких секретарей: зачем я здесь? Я – лишний!" Мне стало жутко. Но это было только начало страха. Это опасение я кое-как одолел мыслью, что если адмиралу не недостает умения, то неостанет времени самому писать бумаги, вести всю корреспонденцию и излагать на бумагу переговоры с

японцами.

Самое худшее было впереди, когда я вернулся из Лондона в Портсмут и когда надо было излагать в рапорте историю плавания до Англии и причины ввода фрегата в док. Я думал, что это ровно ничего не значит. Я помнил каждый шаг и каждую минуту – и вот взять только перо да и строчить привычной рукой: было, мол, холодно, ветер дул, качало или было тепло, вот приехали в Данию... (Боже вас сохрани сказать когда-нибудь при моряке, что вы на корабле "приехали": покраснеют! "Пришли", а не "приехали"!) Нет, вижу, не клеится. Ничего не выходит. "А вы возьмите, – говорят мне, – шканечный журнал, где шаг за шагом описывается всё плавание". Кроме того, я взял еще книги и бумаги подобного содержания. Погляжу в одну, в другую бумагу или книгу, потом в шканечный журнал и читаю: "Положили марсель на стеньгу", "взяли грот на гитовы", "ворочали оверштаг", "привели фрегат к ветру", "легли на правый галс", "шли на фордевинд", "обрасопили реи", "ветер дул NNO или SW". А там следуют "утлегарь", "ахтерштевень", "шкоты", "брасы", "фалы" и т. д., и т. д.

Этими фразами и словами, как бисером, унизан был весь журнал. "Боже мой, да я ничего не понимаю! – думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге, – зачем я поехал!"

Мне припомнилась школьная скамья, где сидя, бывало, мучаешься до пота над "мудреным" переводом с латинского или немецкого языков, а учитель, как теперь адмирал, торопит, спрашивает: "Скоро ли? готово ли? Покажите, – говорит, – мне, прежде нежели дадите переписывать..."

"Что я покажу?" – ворчал я в отчаянии, глядя на белую бумагу. Среди этих терминов из живого слова только и остаются несколько глаголов и между ними еще вспомогательный: много помощи от него!

В трехнедельный переезд до Англии я, конечно, слышал часть этих выражений, но пропускал мимо ушей, не предвидя, что они, в течение двух-трех лет, будут моей почти единственной литературой.

"Зачем я здесь? А если уж понесло меня сюда, то зачем я не воспользовался минутным расположением адмирала отпустить меня и не уехал? Ах, хоть бы опять заболели зубы и голова!" – мысленно вопил я про себя, отвращая взгляд от шканечного журнала.

Кроме этих терминов, целиком перешедших к нам при Петре Великом из голландского языка и усвоенных нашим флотом, выработалось в морской практике еще свое особое, русское наречие. Например, моряки говорят и пишут "приглубый берег", то есть имеющий достаточную глубину для кораблей. Это очень хорошо выходит по-русски, так же как, например, выражение "остойчивый", "остойчивость", то есть прочное, надлежащее сиденье корабля в воде; "наветренная" и "подветренная" сторона или еще "отстояться на якоре", то есть воспротивиться напору ветра и т. д. И таких очень много. Некоторые из этих выражений и подобные им, например "вытравливать (вместо выпускать) канат или веревку" и т. п., просятся в русскую речь и не в морском быту.

Но зато мелькают между ними – очень редко, конечно, – и другие – с натяжкой, с насилием языка. Например, моряки пишут: "Такой-то фрегат где-нибудь в бухте стоял "мористо": это уже не хорошо, но еще хуже выходит "мористее", в сравнительной степени. Не морскому читателю, конечно, в голову не придет, что "мористо" значит близко, а "мористее" – ближе к открытому морю, нежели к берегу.

Это "мористо" напоминает двустишие какого-то проезжего (не помню, от кого я слышал), написанное им на стене после ночлега в так называемой чистой горнице постоялого двора: "Действительно, здесь чисто, – написал он, – но тараканисто, блохисто и клописто!"

Жаль, Греча нет, усердного борца за правильность русского языка!

Не помню, как я разделался с первым рапортом: вероятно, я написал его береговым, а адмирал украсил морским слогом – и бумага пошла. Потом и я ознакомился с этим языком и многое не забыл и до сих пор.

IV

Теперь перенесемся в Восточный океан, в двадцатые градусы северной широты, к другой "опасной" минуте, пережитой у Ликейских островов, о которой я ничего не сказал в свое время. Я не упоминаю об урагане, встреченном нами в Китайском море, у группы островов Баши, когда у нас зашаталась грот-мачта, грозя рухнуть и положить на бок фрегат. Об этом я подробно писал.

В путешествии своем, в главе "Ликейские острова", я вскользь упомянул, что два дня, перед приходом нашим на Ликейский рейд, дул крепкий ветер, мешавший нам войти, – и больше ничего. Вот этот ветер чуть не наделал нам большой беды.

Мы подходили к островам около вечера. На глазомер оставалось версты три, и нам следовало зайти за коралловый риф, кривой линией опоясывавший всё видимое пространство главного, большого острова. Издали чуть-чуть видно было, как буруны перекатывались, играя пеной, через каменную грядку. В этой грядке было два входа на рейд, один узкий с севера, другой еще уже – с юга. Фрегату входить надо было очень верно, как карете въезжать в тесные ворота, чтобы не наткнуться на риф. Адмирал не решился в сумерки рисковать и предпочел подождать рассвета. Отдали якорь при тихом, ласковом ветре, в теплой, южной ночи – и заранее тешились надеждой завтра погулять по новым прелестным местам. Наши суда "Князь Меншиков" и шкуна "Восток", – кажется, оба (забыл теперь) – уже пришли прежде нас и проскользнули в узкости легко. Небольшим судам, неглубоко сидящим в воде, это нипочем. Офицеры оттуда приезжали к нам повидаться и уехали.

Вдруг около полуночи задул ветер, не с берега, а с океана к берегу – а мы в этом океане стояли на якорь! Отдали другой якорь – и готовились бороться с неожиданным и внезапным врагом. Мы, не моряки, спали опять безмятежно и безмятежнее всех – я. По своему береговому, не совсем еще в морском деле окрепшему понятию, я всё думал, что стоять на месте все-таки лучше, нежели ходить по морю. Оно, пожалуй, и так, если стоять во время шторма в закрытом порте, но мы стояли в океане! Так провели ночь, беспокойно, то есть они, моряки, следя за успехами ветра. На другой день, около полудня, ветер стал стихать: начали сниматься с якоря – и только что второй якорь "встал" (со дна) и поставлены были марселя (паруса), как раздался крик вахтенного: "Дрейфует!" ("Тащит!"). "Отдать якорь!" – вслед за тем немедленно раздалась команда.

Всё это, то есть команда и отдача якорей, уборка парусов, продолжалось несколько минут, но фрегат успело "подрейфовать", силой ветра и течения, версты на полторы ближе к рифам. А ветер опять задул крепче. Отдан был другой якорь (их всех четыре на больших военных судах) – и мы стали в виду каменной гряды. До нас достигал шум перекатывающихся бурунов.

Я – ничего себе: всматривался в открывшиеся теперь совсем подробности нового берега, глядел не без удовольствия, как скачут через камни, точно бешеные белые лошади, буруны, кипя пеной; наблюдал, как начальство беспокоится, как появляется иногда и задумчиво поглядывает на рифы адмирал, как все примолкли и почти не говорят друг с другом. Да и нечего говорить, разве только спрашивать: "Выдержат ли якорные цепи и канаты напор ветра или нет?" Вопрос, похожий на гоголевский вопрос: "Доедет или не доедет колесо до Казани?" Но для нас он был и гамлетовским вопросом: быть или не быть? Чуть ветер тише – ну, надежда: выдержит; а заревел и натянул канаты – сомнение и злоба. А фрегат так и возит взад и вперед, насколько позволяют канаты обоих якорей, – и вот-вот, немножко еще – трах... и...

– И что? – попытывался я уже на другой день на рейде, ибо там, за рифами, опять ни к кому приступу не было: так все озабочены. Да почему-то и неловко было спрашивать, как бывает неловко заговаривать, где есть трудный больной в доме, о том, выздоровеет он или

умрет?

– Как "что"! Лопни канаты – и через несколько минут фрегат наваливает на рифы: ну – и в щепы!

– Сейчас и в щепы! хорошо, положим – и в щепы. Конечно, это огромная беда, но всё же люди спаслись бы...

– Тут, у этих рифов, при этом волнении? Подите!

Я не унывал нисколько, отчасти потому, что мне казалось невероятным, чтобы цепи – канаты двух, наконец, трех и даже четырех якорей не выдержали, а главное – берег близко. Он, а не рифы, был для меня "каменной стеной", на которую я бесконечно и возлагал всё упование. Это совершенно усыпляло всякий страх и даже подозрение опасности, когда она была очевидна. И я смотрел на всю эту "опасную" двухдневную минуту как на дело, до меня нисколько не касающееся.

И только на другой день, на берегу, вполне вникнул я в опасность положения, когда в разговорах об этом объяснилось, что между берегом и фрегатом, при этих огромных, как горы, волнах, сообщения на шлюпках быть не могло; что если б фрегат разбился о рифы, то ни наши шлюпки – а их шесть-семь и большой баркас, – ни шлюпки с других наших судов не могли бы спасти и пятой части всей нашей команды. При волнении они, то есть шлюпки, имели бы полный комплект гребцов, и места для других почти не было бы совсем, разве для каких-нибудь десяти человек на шлюпку, а нас всех было более четырехсот. И те десять человек стесняли бы свободные действия гребцов – и не при этом океанском волнении. "И просто не выгрести бы на таких волнах!" – говорили мне.

Бывшие на берегу офицеры с американского судна сказывали, что они ожидали уже услышать ночью с нашего фрегата пушечные выстрелы, извещающие о критическом положении судна, а английский миссионер говорил, что он молился о нашем спасении.

Однако лейтенант С., чуть ли не на двойке (двухвесельной шлюпке) с двумя гребцами, изволил оттуда прокатиться до нас по этим волнам – "посмотреть, что вы тут делаете", – сказал он. И, посидевши с нами, так же отправился назад. И теперь помню, как скорлупка-двойка вдруг пропадала из глаз, будто проваливалась в глубину между двух водяных гор, и долго не видно было ее, и потом всплывала опять боком на гребень волны. Я не спускал глаз с С., пока он не скрылся за риф, – и, конечно, не у него, а у меня сжималось сердце страхом: "Вот-вот кувырнется и не появится больше!"

Провели мы еще, что называется, *mauvais quart d'heure** в Татарском проливе, где мы медленно подвигались к устьям Амура. Офицеры на шлюпках посылались вперед для измерения глубины – и по их следам шел тихо и фрегат, беспрестанно останавливаясь, иногда в ожидании прилива. И вот в один вечер стали на якорь на хорошей глубине. По сторонам видны были оба берега, манчжурский и острова Сахалина, – и очень близко. Мы расположились покойно. Утром стали сниматься с якоря, поставили грот-марсель, и в это время фрегат потащило несколько десятков сажен вперед. Якорь опять отдали. Глубины под килем все-таки оказалось достаточно, но далее подвигаться не решились, ожидая, что с приливом воды прибавится. Но оказалось, что мы стоим уже на большой воде, на приливе, и вскоре вода начала убывать, и когда убыла, под килем оказалось всего фута три-четыре воды. * неприятную минуту (фр.).

Вот тут и началась опасность. Ветер немного засвежел, и помню я, как фрегат стало бить об дно. Сначала было два-три довольно легких удара. Затем так треснуло, что затрещали шлюпки на боканцах и марсы (балконы на мачтах). Все бывшие в каютах выскочили в тревоге, а тут еще удар, еще и еще. Потонуть было трудно: оба берега в какой-нибудь версте; местами, на отмелях, вода была по пояс человеку.

Но если бы удары продолжались чаще и сильнее, то корпус тяжело нагруженного и вооруженного фрегата, конечно, мог бы раздаться и рангоут, то есть верхние части мачт и реи, полететь вниз. А так как эти деревья, кажущиеся снизу лучинками, весят которое двадцать, которое десять пудов, –

После смешно было вспоминать, как, при каждом ударе и треске, все мы проворно

переходили одни на место других на палубе. "Страшновато было!" – как говорил, бывало, я в подобных случаях спутникам. Впрочем, всё это продолжалось, может быть, часа два, пока не начался опять прилив, подбавивший воды, и мы снялись и пошли дальше.

V

Мы подвергались опасностям и другого рода, хотя не морским, но весьма вероятным тогда и обязательным, так сказать, для военного судна, которых не только нельзя было избегать, но должно было на них напрашиваться. Это встреча и схватка с неприятельскими судами.

Сколько помню, адмирал и капитан неоднократно решались на отважный набег к берегам Австралии, для захвата английских судов, и, кажется, если не ошибаюсь, только неуверенность, что наша старая, добрая "Паллада" выдержит еще продолжительное плавание от Японии до Австралии, удерживала их, а еще, конечно, и неуверенность, по неимению никаких известий, застать там чужие суда. В последнее наше пребывание в Шанхае, в декабре 1853 г., и в Нагасаки, в январе 1854 г., до нас еще не дошло известие об окончательном разрыве с Турцией и Англией; мы знали только, из запоздавших газет и писем, что близко к тому, – и больше пока ничего. Я помню, что в Шанхае ко мне всё приставал лейтенант английского флота, кажется Скотт, чтоб я подержал с ним пари о том, будет ли война или нет? Он утверждал, что не будет, я был противного мнения. Пари не состоялось, и мы ушли сначала в Нагасаки, потом в Манилу – всё еще в неведении о том, в войне мы уже или нет, – и с каждым днем ждали известия и в каждом встречном судне предполагали неприятеля.

В этой неизвестности о войне пришли мы и в Манилу и застали там на рейде военный французский пароход. Ни мы, ни французы не знали, как нам держать себя друг с другом, и визитами мы не менялись, как это всегда делается в обыкновенное время. Пробыв там недели три, мы ушли, но перед уходом узнали, что там ожидали английскую эскадру.

Так как мы могли встретить ее или французские суда в море, – и, может быть, уже с известиями об открытии военных действий, – то у нас готовились к этой встрече и приводили фрегат в боевое положение. Капитан поговаривал о том, что в случае одоления превосходными неприятельскими силами необходимо-де поджечь пороховую камеру и взорваться.

Все были более или менее в ожидании, много говорили, готовились к бою, смотрели в зрительные трубки во все стороны.

Один только отец Аввакум, наш добрый и почтенный архимандрит, относился ко всем этим ожиданиям, как почти и ко всему, невозмутимо-покойно и даже скептически. Как он сам лично не имел врагов, всеми любимый и сам всех любивший, то и не предполагал их нигде и ни в ком: ни на море, ни на суше, ни в людях, ни в кораблях. У него была вражда только к одной большой пушке, как совершенно ненужному в его глазах предмету, которая стояла в его каюте и отнимала у него много простора и свету.

Он жил в своем особом мире идей, знаний, добрых чувств – и в сношениях со всеми нами был одинаково дружелюбен, приветлив. Мудреная наука жить со всеми в мире и любви была у него не наука, а сама натура, освященная принципами глубокой и просвещенной религии. Это давалось ему легко: ему не нужно было уметь – он иным быть не мог. Он не вмешивался никогда не в свои дела, никому ни в чем не навязывался, был скромнен, не старался выставить себя и не претендовал на право даже собственных, неотъемлемых заслуг, а оказывал их молча и много – и своими познаниями, и нравственным влиянием на весь кружок пловцов, не поучениями и проповедями, на которые не был щедр, а просто примером ровного, покойного характера и кроткой, почти младенческой души.

В беседах ум его приправлялся часто солью легкого и всегда добродушного юмора.

Кажется, я смело могу поручиться за всех моих товарищей плавания, что ни у кого из них не было с этою прекрасною личностью ни одной неприятной, даже досадной, минуты... А если бывали, то вот какого комического свойства. Например, помню, однажды, гуляя со мной на шканцах, он вдруг... плюнул на палубу. Ужас!

Шканцы – это нечто вроде корабельной скинии, самое парадное, почти священное место. Палуба – скоблится, трется кирпичом, моется почти каждый день и блестит как стекло.

А отец Аввакум – расчихался, рассморкался и – плюнул. Я помню взгляд изумления вахтенного офицера, брошенный на него, потом на меня. Он сделал такое же усилие над собой, чтоб воздержаться от какого-нибудь замечания, как я – от смеха. "Как жаль, что он – не матрос!" – шепнул он мне потом, когда отец Аввакум отвернулся. Долго помнил эту минуту офицер, а я долго веселился ею.

В другой раз, где-то в поясах сплошного лета, при безветрии, мы прохаживались с отцом Аввакумом всё по тем же шканцам. Вдруг ему вздумалось взобраться по трехступенной лесенке на площадку, с которой обыкновенно, стоя, командует вахтенный офицер. Отец Аввакум обозрел море и потом, обернувшись спиной к нему, вдруг... сел на эту самую площадку "отдохнуть", как он говаривал.

Опять скандал! Капитана наверху не было – и вахтенный офицер смотрел на архимандрита – как будто хотел его съесть, но не решался заметить, что на шканцах сидеть нельзя. Это, конечно, знал и сам отец Аввакум, но по рассеянности забыл, не приписывая этому никакой существенной важности. Другие, кто тут был, улыбались – и тоже ничего не говорили. А сам он не догадывался и, "отдохнув", стал опять ходить.

При кротости этого характера и невозмутимо-покойном созерцательном уме он нелегко поддавался тревогам. Преследование на море врагов нами или погоня врагов за нами казались ему больше фантазией адмирала, капитана и офицеров. Он равнодушно глядел на все военные приготовления и продолжал, лежа или сидя на постели у себя в каюте, читать книгу. Ходил он в обычное время гулять для моциона и воздуха наверх, не высматривая неприятеля, в которого не верил.

Вдруг однажды раздался крик: "Пароход идет! Дым виден!"

Поднялась суматоха. "Пошел по орудиям!" – скомандовал офицер. Все высыпали наверх. Кто-то позвал и отца Аввакума. Он неторопливо, как всегда, вышел и равнодушно смотрел, куда все направили зрительные трубы и в напряженном молчании ждали, что окажется.

Скоро все успокоились: это оказался не пароход, а китоловное судно, поймавшее кита и вытапливавшее из него жир. От этого и дым. Неприятель всё не показывался. "Бегают нечестивый, ни единому же ему гонящу!" – слышу я голос сзади себя.

Это отец Аввакум выразил так свой скептический взгляд на ожидаемую встречу с врагами. Я засмеялся, и он тоже. "Да право так!" – заметил он, спускаясь неторопливо опять в каюту.

VI

Но как всё страшное и опасное, испытываемое многими плователями, а также испытанное и нами в плавании до Японии, кажется бледно и ничтожно в сравнении с тем, что привелось испытать моим спутникам в Японии! Все, что произошло там, представляет ряд страшных, и опасных, и гибельных вместе – не минут, не часов, а дней и ночей.

Много ужасных драм происходило в разные времена с кораблями и на кораблях. Кто ищет в книгах сильных ощущений, за неимением последних в самой жизни, тот найдет большую пищу для воображения в "Истории кораблекрушений", где в нескольких томах собраны и описаны многие случаи замечательных крушений у разных народов. Погибали на

море от бурь, от жажды, от голода и холода, от болезней, от возмущений экипажа.

Но никогда гибель корабля не имела такой грандиозной обстановки, как гибель "Дианы", где великолепный спектакль был устроен самой природой. Не раз на судах бывали ощущаемы колебания моря от землетрясения, – но, сколько помнится, больших судов от этого не погибало.

Пересев на "Диану" и выбрав из команды "Паллады" надежных и опытных людей, адмирал все-таки решил попытаться зайти в Японию и если не окончить, то закончить на время переговоры с тамошним правительством и условиться о возобновлении их по окончании войны, которая уже началась, о чем получены были наконец известия.

Перед отплытием из Татарского пролива время, с августа до конца ноября, прошло в приготовлениях к этому рискованному плаванию, для которого готовились припасы на непредвиденный срок, ввиду ожидания встречи с неприятелем.

По окончании всех приготовлений адмирал, в конце ноября, вдруг решился на отважный шаг: идти в центр Японии, коснуться самого чувствительного ее нерва, именно в город Осаки, близ Миако, где жил микадо, глава всей Японии, сын неба, или, как неправильно прежде называли его в Европе, "духовный император". Там, думал не без основания адмирал, японцы струсят неожиданного появления иноземцев в этом закрытом и священном месте и скорее согласятся на предложенные им условия.

Так и сделал. "Диана" явилась туда – и японцы действительно струсили, но, к сожалению, это средство не повело к желаемым результатам. Они стали просить удалиться, и все берега свои заставили рядами лодок, так что сквозь них надо было пробиваться силою, а к этому средству адмирал не имел полномочия прибегать.

Японцы тут ни о каких переговорах не хотели и слышать, а приглашали немедленно отправиться в городок Симодо, в бухте того же имени, лежащей в углу огромного залива Иеддо, при выходе в море. Туда, по словам их, отправились и уполномоченные для переговоров японские чиновники. Туда же чрез несколько дней направилась и "Диана". В этой бухте предстояло ей испытать страшную катастрофу.

Здесь я кладу перо как путешественник и автор. Далее меня не было с плователями, и я являюсь только редактором некоторых их воспоминаний, рассказов и донесений о крушении "Дианы" и о возвращении в Россию.

Постараюсь сделать это в нескольких общих чертах, как можно короче, чтобы не лишать большого интереса тех из читателей, которые пожелают ознакомиться с событием из самого рапорта адмирала, где всё изложено – полно, подробно и весьма просто и understandably, несмотря на обилие морских терминов.

Всё это событие и последствия его принадлежат истории нашего мореплавания, а теперь пока они теряются на страницах малодоступного большинству публики специального морского журнала.

"Одним из тех ужасных, редких явлений в природе, случающихся, однако же, чаще в Японии, нежели в других странах, совершилась гибель фрегата "Диана". Так начинается рапорт адмирала к великому князю, генерал-адмиралу, – и затем, шаг за шагом, минута за минутой, повествует о грандиозном событии и его разрушительном действии на берегах и на фрегате.

Прочитав это повествование и выслушав изустные рассказы многих свидетелей, – можно наглядно получить вульгарное изображение события, в миниатюре, таким образом: возьмите большую круглую чашку, налейте до половины водой и дайте чашке быстрое круговращательное движение – а на воду пустите яичную скорлупу или представьте себе на ней миниатюрное суденышко с полным грузом и людьми. Вот положение судна и людей. Но в чашке нет ни скал, стоящих в виде островов посередине, ни угловатых берегов, – а это всё было в бухте Симодо.

Надо заметить, что бухта Симодо не закрыта с моря и, следовательно, не может служить безопасным местом для стоянки судов.

11 декабря, в 10 часов утра (рассказывал адмирал), он и другие, бывшие в каютах,

заметили, что столы, стулья и прочие предметы несколько колеблются, посуда и другие вещи прискакивают, и поспешили выйти наверх. Всё по-видимому было еще покойно. Волнения в бухте не замечалось, но вода как будто бурлила или клокотала.

Около городка Симодо течет довольно быстрая горная речка: на ней было несколько джонок (мелких японских судов). Джонки вдруг быстро понеслись не по течению, а назад, вверх по речке. Тоже необыкновенное явление: тотчас послали с фрегата шлюпку с офицером узнать, что там делается. Но едва шлюпка подошла к берегу, как ее водою подняло вверх и выбросило. Офицер и матросы успели выскочить и оттащили шлюпку дальше от воды. С этого момента начало разыгрываться страшное и грандиозное зрелище.

Вот рисунок этой картины в двух-трех главных штрихах.

Вследствие колебания морского дна у берегов Японии в бухту Симодо влился громадный вал, который коснулся берега и отхлынул, но не успел уйти из бухты, как навстречу ему, с моря, хлынул другой вал, громаднее. Они столкнулись, и не вмесившаяся в бухте вода пришла в круговоротное движение и начала полоскать всю бухту, хлынув на берега, вплоть до тех высот, куда спасались люди из Симодо.

Второй вал покрыл весь Симодо и смыл его до основания. Потом еще вал, еще и еще. Круговращение продолжалось с возрастающей силой и ломало, смывало, топило и уносило с берегов всё, что еще уцелело. Из тысячи домов осталось шестнадцать и погибло около ста человек. Весь залив покрылся обломками домов, джонок, трупами людей и бесчисленным множеством разнообразнейших предметов: жилищ, утвари и проч.

Всё это прибило к одному из берегов в такой массе, что образовало, по словам рапорта адмирала, "как бы продолжение берега".

А что делалось с фрегатом в это время?

По изустным рассказам свидетелей, поразительнее всего казалось переменное возвышение и понижение берега: он то приходил вровень с фрегатом, то вдруг возвышался сажень на шесть вверх. Нельзя было решить, стоя на палубе, поднимается ли вода, или опускается самое дно моря? Вращением воды кидало фрегат из стороны в сторону, прижимая на какую-нибудь сажень к скалистой стене острова, около которого он стоял, и грозя раздробить, как орех, и отбрасывая опять на середину бухты.

Потом стало ворочать его то в одну, то в другую сторону с такой быстротой, что в тридцать минут, по словам рапорта, было сделано им сорок два оборота! Наконец начало бить фрегат, по причине переменной прибыли и убыли воды, об дно, о свои якоря и класть то на один, то на другой бок. И когда во второй раз положило – он оставался в этом положении с минуту...

И страх, и опасность, и гибель – всё уложилось в одну эту минуту!

Все уцепились: кто за что мог. Всё оцепенело в молчании. Потом раздались слова молитвы: все молились, кто словами, и все, конечно, внутренно, так усердно, как, по пословице, только молятся на море!

Бог услышал молитвы моряков, и "Провидению, – говорит рапорт адмирала, – угодно было спасти нас от гибели". Вода пошла на прибыль, и фрегат встал, но в каком положении!

Не все, однако, избавились и от гибели: один матрос поплатился жизнью, а двое искалечены. Две неприкрепленные пушки, при наклонении фрегата, упали и убили одного матроса, а двум другим, и, между прочим, боцману Терентьеву, раздробили ноги.

Помню я этого Терентьева, худощавого, рябого, лихого боцмана, всегда с свистком на груди и с линьком или лопарем в руках. Это тот самый, о котором я упоминал в начале путешествия и который угощал моего Фаддеева то линьком, то лопарем по спине, когда этот последний, радея мне (без моей просьбы, а всегда сюрпризом), таскал украдкой пресную воду на умыванье, сверх положенного количества, из систерн во время плавания в Немецком море.

Несколько часов продолжалось это возмущение воды при безветрии и наконец стихло. По осмотре фрегата он оказался весь избит. Трюм был наполнен водой, подмочившей провизию, амуницию и всё частное добро офицеров и матросов. А главное, не было более

руля, который, оторвавшись вместе с частью фальшкиля, проплыл, в числе прочих обломков, мимо фрегата – "продолжать берег", по выражению адмирала.

Фрегат разоружили: свезли все шестьдесят орудий на берег и отдали на сохранение японцам, объяснив им, как важно для нас, чтобы орудия не достались неприятелю. И японцы укрыли и сохранили их тщательно, построив для того особые сараи.

Вообще они, несмотря на то что потерпели сами от землетрясения, оказали нашим всевозможную помощь и услуги. Японские власти присылали провизию и снабжали всем нужным.

Наш государь оценил их услуги и, в благодарность за участие к русским плователям, подарил все 60 орудий японскому правительству.

Но и наши не оставались в долгу. В то самое время, когда фрегат крутило и било об дно, на него нанесло напором воды две джонки. С одной из них сняли с большим трудом и приняли на фрегат двух японцев, которые неохотно дали себя спасти, под влиянием строгого еще тогда запрещения от правительства сноситься с иностранцами. Третий товарищ их решительно побоялся, по этой причине, последовать примеру первых двух и тотчас же погиб вместе с джонкой. Сняли также с плившей мимо крыши дома старуху.

Когда утихло, адмирал послал на развалины Симодо К. Н. Посьета и доктора подать помощь раненым. Но, ради всё того же страха, раненых спрятали и объявили, что их нет. Но наши успели мельком заметить их.

Так кончился первый акт этой морской драмы, – первый потому, что "страшные", "опасные" и "гибельные" минуты далеко не исчерпались землетрясением. Второй акт продолжался с 11-го декабря 1854 по 6-е января 1855 г., когда плователи покинули фрегат, или, вернее, когда он покинул их совсем, и они буквально "выбросились" на чужой, отдаленный от отечества берег.

Фрегат повели, приделав фальшивый руль, осторожно, как носят раненого в госпиталь, в отысканную в другом заливе, верстах в 60 от Симодо, закрытую бухту Хеда, чтобы там повалить на отмель, чинить – и опять плавать. Но все надежды оказались тщетными. Дня два плователи носимы были бурным ветром по заливу и наконец должны были с невероятными усилиями перебраться все (при морозе в 4№) сквозь буруны на шлюпках, по канату, на берег, у подошвы японского Монблана, горы Фудзи, в противоположной стороне от бухты Хеда.

С наступлением тихой погоды хотели наконец, посредством японских лодок, дотащить кое-как пустой остов до бухты – и все-таки чинить. Если фрегат держался еще на воде в тогдашнем своем положении, так это, сказывал адмирал, происходило, между прочим, оттого, что систерны в трюме, обыкновенно наполненные пресной водой, были тогда пусты, и эта пустота и мешала ему погрузиться совсем.

Сто японских лодок тянули его; оставалось верст пять-шесть до места, как вдруг налетел шквал, развел волнение: все лодки бросили внезапно буксир и едва успели, и наши офицеры, провожавшие фрегат, тоже, укрыться по маленьким бухтам. Пустой, покинутый фрегат качало волнами с боку на бок...

Ночью нельзя было следить за ним, а наутро его уже не было видно...

Когда читаешь донесения и слушаешь рассказы о том, как погибала "Диана", хочется плакать, как при рассказе о медленной агонии человека.

Вот эти два числа – 11 декабря, день землетрясения, и 6 января, высадки на берег, как знаменательные дни в жизни плователей, и были поводом к собранию нашему за двумя вышеупомянутыми обедами.

Наконец, третье действие – это возвращение путешественников, тоже под страхом и опасностями своего рода, разными путями в Россию...

Так кончилось крушение "Дианы", которое займет самое видное место в летописи морских бедствий.

К этому остается прибавить немного, что еще рассказывали мне мои бывшие спутники о дальнейших своих похождениях и о заключении этой замечательной во всех отношениях экспедиции.

От подошвы Фудзи наши герои, "по образу пешего хождения", через горы, направились в ту же бухту Хеда, куда намеревались было ввести фрегат, и расположились там на бивуаках (при 4№ мороза, не забудьте!), пока готовились бараки для их помещения, временного и, по возможности, недолгого, потому что в положении Робинзонов Крузе пятистам человекам долго оставаться нельзя. Надо было изыскать средство уйти оттуда каким бы то ни было образом. Дождаться ответа на рапорт, пока он придет в Россию, пока оттуда вышлют другое судно, чего в военное время и нельзя было сделать, – значит нести все тягости какого-то плена. Не затем прошли сквозь все гибели, чтобы киснуть на полудиком побережье, сложив руки, когда "наши там... дерутся!" – думали пловцы.

Решились искать помощи в самих себе – и для этого, ни больше ни меньше, положил адмирал построить судно собственными руками с помощью, конечно, японских услуг, особенно по снабжению всем необходимым материалом: деревом, железом и проч. Плотники, столяры, кузнецы были свои: в команду всегда выбираются люди, знающие все необходимые в корабельном деле мастерства. Так и сделали. Через четыре месяца уже готова была шкуна, названная в память бухты, приютившей разбившихся пловцов, "Хеда".

Из донесений известно, что наши пловцы разделились на три отряда: один отправился на нанятом американском судне к устьям Амура, другой на бременском судне был встречен английским военным судном. Но англичане приняли наших не за военнопленных, а за претерпевших кораблекрушение и,

Наконец, сам адмирал на самодельной шкуне "Хеда", с остальной партией около сорока человек, прибыл тоже, едва избежав погони английского военного судна, в устья Амура и по этой реке поднялся вверх до русского поста Усть-Стрелки, на слиянии Шилки и Аргуни, и достиг Петербурга.

Чего стоило одно странствование по этой пустынной, тогда еще не исследованной нашей Миссисипи!

Сам адмирал, капитан (теперь адмирал) Посьет, капитан Лосев, лейтенант Пещуров и другие, да человек осьмнадцать матросов, составляли эту экспедицию, решившуюся в первый раз, со времени присоединения Амура к нашим владениям, подняться вверх по этой реке на маленьком пароходе, на котором в первый же раз спустился по ней генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев.

Последний воротился тогда в Иркутск сухим путем (и я примкнул к его свите), а пароход и при нем баржу, открытую большую лодку, где находились не умещавшиеся на пароходе люди и провизия, предоставил адмиралу. Предполагалось употребить на это путешествие до Шилки и Аргуни, к месту слияния их, в местечко Усть-Стрелку, месяца полтора, и провизии взято было на два месяца, а плавание продолжалось около трех месяцев.

И чего не случалось с нашими странниками! То вдруг воды в реке нет и плыть нельзя, то сильно несет течением. То дров в изобилии, то один мелкий хворост по берегам, негодный и на лучину, нечем пищу варить и топить пароход! В иных местах у туземцев: мангу, орочан, гольдов, гиляков и других, о которых европейские этнографы, может быть, еще и не подозревают, можно было выменивать сушеное оленьё мясо, просо на бисер, гвозди и т. п. А в других местах было или совсем пусто по берегам, или жители, завидев, особенно ночью, извергаемый пароходом дым и мириады искр, в страхе бежали дальше и прятались, так что приходилось голодным пловцам самим входить в их жилища и хозяйничать, брать провизию и оставлять бусы, зеркальца и тому подобные предметы взамен. Сами ловили рыбу и иногда роскошничали за стерляжьей ухой, особенно в первой половине плавания.

Когда не было леса по берегам, пловцы углублялись в стороны для добывания дров. Матросы рубили дрова, офицеры таскали их на пароход. Адмирал порывался разделять их

заботы, но этому все энергически воспротивились, предоставив ему более легкую и почетную работу, как-то: накрывать на стол, мыть тарелки и чашки.

В последние недели плавания все средства истощились: по три раза в день пили чай и ели по горсти пшена – и только. Достали было однажды кусок сушеного оленьего мяса, но несвежего, с червями. Сначала поусумнились есть, но потом подумали хорошенько, вычистили его, вымыли и... "стали кушать", "для примера, между прочим, матросам", – прибавил К. Н. Посъет, рассказывавший мне об этом странствии. "Полно, так ли, – думал я, слушая, – для примера ли; не по пословице ли: голод не тетка?"

За два дня до прибытия на Усть-Стрелку, где был наш пост, начальник последнего, узнав от посланного вперед ороочанина о крайней нужде пловцов, выслал им навстречу всё необходимое в изобилии и, между прочим, телят. Вот только где, пройдя тысячи три верст, эти не блудные, а блуждающие сыны добрались до упитанного тельца!

Так кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся "Одиссея" и "Энеида" – и ни Эней, с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши аргонавты, из которых "иных уж нет, а те далече!"

Одних унесла могила: между прочим, архимандрита Аввакума. Этот скромный ученый, почтенный человек ездил потом с графом Путятиным в Китай, для заключения Тсянзинского трактата, и по возвращении продолжал оказывать пользу по сношениям с китайцами, по знакомству с ними и с их языком, так как он прежде прожил в Пекине лет пятнадцать при нашей миссии. Он жил в Александро-Невской лавре и скончался там лет восемь или десять тому назад.

Нет более в живых также капитана (потом генерала) Лосева, В. А. Римского-Корсакова, бывшего долго директором Морского корпуса, обоих медиков, Арефьева и Вейриха, лихого моряка Савича, штурманского офицера Попова.* * К этому скорбному списку надо прибавить скончавшегося в последние годы И. П. Белавенеца, служившего в магнитной обсерватории в Кронштадте, и А. А. Халезова, известного под названием "деда" в этих очерках плавания (примеч. Гончарова).

Из остающихся в живых – старшие занимают высокие посты в морской и в других службах, осыпаны отличиями, – младшие на пути к отличиям.

С самыми лучшими чувствами симпатии и добрых воспоминаний обращаюсь я постоянно к этой эпохе плавания по морям, к кругу этих отличных людей и встречаюсь с ними всегда, как будто не расставался никогда.

Мне поздно желать и надеяться плыть опять в дальние страны: я не надеюсь и не желаю более. Лета охлаждают всякие желания и надежды. Но я хотел бы перенести эти желания и надежды в сердца моих читателей – и – если представится им случай идти (помните: "идти", а не "ехать") на корабле в отдаленные страны – предложить совет: ловить этот случай, не слушая никаких преждевременных страхов и сомнений. Читатель, может быть, возразит на этот совет, что довольно и того, что написано в этой главе, чтобы навсегда отбить охоту к морским путешествиям. Напротив, именно этот рассказ и подтверждает мой совет. Как же: в то время, когда от землетрясения падали города и селения, валились скалы, гибли дома и люди на берегу, фрегат всё держался и из пятисот человек погиб один! И после, потеряв корабль, пловцы отделались благополучно, и все добрались домой, и большая часть живут и здравствуют донныне.

Русский священник в Лондоне посетил нас перед отходом из Портсмута и после обедни сказал речь, в которой остерегал от этих страхов. Он исчислил опасности, какие можем мы встретить на море, – и, напугав сначала порядком, заключил тем, что "и жизнь на берегу кишит страхами, опасностями, огорчениями и бедами, – следовательно, мы меняем только одни беды и страхи на другие".

И это правда. Обыкновенно ссылаются на то, как много погибает судов. А если счесть, сколько поездов сталкивается на железных дорогах, сваливается с высот, сколько гибнет людей в огне пожаров и т. д., то на которой стороне окажется перевес? И сколько вообще расходуется бедного человечества по мелочам, в одиночку, не всегда в глуши каких-нибудь

пустынь, лесов, а в многолюдных городах!

"А всё же "страшновато" как-то на море: сомнения, неуверенность, одни ожидания опасностей чего стоят!.." – скажут на это.

Да, тут есть правда; но человеку врожденна и мужественность: надо будить ее в себе и вызывать на помощь, чтобы побеждать робкие движения души и закалять нервы привычкою. Самые робкие характеры кончают тем, что свыкаются. Даже женщины служат хорошим примером тому: сколько англичанок и американок пускаются в дальние плаванья и выносят, даже любят, большие морские переезды!

Зато какие награды! Дальнее плавание населит память, воображение прекрасными картинками, занимательными эпизодами, обогатит ум наглядным знанием всего того, что знаешь по слуху, – и, кроме того, введет плователя в тесное, почти семейное сближение с целым кругом моряков, отличных, своеобразных людей и товарищей.

И этого всего потом из памяти и сердца нельзя выжить во всю жизнь; и не надо – как редких и дорогих гостей.